

МУХТАР АУЭЗОВ

ПУТЬ АБАЯ

РОМАН-ЭПОПЕЯ

КНИГА ПЕРВАЯ

ПЕРЕВОД АНАТОЛИЯ КИМА

**АЛМАТЫ
ИД «ЖИБЕК ЖОЛЫ»
2012**

УДК 821.512.122-03-161.1
ББК 84 (Каз – Рус) 7-44
А 93

*Выпущено по программе
«Издание социально важных видов литературы»
Комитета информации и архивов Министерства культуры
и информации Республики Казахстан*

Фонд Мухтара Ауэзова

Ауэзов М.
А 93 Путь Абая / Пер. А. Кима. – Алматы: ИД «Жибек
жолы», 2012.

Кн. 1. – 568 с.

ISBN 978-601-294-108-1

УДК 821.512.122-03-161.1
ББК 84 (Каз – Рус) 7-44

ISBN 978-601-294-108-1 (Кн. 1)
ISBN 978-601-294-107-4 (общ.)

© Фонд Мухтара Ауэзова, 2012
© ИД «Жибек жолы», 2012

АБАЙ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

1

На третий день пути нетерпение вырвалось из сердца мальчика, неудержимо повлекло его вперед, и он сделал все, чтобы сегодня быть дома.

Предстоял последний световой переход, и мальчик с первыми лучами солнца поднял своих спутников. Сели на коней и выехали из Корыка на рассвете, и далее весь остаток пути он скакал впереди, на расстоянии полета стрелы.

Старшие его спутники, певец Байтас и Жумабай по прозвищу Жорга – Иноходец, едва попевали за ним. Места с колодцами для стоянок – Кокуирим, Буратиген, Такырбулак – мальчик проскочил без остановок, на стремительном галопе, нахлестывая своего резвого саврасого коня. Принуждаемые к долгой езде без отдыха, Жорга-Жумабай и Байтас рысили бок о бок на своих лошадях и громко переговаривались.

– Апырай! Как же парнишка торопится в аул!

– Видать, за зиму изглодала до костей тоска по дому.

Пускаясь вскачь вслед за мальчиком, когда тот слишком удалялся, спутники с трудом нагоняли его. Жумабай под коленом зажимал черную дубинку-шокпар, в руке у Байтаса торчала боевая палка-соил, поставленная нижним концом на носок сапога, вдетого в стремя.

Приближаясь к стоянке Такырбулак, последней на пути, взрослые попытались поумерить рвение школяра.

– Ей, теперь не отрывайся от нас, парень! Ты слышал про овраги Есембая? Там в каждом логу сидят барымтачи! Разбойник на разбойнике! – постращал Байтас.



– Нас с тобою, жаным, они уже давно заприметили. Следят за нами и только и ждут, когда ты снова один поскачешь вперед, – добавил Жумабай. – Давай, мол, покрасуйся на своем скакуне, а потом свались прямо в руки к нам. Стукнут разок по голове, сшибут с седла и угонят твою лошадку, только и видали их!

– А вы на что? – задорно выкрикнул школяр. – Неужели так просто и отдадите меня разбойникам?

– Ойба-ай! Да нас всего двое! Что толку... – отвечал Байтас.

– Их же там не счесть! Разбойничьи гнезда свили на этом Есембае! Вольготно живут, никого не боятся! Место дурное, опасное. Хорошо, если в живых оставят, признав за родичей, – все нагонял страху Жумабай.

Но эти слова лишь подзадорили мальчика.

– Эй! Если от вас все равно толку мало, зачем вы мне? Поскачу один! – Он дал шенкелей лошади и снова умчался вперед.

Это произошло, когда миновали Такырбулак. До самого Есембаевского урочища мальчик не оглянулся назад. Уже еле видимый вдаль, продолжал устремляться вперед, безрассудный и одинокий.

Путь проходил размашистыми, покатыми увалами предгорья. После откочевки на джайлау, за перевалы Чингиза, края эти надолго оставались безлюдными. На холмистых высотах было немало укромных мест, откуда скрытым дозором далеко просматривались разбегающиеся дороги. Вдоль этих дорог, что тянулись местами по дну крутосклонных саев¹, издавна устраивались воровские засады. Лихие люди могли прыгнуть на грудь всаднику прямо из бокового оврага, густо заросшего тугаем, или выскочить из-за крутого скрытого поворота, – одинокий путник рисковал попасть в руки разбойников.

За два предыдущих дня подросток, отучившийся год в медресе, вконец истомился в неспешной степной езде, и теперь

¹ Саё – размытый потоками воды глубокий овраг.



был рад, что смог заставить взрослых джигитов, сопровождавших его, двигаться как можно быстрее. Уловка удалась, и мальчик решил продолжать свое – скакать впереди, вынуждая сопровождающих подтягиваться за ним.

Старшие спутники, вновь отставшие, вслух выражали недовольство, бок о бок на рысях следуя за ним.

– Обычно дети знают страх, о Аллаха... – ворчал Байтас. – А этот...

– Видать, весь в отца, – подхватил Жумабай. – Настоящий волчонок, сын матерого волка... Зубки показывает. Дает нам знать, кто он такой. Придется догонять его... Эй, Байтас, за мной! Не отставай!

Оба дружно сорвались с места в карьер, настигая лошадей, словно пускаясь в большую байгу, длинную скачку, и то один вырывался вперед, то другой, криками и ударами подгоняя своих могучих коней. Под Байтасом шел ровной, стремительной иноходью чалый жеребец с темной гривой и хвостом, известный на байгах скакун, принадлежащий ага-султану Кунанбаю. Жумабай был на светло-сером, почти белом с млечной голубизною, крупном коне по кличке Найманкок, который также принадлежал Кунанбаю, отцу мальчика.

На скачках эти знаменитые жеребцы всегда соперничали – и на этот раз чалый иноходец и серый Найманкок рвались вперед, люто косясь друг на друга. Каждый жаждал первенства: «Я впереди!» – «Нет, я впереди!» – и, попеременно сменяя друг друга, то один, то другой оказывался головным. Упорствуя, свирепея в неистовом соревновании, они настроились на долгую скачку. Отбрасывали назад один холмистый увал за другим, птицей взмывали вверх по пологому склону, затем перемахивали вершину и стремительно обрушивались вниз. На одном из перевалов, на самом крутом выгибе холма, черногривый иноходец Байтаса, опередивший соперника на расстояние от двери до тора¹, – первым преодолел вершину, за ним ее

¹ Тор – почетное место в юрте, расположенное у стены напротив входа.



перелетел светло-серый Найманкок – и всадники сверху не увидели скачущего мальчика. На всем пространстве широкой седловины меж увалами и на вершине предстоящего холма – нигде не было видно темной черточки маленького отважного всадника, перед ними был безлюдный простор. Всадники, не удерживая своих лошадей, метнулись по склону вниз.

И тут Жумабай, приотставший от Байтаса, услышал позади себя, за левым плечом, частый нагоняющий дробный топот копыт скачущей лошади. Звуки исходили со стороны Есембаевского оврага.

– У, проклятые! Никак барымтачи! Малого перехватили, теперь и нас подстерегли! – пробормотав это, Жумабай погнал коня, нещадно нахлестывая его; низко нагнувшись, свернув голову к плечу, испуганно оглядывался назад.

– Не глядеть! Глаза зажмурь! – гнусавым голосом, словно некий демон, приспешник Азраилов, взвыл нападавший, уже почти настигнув Жоргу-Жумабая, уже наезжая на него конем. Ни коня, ни самого всадника он не смог распознать, – голова разбойника была обвязана платком. Так они и делают, эти лихие люди, чтобы никто не мог узнать их при дневном разбое. Жумабай беспомощно заозирался и увидел, как Байтас, припав к гриве коня, не оглядываясь, стремительно удаляется в сторону. Придется Жумабаю в одиночку иметь дело с разбойниками.

Надо защищаться, спасти свою душу, – с этой мыслью он потянулся за шокпаром, зажатым под коленом. Но, собираясь выхватить дубинку, Жумабай со страхом подумал, что ведь и его могут запросто огреть палкой по затылку. Пока он это соображал, противник, словно угадав его нерешительность, перехватил крепкой рукою шокпар и, тесня своим конем светло-серого Найманкока, вдруг изловчился и натянул Жумабаю на глаза его большой черный тымак. Вмиг став беспомощным, ослабев духом, ослепнув под натянутой до самого носа лохматой шапкой, Жорга-Жумабай позволил противнику вырвать у него шокпар.



А Найманкок, словно наткнувшись на преграду, вдруг резко остановился и стал на месте как вкопанный. Тогда Жумабай, осторожно выпрямившись, сдвинул с глаз шапку-тымак – и увидел, что перед его иноходцем сидит на своем коне школяр, держит в руке отнятый шокпар и, покачиваясь в седле, закатывается беззвучным смехом. Это был Абай – истинный волчонок, сын матерого волка, – так назвал мальчика сам Жорга-Жумабай... Ему было стыдно, досадно, что его смог до полусмерти напугать этот кунанбаевский волчонок.

– Ты, сынок, дурную придумал шутку, – пробурчал Жумабай. – Здесь проклятое место, настоящее волчье логово... А тебе всё забава...

Абай развеселился, что нагнал страху на взрослого джигита. Но мальчик понимал, что ему весело, а Жумабаю-то досадно, поэтому перестал смеяться. Склонив смуглое румяное лицо, опустил глаза, однако не в силах не улыбаться, – он начал выворачивать свою лисью шапочку-борик. Эту шапку и верхний чапан он вывернул наизнанку, чтобы выглядеть, как ему представлялось, настоящим разбойником-камчигером, а в довершение образа он обвязал рот и нос красным платком и гнусавым измененным голосом выкрикивал воровские угрозы.

Подскакивая в седле, громко хохоча, приближался к ним возвратившийся назад Байтас. Он не подавал виду, что тоже испугался, и, понимая досаду и гнев Жумабая, желал все свести к шутке, поэтому и смеялся еще издали, на подходе.

– Только посмотрите! Он даже лысинку своему саврасому замазал!

Это теперь и Жумабай заметил: белая звездочка во лбу коня была замазана сырой глиной. Жорга-Жумабай был человек самолюбивый. Ему не хотелось выставлять себя на посмеище. Поэтому и он решил все свести к шутке. Заговорил насмешливым голосом:

– Надо же, весь в породу отцовскую выдался! Послушать только, как воют эти Керей и Уаки, – мол, тобыктинцы воры,



тобыктинцы грабители! И что же? Даже такой сосунок из рода Тобыкты – и тот знает воровские повадки. Выходит, не зря воют Керей и Уаки.

Сказав это, Жумабай и сам рассмеялся наконец...

Абаю не было известно, по каким делам ездил в город Жумабай. Из того, что немногословно сообщил певец Байтас, он понял только, что выполнялось какое-то важное поручение Кунанбая. Мальчик и раньше видел, каким доверием пользуется у его отца, ага-султана Кунанбая, подручный Жумабай. И если Жорга-Жумабай обидится, он может и нажаловаться отцу... И мальчик, уже смахнув с лица всякую улыбку, выровнял свою лошадь бок о бок с иноходцем Жумабая и, с самым учтивым выражением на своей румяной физиономии, молвил:

– Жумеке! Дорога длинная, ехать скучно. Не сердитесь, Жумеке, за мою шутку. Я хотел немножечко потешить вас... Извините меня.

Сказано было вежливо, скромно, со смиренным поклоном в седле.

Жумабай сразу размяк от слов мальчика. С довольным видом покосившись на него, ничего не ответил и ехал дальше молча. Байтас же, развеселившись, начал поддевать школяра, шутить с ним, словно со сверстником.

– Ну и хорош! Вот ты ловкач какой! «Извините...» Твои извинения, знаешь, на что смахивают, мальчик? Да на одну мою песенку.

*Нагрузи верблюда в поход –
Терпеливо он все несет.
Но боюсь и подумать я:
Ойке-апа как стерпит моя?¹*

Абай не все понял.

¹ Стихи здесь и далее, если не оговорено иное, даны в переводе из первого издания эпопеи «Путь Абая» на русском языке. По кн.: М. Ауэзов. Путь Абая. М.: Худ. лит., 1971. – Прим. ред.



– О чем это вы, Байтас-ага? Кто такая Ойке-апа?

– Э! Разве не знаешь Ойке-апа? На самом деле не знаешь?

– На самом деле...

– А на самом деле это моя жена. Я все прошлое лето гулял да разъезжал по аулам, пел, веселился, развлекал молодух и юных красоток. Но, в конце концов, веселье закончилось, настало время возвращаться домой. А как возвращаться? Ведь стыдно перед бабой своей, ну что я мог сказать ей в свое оправдание? Ничего. И вот что я придумал. Решил остудить ее гнев заранее, еще издали – сочинил для нее песенку, напел ее кое-кому из своих друзей и отправил их домой к жене, за день за два до моего возвращения, чтобы они успели ее спеть Ойке-апа...

Абай с Жумабаем, ехавшие в ровном ряду с ним, внимательно слушали Байтаса, с двух сторон заглядывая в его самодовольное лицо. Смотрели, улыбаясь, с огоньком любопытства в глазах. И стар, и млад были увлечены рассказом этого красавца, степного певца-сэре, – но каждый по-своему. Жумабай вприщур поглядывал на него, с пониманием и одобрением. Абая же не терпелось услышать, чем все закончилось. Он живо представил себе и возмущенную Ойке, и прошлогоднее веселье Байтаса в кругу праздных гуляк, таких же певцов и краснобаев, как он сам. Абай не был близко знаком с известным сэре, но сейчас воспользовался его благодушным настроением и тем, что тот сам заговорил с ним как со сверстником, и осмелился спросить:

– Байтас-ага, ну и что еще напели вы тетушке Ойке, чтобы она не сердилась?

– Ну какая баба устоит, если издали прилетит к ней песенка-письмо с мольбой о прощении,.. – приосанившись, улыбнулся Байтас, отвечая, скорее, не школяру, а Жорге-Жумабаю... – Вот, приехал я, а она выходит навстречу, сама привязывает коня, и все такое...– Он выпрямился в седле и горделиво повел подбородком в сторону Жумабая.



«Ну конечно... Выходит, ловко провел ее», – подумал Абай. Слушая рассказ, не заметили, как быстрая скачка по степи незаметно сошла на ровную, неторопливую езду. Но скоро мальчик опять встрепенулся, нетерпение вновь охватило его сердце, вырвалось из него и стремительно увлекло Абая вперед.

– Уа, парень, не гони! Коня запалишь! – только и успели крикнуть вдогонку взрослые. – Ускачешь один – разбойники тебя поймают! – пугали его.

Но, вырвавшись из пыльного города, наконец-то избавившись от скуки медресе, Абай неудержимо рвался к родному аулу, который был недалече, звал его. И ничего, кроме этого зова, он уже не слышал.

Да Абаю и сам Есембаевский воровской угол, нагнавший страху на взрослых, и пресловутые бандиты-барымтачи ничуть не представлялись чужедальними, жуткими и враждебными. Ужасные барымтачи – это те же казахи из соседних родов, и если на вид отличаются от других, так только ветхостью бродяжнической одежды да убожеством конской сбруи. Такими они предстают в рассказах очевидцев. В руках боевые палки-соилы, вот и все оружие. Правда, отличие разбойников от прочих было в том, что ради куража и устрашения они набрасывали поверх седел своих лошадей желтые попоны. Так и называли их в народе – «те, что на желтых попонах»... Абаю было не страшно, но любопытно с ними встретиться – посмотреть бы, как они выглядят на самом деле и как ведут себя во время разбойного нападения...

А что касается названий этих мест – Караульная высотка, Тайный овраг, – все они издавна были на слуху, все это были урочища Есембаевского угла, и все это были названия стоянок на путях кочевий родного аула. Обычно два раза в году, в пору весенних и осенних перекочевков, аулы Кунанбая располагались на этих стоянках и не спешили их покидать – иногда стояли, пока скотина не выедала кормовую траву в окрестностях. Вон виднеется широкая ложбина между двумя горами, вся из-



резанная оврагами и лощинками по склонам. Издали можно разглядеть пустые загоны для овечьих отар, жердевые коновязи, места, где ставили юрты, – все это знакомое, в памяти ясное. И по этому пути через Есембаевские становища год назад увозили его в город на учебу в медресе. А еще раньше на этих стоянках, во время кочевок на джайлау и возвращений к зимнику, он играл в альчики со своими сверстниками, бегал наперегонки, состязался в прыжках в длину, скакал на жеребенке. В воспоминаниях особенно милым сердцу мальчика временем, предшествовавшем его отъезду в город, были дни, проведенные им на Есембае.

И никакие конокрады-разбойники, «проклятые места», «дурной край», о чем толкуют эти взрослые джигиты, не могут смутить мальчика. Его глазам предстают невинные отлогие склоны холмов, золотистое сияние их вершин, зеленые очажки стоянок и широкая долина, через которую в плавном беге догоняют друг друга седые волны тырсы, серебристого ковыля. Взгляд его медленно скользит по просторам беспредельной степи, по знакомым, родным, радостно узнаваемым холмам и пригоркам, среди которых он увидел свет любви и о которых так сильно тосковал в разлуке. И этот прохладный, ровно и постоянно льющийся ветерок – какая радость, нега, ласковое дуновение!

Не в силах отвести взора, мальчик смотрел как зачарованный. Ему хотелось широко развести руки, нежно обнять породившую его землю, и погладить ее, и поцеловать, и тихо прошептать: «Я скучал по тебе, пусть другие что угодно говорят про тебя, но я ничего такого не скажу». Ему вовсе не надо было бояться каких-то там воров и конокрадов, потому что он любил родной край вместе со всеми его конокрадами и разбойниками.

Снова пустив лошадь в отчаянный галоп, он готов был один ускакать к родному аулу. У сопровождавших его взрослых мужчин не оставалось выбора, как только поспевать за ним.



– Оу, Жумеке! Сколько можно плестись, словно *лошыдаи-возниччи* за коляской *майыра-начандыка*¹? – воскликнул Байтас.
– Чем терпеть такое унижение, дадим коням волю, Жумеке!

Выкрикнув это, Байтас с места послал своего иноходца в стремительный, ровный бег. Жумабай поневоле должен был не отставать от него.

Абай, оглянувшись, чуть придержал лошадь – и, когда все трое выровнялись в одну линию, началась непрерывная долгая скачка до самого урочища Колькайнар.

Три всадника, без отдыха скакавшие с рассвета от самого Коряка, к ранним сумеркам на взмыленных лошадях добрались до аулов Кунанбая на стоянке Колькайнар. Здесь располагалась Большая юрта бабушки Зере и родной матери Абая – досточтимой Улжан.

Колькайнар, с обилием чистой родниковой воды, но не слишком просторными пастбищами являлся лишь местом временной стоянки на пути к перевалу Чингиз. Здесь разбили свои стойбища всего три-четыре аула.

Все они назывались «аулами Кунанбая». Это и родной аул мальчика, и поселения самых близких родственников. На небольшом ровном пространстве вокруг родника тесно располагались юрты, меж ними суетливо мельтешили люди, носились блеющие ягнята – и все это тонуло в смуглом свете наступивших сумерек. Кудрявые дымы бодро взвивались над земляными очагами и, поднявшись не очень высоко, развеивались и тут же смешивались в единое голубоватое облако, мирно осенявшее вечерний аул. В его насущные хлопоты были вовлечены все – овцы и ягнята с блеянием, в спешке искали друг друга, азартно брехали собаки, протяжно и высоко звучали голоса людей, встречающих скотину. И вдруг словно

¹ «*Лошыдаи-возниччи*», «*майыр-начандык*» – Русское начальство во время наездов в степь передвигалось в конных повозках с возничим – «лошыдаи-возниччи». Знатные казахи, местная власть, должны были плестись на своих быстроногих аргамаках за тихоходными бричками. Начальниками уезда обычно бывали военные чиновники в звании майора, и казахи называли их одним словом – «Майыр».



громом перекрыло все эти звуки – грохот копыт огромного косяка лошадей, которых гнали на водопой, сотряс долину. Визгливое ржание и храпение кобыл, густая пыль, поднятая ими, и призывный утробный рык могучих жеребцов, наконец-то освободившихся от седла и зовущих свой табун, – грохот, голоса людей и коней, пыль – все это бурей пронеслось мимо, и все это было обычной хлопотливой вечерней жизнью аула. И обо всем этом долгое время тосковал мальчик. При виде милой сердцу картины родной жизни он мгновенно переполнился радостью, замер, весь трепеща, словно остановленный на всем скаку норовистый жеребенок.

Путники свернули к юртам, расположенным ближе всего к роднику. Это был аул из пяти больших белых юрт, окруженных множеством других, серых, возле каждой дымил земляной очаг. Аулом правили две матери Абая: родная Улжан и младшая мать – токал Айгыз, третья жена Кунанбая. Всадников, которые направлялись в объезд серых юрт к белым и осторожно пробирались сквозь тесную отару яловых овец, гонимых на вечерний выпас, узнали издали. Первыми, кто их увидел, были женщины, присевшие возле своих юрт за дойкой овец. Подоткнув подолы платьев за пояс, с ведрами в руках, они стали среди дойных овец и по-бабы визгливо завопили:

– Ойба-ай! Вернулись! Наши вернулись из города!

– Это же Абай! Айналайын, это он! Пойду, мать извещу! – вскрикнула какая-то пожилая байбише и засеменила к белым юртам.

– И на самом деле Абай! Телькара¹ же это! Смуглячок-Телькара! – назвала его ласковым прозвищем, данным младшей матерью, Айгыз, какая-то женге в фартуке. – Надо обрадовать сестрицу, бисмилла! – И она кинулась вслед за старухой к Большой юрте.

¹ *Телькара* – прозвище Абая, которого воспитали и мать, и бабушка. *Тель* – сосунок, выкормленный двумя матками, *кара* – черный, смуглый.



Улжан, родная мать Абая, истосковавшись по сыну, считала дни с тех самых пор, как Байтас-сэре был отправлен за ним в город. И как раз сегодня ожидала она возвращения своего мальчика. Полнеющая белолицая байбише, уже за сорок, но еще красивая и моложавая, Улжан услышала крики женщин, но не заспешила выбегать из дому. Она приблизилась к свекрови, почтенной Зере, сидевшей на почетном месте, торе, и сообщила ей о приезде Абая. Затем помогла подняться старухе, взяла ее под руку и вместе с нею вышла из юрты. Обе они ждали своего любимца. Для старой Зере, уже почти оглохшей, внучок Абай был дороже всех среди ее многочисленных потомков. После его отъезда в город на учебу она денно и ночью молилась за него, скучала по нему, тревожилась о его здоровье и молитвами старалась уберечь внука от всяческих несчастий.

Обогнув аул по дуге, всадники подъехали к Большой юрте с тыльной стороны и между этой юртой и гостевой, поставленной чуть восточнее, увидели на открытом месте небольшую толпу, впереди которой стояли обе матери. Здесь были снохи и соседские бабы, а также несколько дряхлых аксакалов и старух, случайно оказавшихся рядом. Крутилось много детворы – чуть ли не со всего аула. Они-то продолжали прибывать, выскакивая из-за каждой юрты и с криками устремляясь сюда же.

Абай опередил своих спутников, направляясь к этой толпе; кто-то перехватил у него повод и увел в сторону коня; мальчик среди женщин прежде всего увидел свою матушку и торопливо направился к ней. Но еще издали она подала знакомый голос, сдержанно произнеся:

– Айналайын, сынок! Прежде подойди к отцу – вон там он. Отдай салем вначале ему.

Быстро оглянувшись туда, куда указывала мать, Абай тотчас увидел своего отца. Поодаль, за гостевой юртой, стоял Кунанбай, и перед ним несколько человек. Смутившись за свою оплошность, Абай направился в его сторону. Только теперь стала ему понятной материнская сдержанность. Уже спешили



туда же Байтас с Жумабаем, сойдя с коней на почтительном отдалении и ведя их в поводу. Но огромный, как глыба, седобородый Кунанбай стоял, отвернувшись, и единственным глазом своим уставился вовсе в другую сторону. Каменно-серое лицо было обращено к закату солнца в степи. Оттуда приближалось несколько всадников. По одним их темнеющим силуэтам, по осанке, по дорогой одежде можно было судить, что это немолодые властительные люди. Кунанбай вышел встречать не кого-нибудь, а именно их.

Когда, сгибаясь в поклоне, Байтас и Жумабай приблизились к нему, одновременно с ними подошел и Абай. Голоса приветствий всех троих смешались вразнобой, Кунанбай повернул к ним голову и коротко ответил. Но с места не сдвинулся. И сына к себе не подозвал. Бросил внимательный, недолгий взгляд на мальчика и без улыбки, спокойно молвил:

– Вижу, подрос, возмужал. Твои знания, надеюсь, подтянулись к твоему росту. Стал муллой?

Шутит, выражает скрытое сомнение? Непонятно. Может быть, ему и на самом деле хочется узнать, чему сын научился в медресе?..

С тех пор как Абай помнит себя, он рос, постоянно, с тайным вниманием наблюдая за выражением лица своего сурового родителя. И словно опытный чабан, разбирающий приметы погоды в ненастный зимний день, мальчик мог точно предугадать настроение отца и повести себя соответственно этому. И сам отец, заметивший столь чуткую наблюдательность сына, выделял Абая среди других своих детей. Также знал Абай, что Кунанбаю не нравятся натуры робкие, стеснительные, не умеющие дать быстрый ответ на любой вопрос. Чуть помолчав, мальчик своим еще детским голосом внятно, спокойно произнес:

– Благодарение Аллаху, все у меня хорошо, отец. – Выдержав еще паузу, он продолжил: – Как только прислали за мной лошадь, хазрет благословил. Занятия в медресе еще не



кончились, но фатиху он прочел, я прибыл с благословением, отец.

Отвечал он с достоинством, как взрослый человек. Ответ был им заранее подготовлен.

Рядом с его отцом стояли Майбасар и его шабарман, посылный. Майбасар – брат Кунанбая, рожденный от одной из младших жен-токал, их у его отца, Оскенбая, было четыре. Кунанбай в этом году, утвержденный ага-султаном округа, сразу же, как только оказался во власти, назначил своего младшего брата ага-волостным всего рода Тобыкты.

Майбасару понравился ответ мальчика, и он решил польстить его отцу.

– Гляди-ка, а ведь малец рассуждает как взрослый, – начал было он, но Кунанбай его прервал.

– Иди, сынок, к матерям, поздоровайся с ними, – сказал он и тотчас отвернулся.

Абаю только этого и нужно было. Теперь, быстро направляясь к матерям, он снова был беспечный веселый ребенок. Сзади, слышал он, Жорга-Жумабай со смехом рассказывал, как школяр разыграл его. Мальчик в спешке даже не оглянулся, он был уже недалеко от родной матери! Но тут его перехватила одна из теток, жена Жумана по имени Калика.

– Ойба-ай, Телькара! Голубчик, душечка Телькара! Да какой ты стал большой! Прямо настоящий джигит! – восторженно запричитала женге Калика, обняла его и стала смачно целовать в лицо.

Набежала другая тетушка, жена Изгутты, названного брата Кунанбая, Тобжан-апа, и тоже стала осыпать мальчика поцелуями. Ну и мужчины последовали их примеру и начали целовать его. Он в толпе встречающих увидел много радостных лиц и других дядюшек-тетушек. Все вместе они снова превратили школяра в ребенка, замусолили поцелуями, заласкали его, и Абай уже не понимал, радоваться ему или досадовать этим ласкам.



Но наконец, побывав в объятиях чуть ли не у всех родственников, он смог вырваться и направился к своим двум матерям. Родная мать Абая, досточтимая Улжан, и вторая мать, красавица Айгыз, стояли рядом.

Когда он, выскочив из толпы, приблизился к ним, Айгыз пошутила, улыбаясь:

– Ох, эти бабы-неряхи обслюнявили всего тебя, поцеловать даже некуда!

Засмеявшись звонко, она нагнулась и чинно поцеловала мальчика в глаза.

Когда, наконец, он подошел к своей матери, Улжан не стала его целовать. Она лишь молча, крепко обняла его, прижав к груди, и долго, прикинув лицом к голове сына, вдыхала запах его теплого детского чела. Приученная мужем быть сдержанной со своим детьми, обходиться с ними без лишней ласки, она и на этот раз не позволила себе большего. Но в безмолвном ее объятии, у родной материнской груди, мальчик ощутил такую нежную близость, что сердце его замерло, а потом забилось с неистовой силой... О, материнское объятие!

Улжан продержала сына возле себя недолго.

– Подойди к бабушке, вон она ждет, – и мать направила его к Большой юрте.

Старая бабушка Зере стояла у входа, опираясь рукою на палку, и бранилась:

– Негодный мальчишка! Не соизволил вперед ко мне подойти, а сразу пошел к отцу! Как есть негодный мальчишка! – сердито ворчала она.

Но стоило внуку подойти и оказаться в ее объятиях, как вместо «негодного мальчишки» последовало ласковое, умиленное «голубчик мой, ягненок мой... Абайжан!» И все это вместе со старческими всхлипываниями.

Зайдя в Большую юрту, Абай пробыл в бабушкиных объятиях до самых глубоких сумерек. Мальчик отказывался от еды, хотя не ел целый день. Ему предлагали то кумыс, то холодное



мясо, но он толком так и не поел в этот вечер. Казалось, что чувство голода притупилось у него за весь долгий день, полный волнений и радостей возвращения домой.

Подавая еду, уже несколько поуспокоившись, матери начали засыпать его вопросами.

- Скучал по дому?
- Муллой-то стал?
- Учеба закончилась совсем?

Абай почти не отвечал на вопросы. Лишь однажды, когда спросили, о ком скучал больше всего, он быстро спросил:

- А где Оспан? Куда он подевался?

Улжан поначалу не обратила на это особого внимания, но когда сын второй раз спросил про Оспана, младшего брата Абая, мать показала рукой на бабушку Зере и сказала:

– Мы выставили его вон. Целый день не давал нам покоя. Куда же ему деться, озорнику сумасбродному? Носится где-нибудь.

Бабушка почувствовала, что говорят о чем-то, имеющем отношение к ней, и спросила:

- Вы про что это? Говорите громче, ничего не слышу.

На что Абай высоким мальчишеским голосом ей объяснил, что говорили про Оспана; затем так же громко спросил ее:

– Бабушка, что случилось с твоими ушами? Апырай, неужели ты ничего не слышишь? В прошлом году ведь хорошо слышала.

Абаю стало жалко старенькую бабушку, которая осталась совсем одинокой среди окружающих ее людей – со своей старостью, с глухотой... Он прилег головой на такие родные с раннего детства колени и обнял ее поникший слабенький стан. Старая женщина поняла, что ее ласкают, жалея, и, растроганная, не совсем впопад ответила:

– От бабушки твоей ничего прежнего не осталось. В чем только душа держится... Вот, душа-то одна, пожалуй, и оста-



лась... – Тут старая Зере смолкла, погрузившись в свои привычные горестные думы.

– А что, если полечить твои уши? – спросил Абай, желая отвлечь ее от скорбных дум. – Уши твои нельзя ли полечить, бабушка? – громко повторил он.

Сидевшие рядом домашние, дядья и тетки, дружно рассмеялись – глядя на них, засмеялась и бабушка.

Старенькая Зере, желая поддержать внука в его благих намерениях, с улыбкой молвила:

– Ну, если мулла-заклинатель наговорит молитву и подует в уши, говорят, помогает. Уши после заклинаний открываются.

– А почему бы нам не попробовать? – весело поддержала старшую мать красавица Айгыз. – Вот, внук пусть и подует. Ведь Абай вернулся к нам почти что муллой!

– Пусть попробует! Пусть подует! – поддержали и другие.

– От него не убудет, а старой матери душевная поддержка...

Похоже на то, что эти взрослые люди, особенно соседки и тетушки, готовы были поверить в чудесные способности Абая. Ему стало немного досадно. За время учебы в медресе он насмотрелся на эти «заговоры», «ушкириси», «чудодейственные зелья» и не мог всерьез воспринимать своей детской душой всех этих многочисленных знахарей, лекарей, особенно тех мулл, которые причисляли себя к разряду священнодействующих кудесников-бахсы. Вспоминая все это, виденное за время учебы в медресе, что состояло при мечети, Абай сидел, смущенно улыбаясь, и вид у него был несколько подавленный. Но затем он вдруг снова оживился, улыбка снова стала озорной. Внук неожиданно повернулся к бабушке Зере, обхватил ладонями ее голову, наклонился к ней и стал что-то наговаривать в ухо. Народ вокруг притих и стал внимать, ожидая услышать слова заклинания. Абай на коленях придвинулся к бабушке поближе, устроился поудобнее и, состроив преважную мину на своем мальчишеском лице, начал читать стихи:



*Прелестен лик, в очах алмаз горит,
Заре подобен цвет ее ланит,
На гибкой шее белый снег лежит,
А брови тонкие начертаны творцом...*

Здесь он перевел дух и, читая дальше, начал растягивать слова и гнусавить, как заправский мулла при чтке молитвы «табарак»:

*Но почему в минуты редких встреч
Тебя всего пронзает острый меч,
Твой слепнет взор, твоя немеет речь
Перед ее сияющим лицом?*

И далее, по окончании чтения стихов, закрыв глаза, молитвенно шевеля губами, мальчик высвободил из-под головного покрывала бабушки ее большое белое ухо, приник к нему губами и шумно дунул, при этом таинственно, словно заправский бахсы, произнес: «Су-уф-ф!» Все было, как и положено было быть, но вместо ритуальной молитвы он читал стихи собственного сочинения, написанные нынешней весной. Абай начал писать стихи, впервые открыв для себя поэзию Навои и Физули. Но никто из присутствующих в доме поначалу ни о чем не догадывался. Потом некоторые стали поглядывать на него с недоумением. Тех, которые безо всяких сомнений бездумно приняли стихи за молитву, было больше. И мальчик, не желая больше дурачить взрослых, а также понимая, что потом им будет конфузно и неловко, начал читать «молитву» более отчетливым голосом, произнося каждое слово громко и внятно.

*Как пташка к югу свой стремится полет,
Так ты спешишь, прекрасная, вперед...
Не слышит бабушка – пусть с верой ждет:
Я излечу ее моим стихом!*



Когда он закончил и снова шумно выдохнул бабке в ухо: «суф-ф-ф!» – только тут люди уразумели его шутку, и в юрте все так и покатались со смеху. Последние стихи поняла даже бабушка. Беззвучно посмеиваясь и с добродушным видом глядя на мальчика, она ласково похлопала его по спине ладонью, затем притянула за голову, поцеловала и понюхала все еще детский для нее лобик любимого внука.

Стараясь не смеяться вместе с другими, Абай принял смиренный вид и, прижавшись к бабушке, спросил:

– Ну как, открылись твои уши?

– Э, и на самом деле! Вроде как получше стало. Айналайын, мой сыночек, да будут благословенны твои потомки!

Взрослые не только от души посмеялись над шуткой Абая, но и были удивлены остроумной проделкой мальчика, все с умилением смотрели на него. Когда к нему обратилось всеобщее внимание, он смутился и на смуглом лице его зардел румянец, но в глазах по-прежнему блистал живой огонек веселья. И еще в этих глазах взрослые заметили свет недетского ума, сразу выводивший чернявого мальчишку из всего детского озорного круга.

Вместе со степенной сдержанностью, характеру Улжан была свойственна нелицеприятная правдивость и строгость суждений в оценке всего. Она с самого начала приглядывалась к проделке Абая без улыбки умиления. Мать видела, как возмужал и лицом, и телом ее сын, взрослее стал разумом. Только на последнем стихе она тихонько прыснула в ладошку, засмеявшись вместе с другими, и сказала:

– Мой мальчик, я, отправляя тебя в город, думала, что ты муллой вернешься... А ты вернулся таким, как твои нагаши¹, родственники из моего племени, краснобаи да острословы.

Взрослые сразу поняли, о чем она говорит, и весело зашушукали.

¹ *Нагаши* – родственники по материнской линии.



- На кого намекает она? Шаншар?
- На Битан? Нет, на Шитана!
- Намекает, что он племянник Тонтеке!

Перебрали многих родственников по материнской линии, записных острословов. Вспомнили и про самого знаменитого, Тонтая. Он заболел, собрался умереть, но смерть несколько раз подбиралась близко, затем отступала. В последний раз, уже действительно перед самой кончиной, Тонтай сказал родным и близким: «Все, на этот раз, видно, надо обязательно умирать. А то неудобно перед муллами, – сколько раз еще они могут приходиться за поминальным подаянием и уходить не солоно хлебавши!» Об этом родственнике и напомнила какая-то из тетушек Абая.

– Апа, не лучше ли быть похожим на Тонтеке, чем быть шептунами, как эти знахари да целители, и потом за это свое шептание собирать задубевшие шкурки? – сказал Абай.

– Ладно, ладно, сынок... Ты уже совсем большим да умным стал у меня.

В эту минуту вошел, нагнувшись в дверях, здоровенный чернобородый шабарман-вестовой волостного Майбасара. С порога, не присаживаясь, шабарман Камысбай возвестил:

– Айналайын Абай, иди скорее к отцу. Вызывает тебя! – И Камысбай тут же повернулся и вышел.

Абай ничего не успел ему ответить. Он ничего и не хотел говорить. Молча встал, спокойно, сосредоточенно начал собираться. Его детская шаловливость, вольное обращение, игривая ребячливость – все это мгновенно ушло, как и не бывало. Видно было, что он весь внутренне сжался, прежде чем выйти из материнской юрты и идти туда, где ждал его отец.

Гостевая юрта не была похожа на дом матерей, нелюдимостью и холодностью веяло от внешнего вида гостевого дома. Переступив его порог, Абай звонким детским голосом отдал салем всем сидевшим в юрте взрослым. Те хором, вразнойой ответили. Людей было немного: сам Кунанбай, его брат Май-



басар, спутник школяра Жумабай, кроме них здесь были крупные владельцы-баи из рода Тобыкты: Байсал, Божей, Каратай, Суюндик. Присутствовал еще и джигит-подросток Жиренше, внучатый племянник Байсала, взятый им в дорогу для натаски и науки в разных делах. Этот Жиренше был постарше Абая, они дружили, однако умом и соображением своим старший отнюдь не превосходил младшего.

Аткаминеры из рода Тобыкты, владельческие баи, были теми верховными с западной стороны, которых в священный час заката поджидал Кунанбай. Раньше наблюдательный Абай всегда замечал, что если собирались у отца эти люди, то следом надвигалось какое-нибудь событие. Скрытное собрание четырех-пяти человек, которых по своим соображениям приглашал отец, предвещало дело чрезвычайной важности.

Прежде Абаю никогда не приходилось присутствовать на подобных собраниях, слушать, что говорят взрослые, а сегодня вдруг отец вызвал его... Первый раз... Неужели хотят сообщить ему что-то или посоветоваться... Абай не мог даже предположить, о чем могут эти важные люди говорить с ним.

Не успел он и присесть, как гости дружно начали расспрашивать его о городе, об учебе, обращаясь с ним как со взрослым, спрашивали о здоровье... Особенное внимание проявлял к нему Каратай, человек велеречивый, быстроглазый, с улыбочивым лицом. Поговорив с Абаем, Каратай стал вспоминать и о других детях Кунанбая.

– А этот твой малый, непоседа Такежан, шустрый какой! Живчик, на месте не усидит. И видно по нему, что свое не упустит.

– Который? Тот, что воспитывается в доме байбише Кунке? – спросил почтенный Божей и ответил самому себе: – Да, парнишка пряткий.

– Действительно... с огоньком, – как бы соглашаясь с другими, высказался и Байсал.

Разговор о детях Кунанбая был вызван не чем иным, как желанием гостей польстить угрюмому хозяину. Но сам Кунанбай



на это никак не отозвался, сидел молча, и его каменное лицо, серовато-бледное, было отрешенным. Казалось, он считает неуместным отвлекаться на такие мелкие разговоры. Но вдруг, обернувшись к Абаю и указав на него, негромко произнес:

– Если и ждать чего-то хорошего от моих детей, то ждите от этого смуглявого сосунка!

О намерении Кунанбая представить Абая на совете старейшин и таким необычным способом объявить, что сын допускается до серьезных отцовских дел, – об этом раньше других догадался тот же Каратай. Живо подхватив слова Кунанбая, гость заговорил умиленным голосом:

– А вы слышали, что он сказал, когда ему делали обрезание? – хихикнув, он поглядывал то на Божея, то на Байсала.

Абай был просто убит тем, что Каратай собирался донести до этих серьезных взрослых людей один его маленький детский стыд, упоминание о котором всегда вызывало в нем сильное чувство досады. Но как остановить болтливую старика, мальчик не знал, и ему оставалось одно: помрачнев, он неподвижно сидел на месте, весь уйдя в себя, как будто разговор вовсе не касался его.

– Когда совершили то, что положено, мальчишка заплакал от боли и сказал: «О Аллах, лучше бы я родился девочкой, тогда не мучился бы, не делали бы мне это...» На что мать ему ответила: «Глупый мой жеребеночек, будь ты девочкой, тебе бы пришлось рожать, а это побольнее будет». – «Ойбай, у них тоже есть, оказывается, такое мучение!» – закричал он и тут же перестал плакать.

Присутствующие сдержанно посмеялись, скорее, из вежливости и желания угодить отцовскому чувству. Но Кунанбай даже бровью косматой не повел, ни словом не отозвался на разговор, будто ничего и не слышал. По его напряженному серому лицу и по лицу Байсала, который не смеялся и тоже был угрюм, Абай понял, что сейчас начнутся серьезные разговоры, и тогда закончатся его постыдные муки. Мальчик был доволен.



А то что же получается? Его как взрослого пригласили на совет, однако взяли да и выставили на посмешище...

В это время в юрту вбежал Оспан, младший братишка, тот, о котором весь вечер спрашивал вернувшийся домой Абай.

Малыш не забыл отдать общий сале́м. Но, не взглянув ни на отца, ни на гостей, Оспан бросился к брату, обнял и крепко прильнул к нему. Ибо любил он Абая больше всех на свете, любил как старшего брата, как друга – хотя разница в возрасте была у них лет пять-шесть. Сейчас, в первые мгновения встречи, Абай был для него обожаемый старший брат, по ком мальчонка сильно соскучился. Абай, порывисто раскрывший объятия навстречу Оспану, крепко расцеловал братишку.

Взрослые при виде их бурной встречи поняли, что братья после разлуки увиделись впервые, и, растроганные, простили детям их вольное поведение. Однако баловник Оспан в следующую же минуту испортил все впечатление и показал перед важными гостями, на что он способен. Присев на корточки перед братом, мальчишка обхватил его за шею и шепотом, в самое ухо, произнес грязное ругательство, которому он научился у Такежана из Большого дома. Абай испуганно отшатнулся и оторопелым голосом начал было:

– Уа! Что ты сказал...

Но маленький крепкий Оспан мигом вскочил на ноги, кинулся на шею сидящего Абая, обнял его и, не давая ему опомниться, кося на отца сверкающие глазенки, вдруг резко навалился и опрокинул брата на спину.

Абаю стало смешно от братишкиных проделок, однако, смутившись перед взрослыми, он попытался тотчас же подняться. Но плотненький, не по-детски крупнотелый Оспан не дал ему этого сделать. Он привскочил на ноги – и опять набросился на брата, вновь повалил его спиной на пол. Но на этот раз, в дополнение к своему злодейству, озорник что-то выплюнул изо рта в кулак и, оттянув на Абае ворот рубахи, бросил ему на голое тело нечто омерзительное, скользкое, холодное как



ледышка. Абая всего передернуло, он забился, словно в корчах, находясь в самом унижительном положении, прижатый к полу вероломным братишкой. Абаю хотелось провалиться сквозь землю... Примерного школяра, только что с чинным видом сидевшего рядом со взрослыми, братец-шалопай вмиг превратил в перепуганного мальчишку, отчаянно дергающегося на полу, застланном кошмой.

Забыв про грозного отца, весьма довольный своей проделкой, подсакивая верхом на груди у брата и весело смеясь, Оспан завопил:

– Лягушку! Я ему лягушку засунул под рубаху!

От этого известия Абая затрясло еще сильнее, он начал дергаться и подсакивать, пытаясь высвободиться. Кунанбай всего этого не видел, ибо сидел к детям спиной. Но после криков Оспана громадное тело Кунанбая легко и быстро обернулось назад – и грозный единственный глаз уставился на мальчиков. Только теперь он заметил, что его смуглый, не по годам вымахавший младший сынишка сидит на груди опрокинутого наземь Абая, не давая ему подняться. Резко выбросив руку, отец схватил сорванца, подволок к себе, встряхнул и наградил двумя увесистыми оплеухами. Ошарашенный Оспан, вмиг умолкнув, немигающими глазенками уставился на отца, круглые щеки его вспыхнули багровыми пятнами. Он не заплакал, не издал ни звука, не стал вырываться – словно окаменев, мальчик молча смотрел в лицо родителю.

Суюндик, сидевший близко к ним, повернулся к Байсалю и шепотом произнес:

– Дорогой мой, ты видел? Нет, никакой это не мальчишка, а настоящий волчонок.

– Лучше скажи, что Куж¹ неистовый. Этот на многое способен, – пробурчал в ответ Байсал.

Кунанбай властным голосом позвал подручного-атшабара и, когда тот появился в дверях, приказал:

¹ Куж – мифический великан.



– Забери этого негодника! – Поставив мальчика лицом к выходу, Кунанбай с силой отшвырнул его от себя.

Оспан пролетел, спотыкаясь, до самых дверей и там был подхвачен дюжим атшабаром. Когда тот взял его на руки и хотел повернуться к выходу, Оспан решил, видимо, попрощаться с отцом и с гостями и, пока его озорной зад был направлен в их сторону, – бабахнул из него как из пушки. Майбасар, весело переглянувшись с Каратаем, улыбнулся в усы, но для виду предосудительно покачал головой и молвил:

– Надо же, бесстыдник какой, совести нет. Достоинство джигита потерял, стервец!

Каратай, Байсал и другие расценили изгнание отцом маленького Оспана не как его постыдное поражение, но как равносильное противостояние.

Кунанбай же, недовольный таким легкомысленным настроем старейшин перед разговором, сидел темнее тучи. Суровое окаменевшее лицо ничего доброго не обещало. В доме постепенно установилась тяжелая тишина.

Но гнетущее молчание как-то само собою прошло, и вскоре начался ожидаемый разговор, ради которого Кунанбай призвал родовых старшин.

2

В гостевой юрте на круглом столике с короткими ножками стоит каменная лампа, тусклый желтый огонек колышется на фитиле. Временами от порывов ветра, проникающего под нижний приоткрытый полог юрты, пламя лампы то вскидывается, словно собираясь взлететь, то падает и почти ложится набок, будто угасая. Отец сидит боком к лампе, и Абаю видны профиль его крупного, морщинистого лица и освещенная сторона могучего торса.

Жутковатым предстает грозное обличие отца. На его темном, сером лице шевелится седая щетина. Он говорит один, говорит



уже долго, в низком, рыкающем голосе слышатся гнев и досада. Но в его многословной речи иногда проскакивают удивительные пословицы и поговорки, они-то и интересны Абаю.

Смысл и конечная цель длинной отцовской речи Абаю непонятны, но с изумлением для себя он вдруг по-новому постигает суть многих пословиц, некоторые он слышал впервые, а другие знал и раньше. По обычаям старины, на подобных собраниях взрослые должны говорить не впрямую, но какими-то намеками, заходить издалека, выражаться иносказательно. Абай, как ни старался, никак не смог уловить общего смысла в извергаемом устами отца потоке слов, и он пребывал в скуке и растерянности. Была бы его воля, он тотчас ушел бы в наполненный весельем и радостью дом матери. Но уйти было невозможно, потому что сюда его вызвал сам Кунанбай.

И пришлось ему терпеть, томиться, время от времени он все же пытался вникнуть в суть разговора, но снова отвлекался и прислушивался лишь к отдельным словам отца, многие из которых показались ему грубыми, мрачными, угрожающими, тянущимися каким-то нескончаемым темным потоком, словно вражеские полчища, совершающие набег. Порою мальчику становилось так скучно, что он вовсе переставал слушать, а просто бессмысленно смотрел на отца, освещенного с одного бока жировой лампой.

Еще у маленького Абая появилась привычка так вот пристально, не сводя глаз, смотреть на какого-нибудь сказочника, степного певца, рассказчика легенд и всяких житейских баек. Слушать их было интересно, но для Абая-мальчика самыми захватывающими были истории, которые могло поведать человеческое лицо, и особенно – лицо старого человека, испещренное глубокими складками, изрезанное неисчислимыми морщинами. Стариковский лик завораживал Абая таинственными историями обвислых щек, изборожденного морщинами лба, поэмами грустных выцветших глаз, песнью седых усов и бород. По виду морщин и седин можно было, казалось ему, представить весь



земной мир, живой и неживой, с его чахлыми лесами, с каменными утесами, покрытыми трещинами, поросшими косматыми мхами. И седой ковыль, покрывающий степь, – не седые ли волосы стариков? А сколько звериного, животного, птичьего можно было угадать в образах старости!

С тяжелым вытянутым книзу лицом, изрытым глубокими складками, продолговатая отцовская голова повыше ушей была похожа на яйцо какого-то невероятного гуся-великана. И без того длинное лицо его удлинено округленной снизу стриженной бородой. Все это вместе – яйцо-череп, массивный нос, густые брови, посеребренная борода – кажется Абаю какой-то незнакомой опасной страной с холмами, лесами, с пустынными степями. И страж там имеется, единственный, недремлющий дозорный, день и ночь глядящий окрест. Это строгий, беспощадный, неподкупный страж, от него ничто не укроется, он никогда не дремлет, не отдыхает.

Кунанбай моргает редко, кажется, что единственный глаз его никогда не закрывается. Этот выпученный глаз впивается в каждого, с кем он говорит, и пронзительно буравит его. Откинувшись назад, с наброшенной на одно плечо шубой из мягкого меха верблюжонка, Кунанбай не оглядывается на других, разговаривает, пристально уставясь своим единственным глазом в лицо лишь одного человека – Суюндика, сидящего напротив, чуть в стороне. Кунанбай словно хочет в чем-то убедить именно его.

Седые волосы и борода Суюндика одинаково ровного серебристого оттенка, он сидит, опустив глаза, и только изредка поднимает их на Кунанбая. Однако тут же, не выдерживая, отводит взгляд в сторону. Абаю этот человек не представляется значительным, подобные встречаются часто. На первый взгляд и Божей ничем особенным не отличается, разве что он кажется мальчику красивее остальных – со своим матово-смуглым лицом, почти без морщин, с темной бурой бородой и огромным



мясистым носом. Но больше всего ему нравятся в Божее его узкие, раскосые глаза с припухлыми веками.

Во время долгой речи Кунанбая, заметил мальчик, Божей даже не шелохнулся, сидел, опустив голову, и непонятно было, то ли слушает он, то ли дремлет. Тени от косматых бровей накрыли его глаза, казалось, что их вовсе нет у него.

Из всех присутствующих старейшин один только Байсал, сидевший на самой середине тора, не отрывал своих ястребиных глаз от Кунанбая. Крупный и сухощавый, со светлой рыжеватой бородой, с ярким румянцем во всю щеку, с холодными синеватыми глазами, Байсал был ровен и спокоен, почти безмятежен.

Среди замкнутых неподвижных лиц, смутно освещенных желтым светом лампы, более оживленными были лица у Каратая и Майбасара, глубоко внимавших словам Кунанбая.

С одного конца полукруга, что образовался у стола с лампой, находился Абай, сидевший ниже отца, на другом конце замыкал ряд юный джигит Жиренше, явно взволнованный тем, что услышал. Это был сын Шоке, близкого родственника Байсала из рода Котибак. Байсал постоянно водил его с собой, общал к жизненным премудростям, давал ему посмотреть и послушать людей, ожидая в будущем от Жиренше исполнения каких-то своих больших надежд. Юноша был очень способным рассказчиком, люди успели уже оценить его. Да и сам по себе он был веселый, добрый малый. К Абаю относился хорошо, даже любил и баловал его. Из всех, находившихся в юрте, Абай только с ним хотел бы задушевной встречи наедине, однако Жиренше, глубоко захваченный словами Кунанбая, сейчас не обращал внимания на младшего друга. Абай даже подумал, что Жиренше притворяется, хочет перед аксакалами показаться взрослым и умным... Вот он, нахмурившись, отчего-то заерзал на месте. И только тут Абай понял, что отец завершает свою долгую речь.



– Если проступок подлого Кодара в глазах чужих людей ложится черным пятном на одного меня, то в глазах наших родственников его позор ляжет на нас с вами. Укор будет в нашу сторону, ведь мы отвечаем за все!

Умолкнув, Кунанбай наконец-то перевел взгляд своего единственного глаза с Суюндика на Байсала, восседавшего на торе. Потом цепко ухватился в Божея, сидевшего справа от него.

Но ни Божей, ни Байсал не взглянули на него, даже не шелохнулись. Остальные пришли в движение, зашевелились, словно почувствовали на плечах всю тяжесть сказанных Кунанбаем слов.

– Если слухи верны, то для нас этот позор страшнее смерти. Неслыханное поругание святых законов требует невиданной кары! – завершил Кунанбай, словно вынося окончательный приговор.

По его непреклонному виду всем стало ясно, что Кунанбай не отступится. Перед ними была каменная скала, которую никому не сдвинуть. Сидящие рядом содрогнулись в душе, увидев его в состоянии знакомого им гневного неистовства и надвигающейся ярости.

Спорить, возражать было бесполезно. У Байсала и Божея, давно и близко знавших Кунанбая, имелся один способ противостать его суровой, негибкой воле. Они старались не мешать ему заваривать любую кашу, а расхлебывать давали ему же самому. И если дело не затрагивало их собственных интересов, эти двое только так и поступали. Оба отмалчивались, не противоречили, но и не одобряли подобострастно, как другие.

Однако то, что на этот раз выдвинул Кунанбай перед старейшинами родов, не позволяло им ни отмолчаться, ни высказать хоть какое-нибудь мнение. Наступила гнетущая тишина. Все были подавлены, оцепенели от ужаса...

Кодара, о котором прозвучала обвинительная речь отца, Абай не знал. Разве что напомнил он имя злодея Кодара из на-



родной поэмы «Козы-Корпеш и Баян-Слу», которую слышал он в прошлом году из уст акына Байкокше, когда тот на празднике пел для его матерей в Большом доме.

Первым, кто заговорил после тяжелого всеобщего молчания, был словоохотливый Каратай.

– Дело неслыханное, богомерзкое дело, что тут говорить, – начал он. – Не дай Бог, чтобы такое случилось с нашими сыновьями и дочерьми. Воистину это поступок, достойный лишь нечестивых иноверцев... Но можно ли с полной уверенностью сказать: да, виновен Кодар? – завершил он осторожно, этим легким намеком внося сомнение в свои же сказанные вначале слова.

Из всех присутствующих родственником Кодару приходился только Суюндик, потому и, когда Кунанбай приводил свои страшные обвинения, единственный глаз его вперялся именно в Суюндика. И присутствующим стало ясно, что ага-султан дело ведет к тому, чтобы обвинение и приговор исходили от самих родственников Кодара.

Если хоть одно слово осуждения ужасному преступлению изойдет от Суюндика, то все последствия за наказание, каким бы оно ни было, лягут только на него. Он это хорошо понимал. К тому же он вовсе не уверился в том, что Кодар виновен, как утверждает Кунанбай. И осторожные слова Каратая «...можно ли с уверенностью сказать...» – дали ему возможность уцепиться за попытку защитит Кодара...

– Если уверимся в его виновности, пусть умрет! Стоя переждем ему глотку. Но хоть кто-нибудь может сказать, что своими глазами видел его грех? – начал было он, однако Кунанбай, привскочив с места, резко качнулся в сторону Суюндика, казалась, готов был броситься на него.

– Эй, Суюндик, даже мерзкий кровосос-албасты не может до конца потерять стыд! Если вожак у народа слаб, то вокруг него вьются иблисы, и эти злые духи одолеют народ. Давайте оправдаем нечестивца, признаем его непорочным, дадим в



том зарок Всевышнему. Но после смерти каждому должно предстать перед Ним с душой, незапятнанной ложью. А где я возьму вторую душу, ведь она у меня всего одна. Выходит, из жалости к мерзавцу я потеряю свою чистую душу? А ты готов отдать душу за Кодара? Поклянешься в том перед Богом?

Суюндик исподволь начал вскипать злобой на Кунанбая.

– У меня тоже нет второй души! – повысил он голос. – Я пришел сюда не для того, чтобы единственную душу закладывать... Я хотел послушать, какие будут обвинения. Думал, что здесь будет дознание.

И это было все, на что решился Суюндик. Хоть и повысил голос на Кунанбая, но под его горящим взглядом испуганно сник и готов был пойти на попятную. Почувствовав это, Кунанбай стал решительно нападать, дожимать его...

– Хочешь дознания, так спрашивай не его, а людей, которые разносят слухи о грехе Кодара, словно легенду о подвигах ба-тыра. Своих людей можешь не допрашивать, ты спроси у тех, чужих, дальних, которые вчера на большой сходке открыто срамили меня. Даже до них дошло! Поди попробуй докажи им, что это «ложь», попытайся заткнуть чужие рты. Ничего уже не выйдет! Так что будь настоящим мужчиной – или докажи его невиновность и оправдай, или поверь людям и накажи его. И не срами себя, если ничего не знаешь из того, что происходит под боком у тебя, и не показывай нам своего слабодушия.

Суюндик предпочел больше не отвечать. Прошла тягучая минута молчания. И тут Байсал, до сих пор безмолвно сидевший на торе, хладнокровно глядя на Кунанбая своими синими глазами, произнес негромко:

– Если признаем его виновным, какое будет наказание?

– Карать должно по шариату. Что определено шариатом, тому и быть. Подобное преступление казахам настолько чуждо, что прошлые поколения не знали такого. Похоже на то, что они были счастливее нас. Ведь в наших старинных казахских законах даже не предусмотрено наказание за такое преступление, – высказался Кунанбай.



До этого он говорил страстно, гневно, сверкая своим единственным глазом, но в последние слова он постарался вложить иные чувства. Здесь он давал понять, что переживает сильное душевное волнение, то самое, которое испытывают в глубине сердца и остальные. Что его охватила общая с ними печаль.

Тут все почувствовали, что незаметно, исподволь их загнули в тупик. Будто конь, который ткнулся мордой в глухую стену, – каждый из них понял, что теперь ему ни увильнуть, ни обойти эту стену. Никто ничего не мог сказать в ответ. Возразить было нечем.

Только у одного Божей на лице выразилось глубинное сомнение. Возможно, он хотел сказать, что шариат справедлив, и, следовательно, по нему не дозволено судить кому как вздумается. Но Божей промолчал, ибо понимал, что если кто-либо возразит в чем-нибудь Кунанбаю, того он зароет еще глубже...

И снова словоохотливый Каратай прервал всеобщее молчание.

– Какое может быть наказание по суду шариата за преступление Кодара? – спросил он у Кунанбая.

Ага-султан только теперь обратил внимание на Жорга-Жумабая, сидевшего намного ниже него, и кивнув в его сторону, молвил:

– Я посылал Жумабая в город к самому хазрету, чтобы узнать приговор. Благоверный хазрет Ахмет Риза определил: смерть через повешение. Нечестивца удавить на виселице.

– На виселице?! – вскрикнул Каратай.

Божей широко раскрыл глаза, с нескрываемым возмущением – и даже с отвращением – уставился на Кунанбая. Но тот не дрогнул, серое каменное лицо его выражало непостижимую жестокость. Божей, после ага-султана в округе второй по значимости человек, гневно воскликнул:

– Эй, неужели это окончательный приговор? Будь он даже грязнее собаки – но ведь это наш человек! Он нам родня!

На эти слова ага-султан ответил столь же гневно:



– Что? Если кто-нибудь считает его родней, печенью своей драгоценной – пусть у того лопнет эта печень! Кто посмеет спорить с шариатом? Будь Кодар дорог мне как благословенная вечерняя молитва – все равно отверг бы его и отдал под приговор шариата. Он заслужил это наказание. И я не отступлюсь!

Почувствовав всю безмерную ярость Кунанбая, Божей содрогнулся; не смея больше ничего высказать, коротко бросил:

– Если так ты уверен, что ж, воля твоя.

Байсал продолжал молчать. Не стал поддерживать Кунанбая, не возразил и Божею. Суюндик последовал примеру тех, кто предпочитал не перечить ага-султану и кто готов был всю ответственность за его решения переложить на его же плечи.

– Весь народ – под тобой, и преступники все в твоих руках. К кому, как не к тебе, приходится гонимым и обращаться беженцам за помощью. Только что бы там ни было, суди праведно, все хорошенько расследовав. В остальном решай своей волей.

Так высказался Суюндик, внимательно глядя не на Кунанбая, а на Божею. Если тот ведет себя столь сдержанно, значит, он что-то знает? И Суюндик решил отойти в сторону.

Остальные, один за другим, высказались так же: «Надо сначала как следует расследовать, потом судить». Говорилось это как бы между прочим, без особенного чувства ответственности за слова. И те, что всегда лукавили перед Кунанбаем и молчали, и те, которые пытались ему возражать, хорошо понимали друг друга.

В представлении Божея, дело Кодара имело для Кунанбая какое-то особенное значение. Божей чувствовал, что в связи с судом над Кодаром среди многосторонних интересов властителя появился еще один. Какой – этого Божей не знал. Во всяком случае он решил, что вся ответственность за последствия дела Кодара должна пасть на Кунанбая. Ведь никто из аткаминеров не согласился с ним, даже в угоду ему.



Кунанбай все это хорошо понял и прочувствовал. Но если все эти люди, не придя к согласию, стали бы даже грызться между собой, для него это мало что значило. Пусть сторона «Божей – Суюндик» имеет свой взгляд на дело, у него есть свой. И все будет по нему. Он даже не стал выяснять их мнений. И они отмолчались – это и устраивало Кунанбая. Ведь окончательного «да, я это сделаю именно так» он не высказал. А они и не спрашивали.

Находившиеся здесь пять-шесть человек были аткаминерами разных родов, и пришли к ага-султану, властителю рода Тобыкты, чтобы разрешить спорные дела многих сотен своих соплеменников. У каждого аткаминера за пазухой было припрятано и множество личных жалоб и заявлений, решение которых зависело от ага-султана.

Получив от русских властей свое назначение, Кунанбай сразу вырвался из рядов прочих владетелей и управителей, поднялся над всеми. Теперь у него в огромном краю – вся власть в руках. Обзавелся друзьями среди русских чиновников в городе. Кунанбай богат, мог творить что ему угодно, руки у него развязаны. Никто не может сравниться с ним в делах, у него железная хватка. И к тому же он образован, красноречив, обладает сильным, трезвым умом. Все это позволяет ему иметь большое влияние на людей, и он самый первый среди своих на всем пространстве огромного уезда.

Но если опора на свой сильный и богатый род Тобыкты давала Кунанбаю преимущество, это же обстоятельство приносило слабину в его властное положение. «Птица взлетает на крыльях, садится на хвост». Этими крыльями и хвостом для него являются главы других, кроме Иргизбая, родов – старшины Байсал и Божей, оба примерно ровесники ему. За последние годы они что-то не очень откровенны с ним. Каждый себе на уме, и, кажется, они потихоньку подсиживают его. Кунанбай это знает, однако дела управления ведет так, чтобы в нужное время они поддерживали его решения или хотя бы не мешали, вот как на сегодняшнем собрании.



В конечном счете, важно то, чтобы на глазах у народа как бы творилось их совместное правление, и тогда, если погорит Кунанбай – Божею и Байсалу отвечать вместе с ним. О чем вслух не говорилось, но он знал об этом, знали и они. Кунанбай среди них был настолько сильным властителем, что ему безразличны все их тайные козни и помыслы. И все же, хоть он и возглавлял Иргизбай, самый богатый род в Тобыкты, большое влияние на дела округа имели и властители других родов, представленные пятью-шестью присутствующими здесь баями и атаминерами. Весомость каждого из них определялась силой и богатством рода.

Почтенный Божей, сидящий по правую руку Кунанбая, – во-жак многочисленного рода Жигитек, в прошлом из жигитеков происходил сам могущественный властитель Кенгирбай, правивший железной рукою. Это после него жигитеки совсем распустились, стали использовать военную силу ради грабежей и разбоя, создали ватаги лихих скотокрадов-барымтачей. Теперь жигитеки в миру – непокорные крикуны и забияки, драчуны и задиры, большого богатства, однако, не нажившие...

Вот Байсал, рыжебородый и синеглазый, – из весьма почитаемого рода Котибак. Род этот носит прозвище «Табун длинногривого айгыра» – из-за своей плодовитости и многочисленности соплеменников. Котибаки разводят скот, но не стесняются и угонять его у соседей, захватывают из года в год большие куски чужих пастбищ и, зная, что их много и они сильные, не боятся пускаться в самые рискованные, темные дела.

А вот Суюндик из рода Бокенши, самого малочисленного среди остальных. И скота у бокенши не так много. Самым близким приходится для них род Борсак, который почти слился с Бокенши. Из борсаков был тот самый Кодар, которого сегодня судили на собрании старейшин.

Сам же Кунанбай – из тобыктинцев рода Иргизбай, который меньше по численности, чем Котибак и Жигитек, но по количеству скота, степного богатства, несравнимо превосходит все



другие роды, и потому иргизбаи свою власть распространяют над всеми племенами Тобыкты.

По родству Байсал ближе к Кунанбаю, чем Божей и Суюндик, поэтому в тех случаях, когда вынуждены были пускать в ход шокпары и соилы, призывался на подмогу прежде всего Байсал с его дружинами из воинственных котибаков. И Кунанбай, помня об этом, старался не потерять своего влияния на Байсала.

Каратай же ко всем этим сильным фигурам был не особенно близок, он весьма отдаленная родня им по косвенным линиям и правит делами мелкого рода Кокше. Род хотя и небольшой, но искони находится в добрых отношениях с широким кругом племен степного народа и уважаем в этом кругу.

Общинная деятельность и расторопность именно этих, присутствующих на совете, аткаминеров служили примером для множества других правителей родов и племен, а также всех белобородых и чернобородых – аксакалов и карасакалов – бесчисленных аулов.

Сложнее других отношения с кареглазым красивым Майбасаром, младшим братом Кунанбая, которого он всегда сажает на торе рядом с собой. С ним непросто. Ага-султан выдвинул его в волостные старшины – и сразу же Майбасар стал отдалять от себя всех друзей, близких, подручных Кунанбая. Будучи внешне молчаливым и смиренным перед старшим братом, Майбасар в душе настроен по отношению к нему весьма строптиво и задиристо. Он легко идет со всяким на ссору, вероломен, жесток. Из всего рода Иргизбай один Майбасар дерзко примерялся к власти, которой достиг Кунанбай.

Майбасар же явился причиной глухого недовольства между Кунанбаем и Божеем, причиной разлада ага-султана со многими аткаминерами.

Месяца за два до этого люди, исстрадавшись от произвола буйного Майбасара, подослали к ага-султану Божею, чтобы он передал устный приговор-прошение: «Убери Майбасара с должности». Но Кунанбай, хорошо зная, чем вызвано такое



прошение и что в нем все вполне справедливо, никак не отозвался на него. Беспредельный самодур, открыто творящий произвол, грубый и бессовестный правитель – такой старшина Тобыкты и был нужен Кунанбаю, чтобы на него сваливать все зло, творимое властью, – ведь Майбасар был весь на виду со своими неправедными делами. У Кунанбая был свой расчет: если Майбасар станет, словно взбесившийся айгыр, притеснять, гнать вверенный ему табун, то этот же табун будет грызть, рвать, тащить на суд более высокой власти самого же бешеного айгыра...

Итак, решение относительно дела Кодара ага-султан оставил без окончательного определения. Сделал это преднамеренно. Ибо то, что он услышал от старшин, не отвечало его ожиданиям. И, как всегда, не получившее общего решения дело, но угодное его произволу, он свел к двусмысленному умолчанию.

К концу схода старшин Кунанбай увел внимание собравшихся резко в сторону, начав разговор о самом насущном – о корме для скота, о сроках и направлении весенней кочевки. Если сидящие здесь, на общем совете, будут согласны, есть предложение кочевать до пастбищ Баканаса, Байкошкара, расположенных за перевалами Чингиза. И хотя земли эти принадлежат роду Керей, но надо его потеснить и поставить свои юрты, как и в прошлые годы, по берегам двух рек, протекающих там. Уже в продолжение немалого времени потихоньку захватывая и удерживая эти места, всевластные тобыкты намеревались совсем отнять их у кереев, которым такие просторы вроде бы ни к чему, ибо у них совсем мало скота.

Перейдя к этим обсуждениям, старшины родов заметно оживились и, до сих пор сидевшие молча, с насупленным видом, вдруг все дружно заговорили.

Тут юный джигит Жиренше, незаметно подав знак Абаю, вышел из юрты. Абай находился в смутном раздумье, хотя вместе со всеми тоже пришел к выводу, что надо прежде дока-



зять преступление, потом определять наказание. Чрезвычайно болезненно, с внутренним отвращением и неприязнью встретил он отцовские слова «повешение... виселица...». С тайным страхом, недоверием глядя на отца, мальчик подумал: а ведь он этого хочет, и он это может... Было похоже, что только он один догадывается об этом, остальные, видимо, не очень-то верят... Однако, поразмыслив еще, Абай пришел к выводу, что среди казахов в степи никогда не было слышно ни про виселицы, ни про казни «через повешение». Про виселицы ему стало известно из арабских книг, и казнили так во времена халифа Гарун-аль-Рашида в древнем Багдаде. Повесить... виселица... Нет, такое невозможно, и сказано это было просто так, для острастки.

Абай вместе с тем был весьма удивлен, когда отец сказал про Жумабая, что посылал его за приговором к хазрету. Сколько дней пробыли вместе в городе, а также и при возвращении, на пути домой – и ни разу не проговорился, не намекнул даже, что доставляет такие страшные вести. «Смерть через повешение»... Что за человек этот Жумабай? Скакал рядом на коне, заигрывал, как с ребенком, и шутил, отшучивался, словно с ровесником своим.

Душа взрослых – потемки, думал Абай. Почему их так сложно понять? Наверное, потому, что сам я не взрослый. Когда повзрослею – пойму... И ему не терпелось скорее возмужать, постигнуть загадочную взрослую жизнь.

Но перебирая в памяти свое недавнее прошлое в городе, Абай кое-что вспомнил в связи с Жумабаем... Он с самого начала повел себя непонятно. В первый же день потащил за собой на поводу упитанную серую кобылу, которую пригнал со степи: «Так велел Кунанбай... посылает в дар хазрету», – кратко объяснил он Абаю и больше ничего не сказал. Попросил только проводить, показать, где находится дом муллы. Имам Ахмет Риза был наставником Абая, и он у него бывал часто.



Абай вдруг вспомнил, сидя в гостевой юрте и глядя на Жумабая, как они шли по пыльной улице и вели за собой строптивую серую кобылицу, и невольно улыбнулся.

На этой улице жил мальчишка Сагит, драчун, озорник и забияка. Увидев из окна, что мимо проходит незнакомый человек с лошастью на поводу, он решил поразвлечься. Для начала он выскочил со двора из ворот и стал с криками бросать камни вслед лошади. Серая кобыла стала артачиться, приседать, засекается на ходу. Сагиту понравилось, что кобыла такая норовистая, и ему захотелось развлекаться дальше. Он вернулся обратно во двор, нашел колючий прут, выскочил на улицу и понесся догонять серую кобылу. Догнав ее, ткнул прутком ей в пах, как раз под самый хвост. И тогда она, дернувшись испуганно, понеслась вперед, обгоняя своего хозяина. Жумабай вмиг оказался позади кобылы – не выпуская поводьев, он пытался ее остановить. Однако тщетно – молодая горячая лошадь легко потащила Жумабая за собой. Напрасно он, обмотавшись поводом вокруг пояса, откидывался всем телом назад и упирался ногами в дорогу – ноги ехали по пыли, которая душным столбом поднималась вокруг него. Пришлось Жумабаю побежать погусиному, широко расставленными ногами шлепая по земле, на бегу он потерял с головы и тымак, и тюбетейку, сверкнула под солнцем потная лысина. И тут Абай, не выдержав, рассмеялся, он хохотал до слез – стоя рядом с озорником Сагитом. И только тогда, когда Жумабай справился с лошастью и остановил ее, Абай догадался прогнать прочь Сагита, чтобы тот не мучил больше Жумабая и его кобылу.

Когда хазрет увидел, что во двор ввели кобылицу и привязали на его тесном конном дворе, то сразу догадался, что это подношение ему, и ни о чем не стал спрашивать. Только войдя в дом, Жумабай передал хазрету салем от Кунанбая и добавил:

– Также просил вашего благословения вот этому сыну его, вашему воспитаннику, который стоит перед вами...



Хазрет тут же, не сходя с места, развел руки и забормотал слова благословения: «Да пошлет Аллах всемилостивый и милосердный от щедрот своих да наградит его милостью своей и благами своими...»

Жумабай затруднился вести с муллой какой-нибудь умный разговор и не стал ждать, когда хазрет на своем ученом языке приступит к этому, и сразу перешел к делу. Он заявил, что у него очень важное сообщение от Кунанбая, и надо прояснить в связи с этим одну вещь... Но поручение это особенное, и Кунанбай просил обо всем этом поговорить с хазретом строго наедине... При этом Жумабай выразительно посмотрел на Абая. Мулла понял его и обратился к ученику:

– Ибрагим, сын мой, возвращайся сейчас в медресе. Занятия твои завершились, перед отъездом в отцовский аул зайдешь ко мне, дам тебе напутственное благословение.

Мальчик оставил их одних.

Теперь, иными глазами увидев и отца, и Жумабая, Абай прояснил для себя, что Жумабай в тот раз сумел-таки донести до хазрета все пожелания отца и заполучил от него нужный разговор.

Ничто больше не удерживало Абая в гостевой юрте. Никто с ним не заговорил, никому он здесь, кажется, не нужен. Стараясь быть незаметным, Абай потихоньку пробрался к выходу и вышел из юрты. Жиренше, в темноте нагнувшись к ногам лошади, наделал путы, чтобы отпустить ее пастись. Увидев в освещенных дверях выходившего Абая, узнал его и негромко позвал:

– Подойди сюда!

Еще на подходе к нему взволнованный Абай спросил:

– Оу, Жиренше, скажи мне, кто этот Кодар и что он натворил?

– Кодар... Самый бедный очаг из рода Борсак... Одинокий бобыль, живет на отшибе...

– А где это?



– У самого подножия Чингиза, на склоне горы, что у перевала к урочищу Бокенши.

– И что говорят про него?

– Поговаривают, после смерти единственного сына спутался со своей снохой. Об этом и толковали сегодня аксакалы.

– Спутался? Как это?

– Сошелся, значит. Непонятно? Ну, залез на нее.

– Что ты такое несешь! Зачем это?

– Ну, несмысленный! Не знаешь даже, зачем залезают? Да ты видел когда-нибудь, как это делают верблюд и верблюдица? – И Жиренше пояснил свои слова непристойными движениями.

Просидев много времени со взрослыми в тесной юрте, изрядно проскучав, юный джигит Жиренше наконец-то вырвался на свободу и пребывал в веселом настроении. Ему хотелось развеселить и друга Абая. Но Абаю было не до веселья. Смутная тревога глодала его, нехорошее волнение в душе никак не проходило.

– Ты мне правду скажи... Все это было, не было?

– А кто знает? Никто не может знать правду. Однако в народе сплетни разносятся. Только прав был Суюндик: надо подробно все разузнать, доказать правду, потом судить, – закончил Жиренше, ближе подходя к Абаю и глядя на него вполне серьезными глазами.

– Выходит, что тут может быть и клевета?

– И такое может быть. Многие, кстати, так и говорят. Но недавно Кунанбай побывал в одном доме рода Сыбан, там прямо в глаза сказали ему, сам Солтыбай-торе сказал... А все это началось с того, что Кунанбай попенял Солтыбаю: ты, мол, все табачок употребляешь, от насыбая никак не отстанешь, грех, мол, это. На что торе ехидно ответил: я-то смогу бросить насыбай, а вот ты остуди, наконец, своего волосатого дьявола, что у подножия Чингиза живет! Так и бросил Кунанбаю в самое



лицо. Словно плюнул. У того от злости в голове помутилось. Ну, сегодня ты видел сам своими глазами...

Абаю представился вид разгневанного отца, когда он произносил эти слова: «повешение»... «виселица». Понурившись, мальчик постоял в темноте вечера, затем тяжело, не по-детски вздохнул и направился к материнской юрте. Его болезненный вздох скорее был похож на стон, и Жиренше, встревожившись, желая его успокоить и отвлечь, окликнул Абая, хотел еще немного с ним поговорить. Но Абай уходил, не отвечая.

3

Кодар потягивал редкими глотками просяной отвар, подогретый снохой.

– Камка, айналайын, сегодня, кажется, пятница? – спросил он у нее.

– Пятница, отец. Пора идти на мазар, почитаем у могилы Кокран, – ответила Камка и вздохнула. – Велик Аллах и милостив! Сегодня приснился ваш сын, но как-то странно приснился.

– О, Всевышний! – только и сказал Кодар и тоже тяжело вздохнул; старик богатырского роста, могучего телосложения этим вздохом, казалось, выразил всю накопившуюся в душе горечь.

«Всевышний... на земле нам горе и печаль, и разве сон – в утешение? Ночью мне тоже приснился сон».

Снился его единственный сын Кутжан. Спокойный, ясный, как в жизни... Камка во сне ищет какое-то утешение, но что можно найти во сне? Пусть хоть расскажет. А вдруг есть это утешение и надежда... Надо послушать ее.

– Все было как наяву, отец. Он подъехал, соскочил с коня и быстро вошел в дом. Лицо было светлое, веселое. Прямо с порога сказал: «Вот вы тут с отцом все плачете, причитаете по мне. Думаете, что я умер? А я ведь не умер, вот, стою перед



тобой. Что ты все плачешь, Камка? А ну, перестань, улыбнись сейчас же!» И тут меня пронзило до самого сердца, отец.

У Кодара и Камки уже давно из глаз катились слезы.

Скорбную тишину дома нарушило какое-то странное жужжание. Камка болезненно насторожилась: этот звук уже не раз тревожил ее слух по утрам. Вначале она подумала, что так отзываются в ушах потусторонние голоса. Обернувшись бледным, с прожилками вен на висках, бескровным лицом в сторону свекра, она вслушивалась, с отчаянным видом глядя на него.

Кодар понял причину страха снохи, ласково улыбнулся. Словно ребенку.

– Родненькая, да это же ветер! Ветер со стороны Чингиза.

– А что это гудит, ата?

– Крыша загона прохудилась. Видно, в прорехах заголились концы камышинок. Ветер продувает их и гудит, жужжит, будь оно неладно.

Вскоре оба несчастных вышли из дома, направились по дороге. Этот маленький облупившийся домишко зимника словно прятался за большим старым загонем для скота, обложенным дерном. Вокруг зимника на все четыре стороны не видно никакого другого человеческого жилья или хозяйственной постройки. Не имея вьючного скота для кочевки, Кодар не хотел просить его у других и потому круглый год жил на зимнике, никуда не трогаясь.

Прежде, когда был жив сын, было не так, сын хотел кочевать. «Что мы, безродные жатаки, что ли?» – говорил он. И доставал где-то гужевые средства и кочевал вместе с другими. Люди на горные джайлау – и он вслед за ними, люди двинулись в степь – и он туда же. Не то, что его одолевали заботы, чем накормить многочисленную скотину – скота как раз у них было немного, а просто по молодости лет Кутжан тянулся к людям. Кодар не противился кочевкам, смиренно рассчитывая: «Станем брать у людей коров для дойки, – глядишь, и мы с молоком будем».



А теперь, если сородичи сами не догадаются предложить ему вьючный или гужевой скот для кочевки, он не станет просить. Кодару и Камке никуда и не хотелось перекочевывать, оставлять надолго без присмотра могилу Кутжана – только ради того, чтобы беспечно пожить на зеленом джайлау. Убитые горем, днем и ночью лия слезы по ушедшему от них дорогому арысу, мужу доблестному, Кутжану, несчастные не в силах были уйти от его мазара.

К тому же стадо у них было настолько мало, что на наследственных угодьях по склонам Чингиза весь скот мог спокойно прокормиться и летом, и зимой. Всего-то паслось на обширных пустошах окрест этого одинокого очага голов двадцать-тридцать коз-овец, козлят-ягнят да одна стельная корова и две яловые телки. Для того, чтобы пасти такое стадо, достаточно было единственной верховой пастушей лошади, на которой ездил Кутжан. После его кончины Кодар в ту же зиму взял в дом одинокого бобыля, старика Жампеиса, который скитался по аулам и батрачил на других. У Жампеиса не было ни семьи, ни крова, ни близких родных, ни детей – бедняга не знал всю жизнь, что такое сытость и достаток. «Сложим две половинки – одно целое получится. Чего нам горе горевать поодиночке? Обопремся плечом к плечу, опорой станем друг для друга», – предложил Кодар старику Жампеису, когда тот пришел к нему в день похорон Кутжана... И сегодня Жампеис верхом на гнедом коньке пасет вместо покойного сына Кодара его маленькое стадо.

Теперь им не надо самим заботиться о стаде. Да и по домашности нет у них неотложных дел. И поэтому громадный старик, согбенный под грузом тяжких лет, идет по дороге шаркающей походкой, рядом с маленькой юной женщиной, сломленной горем. Они направляются к одинокому мазару. А вокруг них ясный майский день льет с небес радостный свет, небольшие облачка вспыхивают в лучах солнца райской белизной. А внизу на земле степь сплошь зеленеет в свежем весеннем травостое,



по склонам отлогих холмов пробегают нежные волны ковыля, там и тут горят яркими огоньками алые тюльпаны, желтеют пятна шафрана, вспыхивают желтые поля лютиков. Словно несметная стая ярких бабочек вспорхнула над землей.

Ветер, слетающий со склонов Чингиза, несет с собой горную прохладу, и внизу, смешиваясь с прогретым на солнце душным воздухом, растекается по степи ароматными, ласкающими струями...

Но вся эта земная райская радость и очарование – для кого? Конечно, есть кому на земле вкусить эту радость... Но для этих двух скорбных, согбенных людей все кончено – для них радостей рая на земле нет. Перед ними на невысоком зеленом холмике высится свежая земляная могила, обозначенная с той стороны, где Мекка, серой каменной глыбой. Всей душой, глазами, всеми помыслами своими, скорбящие в майский яркий день, – они там, на вершине холмика, где их ожидает могила.

А вокруг мир зеленый, радостный так напоминает им обоим любимого Кутжана, такого же веселого, жизнерадостного, беззаботного и здорового, как майский день. Таким он был год назад. И при воспоминании о нем сердца у обоих наполняются тоской, тяжестью и печалью.

Кодар разменял седьмой десяток, это крепко поседевший старик, могучий, громадный, настоящий великан, – но вся невероятная телесная сила его словно ушла в землю, убитая горем. В молодости это был славный батыр, искусно владевший тяжелым копьем – найзагер. За всю жизнь до этих дней печали никто никогда не мог сказать о нем что-нибудь предосудительное. Кто среди властителей сильнее, чей род многочисленнее и богаче, старшина справедлив или самодур – всем этим он никогда не интересовался. Жил своей семьей, в ладу с родной степью, довольствовался малым, пил свой айран. Не любил особенно выходить на люди, слушать разные степные сплетни, не вмешивался в мудреные разговоры. И потому не только среди чужих и дальних – но и среди единоплеменников и со-



родичей мало кто мог похвастаться, что хорошо знает Кодара. И сам он привечал только некоторых, немногих, родичей из Бокенши да из Борсак, в своем племени он был теперь уже из числа последних в роду.

Всего за полгода старого батыра свела на нет смерть единственного сына Кутжана. Человеку жить стало незачем – на что еще надеяться, к чему устремиться в этом опостылевшем мире? Опереться больше не на кого, выхода никакого нет – там, где правит смерть. Даже думать обо всем этом не было смысла.

Единственной душой, которая разделяла с ним неизмеримое безутешное горе, была невестка, сама тоже угасающая и от безысходной скорби постепенно теряющая разум. Ей стало все равно, что ожидает ее во тьме будущего. Обокраденная судьбою в любви, в женском счастье, она уже ничего другого не хотела. Тихое, незаметное для других людей ее великое, нежное, сладостное супружеское счастье после смерти Кутжана отвергало всякие новые возможности; только лишь предположив, что на его месте может оказаться кто-нибудь другой, она приходила в ужас, и тогда ей казалось, что Кутжан умер еще раз. Несчастливая от рождения, она была круглой сиротой. Кутжан увел ее из далекого края и привез домой в том году, когда он ездил к роду Сыбан в поисках родственников по материнской линии – нагаши. У Камки никакой родни на свете не было, и теперь никто ее не ожидал, некому было ее забрать обратно. Кроме этого дома, кроме мужа и его старого отца, заботам о которых она отдала всю себя, Камка не имела ничего родного в этом мире. Увидев искреннюю любовь и верность сироты, которая наконец-то нашла свой кров и свою семью, старый Кодар проникся к ней отцовской нежностью. Он полюбил ее не меньше своего сына Кутжана. Стал родным отцом для них обоих. Уверенный в истинности своих чувств, Кодар полагал, что эту свою отцовскую любовь к несчастной Камке он пронесет до самой смерти.



Прошло должное время, и однажды Жампеис, приемный жилец в их доме, вернулся с горных пастбищ. Встретившись там с другими пастухами, услышал от них что-то такое недостойное, что никак не мог, по своему простодушию, вразумительно и понятно пересказать Кодару. Но и одно только то, что Жампеис успел передать, вызвало в старом батыре такое возмущение, что он велел тому немедленно замолчать и ни слова не произносить более.

А слухи, доставленные с гор Жампеисом от людей, которым скучно и тоскливо живется на свете, были таковы. Отчего, мол, Кодар не покидает своего зимника, словно лис забился в нору? И другое: что делать в этом доме невестке Кодара после смерти мужа? Думает ли она устраивать свою жизнь?

Услышав это, старый Кодар почувствовал на душе холодок омерзения. Привкус ядовитой желчи был в этих сплетнях. Обычно такие разговоры заводят с целью перейти к открытому обсуждению насчет аменгера, нового мужа для вдовы, которого выбирает родня из близких членов семьи умершего. Не надо тратиться на калым, новый муж получает еще одну работницу в дом и становится наследником всего хозяйства родича-покойника. Таким образом, имущество не уходит за родовые пределы. И теперь будут подыскивать кого-нибудь, кто после смерти Кодара унаследует его скот и землю под пастбища.

Он догадывался, что сплетни распускают его же лицемерные родственники. Не могло обойтись без вмешательства не менее лицемерных старшин ближайших родов.

Кодар стал вовсе избегать людей, неохотно принимал их у себя. Хотя бы на год оставили ее в покое, думал он, хоть до годовых поминок сына не рвали бы его жену из родного дома. Но клевета черная, зловещая накрыла этот несчастный дом.

Увидев рассерженное лицо Кодара, старик Жампеис не осмелился рассказывать дальше. Но если бы даже и захотел, замкнутый, неповоротливый тяжелодум Жампеис не нашел бы нужных слов, чтобы передать те разговоры, которые идут про



Кодара. И успокаивая себя тем, что он все равно не сумел бы пересказать услышанное, старый бобыль не стал утруждать себя, он решил, что все суды-пересуды прекратятся сами по себе.

Но однажды в степи пастух встречной отары чуть не убил его, высказав чудовищное, гнусное предположение:

– Говорят, что Кодар спит со своей снохой. Что ты можешь сказать об этом?

Придя в неопишумый ужас, простодушный и кроткий старик впал в неистовство и закричал:

– Замолчи, неверный! Будь я проклят, если что-нибудь знаю об этом! А ты прекрати... прекрати, говорю, молоть языком что попало!

Однако пастух, встретившийся в степи, не был пустомелей, любителем разносить скверные новости. Увидев, как испугался и рассердился Жампеис, человек подумал: «Если бы этот бедняга знал что-нибудь, то не мог бы вести себя так. Скорее всего, он ничего не знает или не догадывается». Впоследствии этот пастух, по имени Айтимбет, порасспросил окрестных пастухов, таких же малоимущих скотом, как Кодар, как он сам, и пришел к выводу, что старик чист от наветов.

Однако, несмотря на эти утверждения бедных, мелких степняков, имелось некое недремлющее око, надзирающее за зловещей клеветой, был некто скрытый, упорно распространяющий ее вопреки народному мнению. С того дня как Айтимбет спрашивал у Жампеиса про старого Кодара и его сноху, подобные слухи, словно грязные волны, вновь и вновь возвращались к маленькому бедняцкому зимнику.

На днях несчастному отцу нанесли в самое сердце еще один кровавый удар. Родственник Кодара аткаминер Суюндик подослал к нему некоего человека по имени Бектен, безбородого, похожего на скопца, очень болтливого и неразборчивого в том, что можно и чего нельзя говорить в лицо человеку. Он



вызвал Кодара во двор и, оставшись с ним наедине, зачастил велеречиво:

– Говорят ведь, что на чужой рот не найдешь затычки, – но вот послушай, что разнесли повсюду... Добрые люди, сочувствующие тебе, и сам уважаемый Суюндик – никто не мог приостановить эти слухи... А теперь, вот, так прямо и говорят... И Суюндик не может им заткнуть рты.

Тут безбородый Бектен, несколько раз упомянувший имя Суюндика, устался на Кодара.

– Послушай, что он может сделать... ведь повсюду болтают... Скверное говорят про тебя с твоей снохой. По-черному ругают вас...

– Э-э, жаным, дорогой мой, чего ты несешь? А ну, сам сейчас же перестань болтать! – И, великан перед плюгавым Бектеном, Кодар готов был, казалось, затоптать его...

Но тот не испугался и продолжал:

– Этим разговорам поверил сам Кунанбай, он готовит тебе страшную расправу. Но Суюндик ведь не может позволить себе отдать родственника на растерзание. Он послал меня и велел передать: пока суд да дело, тебе стоит, пожалуй, переехать куда-нибудь подальше, затаиться и переждать...

Весь дрожа от ярости и гнева, Кодар надвинулся на безбородого Бектена:

– Уа! Пошел вон! С глаз долой! Ты думаешь, что Кодар, которого Бог покарал, испугается кары Кунанбая? Прочь со двора! – и выгнал Бектена.

Но вспоминая его слова, Кодар вновь вскипал злобой и возмущением. Однако он и не подумал ничего сообщать Камке, по-отцовски оберегая ее чувства. Ему дороги ее детская привязанность и дочерняя верность. Черные дни скорби и печали сблизили их души теснее, чем сближает отца и дочь родная кровь. И хотя они могли теперь без утайки высказать друг другу все, что на сердце лежало, Кодар на этот раз пощадил



ее чистые дочерние чувства и не рассказал ей обо всех этих ужасах...

И вот теперь они вдвоем подошли к одинокому мазару, медленным шагом приблизились к земляной могиле. Кодар не знал поминальной службы по Корану, Камка тоже не умела читать, и потому оба про себя творили молитву, каждый свою, мысленно представляя светлый образ Кутжана. Они слали ему свои благословения, делились с ним своей тоскою, тихо, печально и нежно пеняли ему за то, что он оставил их одних на этом свете безо всякой надежды на встречу... Камка это и называла – «почитать из Корана»... Читают они таким образом молитву, и поливают могилу горячими слезами, отбивают перед нею, стоя на коленях, бесчисленные поклоны. А после долго сидят, плечо к плечу, не отрывая глаз от холмика. Им знаком на могиле каждый камешек, каждая травинка. Они сметают с нее нанесенный ветром степной прах, подправляют обвалившиеся места.

На этот раз они засиделись на мазаре особенно долго.

Вдруг сзади послышался быстро приближающийся дробный топот множества копыт. Кодар и Камка даже не обернулись. Подъехав вплотную, верховые остановились, собираясь прыгивать с лошадей. Их было пятеро, каждый был крепкий, молодой джигит. Камысбай, атшабар волостного старшины Майбасара, возглавлял. Двое других – из рода Бокенши, остальные двое – из Борсак. Первым слезая с коня, Камысбай насмешливо буркнул:

– Смотри, какой хитрец...

Он никак не предполагал, что застанет Кодара и Камку на мазаре, при молитве у могилы. У каждого, кто увидел картину столь безысходной скорби, дрогнуло бы и похолодело сердце, но не у Камысбая. Забияка, смутьян, скандальный малый, это был самый подходящий подручный для Майбасара.

Остальные всадники, не решаясь сходить с лошадей, молча смотрели на двух молящихся у могилы. Казалось, что джигиты были смущены.



Камысбай жестокостью не уступал хозяину, про этого майбасаровского шабармана говорили: скажут ему срезать волосы, он отрежет голову.

– Слезайте! – грубо рявкнул он, приказывая своим спешиться.

Ему усердно подрушничал один джигит из борсаков, по имени Жетпис, младший брат известного в роду старика Жексена. Жетпис, подражая Камысбаю, с тою же насмешливой грубостью крикнул:

– Ишь, и головы не повернет! Чтоб твоя голова тоже оказалась в могиле!

Обернувшись и заметив, что эти люди что-то хотят сказать ему, Кодар спокойно, сдержанно спросил:

– Люди добрые, чего вам надобно от нас?

Камысбай, от внезапной злобы весь вскинувшись, топнул ногой и сразу же сорвался на крик:

– Чего надобно? А надобно, чтоб тебя доставить к акиму! Сам главный правитель хочет видеть вас обоих! На Карашоки уже собралась вся знать, уважаемые люди тебя ждут!

– И кто же будет эта знать? Кто правитель?

– Правитель – сам Кунанбай, знать – все наши бии и аткаминеры. Тебя и твою подлую сноху хотят призвать к ответу.

– К какому ответу? Что ты мелешь, негодник?

– Ты что, не понимаешь? Да тебя сам аким округа вызывает! Вставай, поехали!

– Чтоб с таким лицом, как у тебя, да не свидеться тебе с Богом! – воскликнула возмущенная за свекра Камка. – Отец, откуда этот дурень крикливый?

– Это вам обоим никогда не свидеться с Богом! Скоро в аду окажетесь, нечестивцы проклятые! А ты, волосатый старый шайтан, поторопись! – крикнул Камысбай и, замахиваясь камчой, стал надвигаться на Кодара. – Эй, хватайте их! Вяжите, кидайте на коней, – скомандовал он своим подручным.

Вначале четверо джигитов набросились на Кодара.



– О, Создатель немилосердный, что еще ты надумал? – воскликнул он и, тряхнув плечами, сразу отбросил двоих, один из них, схватившись за окровавленный рот, рухнул на землю. Но в следующий миг остальные дружно навалились на могучего старика, заломили ему руки за спину и связали поводьями из сыромятной кожи. Потащили и Камку, подволокли к лошади и забросили в седло перед Камысбаем. Сзади Кодара взгромоздился Жетпис. Это был тоже малый рослый и здоровенный. Все остальные разом вскочили на лошадей, поскакали к косогору, за которым проходила дорога на Карашоки.

Кодар разом сник, ехал, опустив голову. Ни сабли острой нет у меня на них, думал он, томясь и негодуя, ни слов нет, которые бы их остановили. И главному правителю сказать будет нечего. Даже родственнику, этому Жетпису, сидящему сзади, мне нечего сказать.

Кодар не знал, что виновником всех его несчастий является именно этот пыхтящий за спиною родственник. Он и его старший брат Жексен – первый клязник на всю округу. Они в малом племени Борсак самые зажиточные. По родственным отношениям они ближе всех стоят к Кодару. Когда прошлой весной умер Кутжан, сломленные горем Кодар и Камка остались беспомощными. У них не было сил, не оказалось вьючных средств, чтобы кочевать на джайлау. Родственники не пришли к ним на помощь. И люди осудили этих родственников. Не дали, мол, даже одного верблюда на перекочевку. На все эти упреки в свою сторону Жексен отвечал, что ему не жалко вьючного скота, но просто у него нет желания помогать Кодару.

– Душа не лежит делать добро нечестивцам, – говорил он.

Этим самым он и положил начало сплетням, пищу для злых языков дал на сходке родов Борсак и Бокенши. Когда Суюндик потребовал у него объяснений своих слов, Жексен не стал больше говорить намеками.

– Кафир проклятый, этот нечестивец Кодар вступил в связь со своей снохой. Что мне прикажешь делать? Родственные от-



ношения с ним соблюдать, помогать ему? Да если я это сделаю – ты же завтра плюнешь мне в лицо!

После этой сходки невольным распространителем сплетен стал и Суюндик. Но когда слухи уже обошли почти всех, он в чем-то засомневался и решил еще раз все прояснить с Жексеном. И тот привел новый довод.

В начале весны, когда настал день семидневных поминок по Кутжану, сломленный горем Кодар, со слезами отчаяния на глазах, взбунтовался:

– Я остался на свете один-одинешенек, как перст. Такое проклятье ниспослал на меня Всевышний. Но я хочу знать, за какой грех наказал меня Аллах смертью моего единственного сына? После такого наказания нет такого греха на свете, который страшно было бы мне совершить. Раз со мною Аллах так поступил, то и мне, выходит, можно ответить ему тем же.

Не раз размышляя над этими словами, Жексен задавался себе вопросом: чем же собирается этот кафир ответить Богу? И отвечал себе: конечно, святотатством своим, грехом со снохой Камкой. Его надо изгнать от нас.

Однако самая главная причина, из-за которой Жексен хотел бы изгнания Кодара, была от всех глубоко скрыта. Не мог же он открыто сказать Суюндику: «У Кодара немало земли. Он мой самый близкий сосед по зимнику. Человек он никому не нужный, бесполезный, зачем ему земля? Сделаю так, чтобы его отсюда изгнали, и тогда я могу легко присвоить его угоды».

И слухи распространялись, дошли до Кунанбая. После того, как на сходке рода Сыбан у Солтыбая высмеяли весь род Тобыкты, Суюндик почувствовал, что нарыв зреет, нарастает все больше. И он решил сам провести дознание, для чего второй раз навестил Жексена. Также побывал и поинтересовался о наветах на Кодара у ближайших его соседей. Все они во главе с пастухом Айтимбетом уже разобрались во всем – люди скромные, бедные, которым за тяжкими трудами их было не до сплетен и праздных разговоров, они говорили о Кодаре и его



снохе только хорошее, больше всего сочувствовали тяжелому горю, которое постигло их.

Но Жексен и тут влил яд сомнения:

– Этот Кодар днем прикидывается овечкой. Свои пакости, как и все, творит ночью. А по-другому разве кто может? Подумайте.

Еще не до конца уверенный в своих предположениях, Суюндик опасался, что, воспользовавшись делом Кодара, коварный Кунанбай нанесет какой-нибудь крупный ущерб родам Бокенши и Борсак. Поэтому Суюндик при разговорах о Кодаре уже начал говорить осторожнее:

– Может быть, все это одно вранье.


Того же он хотел твердо держаться на сходке у Кунанбая. Однако ему не дали это сделать.

Ко всему этому безбородый Бектен, на скопца похожий, которого Суюндик посылал к Кодару, будучи изгнан хозяином, пустился во все тяжкие, хуля старого борсака: «Он говорит, что не нуждается ни в Боге, ни в Кунанбае. Что хочу, то и ворочу, говорит, а вы все отстаньте. С тем и выгнал меня».

И Бектен подливал масла в огонь, повторяя вслед за Жексеном: «Он же кричал, что если Аллах так с ним поступает, то и он ответит Аллаху тем же. Не значит ли это, что Кодар имел в виду свою гнусную связь со снохой?»

Когда прошла сходка в ауле Кунанбая, Суюндик вернулся домой сильно озабоченным. Он не знал, разумеется, всей правды в этом деле, но свое мнение перед Кунанбаем все же не побоялся высказать. Этой мыслью он хотел успокоить свою совесть. Теперь ему вполне стало ясно, какая страшная угроза нависла над родичем Кодаром. Так чужая беда подошла и коснулась его самого...

А тем временем кучка всадников, совершив свое дело, возвращалась в Карашоки. Камысбай намеренно приотстал от основной группы, чтобы Кодар, которого везли впереди, не смог перекинуться ни словом с Камкой.



Гора Карашоки находится не очень далеко от зимника Кодара. Урочища здесь расположены у подножья самой высокой горы на перевале Чингиз. Красивые места – холмы огибает река, заросшая по берегам своим ровными рядами деревьев. В эту пору деревья стоят в зеленом одеянии, всё, что может цвести, уже распустилось. Темнеют на крутых склонах гор вытянутые ели, ниже кудрявятся белые березы, зеленеют колки осины, речку окаймляют ивы, густой тальник. Земля здесь плодородная, зимники добротные. Издавна эти места облюбовали и обжили род Борсак и род Бокенши.

На земли Карашоки уже давно зарились, особенно не терпелось завладеть ими иргизбаям. Здесь обитал аул Жексена из рода Борсак. Если для борсаков их родные урочища казались привычным местом обитания, то завистливым глазам иргизбаев и прочих они представлялись райскими долинами.

Сход был возле аула Жексена. Всего четыре юрты стояло здесь, разжигалось четыре очага. Кочевье располагалось у подножия крутой скалы, нависшей над рекой. Сюда привезли Кодара и Камку. Послышались крики:

– Везут! Везут! Вот он, Кодар!

Услышав их, из юрты вышли ожидавшие там мужчины во главе с Кунанбаем.

При приближении людей Камысбая, которые показались из-за холма на ходко рысивших конях, народ шарахнулся в одну сторону и собрался на окраине аула.

Там посреди пустыря, возле торчавшего из земли сухого кола, надежно привязанный к нему, лежал громадный черный верблюд-атан. Меж горбами его набили тюки разной ветоши, скомканные куски старого войлока, все это обмотали толстыми веревками поперх брюха атана, опояскою в несколько раз. Выем меж горбами был поднят и выровнен, наверху торчала накрепко примотанная двузубая рогатина, развилкой вверх.



Подъезжая к аулу, Камка сомлела в испуге при виде огромного сборища людей – в зловещем молчании уставившихся на них. И всю дорогу молчавшая, Камка умоляюще спросила у Камысбая:

– Айналайын, добрый человек, тебя ведь тоже мать родила... Скажи, в чем наша вина и что вы собираетесь делать с нами? Убить хотите? Так и скажи.

До сих пор также не проронивший ни слова, Камысбай теперь только хмыкнул и злорадно произнес:

– За то, что блудила со свекром, будешь вместе с ним удушена, сучка.

Сказав это, он выжидающе умолк, готовый послушать, что она скажет в ответ. Но ответа не было – издав слабый стон, Камка лишилась чувств и стала сползать с седла. Камысбай едва успел подхватить ее, покрепче прижал к себе и, погнав коня галопом, мигом доставил ее к толпе.

Впереди джигиты в четыре руки снимали с коня огромного Кодара, тут же подоспел Камысбай с женщиной. Он сначала сам слез с лошади, потом стащил ее с седла. Безжизненное тело Камки покорно легло на землю под ноги толпы.

Перед Кодаром стояла толпа человек во сто, чуть впереди, посередине, во главе с Кунанбаем находились аткаминеры: Божей, Байсал, Каратай, Суюндик, Майбасар. Вокруг них теснились из разных родов аксакалы, карасакалы – влиятельные люди. Ни одного в простом, бедном одеянии. Все владельцы, все верховоды и знать в своих племенах.

Со связанными за спиной руками, Кодар предстал перед ними, не поздоровался, не испугался. Возмущение, злоба, великая обида распирали его душу. Он молчал, стоя перед толпой.

И тут он увидел выдвинувшегося вперед Кунанбая, который впился в него своим единственным сверкающим глазом. Мгновенно все возмутилось в душе Кодара, весь безысходно накопленный гнев разом вырвался из него хриплым криком:



– Кунанбай!.. Тебе мало того, как Бог наказал меня! Чего ты еще хочешь? Какое злодейство придумал еще для меня, уа, Кунанбай?

Несколько аткаминеров, аксакалы и карасакалы во главе с Майбасаром, угрожающе надвинулись на Кодара.

– Придержи язык!

– Довольно!

– Заткни свою пасть!

Возмущенные крики раздавались со всех сторон. Еще никогда не приходилось кунанбаевским приспешникам слышать столь дерзкие слова в адрес своего властелина.

Выждав, когда немного утихнет, Кодар срывающимся голосом выкрикнул:

– Кунанбай! Или ты решил расплатиться мною за свой выколотый глаз? Выставишь меня на позор, станет ли тебе легче, Кунанбай?

Его оборвал сам Кунанбай.

– Заткните ему глотку! – рявкнул он. – Уберите его!

Майбасар подхватил:

– Тварь безродная! Пес старый! – взвизгнул он сорвавшимся голосом и, подскочив к связанному пленнику, замахнулся камчой.

Кодар не дрогнул, не отвел головы и безо всякого страха отвечал:

– Если я пес старый, то вы стая бешеных собак. Сейчас нападете на меня, порвете на куски и сожжете!.. – Только он выкрикнул эти слова, как шабарман Камысбай и с ним четверо подручных набросились на старого Кодара, свалили наземь и потащили в сторону лежавшего черного верблюда. Волочась в пыли, старик налитыми кровью глазами смотрел назад, в упор на Кунанбая, и грозным криком обличал врагов:

– Кровопийцы! Не хотите даже узнать, виноват ли я! Хотите меня осквернить и убить, изверги!

В этот миг ему на шею накинули петлю из длинного конского повода. Четыре джигита подтащили его под бок огромного



черного атана, спокойно лежавшего у столбика. На голову пленнику набросили темный мешок. Человек пять навалились на него, удерживая на земле, прижимая к верблюжьему боку, не давая ему шевельнуться. В смертной тоске Кодар снова начал кричать, – тут что-то с невероятной силой толкнуло его в спину и потащило вверх. Его ударил своим боком громадный верблюд, рывками поднимаясь на ноги. Петля скользнула по шее и, стиснув ее, словно клещами, с жестокой силой потянула за собой. Словно огромная гора навалилась на его голову, тяжесть всего мира выдавливала из него душу. В глазах взорвались клубы огненных искр. Черный мир обрушился на него. Огни искр начали потухать.

Толпа замерла в безмолвии. Подвешенная с другого бока высокого верблюда, Камка ни разу даже не дернулась, когда черный атан поднялся на ноги. Она повисла, сразу обмякнув, и вытянулась, откинув голову. Смерть ее была мгновенной. Это видели все. Кодар же вздрагивал и корчился. Смерть не брала его. Богатырское тело, дергаясь в судорогах, провисло и вытянулось так длинно, что ноги почти достали до земли, – несмотря на то, что верблюд был громадного роста. Толпа застыла в гробовой тишине, казнь не закончилась, хотя двугорбая живая виселица была поднята на ноги уже давно. Верблюд, взваливший на себя мучительную смерть двух людей, пребывал в равнодушном молчании, перетирая во рту жвачку.

Байсал не выдержал, отвернулся и быстро отошел в сторону. Некоторые из толпы стали тихо разговаривать, нагибая друг к другу головы. Каратай еле слышно прошептал в сторону стоявшего рядом Божей:

– Бедняга... Как мучился, пока испустил дух. Только теперь мы убедились, что это был настоящий арыс, доблестный муж.

Божей, с посеревшим лицом, с широко раскрытыми глазами, посмотрел на Каратая, словно не узнавая его. Затем резко бросил:



– Выходит, твоего доблестного арыса пожрал арыстан¹, доблестный зверь, – отвернулся и быстро вышел из толпы.

По толпе вдруг прошел зловещий ропот: «Да он жив еще... Смотрите! Жив...»

– Жив! Жив он! – загомонила толпа.

Громадное тело Кодара, свисавшее с верблюда, вздрагивало в страшной мелкой дрожи, дергалось в корчах.

Кунанбай услышал, что ропот нарастает. Для толпы куда страшнее, чем сама казнь, убийство, были эти долгие судороги смерти. Он резким движением правой руки приказал уложить верблюда.

Когда черный атан коснулся брюхом земли, рядом с ним покорно вытянулось тело Камки. Кодар еще был жив, и он не пал на землю, а опустился согнутым на корточки. И в тот же миг Кунанбай, не дав толпе опомниться, поднял руку и, указывая на вершину утеса, под которым происходила казнь, резким голосом отдал новый приказ:

– Поднять на скалу! Сбросить оттуда неверного! Надо скорее кончать с ним!

Тот же Камысбай и четыре его подручных джигита молча, умело перекинули громоздкое тело Кодара поперек спины верблюда, наспех укрепили веревками и погнали его вверх по обходной тропе.

С обратной стороны обрыва подъем на вершину утеса был отлогим, длинным. Внизу под скалой, там, где совершалась казнь, место поросло жухлой осокой. Кое-кто из толпы, воспользовавшись страшным перерывом в казни, хотел ускользнуть, однако Кунанбай со свирепой угрозой в голосе рявкнул:

– А ну-ка назад! Никто не смей расходиться!

Толпа, начавшая было разбредаться, вновь тесно сплотилась.

Вскоре на вершине утеса показались люди. Склоняя головы над краем обрыва, стали смотреть вниз на толпу. Кунан-

¹ *Арыстан* – лев.



бай отошел от нее в сторону, чтобы его было заметно. Как и раньше, тем же решительным движением правой руки дал знак – «бросайте». Четверо джигитов, бывших наверху, раскачали тело из стороны в сторону и с размаху сбросили вниз. Высокая остроконечная скала в том месте, откуда бросали, имела глубокую выемку. И казенное тело пролетело до самого низа, нигде не зацепившись, не задев ни одного выступа. Тяжко ухнув, пало под ноги толпы на каменный испод горы. Стоявшие поблизости услышали, как при падении хрустнули, переламываясь, кости.

К этому часу двое верховых въехали в аул Жексена, поднявшись к нему снизу, от густых зарослей тугая. Быстро преодолев открытое место между деревьями и юртами, всадники подъехали к аулу с тыльной стороны. Один из них был небольшого роста, в нем угадывался подросток. У крайней юрты они быстро спешились, привязали лошадей. Это были Абай и Жиренше.

Когда сошли с коней, они увидели большую толпу, собравшуюся под скалой обрыва, и направились к ней. Люди стояли, подняв головы, и все как один, словно замороженные, смотрели куда-то вверх. Невольно они тоже подняли головы и увидели – с огромной высоты, словно громадная подбитая птица, падает человек, полы чапана развеваются на ветру, как крылья.

Жиренше быстро побежал к толпе, Абай остановился, закрыл руками лицо и рухнул на землю на колени. Кончено! Он не успел. Человек погиб...

Может быть, успеет он – спас бы его от смерти. Стал бы умолять отца, обхватив его ноги. Но опоздал. Теперь зачем идти туда, к этой толпе? Решил вернуться назад, к лошади, и уехать, бежать... Но в это время со стороны толпы донеслись громкие возбужденные крики, свирепые голоса. Абай разобрал отдельные слова.

– Бери!..

– А ты сам?..

– Возьми, говорю!..



Абаю показалось, что люди схватились драться. Они держали в руках по камню.

Но это оказалась не драка. Как только, с тяжким ударом, тело Кодара рухнуло на землю, в наступившей страшной тишине закричал Кунанбай:

– Дух неверного все еще может быть в теле! Надо избавиться от него, чтобы не набросился на наши души! Эй, правоверные, во имя наших чистых душ – пусть сорок человек из сорока родов возьмут по камню и добьют это отродье!

Он сам первым взял камень в руку и, в упор глядя на Байсала и Божея, указал на лежавшие под их ногами камни:

– Берите! – угрожающим голосом прорычал он.

И те покорились, взяли камни.

– Так повелевает шариат. Побейте его камнями! – призвал Кунанбай и первым бросил камень в лежавший ничком на земле труп, попал в спину.

Когда камни взяли Божей и его люди, остальные вокруг тоже стали поднимать камни с земли, но далеко не все. Кто-то брал, кто-то стоял в нерешительности, опутив руки.

Недавние крики и гомон, что слышал Абай, были команды и призывы старшин, повелевавших людям брать камни. Когда Абай приблизился к толпе, он увидел, что уже все держали в руках булыжники, один за другим выбегали к трупу и бросали в него камень. Рядом с Абаем оказался Жиренше, который склонился к его уху и тихим голосом сообщил:

– Вон на того старикашку посмотри! Это же родственник Кодара. Причем из одного с ним рода Борсак... Жексеном зовут... Ведь старик уже, аксакал – и чего ему тут надо, старому дураку?

Абая вдруг осенила мгновенная догадка – да этот Жексен и есть главный убийца Кодара! С его слов все это началось. Непроизвольно подавшись вперед, мальчик оказался за спиной старика. Прямо перед ним был потный загривок Жексена. Шагнув к трупу Кодара, тот с отвратительной злобой в голосе кричал:



– Погибни, нечестивец, тварь гнусная! – И с высокого замаха с силой швырнул камень в мертвеца.

Только теперь Абай увидел тело Кодара. Череп был размозжен, кровавый ком был там, где голова. У Абая все поплыло в глазах. Кровью... кровью этой облилось его собственное сердце. Вдруг ярость охватила мальчика. Он подскочил к старику и, что есть силы, ударил кулаком по его ненавистному затылку.

– Это ты! Ты сам тварь гнусная! Мерзкая тварь!

Жексен подумал, что кто-то из бросавших камни попал ему по голове, оглянулся – и увидел кунанбаевского сынка, который с ненавистью смотрел на него и кричал:

– Зверь! Убийца! Мерзкий старый пес!

Мальчик не знал, что с ним происходит. Весь дрожа, он повернулся и быстро направился в сторону. И только тут Жексен злобным голосом на всю степь завопил ему вслед:

– Эй, сосунок паршивый! Ты что себе позволяешь? – И, срываясь на визг, закричал: – При чем тут я? Ты отцу своему, вон, скажи эти слова!

Сзади раздались возгласы: «Что там случилось?.. Кто это?» Абай уходил стремительными шагами. Когда подошел к коновязи, то услышал тихие завывания, всхлипы, стоны, невнятные причитания – это внутри юрты, хоронясь мужчин, оплакивали казненного Кодара женщины. Видимо, детей и женщин заранее согнали в эту юрту и самым строгим образом запретили им громко рыдать и плакать, поэтому звуки плача были столь приглушенными. И это, последнее, окончательно сразило Абая. Не в силах больше слышать сдавленных женских рыданий, не помня себя, он вскочил на коня.

Жексен, очевидно, успел пожаловаться отцу, и тот, увидев отъезжавшего Абая, окликнул его громовым голосом:

– Эй, негодник, ну-ка постой! Ты что позволяешь себе?

Но Кунанбай не успел приказать своим подручным, чтобы они задержали Абая, тот стегнул камчой коня и умчался вон из аула.



Его вскоре догнал Жиренше, окликнул, выровнялся с ним и, пригнувшись к гриве лошади, обернувшись лицом к Абаю, стал шутить, выкрикивая:

– Озорник Текебай! Ты теперь не Абай, а Текебай! Горный козлик Текебай! Шустро скачешь, Текебай!

Два стремительно скачущих всадника вскоре исчезли за поворотом дороги к долине.

Вся орда людей, принимавших участие в кровавом судилище, содеявших неслыханное и невиданное в этих краях злодеяние, только что с невероятной жестокостью убивших человека, – мрачная толпа вскоре рассеялась. Молча и поспешно сели старейшины на своих коней и разъехались в разные стороны. Сход кочевников разошелся при полной тишине, никто никому не сказал слов прощания.

Божей, Суюндик и Каратай уехали вместе, отделившись от других. Они тоже долго молчали. И нескоро первым заговорил Божей.

– При убийстве человека надо требовать с тех, кто убил, выплаты положенного куна. А тут не то чтобы потребовать выкуп – некому даже получить его, некому и выставить на суд свою обиду. Потому что мы сами участвовали в убийстве своего родственника. И слова тут не скажешь – ведь убивали мы сами, вот этими руками... От имени всех сорока родов Тобыкты бросили по камню.

Каратай, себе на уме, отлично понимал, что Кунанбаю удалось начисто порушить какие-то замыслы Божея. Ага-султан одолел его в борьбе, прижал к земле... Божей был в большой тревоге, он чего-то опасался, что-то сильно угнетало его. Каратай, почувствовав это, решил попробовать разговорить Божея. Начал Каратай с осторожных обвинений Кунанбая.

– Оказывается, самое тяжелое из шариата он решил оставить напоследок. Да и сам шариат с его рук, оказывается, можно использовать по-разному. И выходит, что Кунанбай вертит не только всеми нами, но и самим шариатом...



Суюндик, ехавший рядом с Божеем, выглядел усталым и подавленным. Он неуверенным, осевшим голосом произнес:

– Спаси Аллах... Если бы беды наши кончились только этим.

Божею больше других приходилось сталкиваться с Кунанбаем, лучше всех усвоил он его хищные повадки и уловки.

– Если бы кончилось только этим, говоришь? – мрачно переспросил он, чуть придерживая лошадь, обернувшись в седле к Суюндику. – Да, было бы неплохо. Но запомните мои слова, почтенные. Набросив удавку на Кодара, мы накинули ее на свои собственные шеи. Теперь держитесь, несчастные Борсак и Бокенши, держитесь все!..

Трое ехали молча, говорить было не о чем. Все одинаково понимали создавшееся положение вещей. С понишками головами, уныло сутулясь в седлах, ехали безмолвно дальше.

5

Этим утром Абай и Жиренше вовсе не предполагали, что станут очевидцами такого жуткого дела. Взрослые, содеявшие его, держали все в тайне, чтобы заранее не будоражить народ. В то утро Абай ни слова не услышал про казнь, никакого малейшего намека об этом не заметил в ауле. А приехал рано утром друг Жиренше, привел красивую пегую борзую – тазы, чтобы отправиться на зайцев.

Ее появление вызвало шумный переполох в ауле, вся детвора с криками высыпала навстречу всаднику, перед которым, под самой мордой лошади, бежала великолепная породистая борзая. Зачинщиком же всей несусветной утренней шумихи был младший брат Абая озорник Оспан.

Он самым первым, когда Жиренше только еще подъезжал к гостевой юрте, заметил чужую собаку и немедленно, как оглашенный, заорал на весь аул срывающимся мальчишеским голосом:



– Айтак! Айтак! Ко мне! Взять ее! Разорвать на куски худую сучку! Эй, Жолдаяк! Борибасар! Борибасар! Ко мне! Айтак! – такими криками всполошил Оспан весь аул.

Тотчас быстроногая детвора немедленно отозвалась тонкими, звонкими голосами, рывкнули и с бешеным лаем вынеслись из-за юрт желто-пегие сторожевые псы и серые волкодавы.

Хорошо зная Оспана-забияку, прибывший Жиренше стал еще издали заискивать перед ним.

– Уа, Оспан, жаным! Не будем, а? Миленький-родименький, айналайын, прекрати, пожалуйста!

Но Оспан словно не слышал его.

– Борибасар! А ну, хайт! Хайт! Айтак! Ату его! – хохоча как полуумный и подпрыгивая на месте, науськивал он кунанбаевских мордастых волкодавов на худую, узкую, изящную борзую.

Тут Жиренше, уже подъехавший к гостевой юрте, быстро спрыгнул с лошади, бросился к борзой и, обняв ее за шею, прикрыл своим телом. Штук семь-восемь бело-рыжих зверюг, со злобным ревом выскочившие из-за юрт, с теневой стороны, где они отдыхали, тесным кольцом окружили борзую. Псы не давали ни подойти к юрте, ни двинуться в сторону. Напрасно Жиренше умолял Оспана отогнать их, прекратить травлю, – маленький разбойник только хохотал, бегая вокруг, и продолжал науськивать псов.

– Ар-р-р! – рычал он и, подавая пример волкодавам, бросался вперед на чужую суку-борзую, как бы желая ее разнести в клочья.

Однако взрослым псам поднадоели, должно быть, ежедневные коварные науськивания этого мальчишки, они ему больше не верили или им была небезразлична красивая сука-борзая, – но псы вовсе не собирались кидаться на нее. Лишь делали вид, что хоть и стоят они на месте, но свирепость их от этого только нарастает – рычали и гавкали все громче.

Из Большой юрты услышала собачий гам байбише Улжан и попросила Абая, сидевшего за завтраком:



– Выйди посмотри, Абайжан! Отгони этих негодных псов. Уж больно они расшумелись. Наверное, это опять что-то учудил наш сумасброд Оспан.

Байбише Улжан, отправляя Абая на улицу, придала ему в помощь только что вошедшую в юрту молодую служанку. Абай вместе с нею вмешался в войну, развел гостей и дворовых собак, отогнал их подальше и повел Жиренше с его испуганной красавицей-борзой к двери гостевой юрты. И как только Жиренше, нагнув голову, стал входить в дом, подскочивший к порогу Оспан, сильно раздосадованный тем, что жертва благополучно ускользнула от него, изо всех сил уцепился за ляжку. Подумавший, что его укусила какая-нибудь из свирепых кунанбаевских собак, Жиренше вскрикнул и так и подскочил на месте, стукнувшись как следует головой о притолоку, мгновенно проскочил через всю юрту и оказался на торе, почетном месте. Оспан ликующе захохотал и потом, просунув в юрту голову, стал дразниться:

– Трус! Трусишка! Испугался, а?

Породистая, тонкая, с телом узким и поджарым, но со стальными мускулами, черномордая борзая с ошейником из звонкой цепочки, свободно лежавшей на шее, показалась Абаю необычайно красивой. Подвижная, чуткая, ласковая собака так и притягивала взор.

– Как ее зовут? – спросил Абай у горделивого хозяина.

– Желкуйын¹.

– О, как красиво! – восхитился Абай.

– А ты бы видел, как она зайца красиво берет! – расхваливал борзую Жиренше, расплываясь в широкой улыбке. – Настоящий вихрь и есть! Под стать своей кличке.

Так отзывался о собаке один известный охотник из его аула, и Жиренше при случае любил повторять эти слова.

И слова, и сама собака очень понравились Абаю.

¹ Желкуйын – воздушный вихрь.



– Жиренше, а ты не собираешься сегодня поохотиться на зайцев? – спросил он у друга.

– Как раз собирался. Поедем вместе! Лошадь у тебя есть?

Пока седлали саврасую пятилетку Абая, друзья попили кумысу, затем вскочили на коней и поскакали в сторону Кызылшоки, на запад, туда, где зеленели покатые холмы среди ровных долин.

Въехав в долину Карашоки на стремительном галопе, они сразу же выгнали зайца и, не замедляя скачки, продолжили преследование дичи. Нескоро серый заяц, далеко кативший перед охотниками, дал себя догнать, только через два увала Желкуйын, быстрая как вихрь, нагнала серого и взяла его на всем ходу.

После первого зайца охотникам дичь вовсе не попадалась – ни зайцы, ни что-нибудь другое. В поисках новой дичи друзья незаметным образом выехали далеко за пределы Кызылшоки и оказались в предгорьях Чингиза. И на этом месте им повстречался всадник. Им оказался один из атшабаров Майбасара, Жумагул. Обращаясь только к Жиренше, Жумагул сказал:

– Поехал бы ты на Карашоки. Там сегодня будут судить Кодара. Народ, наверное, уже собрался.

– Как это – судить? Где теперь Кодар со снохой?

– Недавно послали пятерых джигитов, чтоб схватить и привезти их. Сходка будет в ауле Жексена. Я сейчас туда! – сообщив это, Жумагул умчался, нахлестывая лошадь и давая ей шенкелей.

Услышав новость, Жиренше предложил Абая:

– Едем скорее! Посмотрим, что там.

Таким образом, ничего плохого не предполагая, они попали на эту страшную казнь.

И вот теперь Абай скачет по наклонному лесистому берегу реки. Сердце бешено стучит в груди, но в этом сердце лед, там бежит похолодевшая от ужаса кровь, разрывая сердечные жилы. Страшно. Страшно. Страшнее всего, страшнее всех –



отец. Кровь, да, кровь – она на его руках... Его родной отец... отец, жестокий, страшный, беспощадный.

О чем-то криком спрашивает Жиренше. Абай не отвечает. Все время следуя вдоль реки, не скоро выберешься к перевалу. Не дорога – тропинка в одну нитку. Невозможно рядом скакать двум путникам. Вырвавшись вперед, Абай скачет быстрой рысью. Неутомимая Желкуйын бежит впереди. Разухабистая неудобная дорога не подходит для разговора, но возбужденный Жиренше сзади все что-то говорит и говорит. Словно не может остановиться. Ему удалось кое с кем перекинуться словом там, в ауле Жексена, и теперь Жиренше только об этом и может говорить, – о том, что услышал, что узнал. И Абай, охваченный болезненной дрожью, с тяжелой, огромной, давящей тревогой на душе, почти не слушал его, однако все же кое-что уловил.

Две сказанные Кодаром фразы вменялись ему в смертный грех, две эти фразы, обсуждаемые в толпе шепотом перед казнью, явились причиной лютой жестокости толпы, предавшей смерти двух несчастных людей. Одна из них, высказанная в минуту беспредельного отчаяния, была передана искаженно, истолкована неверно. Как будто бы Кодар сказал: «Если Аллах так несправедно поступает со мной, то и я могу ответить Аллаху тем же». Вторая фраза повторялась толпой реже, тем не менее также облетела всех участников казни: «Если я одинокий старый пес, то вы – стая бешеных собак»...

Абая потрясли сильнее всего именно эти слова. Словно стая бешеных собак – убили и растерзали... Он вспомнил, как, сокрытые в глубине юрты, тихо скулили, выли и плакали женщины. Скакавший впереди своего друга, мальчик и сам горько расплакался. Он думал, что друг не заметит этого, но Жиренше заметил и, нагоняя его, стал шутливо и ласково подтрунивать:

– Уа, озорник Текебай! Что случилось? – И он попытался выровняться с Абаем и поехать рядом с ним.



Пригнув голову к самой гриве лошади, Абай сквозь бегущие слезы увидел возле своей ноги мотавшуюся лошадиную голову с белой звездочкой на лбу, это была голова коня Жиренше. Абай резко погнал свою лошадь и галопом умчался вперед.

Уже они перевалили через последние холмистые гряды и выехали на равнинную степь. Абай повернул в сторону Колькайнара, снова и снова пуская лошадь в галоп. Он не хотел показывать своих слез Жиренше. Тот пытался догнать Абая, но это оказалось нелегко сделать. Удалившись, мальчик дал волю слезам и громко, не сдерживаясь, зарыдал.

Уже давно Абай не плакал так – навзрыд, не пытаясь сдерживать себя. Высокий серебристый ковыль волнами расходился по обе стороны от бегущей лошади, и была похожа ковыльная степь, пропускающая их через себя, на воды бескрайнего половодья. В ушах шумел встречный тугой ветер, он срывал с ресниц Абая слезы, – слезы его уходящего безмятежного детства, – и орошал ими седую степную тырсу-траву.

Но никогда в детские годы свои Абай не знал, что слезы приносят с собой некую горячую поднимающую силу, которая властно притягивает к себе, – душа оказывается выше горя, и ты во власти этой головокружительной силы. Так бывает, когда взберешься на вершину высокой скалы и, стоя на краю пропасти, посмотришь вниз – вдруг неодолимо потянет то ли взлететь к небу, то ли броситься в пропасть. Вихрь непонятных, властных, неиспытанных чувств подхватил еще нежное, еще детское сердце Абая.

В этом сердце родилась невероятная, невыносимая, нескончаемая жалость к невинно убитым – самым зверским образом, и вместе с этим вспыхнуло в душе недетское ожесточение и непримиримость к лютым убийцам. Особенно тяжело легло на душу само слово «отец», который тоже был убийца, «отец», о котором нельзя говорить хоть что-нибудь плохое. «Отец» – при этих родных, с детства любимых звуках Абая теперь охватыва-



ли страх, стыд и ужас. Эти чувства, тяжкие, темные, разрывали его беззащитное детское сердце, нестерпимо палили грудь жгучим огнем.

И ему вспомнились наставления имама в медресе: «Плач и слезы добродетельных облегчают вину грешников, отчасти искупают их прегрешения». Но тогда что же получается? Его слезы – для них, во имя искупления зверства этих убийц... этих проклятых убийц? Все в его душе запротестовало. Нет! Нет! Этого не может быть!

Эти кровожадные убийцы говорили, что казнят человека во имя веры, по велению шариата, следуя фатве, приговору имама. Что можно сказать им в ответ? Кому можно пожаловаться на них самих? Некому. И ты одинок перед ними. Один-одинешенек! Беззащитная, всеми гонимая несчастная сирота. Как жить среди них? Огромная, черная волна безысходного отчаяния поднялась в его груди, обрушилась на сердце и выплеснулась во внешний мир горькими слезами. Абай вновь заплакал, и плач его был еще сильнее, чем раньше, он не мог и не хотел сдерживаться, он рыдал, трясся всем телом, со стоном раскачивался из стороны в сторону в седле и гнал лошадь вперед, все быстрее и быстрее. Он не хотел, чтобы его слезы увидел Жиренше.

То ли его укачала бешеная скачка с рыданиями и плачем, то ли он внезапно заболел чем-то, но на всем скаку Абая одолели спазмы нестерпимой тошноты, и он, не в силах сдерживаться, на полном скаку два раза изрыгнул из себя рвоту, низко наклонившись в сторону с седла. Спазмы были жестокие, казалось, желудок разрывается и выворачивается. Теперь мучилась не только душа – мучилось и тело. Абай не стал останавливаться, и хотя он чувствовал, что теряет последние силы, скакал почти в беспамятстве, низко припав к голове своей лошади, вцепившись в ее гриву. Он старался только не упасть, только бы удержаться в седле.



Так и не дав себя догнать своему другу Жиренше, Абай до-скакал до Колькайнара, аула своей матери, подъехал и спешил-ся у ее юрты. Улжан взглянула на него, и на лице ее выразился испуг: обычно смуглый, Абай теперь был смертельно бледен, почти неузнаваем. «Или это мне привиделось?» – подумала она. Перед нею был ее Абай – и это был не Абай. Это был уже другой человек. Когда он подошел, чтобы она обняла его, мать вблизи увидела, что глаза его красны и распухли от слез.

– Ойбай! Абайжан, сыночек, что случилось? Кто тебя оби-дел? – испуганно спросила она, а про себя подумала: неужели отец побил его? Рядом никого не было, и Абай молча обнял мать, спрятал свое заплаканное лицо на ее груди и надолго за-мер, весь дрожа. Кроме этой нервной дрожи уже не оставалось никаких следов от его жестоких дорожных слез. Новых слез не было, все выплакал. И мальчик решил больше никому впредь не показывать своей слабости.

– Скажи, родной, что случилось? Или отец поднял на тебя руку? – негромко спросила она у сына.

– Нет, ничего. Не это... Потом расскажу... Апа, постели ско-рее постель, я полежу, – так же тихо попросил мальчик и, все еще обнимая ее, направился к юрте.

Сдержанная, немногословная Улжан не стала больше ни о чем расспрашивать сына. Она не стала пугать бабушку и других домочадцев, никому ничего не сказала о странном состоянии Абая. Привела его на правую, женскую, половину, разобрала бабушкину постель, уложила сына и укрыла его своей легкой лисьей шубой.

Бабушка Зере, как только увидела его, сразу заподозрила неладное и стала расспрашивать:

– Что случилось, карагым? Что случилось, родименький мой? Отравился пищей плохой или что другое?

– Наверное, отравился, – ответила за него Улжан. – Оставим его в покое. Пусть поспит.

Улжан позвала прислужницу Катшу, приказала:



– Закрой наверху тундук¹, а внизу спусти полог на двери. Пусть солнце не беспокоит его.

Старая Зере посмотрела в спину отвернувшегося к стене Абая, молча пожевала губами, ничего не сказала и лишь, закрыв глаза, стала читать молитву.

Улжан хотелось узнать, где теперь находится Жиренше, утром уводивший Абая на охоту. И когда взвыли, залаяли собаки, Улжан предположила, что это приехал Жиренше, и сразу же вышла из юрты. Спешившись за гостевой юртой, Жиренше привязывал к столбику лошадь. Улжан подозвала Жиренше к Большому дому и сразу приступила к нему с расспросами.

Подробно, неспеша рассказывая о том, что произошло за день, причем начав с охоты на зайцев, Жиренше рассказал о том главном, что пришлось увидеть им в ауле Жексена, и о том, что произошло с Абаем на обратном пути. И тут Жиренше спросил:

– А где же сам Абай?

Ответив, что Абай спит, Улжан посмотрела на Жиренше, не скрывая своей досады.

– Жаным, голубчик мой, ведь ты уже не мальчик, – молвила она с неудовольствием. – Зачем повел Абая в такое дурное, ужасное место? Он же еще ребенок, неужели ты не подумал, что он может испугаться? О, Алла...

Жиренше, не находя слов, чтобы ответить, стоял молча, опустил голову. Наконец смущенно молвил:

– Нехорошо получилось... Я сам не рад, апа. Но вот говорю вам, как на духу: не думал я, что мы увидим там человеческий труп...

– Жарыктыгым, дорогой мой! Не води больше ребенка в такие места. Да и сам ты еще слишком молод, чтобы впутываться в подобные дела взрослых. Держись от них подальше. Зачем тебе все это? Успеешь еще ко злу прикоснуться...

Жиренше никогда раньше не слышал от кого-нибудь из взрослых такие убедительные, ясные, простые и глубокие сло-

¹ Тундук – отверстие в кровле юрты.



ва. И Улжан своим спокойным, добрым внушением смогла ему больше открыть, чем многие другие строгими наставлениями, битьем и крутой руганью. Смущенно опустив глаза, Жиренше молча повернулся и направился обратно к гостевой юрте.

Улжан ушла в дом. Жиренше больше не задержался, тотчас сел на коня и покинул аул.

Абай проснулся уже вечером, от громкого овечьего блеяния. Видно, овец уже подоили, к ним подпускали ягнят. Что-то задержались с вечерней дойкой, на дворе стояли уже глубокие сумерки. Жизнерадостный шум и гам вечернего возвращения стад всегда волновали Абая. Но сейчас все это милое и привычное родное житие доходило до его сознания сквозь какую-то смутную пелену. Болела голова. Все тело охватывал нестерпимый зуд. Во рту пересохло, губы похолодели. Язык стал грубым, черствым. В глазах плыл туман. Не сразу заметил, что рядом находятся мать Улжан и бабушка Зере. Мать сидит, опустив глаза, положив прохладную ладонь ему на лоб.

– Апа, аже, я что, заболел, да? – совсем по-детски обратился к матери и бабушке Абай, с трудом перевернувшись на постели в их сторону и глядя на них повлажневшими от жара глазами.

– Ты весь горишь. Где у тебя болит? – спросила Улжан.

Когда Абай поворачивался в постели, у него сильно закололо и застучало в висках, голову сдавила тупая боль. Он сказал об этом матери.

Пока Абай спал, Улжан кое о чем сообщила свекрови. И обе пришли к выводу: сильно напугался, оттого и заполучил нервную горячку. Старая Зере, услышав про то, что рассказал Жиренше, и про то, что видели дети в ауле Жексена, только плюнула и стала ругаться, – ругала и Жиренше, и старших.

Абай понял, что обе матери, мама Улжан и бабушка Зере, уже знают о том, что он пережил, и поэтому тихим, сдавленным голосом сразу начал жаловаться матерям:



– Отец... Отец! – и смолк, и долго перебирал пальцами складку одеяла на груди; и высказал то, что лежало тяжким грузом на его сердце. – Какой он жестокий... Какой безжалостный... – Сказал это, словно делаясь с матерями страшным сокровенным знанием.

Первый раз он высказался открыто, впервые поделился с другими тем тяжелым темным чувством, которое носил в самой глубине души. Это было чувство страха перед родным отцом.

Старая Зере услышала не все, мама Улжан, хотя и слышала, никак не отозвалась, хранила молчание. Однако после того, как свекровь настойчиво потыкала ей в колено сухоньким кулачком, приговаривая: «О чем он? О чем?» – Улжан громко произнесла на ухо старушке:

– Об отце говорит! Говорит, слишком жестокий. Почему, мол, не сжалился!..

Бабушка все поняла, печально вздохнула и потом, согнувшись в поясице, нежно припала лицом своим к лицу внука и долго вдыхала родной аромат детского чела.

– Жаным... Родненький, любименький мой. Ягненочек мой... – забормотала она. И добавила шепотом: – Не пощадит... Нет, не сжалится он никогда... – И, закрыв глаза, выпрямила спину. Подняла голову, стала молиться.

– О, Создатель! Прими мое слезное моление. Прости и помилуй меня в час неурочного обращения к тебе. Но я молю тебя: огради дитя родное, ненаглядное от волчьей злобы отца его! Не дай проникнуть в сердце дитяти бессердечности и жестокости отца его, Создатель наш!

Она провела по лицу старыми искореженными пальцами, завершив молитву, и благословила внука.

Улжан присоединилась к благословию – бата, прошептала:

– Ауминь!

Две матери – и между ними израненное в самое сердце их любимое дитя. И в поздних сумерках, в час, когда таинственные



аруахи витают над судьбами людей, все трое молча молились за все то, что было для каждого из них самым сокровенным и благим в жизни. Абай сердцем своим присоединился к матерям и также провел ладонями по лицу, и тоже прошептал «ауминь».

И показалось, что безмятежность детства вновь вернулась к нему, и на душе вспыхнул яркий свет высокой радости.

Но это на душе. А в теле поднялся жар, и головная боль усилилась. В юрте наступила глубокая тишина. Все трое хранили молчание, каждый свое. А снаружи и овцы, наконец, угомонились, и ягнята перестали блеять и плакать. Казалось, шум вечерний постепенно удалился в пределы наступающей ночи.

Вдруг среди этой тишины возник далекий, но быстро приближающийся зловещий голос. Истошный, тревожный крик.

– Ойба-ай! Родимый мой! Ойбай, бауырым!

В этих краях такой крик раздается по случаю смерти человека, обычно кричит мужчина, скачущий с траурным возвещением. Абай и Улжан насторожились, прислушиваясь, старая Зере ничего не слышала. Первая мысль, что пришла на ум Улжан, была о близких – не случилось ли чего в соседних аулах с родными. Затем она подумала о самом Кунанбае – может быть, с ним что-нибудь стряслось? Прислушиваясь, Улжан испуганно замерла.

С испугу вначале даже и не заметила, что приближающийся крик не сопровождается конским топотом. Когда он зазвучал рядом с юртой, стало ясно, что кричит пеший человек. И тут Абай первым догадался, кто это кричит. Он узнал этот детский голос, который пытался подделаться под взрослый крик, изо всех сил стараясь звучать грубее. Конечно, это был голос озорника Оспана.

Возвращаясь вечером домой, мальчишка шел между юрт и во всю глотку, на весь аул выкрикивал слова траурного возвещения:



– Ойбай, бауырым Кодар! Ойбай, родимый мой Кодар!

С таким криком бежал меж юртами Оспан, вскидывая над боками руки и хлопая себя ладонями по бедрам. Весть о страшной казни Кодара донеслась до аула Кунанбая, в каждой юрте только и говорили об этом, дерзкий неслух и шалун Оспан тоже услышал о смерти Кодара, и что-то поразило воображение мальчишки. Он, заводила и главарь аульной детворы, собрал к вечеру своих сверстников на пустыре у родника и затеял эту зловещую игру – похороны Кодара. Вырыли посреди пустыря ямку, положили туда старую кость и засыпали землей. После навалили камней, мусору, соорудили могильный холмик и, поголосив возле него, стали расходиться во все стороны по аулу с жутким криком «Ойбай, бауырым Кодар!..» А теперь Оспан, наигравшись в эту игру, возвращался домой.

Сильно переволновавшаяся из-за болезни Абая, обеспокоенная Улжан слышать не могла эти крики и страшно рассердилась на Оспана за его глупую выходку. Когда он сунулся в юрту, она приветливым голосом, ласково подозвала к себе сына, который допоздна пропадал на улице и теперь возвратился в материнский дом с чумазым лицом, с измазанными в грязи ногами .

– Сынок, подойди ко мне, – позвала его Улжан. – Иди скорее сюда.

Настороженно посмотрел Оспан на мать, и если бы она хоть словом обругала его, строптивый мальчишка тут же огрызнулся бы, развернулся и дунул из юрты. Но обманутый ее ласковым голосом, озорник прошлепал босыми ногами от порога, через всю юрту мимо очага и плюхнулся у постели Абая, налетев боком на колено матери. И тут она его и схватила за правую руку.

– Ты зачем эту дурную затею придумал? Кто тебя научил? Разве я не говорила тебе, что это плохая примета? В доме ребенок больной, а ты согласишься по покойнику, бесенок непутевый!



Отругав как следует маленького баламута, мать подмяла его, прижала к ковру и надавала ему шлепков по вертлявой заднице. Оспан не плакал, когда ему доставалось от сурового отца, но если наказывала мать, он становился не в меру плаксивым, выл, орал, заливался слезами. Если отец, лупцую его, не обращал внимания на то, плачет он или нет, то мать при наказании могла разжалобиться, слыша его вопли и стелания. И хитрющий, лукавый Оспан пользовался этим, чтобы меньше доставалось ему. Вот и сейчас, изображая жуткое отчаяние, вырвался из рук матери и, запрыгнув на ее высокую костяную кровать, рухнул лицом в подушку и громко заревел. Но в этот раз, рассердившись особенно сильно, мать на его уловку не поддавалась, не стала его жалеть и успокаивать. И Оспан вскоре понял, что ему прощения не будет. Хотя слезы у него давно уже кончились, он принимался время от времени вопить осипшим голосом, хотя притворный плач давно надоел ему самому. И когда он увидел, что уже никто не обращает на него никакого внимания, Оспан снова взялся за старое и начал выкрикивать:

– Мой родненький, мой дорогой! Ойбай, родненький!

Искоса потихоньку бросал взгляды на матушку, но никто на него по-прежнему никакого внимания не обращал. Тогда он, распоясавшись окончательно, пустился на дело небезопасное и стал выкрикивать:

– Ойбай, родненький Абай! – провозглашая траурную весть про живого брата.

А тот не только не испугался, но даже развеселился. Сквозь свою головную боль с улыбкой вслушиваясь в крики Оспана, Абай в эту минуту понял, как сильно он любит своего братишку-озорника, готов ему все простить....

Но не то происходило с матерью. Оспан заметил опасность. Крупное тело Улжан вздрогнуло и начало клониться вперед, она собиралась встать. Предчувствуя, что его может ожидать какое-то новое, очень неприятное наказание, если он опять



попадет в руки матери, шалун Оспан проворно спрыгнул с кровати и с возгласом:

– Ойбай, бауырым Абай! Ойбай, Абай! Аба-ай! Аба-ай! – он стремительно прошмыгнул мимо матери и через всю юрту, сверкая пятками, проскочил к двери и уже оттуда, стоя на пороге, оглянулся назад. Поднявшаяся на ноги тучная Улжан хотела догнать и схватить сына, но того и след простыл. Только и смогла она отвести душу, что крикнула вдогонку:

– Эй, кто-нибудь там! Схватите его скорей, приведите ко мне! Поймайте этого сумасброда! Я ему покажу, как не слушаться матери!

С вызовом, нарочито неторопливо Оспан стал расхаживать взад-вперед перед дверью, однако вскоре сорвался с места и стрелой понесся к крайним юртам аула, ибо краем глаза заметил, что его старший брат Такежан крадется, чтобы арестовать его и привести к Улжан...

6

Абай заболел серьезно и слег надолго. Одни говорили, что это у него пищевое отравление, «ушынган», другие – что это приступ нервной горячки, «сокпа», третьи уверяли, что у мальчика тиф, однако никто в ауле не знал точно, чем он болен, и никакого лечения для Абая не было. Лишь в первый день, как он слег, бабушка призвала какую-то пожилую женщину, которая перед закатом вывела больного из юрты, поставила лицом к западу и стала пошлепывать по нему еще теплыми легкими только что зарезанного барана. Сбрызнула водой изо рта и стала дуть ему в лицо, после чего принялась заговаривать:

– Сгинь, нечистая сила, сгинь! Оставь дитя малое, – бормотала она, выставляя лицо мальчика под багровый свет закатного солнца.

Этим заговором и обошлось все лечение. Когда Абай, поднятый с постели, выходил из дома, он еле устоял на ногах, все



кружилось у него перед глазами, озноб сотрясал все тело. В глазах повисла мутная пелена, сквозь которую вся окрестность, освещенная багровым огненным сгустком закатного солнца, предстала в сиянии какого-то необычайного, болезненно яркого цвета. Таких красок мира Абай еще не видел. Такое может быть в сказке или в дивном сне. Или в потустороннем мире иной вселенной, чем наша.

Спустя два дня аул двинулся на перекочевку от Колькайнара в сторону Чингиза. Уже за несколько дней до этого старейшины аулов и владельцы больших стад перестали спрашивать у проезжих, появлявшихся из-за перевала, сошла ли вся мерзлота с джайлау и пробилась ли трава на горных лугах. Это означало, что уже решено кочевать. Склоны Чингиза обрастали травой позже, а к тому времени низины предгорья и подножия гор уже покрывались буйной зеленью. По весне на Чингизе высокогорные луга освобождались от толстого слоя снега нескоро, но именно там располагались лучшие летние пастбища на просторных джайлау, с обилием чистой воды горных рек. И эти пастбища по ту сторону перевала целиком принадлежали роду Тобыкты.

Обычно, придерживаясь времени, когда снимался на перекочевку главный аул Кунанбая, остальной кочевой народ соседних аулов тоже всей ордой приходил в движение, дружно отправляясь на джайлау. Тянулись караваны многолюдных кочевий – через богатые разнотравьем низины – от зимовий Жидебай, Мусакул, Шуйгинсу и далее разными тропами через перевалы Чингиза. Отправлялись к самым ближайшим луговым урочищам за перевалом: Акбайтал, Колденен, Жигитек, Шаткалан. Некоторые урочища назывались именами родов, которым они принадлежали: Жигитек, Бокенши...

К урочищу Бокенши путь проходил по широкому оврагу между зимниками Жексена и Кодара.

Был бы Абай здоров, то дни кочевки на летние джайлау стали бы, как и всегда, самыми веселыми и радостными днями



для него. Шумное и хлопотное, многотрудное кочевье взрослых было охвачено большими, нешуточными заботами, а для беспечной детворы весенний исход из долин на горные джайлау оказывался сплошным праздником. Владетели больших стад и мелкая беднота тревожились, не растерять бы по дороге скот, а дети на этой древней кочевой дороге резвились и веселились, и ничего лучшего не могли бы себе пожелать. Весь путь от Колькайнара до самого Байкошкара, стоянки кунанбаевского аула, куда надо было добираться кочевникам за десять переходов, маленький Абай в прошлые памятные годы воспринимал как долгую веселую прогулку – длинный ряд праздничных дней.

В этом году такое же многолюдное шумное кочевье, но ускоренное и укороченное по времени. Одноразовые ночевки на известных исконных стоянках: Талдыбулак, Барлыбай, Кызылкайнар. На некоторых стоянках вообще не задерживались: остановившись после ночного перехода утром, к вечеру трогались дальше. Кочевка на этот раз была особенно убыстренная, происходившая в большой спешке. Даже там, где останавливались на два-три дня, больших юрт не ставили. Наскоро разбивали маленькие легкие юрты – абылайша, сооружали войлочные балаганы – жаппа или низкие, тесные шалаши итарка, составленные из настенных юртовых решеток кереге. Каждый селился во временном лагере как ему заблагорассудится, и казалось, что большое кочевье взрослых решило поиграть в детские игры – «аул-аул», «курке-курке», «шалаш-шалаш». Находившиеся вдали друг от друга всю зиму, раннюю весну и осень, аулы встречались только на путях весеннего перехода на джайлау, и какое-то недолгое время находились они в самом тесном общении во время ночевки и в дни совместного отдыха на исконных стоянках. И тогда все тонуло во всеобщей сумятице, перепутывалась скотина, поставленные как попало шалаши одного аула смешивались с балаганами другого, шум и гам стоял несусветный, порой и люди теряли друг друга и не могли отыскать свои временки.



Особенно беспокойными и тягостными дни кочевий были для чабанов и для ягнячьих пастухов – козыши, не меньшие тревоги и мучения выпадали на долю табунщиков. В чужие косяки могли уйти и расседланные лошади, и молодые невыезженные стригунки. Ягнята одного аула забегали в чужое стадо, овцы разных отар смешивались – попробуй их раздели. И в этой неразберихе кое-кто хватал приبلудных баранов и ягнят чужого аула, резал их под покровом ночи и торопливо, в темноте пожирал «пришлое мясо», порой недоваренным, боясь не успеть до рассвета...

Этот поспешный исход аулов из зимников на джайлау вынуждал кочевников сбиваться большими скоплениями людей, стад еще и потому, что на них с небывалой лютостью и наглостью совершали свои разбойные нападения волки. Их было немало, они размножились на безлюдных склонах Чингиза и до появления кочевых стад вскармливали своих волчат в основном на мясе сурков, которых водилось здесь уйма. Теперь же, когда появились рядом с ними огромные стада овец и конские табуны, звери стали налетать на них, словно неудержимые вихри, совершали дерзкие ночные набеги и беспощадно резали скот. Вот и вынуждены были многие аулы для охраны своих стад объединить усилия. Охрана не слезала с лошадей, люди всю ночь жгли костры вокруг временного пристанища и с оружием в руках стерегли скот, не смыкая глаз. Все это превращало мирное перемещение к летним пастбищам во что-то похожее на передвижение огромного войска. Днем весь кочевой люд на седлах, каждый джигит держит в руке или копье, или боевую палку-соил, или тяжелую секиру. Воистину все это было похоже на военные действия, на выступившее в поход войско.

Нынешняя кочевка оказалась для Абая мучительной. Никакой радости, никакого веселья. Он уже не лежал в жару, в бреду, но не был и вполне здоров. Даже просто ходить, ехать верхом на лошади он не мог. Душа не радовалась ничему, двигаться не хотелось. Голова постоянно кружилась, в глазах темнело,



когда он, пересилив себя, пытался встать на ноги. Но аул не мог не кочевать из-за его болезни.

Кунанбай, обычно навещавший Улжан через два-три дня, в остальные дни жил у своей младшей жены, красавицы токал Айгыз. Изредка навещал старшую жену, байбише Кунке, у которой был свой отдельный аул. Но во время кочевки Кунанбай всегда двигался вместе с ее аулом. В начале болезни он поинтересовался ходом болезни Абая, потом будто совсем забыл о нем.

Абай не мог усидеть на коне, Улжан не разрешила ему и ехать поверх тюков на верблюде – мол, если завалится груз или верблюд упадет, ребенок может разбиться насмерть. У старой бабушки Зере совместно с Улжан имелась двухколесная арба. Кочевой народ тобыкты вообще не знал, что такое арба, пока однажды старшая мать не заимела эту крашенную в синий цвет тележку с огромными колесами. Ее привез Кунанбай из города Каркаралинска, возвратившись с выборов, на которых его избрали ага-султаном. Это был первый в Тобыкты колесный возок.

– При кочевке будешь ехать на ней, – коротко сказал он матери.

По своей тучности Улжан было трудно передвигаться верхом на лошади, и она предпочитала ехать вместе со свекровью на повозке. Но по болезни Абая мать без лишних слов усадила его рядом с бабушкой Зере на арбу, а сама пересела на свою спокойную гнедую кобылу и ехала то сзади, то рядом с арбой.

Одна из самых продолжительных остановок кунанбаевского аула была в местечке Ботакан. От Колькайнара добраться до Ботакана получилось двадцать дней. И за все это время Абай так и не смог преодолеть окончательно свое болезненное состояние. По-прежнему кружилась голова, но теперь на стоянках он мог хотя бы самостоятельно выйти или зайти в юрту.

У него до сих пор еще больна душа, и она должна выздороветь, ведь детство еще не совсем ушло от него и могло вернуться с улыбкой чистой радости – но что-то странное про-



исходило с ним. Он не хотел возвращения детства, не хотел больше его забав и веселья. Он словно внезапно лишился детства. Могло показаться, что чувство великой подавленности родилось в нем в связи с перенесенной болезнью, но можно было и сказать, что все это явилось следствием недавно пережитого – мучительного, страшного, непосильного для детской души. А может быть, просто кончилось его детство? И началась взрослая жизнь? Однако взрослым он еще не стал, а из детства ушел – замер где-то посередине.

Абаю в этом году исполнилось тринадцать лет. По виду и по росту он соответствовал своим годам. В сравнении с прошлым годом – заметно вытянулся. Стали длинными руки его и ноги. Раньше нос был у него курносый, теперь казался длинным. В лице уже нет черт и выражения ребенка, – это лицо подростка, предвестника юноши. И несмотря на все это, он еще так далек от взрослости, от подлинного юношеского обличия. Худой, вытянутый, с торчащими мосластыми руками и ногами, он казался каким-то бледным растением, выросшим без лучей солнца.

Раньше был смугловат, румянец разлит по смуглоте. Сейчас – то ли сказалось долгое пребывание в городе, то ли болезнь повлияла – Абай бледен. Сквозь негустые темно-каштановые волосы просвечивает белая кожа головы. И это также выглядит как признак его болезненности.

Его внешнему виду соответствовало и поведение, и проявляющийся новый характер Абая. Он редко выходил на улицу во время многодневных стоянок, и хотя мог уже ездить верхом, предпочитал конным прогулкам домашнее времяпрепровождение. Вместо прежних друзей-сверстников он нашел себе нового друга, с кем предпочитал не расставаться, и этим другом стала его старенькая бабушка Зере. Нашел новое занятие для себя, взамен прежних мальчишеских игр, и в этой новой увлеченности наперсником для него стала не только бабушка, но и мама Улжан. Обе матери Абая оказались искусными рассказчицами, но началось все с бабушки.



Абай не думал не гадал, что не знающая никакой грамоты, почти глухая дряхлая Старшая мать носит в своей памяти запечатленные там навсегда чудесные истории, песни, баллады и поэмы народной старины. А выявилось это неожиданно, однажды вечером. Это было в начале болезни, Абай не мог уснуть, и он стал разговаривать с бабушкой, попросил ее рассказать о чем-нибудь, чтобы отвлечься от своего недуга. И тогда старая Зере, как-то по-особенному задумалась, помолчала немного, и вдруг распевно, торжественно начала:

*Е-е!.. Как в тумане исчезли былые дни.
Многие жили на свете, где нынче они?¹*

Абай с первого же мгновения был поражен, очарован этим поэтическим зачином, он потом, каждый раз, прося у бабушки новых песен и легенд, тихонечко тыкал пальцем ей в колено и многозначительно произносил: «Е-е!.. Как в тумане исчезли былые дни...».

И бабушка охотно принималась рассказывать, декламировать, напевать. Она рассказала много легенд и сказок. Так, были рассказаны «Едил – Жайык» – сказ о Волге и Урале, «Заповедник Жупар». Абай заставлял бабушку рассказывать с утра до вечера, и даже в пути на джайлау, трясясь в арбе, старая Зере припоминала и передавала внуку то, что она услышала и набрала в памяти за всю свою жизнь – и никому еще до сих пор не рассказывала.

Позднее, уже окончательно выздоровев, Абай обнаружил в памяти бабушки еще один неиссякаемый источник рассказов. Это были воспоминания о том, что она сама видела, пережила, запомнила. Так, несколько дней подряд старая Зере рассказывала о междоусобной вражде казахских племен, о распрях и стычках отдельных воителей... Рассказала и о том, как лет тридцать тому назад род Найман вероломно напал на их аул,

¹ Перевод А. Кима.



и тогда она потеряла приемного сына по имени Бостанбек, а из найманов был пленен акын по имени Кожамберды, который в железных кандалах протомился у тобыкты года полтора. За это время они услышали от пленника много кюев и поэм его собственного сочинения, и старая Зере запомнила немало стихотворений акына... Также она рассказывала о грозном опустошительном набеге, получившем впоследствии название «Нашествие Карашора».

В один из этих дней весеннего исхода на джайлау старая Зере поведала о печальной судьбе девушек Мамыр, Енлик, для которых любовь стала трагедией. Ничто из сокровищниц народной памяти, передаваемого Абаю бабушкой Зере, не было для него скучным, с неизменным жадным вниманием он выслушивал и запоминал все, что она рассказывала.

Порой, когда уставшая бабушка отнекивалась или у нее не было желания рассказывать, Абай обращался к родной матери Улжан, которая тоже слышала, запомнила и хранила в своей памяти немало старинных историй из жизни казахов. Причем помнила и передавала их в стихотворной форме, такими, какими сочинили их народные творцы, известные и неизвестные акыны и жырау. Абай удивлялся силе и глубине памяти мамы Улжан, которая нигде не училась, не занималась, но запомнила и сохранила в памяти все до последнего слова. И она передала сыну много известных легенд, сказаний далекой старины, поэм и стихотворных сочинений акынов и слов назиданий, остроумных шуток-прибауток, ставших крылатыми выражениями у казахов.

Для того, чтобы обеим матерям не прискучило без конца рассказывать ему и напевать, Абай для поддержания вдохновения сам читал им «Сказание о Юсупе и Зулейке» – одну из привезенных им из города книг. При этом сопровождал чтение мелодическими напевами. Некоторые непонятные матерям старотюркские слова и отдельные выражения тут же по ходу чтения переводил на казахский. И, подогрев их интерес к твор-



честву, просил матерей рассказать что-нибудь еще из историй родной старины.

Если бабушка Зере принималась рассказывать о набегах, грабежах, иноземных нашествиях, то делала она это столь выразительно и мощно, что для Абая кровавые события, горе и плач народный словно представляли воочию. С малых лет он любил слушать сказки и были старины, хранившиеся в памяти кочевого народа, а этим летом хранилище его собственной памяти значительно пополнилось.

В один из тех дней, когда он, уже выздоравливая, мог много времени уделять выслушиванию рассказов своих матерей, под вечер в доме оказались два незнакомца, заночевали. Один из них был пожилой, другой молод. Того, кто помоложе, Абай знал, увидев его, обрадовался. Это был исполнитель мелодических поэм, жырау, степной певец по имени Байкокше. В прошлом году он гостил у них на джайлау, жил три дня, и от него Абай впервые услышал поэму «Козы-Корпеш и Баян-Слу». Его пожилого спутника Абаю раньше не приходилось встречать, но оказалось, что этого человека хорошо знает Улжан.

После приветствий, расспросов, пожеланий здоровья мама Улжан, глядя с улыбкою на Абая, сказала:

– Ты все надоедал нам с бабушкой, расскажи тебе да расскажи, а теперь, сынок, настали для тебя именины сердца, пришел праздник по твою душу. Вот человек, который носит при себе неисчислимо много сказок и рассказов. Носителя сказок, сыночек, зовут Барлас, вот этот аксакал – акын Барлас! Поприветствуй его.

Светлолицый, благовидный, с седой бородкой клинышком, с сильным голосом, Барлас сразу понравился Абаю. Он не был похож на остальных взрослых, которые предпочитали больше молчать, тая в себе все то, что они знали. Барлас же оказался человеком с открытым сердцем – непосредственный, живой, разговорчивый. Вел себя свободно, как свой, часто бывающий в этом доме.



– Э, сынок, как говорят, «речь сказителя льется, как вода, внимание слушателя вбирает, как мел». Умеющий говорить, умеющий и слушать – вот истинный человек своего народа. Были бы у тебя охота да терпение, родной, – Байкокше не устанет рассказывать!

Сказав это, Барлас с улыбкой оглянулся на своего молодого спутника.

С переездом на джайлау стали появляться в доме гости из дальних аулов, вот как и сегодня. Барлас из рода Сыбан, по заведенному обычаю, приехал поприветствовать откочевавший на летнее жительство аул. Его собственный аул стоял на джайлау неподалеку, он откочевал из долины раньше; по пути к аулу Кунанбая акын повстречался с Байкокше, из рода Мамай, и оба вместе повернули своих коней в сторону гостеприимного дома Улжан. Молодой поэт был учеником и почитателем уважаемого в степи акына Барласа. Ежегодно так и происходило: они встречались и потом неразлучно проводили несколько месяцев, разъезжая с места на место.

Поскольку в этом доме их встретили очень приветливо, оба поэта почувствовали себя непринужденно, им было приятно, что здесь знают и способны оценить их искусство. И в эту ночь, пока варилось свежее мясо, Барлас исполнил «Кобыланды батыр». Это была самая мощная, самая красивая и впечатляющая поэма, подобных которой Абаю не приходилось ни слышать с голоса жырау, ни читать в книгах. Когда Барлас закончил и, готовясь к трапезе, помыл руки, Абай спросил у него:

– Кто сочинил эту поэму? Как зовут его?

Абаю непременно хотелось узнать имя акына, который создал такую замечательную поэму.

– Сочинение это происходит из глубины веков, сынок. Как отзывается наш досточтимый Жанеке, я исполняю эту поэму так, как раньше исполнял ее акын Марабай из Младшего жуза.

Жанеке – это был известный в степи поэт Жанак.

Особенно понравились Абаю прощание Кобыланды, скачка Тайбурыла и поединок Казана и Кобыланды. Ночью, улегшись в



постель, он долго не мог уснуть, оставаясь под впечатлением услышанного.

Наутро Улжан не отпустила гостей.

– Не торопитесь уезжать. Оставайтесь, побудьте у нас еще несколько дней, – упрасивала она Барласа и Байкокше.

Это была, собственно, просьба Абая. Абай раньше предполагал, что все знания, все жизненные поучения передаются только через книги, а духовные знания – через медресе. Ему представлялось, что непревзойденными мастерами поэзии были и остаются Низами, Навои, Физули, а мастерами тонкой любовной лирики, поэтами нежной печали – Шейх-Саади, Ходжа-Гафиз, а поэтом высокой героической поэмы – Фирдоуси. И с этими поэтами никто не может сравниться.

Как оказалось, он даже не знал, что у казахов есть множество не менее прекрасных поэм! Таких, как «Баян – Корпеш», «Акбала – Боздак». И есть свои великие поэты: Асан-Кайгы, Бухар-жырау, Марабай, Садак.

Не потому ли, что был до глубины сердца доходчив и понятен родной язык, и жизнь героев так знакома и близка, и звучание домбры, то поднимающее мелодию в недостижимую высь, то растекающееся по просторам степей рокотом струн, то спокойно затихающее, то вновь возносящееся в страстном порыве, – не от живого ли голоса домбры Абаю представляется, что невозможно услышать человеку что-нибудь более прекрасное, чем то, что услышал он в пении и музыке Барласа и Байкокше?

И днем и ночью Абай не отходил от своих гостей. Два акына наполнили дом Улжан высокой музыкой, и на время их пребывания Большой дом превратился в зачарованное место, где побывало все население аула, жаждущее встречи с родной музыкой и с высоким поэтическим словом.

Время привязывания кобыл на дойку предваряло час, когда все садились пить кумыс. Слегка захмелев от кумыса, народ жадно внимал своим акынам, их красивым голосам,



струнному пению домбры. Пополудни акыны исполняли про-
странные поэмы-жыр, промежутки между ними заполнялись
изречениями и поучениями мудрецов, пересказом тяжёлых
состязаний биев, стихотворными остротами краснобаев. Когда
народ расходился и дома оставались одни близкие, Барлас
пел свои собственные песни или исполнял сочинения наибо-
лее близких и любимых его современников-акынов. У него в
памяти было множество песен акынов Шоже, Сыбанбая, Балта,
Алпыса... В этом нескончаемом потоке поэтических песнопений
сам певец, помнящий все это наизусть, особенно выделял те
произведения, в которых говорилось о страданиях и чаяниях
народа. Барлас не относился к тем поэтам, которые свой дар
сочинительства используют для лести перед сильными мира
сего и перед богачами.

С наступлением вечера Абай со своими обеими матерями
заслушивался любимыми песнями Барласа. Они были чудес-
ны, завораживающе мелодичны. В эти зачарованные минуты
Абай вдруг переставал узнавать Барласа. Перед слушателями
находился другой, преображенный Барлас. Это уже не тот
остроумный, искрометный балагур, исполненный веселья поэт.
В вечерний час он предстал умудренным жизнью назидательным поэтом, печальным старцем, глубоким мыслителем.
И все понимали, что именно теперь Барлас-акын раскрывается
во всей своей подлинности и глубине.

*Тайна дум моих глубока,
Как туман, что вдали встает,
Грудь мою съедает тоска...
Вкруг – простор серебряных вод...
Забурлила, плещет река,
Это песни Барлас поет.*

– Что за печаль у Барласа? – спрашивал Абай у матери.



– Он велик, он никогда не унижится до восхваления недостойного в этой жизни, – туманно отвечала Улжан. – Ты внимательно слушай его, тогда все поймешь сам.

И Абай слушал, и сделал для себя существенное открытие. Песни акына бесстрашно обличали и даже бичевали неправедность богатеев, баев, беков – держателей власти. Поэт не признавал власть! А ведь он пел в их доме... В доме самого властного из властных.

*И владыкам алчным укор
У народа не сходит с губ.
Ты, правитель, хищник и вор,
Словно ворон летишь на труп.*

Абай радовался в душе, что нет дома отца. Ну, хоть бы еще немного задержался в гостях, думал он, хотя бы вовсе не появлялся, пока акыны здесь. Кунанбай и на самом деле не появился дома, пока Барлас и Байкокше пребывали в нем. Ага-султан в сопровождении старшин отправился по аулам решать какие-то дела. Поэтому Улжан и смогла задержать у себя Барласа и Байкокше. Она не могла свободно приглашать к себе акынов и рассказчиков, Кунанбай их не особенно жаловал, да и сами акыны не любили бывать в этом ауле, приезжали туда по приглашению Улжан только в отсутствие хозяина.

Конечно, Абай понимал, против кого направлены стихи Барласа про баев, биев и всякой знати. Этих мальчик всегда мог увидеть рядом. Абай многое понимал, размышляя, но свое понимание и свои мысли он никому не открывал.

*А получат свыше приказ,
Подымают хвосты тотчас,
Суетятся и ждут наград.
Черный страх нагнали на нас,
Сами в страхе на власть глядят.*



«Эти слова про старшину Майбасара», – подумал Абай.

*Перед властью – спину согнет,
А за телку – десять возьмет,
Отбирают скот бедняка, –
Знать, у хитрых рука легка!
Одинаковый сбор давай,
Будь бедняк ты иль будь ты бай, –
Платит двор, собирает вор –
И плоды твоего труда
Льются, как простая вода...*

Так напевно читал вслух Барлас и, закончив, тяжело вздыхал. И юному Абаю была понятной печаль великого старика. «Согласие и единство народа расшатано», – сказал он однажды. Абаю и это было понятно, и показалось ему, что ничего более горького и печального ни от кого больше он не слышал.

И смутным внутренним видением предстали перед ним толпы несчастных, скорбных людей, разбросанных по разным углам его родины, по разным временам, людей, никогда не знавших радости и состарившихся, как его бабушка Зере. Кто они? – спрашивал Абай и пытался внимательнее разглядеть людей своего воображения, но напрасно – они были неразличимы.

Однако если подобная сочувственная к миру печаль просматривалась и в его матери Улжан, и в дряхлой глухой бабушке – то никакого следа скорби и сочувствия по неизвестным беднякам и несчастным мира сего не замечалось в отце его Кунанбае, грозном ага-султани, твердом и непреклонном, как скала. Из суровых уст отца также исходили какие-то слова, выражающие что-то важное, наболевшее в нем, но Абай даже не пытался угадать, что отец имел в виду, – сын был далек от жизненных устремлений отца и совершенно не воспринимал его чувств и мыслей.



Присутствие в доме двух акынов было для Абая настолько радостно, желанно и значительно, что он постарался сделать все, чтобы как можно дольше задержать их у себя, и, действуя ласковыми уговорами, а также используя влияние обеих матерей на акынов, он добился того, что они пробыли в ауле целый месяц. За это время мальчик сердечно подружился с ними, почувствовал в них родных людей, ни на минуту не хотел с ними расставаться и даже стал укладываться спать рядом со старым акыном Барласом. Днем не отходил от него ни на шаг, старался сам прислужить ему, всячески ухаживал за ним. Аксакал и сам сильно привязался к Абаю, порою молча, по-доброму смотрел на необычного, умного и развитого подростка. Как-то оставшись с ним наедине, Барлас вдруг неожиданно обратился к нему со следующими стихами:

*Ты растешь, Абай-ширагим¹.
Кем ты будешь, ставши большим?*

И прочитав это напутствие, Барлас взял с колен своих домбру и протянул мальчику.

– Возьми, Абай родной, это мое благословение тебе. Домброй и стихами, идущими от самого сердца, благословляю тебя на славный жизненный путь.

От неожиданности и смущения Абай не нашелся, что и сказать. Он сидел, потупившись, глубоко взволнованный...

На другой день произошло то, о чем стало известно накануне вечером: «Поутру Барлас и Байкокше отправятся дальше в путь». Когда кони акынов уже были оседланы, Абай незаметно вызвал мать из юрты и наедине с нею заговорил:

– Апа, родненькая моя, давай отблагодарим их достойными подарками!

Улжан ничего не ответила.

¹ *Ширагим* – ласкательное слово: светик, солнце мое.



Гости попили кумысу на дорожку, подошло время вставать и прощаться. Но Улжан, взглянув на Барласа, подняла руку и дала ему понять, что хочет сказать что-то еще. Гости задержались.

– Сынок мой, как вернулся с учебы, так сразу и заболел, слег надолго и никак не мог поправиться. Но вот приехали вы, и ваши речи, каждое ваше слово подействовали на него как чудесное лекарство. Ваш приезд оказался счастливым для этого дома, вы благословенные гости.

Так говорила Улжан.

Абай и на самом деле чувствовал себя настолько хорошо, что уже позабыл о своей болезни, и ощущал в душе приток каких-то необыкновенных сил. Он посмотрел на мать и подумал, что хоть она раньше и слова не сказала по поводу его чудесного выздоровления, но пронизательным, чутким материнским сердцем своим угадала чудо.

После недолгого молчания Улжан продолжила:

– Приезжайте к нам еще. Вы и нас со старой матерью очень порадовали. Большое спасибо вам и счастливого пути! По вашему приезду в мой дом я приготовила, по обычаям нашим, скромный подарок для обоих. Он ждет вас во дворе. Возьмите, не откажите. И не взыщите, если что было не так. Удачи вам!

Выйдя во двор, чтобы проводить дорогих гостей, Абай увидел, как два табунщика, Беркимбай и Жаркын, держали под уздцы двух коней. Светло-серого, хорошо упитанного, подвели к Барласу, а гнедого жеребца-трехлетку передали Байкокше.

Акыны сели на своих лошадей и тронулись в путь, то и дело певуче, с едва слышимой грустью в голосе, восклицая: «Кош! Кош!»¹. В руке у каждого был поводок, на котором следовал дареный конь.

Абай в порыве глубокой благодарности бросился к матери и, как маленький ребенок, радостно засмеялся, крепко обнял ее и стал целовать в щеки, нос, глаза.

¹ *Кош! Кош!* – восклицание при прощании.

В СМУТЕ

1

В этом году аулы Кунанбая и все аулы его самых близких родственников провели осеннюю стрижку овец намного раньше, чем обычно. И откочевали с осеннего пастбища на зимовку не с первым снегом, как это делал всегда Кунанбай, а в первой половине ноября.

Находившиеся в тех же краях аулы родов Жигитек, Котибак, Топай, Торгай не были оповещены об этом и не знали о причинах столь ранней откочевки на зимники.

Удивленный всем этим, Суюндик заехал к Божею и во время обеда спросил за дастарханом:

– Ты что-нибудь понял, что затевает на этот раз твой родственник? Почему в этом году сорвался так рано с места?

В юрте кроме них двоих находился еще один человек – Тусип из рода Жигитек, того самого, из которого и Божей. Они и похожи, оба крупнотелые, с большими носами, Тусип второй по влиянию человек в Жигитек. У него густой, басовитый голос, узкая, стекающая на грудь борода.

– Чудит чего-то. Что ему пришло в голову? Или оскудела трава на его осенних выпасах? – высказался Тусип.

Божей только усмехнулся, испытующе глядя на него. И тут Суюндик снова не сдержался.

– Е-е, тайири¹, какое там! Разве на его осенних пастбищах когда-нибудь кончалась трава? Поезжай и посмотри – и нынче

¹ *Тайири* – возглас досады, возмущения.



стоит, вся налитая соком... – И тут он осекся, посмотрев на Божей. «Наверное, Божей что-то знает, но не хочет говорить», – подумал Суюндик. И прямо обратился к Божей: – Ты же сам знаешь, что кормов на его выпасах еще предостаточно. Травы в изобилии. Кормов слишком много, чтобы все это взять да и бросить. Должен он подумать о том, чем кормить скотину зимой, если сейчас перегонит стада на зимние выпасы? Конечно же, он провел осеннюю стрижку рано ради того, чтобы перекочевать пораньше. Но для чего? Может быть, ты чего-нибудь знаешь, Божей?

– А ты думаешь, он со мной советуется?

– Пусть не советуется, но клад, тайно от всех зарытый им, можешь найти только ты, Божей. Говори, не томи нас больше.

– Если Кунанбай стал бы торопиться весной, я бы подумал, что он нацеливается на земли Уак. Если бы рано погнал скот на летние пастбища, я бы сказал: берегитесь, керей, чтобы он не захватил ваши джайлау. Но вот так поспешить с предзимней кочевкой... До каких чужих земель не успели бы до зимы дойти его кони? А кругом ведь одни тобыктинские владения. Или он вовсе и не собирается тревожить чужаков? Словно беркут Тиня, который набросился на хозяина, Кунанбай, может быть, хочет найти добычу где-нибудь поближе?

Молвив это, Божей замолк с сумрачным видом. Суюндик же насторожился, затем удивленно воскликнул:

– Кажется, у нас такой земли нет, на которой сидел бы чужак. Все свои, на каждом зимовье свой, тобыктинец.

– Жаным, дорогой мой, да разве не помнишь, как вытеснил он род Жуантаяк с их собственных пастбищ, а потом и племя Анет, и выхватил кунице у рода Кокше? – продолжал Божей. – У кого они теперь, эти земли? От становища Такыртумы на осеннем джайлау до самого Байкошкара, считай, на тридцать кочевых переходов – все принадлежит ему: и весенние, и осенние, и зимние пастбища! Между его становищами нет земли, через которую можно было бы прогнать верблюда, чтобы он успел вспотеть.



Не сравниться с Иргизбаем роду Жигитек – и стоянок намного меньше, и урочища не очень просторные. И Тусипу, всегда озабоченному бедами и тяготами своих жигитеков, услышанные им слова о чужом благополучии не грели душу. Он только тяжело вздохнул.

– Да чего уж там... У них от одного хорошего выпаса до другого нет и дня козьего перегона. Все рядом, все сплошняком, не то, что у нас, – сказал Суюндик.

У Тусипа и у Суюндика в этом отношении, похоже, одна забота, одна заноза в сердце.

– И чего еще ему надо? – заговорил вновь Тусип. – У Иргизбая все выпасы с самой чистой водою, там и родники есть, и речки, и озера широкие.

– Другие аулы возле одного источника теснятся, у них же, гляди, каждый аул стоит на своей отдельной речке, – поддержал его Суюндик.

– И все это захватил он всего за несколько лет. Так на что еще он может позариться, если больше не осталось чужих земель, которые бы не отошли к Иргизбаю?

– Вот и надо всем подумать, что у них на уме.

Божей сидел и молча слушал обоих. Наконец он обернулся к гостям и с досадой высказался:

– Если бы вы, сидя здесь вдвоем, могли решить, что нам делать, было бы славно. Но какой толк от ваших жалоб друг перед другом? – Он пренебрежительно махнул рукой. – Впрочем, точно так же нет никакого толка и от пустых раздумий... Слабому и беспомощному остается только мечтать. Прицепится такая большая мечта, и от нее не скоро отцепишься. Это как желтухой заболеть... Мечтой сыт не будешь. И одними разговорами из беды не выкрутишься.

И тут дошло до Тусипа, о какой «больной мечте» говорит почтенный Божей. В урочище Ши находилась могила легендарного Кенгирбая, предка Божея и Тусипа. Рядом располагались обильные травами и водою урочища Жидебай и Барак. Кунан-



бай забрал их себе, якобы для того, чтобы поставить там зимники. Божей решительно воспротивился такому произволу, стал собирать своих людей, чтобы биться насмерть с захватчиком. Однако Кунанбай пригласил к себе Тусипа и как-то сумел его склонить на свою сторону. Тусип же приехал к Божею, уговорил его не начинать войну с иргизбаями, сбор боевой дружины был приостановлен. Это было первое и единственное открытое выступление Божея против Кунанбая, которое для первого закончилось ничем. И в продолжение нескольких последних лет Божей носил на сердце глухое недовольство собой, которое никак ничем не разрешалось. Он только временами, когда снова приходилось возвращаться к тому, что учинил вероломный Кунанбай, с возмущением набрасывался на Тусипа и обвинял родственника в том, что тот по своей слабости, из-за страха перед Кунанбаем не поддержал его решимости пойти на открытую ссору с обидчиком.

– Договариваться с Кунанбаем бесполезно. Против него надо действовать силой. Если ты арыстан, муж истинный и доблестный, то и берись за дело решительно. А иначе он будет поступать так, как привык, и сколько ни будет хапать, ему все будет мало.

Божей склонял на открытую ссору с Кунанбаем и Суюндика, говорил об этом и с Байдалы, которого считал одним из самых сильных родовых вождей и надежной опорой для рода Жигитек. И с каждым из них он говорил отдельно, наедине, чтобы до времени сохранить тайну.

2

Всего через семь кочевых перегонов аулы Кунанбая добрались до стоянок Кызылшокры, Кыдыр, Колькайнар и собирались расходиться по своим зимовьям. Но накануне утром от Кунанбая вышел приказ:

«Не откочевывать на свои зимники, не расходиться, ждать распоряжений».



Сам же Кунанбай, прихватив с собой Майбасара, съездил в горы на Чингиз. Путь был не очень дальний, но Кунанбай весь день пробыл в седле, рыская по всей местности. Вернулся в аул только к сумеркам и подъехал сразу же к юрте старшей жены Кунке.

Здесь сегодня собрались одни женщины: младшая мать Кунанбая, токал умершего отца, Таншолпан, а также супруга его дяди, Бопай-женге, и прочая родня по женской линии двух поколений.

Их аулы, откочевавшие отдельно от всех остальных, принадлежали к роду Иргизбай, числом их было около двадцати. Большая часть присутствующих родственниц была от младших жен-токал из родов Иргизбай и Оскенбай.

По случаю благополучной перекочевки все они прибыли в Главную юрту с подобающими дарами – два раза в году они приносят в дом старшей жены Кунанбая всякое угощение. Первый раз во время весенней перекочевки, когда после долгой зимы встреча на зеленых пастбищах всегда радостна для соскучившихся друг по дружке родственниц. Второй раз осенью, перед тем как расстаться на долгую зимовку.

Сидевшие за шумным, оживленным разговором, женщины враз смолкли, как только Майбасар открыл дверь и пропустил в юрту Кунанбая. И только тогда, когда мужчины расселись на торе, осмелилась заговорить лишь Таншолпан, его вторая мать.

– Дорогой наш сын, вот другие твои матери и снохи принесли в твой дом угощения. И старую мать Зере не забыли. Ей принесли отдельное подношение. Теперь мы поговорили и вот собрались уходить.

В последние годы Таншолпан называла свою пожизненную соперницу, *кундес*, не иначе как «старая мать», ибо так ее называли все в роду Кунанбая. Он ничего не ответил. Таншолпан была самой своенравной из жен его отца. Гордая, честолюбивая, она ни перед кем не знала страха и ей чужда была жен-



ская слабость. В молодые годы она стала известной на весь край своим подвигом, когда с пикой в руке кинулась на врагов, угонявших табун, и отбила его. Она родила четверых сыновей-погодков, а младшие жены, родившие мужу сыновей, гордятся этим и держатся всегда уверенно и смело. Так и теперь, Таншолпан не понравилось, что Кунанбай ничего не ответил на ее приветственные слова, и она дерзнула высказать ему:

– Подношения свои мы принесли не Кунке, а тебе. Ты хотя и младший сын для меня, но стал главой рода, поэтому и эти мои подношения. Завтра мы все разъедемся и на всю зиму забьемся в свои норы, как мыши, и носа не высунем до весны. Что ж, такова наша женская доля. Вот и хочу тебе дать благословение на прощанье, мой сын. Кроме этого ничего другого я сказать не хотела.

Кунанбай, внимательно, усмешливо посмотрев на свою младшую мать, кивнул головой и шутливо заговорил:

– Завтра, говоришь, разъедемся? А если не разъедемся, что будешь делать, киши апа¹? Придется тебе удостоить меня подношениями еще раз!

Произнеся эти слова, Кунанбай негромко рассмеялся. Вслед за ним рассмеялись и женщины, гостившие в доме. Но хозяйка, с тонким смуглым лицом худоцавая женщина, старшая жена Кунанбая, Кунке, воспользовалась хорошим расположением духа строгого супруга и с озабоченным лицом обратилась к нему:

– Сегодня я хотела дать распоряжение, чтобы развязывали и снимали вьюки, а завтра ставили юрты. И что же, надо все отменять? Неужели будет еще одна кочевка? Вы замучили нас в неведении, люди не знают, что и делать.

Кунке при этом посмотрела не на мужа, а на Майбасара.

– Что делать? Жди второго угощения! – рассмеялся вслед за старшим и Майбасар. – Будем кушать еще раз, чего уж тут непонятного!

¹ *Киши апа* – обращение к младшим женам отца.



– Вьюки развязывать не надо, и юрту ставить не трудись, – ясно высказался Кунанбай. – Завтра будем кочевать снова.

– Оу, милый, дорогой! Это как же? Что еще за новая кочевка? – удивилась Таншолпан и пристально посмотрела ему в лицо.

– Откочевываем все вместе. Так и передайте другим – завтра с утра двинемся на Чингиз. Мы присмотрели там места для пастбищ и для аулов. Всем скажите у себя, чтобы готовились в дорогу.

Так приказал Кунанбай.

На заре, как и было велено, начали собираться. Первыми стянули кошму на юрте Кунке. И все двадцать аулов рода Ир-гизбай снова поднялись с места и двинулись в направлении срединного Чингиза.

На сей раз кочевые караваны не растягивались, как обычно, словно гусиные стаи, а двигались беспорядочной толпой, как утиные стаи при нападении ястреба. Кунанбай наутро отдал спешное распоряжение:

– Пусть поторопятся, не мешкают! Не растягиваться! Двигаться всем одновременно! На сборы самое малое время!

С этими приказаниями Кунанбай разослал гонцов во все аулы, ко всем старейшинам. И двинувшееся обратно к горам Чингиза большое нестройное кочевье выглядело странно и необычно.

Там, у места исхода караванов, по левую сторону от караванной дороги возвышался одинокий высокий холм. Кунанбай в сопровождении Майбасара и Кудайберды, своего старшего сына от Кунке, обогнал шумное кочевье и поднялся на лошади к вершине холма. Под Кунанбаем был рослый гнедой походный конь с длинным хвостом, с вытянутым корпусом. Сидящий на нем массивный всадник высоко вознесся над катившим вниз, мимо горы, шевелившимся потоком кочевого каравана и, наклонив голову, пристально глядел вниз, словно хотел обратиться с воззванием к народу.



Рано утром, когда еще и солнце не взошло, в двадцати аулах сборы проходили в полной тишине. Однако потом, когда, с криками подняв верблюдов, тронулись в путь, сразу же в сотни глоток заблеяли ягнята, заголосили верблюжата, отбившиеся от маток, взревели там и тут верблюды, угнетенные тяжкими вьюками и больно захлестнутые жесткими веревками. Заплакали дети, поднятые в такую рань, забранились их матери, зарычали и залаяли озлобленные собаки соседних аулов. Верховые джигиты с отрывистыми криками понеслись в разные стороны, раздавались протяжные возгласы пастухов, гнавших скот, голоса молодых и немолодых мужчин.

Когда кочевые караваны тронулись в путь, Кунанбай велел своим помощникам, Камысбаю и сыну Кудайберды:

– Скачите оба, созовите ко мне старшин всех аулов!

Кудайберды и Камысбай, приняв распоряжение ага-султана, стремглав поскакали вниз с холма, наперерез караванам кочевья. И вот уже оба посыльных: высокий, рослый, с перетянутым тонким станом Кудайберды и широкоплечий джигит Камысбай на стремительном галопе обогнали все кочевье и, повернув лошадей, поскакали навстречу караванному ходу. По пути то один, то другой коротко приостанавливались перед движущимся караваном какого-нибудь аула, переговаривали с кем-то из едущих впереди верховых, затем летели дальше. И тотчас же от этого аула отделялись один или двое и быстро скакали в сторону холма, с видимым усердием нахлестывая лошадей.

Пока Кудайберды успел доскакать до хвостового аула кочевья, возле Кунанбая собралось уже всадников тридцать. Восходил погожий безветренный день поздней осени. Небо было чистое. И когда последние всадники поднялись на холм к Кунанбаю – огромный огненный круг солнца взлетел над зубчатой вершиной далекой горы Архат и рассеял во все стороны раскаленные стрелы лучей.

Далеко впереди, на пути каравана, вздымались гряды перевалов Чингиза. Лучи раннего солнца окрасили в золото



вершины горного кряжа, уходящего в ошеломительную даль и глубину пространства. Свет ворвался в мир, словно горы только что раскрыли свои тундуки. Высоко в небо взмыли жаворонки и рассыпали в воздухе свою утреннюю трель. Певчих пташек было множество, видимо, их потревожил движущийся шумный кочевой караван.

А вверху над ним, еле видимый в прозрачной вышине небес, плыл к югу длинный караван журавлей, их резкое трубное курлыканье доносилось до людей как грустные прощальные возгласы: «Кош-кош... Кош-кош...»

Когда на взмыленных конях гонцы Кудайберды и Камысбай вернулись на вершину холма, приведя за собой трех последних старейшин, там уже собралось около полсотни всадников. Среди вновь прибывших оказался родственник Кунанбая, сын еще от одной токал отца, Жакип. Он подъехал к ага-султану и отдал ему салем. Кунанбай ответил на приветствие и, выпрямившись в седле, коротко приказал: «Вперед!», дал шенкелей коню и первым поскакал с горы.

Кони грохнули копытами по склону холма, Кунанбай в сопровождении старейшин аулов поскакал в сторону Чингиза. Поток кочевого каравана оттеснился в сторону, давая дорогу своим вождям, пропуская их вперед. Но они смешались с другими всадниками каравана и только постепенно выдвинулись в первые ряды.

Впереди всех и в самой середине ехал Кунанбай, с обеих сторон его окружали самые старшие родственники – дядья по отцу Уркер, Мырзатай, Жортар. Были здесь Жакип, Майбасар, примерно одного с Кунанбаем возраста, братья от младших жен отца, а также многочисленные двоюродные братья по-моложе.

Кунанбай был единственным сыном у своей матери Зере, старшей жены отца. Таким образом, Большая юрта осталась за ним. Он владеет несметными стадами, пользуется безраздельной властью в огромном краю. К тому же и по возрасту



он старше многих своих родственников. В силу чего ни один из представителей его рода не смеет слова молвить против него, во всех двадцати аулах Иргизбая никто даже не подумает выказать свое недовольство. Коли понадобится Кунанбаю поддержка с оружием в руках, каждый не пощадит себя; его могучая воля, властный голос и сила духа покоряют всех, заставляя следовать за ним, сплачивая родовое единство. В хищных набегах на чужие земли, с целью захватить их или покорить враждебный род, каждый из старейшин без слов понимал Кунанбая, следуя его взгляду или одному лишь движению бровей. Строптивых он наказывал тем, что лишал их доли в захватнической добыче, а непокорных укрощал силой.

Всех убедил Кунанбай в том, что сплоченность и единение – основа родового благополучия. И когда родичи усвоили это, иргизбаи разбогатели.

В семейных женских войнах между многочисленными токалбайбише одно лишь появление Кунанбая пресекало все распри. Даже самые своенравные жены-соперницы, в душе готовые растерзать друг дружку, не решались на открытые ссоры, иначе братья мужей или старшие родственники живо наводили порядок, умеряя пыл и молодых, и старых баб кулаками под одобрительные возгласы остальных родичей: «Так и надо ей! Так и надо!»

Двадцать аулов, крепко сплотившись вокруг Кунанбая, представляли собой стаю хищников, обитающих в едином логове. Во всем огромном и многочисленном Тобыкты род Иргизбай позволял себе безнаказанно чинить произвол и насилие над другими родами. Они привлекли на свою сторону дальних родственников из племен Топай, Торгай, Котибак, втянули в разные сомнительные дела, а потом их же и полностью подчинили себе. Со многими бедными аулами из родов Анет, Жуантаяк, Сак-Тогалак, Кокше богатый Иргизбай даже роднился, засватывая у них невест, но затем всякими хитроумными способами заставлял их служить своей выгоде. Бывало не раз,



что они впутывали кого-нибудь в рискованное дело, заводили в безвыходное положение, а потом являлись в роли друзей-спасителей, чтобы впоследствии затащить его в круг своих сообщников и пособников.

Со временем каждый из небольшого и немногочисленного рода Иргизбай оказался в родственных связях со всеми остальными двадцатью аулами, и сложная сеть семейных отношений охватила всех и способствовала еще большему сплочению рода. И в этой кровной системе родственников Кунанбай сумел выдвинуться на самое первое место, стать единоличным властителем. Аткаминеры, следовавшие сейчас за Кунанбаем, даже не считали нужным спросить у него: «Куда мы едем?» Они привыкли думать: что бы Кунанбай ни решил, им от этого плохо не станет, но будет только выгода.

Длинный гнедой конь Кунанбая сначала шел неспешно, затем перешел на ровную, без раскочки, стремительную иноходь. Главам двадцати аулов пришлось перевести своих лошадей в галоп или на частую рысь, чтобы поспевать за гнедым иноходцем. Кунанбай ехал на полкорпуса впереди своей свиты, так имам во время молитвы должен быть хотя бы на шаг расстояния впереди остальных молящихся. Первенство ага-султана должно было сохраняться и здесь. Если зарвавшиеся молодые джигиты выдвигались вперед, то старшие тут же сдерживали их, сердито покрикивая: «Куда? Осади!» Пронзительным взглядом своего единственного глаза Кунанбай успевал охватить все вокруг. В его свите среди тех, что стояли ближе всего к ага-султану, были одни иргизбаи. В аулах же Иргизбая было много пришельцев из других бедных родов, которые пасли скот, стерегли табуны коней, были просто «соседями», пополняли ряды боевиков во время набегов и при нападении чужаков на их земли.

Кунанбай со свитой из старейшин далеко опередил кочевой караван Иргизбая. Наконец, остановившись, он объявил акимам всех двадцати аулов, куда, до какого урочища каждый



должен вести своих людей, где ставить юрты. И это не было ни советом, ни обсуждением – выражалось жесткое волеизлияние властителя, отдавались четкие распоряжения, которые были им заранее продуманы.

3

Шесть дней спустя той же караванной дорогой, по которой прошли аулы Кунанбая, тянулись в сторону гор другие кочевья. Шли бокенши и борсаки. Миновав Кызылшоку, они также направились в срединную часть Чингиза. Кочевья эти не перегоняли с собой больших стад, но по людскому составу они были многочисленны. Аулы шли разрозненно, растянувшись в беспорядочные неравномерные орды. Конных кочевников было мало, на лошадях ехали только погонщики да несколько женщин. Остальные, большей частью дети и старики, были разбросаны по вычным верблюдам. Можно было подумать, что эти аулы уже отогнали свои табуны на зимние пастбища и оставили при себе лишь самое необходимое количество лошадей. Иные джигиты ехали на верблюдах-двухлетках, сидели на спинах гужевого волов. Однако отсутствие в достаточном количестве лошадей объяснялось только лишь бедностью кочующих родов. Из всех аулов более зажиточными выглядели аулы Суюндика и Сугира, что из рода Бокенши, и караваны Жексена, из рода Борсак.

Старейшины, окруженные отрядом в два десятка молодых джигитов, ехали молча, с сумрачным видом, не было слышно ни смеха, ни веселых возгласов. Серые лица людей, серые чапаны и ветхие потемневшие полушубки серого цвета сливались с тусклым, пасмурным осенним небом. Вид движущегося кочевья не радовал глаз, и вожак кочевья Суюндик был мрачен и невесел. Народ ждал от него решительных действий и указаний, он знал это, но не мог побороть в себе подспудной неуверенности и страха.



– Посмотрим на месте, – негромко произнес он среди всеобщего настороженного безмолвия. – Встретимся с ним на месте и поговорим. Пусть сам скажет, почему бросил всех и увел на зимники один лишь Иргизбай.

– На месте посмотрим... Там и поговорим... Пусть он сам скажет... – повторили за Суюндиком старейшины Сугир и Жексен.

Все едущие рядом, молодые и старые, не были спокойны.

После того как Кунанбай необычно рано провел осеннюю стрижку и откочевал на зимники, люди почуяли неладное. Вскоре остальные роды тоже быстро провели стрижку овец раньше времени и поспешили вслед за Иргизбаем. Все лето Кунанбай искоса посматривал на Бокенши и Борсак. Несколько раз ага-султан находил повод, чтобы выразить свое недовольство по отношению к ним. Обеспокоенный Суюндик поехал к старшему, Божею, посоветоваться, но и Божей ничего не мог объяснить и утешить его.

Получив тревожную весть, что Кунанбай повел иргизбаев на Чингиз, Суюндик спешно поднял своих людей и направился следом. И другие аулы, чуя неладное, тоже быстро поднялись и двинулись к зимовьям – как сторонники иргизбаев, так и противники, в том числе Божей и Тусип.

Кочевые караваны, восходя на склоны Чингиза, стали расходиться по ущельям и распадкам, направляясь к своим обжитым зимовьям. У Бокенши на Чингизе зимние пастбища были не столь уж и просторны, срединным участком являлось жексеновское зимовье Карашоки, где весною был казнен Кодар.

Аулы Суюндика и Жексена не расходились, вместе добрались до реки и направились вдоль берега. Передовая группа конников двинулась вверх по мелкой воде, минуя непроходимые тугайные леса. И по речному проходу в горной гряде они вышли на зеленый лог у подножия горы Карашоки. Впереди показался утес, с которого был сброшен Кодар.

И тут бокенши и борсаки были насмерть удивлены тем, что увидели. Вся трава в широком логу была скошена и стара-



тельно убрана в стога. На землях Жексена паслось множество чьих-то коров, верблюдов. Чуть дальше утеса вольготно расположился аул из чистых, белых юрт. Вокруг них жизнь бурно кипела: прыгали, блеяли ягнята, бегали дети, поднимался кизячный дым над очагами. Зимовье Жексена, стало быть, больше ему уже не принадлежало, стоянку занял чей-то прибывший раньше аул.

На отлогой возвышенности, ведущей к вершине утеса, паслись кони. Это был огромный косяк, крайние лошади выбрались на оба боковых склона широкого распадка. Кони рыжеватой и саврасой масти – без всякого сомнения, это был табун Кунанбая.

– Ойбай, вот она, божья кара! – воскликнул Жексен, схватившись за голову. – Суюндик, родной мой, что мне делать? Что делать? – И он заплакал.

– Беда, – только и вымолвил Суюндик. – Про такую беду и говорят: «Джайлау твои сожрал враг, зимник твой слизнул пожар».

Он тяжело вздохнул и больше не сказал ни слова.

До них уже доходили разные слухи, что Кунанбай готовит что-то злое, но они никак не ожидали, что он решится на такое вероломство.

– Дьявол! Не у одного Жексена захватили землю, поди, у всего рода Борсак и у Бокенши! – диким голосом закричал Жетпис. – Увидите! Все зимники бокенши наверняка теперь у него! Да лучше смерть, чем жить и терпеть такой позор!

Несколько молодых джигитов, хлестнув лошадей, вылетели вперед из рядов толпы.

– Землю отнять – душу убить!

– Жить не стоит после этого!

– Бокенши! Борсаки! Вы что, ублюдками родились?

– Нельзя больше терпеть!

– Вот до чего довела нас трусость!

– Сколько можно унижаться! Сколько нам еще гнуть спину!



– Лучше убейте нас, старшины! Вы, сделавшие нас бабами! – гневно выкрикнул кто-то, обратившись к Суюндику и Сугиру.

Все молча уставились на своих вожakov.

Суюндик съежился, словно хлестнули его камчой по голове. Он вспыхнул от гнева, но сумел сдержать себя. Только не надо давать повода этим озлобленным людям сорваться на бесчинства. Они готовы сейчас же разбойно наброситься на табун пасущихся лошадей... Но если посмотреть, кто кричит, так это же одни *шаруа* – неимущие, голытьба. Безответственная толпа нищих аулов. Бедняки низкого происхождения. Все они в любое время готовы к одному: грабить, хватать то, что им не принадлежит. А завтра, случись что, весь груз ответственности падет на него. Скажут: это Суюндик повел своих людей на разбой. Напал на аулы родственников. И кто же потом будет отвечать перед судом? Кому расплачиваться собственным скотом за нанесенный ущерб? Да ему же, Суюндику, и другим баям-старшинам – Сугиру и Жексену.

Подумав об этом, Суюндик обмер со страху. Сдерживая зашалившего под ним рослого жеребца, он самым решительным образом прикрикнул:

– Стойте, джигиты!

Заворачивая коней, всадники закрутились вокруг него.

– Жа! Если вы хотите драться, подите прочь от меня! Я не с вами, деритесь одни. Ступайте, никто вас не держит, на пути у вас стоять не буду. Думаете, Кунанбай испугается пары десятков ваших соилов? Если бы боялся, не сделал того, что сделал. У вас двадцать палок, у него сто. У вас будет сто – Кунанбай выставит тысячу. Вот, посмотрите! – И он качнул головой, поводя вздернутым подбородком в сторону аула.

И только теперь люди заметили, как медленно, выступая из-за юрт, появляясь из-за косогора, с двух сторон выходя из леса и неторопливо просачиваясь сквозь тесный табун, направляются в их сторону многочисленные всадники. Они были вооружены соилами, держали их наготове, одни – положив



поперек седла, другие – подняв их набалдашником вверх, зажимая нижний конец под коленом, трети волочили их за собой по земле, вдев руку в ременную петлю. Верховых было не менее ста. Они вышли на широкий пустырь и, выровнявшись сомкнутым строем, неторопливо двинулись в сторону ватаги Суюндика.

Оцепеневшие бокенши и борсаки смотрели на них, безмолвствуя.

И тут выступил вперед Сугир. Он владел многочисленными табунами, был самым богатым человеком во всем Бокенши.

– Ойбай, мы ведь не одни на свете, у нас есть сородичи, с нами весь народ Тобыкты! – заговорил он торопливо. – Мы добьемся, чтобы нам вернули наше добро. Подадим на суд всего народа! Но только не дурите сейчас, не накликайте беды на свою голову.

– Зачинщикам ссоры не сдобровать! Это я вам говорю, – пригрозил Суюндик, завершая спор.

В лаве всадников, надвигавшихся на кучку верховых борсаков и бокенши, находился сам Кунанбай. Длинный гнедой конь, хорошо различимый издали, горделиво нес на себе хозяина, вскидывая голову и потряхивая гривой. Приблизившись, ага-султан движением руки остановил следовавшую за ним толпу конных, отделился от нее и с небольшой свитой человек в десять неторопливо подъехал к отряду Суюндика.

Единственным своим глазом Кунанбай сурово и холодно оглядел присмиривших джигитов, сидевших на своих плохоньких лошадах. Казалось, взглядом своим он хотел сказать: «Ну?! Что вы можете сделать со мной?» Массивная голова его была надменно откинута назад. Все богатые владельцы и сильные властители держатся надменно, но Кунанбай умел это делать особенно хорошо. Суюндик-то знал, что это напускное, он и сам частенько напускал на себя грозный вид, но сейчас вместе со своими людьми и он попал под воздействие властной воли Кунанбая.



Бокенши и борсаки первыми приветствовали ага-султана. Кунанбай ответил на сале́м, едва пошевелив губами. Нависла напряженная тишина. Первым заговорил Суюндик.

– Мырза, что это за конники с соилами? – сдерживая себя, спросил он. По обыкновению, все аткаминеры Тобыкты называли Кунанбая мырзой.

– Люди собирались клеймить лошадей, прежде чем перегонять на зимние пастбища, – спокойно ответил он.

Разговор на этом оборвался, опять наступило молчание. В это время Жексен привстал на стремянах, оглянулся назад и увидел, что головная часть кочевого каравана, следовавшая за старшинами, одолела перевал и стала приближаться к ним.

– Мырза, вот наши аулы едут. Мы прибыли на свои зимники, а их заняли другие. Как же нам быть? – обратился Жексен к Кунанбаю.

– А кто тебе велел перекочевывать сюда? – резко ответил тот. – Почему заранее не спросил у меня, сам настырно полез вперед и народ за собой потянул? Теперь твои аулы должны вернуться обратно, – властно закончил он.

– Жа, мырза, но ведь сказано: «Властителю принадлежит народ, но земля принадлежит народу...»

– А что, по-твоему, властитель должен жить на небесах? Где было сказано, что Иргизбаю нет места на Чингизе?

– Но ведь для вас, мырза, свет клином не сошелся на Чингизе! И без того у вас немеряно хорошей земли для зимовок! – только теперь вмешался в разговор Суюндик. И сразу же его перебил Кунанбай:

– Эй, Кишекен! Эй, Бобен! – начал он (так уважительно называли эти роды на общеродовых сходках). – Вы наши старшие братья. Вы поднялись раньше нас и завладели всеми просторными урочищами у подножий Чингиза. Иргизбаи были младше вас и малочисленны. Вы не дали им и клочка земли на Чингизе. Это твои ведь слова, Суюндик: «Хорошая земля для зимовья». И правда, разве сравнится что-нибудь с Чинги-



зом? Но вот теперь я стою на ногах, доколе еще мне терпеть? Сколько еще чувствовать себя обойденным? Иргизбаям тоже нужны хорошие зимние выпасы. Род Иргизбай вырос и окреп, и мы в Тобыкты не последние, не от рабынь родились, и не пришельцы какие-нибудь – мы имеем такое же право, как и вы, владеть нашими землями.

Слова Кунанбая звучали одновременно и как жалоба, и как обвинение, и как приговор судьи.

– Мырза, сколько же зимовий Бокенши вы хотите забрать себе? – спросил Суюндик. Ему хотелось выведать, на что замахивается Кунанбай.

– Бокенши должен уступить все зимовья по эту сторону Чингиза, – был решительный ответ.

– А нам куда деваться? – вспылив, выкрикнул Жетпис, брат Жексена.

Раздался глухой ропот:

– Значит, бокенши изгнаны отсюда?

– Нам что, откочевать туда, не знаю куда?

– И заступиться за нас некому!

Люди снова взбудоражились, но Кунанбай ткнул плетью в сторону толпы и, впившись своим единственным глазом в Суюндика, грозно рявкнул:

– Ну-ка! Уйми их!

Суюндик хотел выгородить себя перед Кунанбаем и, повернувшись к своим джигитам, набросился на них с упреками:

– Я же вам говорил, не поднимать шуму, не лезть на рожон! Ну-ка, сейчас же замолкните!

Его послушались, стихли.

– Бокенши! Борсак! Не подумайте, что у вас забирают зимовья и бросают на произвол судьбы. Я забираю их не даром, вы получите земли взамен. Отдаю вам тут же, в отрогах Чингиза, урочища возле гор Талшоки и у подножья Караула. Поверните ваши аулы и направляйтесь туда. Я вам все сказал.



В это время с двух противоположных сторон, с запада и с востока, появились верховые. С запада прибыли двое, один из них был старший сын Суюндика джигит Асылбек.

– Наше зимовье заняли Жакип и Жортар, братья мырзы. Что делать? – спросил он у отца.

С востока приехавший джигит был из аула Сугира, его сосед Кабас.

– На наших зимовках хозяйничают дядья мырзы Ырсай, Мырзатай и Уркер. Кочевье стоит, не знаем, что делать – развязывать вьюки, нет?

С разных сторон стали подъезжать сразу по четыре-пять человек, все старшины аулов, у которых отняли зимовья. Люди были в отчаянии, озлоблены, возмущены. Казалось, гонцы собрали и привезли с собой весь гнев и все проклятья сородичей.

Толпа бокенши между тем становилась все больше. Но Кунанбай оставался непоколебимым, как скала. Суюндик, наконец-то, проникся всей безысходностью народа, которого был вождем. И сам он был унижен, уничтожен, растоптан Кунанбаем.

– Что я могу поделать? Вы же видите! – в отчаянии крикнул он. – Если бы только это были враги... Но ведь свои же...

Жетпис не дал ему договорить.

– Нет больше справедливости! – вскричал он.

Толпа отозвалась:

– Некому вступить за нас!

– Лучше бы выгнали совсем, чем так унижать нас!

И тут из-за бугра, примыкавшего к утесу, выехали одна за другой две ватаги верховых. В первой, числом около десяти, были аткаминеры аулов Котибак, во главе со старшиной рода Байсалом. Они степенно подъехали к Кунанбаю и почтительно приветствовали его:

– Со счастливым новосельем, мырза!

– Удачи на долгие годы!



– Новый очаг – новое счастье! Поздравляем!

Поднялся невнятный галдеж приветствий, когда подъехала следующая ватага всадников, человек пять-шесть. Во главе был старик Кулыншак, самый уважаемый и состоятельный человек рода Торгай, старшина. С ним прибыли пятеро его сыновей, которых в народе называли «бескаска» – «пятеро удальцов». Это были отважные воины, отчаянные головы, настоящие батыры. Подъехав к Кунанбаю вплотную, Кулыншак обратился к нему самым торжественным образом:

– Ассалаумагалеюкум, свет мой Кунанбай! Прими от меня поздравление. С новосельем тебя!

Эти поздравления открыли глаза вождам Бокенши и Борсак. Свое черное дело Кунанбай совершил не без поддержки других родов. Значит, с ним в сговоре были и Торгай, и Топай, и Котибак.

А ведь Суюндик крепко надеялся на Котибак и его старшину Байсала, по крайней мере, считал, что тот в стороне от подлых козней Кунанбая. Неужели они сговорились тайно? Приехавшие поздравить Кунанбая аткаминеры явились не только с поздравлениями, они открыто выставляли напоказ свою приверженность Кунанбаю и поддержку ему. Так захотел мырза, он все подстроил заранее.

Обо всем этом догадался не один Суюндик. Старик Жексен понял, наконец, всю непоправимость случившейся беды.

– Апырай! Надо же! У меня было мое родное гнездо! Земля моих предков! Здесь их мазары! И еще в прошлую весну вон у того камня пролилась кровь славного арыса, настоящего азамата, доблестного мужа! Земля моя, кровью родичей омытая! – так кричал Жексен.

Эти слова были неожиданными для всех, в особенности в устах Жексена, который с особым усердием побивал камнями Кодара.

Суюндик неодобрительно пробормотал:

– Вот что горе делает с человеком. Он потерял разум... К чему вспоминать это?



И для Кунанбая упоминание о Кодаре здесь, сейчас явилось полной неожиданностью. Но тотчас же сообразил, что и это упоминание о казни можно повернуть в свою пользу. Грозно вперившись единственным глазом в Жексена, он рявкнул:

– Что ты сказал? Ты, наверное, выжил из ума от старости! Какой еще «доблестный муж»? Если такой человек у вас считается доблестным, то кто же такие все остальные бокенши? Кодар не арыс, не азамат, а самый настоящий гнусный негодяй, от которого отвернулись аруахи, духи предков. Его отвергли все Тобыкты! Потому я и отдал эти зимовья другим, чтобы не осталось здесь и духа этого святотатца, чтобы стерлись его следы на этой земле, чтобы вытравить из памяти людей всякое воспоминание о нем! И перестань нести тут всякий вздор, старик!

Эти слова Кунанбая пришлись для бокенши словно пощечина, словно камень, брошенный в лицо. Сам того не желая, Кунанбай раскрыл потаенную страшную подоплеку, из-за чего был убит Кодар: целью этого убийства был захват его зимовья.

И тут даже Суюндик не выдержал.

– Астапыралла! О Боже! Что я слышу! Мой родной, мудрый Божей! Как ты был прав, когда говорил: «Не на Кодара накинули вы арканную петлю, а на самих себя». О безвинный мужественный арыстан, лев отважный, так вот почему ты был убит! Чужая корысть убила тебя, о мой Кодар!

Горячий ком перекрыл его горло, он обхватил руками шею своего скакуна и заплакал, уткнувшись лицом в гриву коня.

И старик Жексен вдруг взвыл:

– Оу! Позор на лице моем! Проклятие на мою голову! Пес я шелудивый! Что я наделал! О, родной мой! О, бауырым Кодар!

И он с места послал в бешеный галоп лошадь, поскакал к зимнику Кодара.

Выкрик был искрой, упавшей в сухую траву. Этого оказалось достаточным, чтобы вся толпа бокенши-борсак с жалобными



воплями «Ойбай! Родной мой!» в грохоте копыт понеслась вслед за Жексеном. Суюндик оказался с ними. Кунанбай и Байсал и окружавшие их конники остались на бугре. Кунанбай пожалел про себя: «Не нужно было говорить про Кодара», но об этом и виду не подал перед Байсалом. Ага-султан молча смотрел вслед скачущим, прищутив свой единственный глаз, раздумывая, чем был вызван такой бешеный взрыв возмущения у бокенши.

– Ты понял теперь, кто их главный подстрекатель? Стоило задеть за живое – так сразу и вылезло то, что таили они в душе. Божей их подстрекатель! Все идет от Бога. Он один виноват. Он хочет поставить на меня кровавый капкан среди родичей Тобыкты! «Единство, единство», повторяешь ты все время. А теперь видел сам, что это за единство? – обратился он к Байсалу, уставив на него свой хмурый глаз.

Но, помолчав, добавил:

– Аллах справедлив... Все будет так, как Он повелит. Я вынесу все. – И с видимостью проявления самого большого доверия, закончил: – Ты, дорогой Байсал, передай Суюндику, Сугиру и Жексену, чтобы они зря не мутили народ. Пусть всех успокоят. Какие бы места для Бокенши ни отвел я на Чингизе, сами они в обиде не будут. Для них троих сделаю все хорошо, так и передай им. Пусть верят моему слову.

В стороне, среди верховых, которых ранее Кунанбай отсылал к табунам, находился и Майбасар. Когда бокенши с громкими рыданиями проскакали мимо, он со злой усмешкой высказался:

– Уай, люди! Говорится, что хромая овца и ночью блеет. А выходит, что не только хромая овца, а род бокенши под вечер блеет. Где это видано, где слыхано, чтобы поздней осенью оплакивали человека, которого похоронили ранней весной?

Тогда, весной, к останкам убитого Кодара и Камки никто не приблизился, все торопливо разъехались после убийства. Лишь чабаны Жампеис и Айтимбет бога ради прибрали тела



казненных. Жексен в тот день, вернувшись домой, устроил полный разгон всем и вся, побил женщин, детей, чтобы они и на шаг не приближались к трупам. Но Жампеис и Айтимбет вместе с такими же пастухами овец, как они сами, отнесли тела Кодара и Камки к могиле Кутжана и похоронили по обе стороны от него, следуя всем правилам похоронного обряда.

Теперь же, осенью, мужчины рода Бокенши, прибыв к семейному мазару, с рыданиями пали на могилы, обнимая их руками. До того как люди Суюндика прискакали вместе с ним, у могил сидели на земле четыре человека. Это были Айтимбет, Жампеис и еще двое старых чабанов.

Все лето они не могли побывать на могилах, и только теперь, прибыв вместе с кочевьями, пришли сюда, чтобы помянуть несчастных мучеников, почитать из Корана.

Увидев набежавшую шумную орду плакальщиков, старики были удивлены и озадачены. И что среди них оказался сам бай Суюндик, для чабанов было особенно непонятно. Но больше всего стариков удивило то, что рыдали и голосили на могилах Жексен и Жетпис. Они оба, по очереди переползая от одного холмика к другому, распластывались на них с широко разведенными руками.

– Прости нас, светлый арыс наш! – голосили они. – Славный арыс, прости! Агаке дорогой наш, прости! – вопили и рыдали они. И было похоже, что из глаз их струятся горячие слезы искреннего раскаяния.

Но сердце старого Жампеиса не смягчилось и не дрогнуло перед их лицемерием. После смерти Кодара и Камки он вновь оказался без крова над головой и сильно сдал, усох и сгорбился. Он решительно, с резкой нестариковской силой толкнул в грудь Жексена, когда тот, рыдая, хотел упасть и обнять могилу Камки.

– Чтоб глаза твои вытекли вместе с твоими слезами! Чтобы у всех вас повылазили глаза, нечестивцы поганые.

Совсем недолгое время спустя возле могил собралась большая толпа людей из пришлых кочевий. Были среди толпы



не только мужчины, но и женщины, молодые и старые. И все вместе они огласили пустынную местность скорбным плачем, воплями и стенаниями.

4

Бокенши и Борсак откочевали назад с Чингиза, но на новые зимовки, которые определил для них Кунанбай, не пошли. Поставив временные балаганы, жалкие лачуги, осели на летних стоянках Кызылшоки, Кыдыр, Колькайнар.

К этому времени аулы других родов перебрались на свои исконные зимовки и запалили домашние очаги. Была пора всеобщих хлопот по подвозу сена от стогов к стойбищу, по очистке скотных дворов от многослойного навоза, по заготовке кизяка – сушке, укладке в кучи, по заделке худых мест в загонах для скота, по обмазке облупившихся стенок в зимнем доме, по налаживанию печек и чистке труб. Праздные, свободные от всего этого, бокенши и борсаки в считанные дни пали духом и превратились в бездомных беженцев.

Кунанбай послал Жорга-Жумабая к Суюндику и Сугиру, чтобы передать им: пусть лично они быстрее занимают любые стоянки на Карауле, Балпан и Талшоки. Впридачу берут весь Шалкар, прилегающий к летним пастбищам. Если аткаминеры возьмут по зимовью на Чингизе, займут урочища Караул и Балпан, если перейдут в их собственность берега двух речек, повода для сожаления у них не будет. Только пусть скорее занимают свои места и ни в коем случае не тянут других за собою.

После того как Суюндик и Сугир поняли, стало быть, что они-то ничего не проигрывают, баи стали готовиться к переезду. Никому ничего из Бокенши не сказав, три дома Суюндика, Сугира, Жексена начали готовиться к перекочевке. Спозаранку подогнали верблюдов, приготовили волосяные канаты для вьюков и стали разбирать свои временные шалаши. Но в то время когда они поддались соблазну и собирались потихоньку



бросить других и уйти, из остальных аулов Бокенши и Борсак собрались вместе человек тридцать и сели на коней. Эта разновозрастная ватага джигитов была из бедноты, повел ее богатырского телосложения громадный человек среднего возраста по имени Даркембай.

Они нагрянули в аул Жексена, располагавшийся на окраине стойбища Кызылшокры, потребовали, чтобы Жексен и Жетпис немедленно предстали перед ними. Даркембай свирепо выкатил на них глаза и закричал:

– Бросаете людей, собираетесь смыться куда-то, спасая свои шкуры? Не выйдет у вас! Кочевки не будет! Чего суждено всем нам хлебнуть – хлебнете и вы. Шалашики свои лучше не разбирайте. Одних вас отсюда не выпустим.

Жексен не посмел противиться. Заходя издали, начал было вилять:

– А вы, родные мои, наверное, узнали что-нибудь новенькое?

На что Даркембай со сдержанной яростью ответил:

– Довольно! Лучше будет, если вы оба немедленно сядете на коней и вместе с нами поедете к Суюндику. Там и обсудим все.

Пришлось братьям, Жексену и Жетпису, ехать с разгневанными жатаками.

Суюндику долго объяснять не пришлось – Даркембай и его заставил отменить кочевку. Старшина лишь спросил хмуровато:

– Хотя бы скажите мне, на что вы сами-то надеетесь? Наступают холода, зима грозит своей саблей. Неужели вы хотите заморозить стариков и старух? Заставить дрожать от холода наших малышей? Чего мы добьемся, сидя здесь?

Тотчас же Даркембай ответил:

– Суюндик, Жексен, Сугир! Вы наши старшины, едем к Божею. Не уходите в сторону от людей, не бросайте народ. Что делать – обсудим вместе с родичами, с Божеем. Скажем им:



«Не дождетесь и вы добра от кунанбаевских прихвостней, если бросите в беде своих». А коли и у жигитеков не найдем поддержки, будем думать, что делать дальше.

К полудню доскакали до Божея, который благополучно зимовал на Чингизе, занимая прекрасные пастбища. Земли эти были наследственные, он получил их от своего предка Кенгирбая.

Увидев перед собой старейшин Бокенши и Борсак, Божей послал за своими родовыми старшинами из Жигитек – Байдалы и Тусипом. Он пожелал, чтобы при обсуждении такого важного дела присутствовали все главы родов Жигитек.

Суюндик и здесь не стал разговорчивее, его уклончивые слова были осторожны и сдержанны.

– Вот они пришли к тебе, – обратился он к Божею. – Поговори с ними. Может, чего посоветуешь, выход какой-нибудь подскажешь...

Божей остро, внимательно посмотрел на Суюндика: что у него таится на дне души? «Может быть, просто трусит, как всегда? – подумал Божей. – Слаб духом, боится Кунанбая».

Но если вожак народа робок – сам народ-то распален гневом! Даркембай с неистовой силой возмущения страстно высказался за всех:

– Божеке! Довольно нам ползать перед Кунанбаем. Тварь трусливую, ползучую и собаки кусают, и птицы клюют. Не надо больше нас учить, как верблюдов, которым командуют «шок-шок», чтобы они легли или встали. Дай нам такой совет, чтобы народ наконец-то мог поднять голову.

Столь решительный ход разговора был по душе Байдалы. Он уважал прямоту и смелость в людях, сам был такой же. Вся сила духа и недюжинная хватка рода Жигитек воплотились в нем.

– Оу, Суюндик, – сказал весело Байдалы, – да ты спрашивал бы совета не у нас, а у Даркембая! Он бедняк, но слово истинного мужчины свойственно ему!

Прежде чем прибегнуть к вооруженной борьбе, Божей советовал сначала попробовать действовать именем закона и



разбираться по обычаям старины. Он постарается, даст Бог, раскрыть всему народу глаза на бесчинства и козни Кунанбая. Но вначале он хочет предупредить бокенши.

– Бобен! Борсак! Вы мои братья. Если вас обидели, значит, обидели и меня. Мое благополучие не должно разделяться от вашего благополучия. Была бы воля Кунанбая, он, конечно, не дал бы нам жить в мире и согласии, в добрых родственных отношениях. И теперь вам предлагают занять Талшоки, Караул и Балпан. Понимаете ли вы, чем это пахнет?

Божей обвел внимательным взглядом сидящих, немного помолчал. Затем продолжил:

– Он хочет сомкнуть земли жигитеков и бокенши. Если два рода, пусть даже самых близких и дружественных, имеют общую границу владений, приходит конец согласию и добрососедским отношениям. Он надеется, что мы, живя рядом, будем ссориться из-за каждого клочка земли, из-за пяти-шести стожков сена, из-за глотка воды. Хочет забить клин между нами, посеять раздор, который будет длиться поколениями. Но не бывать этому! Наше родство незыблемо. Если вам придется все-таки поселиться на Талшоки и в предгории Караула, я поделюсь с вами всем, что имею, и ничего не потребую взамен. Но прежде всего нам вместе надо потягаться с ним. И кто же, как не мы, должны выступить за вас посредниками? Ведь жигитеки в родстве и с вами, и с иргизбаями. – Божей говорил это, испытующе посматривая на Тусипа. – Жигитек будет с него спрашивать. Мы скажем, что Жигитек считает последние его решения неправильными, а поступки несправедливыми. И посмотрим, что Кунанбай ответит на это. Все остальное будем решать после его ответа, – закончил он.

Одобрительные голоса, согласное покачивание тымаков на головах старшин.

– Ну, тогда скорей садись на коня, Тусип. Передай наше мнение Кунанбаю и сегодня же вернись с ответом, – заключил Божей.



Решительный, горячий Байдалы также напутствовал Тусипа:

– Только все ему выскажи! Говори без недомолвок, ничего не утаивай за душой. Хватит нам хвост поджимать перед ним. Иди хоть на разрыв, кровь из носу, но выскажи ему все так, как мы тебе поручили. Всю обиду наших людей выплесни на него!

Сам полный гнева и решимости, Байдалы старался подбодрить и воодушевить Тусипа.

Решив строго придерживаться этих наказов, Тусип в тот же день к вечеру был у Кунанбая в его ауле. Он находился в Карашоки, в зимовье своей старшей жены Кунке. Тусип прибыл туда к закату солнца. Кунанбай вывел его на вершину небольшого холма, там и произошел разговор. Тусип начал издали, заговорил о необходимости единства и сплоченности народа, затем перешел к сути вопроса.

– Твои решения осуждают не только Бокенши, но и весь Жигитек... – приступил он, но внезапно Кунанбай резко повернулся к нему и прервал его неожиданным гневным выкриком:

– Видно, род Жигитек хочет выступить заступником за обиженных? А не забывается ли, не высоко ли возносятся? На самих-то жигитеков жалуются и Уак, и Керей, об этом ты знаешь? Они обижены вами, а за них кто заступится? Обидчики – жигитеки! Вы грабите всех своих соседей! Ваши барымтачи крадут скот, вы не возмещаете кровное имущество по суду! Божея, Байдалы, тебя, Тусип, вас осуждают люди, вы перед всеми виноваты! Оправдайтесь сами, а потом заступайтесь за бокенши! Сначала усмирите своих воров и насильников.

Тусип сразу же вскипел.

– Прихвостней и клеветников всегда много крутится возле тебя, Кунанбай! – резко возразил он. – Божей и Тусип никогда не были ворами! Может быть, ты собираешься еще что-нибудь придумать, чтобы навлечь беду на весь род Жигитек? А про нас с Божеем тебе все равно нечего сказать, потому что мы чисты и ничем не запятнаны.



– А я говорю: вы вовсе не чисты, и вы запятнаны.

– Если это так, докажи нашу вину вот на этом месте, в священный час заката!

Тусип вскочил с земли, он весь дрожал от возмущения.

– Сядь, сейчас всё скажу, – сурово осадил его Кунанбай. – Пусть Божей перестанет расставлять на меня капканы. Пусть не стреляет из-за чужих спин. А если не одумается, то пусть поскорее выпустит все свои деревянные пули в мою сторону и покрепче держит ответный удар. Отвечать за всех будет он один.

Кунанбай замолчал, тяжело дыша. Потом закончил:

– Завтра я проведу сходку в ваших аулах. Разберу жалобу Керея и Уака об угоне скота, заставлю вас вернуть украденное. Это первое. А второе – отойдите от дел Бокенши. Лучше не вмешивайтесь. Идите своей дорогой. Не вам быть судьями в таких делах, а я не назначал вас судьями и в вашем суде не нуждаюсь. Поостерегитесь! Не накликайте бы вам беды на свою голову! А не послушаетесь, буду знать, что вы идете против меня злонамеренно. Теперь ступай и передай мои слова Божею и Байдалы, – властным голосом заключил он.

На этом разговор окончился, они быстро разошлись по разные стороны.

5

На другой день атшабары Майбасара, посыльные Камысбай и Жумагул, прибыли к жигитекам и заехали в богатый аул Уркимбая.

Возле зимника стояло шесть юрт. Собаки с грохочущим лаем кинулись навстречу всадникам, но те отмахнулись плетями. Дети со страхом смотрели из щелей юрты на свирепых с виду чужих джигитов.

В большой серой юрте Уркимбая сидело несколько человек, кроме хозяина здесь были Каумен и Караша, близкие родствен-



ники Божея. Крошечная растрепанная дочка Уркимбая вбежала в юрту, прижалась к отцу и, замирая от страха, прошептала:

– Атшабар... Атшабар...

Дети знали, что появление байских посыльных всегда означает какую-нибудь беду. Когда двое посыльных, один за другим, пригибаясь в дверях, вошли в юрту, девочка спряталась за спиной отца и поверх его плеча во все глаза уставилась на знаки отличия шабарманов: кожаные сумки через плечо и большие медные бляхи на груди.

Уркимбай встретил их не очень приветливо.

– С чего вы так расшумелись? – сдержанно спросил он.

– Срочное дело! Важный приказ! Торопимся... – отвечал Камысбай, проходя к тору.

Жумагул остался возле очага, припав на одно колено.

– Что за приказ? Чего вы опять панику наводите? – хмуровато поинтересовался Караша. – Или откуда-нибудь насаждают?

Атшабара ничто не смутило.

– Приказ такой: ставьте гостевые юрты. В ваших аулах будет проходить сходка. Соберется народ. Приедут истцы из Керея и Уака. Будет суд между племенами, воров заставят возратить скот, – доложил Камысбай.

– Кто приказал? – насторожился Каумен.

– Кто будет судить? – спрашивал Караша.

– Кому и кто собирается вернуть скот? Воры обкраденному? Или воры заберут последнюю скотину у невинного? – быстро обернулся Уркимбай к шабарману волостного старшины.

Обычно многолюдная сходка дело хлопотливое и накладное для аулов, где она назначается. Съезжается множество всякого народу, истцов, биев, разного начальства, в течение месяца всех надо кормить, резать скот утром и вечером. Общеизвестно, что правитель назначает съезд в тех аулах, которые у него в немилости.

Камысбаю хорошо известно, что люди Уркимбая не очень-то охотно пойдут на то, чтобы сходка проходила у них. Сунуться



к самому ага-султану с возражениями они не решатся, с посылными, однако, будут спорить. Атшабары же получили от Майбасара строгий наказ: никаких возражений не принимать.

– Приказ от властителей, от Кунанбая и Майбасара. Не я же его придумывал? – сказал Камысбай и насмешливо посмотрел на Карашу. И потом добавил: – Лучше поскорее разберитесь между собою и приступайте к делу. Перевезите из своих аулов сюда юрты и ставьте здесь. Подумайте, сколько и какого скота заколоть. Приказано, что для начала надо выделить пятьдесят баранов, вот и соображайте теперь, от кого и по сколько голов собирать. Это давайте обсудим прямо сейчас.

Каумен понимал, что обсуждать что-нибудь серьезное с посылными не нужно, и он обратился к Уркимбаю и Караше:

– Дело касается не только нас одних: забота свалилась на весь Жигитек. С Божеем посоветоваться не успеем, далеко он, а вот Байдалы живет поблизости. Караша, скажи к нему, расскажи все как есть и привези ответ.

– Верно! Так и надо сделать, – поддержал Уркимбай.

Атшабары были не против. Караша поднялся и вышел из юрты.

Посыльным хозяева подали чай. Уркимбай с ними ни в какие разговоры не вступал, но косился на них недобрым взглядом. Приказ Майбасара глубоко возмутил его. Если во всем Тобыкты найдется очаг, в котором не положат в казан мясо не то что ворованное, а просто без благословения, так это очаг Уркимбая...

Шабарманы Майбасара прождали недолго.

Снаружи послышался топот копыт, подъехало несколько верховых, слышно было, как они переговаривались, привязывая лошадей. Первым вошел в юрту Караша, а вслед за ним с десяток джигитов, известных в округе Кызылшоку – Колькайнар, как «отпетые», они были связаны с ворами, угоняющими скот.



Жумагулу их появление сразу же не понравилось.

– Эй, чего это вас принесло сюда? – начал было он, но один из вошедших джигитов перебил его:

– Ты слышал, наверное, как это говорят: «Напали на твоего отца враги, не упusti и себе что-нибудь урвать от их добычи»? Мы приехали, чтобы отобрать у жигитеков весь скот и передать вам, дорогие родичи.

– Не весь скот – всего пятьдесят баранов требуется. Но если у тебя есть лишний скот, можешь вернуть его истцам, которые приедут на суд, – резким голосом отвечал Камысбай, начиная выходить из себя. – А сейчас это делать ни к чему, зачем такая спешка?

– Отдать наш скот – не тебе ли, дорогой? – вкрадчивым голосом спрашивал Караша, присаживаясь на корточки возле Камысбая и заглядывая ему в лицо.

– А хоть бы и мне! Не откажусь.

– Ну да. Всем известно, какой ты кровопийца. Народ стонет от тебя. Е, когда перестанешь обижать людей, байский прихвостень?

– Ты вот что, ты отвяжись от меня. Скажи лучше, какой ответ был от Байдалы?

– Какой ответ? А вот какой ответ! – И Караша, вскочив на ноги, хлестнул Камысбая по голове толстой камчой с зашитой в нее свинчаткой, с рукоятью из крепкой джиды.

Атшабар не успел даже подняться, как Уркимбай крикнул джигитам, находившимся в юрте:

– Бейте собак! Обоих бейте!

Жумагул и Камысбай заметались, пытаются уйти от плетей, злобно крича, кроя джигитов грязным матом. Но «отпетые» смяли посыльных, повалили на пол и придавили коленями.

– Вот вам ответ от Байдалы! Получайте! – крикнул Караша. – Велел избить до полусмерти и вернуть вас, умытых кровью, Майбасару. – Он уселся на голову распластанного на полу Камысбая и принялся стегать его по спине, по заднице.



Уркимбай и несколько остальных джигитов расправлялись тем временем со вторым посыльным, Жумагулом.

Обоих шабарманов Майбасара, жестоко избитых, еле живых, с позором отправили восвояси. Те, кое-как забравшись на коней, добрались до Карашоки и заявили к Кунанбаю, не смыв крови с лица.

В это время в юрте Кунанбая находилось много людей: Байсал и Майбасар, двое сыновей богатого старика Кулыншака – высокие, здоровенные Наданбай и Манас, другие джигиты из рода Иргизбай, Жуман, Толепберды. Юрта была полна народом.

Потемневший от гнева Кунанбай, выслушав посыльных, долго молчал. Потом обратился к Байсалу, указывая рукой на лица избитых:

– Ты видишь? Как мне хранить родственные отношения с теми, кто так поступает? Плеть Божья ударила не только по ним, она стегнула по мне! – рявкнул он. – Джигиты, скачите! Свяжите и доставьте мне этого Уркимбая! Тащите прямо из его дома, где устроил порку моим людям!

Человек десять выбежали из юрты, вскочили на коней и помчались в ночь. Среди них были и двое знаменитых силой и безрассудством сыновей Кулыншака.

В темноте они влетели в аул Уркимбая, избили всех мужчин подряд, а его самого выволокли из юрты. Уркимбай пытался сопротивляться, но, увидев, что его могут попросту изуечить, покорился. Смертельно побледнев от ярости и ненависти, стиснув зубы, он приготовился выдержать все унижения. Ему скрутили руки и посадили на рослого игреневого жеребца, впереди Толепберды. Буйная ватага налетчиков с шумом, с гиканьем, в грохоте копыт сразу исчезла в темноте, направляясь в сторону Карашоки.

В глубоких предночных сумерках спустились они ниже зимовья Уркимбая, выбрались к реке и поскакали вдоль берега. Вскоре выехали на дорогу и свернули по ней на Карашоки.



Впереди зачернел знакомый осиновый колок. Вдруг оттуда выскочила конная засада – множество всадников с соилами в руках.

- Окружай их! Не выпускай!
- Сшибай с коней!
- Налетай!
- Бей их, собак!
- Бей насмерть!

Нападавших было человек тридцать-сорок. Под ними были лошади, все как на подбор светло-сивой масти. В руках боевое оружие: шокпары и соилы, короткие и длинные дубины. Узрев засаду, кунанбаевские люди не испугались. С их стороны тоже раздались воинственные крики:

- Эй! Вижу врага!
- Омай! Сразимся с врагом!
- Нападай, не трусь!

У них тоже было привычное для степняков оружие: шокпары и соилы. Длинные белые палки замелькали в темноте, с треском скрещаясь в воздухе над головами столкнувшихся и перемешавшихся всадников.

Засаду привел Караша. Еще днем Байдалы настраивал его: «Следи за врагами! Ты решился на смелый шаг, теперь гляди в оба!» И Караша целый день не покидал седла, сидя верхом на коне, с горы вел наблюдение за дорогой. И уже в густых сумерках заметил ватагу конных, быстро скакавших к аулу Уркимбая. Быстро сообразив, что это могло значить, Караша помчался в свой аул и собрал человек пять джигитов. На обратном пути к ним присоединились люди Каумена. Захватить врагов в ауле Уркимбая они не успели бы, поэтому решено было устроить засаду при их возвращении назад.

Караша был умелый боец на соилах. Молодые джигиты из его аула также были хорошо обучены к ручному бою с седла.

Налетчиками Кунанбая руководил сын Кулыншака, один из «пятерых удальцов», силач и храбрец Манас. Нападение не за-



стало его врасплох, он как чувствовал, что это может произойти. Когда лава засады ринулась на них, он выхватил из-под колена шокпар и громогласно скомандовал своим джигитам:

– Сражаться смело! Не смотри, что их много! Круши с ходу!

И он первым кинулся в бой.

Оба отряда стремительно ринулись друг на друга. В один миг Манас выбил из седла двух жигитеков. Но тут бешено налетел на него Караша с соилом, и громадному Манасу пришлось отбиваться. Уркимбай, связанный по рукам, сидевший на игреневом коне, впереди своего врага, отчаянно прокричал:

– Караша, я здесь! На помощь!

Караша отстал от Манаса и, повернув своего коня, погнался за рослым скакуном со светлой гривой, на котором сидели два всадника. Жеребца из кунанбаевского табуна не так-то легко было догнать. Караша не отставал, упорно преследовал. Охранник Уркимбая, джигит Толепберды, то и дело оборачивался в седле, готовясь дать отпор, если враг настигнет его. Уркимбай воспользовался этим и, внезапно запрокинувшись в сторону, скатился с коня. Толепберды умчался дальше, а Уркимбая подняли друзья.

Жигитеки отбили своего джигита, плененного Иргизбаем, Уркимбая. На призывные кличи нападавших, эхом разносимые по горам, из ночной темноты со всех сторон выскакивали все новые и новые всадники. Жигитеки спешили на помощь. Заметив это, Манас скомандовал:

– Отходим! Сражаться, отступая! За мной!

Вскоре иргизбаи оторвались от преследования и скрылись за перевалом.

Никто из них не попал в плен врагу, но они не смогли увезти захваченного Уркимбая, как было им приказано. К тому же, испугавшись численного превосходства противника, они отступили с места сражения.



Противник же после событий этой ночи воспрял духом. Жигтек, побив двух атшабаров от Кунанбая и вызволив из плена Уркимбая, почувствовал себя уверенно.

6

На другой день резко переменилась погода, дохнуло зимним холодом. С гор Чингиза подул сильный ветер. Этот южный ветер постоянно обрушивается на долины, весной он бывает особенно благодатным, увлажняя на склонах снег, освобождая их от зимнего плена. Зимой он также друг скотоводу: сдувает с пастбищ неуплотнившийся рыхлый, сухой снег, открывая желтую траву, подножный корм для скотины. Правда, иной раз этот ветер достигает невероятной, истинно ураганной силы, и тогда он сбрасывает камни со склонов, вырывает с корнем кущи высоких сухих трав и далеко уносит по воздуху. Уцелеть может лишь низкорослая полынь да невзрачный перистый ковыль – лучшие зимние корма для овец. Их, стало быть, буранный южный ветер с Чингиза не трогает.

Потому склоны Чингиза и всё Причингизье известны как самые благодатные места для выпаса овец, и многочисленные аулы разных родов с вожделением устремляются именно сюда.

Южный буйный ветер, дарящий кочевникам немало блага весной и зимой, осенью становится для них сущим наказанием. Внезапные студеные его порывы захватывают врасплох, принося много страданий, небо заволанивается мрачными свинцовыми тучами, предстоящие зимние испытания кажутся невыносимыми.

Вот и сегодня налетевший ветер притащил с собою густую снежную крупу. В воздухе над темной, неукрытой землей закружилась зимняя пурга. Так выпал первый снег в этом году.

Аулы, имевшие зимовья на Чингизе, уже прикочевали на свои места, однако не все перебрались в зимние помеще-



ния – жили в юртах и следили за переменной погоды. Сегодня холодное дыхание зимы заставило кочевников быстро перебраться в зимники и разместиться в теплых помещениях. В ауле Кунанбая с самого утра стояла деятельная суматоха, словно множество людей принимало участие в подготовке к большим поминкам.

После того как джигиты Майбасара дали отбить и упустили Уркимбая, Кунанбай разослал во все стороны своих гонцов.

Вчерашний сход старейшин в ауле Байсала во всем составе был сегодня приглашен к Кунанбаю. Прибыли и другие влиятельные люди из рода Иргизбай. Отовсюду, куда были отправлены гонцы, с каждым часом прибывали все новые и новые джигиты на конях, при оружии.

Из них Кунанбай выбрал десять человек и отправил к бокенши со строгим наказом, чтобы они немедленно направились к новым зимникам, которые были выделены им. И под жестким принуждением слабые, измученные бокенши были вынуждены двинуться кочевкой на Караул. Впрочем, Суюндика и Сугира принуждать не надо было, они кочевали с великой охотой, первыми и тронулись в путь; остальные же, глядя на них, последовали за ними.

В этот день откочевал не только род Бокенши: двинулись и некоторые аулы Кунанбая, у которых зимники были не здесь в Карашоки. Это Большой дом Оскенбая, отца Кунанбая, в котором жила старая мать Зере, это аулы Изгутты, названного брата ага-султана, также аулы Карабатыр, Жуантаяк. До этого дня Кунанбай не отпускал их от себя на зимние стоянки. Ему нужно было всех своих людей держать при себе. Но теперь, при наступлении холодов, больше нельзя было допускать, чтобы старики и дети мерзли, скот голодал.

Распустив по зимникам все свои аулы, Кунанбай решил воспользоваться этим временем всеобщих напряженных хлопот по устройству быта – у всех родов, зимующих на Чингизе. Было самое удобное время для набега.



Все вооруженные конники, прибывшие на клич Кунанбая, собрались и были наготове с самого раннего утра. К обеду их набралось еще больше, теперь это было настоящее войско, вооруженное по степному обыкновению шокпарами и соилами, секирами и копьями. Вчера кочевники, пастухи и табунщики, сегодня боевики – джигиты так и рвались в бой.

Кроме иргизбаев, первыми здесь собрались люди и из воинственного рода Котибак, старейшиной которого был Байсал. Они зимовали по соседству с Карашоки.

Когда был объявлен полный сбор, Кунанбай пригласил к себе старшин всех союзных родов и через вождей передал свое приветствие народу. Отдельное совместное приветствие, от себя и от имени Байсала, ага-султан огласил через атшабаров-глашатаев именно перед народом Котибак.

С недавнего времени, как Кунанбай захватил Карашоки, он усиленно зазывал Байсала и многое ему наобещал. Обещал увеличить размеры пастбищных земель для многолюдного Котибака, у которого почти не было угодий и зимовок на Чингизе. Обещал забрать у Жигитек и передать в Котибак немало тучных пастбищ и удобных стоянок, которые жигитеки когда-то, при их великом предке Кенгирбае, пользуясь своей многочисленностью и силой, захватили у многих родов в Тобыкты. И до сего дня единолично, уверенно и нагло владеют теми землями, которые когда-то были совместными. Теперь, когда Котибак по численности людей стал намного больше, чем раньше, и скота у него стало больше, а землями он обделен, Кунанбай обещал справедливое перераспределение: забрав часть земли у жигитеков, передать их в Котибак.

Намекнул Байсалу, что для него лично приглядел богатейшее зимовье Токпамбет, которое теперь занимает Божей. Вначале Байсал подумал, что если и уступит Божей зимовье, то это произойдет по обоюдной договоренности. Но со временем, пообщавшись с Кунанбаем дольше, он понял истинное значение того, что означают слова ага-султана: «Возьму у него и передам



тебе». Но, понимая все это, Байсал молчал. Кунанбай же знал, что раз Байсал молчит, то он согласен с ним по сути дела. При несогласии Байсал никогда не стал бы отмалчиваться, это было не для его открытого, горячего, мужественного характера. И с начала лета, считай, весь воинственный Котибак во главе с его старшиной Байсалом был на крючке у Кунанбая.

Но в последние два-три дня обстоятельства усложнились, стали весьма напряженными. Ясно было, что зимовье Токпамбет просто так не отдадут, разве что его можно захватить силой. Но, забрав насильно, принесся людям горе и слезы, разве можно чувствовать себя спокойно? К тому же род Жигитек силен, во главе стоит Божей, соперничающий с самим Кунанбаем. Разве он допустит, чтобы Котибак отнял у него знаменитое зимовье, унаследованное от предков? И если будет допущено насилие, разве не ответят на него таким же военным насилием? Взять зимовье захватом можно, но удержать его в руках вряд ли удастся.

Такие мысли скрывались в последние дни за молчанием Байсала, который теперь был всегда рядом с Кунанбаем.

Ровно в полдень Кунанбай облачился в богатый байский наряд и в сопровождении Байсалы и Майбасара вышел к народу. Люди столпились перед Большой юртой, каждый держал в поводу оседланую лошадь.

– Жа! Садитесь все на коней! – раздался его рыкающий властный голос.

Огромная толпа задвигалась, джигиты стали садиться на коней.

Так иргизбаи первыми взяли в руки оружие и вышли на военную тропу.

Ветер с Чингиза усилился, уже завывая по-зимнему. Стало морозить. Снежинки летели в лицо, покрывали землю первым белым пушком. Степные дали потонули в серой мгле. Со стороны гор, сверху, с трудом переваливая через хребты Чингиза, ползли тяжелые туманные валы, стекая в долину и оседая на земле колючим инеем.



Сидя на своем длинном гнедом коне, Кунанбай окинул взглядом окрестности. Две глубокие морщины меж бровей пересекали лоб властителя. Сейчас они стали резче, отчетливее. Единственный на выкате глаз налился кровью, взгляд его был страшен.

Когда весь отряд уже сидел на конях, Кунанбай коротко приказал находившимся по обе стороны от него Майбасару и Байсалы:

– Вперед!

Многочисленный отряд, топоча тысячами копыт по обмерзшему склону холма, направился в сторону зимовья Божея на Токпамбете. Кунанбай со своей свитой старшин ехал впереди. Всадники двигались быстро, крупной рысью.

Отряд Кунанбая еще до полудня покрыл расстояние до Токпамбета и, достигнув скалистого выступа горного отрога, вышел на его гребень. Отсюда до зимовья было расстояние в один ягнячий перегон... Аулы там уже обустроились, из труб над домами поднимался желтый кизячный дым и расплывался в воздухе.

По аулу расхаживало довольно много народу. Возле домов стояли оседланные лошади, но их было маловато. Кунанбай сразу же это заметил. Основная часть оседланных лошадей, в путях, мирно паслась на широком выгоне, за зимовьем.

Когда густая лава всадников вынеслась из-за утеса и, разворачиваясь на равнине, двинулась к зимникам, протяжный крик тревоги вознесся над поселением, и мужчины побежали к своим пасущимся лошадям. В руках у них были шокпары и соилы, народ заранее готовился к отражению нападения.

Немного промедления, и они, похоже, успеют сесть на коней. Тогда противостояние может обернуться страшным, жестоким сражением. Так подумал Кунанбай, все заранее рассчитавший до мелочей. Он связал тесемки на ушах мехового тымака, с силой хлестнул плетью по гнедому и с криком «Олжай! Олжай!» рванулся вперед.



За ним с криками «Иргизбай! Иргизбай!», «Торгай!», «Топай!» понеслась вся лавина всадников. Гул копыт и воинственные крики, рев ветра – все это стремительно надвигалось на зимовье, словно степной пожар. В ауле шум, гам, пронзительные вопли женщин, гортанные крики мужчин, захваченных внезапным смертельным чувством опасности. Ужасные звуки набега!

Людей у Божея было намного меньше, чем кунанбаевских боевиков.

Похоже, род Жигитек, не подготовившись как следует к отражению врага, попал в военную ловушку. Сыграло еще и то, что Кунанбай нарушил закон степной войны: при предстоящей битве стороны заранее обусловливались, где и когда она произойдет. Кунанбай же напал вероломно, внезапно, ничего не объявляя.

Вокруг Божея собралось лишь то число вооруженных людей из Жигитек, которые зимовали на Чингизе. Аулы у предгорий хребта и тех жигитеков, что населяли долины рек, оповестить не успели. Да и из горных аулов многие жигитеки сегодня были заняты перекочевкой и благоустройством зимников.

А от всего Бокенши возле Божея оказалось всего десять человек, которых привел с собою Даркембай. Он с утра увидел, как по направлению к Карашоке несутся, словно черные волны муравьев, одна за другой, ватаги вооруженных всадников со стороны Жидебая, от Мусакула и Кыдыра, от Колькайнара, и сразу понял, что это едут к Кунанбаю люди, готовые напасть на Жигитек. Даркембай успел до обеда предупредить Божея о приготовлениях Кунанбая, по пути заехал к Байдалы, Караше, Каумену и Уркимбаю.

И сейчас у зимника Божея находилось человек сорок вооруженных джигитов, решивших охранять своего старшину, среди них и Даркембай со своими решительными друзьями-жатаками. Были здесь и храбрые сыновья Каумена, и Караша, и другие молодые джигиты из Жигитек, готовые драться с иргизбаями.



Самые заметные из молодых два могучих сына Каумена, а также Базаралы, Балагаз и сын Караши Абылгазы. Сначала под свой боевой клич рода Жигитек: «Кенгирбай! Кенгирбай!» они вскочили на коней, пасшихся возле зимовья, и хотели кинуться навстречу противнику с соилами в руках. Но Байдалы громким окриком остановил их.

– Стой! Хотите бросить Божья одного? Умирать, так вместе!

Передовые из отряда Кунанбая были уже совсем близко. Конная лава неслась стремительно. Порыв ее был страшен и неудержим.

– Ах, поделом мне! Врасплох застали! Как снег свалились на мою голову! Враг обманул меня! – в отчаянии вскричал Божей.

Его слабой надеждой были те разрозненные группы джигитов, которые успели добежать до своих коней и вскочить в седла. Маленькими ватагами по пять-шесть человек они неслись наперерез отряду Кунанбая, размахивая над головой боевыми дубинами. Однако в то время как первые из них уже неслись в бой, крепко утвердившись в седлах, размахивая соилами, остальные еще бегали по полю и ловили своих лошадей. Враги могли успешно налететь на них, не дав им возможности даже сесть на коней.

Скачет Кунанбай, выкрикивает приказания, на ходу он командовал, чтобы из отряда выделились два крыла, по сотне всадников, и направились во фланги. Сотни во главе с аткаминерами бросились по сторонам. Они с гиканьем и свистом распугали, разогнали по снежному полю стреноженных коней жигитеков. Те испуганно заметались по пустырю. Тяжелыми длинными дубинами иргизбаи сокрушали в щепки деревянные седла на них, сшибали ударами шокпаров высокие луки.

Жиденькие ряды пеших жигитеков, кинувшихся навстречу конникам Кунанбая, были ими сметены в одно мгновение. Кунанбай отправил на фланги две сотни конников, но у него



под рукой оставалось гораздо больше боевиков основного отряда.

Успевшие вскочить на коней жигитеки разрозненно бросились наперерез мчавшейся густой лаве атакующей конницы иргизбаев – и были вмиг смяты, опрокинуты, сброшены с седел. На одного жигитека обрушилось сразу сорок дубинок врага. Кони одни, без седоков, испуганно понеслись через припорошенное снегом поле.

Те жигитеки, что не успели добежать до своих коней, бились в пешем строю. Но пеший перед конным был ничто, расправа коротка: с наскока быстрым ударом соила по голове конник сшибал противника с ног. И все отбежавшие от зимников жигитеки вскоре разрозненно метались, оказавшись в беспомощном состоянии.

Торжествующие крики иргизбаев, упоенных победой и гордых своим военным превосходством, огласили горную долину:

- Айдос! Айдос!
- Иргизбай! Иргизбай!
- Торгай! Торгай!

Победители зывали к духам предков, потрясая над головой оружием. Все преграды перед ними были сметены, всякое сопротивление противника на поле боя сломлено. Нападающие подступили к строениям зимовья, стали окружать их, тесня последних защитников – конных и пеших вперемешку. Несмолкающие боевые крики, треск скрещиваемых соилов, грохот сотен копыт – все это сливалось в один яростный шум сражения. Подступила страшная развязка набега.

Маленький отряд Божея столпился перед его зимником. Подняв и взмахивая над головой палками соилов и шокпаров, люди готовились к последнему отчаянному сражению. Кучка бойцов была похожа на свирепо оскалившуюся стаю волков, загнанных в угол.

Байдалы увидел, что они окружены со всех сторон. Только теперь он взял командование на себя.



– Бросай коней! Отступаем все в дом! Встанем в дверях, будем биться насмерть! За мной! – крикнул он и затем увел всех спешившихся бойцов внутрь помещения зимника.

Прямо против широких дверей стояли Байдалы и Божей, окруженные молодыми, крепкими джигитами, среди них Балагаз, Базаралы, Кожакан.

Иргизбай, не спешиваясь, подступили к самым воротам зимника, им негде было развернуться, джигиты рвались вперед, их прибывало все больше. Кунанбай оказался в центре надвинувшейся грозной толпы. Потеснившись, ага-султана пропустили вперед. Он остановил коня у входа в огороженный двор. Все ждали его приказаний.

В это время внутри дома Даркембай, протиснувшись к открытой двери между Божеем и Байдалы, установил на сошки фитильное ружье, неизвестно откуда появившееся у него. Ружье было заряжено, фитиль дымился. Даркембай, переведя дух, сказал, обращаясь к Божее:

– Этот одноглазый шайтан никого не пощадит. Опять загнал нас в западню... Посторонись! Дай-ка я его пристрелю! – и, приложившись к ружью, стал целиться.

Но Божей отдернул его за плечо.

– Не стреляй! Не нам карать его, пусть духи предков покарают.

А в это время на улице Кунанбай отдавал приказания:

– Выволакивайте всех! Свяжите по рукам и ногам и тащите, как упрямых рабов!

Соскочив с коней, его приспешники во главе с Майбасаром тесной толпой забежали во двор и штурмом ворвались в дом. Кунанбай гнал туда все новых и новых боевиков:

– Вперед! Слезайте с коней! Быстрее! Всем спешиться!

Внутри тесного загона с низким потолком началась несусветная давка. Джигиты Божее, зажатые со всех сторон, даже не имели возможности взмахнуть над головой соилами.



Напрасно Базаралы, Балагаз, Даркембай, окружившие Божея, пытались его защитить, их смяли в давке, как овец в обезумевшем стаде. Человек сорок жигитеков в минуту были обезоружены и сбиты с ног. Победенных начали с позором выволакивать на улицу.

На пленных, начиная с Караши, с Уркимбая, как только вытаскивали их из двери, набрасывалась целая толпа карателей и принимались нещадно хлестать плетью. Исполосованные до крови, молодые жигитеки пытались как-то сопротивляться, но их гоняли, били, они падали и вновь поднимались на ноги, крича страшными голосами, проклиная Кунанбая.

А он, душимый гневом, ничего этого даже не слышал, он ждал только одного человека, окаменев от лютой злобы. Наконец, вывели его. В дверях показался Божей. В отличие от остальных, он не был истерзан карателями, его никто не подталкивал, Божей вышел сам, на его голове горделиво вздымался дорогой пушпак, походка и осанка сохраняли достоинство вождя рода Жигитек. Лишь с обеих сторон от него, сзади и спереди шли караульные иргизбай.

Хлестнув камчою гнедого, Кунанбай прорвался вперед, рядом с ним, не отставая, оказался Байсал. Кунанбай осадил коня перед Божеем и, указывая на него кнутовищем камчи, крикнул срывающимся от ярости голосом:

– В плети его!

Подскочили Камысбай и Жумагул, сбили с ног Божея, прижали к земле, лицом вниз.

– Хороших плетей ему! Стяните с него штаны и по голой заднице! – кричал Кунанбай, в бешенстве кружась на коне рядом.

– Чтобы твой кривой глаз вытек! Эй, Кунанбай! Чтобы кровное проклятие древних аруахов пало на тебя! – крикнул Божей с земли.

В тот же миг грубо и непристойно завернули ему на голову полы шубы и чапана, Камысбай занес над головой плеть. Тело



Божея беспомощно белело на затоптанной земле. Спина и поясница были оголены. Огромная толпа, как бы неслышно охнув, мгновенно замерла и притихла.

Когда плеть Камысбая пошла нещадно гулять по нагой спине Божея, кто-то стремительно прорвался сквозь толпу и с криком упал на тело Божея, прикрывая его.

Это был Пушарбай из племени Котибак, сверстник и друг Божея.

– Уа, довольно! Будет тебе, Кунанбай! – умоляюще закричал он. – Араша! Араша-а!¹

Это еще больше разгневало Кунанбая. В черном бешенстве он стал размахивать камчой и срывающимся голосом проревел:

– Его тоже в плети! Бейте собаку!

Но тут рядом с Кунанбаем раздался властный, сильный голос:

– Посмей только!

Это был Байсал. Кунанбай круто развернулся к нему и впился в него сумасшедшим взглядом, словно пулю послал. Исказившееся лицо Байсала и его глаза ответили такую же силой гнева. И все же Кунанбай не отступил.

– Бейте обоих!

Камча заходила и по Пушарбаю, и по Божею. Иргизбаи под началом Майбасара взялись за дело круто.

Байсал резким скачком послал коня вперед и, нагнувшись с седла, схватил Майбасара за шиворот, с силой отшвырнул его в сторону. И потом, оттесняя его приспешников конем, заслоняя Пушарбая и Божея, могучим голосом бросил боевой клич:

– Котибак! Котибак! Ко мне, Котибак!

И все как один воинственные котибакки вспрыгнули от этого родового клича. Большой молчаливой толпой всадники Котибак выделились из войска Кунанбая, сместились к толпе пленных

¹ *Араша!* – дословно: «Я заступник!» Произносится в том смысле, что заступник берет на себя и вину, и наказание защищаемого.



жигитеков, смешались с ней и грозным строем развернулись в противостояние Кунанбаю. Все стало ясно, Котибак перешел на сторону жигитеков и готов был сражаться рядом с ними. Но жигитеков было слишком мало, и они были уже надломлены и слабы. Бой не мог возобновиться. Байсал вступился за Пушарбая и Божея, не потерпев того позора, которому они оба были подвергнуты. Люди Майбасара отступились от Божея, перешли на другую сторону, к своим. Божей был освобожден, ему помогли встать с земли, держа под руки..

Божей крикнул вслед удалявшемуся Кунанбаю:

– Эй, Кунанбай! Я от пули тебя уберег, а ты в огонь меня бросил! Помни об этом, Кунанбай!

Кунанбай призвал всех, кто оставался с ним после отпадения котобаков и, увлекая за собой еще очень многочисленный отряд, ушел обратно в направлении Карашоки.

В ПУТИ

1

Сгущались вечерние сумерки. На глазах зарождалась темнота. Казалось, изо всех углов комнаты неслышно выступала ночь и постепенно наполняла собою весь большой дом. Это было самое просторное жилье из всех зимников Жидебая. Дом двух матерей Абая был богатым, большим, гостеприимным. Внутреннее убранство его отличалось обилием роскошных ковров, узорчатых домотканых алаша – паласов, вдоль стен высокими стопками пестрели одеяла самых разных ярких расцветок. Здесь и жил Абай рядом с любимой бабушкой и родной матерью. Еще не зажигали светильников, дома почти никого нет, народ хлопочет на улице, устраивая скот на ночь.

У окна сидел на корточках Абай и, опираясь локтями на низкий подоконник, подперев ладонями подбородок, задумчиво смотрел на позлащенные солнцем далекие вершины Чингиза. Вдруг оказавшись в непривычном одиночестве, он надолго замолк и весь превратился в слух и отдался созерцанию.

В комнате, кроме него, сидела на полу, на своей постоянно раскрытой постели, старенькая Зере и качала на коленях трехлетнюю внучку, дочь младшей жены Кунанбая, красавицы Айгыз. Бабушка привычно, монотонно тянула колыбельную песенку. Это была старинная колыбельная, ее теперь никто не пел, и только от дряхлой Зере Абай слышал ее. С самого малого возраста Абай любил слушать эту песню, засыпал под нее, и она была для него такую же родной и любимой, как сама бабушка. Сколько раз он ни слышал ее – в ней не менялись ни слова, ни напев, она была



навекы верна тем, кому ее пели, как само материнское сердце. Для Абая эта простенькая, бесхитростная песенка звучала как напев мирных сумеречных вечеров на родине. Тоскливый, монотонный мотив ее дожил до старости Зере, сам ничуть не изменившись. И смотревшему в окно Абаю хотелось, чтобы голос ее, порой печальный, а порой бесконечно ласковый и любящий, никогда не смолкал.

С того дня как перекочевали на зимовье, Абай по вечерам неизменно остается наедине с бабушкой. Он сам не может себе объяснить, почему так хочется ему быть рядом с нею. Едва подступит вечер, стада возвратятся с пастбищ, Абай идет в дом младшей матери Айгыз, берет на руки маленькую Камшат и приносит ее к бабушке Зере. Он ласкает ребенка, играет с нею и, когда девочка утомится и захочет спать, передает ее в руки старушки.

Камшат не сразу засыпает, и в полумраке сумерек, когда старая Зере перестает петь, полагая, что ребенок заснул, у девочки вдруг вздрагивают ресницы, она открывает глаза. И в полудреме, сонно моргая глазками, принимается хныкать, словно прося продолжения пения.

Час заката Абай всегда проводил в остраненном молчании. Ему хочется побыть наедине с самим собой. Старенькая бабушка не мешает. Если же вечер застает его вне дома, он уходит подальше от аула, взбирается на вершину какого-нибудь холма. В золотом и багровом степном закате таится для него некая притягательная одухотворенная сила, перед которою он, как перед вышним повелителем, оказывается в сладком молитвенном душевном волнении. И сейчас также – слухом он обращен к бабушке, глаза его блуждают по высокому гребню Чингиза, пылающему огненной короной. Но с заходом солнца золотистое сияние вершин угасает, и в подступающей синеве ночи хребты Чингиза, удаленные верст на двадцать от Жидебая, уходят в глубину неизмеримого пространства. И похожие то на гребень бегущей волны, то на замерших неприступным строем велика-



нов, зубчатые вершины постепенно отдаляются, погружаясь в густеющую темноту.

Что происходило там, в горах, пока еще не известно в ауле. О набеге здесь не знают, но уже дошел слух, что бокенши, все до единого очага, изгнаны из Карашоки, что они, со слезами и воплями проклятий, покинули свои старинные зимовья. Всем было ясно, что на родные пределы Чингиза надвинулись страшные события. Абай тоже догадывался об этом.

Пронизывающий холод, стекающий с гор, замораживает души людские, делая их черствыми и жестокими. И теплыми остаются только звуки бабушкиной нежной колыбельной, – она, единственная, может устоять против холода человеческих сердец. Обладая какой-то необыкновенной покоряющей силой, эта тихая, едва слышная, напеваемая трепетным старческим голосом песенка способна спасти мир. Абай постиг это не умом, но сердцем, и перевел свой посветлевший взгляд с горных вершин на небо.

Там, в вышине, полноокруглая жаркая луна, плывя в темно-синей бездонной глубине неба, пробиралась среди скопления вздыбленных черных облаков. Она играла, то прячась за них, то совершенно неожиданно и резво выскакивая из-за них. Абай засмотрелся на эту лунную игру и вскоре забыл о своих невеселых раздумьях.

Луна прыгнула сверху на груды лохматых облаков, исчезла в них, и вдруг вынырнула совсем в неожиданном месте, игриво, убыстряя свой бег, двинулась вперед, опять спряталась за тучку, словно играя в прятки – и вдруг с ясной улыбкой во все полное лицо явилась в чистом синем широком проеме.

В следующий миг, прищуриваясь, словно заигрывая, она одним краем ушла за облако, слегка притушив свое яркое сияние. Абай впервые увидел такую игривую, развеселую луну. Когда напоследок, скакнув над краем тучи тоненьким серпиком, она быстро спряталась – на этот раз надолго – Абай невольно рассмеялся, удивляясь ее проказливости. Она была как непоседливый ребенок, шаловливое милое дитя.



И тут за дверью он услышал быстрый топот бегущих маленьких ног, раздался звонкий смех – это забежал в дом Оспан, убегая от кого-то, весело хохоча, спасаясь от погони, а тот, кто гнался за ним, во весь голос ревел от какой-то обиды. Плачущим оказался Смагул, брат Абая по младшей матери Айгыз, ровесник Оспана.

Абай сразу понял, что Оспан чем-то обидел брата, и, вскочив с места, поймал озорника. И только тут Смагул, настигнув обидчика, смог вцепиться в него. Оспан теперь был у себя дома, быстро обернувшись к Смагулу, он приготовился драться.

– Чего тебе надо тут? – громко завопил он и схватил братишку за ворот чапана.

Абай растащил их.

– Что он тебе сделал? – спросил у Смагула.

Смагул заревел еще громче, захлюпал носом.

– Кулжу мою... Красную кулжу мою украл!..

– Чего ты врешь? Когда это я украл? Ой, рева-корова!

И, кривляясь, подсакивая на месте, Оспан стал передразнивать брата: «Кулжу... кулжу мою украл! Вот дурак!»

Абай крепко ухватил его за шиворот, встряхнул и строгим голосом приказал:

– Ну-ка, отдавай битку!

Но Оспан, как всегда, изворачивался и противился:

– Врет он, никакой кулжи у него не было!

Не выпуская его, Абай начал обыскивать Оспана.

Оспан, неожиданно крутнувшись, вырвался из рук старшего брата и отскочил в сторону. Он подбежал к печи и, пряча руки за спиной, втиснулся в самый угол, встал за большой бадьей с бродившим верблюжьим молоком, шубатом. Видимо, он решил сопротивляться до конца и, в случае чего, готовился опрокинуть на старшего брата эту бадью. Абай разгадал его злонамерение и не стал тащить его из угла.

– Ну-ка, отдавай! Покажи руки! – приказал он братишке.

Тот еще дальше спрятал свои руки. И тут Абай неожиданно схватил Оспана за ухо и начал безжалостно крутить. Оспан заво-



пил от боли и принялся ногой толкать бадью, стараясь опрокинуть ее на Абая. Но он не дал этого сделать. Оспану все же удалось сбросить крышку бадьи, и, продолжая оглушительно кричать, он мигом бросил красную бабку в сосуд с кислым молоком – только булькнуло. Подняв обе руки к лицу Абая, озорник закричал, вмиг перестав реветь:

– Смотри, смотри! Ойбай! Ничего нет! Где кулжа? Где? – И он снова притворно захныкал.

Абай не заметил, как кулжа полетела в молоко, но Смагул это увидел, быстро подскочил к бадье и, засучив рукав, по плечо запустил в шубат свою грязную руку, стал деловито шарить по дну бадьи. Теперь Абай рассердился на Смагула и, отпустив Оспана, намеревался схватить младшего брата, чтобы оттащить его от сосуда с шубатом. Но не успел – Оспан из-под его руки рванулся вперед, дал подзатыльника братишке, со злорадным хохотом схватил его за ворот и с головой окунул в кислое молоко. Тот так и не успел нашарить бабку, захлебнулся молоком. Фыркая и откашливаясь, он выдрал голову из бадьи и с новым ревом набросился на Оспана.

– Эй, дурак! Сукин сын! – крикнул он и добавил еще кое-что покрепче, недетское, оскорбляющее матерей.

Абай, в растерянности, онемел и остолбенел, затем рассердился не на шутку и принялся трясти за шиворот Смагула, приговаривая:

– Ах ты, щенок! Что ты сказал? Это кто же тебя так научил? Ты что, забыл, что мать Оспана тебе тоже приходится матерью, дурачок!

Оспану, зачинщику драки, от старшего брата тоже изрядно досталось. Оба мальчика, ревя во весь голос, разбежались в разные стороны. Оспан подбежал за утешением к бабушке и, рухнув на пол, уткнулся лицом в ее постель. Смагул побежал к себе домой.

Грязная, недетская ругань братишки ошеломила Абая, он никак не мог успокоиться. Растерянно стоял на месте, посреди



комнаты. Вдруг снова услышал хнычущий голос Смагула. Голос приближался. К нему присоединился громкий возмущенный крик Айгыз, видимо, она тащила сына в Большой дом – разбираться. С грохотом распахнув дверь, ворвалась с улицы, втащила через порог Смагула, поставила его посреди комнаты.

– Натe вам! Разорвите на кусочки несчастного! Съешьте его! Вот он! Все налетайте! – закричала она и свирепо надвинулась на Абая.

– Киши-апа... – обратился он к младшей матери, невольно отступая..

Но Айгыз не дала ему говорить, поток обидных слов, не прерываясь, исходил из ее уст.

– Что, силы некуда девать? Вас здесь четверо от одной матери, а он у меня один! Бьете слабого, беззащитного...

– Киши-апа, выслушай меня... Ты бы только знала, какими словами он ругается!

– Знать ничего не хочу! А ты сам – уже вырос, так и зубки свои показываешь? Тебе что – все дозволено? Кидаешься на него, потому что он сын соперницы твоей матери! Тебе нравится бить младших?

– Боже мой! Что ты такое несешь?

– Вот погоди, скоро с учебы приедет Калел, он тебе покажет, как бить маленьких! – речь шла о ее старшем сыне, который обучался в городской русской школе.

Они сошлись лицом к лицу, словно два аула, готовые вступить в бой друг с другом.

– Ойпырмай! Неужели это все, что ты можешь сказать мне, киши апа?

– Не пререкайся, прикуси язык! Знаешь ведь, что вы от старшей жены, байбише, а мои дети – от меня, токал. Поэтому и всякие унижения от вас, побои и пинки бесконечные.

Абау стало дурно от всей несправедливости, злобы и грубости своей младшей матери. Потемнев от гнева, он едва владел собой, дыхание его пресекалось. Абай с трудом сдерживал слезы.



– Туу! Как ты можешь так? Перестань сейчас же! – гневно выкрикнул он и, жестоко обиженный на Айгыз, отвернулся к окну. Никаких слов для нее у Абая больше не осталось, ни плохих, ни хороших.

Старая Зере, наблюдавшая весь этот сыр-бор, но ничего не слышавшая по своей тугоухости, тем не менее разобралась во всем. Она увидела, как обижен и расстроен ее любимец Абай. Осторожно уложив на постель уснувшую малютку Камшат, старуха с трудом поднялась с места и, согбенная, опираясь на клюку, подошла к невестке.

– А ну-ка, прочь отсюда! – с неожиданной силой, зычно крикнула она. – Зачем пристаешь к детям, языком мелешь, сеешь раздор между ними! Выйди вон отсюда, пока цела!

Айгыз испуганно сжалась и отступила перед старшей матерью. Но, собираясь уйти, не преминула съязвить, зная, что старуха все равно этого не услышит:

– Загрызть меня хотите, топчете и унижаете из-за того, что я токал! Но ничего! Посмотрим, кто кого! Пусть только сам приедет завтра!

Это был намек на Кунанбая. Муж благоволил красивой токал, и она знала, что он не даст ее в обиду. Айгыз последние слова свои произнесла негромко, чтобы их мог услышать только Абай, но не старая Зере.

В это время сзади Айгыз раздался спокойный, сдержанный голос Улжан. Она вошла в раскрытую дверь и уже довольно давно стояла у порога. Молча, сохраняя полное достоинство, выслушала брань Айгыз.

– Во имя Аллаха, перестань, жаным! Ради детей не нужно этого. Я их оберегаю, а ты даже детей не щадишь, – не повышая голоса, ровно говорила Улжан.

– Ладно! Ты бы лучше уж сразу пожелала мне, чтобы я умерла.

– Дорогая, прекрати! Лучше уходи. Никогда не буду даже поминать, что ты тут наговорила. Ради Аллаха, остынь, успокойся и уходи с миром, – все так же спокойно закончила Улжан.



Схватив за руку Смагула, Айгыз постояла некоторое время против Улжан, горящими глазами уставившись на нее, затем, так и не найдя, что сказать, быстро вышла из дома, таща за собой сына.

Улжан вздохнула, глядя вслед Айгыз, постояла немного, задумавшись, затем сняла верхнюю одежду. Достала огниво, высекла и раздула огонь и зажгла каменный светильник, стоявший на краю печи. Слабое красноватое пламя осветило комнату, и она увидела опечаленного Абая, сидевшего с нахмуренным лицом.

– Абайжан, что с тобою, сынок?

– Апа! Отчего киши-апа такая злая и сварливая? – спросил он, поднявшись с места и подходя к ней.

Сын спрашивал, как взрослый, вызывая мать на доверительный разговор. И хотя Улжан никогда никому не говорила подобного, но сейчас решила открыть это сыну:

– Оу, сынок, соперницы всегда остаются соперницами. Это у нас всегда так. Мира между нами нет, и не может быть. Зализываем вечно незаживающие раны. И у меня тоже, когда я была младшей женой, накопилось в душе немало обид, о чем ты и знать не можешь.

Так говорила Улжан любимому сыну.

В эту минуту вошли, громко разговаривая, весело посмеиваясь, старший брат Абая – Такежан и мулла Габитхан. С их приходом в доме стало шумно и весело.

Абай был моложе Такежана на два года. Весельчак и балагур, семнадцатилетний Такежан дружил с муллой Габитханом и, хотя тот был намного старше, держался с ним вольно, словно ровесник, дружески подшучивал над ним. Потешался он над тем, как ученый татарин разговаривает по-казахски. Габитхан был еще довольно молод, несколько лет назад он бежал от царской солдатчины и появился среди казахов округа Каркаралы. Попал в один из аулов рода Бертыс, родственного с Иргизбаем. И в тот год, когда справляли тризну по Оскенбаю, отцу Кунанбая, молодого муллу представили ему и попросили, чтобы он взял его под свое крыло.



Несмотря на молодость, татарин Габитхан оказался изрядно образован, Кунанбай остался им доволен и после годового аса по Оскенбаю приблизил муллу, оставил жить у себя. У него был доверчивый легкий нрав, он был смешлив и остроумен, изысканно вежлив. Пришелся всем по душе, его любили и стар, и млад, уважали за ученость, разговаривали с ним почтительно, и только избалованный Такежан позволял с ним вольные шутки.

В доме старших матерей вечерами мулла Габитхан рассказывал из «Тысячи и одной ночи». Сегодня после вечернего чая он стал продолжать сказку о трех слепцах, которую начал рассказывать вчера. Но и в этот вечер ему не удалось закончить ее. Рассказ был прерван громким топотом подскакавшего к дому коня. Все обернулись к двери и стали гадать:

– Кто это может быть?

– Видать, очень торопится!

В дом вошел атшабар Жумагул.

Едва успев поздороваться, он начал в подробностях рассказывать о вчерашнем набеге на Токпамбет. У посыльного на левой скуле багровел рубец недавней раны. Он говорил громко, чтобы могла слышать старая Зере. Особенно азартно и увлеченно рассказывал он об избиении Божея, не скрывая того, какое это принесло удовлетворение ему самому.

Выслушав о расправе над Божеем, старая Зере не поверила своим ушам и переспросила, неужели и на самом деле его отстегали плеткой. Когда Жумагул охотно подтвердил свои слова, старшая мать сурово произнесла:

– Добродетель – самое ценное, что нам оставили предки. Божей единственный добродетельный человек среди вас. А вы все, видать, совсем потеряли совесть! И ты, дурень бестолковый, – как смеешь при детях об этом молоть своим поганым языком? Замолкни сейчас же, нечестивец!

Оттого ли, что Божея в этом доме уважали и почитали как благородного, близкого человека, или сила духа и властность старой матери смутила всех, – среди домочадцев воцарилась



гнетущая тишина. Поступком отца восхитился – вопреки всему и всем – один только Такежан.

– Пусть знает, как ставить нам подножку! – сказал он. – Поделом ему!

Улжан гневно посмотрела на него.

– Замолчи, не злорадствуй! Упрячь зловоние своей души! – сурово оборвала она сына. – Достаточно и того, как обошлись с этим человеком другие.

При разговоре присутствовал старый чабан Сатай, прибывший вместе с Жумагулом. Сперва он молча слушал других, потом и сам вмешался.

Он рассказал, что днем, когда пас овец, видел человек десять верховых, подъехавших к мазару Кенгирбая. Среди них были Божей, Байсал и Байдалы. Они помолились, долго стояли у могилы, потом сели на коней и уехали в западном направлении. Сатаю удалось поговорить с одним из оставших от группы джигитов. «Божей со своими людьми едет в Каркаралинск подавать жалобу на Кунанбая. По дороге они свернули на мазар Кенгирбая, помолиться духу предка», – сообщил тот.

Жумагул после новостей объявил о причинах своего внезапного приезда в аул. Назавтра Кунанбай тоже собирается выехать в Каркаралинск. Решил взять с собой в поездку Абая, Жумагула послал за сыном.

Новость была для всех неожиданной. Выслушали ее при полном молчании.

На следующее утро, ближе к полудню, все близкие и домоладцы вышли на улицу, чтобы проводить Абая в далекий путь. Жумагул держал на поводу крепкого буланого коня в серебряной сбруе, под нарядным седлом. Абай прежде всего подошел попрощаться к бабушке Зере.

– До свидания, бабушка, – он обеими руками бережно сжал ее маленькую сухую руку.

Зере приникла лицом ко лбу внука, прощально вдыхая запах все еще детской родной плоти, потом благословила его:



– Да хранит тебя Аллах! Да берегут тебя аруахи предков! Счастливого пути, родименький мой, Абайжаным!

Воскликая с грустью «Кош! Кош!», взмахами поднятых рук прощаясь со всеми остальными, Абай направился к коню. Поводья его теперь были в руке Улжан, она переняла их у Жумагула.

– Подойди сюда, сынок, – подозвала она. – Бисмилла... Бисмилла... – приговаривала она, поддерживая его, когда он садился на коня.

Абай вспрыгнул в седло, подобрал полы дорожного чапана и уже собирался тронуть лошадь, но тут Улжан положила свои длинные белые пальцы на гриву лошади, придерживая ее и, видимо, собираясь что-то сказать...

– Сынок, родной мой, старшие привыкли то ссориться, то мириться. Говорят, что у соперников даже зола их очагов не дружит. Но тебе незачем вмешиваться в такие дела взрослых. Будь от этого в стороне. Когда увидишь Божеке, с почтением отдай ему салем. Мы всегда уважали его как родственника. Кто прав, кто виноват – тебе в этом не разобраться. Пусть отец с ним враждует, но ты, сынок, всегда будь на стороне справедливости. Что бы там ни было, помни одно: нельзя терять родичей.

Абай тихо тронулся в путь. Несколько раз оглядывался назад и видел, что его матери стоят у юрты и смотрят ему вслед. Последние слова Улжан все еще звучали в ушах, и душа его болела за Божея, и представлялся он по-прежнему близким и родным человеком.

2

Уже прошло немало времени, как Абай с отцом приехал в Каркаралинск. Зима набрала полную силу, снег окончательно устоялся, плотно укутав землю.

Кунанбай под свою ставку снимал просторный деревянный дом с железной крышей, покрашенной в яркую зелень, находившийся в самом центре города. Принадлежал этот дом богатому



купцу-татарину, большому другу казахов. Ага-султан прибыл в город в сопровождении многочисленных родственников и большого отряда джигитов. В соседних от квартиры Кунанбая городских кварталах расположились группы близких родичей ага-султана, а также его сторонников: Майбасара, Жакипа, Каратая. В доме у Кунанбая, а также у его брата Майбасара, волостного старшины, днем и ночью толклось много народу, толмачей, стражников, атшабаров. У Майбасара вестовым по-прежнему был Камысбай, у Кунанбая посыльных было двое – кроме верного подручного Жумагула появился еще и расторопный джигит по имени Карабас, крепкий воин, надежный охранник.

Кроме них у ага-султана всегда под рукой была ватага молодых джигитов, взятых в поездку на всякий случай. В свите также было несколько иноплеменников: татарин-мулла Габитхан, кыргыз Изгутты, ходжа Бердыходжа, а также особая группа телохранителей-черкесов. Вся ставка занимала восемь домов.

Центр города сразу стал похож на большой аул Тобыкты. Когда юному Абаю наскучивало сидеть в доме под зеленой крышей, он свободно разгуливал по городу, навещая другие дома тобыктинцев.

Сегодня после утреннего чая он пошел к Майбасару. Был солнечный день. Подступившие к самому городу окрестные холмы сияли под ярким белым покровом. Высокие, стройные сосны пригорода стояли в пушистом снежном одеянии. Покатые горы, видимые вдаль, поросшие заснеженным лесом, представлялись Абаю толпой причудливых духов зимы, одетых в вывернутые наизнанку белые шерстяные халаты-шидем. Оттуда, с севера, навеивал студеный ветерок, делая легкий морозец еще более ощутимым. Абай подвязывал наушники лисьего тымака и вспомнил, как бабушка с особенным значением внушала ему: «Всегда завязывай тымак. А то ведь недолго и уши застудить. Будешь тогда страдать, как и я», – напоминала она о своей глухоте.

«Жива ли, здорова она? Наверное, вспоминает про меня в такой вот морозный день или в буран», – подумал он.



Плотный накатанный снег звучно скрипит под ногами. Остроносые черные сапоги скользят на дороге. Абай одет не как подросток, на нем платье взрослого юноши-джигита. На голове лисий тымак, крытый черным бархатом. Взрослые мужчины носят шапки из лисьих лапок, молодежь же тобыктинская в последнее время предпочитает носить тымаки, сшитые из лисьих спинок. Поверх беличьей шубы на нем надет длиннополый, из черного бархата чапан в накидку, с серебристо-серым отливом. Рукава не очень длинные – чапаны с широкими проймами и длинными рукавами носят только казахи каркаралинские. Покрой воротника у них также отличается, и тымаки шьются из четырех меховых клиньев, а не из шести, как у тобыктинцев. Подпоясываются тобыктинцы не кожаными ремнями, а шерстяными кушаками синего цвета. Абай шел по дороге, одетый как истинный тобыктинец.

На пути ему встречались пешие и конные, группами и поодиночке, иные верховые обгоняли его – Абай внимательно приглядывался ко всем. Многих он знал, это были из отряда его отца – или вновь прибывшие из степи аткаминеры, приехавшие со своими многочисленными жалобами, которые первым делом стремились попасть к Кунанбаю.

Наконец Абай подошел к дому Майбасара. Войдя в ворота, он увидел, что множество людей толпится на хозяйственном дворе перед амбаром и кладовками. Здесь-то все были ему известны, все родственники и близкие. Вон, в середине толпы, возвышается над остальными огромный, тучный Майбасар, в небрежно распахнутой белой мерлушковой шубе непомерной ширины, с багрово-серым небритым лицом. Рядом с ним Жакип, Толепберды и еще немало молодых джигитов, приближенных к старшине. И вообще, было похоже, что здесь во дворе собрались все тобыктинцы, кроме тех, что находились в ставке Кунанбая.

Собирались забить темно-гнедую лошадь с подстриженной гривой, торчавшей выше ее ушей. С появления Кунанбая в Каркаралинске ежедневно к Майбасару, брату ага-султана, со всех сторон пригоняли жирных баранов, отгульных кобылиц, от-



кормленных стригунов и прочий убойный скот – в подношение Кунанбаю, по случаю его приезда в город. Майбасар, по всей видимости, как раз собирался забить одну из таких приведенных в дар кобылиц, чтобы накормить своих людей..

Всякого, кто принадлежал к роду Иргизбай, на пути в Каркаралинск и в самом городе родичи встречали и провожали с большим почетом, с обильным угощением. Иргизбаев переполняло чувство благодарности к Кунанбаю за то, что он так высоко вознес их род. Что дал им столько новых возможностей для благополучной, сытой жизни. При виде жирной темно-гнедой кобылы чувство признательности к нему получило новое подкрепление. И разговоры, как и всегда, велись только вокруг того человека, которого они все дружно называли благодетелем, мырзой.

– Нынче поездка мырзы особенно удачна, – начал Жакип, брат Кунанбая по младшей матери, одной из токал Оскенбая.

Уже давно, по примеру истцов и жалобщиков, ездивших разбираться в окружной Каркаралинск, все тобыктинцы в знак высшего уважения и почета стали называть Кунанбая «мырзой».

– Пусть у врагов и завистников от злости сгорит все нутро! Завтра откроется возведенная им мечеть... Пусть увидят, как народ опять на его стороне, услышат, как будут его восхвалять, – с важным видом произнес Майбасар перед родичами.

– Есть за что восхвалять! Мечеть-то какая славная получилась!

– Такого красивого строения еще никто в Каркаралинске не видел! – взалхлеб, вторя друг другу, восторженно расхваливали и Бурахан, и Толепберды, и всякие другие-прочие.

Приехав в Каркаралинск, Абай часто слышал слово «мечеть» и от отца, и от многих других, навещавших ага-султана. И сын понимал, какое значение имеет строительство мечети для возвышения имени, власти и славы его отца.

Первую и единственную пока мечеть в Каркаралинске и во всей округе начали строить на средства Кунанбая еще в прошлом году. Сегодня ее должны были освятить. Муллы города и



старейшины всех аулов округа не переставали возносить хвалы Кунанбаю за строительство храма.

Два дня назад у Кунанбая побывал имам – мулла Хасен Саратау, благорасположенный к казахам, который высказал особой важности слова:

– Ты из простого народа, но ты возвеличился в нем, словно хан... В Коране мечеть названа «жилищем бога». Ты воздвиг дом Вседержителя среди темного, непросвещенного народа, и потому стал Его близким рабом, и Он возлюбил тебя. Иншалла!

И перед множеством аткаминеров, старшин и старейшин, перед знатными людьми города имам поблагодарил Кунанбая и дал фатиху, благословение. В знак глубокой признательности и благодарности Кунанбай отправил в дом благословившего хазрета одну лошадь и одного верблюда для заклания.

Абай понимал, что его отец намного сильнее и влиятельнее всех остальных аткаминеров. Сын внимательно наблюдал за всеми его делами, желая понять, как он этого добивается. И все же, находясь рядом с отцом, слушая его разговоры с людьми, Абай не мог постигнуть глубинной сущности кунанбаевской души, и отец по-прежнему оставался для него непостижимой загадкой.

Лучшие куски парного конского мяса снесли на кухню. Тобыктинцы, квартировавшие в других домах, тоже потянулись на обед к волостному старшине. Многолюдная толкотня во дворе еще более усилилась. Майбасар хотел уже вести родичей в дом, чтобы спокойно всех рассадить по местам, как вдруг распахнулась калитка, и появился во дворе расторопный Карабас, посыльный Кунанбая.

По нему видно было, что он прибыл со спешным заданием. Майбасар остановился, глядя на него в ожидании. Карабас еще на подходе изложил свое сообщение:

– Едет Алшекен! Сейчас будет у мырзы. Вот и послали меня за вами... Собирайтесь скорее! – и со значением посмотрел на Майбасара и Жакипа. Майбасар вдел руки в рукава мерлушковой шубы, до этого свободно наброшенной на его плечи, и, ничего



никому не сказав, тотчас направился в сторону ворот. Жакип последовал за ним. Абай хотел остаться, но Майбасар, проходя мимо, на ходу коротко бросил:

– Ты тоже с нами! Это же твой тесть, отдашь салем тестю.

И было непонятно Абаю, не то шутит дядя, не то говорит всерьез.

Алшекен – так уважительно называли Алшинбая, давнего друга ага-султана. Года два назад дружба между ними укрепилась сватовством: Кунанбай засватал для Абая совсем юную Дильду, внучку Алшинбая. Таким образом, он и на самом деле должен был стать тестем Абая.

С приходом Кунанбая в Каркаралинск Алшинбай уже не раз навещал его. Все старшины округа вспоминали Алшинбая с большим почтением. И его имя иначе, как «Алшекен», не произносили. Алшинбай был сыном известного бия Тленши, предком которого был Казыбек-бий. Таким образом, невеста Абая, Дильда, оказывалась весьма знатного происхождения. Калым за такую невесту, соответственно, был немалым: большие косяки лошадей и стада верблюдов уже перегнали от Кунанбая в аул Алшинбая. Многие предполагали, что не только сватовство соединило этих двух могущественных владетелей, сделало их закадычными друзьями.

Поэтому Майбасар и Жакип и остальные родичи ага-султана при первом же упоминании о приезде Алшинбая готовы были бежать к нему на поклон.

Майбасар по такому случаю всегда настраивался подразнить племянника.

– Ну и тесть у тебя! Самая важная птица по всей округе. К нему запросто не войдешь – в дверях еще надо низко пригнать голову, – говорил он по дороге, оборачиваясь к Абаю и посмеиваясь.

Подобные шутки и намеки привели к тому, что Абай стал избегать Алшинбая, когда тот приезжал к отцу. Но в прошлый приезд отец и Алшинбай позвали юношу в комнату, где они сидели, и оба попеняли ему за неуместную стеснительность. И все же этот



будущий тесть, из-за которого ему, чувствовавшему себя уже не ребенком, но джигитом, приходилось смущаться и скрываться, словно молодой невесте в ауле, – Абая Алшинбай почему-то был не по душе.

Все эти любители подшутить над ним, бесконечно повторяя слова «жених», «невеста», «свадьба», «тесть», «теща», отвратили его от самой Дильды, и всякая мысль о ней была ему неприятна. Он вообще не хотел представлять ее как «невесту»...

Но сейчас, когда они идут небольшой кучкой родственников по улице, у Майбасара вдруг исчезла его насмешливость, и он заговорил, взглянув на него весьма серьезно.

– Послушай, я все собираюсь поговорить с тобой кое о чем, без шуток, – сказал он. – И не дуйся, дорогой мой, ведь ты давно уже не ребенок. Вон какой вымахал, совсем взрослый парень, и ты должен понимать, что не зря гонят от нас в аул Алшинбая целые табуны... Вот закончатся празднества по случаю освящения мечети, тогда будет с тобой особый разговор... Понимаешь? Когда поедем из Каркаралинска в аул Алшинбая, я тебе кое-что объясню...

Абай, как всегда, ничего не ответил Майбасару. Тут вмешался Карабас:

– Ты думаешь, что наш Абай ничего не соображает? Еще как соображает! Лучше многих других. Ну что, правда, Абайжан?

– Не вступайся за меня, Кареке! Хоть ты помолчал бы. Промолчишь – считай, коня мне подаришь. – Сказав это, Абай одной рукой обнял за плечо Карабаса.

С этим молодым джигитом Абай привык вести себя свободно, не то что с Майбасаром. Карабас был ясный, бодрый, веселый человек, Абай любил пошутить с ним.

– Закончатся дела, скажу тебе то, что обещал сказать. Разговор обязательно будет. Еще какой разговор, парень! – повторил Майбасар, придавая загадочности своим словам.

«Наверное, хотя бы ускорить свадьбу... Уж теперь не до шуток», – невесело подумал Абай. Он сразу изменился в лице, ему стало



тревожно. Отчего? Он сам не понимал. Если разговор заходил о его предстоящей свадьбе, ему сразу становилось не по себе. В душе поднималось беспокойное, неприязненное чувство. К кому? Неужели к Дильде, которую он никогда и не видел? Но если не к ней, то, несомненно, к имени «Дильда». С этим именем связывалось у него представление о чужой навязанной воле, о ненавистной брачной узде.

Но не может Абай ответить Майбасару, одному из старших своих родичей, неприязненно или дерзко. Он лишь нахмурился и сердито сверкнул глазами в его сторону.

Между тем дошли до дома мырзы, вошли в просторный двор. Здесь была шумная толкотня от множества людей и верховых, только что въехавших и пристраивавших своих лошадей; другие, уже свободные, собрались тесными кружками по разным углам обширного двора и вели свои разговоры. Одни и те же слова раздавались повсюду: «Аткаминеры... Би... Приговоры... Дознания... Вина и преступление... Согласие... Примирение...» Большинство присутствующих были людьми из рода Бошан – это определялось по их особенной одежде и шапкам. Лишь изредка среди них виднелись чапаны людей из племени Дадан, тобыктинцев, приехавших с Балхаша, да кое-где мелькали тобыктинского покроя овчинные полушубки, да красовались на иных головах островерхие тымаки племени Даганды из рода Керей.

О родовой принадлежности людей, собравшихся здесь, можно было судить не только по их одежде. Еще вчера Карабас показывал тавра на лошадях и разъяснял суть тавроклеяния, а сегодня Абай сам обходил двор, рассматривая на каждой лошади, привязанной к столбикам, ее родовое клеймо. Он теперь узнавал их: кони с тавром в два кругляшка, называемым «глаза», принадлежат родам Аргын и Бошан. А клейма в виде «рогатины» – на лошадях рода Керей. А вот тавро, называемое «черпак», – это на лошадях рода Найман... Абаю хотелось пройтись по всему двору, читая тавровые знаки на конских крупах, но тут родственники позвали его и стали сами входить в дом.



Жакип шел первым, он открыл дверь комнаты, где располагался Кунанбай. Войдя вместе, все четверо дружно отдали салем. За большим низким раскладным столом, облокотившись на подушки, сидели Кунанбай и Алшинбай. На приветствие они ответили сдержанно, едва пошевелив губами.

Пол большой светлой комнаты от порога до тора был застлан дорогими красными коврами. На стенах, как было принято в городе, висели меховые шубы, вышитые молитвенные коврики, изречения, написанные на ткани арабской вязью. Вдоль стен стояли металлические кровати, на которых высились груды пуховых подушек, висели шелковые занавеси пологов.

Вошедшие сели по обеим сторонам от Кунанбая и Алшинбая. Знатный гость говорил о чем-то, но при их появлении смолк и впросительном повороте взгляда посмотрел на Кунанбая. Тот без слов, лишь подав знак рукой, дал понять, что можно говорить дальше.

Алшинбай – полный, весь округлый, розовощекий, с белой бородкой, сидел, накиннув на плечи лисью шубу поверх черного бешмета с короткими рукавами. Стеганая казахская тюбетейка, накрыв макушку, не могла скрыть его большой лысины. На висках под тюбетейкой кожа собиралась складками, на которых серебрилась уже заметно отросшая щетина... Он кивнул головой и, быстро оглянувшись на дверь, продолжил начатое:

– Баймурын хмурится, наверное, хочет показать, что он может обидеться.

Кунанбай с насупленным, недовольным видом обернулся к Алшинбаю. Тот со спокойным лицом внимательно посмотрел на Кунанбая и добавил:

– Баймурын сказал: «Говорят, что Кунанбай будет недоволен, если я приглашу в гости Божея. Но с каких это пор Тобыкты заглядывают в мои казаны? Мы угощаем кого хотим». Этим он попрекает и меня.

– А он что, в сговоре с ним? С чего это Баймурыну захотелось драться с помощью его соилов? – резким голосом произнес Кунанбай.



Юный Абай прекрасно понял, о чем идет речь.

Позавчера отец долго разговаривал с Алшинбаем и к концу разговора, вдруг рассердившись, произнес про Божея такие слова: «Пусть он лучше не строчит на меня ябеды, не старается меня подловить. Иначе тяжко ему придется. Я не успокоюсь и сделаю все, чтобы его в сером казенном кафтане отправили по сибирским каторжным дорогам». Переговоры между Божеем и Кунанбаем, – не переговоры, скорее, а взаимные угрозы и колкости, – передавали с одной стороны на другую Алшинбай и Баймурын, один из самых знатных казахов Каркаралинска. Сегодня Алшинбай пришел, видимо, рассказать о каких-то новых шагах противной стороны.

Однако для Кунанбая не новость, что Баймурын на стороне Божея. Алшинбай лишний раз подтвердил это. С Баймурыном Кунанбай и разговаривать бы не стал, ибо это не тот человек, которого можно назвать опасным противником. Пусть себе обижается, его обиды могут беспокоить Алшинбая, но не ага-султана. Да и сам Алшинбай не будет держать зла на него за то, в чем обвиняет его родственник Баймурын – между Кунанбаем и Алшинбаем связь более тесная и надежная, чем родственные отношения. Их многолетняя дружба, укрепленная сватовством, прошла через самые сложные испытания.

Поэтому, закончив с угрозой Баймурына, с разговора о котором началась сегодняшняя встреча, Алшинбай спокойно перешел к тому, чего с нетерпением ожидал Кунанбай.

– Сперва послушай, как ответил Божей на твои угрозы, потом обсудим остальное, – сказал Алшинбай. – А он сказал так: «Серый кафтан кроил не наш мырза, и еще неизвестно, кому в этом мире Аллах предназначит носить его». Баймурын или кто другой, – но кто-то явно настраивает и подстрекает Божея.

Услышав это, Майбасар и Жакип переглянулись, нахмурились сурово, как бы желая сказать: «Напрашивается этот Божей на новую беду...» Абая тоже волновало, что может ответить Божей на жесткие угрозы ага-султана, и услышав теперь его ответ из



уст Алшинбая, юный Абай был поражен умным достоинством и смелостью Божея. И также он прочувствовал всю глубину его непримиримости, гнева и горечи.

Кунанбай поднял голову и, уставившись своим единственным глазом прямо перед собой, в окно, замер. Сероватое каменное лицо его застыло, стало мрачным, отросшая щетина придавала ему угрожающий вид. Но ни единым словом, ни звуком, ни жестом он не выдал себя. Всю свою непомерную злобу, ярость и клокочущую ненависть он затаил в себе, оставаясь неподвижным и непроницаемым. Вид его был настолько ужасен, что даже сват Алшинбай устранился и невольно отвел глаза от лица Кунанбая. «Ну и кремь! Настоящий кремь! У него и сердце, наверное, из камня!» – подумал Алшинбай. Среди всех аткаминеров, с которыми ему приходилось встречаться, не попадались мужи с такой силой духа, с подобным самообладанием.

И все в комнате, не смея нарушить молчания Кунанбая, сидели, не издавая ни звука. И тут на пороге прихожей, бесшумно появившись в дверях, встал вестовой Карабас. Спокойным голосом доложил:

– Мырза, к нам майыр приехал.

Кунанбай не шелохнулся и при этих словах. Дверь широко распахнулась, в комнату вошел огромный, дородный, рыжеволосый майор. Вслед за ним семенил толмач, говорящий по-русски казах по имени Каска, невероятно худой, с торчащей козлиной бородкой, серенький и невзрачный.

Майор поздоровался за руку с Кунанбаем и Алшинбаем и, не взглянув на остальных, уселся на единственный стул, стоявший чуть в стороне от стола. Выпуклые голубые глаза майора немного косили. Вокруг губастого красного рта кудрявилась густая растительность усов и бороды. Коротко подбитый затылок состоял из двух мощных жировых складок.

Между собой казахское население не называло русских «майыров» по именам, удобнее было – по прозвищам, данным чиновникам из-за особенностей их внешности. Так, были



«Красивый майыр», и «Жирный майыр», и «майыр Конопатый». У нынешнего же майора, весьма богато одаренного разными яркими особенностями обличья, было несколько прозвищ. Он был и «майыр Шапыраш», то есть косоглазый майор, и «Жундес майыр» – волосатый майор, и «майыр Вареная Голова», имея в виду насмешливое признание за ним глубокого ума, которым он особенно не отличался в глазах приглядчивых степняков. Кунанбай и Алшинбай, считавшие его человеком крайне недалеким, охотнее всего называли его Пискен-бас – Вареная Голова.

Этот «майыр» не очень-то хотел плясать под дудку Кунанбая. Вареная Голова на все старался выказать свое особое мнение, поступал по-своему, а потому и был неудобен ага-султану.

Правителями Каркаралинского округа являлись, в сущности, двое – ага-султан Кунанбай и этот самый «майыр». Кунанбай считался главой национального округа, майор – его заместителем. По-казахски округ называется «дуан», а правители его – «дуан-басы»... В отличие от русского майора-заместителя, Кунанбая еще называли «ага-султан» и «мырза». Третье начальствующее лицо назывался «киши-султан», младший султан, сейчас его не было в городе.

Майор пришел к Кунанбаю по делу Божея. Разъяренному ага-султану, которого умный и сильный ответ Божея привел в холодное бешенство, появление «майыра» пришлось под руку. Кунанбай давно хотел кое-что выяснить и теперь приступил к делу напрямик.

– Майыр, твои предки не принадлежат к Тобыкты, но ты обзавелся, оказывается, родственниками здесь, в Каркаралы. Разве я не говорил тебе, что Божея надо сослать, не просил, чтобы ты подготовил все нужные бумаги для этого? А ты затянул дело, как долгую на лечение желтуху. Почему это? Может быть, он и впрямь засел любимчиком у тебя в печенке, может, на самом деле у тебя проснулись к нему родственные чувства?

И он впился сверлящим взглядом единственного глаза в майора. Тот обернулся к переводчику и жестом потребовал объяснения.



Толмач Каска, заискивающе и боязливо поглядывал то на Кунанбая, то на «майыра». Переводчик пришел в ужас, слушая ага-султана, и просто не смел передать слова одного начальника другому. К тому же русский он не знал достаточно хорошо, чтобы переводить слова гнева и недовольства. Вот и сидел он, ковыряя пальцем в ковре, отвернув в сторону тощее лицо, и не мог вымолвить ни слова.

Кунанбая вывела из себя его нерешительность, он рявкнул на несчастного переводчика:

– Эй, толмач! Все в точности передай майыру, что я сказал! Понял? Чего ты вертишься, как беложопая трясогузка над земляной норкой?

При упоминании о трясогузке Майбасар не удержался и прыснул в кулак, но тут же, испуганно оглянувшись на Кунанбая, постарался взять себя в руки. Но видно было, что внутри у него все трясется от смеха. Сравнение с птичкой понравилось и Абаю... Уж больно напоминал хиленький толмач суетливую напуганную трясогузку, которая потряхивала хвостом у своей норки, когда охотники пускали сокола на охоте.

Толмач набрался духу и медленно, но очень точно перевел майору слова Кунанбая. Майор не смутился. Он спокойно, вразумительно, громким голосом стал возражать:

– Власть нам дана не для того, чтобы мы могли мстить тому, с кем враждуем. От Бога Ералинова поступило довольно много жалоб, мы обязаны проверить. Кроме того, не он один – многие стоят за ним. Пока что о решении отправить его в ссылку не может быть и речи.

После этого оба заговорили быстро, нетерпеливо, то и дело перебивая друг друга.

– Ты хочешь держать нас в вечной тяжбе? Ты этого доби- ваешься?

– Не я один... Бывший ага-султан Кусбек и бывший ага-султан Жамантай такого же мнения. И Баймурын – вот, Алшинбай знает его, – тоже так считает.



– Кто они такие? Да одиночки это! Их меньшинство! Их зависть гложет! А большинство аткаминеров и народ многих аулов за меня, ты разве не знаешь этого?

– Меньшинство? Ну и что? Пусть будет меньшинство! Но закон царя существует и для них. Перед законом все равны. Они свидетели – надо всех выслушать и донести их показания до высоких инстанций.

– Ты будешь доносить? И как тут преступникам не обнаглеть, если ты стоишь за них!

– Кунанбай-мырза, твой упрек – обоюдоострый меч. Поостерегись!

– Знаю! Догадываюсь! Хорошо представляю себе закрома твоих тайных козней против меня.

– Ага-султан! Не забывайтесь! Мы с вами оба назначены корпусом! – сказав это, майор закурил трубку. Встал и начал ходить туда и сюда по комнате, весь красный и встрепанный.

Алшинбаю не хотелось, чтобы Кунанбай продолжал спор с майором. Дальше начальники могут всерьез поссориться. Это ни к чему. В присутствии Алшинбая такого не должно произойти. Ссора может нанести вред Кунанбаю, да и самому Алшинбаю, что вовсе ни к чему. До сих пор он сидел молча, облокотившись на стол, наконец быстро вскинул голову.

– Э, мырза! Э, майыр! Опомнитесь! – произнес он внушительно.

Алшынбая уважал не только Кунанбай, но и майор, которому частенько приходилось советоваться с бием по самым разным делам. До сих пор между ними не было никаких размолвок. Кроме того, Алшинбай всегда был решающей фигурой на выборах волостных старшин или даже самого ага-султана, хотя бий не принадлежал к числу лиц официальной власти. Майору все это было хорошо известно, с Алшинбаем приходилось считаться. При его словах майор перестал расхаживать по комнате, остановился и с высоты своего роста уставился холодными синими глазами на Кунанбая. Было видно, что призыв Алшинбая дошел до майора.



Он взял себя в руки, снова опустился на стул. Но дышал еще тяжело, неровно. Волнение продолжало душить его.

– Не препирайтесь, властители. Это недостойно вас обоих, – продолжал Алшинбай, и толмач, подбежав и наклонившись к майору, быстро стал ему переводить.

– Вы опора друг для друга. Только в добром согласии между собою сможете править народом. Разброд, споры и разногласия приведут к краху, вы не сможете долго усидеть во власти. Ищите согласия, а если что не получается меж вами, то советуйтесь с такими, как мы. В этом вся суть. – Сказав это, Алшинбай смолк и поочередно оглядел каждого сановника. Увидев, что они немного остыли, он продолжал вкрадчивым, умиротворяющим голосом: – А по делу Божея я имею что-то сказать, ради этого и приехал к вам, – наклонился он в сторону Кунанбая. – Вас я прошу, дуанбасы, – повернулся он к майору, – повременить с вашим решением до сегодняшнего вечера. Теперь идите домой, вечером я сам заявлюсь к вам с готовым решением, которое устроит всех.

При последних словах Алшинбая из передней комнаты появился Карабас с большой чашей кумыса в руках. Майбасар, Абай и другие домашние бесшумно и споро стали приготавливать место для дастархана, разостлали скатерть, расставили крашенные блестящей желтой краской чашки – прежде всего перед старшими. Майбасар начал взбалтывать кумыс в деревянной миске, постукивая изогнутым черпаком из рога дикого барана. Густой кумыс, чуть пожелтевший в кожаной сабе, куда был налит для брожения, отменно настоялся и не поднимался пеной, но мелко пузырился, издавая тихое шипение.

На дастархан выставили свежие баурсаки из кислого теста, подали на трех блюдах. Потом Карабас принес глубокий поднос дымящегося паром жаркого – это был не обычный куырдак из мелко нарезанного мяса, а любимое кушанье Кунанбая, приготовленное из свежих бараньих почек, печени и кусочков сала, называемое «жаубуйрек». Он это кушанье обычно запивал кислым кумысом.



Когда Алшинбай окончательно смолк, хозяин обратился к нему и майору, указывая на дастархан:

– Благословясь, ешьте и пейте!

И он совершил короткую молитву, провел ладонями по лицу. С тех пор как Кунанбай начал строить мечеть, ему постоянно приходилось встречаться с имамами и хазретами, и оттого ли, но он, не знавший арабской грамоты, теперь часто присоединялся к молитвенным собраниям правоверных и вместе с ними молился, неустанно повторяя «бисмилля» и проводя ладонями по лицу.

Трапеза прервала ход напряженного разговора по поводу дела Божея, но говорить дальше, собственно, не было уже никакого смысла. Майор не стал упорствовать в том, чтобы все было решено сию минуту, его вполне устраивало, что казахи как-то сами между собой договорятся и решат это дело. Если возникнут непредвиденные затруднения, то станет ясно, как поступить дальше. А если Алшинбай споспешествует тому, что дело уладится благополучно, пусть постарается, решил майор.

– Я согласен, – сказал он Алшинбаю. – Подожду еще немного.

И сразу же разговоры пошли в другом направлении. Майор охотно приобщился к кумысу, выпил пять больших чашек. Затем, с аппетитом поев жаубуйрек, попрощался и уехал. Вскоре и переводчик Каска последовал за ним.

Как только он вышел, Кунанбай высказал вслух мысль, которая беспокоила его уже давно:

– Видать, у этой Вареной Головы зоб уже туго набит взятками. Слышали, что он говорит? Похоже, Байсал и Божей немало насовали ему в карманы, действуя через Баймурына, – завершил он свою мысль.

Алшинбай тоже думал о том же. Однако он видел дальше, чувством проникал глубже, поэтому и сидел с невеселым, озабоченным лицом. Всякие подозрения и тревожные мысли одолевали его. Не сразу ответил он на слова Кунанбая. Повременив немного, молвил:



– Взятка – ладно, это дело известное. Разве есть такой начальник, который не берет взятку? Все берут и по-всякому берут: кто справа, кто слева, а кто-то глотает сразу в две глотки. Дело тут не только во взятках...

И только теперь Алшинбай приступил к тому, ради чего он приехал в этот день к Кунанбаю. У этого бая была привычка говорить, не глядя в лицо собеседнику, глубокомысленно наморщив лоб и опустив глаза. Так говорил он и теперь.

– Я стою в стороне и внимательно слежу за каждым шагом, прислушиваюсь к каждому шороху... «Зевака со стороны видит лучше тогыз-кумалаки, чем тот, который играет в них» – говорил мой отец Тленши-бий. Если он прав, то я вижу, что настало время тобыктинцам завершать эту игру. Не закончите, все может обернуться очень скверно, – завершил он свою мысль.

Такое заключение свата стало для Кунанбая полной неожиданностью.

– Алшеке! – воскликнул он. – В степи Божей и Байсал кусали меня за ноги, а здесь, в дуане, они норовят вцепиться в горло! Как после этого мне не идти напролом?

Алшинбай, чуть приподняв со стола левую руку, вкрадчиво опустив глаза, вежливо урезонивал:

– Да, если ты намерен бороться и дальше, тебе и надо идти напролом. Но ведь они тоже пойдут на все и не остановятся на полпути! И не забывай при этом про рыжего майыра. Учти также, что найдется немало всяких баймурынов, которые воспользуются каждой клеветой и всякими сплетнями. Все они вовсе не считают, что место ага-султана утеряно для них навсегда, нет! Они надеются занять его снова. И не перестанут подстерегать тебя на каждом перевале, а теперь постараются, конечно, стащить тебя с коня. Так что хорошенько подумай. Судебная тяжба, в которую будет впутано твое имя, ни к чему хорошему не приведет... А они, пользуясь любым случаем, станут натравливать на тебя всякого, используют любую клевету.



Кунанбай понял намек. Только теперь понял. А «майыру», и Алшинбаю давно понятно, что военные стычки между двумя родами вызваны только личной враждой их акимов. И может так получиться, что на дознании поинтересуются, как мог ага-султан Кунанбай устроить набег на аул Божея и хватать, связывать людей, наказывать их плетьюми? Никто не может быть уверен, что дело не примет самый нежелательный оборот. Эти слова, звучащие в разных углах степи, – «жалоба Божея»... «надо провести дознание»... «есть свидетели» – говорят о том, что пламя вражды все больше разгорается и судебные весы пока колеблются.

Кунанбай в раздумье посмотрел на свата, но пока что не вымолвил ни словечка. Он хотел, чтобы сват откровенно высказался до конца. Алшинбай ответил таким же пристальным взглядом и заговорил внушительно, серьезно:

– Сегодня завершена постройка мечети. Дело доброе, и голова твоя высоко вознеслась. Имя твое гремит повсюду. Многие позавидуют тебе, сват, и в первую очередь такие завистники в корпусе, как рыжий майыр. И если при всем этом ты сам, первым, прервешь свою вражду, то для тебя это не будет унижением. Все поймут, что в честь священного открытия мечети ты прощаешь врага и желаешь «очиститься от скверны мирской при совершении святого дела», как говорится в Коране. Да не будет сородич твой Божей врагом тебе! Не толкай его сам в объятия твоих врагов, помирись с ним и стань ему близким человеком, как раньше.

Так заключил Алшинбай.

Кунанбай по-прежнему молчал. Когда о примирении советует сам Алшинбай, нужно хорошенько подумать, прежде чем отказаться. Алшинбай – самый влиятельный бий во всем Каркаралинском округе. К нему за судом и советом приходят от разных родов и племен. В сущности, он тайный управитель всего края. И надо помнить, что из-за Алшинбая тюре Кусбек, когда-то обидевший его, лишился ага-султанства. И благодаря именно дружбе с Алшинбаем был избран на эту должность сам Кунанбай, хотя он из рода Тобыкты, не самого большого и сильного в краю...



И если продолжать враждовать с Божеем, то ведь, и поверженный на землю, он будет кусать за ноги. Это видно по всему. А потом, если говорить об обидах, то насолил-то Божею он. А чем обидел его Божей? Да ничем... Так что, если просит о примирении сам Алшинбай, надо будет соглашаться. Конечно, это не значит, что принять такое решение будет легко, но приходится считаться с новыми обстоятельствами...

Кунанбай быстро принял решение. Будь на месте Алшинбая другой человек, ага-султан не стал бы, хотя бы из самолюбия, торопить события.

– Алшеке, – начал он, – ты всегда говоришь, хорошенько подумав, все взвесив. Коли посоветуешь чего-нибудь – всегда как истинный друг. И если я не пойму этого и не послушаюсь тебя, то буду, наверное, сам виноват во всем. Видит Аллах, я не хотел отступить. Но разве я могу упорствовать и не принимать твоих советов? Все вверяю теперь Аллаху и тебе, сват, – доведи дело до конца сам.

Разговор завершился на этом, и Алшинбай, побыв еще немного, уехал домой.

Абай, вместе с другими безмолвно присутствовавший при разговоре, был обрадован за Божея. С новой для себя теплотой и расположением отнесся он теперь к Алшинбаю. Мрачный дух вражды в воздухе начал рассеиваться. Повеяло надеждой на мир и согласие. Абай воспринял все это с глубоким вздохом облегчения, но в этом вздохе, в самой глубине души, невольно просквозила какая-то сокрытая печаль.

3

Вечером того же дня Абай один пошел прогуляться по улицам города. Когда ему бывало грустно или, наоборот, радость переполняла его, он искал одиночества... Ясный зимний день догорал в морозной тишине, но солнце еще не ушло за горы. Над лесистым гребнем высокого хребта закатные лучи солнца



зажгли огненную дорожку. Там, на высоте, поднялся ветер, на голых скалах зарождалась поземка, – и в горах поднялась, дымясь и развеиваясь в воздухе, чудесная розовая вьюга.

В городе стоял неподвижный, сухой, крепкий мороз. Он был приятно колюч, бодрил и веселил тело и дух. Слоистые синеватые скалы ближних гор уже сливались с голубой мглой наступивших сумерек – и словно погрузились в глубину подходившей ночи.

Абай пересек уже несколько улиц, когда на перекрестке, свернув в переулок, увидел идущую навстречу многолюдную, шумную, веселую толпу людей. Их было немало, но среди них, когда они приблизились, Абай не увидел ни одного знакомого лица. В большинстве эти люди оказались жатаками, городскими простолюдинами, на них была обыденная небогатая одежда, и по тому признаку, что все они передвигались пешими, не на лошадях, Абай определил, что это не степняки, а городские обыватели – ремесленники, мастеровые, рабочий народ.

В этот вечер у Абая на душе было хорошо, он радовался спокойствию и согласию в окружающем мире. И люди, идущие развеселой толпой, среди которой были и молодые, и постарше, показались ему близкими, дружелюбными, как сверстники его детства.

Улыбаясь беспричинно, Абай остановился на середине улицы и, как замороженный, стал смотреть на подходившую толпу, словно ожидая чего-то чудесного. Однако никто из толпы, когда она приблизилась, скрипя по сухому снегу множеством быстро идущих ног, не обратил на него внимания. Абай заметил, что все смотрели на одного человека, который шел в самой середине толпы. Это был почтенного вида стройный старик с узкой седой бородкой. Старик чему-то громко смеялся, смеялись и другие рядом с ним.

Абая поразило то, что старика вели под руки. Он шел, высоко вскинув голову, словно глядя вдаль, и ни на кого не оглядывался, хотя и разговаривал на ходу с людьми. Приглядевшись внимательней, Абай понял, что старик этот слеп.



Когда толпа поравнялась с Абаем, он присоединился к ней. Но не только он – и другие, стоявшие у ворот или шедшие навстречу, также были подхвачены и увлечены веселым людским потоком.

Один из прохожих, пожилой горожанин, приотстал от толпы, и Абай спросил у него: «Ага, кто этот аксакал?» Тот весьма удивился:

– Оу! Неужели не знаешь Шожекена? Как же так, сынок... Это же сам Шоже-акын!

Имя акына Шоже Абаю было известно, но воочию он увидел его впервые. Узнав, что перед ним знаменитый на всю степь певец, Абай тут же стал пробираться сквозь толпу и вскоре оказался вблизи акына. Он с большим любопытством вглядывался в него и старался уловить все слова слепого старца.

Некто с подстриженной круглой бородой, человек лет сорока, самым убедительным образом упрашивал знаменитого слепца:

– Шожеке! Зайдите к нам! Мы уже подошли к моему дому! Это говорит Бекберген! Бекберген я! Не узнаете?

– Ну, нет! Он пойдет к нам!

– Так не выйдет! Ведь это я привел его издалека! Ко мне и зайдет!

– Уа! Какие разговоры! Его конь стоит на привязи в моем дворе! У нас, значит, и заночует Шожекен.

Услышав шумную перепалку гостеприимства, старый акын остановился и, все так же высоко держа голову, словно глядя в небо, раскатисто засмеялся и звонким молодым голосом произнес:

– Уа! Друзья мои! Хотите узнать мое желание?

– Говорите! Слушаем, Шожекен! Скажите сами, где будете ночевать!

– Значит так, родные-милые! Вы хотите угостить меня как следует и приготовить мягкую постель. Так? Вы порадовали мое сердце, родные-милые! В знак того, что слова мои искрен-



ни и правдивы, я зайду ко всем, кто приглашал меня: «Ко мне! Ко мне!» Я буду гостить у всех. У кого-то пообедаю, у другого поужинаю. Не думаю, что за пять-десять дней в глотке у Шоже застрянет камень. И с луженым моим желудком, надеюсь, все будет в порядке. Наведаюсь ко всем, с каждого носа возьму дань гостеприимства. А сейчас – что-то стало холодно, не пора ли ужинать? Деточки мои, может быть, не будете больше тянуть меня за мои старые причиндалы в разные стороны? Давайте-ка завернем попросту в первые же попавшиеся ворота! – закончил акын-балагур.

Люди, с улыбками, со смехом слушавшие его, приостановились у ближайшего дома. Его хозяин, оказавшийся тут же в толпе, обрадованно вскрикнул и побежал к себе – предупредить, подготвиться... Но толпа не хотела сразу отпускать старого акына, всем было жаль, что сегодня он не попадет в их дом, люди хотели песен своего любимого поэта.

Человек со стриженной бородкой, стоявший рядом с Шоже, вновь захотел поговорить с умолкшим акыном и спросил:

– Шожеке, вы ведь недавно приехали в город, в наш дуан, может, не слышали еще о здешних делах?

– О каких? Ну-ка, расскажи мне, что происходит в вашем дуане.

Новостей оказалось много.

Этот карасакал с подстриженной бородкой оказался хорошо осведомлен в городских делах. Коротко перечислил: завершено строительство мечети, за деньги Кунанбая; ага-султан и Алшинбай-бий готовят великий той по этому поводу; Кунанбай и враждующие с ним родственники будут мириться. Мирить их будет бий Алшинбай.

Абай был поражен: как быстро дела его отца начинают обсуждать люди с улицы. Имя отца уже несколько раз звучало здесь. «Мечеть – понятное дело. Но на слуху у народа – каждый его шаг, каждая склака, любая свара!» Народ все знает, все обсуждает.

– Е-е, чего там... Видно, не желают из-за ссоры потерять свою власть.



– Говорят, Алшинбай взялся мирить их.

– Еще бы! Ведь Алшинбай и привел Тобыкты к власти.

– А тобыктинцы пожирают все, что пожирнее в наших табунах, загребают все самое лучшее, что в наших лавках. И не уйдут отсюда, пока не слопают самых жирных лошадей, всех яловых жеребят и нагульных кобылиц вокруг Каркаралинска.

Акын Шоже все это выслушал, с блуждающей улыбкой на запрокинутом лице, и вдруг встрепенулся и запел высоким, чистым голосом:

*Лысый кот и ворон кривой дружбу свели,
Взяли хромого пса: «Бога о нас моли!»
Лысый отдал кривому все, чем живет народ,
И все чем, живет народ, ворон кривой склюет...*

Все вокруг Шоже так и покатались со смеху. Защелкали языком, одобрительно покачивая головой. Протяжно постанывали от удовольствия, восхищенные меткостью поэтического слова старого акына...

– Уа! Я буду не я, если лысый кот – не Алшинбай!

– А ворон кривой – это же Кунанбай!

– К ним присоседился – хромой имам!

– Ойбай, ну и могуч старик! Одним стихом всех троих сразил!

Абай сильно смутился и, понурившись, отошел в сторону. Со двора выбежал хозяин дома и стал уводить Шоже-акына к себе. Часть людей пошла следом. Абай отстал от них и быстро направился к своему дому.

Песенка Шоже все еще звучала в ушах Абая. Она пронзила его в самое сердце. Абай запомнил каждое слово и невольно повторял стихи про себя.

Эти строки в одно мгновение сравнивали с землей все величие двух родов. Казавшиеся высокими куполами, горделивая хвала и слава этих родов рухнули наземь от одного только удара поэтического слова.



Да, повсюду с уважением повторяют «Алшеке, Алшеке» – но ведь он-то и есть «плешивый кот». А его собственный отец, все- сильный и грозный ага-султан Кунанбай – всего лишь «кривой ворон». Даже хазрет – «пес-хромец»... Ворон, владетель несметного богатства, властитель сильного рода Тобыкты, – хищный ворон, клюющий все самое лучшее и ценное у народа.

Что в мире сильнее слова? Абай вспомнил слова много- мудрого Каратая: «Слово насквозь пронзает человека».

Весь во власти этих дум, Абай шел по улицам зимнего города, ничего не замечая вокруг. И вдруг ощутил в себе пробуждение каких-то великих сил, которым, казалось, подвластно все в мире! Внезапное неизведанное волнение охватило его.

Он оказался на пересечении улиц. Из переулка навстречу выехала тройка верховых. Подняв глаза, он сразу же узнал всадников и остановился в замешательстве. Медленным шагом ехали Божей, Байсал и Байдалы. Тот, кто ехал на гнедом с белой звездочкой во лбу, в середине, чуть впереди остальных, был Божей. Бледное лицо его, под пушистым лисьим тымаком, выглядело пасмурным. Борода и усы были прихвачены надышанным морозным инеем.

Абай в первый миг растерялся, ему еще не приходилось здесь, в городе, встречаться с Божеем. Но он быстро пришел в себя, настроился на доброе и, одиноко стоя на самой середине улицы, стал поджидать всадников, словно желая что-то им сказать. А те, то ли его вид показался им странным, то ли узнали его, стали придерживать лошадей и, наконец, остановились в трех шагах перед ним.

И тут Абай с особенной почтительностью, приложив руку к груди и склонив голову, учтиво отдал салем:

– Ассалаумагалеikum!

Еще во время учебы в медресе наставник учил: таким приветствием и поклоном надо почтить хазрета при встрече с ним на улице. Но, может быть, в памяти ожили слова матери при прощании, когда она наставляла его отдать самый почтительный



салем Божею, когда встретится с ним в Каркаралинске? Было и то, и другое, но главное – Абай от всей души, искренне и непринужденно приветствовал Божея.

Необычное для степных детей изысканное приветствие встречного мальчика озадачило почтенного Божея. Натянув поводья туже, он вежливо ответил:

– Уагалейкумассалам, сынок.

Байсал, внимательно взглядевшись, узнал Абая. Лицо аткаминера исказилось неприязненной кривой улыбкой.

– Е-е, вот это кто, оказывается! Ну и ладно, поехали! – воскликнул он и хотел уже стронуть коня.

Божей остановил его:

– Придержи.

– Еще чего? Ты думаешь, мне приятно принимать салем от сына этого проклятущего? – проворчал Байсал, посмотрев мхурыми глазами на Абая и тут же отведя их в сторону.

Щеки у Абая вспыхнули. Пламя стыда и гнева опалило его лицо и перекинулось в самое сердце. Ни в чем не повинный, оскорбленный, униженный юноша уставился сверкающими глазами на Байсала.

Божей сразу понял, что происходит в его душе. Внимательно посмотрев на него, заговорил:

– Скажи откровенно, сынок: это отец тебе велел отдать салем при встрече?

– Отец тут ни при чем, Божеке. Я сам хотел приветствовать вас.

То состояние мира, согласия и доброго умысла к миру, что родилось в его душе сегодня, все еще жило в нем. Поэтому Абай сразу и настроился на доброе при встрече с Божеем. Но Божей и Байсал и все их окружение еще не знали, наверное, о решении Кунанбая примириться, хотя многие казахи Каркаралинска уже слышали об этом.

Только недавно, под вечер, Алшинбай послал к ним человека с просьбой прибыть к нему домой на переговоры, и все трое



сейчас направлялись туда. Они ехали к Алшинбаю, не ведая о том, что это будут за переговоры.

Услышав ответ Абая, почтенный Божей посмотрел на мальчика теплее и молвил приветливо:

– Если сам решил и поступаешь не по наущению отца, то и я, по велению сердца, хочу дать тебе свое благословение. Ибо вижу в твоих глазах, мальчик, все хорошее, доброе и благородное.

Байсал, услышав эти слова, опять поморщился, хмыкнул и хотел отвернуться в сторону. Но Божей, опередив, повернулся к нему и, заметив движение Байсала, с самым серьезным видом сказал ему:

– Ты против того, чтобы дать ему благословение. Но знай: этот мальчик принесет в мир очень много доброго для людей.

Повернувшись к Абаю, старый Божей продолжил:

– Груз великого будущего лежит на твоих плечах, сын мой. Удачи тебе на твоем пути. От одного я хочу предостеречь тебя: да пусть убережет создатель твое сердце от жестокости и злобы твоего отца!

Торжественно произнеся слова благословения, Божей провел ладонями по лицу.

Абай, стоявший перед ним на снегу, тоже провел по своему лицу руками.

Всадники отъехали, продолжая свой путь. Байдалы все это время хранил молчание. И только теперь, обратившись к Божее, промолвил:

– А ведь глаза у парня так и светятся, как угольки саксаула! Абай долго стоял на том же самом месте, задумавшись.

Что это? Искренне ли говорил Божей? Может быть, он просто пожалел оскорбленного и униженного Байсалом мальчика и захотел его утешить? Может ли быть случайным столь великий дар... такая щедрость души? А может быть, он узрел истинную душу Абая, хотя никогда раньше не обращал особенного внимания на него? Неужели и вправду увидел он во мне нечто такое, что я и сам чувствую, думал Абай. Но если это так, то я



буду не последний на свете человек, самолюбиво ликовал он, направляясь к дому.

Чем больше думал он об этом благословении, тем больше тешилось его юное честолюбие. В груди Абая что-то ширилось и теплело, ему казалось, что еще немного чего-то – и он взлетит над землей, унесется в иные просторы...

Абай непроизвольно ускорил шаги. Только сейчас он заметил, что стало совсем темно. И увидел, что нечаянно проскочил два лишних перекрестка. Проплутав немного, вскоре нашел дом с квартирой отца.

Вечера в ауле, проведенные на холмах, в одиночестве, и зимой, и летом, и такая, как сегодня, вечерняя прогулка открывали Абаю очень многое. Он чувствовал, как в нем просыпаются какие-то неведомые силы, поднимающие его душу, словно крылья ястреба, устремленного в небо.

Хотя Абай сам еще не занимался ястребиной охотой, однако прошлым летом он вместе со взрослыми несколько раз выезжал на поле с ловчими птицами. Когда наступали сумерки и над землей сгущалась тьма, ястреб, взлетевший в небо, вспыхивал под лучами закатного солнца и, словно комочек огня, устремлялся ввысь, с каждой секундой разгораясь все ярче. Машущие крылья его казались язычками трепещущего пламени. Тогда и представилось Абаю, что его сердце уподобилось этой огненной птице. Необычайное, восторженное вдохновение охватывало его...

Сегодняшний день был особенно богатым и насыщенным в сравнении с другими. Пополудни Абай оказался свидетелем важного разговора Алшинбая и отца, вечером – акын Шоже и толпа горожан, его почитателей, и сейчас – неожиданная встреча с Божеем на пустынной ночной улице, его благословение... Со всем недавно трое всадников скрылись в ночной темноте.

Какие немыслимо разные человеческие миры столкнулись на тесном пяточке Каркаралинска! И какие огромные расстояния разделяли их, словно четыре стороны света. На одной стороне – власть предержавшие, на другой – поэты, власть искусства. На



третьей – власть страстей человеческих. Почему эти власти и силы – суть человеческая – не сольются в едином порыве общей жизни?

Этой мыслью юный ум Абая озарился внезапно. Ему представилось, что так еще никто не думал до него. «Разум», «воля», «счастье», «слава», «богатство» – об этих понятиях и о роковом противоречии между ними он вычитал из книг на фарси и на тюрки.

Теперь он увидел столкновение этих начал в той жизни, которая его окружала, и юный ум его узнал радость самостоятельного постижения мудрости. Но ему хотелось, чтобы все эти основополагающие начала составили бы, не противореча друг другу, стройное единство в душе любого человека.

Помимо радостного ощущения силы пробуждающегося ума, впервые испытанного им, для Абая, в этот приезд в Каркаралинск, стали поучительными многие встречи и события. Взять хотя бы и то, что он увидел и услышал самого акына Шоже... Многое узнал о племенах своего народа, услышал о разных дальних пределах родного края.

Переполненный добрыми, значительными, радостными впечатлениями дня, Абай в бодром настроении вошел во двор дома, где квартировал Майбасар. Энергично топая ногами, сбив снег с сапог и вытерев подошвы о половики в прихожей, Абай прошел в гостевую комнату. Щеки его разругались от мороза. Черные глаза сверкали быстрым живым огоньком, чистые белки глаз светились ярче, чем обычно. Комната была полна людей, родственников. За весь день не справившись с мясом жирной кобылицы, гости решили, видимо, к вечеру приналечь как следует. Они сидели вокруг большого медного самовара, жарко блестящего начищенными боками, и с самым серьезным видом истово, шумно прихлебывали чай. Майбасар, любясь румяным, оживленным Абаем, добродушно упрекнул его:

– Где ты гуляешь, Абайжан? Скорее раздевайся, выпей чаю. Быстро согреешься! – Подвинувшись, он освободил место рядом с собой.



Абай неспешно разделся и присоединился к чайному кругу. Рядом Жакип торопливо и шумно прихлебывал из пиалы.

– Пейте быстрее! – подгонял он. – Пора идти к дому мырзы.

– И то правда, – подтвердил Майбасар. – Должно быть, угощение готово, и в доме все готово для гостей. Слышал, что люди придут сразу после вечернего намаза.

– Я буду не я, коли намаз в честь новой мечети не затянется надо-о-олго! – сказал молодой джигит Бурахан, утирая рукой пот со лба.

– Особенно теперь, когда новым имамом назначен мулла Хасен. Этот не закончит намаз быстро! Будет стараться показать себя!

– Ну да! А как же? Разве успокоится он, пока не прочтет «Ясин» или же «Табарик», а может, и сразу обе суры? Пока не прочтает нараспев, с подобающим выражением всё по уставу, по доследного слова, – нет, не успокоится мулла Хасен, – переглядываясь и посмеиваясь в усы, пошучивали молодые джигиты, которые были назначены разносить мясо на предстоящем пиру у мырзы. Среди них Толепберды, Бурахан, Жумагул. Сейчас парням не хотелось оставлять добрый чайный круг, спешить куда-то.

– Не болтайте вы! – сварливо накинулся на них Жакип. – Вам бы тоже сперва не мешало пойти на намаз в честь новой мечети! Майбасар, разве ты не пойдешь?

Но Майбасара не очень трогала забота о вечернем намазе, даже не ответил на вопрос старшего брата; он с улыбкой обернулся почему-то к Абаю:

– Ну, конечно! Нас так и ждут в мечети. В этой толчее для нас уже не будет места. А если пройдем вперед, то после намаза сразу не выберемся, застрянем в мечети. Не забывайте, что нам надо вперед гостей быть в доме мырзы. Иначе наш мясодар Изгутты покончит с собой, перережет себе горло!

– Но совсем не идти – неудобно! Мырза узнает – будет браниться, – неуверенно соображал вслух Жакип. – Пойдем и сядем у дверей, поближе к выходу. Зато уйдем первыми.



– Сзади садиться не хочу. Мырзе что-нибудь наврем, но в мечеть нам лучше не ходить. Караулить чужие сапоги у выхода – рахмет, не хочется. Да еще, глядя на пятки всех этих бошанов и карашоров, бить лбом в то самое место, которое они только что топтали своими широкими, как верблюжьи копыта, ступнями! Нет уж! Спасибо!

Высказав такое, Майбасар окончательно настроил молодежь на игривый лад, и никто из них уж не подумал идти в новую мечеть на торжественный намаз.

Абаю было смешно слушать забавные шутки дяди. Майбасар обычно был угрюм и суров, но теперешними детскими выходками он сильно расположил к себе Абая. Он от души расхохотался.

Но Жакипу вовсе не понравились шуточки брата, брошенные не ко времени, – в час, когда вся богатая знать Каркаралинска, собравшись на самый первый намаз в новой мечети, славословила Кунанбая и выражала ему благодарность. «Как всегда, брат болтает что попало!» – говорил его косой, недовольный взгляд в сторону Майбасара.

– Если вы что-нибудь соображаете, то поймете – эта мечеть для нашего мырзы принесет много благ. А вместе с ним и мы будем на коне. – Так говорил брат Жакип, не самый умный и значительный из всех братьев Кунанбая.

Майбасар, кинув быстрый взгляд на него, сразу стал серьезен и, стараясь быть на одну ногу с Жакипом, заговорил совсем по-другому:

– Е-е! Истина в твоих словах, мудрый брат! Эта мечеть заткнет врагам пасть, засыплет их глотки сухим песком! Чтоб мне пусто было, если Божей уже не почувствовал это! Поэтому он и добивается примирения.

Окружению Кунанбая еще было неизвестно, кто на самом деле ищет примирения, но иргизбаи с самого начала стали распространять слухи: мол, Божей испугался, Божей просит мира, потому что тягаться с Кунанбаем у Божей силенок не хватит. Тот же Майбасар был первым, кто повел такие разговоры.



– Достоправный Алшеке – истинный друг нам, вы же видели – он всей душой за нашего мырзу, – молвил Жакип. – Что он сказал нынче, слышали? Мол, слава мырзы растет, ей завидуют все – и простолюдины, и властители. Сам майыр в первую очередь завидует. Как же не завидовать нашему мырзе, если он построил мечеть, заслужил уважение народа, а всех правителей превзошел своей славой? Майыру надо призадуматься, как бы мырза совсем не затмил его.

– Вареная Голова вовсе не из-за славы злится, нет! – поправил старшего брата Майбасар. – Должно быть, он хапанул немалые взятки у Байсала и Божея. А кому неизвестно, какая у майыра широкая глотка и ненасытное брюхо? Поэтому он и стоит горой за Божея. – Тут Майбасар самодовольно хохотнул. – Он бы еще больше с них слупил, да теперь уже не получится у него. Перемирие с Божеем состоится сегодня вечером после намаза. Ты слышал, что Божей будет в мечети на первом намазе, а потом приедет к мырзе?

Но об этом не знали ни Жакип, ни другие из присутствующих джигитов. Абай тоже услышал весть впервые. Все приумолкли, удивленные новостью. Каждому хотелось посмотреть на Божея, когда он прибудет для примирения к Кунанбаю.

Майбасар был доволен тем, что новость его поразила всех. Усмехнувшись, он добавил, повернувшись к Абаю, сидевшему рядом:

– Что ни говори, Алшекен всегда рядом, когда заваривается доброе дело для нас. Не зря мы перегнали столько скота в его аул, – ты это теперь понимаешь? – обратился он к племяннику, горой нависая над ним. – Вот только попробуй еще раз отказаться поехать к тестю, знакомиться с невестой. Смотри у меня!

Сидящие в комнате сдержанно рассмеялись, глядя на Абая. Но его сегодня не просто оказалось смутить. Раньше при подобных игривых намеках Майбасара он только краснел, потел, прятал глаза и отмалчивался, но сегодня Абай лишь улыбнулся и ответил безо всякой робости:



– Майеке, вы опять за свое. А вот возьму да и вовсе никуда не поеду!

– Ойбай! Несчастье какое! Мальчишка-то наш совсем струсил! Что-то я начинаю в нем сомневаться: соображает ли он хоть чего-нибудь?! Говорят ведь: «Жениху не спится спокойно, если уже начали отдавать калым за невесту» – а ты что? Пойми, там ждет твоя невеста, покрытая мягким пушком, с белой шейкой, словно сокол-балобан, сидит и дуется, грозитя: «Попробуй только и на этот раз не приехать». Сколько еще можно испытывать ее терпение? Да ты, парнишка, совсем не думаешь о чести нашего рода!

Абай и на этот раз не смутился. Не отвечая, он с улыбкой посмотрел на дядю, затем взял из-за своей спины домбру и стал громко бренчать по струнам.

Майбасар, молча просидев в ожидании ответа, так и не дождавшись его, вновь начал приставать:

– Ты вот что... Ты только намекни... И тогда всех этих молодцов-джигитов, сидящих здесь, я прямо отсюда немедленно посылаю вместе с тобой в аул Алшекена.

– Майеке, перестаньте, прошу вас!

– Уа! Не перестану, пока не ответишь. Ты меня хорошо понял?

– Апырай! Апырай! Что за наказание! Вам-то, Майеке, какая польза от этого? Ну, если бы вы еще были женге, тетушка моя, тогда понятно...

– Пусть я и не женге, но я твой дядя – и мне тоже будет в большое удовольствие – женить тебя, айналайн...

Абай, не сдержавшись, прыснул в сторонку. Затем, с необычной для него шаловливой дерзостью, произнес:

– Вы уже не раз и не два долбите одно и то же... Вы что, ага, так и не прекратите никогда?

Он перестал бренчать по струнам, положил домбру поперек коленей и с веселым гневом уставился на дядьку. В его больших, круглых улыбчивых глазах прыгали бесенята.



– Сказано – не перестану! – решительно ответил Майбасар и насмешливо уставился на Абая. – Ну, поедешь к невесте?

Мальчик прищурил глаза, откинул голову, как слепец-акын Шоже, которого он видел недавно. И вдруг запел:

*Уа, просил я вас перестать, –
Вы же стали шутить опять!
Или ваш карман, Майеке,
Стало нечем теперь набивать?
Вы обшарили все углы,
Обобрали Каркаралы,
Все вам мало – и вот вдали
Вы еще кого-то нашли!
Хороша Алшинбая дочь, –
Вы и там поискать не прочь!
Иль зарок дан вами вперед
Все отведать, что жизнь дает?
О невесте оставьте речь,
Что вас может туда привлечь?
Не шутите больше со мной!
Что я, право: бык племенной
Алшинбаю в его стада?
Кайнага¹, не стоит труда
Выбиваться дальше из сил:
Я и так уж вас наградил!*

И, звонко рассмеявшись, Абай привалился к плечу Майбасара.

Пораженные и восхищенные неожиданной песенной шуткой юного Абая, все находившиеся в комнате джигиты громогласно расхохотались. Сам же Майбасар, весь красный от смущения, тоже трясся в беззвучном смехе. Не найдя сразу, что ответить,

¹ *Кайнага* – здесь: родственник жениха.



он лишь покрутил головою и крепко матюгнулся. Отсмеявшись, дядька с нарочитым гневом уставился на Абая и пригрозил:

– Вот я тебе! Смотри у меня!.. Что надумал, паршивец! И чего мне теперь делать, а?

Абай насмешливо поддел дядьку:

– Отвечать, Майеке! Но надо отвечать стихами, а иначе и слушать не буду! – и он шаловливо, быстро замотал головой.

– Да куда ему! Напросился – так и получай! Шок-шок, бедняга! – говорил Жакип, утирая рукавом слезы смеха. – Получил по заслугам!

– Кап! Что позволяет себе этот потомок злоречивых Шаншар! Ты не в нашу породу пошел – ты чудишь, как все родичи твоей матери Улжан! Вот, вернемся в аул, так я нажалуюсь ей, все расскажу, – шутивно-серьезно пригрозил Майбасар. – Получишь от нее сполна, что дядю высмеял.

Все поняли смысл его слов, и Толепберды, Бурахан и другие начали обсуждать:

– Должно быть, сидит в нем дух Тонтая-шутника...

– Не диво! Он же его племянник!

– Уа! Он накалывает на вилы, как будто сам балагур Шаншар!

– Бросьте вы! Этот шалопай принес стихи за пазухой, откуда-то списал, наверное, – возразил Майбасар, все еще не придя в себя от удивления. – Разве может этот никудышный сочинять стихи?

Неожиданно все смолкли. Только сейчас взрослые поняли: они увидели и услышали, как Абай на их глазах сочинил песенку и спел ее. Лица у всех стали серьезны. Юный Абай никак не ожидал, что его невинная шутка возымеет такое действие. И в глубине души он испытал невольное смущение.

– Ну да! Конечно, это не я сам сочинил, – молвил он, лукаво усмехаясь, словно желая подразнить взрослых. – Совсем недавно я видел акына Шоже, это его стихи.



Когда взрослые, и веря ему и не веря, стали подробно его расспрашивать, Абай уже с новым воодушевлением продолжал шутливо врать:

– Я обратился к нему: «Шожекен, у меня есть такой приставучий ага, по имени Майбасар, который каждый день надоедает своими шуточками. Научите меня, как дать ему достойный отпор». Вот он и научил.

И вдруг высокий, звонкий веселый голос Шоже и его заразительный смех вновь прозвучали в ушах Абая. Он понял, что и в самом деле слепой акын, словно незримо присутствуя рядом, помог ему сразить Майбасара метким словом. «А ведь у меня получилось почти как у Шоже! Неужели ... неужели хоть когда-нибудь я смогу стать таким же, как он?..» – с какой-то тихой детской завистью подумал Абай.

Сидящие в доме продолжали обсуждать «байку о Шоже», не совсем веря в нее, но вместе с тем дивясь и восхищаясь поэтической выходкой Абая. В это время неожиданно для всех быстро раскрылась дверь и своей быстрой, бодрой поступью в дом вошел Карабас. Все голоса тотчас умолкли. Еще в дверях, только успев просунуть голову в комнату, Карабас зачистил:

– Быстрей! Быстрей! Намаз закончился! Гости идут к дому мырзы! Каратай и Изгутты зовут вас, и чтобы побыстрее! Давай, поторапливайся!

Услышав это, все вскочили и спешно бросились одеваться.

Абай не знал, как быть ему. Дядька Жакип подсказал:

– Тебе не под силу ухаживать за гостями, бегать с блюдами. Но и возле отца, вместе со знатными людьми, сидеть тебе не положено. Да и толкотня там будет, теснота, многолюдие. Так что лучше тебе остаться здесь.

И Абай то же самое подумал: «Добро. И заночую тут». Но Майбасар сразу же возразил, и Карабас также:

– Вы чего? Пойдем с нами, Абай! На людей посмотришь, себя покажешь. Отдашь салем – и можешь отправляться восвояси.



– Посмотреть надо, как в этом самом городе гостей обихаживают. Может, пригодится тебе на будущее, поучишься! – сказал Майбасар.

Приотстав от всех, поспешно убежавших, Абай последние слова дядьки Майбасара взял в соображение, посчитал его доводы вескими и неспешно стал собираться. Он в одиночку отправился к квартире отца.

Когда Абай вошел в дверь, дом уже был полон гостей, которые, сильно оголодавшие за долгое время намаза, во всех комнатах тесно обсели дастарханы.

На дворе Абай никого, кроме обслуги и снующих туда и сюда запаренных джигитов-поваров, не видел; но перед воротами, по длинному ряду вдоль заборов, было привязано множество лошадей под седлами. Покрывшись на ночном морозе инеем, они казались припорошенными снежком. Стояло и несколько изящных саней, в парной упряжи, лошади переминались, побрякивая удилами, поскрипывая и постукивая оглоблями. Должно быть, это были сани городских баев. На передках саней одиноко маячили укутанные в тулупы возницы.

Прямо напротив крыльца большого деревянного дома был расположен небольшой отдельный домик кухни, его дверь беспрерывно хлопала, раскрываясь и закрываясь. Чашу за чашей, поднос за подносом бегом разносили джигиты, недавно сидевшие вместе с Абаем в доме у Майбасара. Сам Майбасар и названный брат Кунанбая Изгутты ходили, озабоченные, между кухней и квартирой. Жакип тоже суетился тут. Оказалось, им не досталось места среди гостей, и оставалось братьям хозяина лишь только распорядиться по ходу пиршества.

Главным распорядителем кухни был Изгутты.

– Сюда давай! Поживее! Туда неси! Быстро, быстро! Поторпливайся! – беспрерывно покрикивал он, подгоняя разносчиков еды.

В легком бешмете, подбитом мехом, с засученными рукавами, Изгутты был сосредоточен, быстр и проворен, словно охотник



на ловле. Казалось, он готов был душу отдать на сегодняшнем пиру Кунанбая.

Когда Абай входил в дверь большого дома, навстречу ему вылетел Карабас и бегом устремился к кухне. Пропустив его, мальчик вновь попытался войти, но за его спиной раздался командный голос Изгутты:

– А ну, посторонись! Посторонись!

Из кухни выскакивали и мчались друг за другом четыре джигита с большими глубокими блюдами, с наваленным на них горой мясом. Пришлось Абаю вновь отступить, джигиты гуськом пронесли мимо. Толстые колбасы казы, вздрагивающие жиром курдюки, желтое сало зашеины и вареное вымя, растекающееся, словно жидкое золото, проплывали мимо, дымясь на морозном воздухе. Через одно блюдо на второе гору мяса увенчивала серая вареная баранья голова. Пропустив носильщиков, Абай снова сделал попытку войти, но навстречу выскочил встрепанный Каратай, чуть не сбил его с ног.

– Эй! Где туздык? – завопил он, потеряв, видимо, свойственное ему спокойствие. – Сказано было, что подливку подадут отдельно! Давай скорее туздык!

– Есть туздык! Уже несу его! – криком отвечал ему Изгутты.

Раздосадованный тем, что пришлось так долго толкаться в дверях, Абай наконец-то протиснулся в прихожую. Входя, он нечаянно толкнул под локоть Изгутты, который, стоя к нему спиной, разливал туздык по блюдам. Струйка мясного навара плеснула на пол.

– Ну, покарай тебя бог! Кто это? – сердито крикнул Изгутты и обернулся.

Увидев Абая, сбавил тон, лишь проворчал недовольно:

– Оу, Абай, сидел бы где-нибудь в уголке! Чего толчешься здесь под ногами?

Кажется, никто тут не рад приходу Абая – не только Изгутты. Никому нет дела до него. Одно то хорошо, что в прихожей нет никого из гостей, здесь на узком проходе стоят молчком,



сдвинувшись попарно, разного вида калоши, кожаные кебисы, сапоги-саптама с войлочными чулками внутри.

Из прихожей по разные стороны расходились три комнаты, сейчас каждая была тесно набита гостями. Направо располагалась комната Кунанбая, из нее доносились голоса Алшинбая, «майыра»... Говорили громко, веселыми праздными голосами, порой раздавался всплеск непринужденного смеха. Из этой комнаты слышнее всего Алшинбай, он был в ударе, оживленно рассказывал какие-то забавные вещи, и все смеялись. В комнате для гостей, посередине, куда дверь была широко раскрыта, расположилась за дастарханом по кругу вся городская знать, богатые татарские купцы, казахские баи, и на самом почетном месте восседал, скрестив ноги, имам новой мечети мулла Хасен. В этой комнате говорили тише, и смех звучал сдержаннее, благопристойней. Там находятся люди, чувствующие себя в некотором напряжении, стараясь держать себя прилично. В крайней левой комнате собрались богатые степные владельцы, также атками-неры родов Бошан, Карашор и другие племенные старшины. Здесь вели себя наиболее вольготно, шутки так и сыпались, смех гремел, шум стоял изрядный.

Абай ни в одну из этих комнат не стал заходить, только заглянул в каждую, стоя у дверей. Ему было интересно послушать всех – и городских, и тех, кто из аула; он хотел наблюдать за ними из этой прихожей, так было удобнее – лишь бы Изгутты не прогнал.

В углу одиноко стоял всеми забытый стул, как будто специально оставленный для него, Абай уселся в сторонке от снующих взад и вперед с блюдами разносчиков еды.

Человек семь-восемь крепких джигитов, распаренных, возбужденных, таскали нескончаемые блюда с мясом.

Прожорливость едоков мяса в городе не уступала тому великому мясоедству, которое бытовало в степи, где-нибудь на зеленом джайлау, при многолюдном празднике с конными состязаниями или во время больших поминок знатного покойника. Только к раз-



гару кунанбаевского тоя уже можно было полагать, что съедены не одна отгульная кобылица, и стригунки-жеребята, и жирные валухи, и немало яловых овечек.

Поутихшая было беготня разносчиков после небольшого времени, которое понадобилось на то, чтобы гостям проглотить первую гору мяса, – началась в обратном порядке. Поплыли назад в кухню опорожненные подносы – и спустя минуту оттуда вылетела вереница огромных чаш, наполненных румяным дымящимся пловом. Плов соблазнял: «Попробуй-ка отказаться, не отведай меня!» Джигиты несли его в торжественном молчании, подгоняемые лишь выразительными взглядами и жестами Изгутты, Майбасара и Жакипа, которые указывали, кому в каком направлении нести драгоценные яства.

Плов! Плов... После плова – напиток из ягод. Затем чай. Время уже за полночь – пора спать глубоким сном, а во всем доме Кунанбая пир идет горой, продолжается поедание мяса, плова, питье кумыса, чая – по-прежнему неустанно жуют, алчно глотают, вволю пьют.

Абаю наскучило смотреть на все это, захотелось спать, он зевнул разок, другой и уже хотел возвращаться в дом Майбасара. До сих пор никто не обратил на него внимания, ни из гостей, ни свои. Обслуга же носилась, как угорелая, ей только не попадайся под ноги.

Застегнув пуговицы на своей беличьей шубе, Абай направился к выходу – и тут услышал гремучий звон струн и красивый мужской голос, сразу высоко поднявший песню. Джигиты-разносчики перестали бегать и, сгрудившись в дверях, начали слушать. Абай подошел сзади и заглянул в комнату.

Пел незнакомый человек, с лицом смуглым, бледным, как необожженная глина, с выступающим подбородком, с которого свисала узкая изогнутая борода. Он сначала озвучивал наигрыш на домбре, потом клал ее на колени и принимался петь.

– Кто это?

– Откуда он?



– Что это за акын?

Вопросы раздавались со всех сторон, и обслуга спрашивала, и из комнат долетали удивленные возгласы.

Из спальни Кунанбая высунулась голова Каратая:

– Балта! Балта акын это! – сообщил он и исчез назад.

Балта-акын неизменно сопровождал Алшинбая. Он спел только что сочиненную им песню.

*Говоришь, что жена плоха,
А сумей-ка невест найти!
Говоришь – одежда плоха,
А сумей-ка сукно найти!
Коль сказал, что выше всех, –
В ком ты друга сможешь найти?
Если в ссоре с тобою род, –
Кто прославит твой дела?
О тебе молва будет зла!
Если ж, родичи, весь народ
В крепкой дружбе сердца сольет, –
Знайте, всюду о вас молва
Светлой вести домчит слова!*

С последними песенными словами акына хор восторженных голосов раздался из всех комнат:

– Надо же, какие слова нашел!

– Мудрые слова! Святые! – восхищенно, наперебой расхваливали акына Алшинбай, Каратай, узкобородый толмач...

– Уа! Это и есть подлинное величие слова!

На такой многолюдной, деловитой вечеринке, приуроченной примирению двух родов, среди такого тяжелого обжорства – вдруг рождается такая песня! Абаю это показалось чудом. Загоревшись желанием послушать еще, юноша втиснулся со своим стулом в комнату, кое-как притерся в уголке. Но песен акына более не прозвучало.



Сидевшие в кунанбаевской комнате гости приступили к прежним вялотекущим разговорам. Абаю опять стало скучно. Но он мог теперь вблизи рассмотреть большое, бледное лицо Божея, который нынче благословил его. На его лице не было видно следов гнева, это было спокойное, усталое, далекое от веселья лицо пожилого человека.

Взгляд Абая перешел на отца. Кунанбай сидел весь подобранный, с прямой спиной, уверенно поглядывая на всех своим прищуренным кривым глазом. Он тоже не был расположен к веселью.

Два человека, сумевшие превратить обычное тревоугодие в очень важное миротворческое действие, Алшинбай и Баймурын говорили за обоих – и за Божея, и за Кунанбая. С громадным телом, мясистый, рыжеватый бай Баймурын был именно тем человеком, который сумел уговорить Божея и привести его на это перемирие.

Когда Абай убедился, что песен акына Балты больше не предвидится, и снова пошли какие-то деловые разговоры, он поднялся и направился к выходу. В прихожей, протиснувшись мимо него, Каратай подошел к Майбасару и Изгутты, сообщил им:

– Перемирие состоялось. Помирили их. Договаривались Алшеке и Баймурын. И обсуждали они двое, и решение принимали вдвоем. Так поручили им и мырза, и Божей.

– Ну и к чему они пришли? Каково решили?

– Решение необыкновенное: мол, если бы вы не были родственники, можно было бы вам стать сватами. Но вы близкие родственники, детей своих поженить не можете, поэтому вам надлежит передать один другому детей на усыновление. Пусть Божей возьмет у Кунанбая ребенка в свою семью и воспитает его как своего собственного. Таким образом, стало быть, запахи двух семей смешаются и прежняя близость родов возобновится.

– Что?! На том и порешили?

– Какого еще ребенка? Родное дитя, что ли, отдавать? На усыновление?



– Ну да, говорю же я вам! Своего ребенка. Чтобы его усыновили. – Сказав это, Каратай поспешно удалился назад в кунанбаевскую комнату.

Такого решения Абай не ожидал. Душа его содрогнулась от ужаса. Кого отдать, вырвать из семьи? Оспана или Смагула? Должны будут отдавать кого-нибудь из сыновей... Которого из мальчишек выхватят из объятий родной матери и передадут в чужие руки?.. Абая показалось, что он уже потерял, лишился навсегда кого-то из своих младших братьев-сорванцов... Смагул, Оспан... Да, выхватят, вырвут баловника из объятий матери и отдадут в чужие руки.

4

Спустя дней двадцать после того вечера Кунанбай собрался возвращаться в аул.

– Аллах благословит, так отправимся в путь завтра. Чтобы снаряжение у всех было готово. Задержки ни у кого не должно быть. Пораньше сядем на коней. Так и передайте всем, – наказывал Кунанбай атшабарам Карабасу и Жумабаю.

Получив строгий наказ Кунанбая, все тобыктинцы, прибывшие вместе с ним, и те, что разместились с Жакипом и Каратаем, последний день провели в великой суматохе сборов. Весть о возвращении обрадовала и приободрила всех без исключения: и молодых, и тех, что постарше.

Но больше других радовался Абай, сильно соскучившийся по дому и по родным местам. В последнее время он даже во сне видел свое возвращение, видел матерей, родственников, свой аул и любимые окрестности Жидебая. Во всех домах, где стояли тобыктинцы, среди шума и гама сборов то и дело звучали веселые шутки, раздавался смех. Людей радовало возвращение к родным очагам.

«Скоро в путь! Возвращаемся!» – слова эти уже дней пять были у людей на слуху, и они заранее начали подготавливаться



в дорогу, выправили конное снаряжение. Стоявшие на сытном корме, лошади разжирели, и люди в последнюю неделю старались как можно чаще подолгу гонять их, чтобы жир вышел через пот, – и чтобы кони оказались готовы к долгому зимнему переходу. В обратный путь Абай должен был отправиться на красивом саврасом коне с черными, как смоль, гривой и хвостом по кличке Аймандай – Лунолобый. Конь оказался иноходцем с плавным быстрым ходом – настоящая мечта всех молодых джигитов. Сохранился он в отдельном стойле. Абай решил навестить его. И на самом деле, звездочка во лбу коня белела, как яркая луна; стоя на привязи, он приветливо кивал головой юному хозяину. Абай давно не садился на коня, не видел его – и только теперь почувствовал, что соскучился. Взяв в руку пучок сена, он вытер иней утреннего морозца с гривы и боков. Затем, по примеру взрослых джигитов, взялся за холку, проверяя, насколько лошадь упитанна. Всей длины ладони не хватило на то, чтобы охватить холку Аймандая. Конь разжирел не в меру. Абай отошел в сторону, посмотрел на него сбоку: спина и круп его заметно округлели. Даже видны стали бугорки и валики подкожного жира.

Вновь подойдя к коню, Абай обнял его за шею и подумал: «Почему только завтра? Можно бы поехать хоть сейчас...»

Аймандая оседлали, поверх седла набросили толстую попону, Абай подвязал наушники тымака, вскочил на лошадь и выехал со двора.

Обычно Аймандай просил свободных поводыев, на ходу помахивал головой, шел бодрой поступью. Сегодня же он сразу пошел ровной, легкой иноходью, словно гонимый ветром парусный челн.

До самого вечера Абай почти не слезал с седла, разминая лошадь перед дальней дорогой.

Хотя и не было никакого дела, выезжал за край города, побывал на базаре, прошелся по рядам, вернулся в город и навевывался в дома, где стояли тобыктинцы. В полдень пообедал с отцом, попил чаю и вновь поехал на базар. На этот раз с ним



вместе был Изгутты. Обычно деньги Кунанбая хранились при нем. Когда Абай за дастарханом попросил у отца денег, тот обернулся к Изгутты и сказал:

– Поезжай вместе с ним на базар, мальчик хочет купить подарки матерям и младшим братьям. Выбери непременно все сам и купи ему.

До поздних часов пополудни Абай вместе с Изгутты успел обойти множество лавочек и магазинов, покупал подарки и гостинцы. Первое, – зная о том, что бабушка Зере большая любительница чая в бумажной упаковке, Абай набрал в лавке много пачек чая; потом накупил сахару, конфет, бархату, шелковой ткани – материала для нарядных женских камзолов.

Только к вечеру, набив доверху дорожную переметную суму, а то, что не вошло туда, рассовав за пазуху, за голенища сапог, за пояса – Абай с Изгутты вернулись домой.

Ввиду скорого отъезда и другие тобыктинцы, видимо, бросились за покупками.

А Кунанбая, собиравшегося назавтра в путь, вечером осаждали «майыр» с толмачом, аткаминеры разных родов, городские баи и би. Абай не стал сидеть в отцовской комнате, он перешел в другую, где Изгутты с Карабасом зашивали наполненные дорожные мешки, готовясь в дальнюю дорогу.

Уже поздно ночью Изгутты проводил до ворот «майыра», потом вернулся назад. Покрутив головой, он сказал:

– Кто только не зарится на богатства нашего мырзы! Даже эта Вареная Голова нынче унес немалый куш, облизываясь от удовольствия.

– Чего ухватила Вареная Голова? Скота или денег? – поинтересовался Карабас.

– Сказав ему: «Ты сановник, тебе не пристало ездить на чем попало», – мырза подарил ему черных, как смоль, упряжных лошадей, которых прислал Бериккара. А в виде «асату», вместо того чтобы положить ему в рот лакомый кусочек, мырза собственноручно сунул ему пятьсот рублей.



В последние дни получил дары не только «майыр», но и посредник Алшинбай. Это в его аул погнали гурт в полсотни голов крупного скота – лошадей, коров, верблюдов. Перегонять скот поручили Майбасару и Каратаю. Ждали их возвращения, они-то и могли задержать отъезд, но накануне к вечеру отгонщики вернулись.

Перед тем как с гуртом отправиться к Алшинбаю, Майбасар снова подступался к Абаю насчет поездки к невесте. Но после того, как его высмеяли столь неожиданным образом, Майбасар опасался действовать напрямик и попробовал уговорить Абая по-другому. Дядька стал при нем разговаривать со старшими, такими, как Изгутты, Жакип: «Нам же будет стыдно перед невестой... Как ей смотреть в глаза...» На что Абай ответил коротко и решительно: «Нет!» После чего избавился от всяких дальнейших вопросов насчет поездки в аул тестя.

К тому же решение Кунанбая о срочном возвращении в аул означало, что он не собирается сейчас ехать к свату. И вот, уже завтра отправятся в путь, в сторону родного края. Но именно теперь, когда все стало ясно, Абай, лежа в постели перед сном, задумался о каком-то далеком ауле, куда звал Майбасар и где жила его невеста Дильда. И он ощущал некое тайное волнение, думая о ней, пытаясь представить ее.

Он не поехал... Но увидеть ее все же Абаю хотелось. Говорят, она красива. «Ее подбородок – как молодая луна, ее шея – как у сокола-балобана». Так ее описывал дядька Майбасар. И Абай пытался представить себе, какие бывают шеи у соколов-балобанов, у ястребов-тетеревятников... Ну, конечно, красивые у них шеи, нежные, белоснежные... И вдруг Абай поймал себя на том, что он не первый раз с волнением задумывается о Дильде...

«А может быть, все-таки надо было поехать?» – пришла мысль вместе с волной горячего туманного сожаления. Но тут же он вспомнил, какими грубыми намеками, при которых он весь вспыхивал от стыда, Майбасар и другие затапывали его сокровенные чувства. Да, его душа ищет Дильды, стремится к ней.



Но душа должна найти ее, не проходя через все эти тягостные, навязчивые, постыдные для него рутинные обычаи сватовства, вручения калыма, поездок к родне невесты...

С подобными мыслями Абай долго ворочался в постели. Сон пришел не сразу.

Наутро, как и наметил Кунанбай, он и его люди отправились в обратный путь. Каждая группа, покидая квартиры, двигалась по улицам отдельной ватагой, и только за городом они соединились в единый караван.

Пришли проводить Кунанбая многие баи и старшины города со свитой, на дороге их собралось около сотни всадников. Когда караван тронулся, провожающие остались стоять на дороге, а человек тридцать отъезжающих медленно двинулись в путь. Им вдогонку летели возгласы: «Кош!.. Кош, мырза! Счастливого пути! Благополучной дороги!» Караван взял направление в сторону родных краев Тобыкты.

Путь от Каркаралы до Чингиза предстоял весьма долгий и тяжелый. В эту зиму обильный снег покрыл степь, выровняв ложбины и накрыв пригорки толстым белым одеянием. Постоянные сильные ветры с севера пригладили снежный покров и уплотнили его, как твердый панцирь. Бураны со снегопадом обрушивались чаще, чем обычно, иногда пурга продолжалась неделю и больше.

Январь, февраль – месяцы зимние. Они превращают в царство белой стужи беспредельный степной край с его отлогими холмами, потаенными оврагами, заповедными безлюдными урочищами. На всем пути причудливые снежные заструги, словно застывшие на бегу волны, свидетельствуют о пролетевших свирепых метелях. Накатанной верстовой дороги нет, порой приходится двигаться по снежной целине. А местами, выбирая более удобный путь, отряд мог двигаться только по три всадника в ряд, не более, поэтому караван растянулся длинной цепочкой, словно весенняя журавлиная стая.



Впереди отряда конных ехал сам Кунанбай на своем знаменитом длинном рыжем иноходце. У коня высокий, крутой зад, словно опрокинутый таз, грива светлая, корпус массивный, не сухощавый, как у многих иноходцев. Из всех своих дорогих скакунов владетель несметных табунов выбирал в поездки именно этого коня, особенно для длинных переходов по зимнему пути. Массивный, величавый ага-султан одет в шубу-жаргак из шкурок черных жеребят, перехвачен кожаным поясом с серебряной отделкой; на голове его пушистый тымак из огненной лисицы, накрытый черным бархатом. Его лисья шапка под цвет рыжему коню. Приученный к мерному резвому шагу, передовой иноходец принуждает и остальных скакунов, следующих за ним, двигаться размеренно и ходко.

Аймандай, молодой конь Абая, при небыстрой иноходи передового идет обычным дорожным бегом, но когда тот набирает ход, вынужден пускаться в галоп. Поскок его при этом очень жесткий, неудобный, изматывающий всадника.

– Апырай! До чего тупой ход! Как будто на бревно посадили и встряхивают! – жаловался Абай атшабару своего отца, Карабасу.

На деле же виною был не только жесткий ход Аймандая. В первый день пути Абай, давно не ездивший верхом, сам не мог приноровиться к бегу лошади. И у него словно все внутри отрывалось, он едва мог усидеть в седле, затруднялся даже нагнуться и подобрать разъехавшиеся полы шубы.

– Терпи, ничего с тобой не случится, – утешал его Карабас. – Скоро приноровишься, жилы подтянутся. Ты только прикрывай ноги лапами чапана! – советовал он.

Будь его воля, Абай ехал бы себе неторопливым дорожным ходом. Но рассчитавший весь путь по дням и часам, точно предписавший, когда в каких аулах предстоят ночевки, Кунанбай никому не мог позволить нарушить срок каждого перехода. Поэтому он и ломил сам путь впереди отряда, подставляя себя встречному



морозному ветру, не посылая вперед своих шабарманов и атшарбаров, которых он в других случаях никогда не щадил.

Такого неукоснительно строгого порядка в дневных пробегах придерживались во все дни долгого перехода. Но, несмотря на беспощадную гонку в пути, Кунанбай постоянно был вынужден задерживаться с выездами из аулов, где бывала ночевка. Все аулы на пути: Шубартау, Абыралы, Дегелен и другие, особенно окраинные аулы Тобыкты, располагавшиеся по западную сторону от Чингиза, устраивали Кунанбаю такие пышные и торжественные встречи, словно он возвращался с хаджа из Мекки, а потом, в великом рвении гостеприимства, старались еще и задержать у себя подольше...

На устах у ревнителей веры – у аксакалов, у мулл и суфиев – было одно и то же слово: «Мечеть! Мечеть!». Аксакалы угодливо твердили: «Ты хоть из простого рода, но вознесся ханом!», «Из кровопролитной схватки вышел целым и невредимым!», «Стал, словно нар могучий, в награду увешанный бубенцами!» И все попутные аулы безумствовали в желании угодить ему.

Старшины многих аулов, расположенных на пути кунанбаевского каравана, побывали этой зимой в Каркаралинске, там имели памятные встречи с Кунанбаем, после чего были решены в их пользу многие тяжёлые вопросы, споры-раздоры. На возмещении убытков с виновных, на штрафах по суду биев некоторые из этих старшин крепко нажились – или вконец разорили своих противников.

Вот и старались теперь в четырех-пяти попутных аулах, акимы которых имели в городе встречи с Кунанбаем, достойно отблагодарить его. При проводах гостей в дальнейший путь старшины отводили Кунанбая в сторонку и беседовали с ним наедине, задерживая нетерпеливый караван. В результате этих бесед к каравану присоединялись ведомые на поводу отборные кони и отгульные кобылы.

Неожиданно выпавшие дары – двух вороных иноходцев, одного черно-белого пегого коня, еще трех гнедых лошадей – по-



гнали молодые конники, Карабас также вел на длинном поводке вороного красавца. Абай поначалу не придавал особого значения такому прибавлению лошадей в караване. Но по мере продвижения к тобыктинским землям число подаренных коней заметно росло. И под конец пути в караване почти не оставалось джигита, за которым не следовала бы в поводу дарованная лошадь. Когда пришли на окраинные земли тобыктинцев, этих лошадей оказалось числом пятнадцать, и дальше их погнали отдельным небольшим табуном.

Все это говорило о том, что мирный поход Кунанбая удался, и поездка ага-султана была «щедрой на дары и добычу». И если кто-нибудь в ауле Кунанбая раскинул бы сейчас гадальные кости, то могло выпасть такое гадание: «Путники наши возвращаются очень довольные. Даров много, добыча большая. У каждого – добра прибыло вдвое». Обычно такой расклад костей выпадал удачливым ворам-барымтачам.

Двигаясь в дневное время безостановочно, без обеденных трапез, кочевой отряд на седьмой день пути вышел к Чингизу и зацепился за горную гряду на западной стороне хребта.

Именно на этот седьмой день караван Кунанбая догнал Камысбая, Толепберды и Бурахана – троих погонщиков, направленных домой ага-султаном раньше отряда. Абай об этом ничего не знал.

Первым увидел трех верховых, гнавших из лоцины по направлению к дороге большой косяк лошадей, Майбасар, и воскликнул:

– Вижу их! Это наши джигиты!

Три джигита были, как оказалось, перегонщиками табуна Кунанбая, которым он поручил доставить в свой аул лошадей, подаренных ага-султану за то время, которое он пребывал нынешней зимой в Каркаралинске. Все это были крепкие добрые кони – скакуны с крутыми загривками и упитанные яловые кобылицы. Их было около ста голов.

Табун из пятнадцати лошадей, которых гнал Карабас, присоединили к большому косяку.



Кунанбай заехал в середину косяка, к нему поспешили трое перегонщиков, владетель небрежно поздоровался с ними. Чуть задержавшись возле них, что-то им коротко сказав, вернулся назад к отряду.

У Абая закрались кое-какие сомнения, и он осторожно спросил у Карабаса, когда тот оказался в сторонке.

– Ага, что это за лошади?

– Е! Разве ты не знаешь? Это же добыча твоего отца!

– Какая добыча? Откуда?

– Ойбай, да ты же еще совсем ребенок! Ничего не смыслишь...

Разве мало людей ходит под его властью? А сколько их приезжало в город, чтобы мырза порешил их дела? Не счесть – днем и ночью валили к нему. И что ты хочешь? Чтобы он не брал за свои услуги мзду? А они что – не должны подносить?

Так объяснил деловитый Карабас. И Абай ничего больше не стал у него спрашивать. Жгучий стыд, сильнейшее смущение охватили его. Он почувствовал, что лицо вдруг вспыхнуло. Никогда он не предполагал, живя с отцом бок о бок, что у того могут быть подобные дела... Эти взрослые... Разве их можно понять... На что только они не способны пойти в своих корыстных целях...

И ему вспомнилась песенка слепого акына Шоже: «лысый вор передаст кривому все, чем народ живет». Какой позор! Стыдно перед Шоже... Слепец все видит, оказывается.

Караван вновь споро двинулся вперед. Абай ехал ровной иноходью. Сегодня должны прибыть в аул старшей жены Кунанбая Кунке, в Карашоки. Сегодня же он увидит всех своих дорогих, милых – сегодня вечером. Но даже это радостное ожидание не могло убрать той тяжести, что легла на душу Абаю. Чем больше раздумывал он о делах человеческих, тем больше пустоты, нелепостей находил в них. Те пятьдесят голов крупного скота, гуртом отогнанного в аул Алшинбая, – тоже были, оказывается, частью добычи черного ворона. Калым... Значит, и калым за невесту отдан из этой добычи.



Невеста, к которой его чуть ли не насильно подталкивали... Завлекали: «Шея как у белого сокола-балобана...» Дильда... Его будущая жена. Что же происходит на этом свете? Все самое чистое, непорочное, светлое в душе непременно должно быть испачкано. Душа должна стать серой, тусклой, угрюмой... Жена, супруга – как хорошо, красиво, свято звучит это слово, – и как хочется им опозлить, принизить само это понятие... супружество. И юного Абая охватила великая обида за себя, за Дильду – нет, не только обида, но и жгучий стыд, и гнев.

Лихоимство – большой грех, судя по Священной книге. Стяжательство несмываемым позором легло на имя знаменитого бия прежних времен, Кенгирбая, лихоимство его осталось в памяти потомков как тяжкий, непростительный грех. Взятки и мзда для сильных мира сего – это ведь кровь безвинных и угнетенных, грех, взятый на душу. Об этом и говорят открыто такие чистые люди, как акыны Барлас и Шоже. Оказывается, и дом Божий – святую мечеть можно построить на деньги, добытые взяточничеством. Мол, храм не рухнет оттого, что возведен на грешные деньги. Лишь бы звучали внутри храма молитвы во славу Аллаха да раздавались священные песнопения имама в навернутой чалме, отправляющего пятничную хутбу. Что с того, если свадебное платье невесты, сосватанной для любимого сына, куплено на средства, добытые взятками? Что за беда, если и очаг молодоженов возведен на эти же средства, и благоденствие очага будет возрастать на том же самом?

Когда вечером караван добрался до Карашоки, Абай не остался в ауле Кунке. В сопровождении одного лишь Жумагула спешно, на ночь глядя, отправился в сторону Жидебая, весь путь проскакал ровной иноходью, ни разу не переходя на шаг.

Когда мимо окон зимника протопали копыта, собаки грохнули бешеным лаем и в темноте на улице раздались голоса, обе матери в доме были на ногах, еще не ложились спать. Они провели весь день в смутном ожидании какого-то важного известия или дорогого гостя – поэтому и за ужин еще не садились.



В дом шагнул и, стоя у порога, незнакомым голосом произнес салею юноша-подросток с опаленным на морозе темным лицом. В толстом дорожном одеянии, заметно подросший, с уверенной поступью, вначале Абай был воспринят как важный гость-гонец, но вскоре был признан домочадцами – и раздались радостные крики:

– Абай!

– Абайжан!

– Родной мой!

– Ягненочек мой! Абайжан, миленький!

Радостным возгласам не было конца. Ликование было всеобщее.

Все домашние оказались живы-здоровы! Бабушка и мать в полном здравии! Обе они, по очереди, от души расцеловывали Абая. И братишка Оспан подскочил. От радости он кричал что-то невнятное и припрыгивал на месте. Хлопая себя по худым мальчишеским ляжкам, стал носиться по комнате вокруг взрослых, резвясь и играя.

– Выкладывай гостинцы свои! А ну, скорее гостинцы показывай! – завопил он и повис на Абая, мешая ему приветствовать Габитхана с Такежаном. Балованный мальчишка не отставал, лез к брату рукой за пазуху, обшаривал карманы, непрерывно вереща:

– Ну, где? Ну, скорее давай!

По приезде Абай три-четыре дня не покидал дома, никуда не выезжал, не ходил гулять. Он избегал встреч с отцом. «В Карашоке намечается большой сход. Аул Кунке заполнили гости. Едут со всех сторон поприветствовать мырзу. Людей там не счесть» – такие слухи ежедневно доходили из Карашоки до Жидебая. Отсюда в аул Кунке поехал только один человек – старший брат Абая, Такежан.

– Говорят, кони пригнаны отборные! Опять Кудайберды захватит самых лучших! – говорил он, не по-братски ревнуя и завидуя Кудайберды, сыну старшей матери, Кунке. – Не-ет, я не



дам этому Кудайберды отобрать всех лучших! Я их сам отберу! И пригоню сюда. Уж я постараюсь, не просмотрю! – и с этими словами Такежан спешно ускакал в сторону Карашоқы. С тех пор еще и не возвращался.

Абай же все эти дни рассказывал матерям и Габитхану обо всем, что увидел, услышал и пережил в Каркаралы. Иногда приходила послушать красавица Айгыз, токал отца.

Рассказал Абай и о состоявшемся примирении Кунанбая с Божеем, но о решении биев, по которому должен будет передан ребенок, он умолчал. Это было свыше его сил, Абай и сам не мог справиться со своей душевной болью. И ему не хотелось враз омрачить великую радость матерей, двух его самых любимых женщин на этом свете. Пусть отец, принимавший жестокие решения, сам предстанет перед ними и объявит свою злую волю. Как он это сделает, Абай не знал, но пусть вся сила гнева и возмущения падет на голову Кунанбая сразу на месте, в ту же минуту, а не будет ослаблена – горем и слезами заранее оповещенных матерей.

В день прибытия в Жидебай он предупредил Жумагула, чтобы тот не сообщал никому о передаче ребенка: «Пусть в этом ауле пока ничего не знают».

Через неделю пришла весть: «И Божей возвратился».

Накануне этого дня Кунанбай присылал в Жидебай расторопного Карабаса с наказами для хозяек Большого дома. Тот прямо с порога без промедления и изложил их:

– Мырза отдает салем, на днях он здесь будет, с ним приедет много народу. Он решил, что замирение с Божеем надо проводить тут, под шанраком Большого дома. Приедут и Божей, и Байсал, и другие. Еще передал, чтобы встретили, как подобает.

Эта весть не встревожила Улжан. Вместе с Айгыз они за два дня все подготовили. Развязав большие тюки, достали из хранения, разостлали и развесили по домам множество одеял, ковров и гобеленов. Тут были и дорогие узорчатые тускииз – настенные кошмы с праздничным орнаментом, и алаша, яркие шерстяные



ковры без ворса, и многочисленные, разнообразные по шитью и стежке корпе – атласные и шелковые одеяла. Разукрасили дом Зере, гостиный двор, зимник Айгыз – ковры и одеяла сделали их неузнаваемыми. Для грядущего угощения гостей были нажарены горы баурсаков, размещенных в огромных глиняных чашах-астау, опалены и подкопчены бараньи тушки, размочен сушеный овечий сыр курт – и чего только еще, каких яств степных ни приготовили жены ага-султана к приему гостей. Вскрыли несколько курдюков, в которые было зашито отборное сливочное масло, чуть подсоленное, чудесное на вкус, золотисто-янтарного цвета.

И, по полной готовности, на следующий день гости нагрязнули. Вместе с Кунанбаем одновременно прибыли Божей и его люди.

Когда Божей вошел в Большой дом, старая Зере встала с места, пошла ему навстречу. Подняла сухонькие руки, обняла его за голову, притянула и поцеловала в лицо. Заплакала и запричитала:

– Ой, карагым, солнышко мое ясное! Не остыл, не охладел к нам, не ожесточился ли, отдалившись от нас? Ты же всегда был мне за сына родного, а я разве не матерью была для тебя, Божей, айналайын?

– О, святая наша мать!

– Мать, старенькая наша! Живи долго! – растроганно восклицали Байдалы, Суюндик и другие, подходя и приветствуя ее.

Божей был искренне тронут. Обняв хрупкую Зере за плечи, осторожно прижимая ее к себе, подвел к тору и усадил, придерживая за руку. Потом присел рядом.

Установилось непродолжительное молчание, после чего Божей поднял глаза и увидел сыновей Кунанбая. Абай сидел рядом с Зере, чуть пониже. Божей первым подозвал Абая, понюхал лоб, родительски обоняя запах его лица. Затем подозвал Оспана и Смагула, расцеловал мальчишек в щеки. Так Божей выражал перед старой Зере свои возвращенные родственные чувства.



Божей всегда с большим почтением относился к этому очагу, хозяйками которого были старая Зере и Улжан. Большой дом он считал не только домом Кунанбая, но и видел в нем общий родовой очаг, приветливый ко всем одинаково, безупречно добропорядочный, щедрый в отношении своих родичей.

После того как Божей и его люди расселись в комнате, в дом вошел Кунанбай со своими людьми. При нем были Каратай, Майбасар, Кулыншак и другие.

Абаю было неловко, тяжело смотреть на отца, сидевшего лицом к лицу с Божеем. Боясь выдать свои чувства, юноша опустил глаза, потупился. Воспользовавшись тем, что надо уступить место старшим, он отошел в сторону и незаметно для всех совсем вышел из дома.

И ни на этот вечер, ни на следующее утро он не заходил в комнату, где его отец разговаривал с людьми. Он посылал кого-нибудь к матери, чтобы она через него передала, как идут дела. И Улжан отвечала: Божей и Кунанбай неразговорчивы, в общении между собой сдержанны. Взаимно вежливы.

В день отъезда Божея было объявлено решение, к которому они пришли. И Абай услышал о том немислимом, ужасном, о чем он узнал еще в Каркаралинске. Был назван ребенок Кунанбая, который отправится в дом Божея.

У себя, ничком на полу, лежала и в рыданиях билась Айгыз. Деловитый Карабас, забрав из материнских рук нарядно разодетую девочку, принес ее в Большой дом. Сверкая черными, яркими глазками, с беленьким чистым личиком, малышка Камшат, ничего не понимая, радостно лепетала, глядя на взрослых:

– Ата... ата! Ага... ага! – и тянулась ко всем маленькими пухлыми ручонками.

Не в силах видеть все это, Улжан вышла из дома. На своей постели лежала, скорчившись, и чуть слышно постанывала, всхлипывала старая Зере. Словно лютым мертвящим холодом повеяло на Абая от взрослых людей, и он, не желая быть вместе с ними, выбежал вон из дома.



Кунанбай, словно прицеливаясь, чтобы выстрелить, щурил свой глаз и направлял его на тех, что стояли с расстроенными, опечаленными лицами. Согласно решению третейского суда, его ребенок должен быть отдан в возмещение нанесенных убытков – и он забирал у Айгыз маленькую дочь и передавал ее в чужие руки. Весь вид его говорил, что он считает такую цену справедливой – и с угрозой смотрел на тех, кто мог быть с ним не согласен.

По-прежнему не понимавшая, что вокруг происходит что-то страшное, крошка Камшат все так же лепетала «Ата... Ага...», все так же тянулась ручонками к взрослым. Но когда один из них с решительным видом взял ее на руки и понес из дома, она что-то такое почувствовала, испугалась и залилась слезами, тоненьким голосом закричала:

– Апа!.. Апа-а-а!.. Аже!.. Аже! – призывая на помощь мать и свою любимую бабушку.

Охваченный безмерно нарастающим в сердце темным страхом, маленький ребенок вдруг пронзительно вскрикнул, словно наступил босой ножкой на горячий уголек.

И эти крики, и жалобные призывы малышки были долго слышны в тишине зимнего дня, пока Божей и его люди выезжали за пределы аула. Постепенно плач и крики ребенка затихли, – словно безнадежные призывы гибнущего в огне пожара или тонущего в воде быстротекущей широкой реки.

В ДЕБРЯХ

1

Вернувшись из Каркаралинска, Абай долгое время не садился в седло, никуда из аула не выезжал. Почти всегда находился дома, предпочитая быть рядом с обеими своими матерями. До самой весны не покидал Жидебай, с головою погружившись в чтение привезенных книг. Оказалось, что он кое-что растерял из того, что приобрел в медресе, забыл немало слов из арабского и фарси. В первую неделю по возвращении домой он, попросив у Габитхана комментарии к Корану, освежил в памяти ранее усвоенное. Потом, как-то незаметно для себя, Абай втянулся в умственную работу, обложился книгами, и у него началось истинно запойное чтение. Читал днем и ночью, не выходя из дома. Каждая толстенная книга, попадавшая ему в руки, на долгое время становилась для него добрым товарищем и задушевым другом.

Молодой мулла Габитхан тоже был изрядный книголюб. Среди его личных книг Абай нашел много для себя интересного и полезного. Прежде всего это были образцы высокой поэзии – Низами, Фирдоуси, Навои, Физули, Бабура, затем книги занимательных рассказов, сказок, повестей – хикая. И «Тысяча и одна ночь», и «Джамшид», «История Табари», «Юсуп и Зулейка», «Лейла и Меджнун», «Кер-Оглы», «Сейтбатал Гази». Абай читал все это с упоением, не отрывая глаз от страницы. У него вскоре завелось обыкновение – пересказывать вслух содержание некоторых прочитанных вещей домочадцам, вечером после чаепития, когда все сидели в ожидании ужина. Делать это надумила Абая его бабушка Зере.



Глядя на то, как внук не расстается с книгой, старушка сказала в один из вечеров:

– Светик мой ясный, какой ты у меня умненький! Другие байские сынки бегают, мотают пустыми головами на плечах, сыты, одеты-обуты, ну и ладно, и довольны – ничего им больше не надо. На что им умная книга? Зачем им грамота, умение сводить на бумагу песни и сказки? Ты, сынок, не похож на этих байских отпрысков, ну и оставайся всегда таким. Дружи лучше с говорящей книгой, а с этих пустобрехов пример не бери.

Гордясь, радуясь тому, что его старенькая неграмотная бабушка столь высоко ценит книги, он вечерами начал пересказывать ей из прочитанного. И сразу же вокруг них стало собираться много слушателей. Рассказы и сказки слушали обе матери, чабаны и овечьи доярки, скотники, их дети – внимали с необычайным интересом, самозабвенно. Иногда приходила посидеть с ними вечерок Айгыз, несчастная мать. После того как у нее забрали Камшат, она неузнаваемо изменилась, похудела, сникла, стала молчаливой. Большие карие глаза потускнели, в них угас обычный веселый огонек; красивое лицо ее осунулось и поблекло, на висках выступили голубые прожилки. Вид у нее был, как у матери в трауре, которая тоскует по умершему ребенку. Абай всей душою сочувствовал ей, братски жалел ее, и когда она приходила вечерами послушать сказки, он старался выбрать что-нибудь особенно интересное и рассказывал с большим воодушевлением.

Так Абай, незаметно втягиваясь, исподволь обретал мастерство рассказчика и совершенствовал его изо дня в день. Богатству и красноречивости его сказового языка дивился сам Габитхан-мулла, прекрасно знавший содержание книг, пересказываемых Абаем. И образованный молодой татарин сидел где-нибудь в сторонке и, удивленно потупившись, с видимым удовольствием слушал пересказы своего юного друга и ученика.

Но вскоре, к всеобщему огорчению, все книги Абаем были прочтены и пересказаны. И как раз подошло время весны, на-



стали дни окота овец. Теперь домашняя прислуга, чабаны и скотницы, их дети уже не могли собираться по вечерам, ожидая от Абая новых устных рассказов, и поэтому они принялись сами пересказывать друг другу, как могли, услышанные от него сказки и волшебные истории. Однако скотницы и малые дети, как ни старались, не могли сравниться с Абаем-рассказчиком – половину упускали, другую половину привирали. И как-то раз Улжан, с улыбкой послушав увлеченных последователей и подражателей своего сына, шутливо заметила:

– Однако зима уже прошла. И окот скоро заканчивается. Недалеко лето, а вы все рассказываете сказки. Смотрите! Как бы из-за вас зима не затянулась, – и весна забудет прийти!.. Пожалуй, хватит сказок! – Так Улжан пыталась приостановить рвение домашних мастеров слова, топорно переиначивающих рассказы ее сына.

Но, оставаясь дома в узком кругу, матери просили Абая, чтобы он пересказал отдельные сказки, хикая из наиболее понравившихся им.

Габитхан-мулла и Абай подобрали кое-какие книги у местных доморожденных мулл и потомственных суфиев, у аульных старцев-книжников. К тому же усердный татарин не поленился съездить в дальний аул Кунке, старшей жены ага-султана, и привез оттуда две туго набитых книгами переметных сумы.

С этими книгами была история такова. Через муллу Хасена и некоторых других образованных людей Каркаралинска Кунанбай собрал для себя немало интересных, ценных книг, полагая читать их на досуге. Книги были доставлены в дом его старшей жены Кунке. Зная об этом, Абай попросил у отца разрешения взять книги на прочтение. Но неожиданно получил отказ:

– Нет, ты лучше садись рядом и почитай вслух, а я послушаю. По-другому ты не получишь их в руки. Тебе хотелось бы унести книги и одному, без меня, получить от них все интересное и полезное. Так, сынок? Но этому не бывать. Будешь читать мне, когда я скажу...



Абай смолчал. Не желавший лишний раз общаться с отцом, сын предпочел без слов отказаться от его предложения. Но мулла Габитхан нашел способ, как подобраться к этим книгам. Он два дня кряду уговаривал Кунанбая дать ему на просмотр эти книги – и вскоре они были у него, к вящей радости Абая и домочадцев Большого дома.

Но сразу приступить к чтению этих книг ему не удалось. На другой же день, как они были доставлены, отец вызвал его, и Абаю пришлось срочно поехать в Карашоки.

Прямо из аула Кунке он был отправлен с поручением в аул Кулыншака. Выйдя из дома, у входа Абай встретился с расторопным атшабаром отца, Карабасом. Тот был назначен сопровождать Абая в поездке.

Аул Кулыншака находился не очень далеко от зимнего стана Карашоки – всего лишь по другую, западную, сторону горы Карашоки. Зимовье Кулыншака, принадлежавшее роду Торгай, примыкало к зимнику покойного Кодара. Хозяин очага, Кулыншак, был одним из самых крепких, весомых людей в роду Торгай.

Дорога бежала вокруг подножия Карашоки, иногда невысоко взбираясь по склону. Саврасый конь Аймандай шел своей обычной ровной иноходью, на свободных поводьях, как он любил, сам уверенно выбирал путь, и Абай мог ехать спокойно, порой глубоко уходя в свои думы.

Это были не думы – скорее, грезы, незаметно сливавшиеся в едином потоке с теплым воздухом и настроем весны.

«О, склоны Чингиза уже успели покрыться новой травой!»

Еще невысокий приземленный молодой ковыль светло-серого цвета сплошь покрывал все видимое пространство степи, и подножие горы, и его склоны – серебристый, чуть в прозелень, свежий ковровый покров. Вид земли был радостен, чист, хотя небо затянуто серой пасмурной пеленой.

«И почему здесь никогда не затихает холодный ветер? Может, поэтому и тучи серые всегда стоят над горой?» – мысленно строил Абай догадки.



Последние два-три дня пасмурная погода не сменяется в округе Карашоки. К тому же, словно ледяное дыхание уходящей зимы, порою налетал пронизывающий холодный ветер.

Словно угадав, о чем думает Абай, деловитый и бодрый Карабас, – на этот раз неузнаваемо задумчивый, спокойный, ясноглазый, – произнес негромко:

– Месяц сауыр только начинается. Поэтому и облака, и ветер, и холода.

Высказав это, Карабас стал предсказывать погоду на ближайшее время. Пообещал, что холод продлится. И Абай вспомнил, как этот ясноглазый атшабар отца зимою удивлял всех точным предсказанием того, когда выпадет снег, когда ждать бурана.

– Почему? Сауыр ведь не зимний месяц. Считается весна. Неужели каждый год в эту пору бывает так холодно?

– Каждый год, точно! Как называется месяц сауыр в новом календаре?

– Апрель.

– Ну, апрель так апрель. Предки же наши всегда говорили: пока не наступит месяц сауыр, тепла не жди. Это означало: пока не пройдут холода, присущие началу апреля, доброй погоды не жди.

И дальше Карабас начал перечислять месяцы по-арабски и по-казахски, давать им толкования. Здесь атшабар отца проявил немалую осведомленность, удивив Абая... Апрель – по-казахски *кокек*, далее май – *мамыр*, июнь – *маусым*... Переспрашивая, повторяя про себя названия месяцев по-казахски, Абай хотел запомнить их.

Сказанное Карабасом – про постоянные холода апреля – явилось для Абая неожиданностью. От бабушки Зере он слышал другое. Она самую студеную и неуютную пору весны называла «*отамалы*» и определяла ее календарным мартом. В этот месяц сбрасывается на степь вся нерастроченная злоба зимы. То оттепель наступит, то мороз ее сменит. Холодный дождь – и тут же, вдруг, настоящая зимняя пурга...



– Все-таки, что означает «отамалы»? И откуда такое слово?

– Ты и об этом, жаным, слышал? «Отамалы» считается от 11 марта по 17 апреля. Почти всегда в эти дни налетает сильный ветер, поднимается буран. Неделя эта самая скверная во всю весну. А названа эта неделя по имени одного человека. Это был байский чабан Отамалы. Бедняк, безлошадник, он имел дар по всяким природным приметам, по виду звезд в небе предугадывать погоду. Однажды чабан предугадал наступление сильных холодов и решил предупредить хозяина: «Не надо выгонять овец на выпасы, как бы не попасть в буран. Скотина еле выкарабкалась после тяжелой зимы, сильно ослабла, – можно потерять все нажитое». Но бай оказался дурным человеком, был богопротивным, злым – он избил Отамалы и заставил его гнать отару в степь. «Ты обленился, собака, потому и брешешь зря», – кричал хозяин на чабана. И в тот день – не дай Аллах еще раз пережить такое! – внезапно начался невиданной силы буран, который бушевал три дня и три ночи. Скотина, гонимая ураганным ветром, беспорядочно бежала по снежной степи, словно старалась бегством спастись от своей гибели. Овцы ушли по ветру и погибли все. Вместе с овцами, стараясь не отстать от них, ушел в снежную смерть и чабан Отамалы. С тех пор апрельские холода и называют его именем – «отамалы». Твоя бабушка, мудрая женщина, все знает, и она, наверно, слышала эту историю про несчастного чабана, но месяц, когда это произошло, ей сообщили неверно.

Далее Абай спрашивал, проезжая бок о бок с Карабасом по ровной, спокойной дороге, что такое *айдын тогамы* (трехдневное затмение Плеяд луною), какое значение в природе имеет *Олиара*, период полного безлунья между месяцами, и что по смыслу означает название сентября – *кыркуйек*? И на свои вопросы юноша получил от деловитого и расторопного Карабаса весьма интересные ответы. Пораженный такой глубокой осведомленностью в небесных знаниях простого атшабара, Абай



стал спрашивать у джигита об ученых звездочетах, о тех, кто может гадать по звездам.

– А вы сами, ага, можете предсказывать по звездам?

Абай заранее, с душевным восторгом, предположил, что сейчас услышит удивительные признания Карабаса в том, что он сведущ в ремесле звездочета. Но услышал вовсе другое. Коротко рассмеявшись, Карабас ответил:

– Святые ходжи и муллы говорят: «Если душа чиста, можешь считать звезды». Быть звездочетом неплохо, конечно, но для этого, как видишь, нужно иметь мало грехов на душе и обладать кое-какими талантами. Куда мне, карагым, до этого – уж останусь таким, какой есть. А что до настоящих звездочетов – бывают годы, когда их предсказания сбываются точка в точку. Так поговаривают, мой дорогой.

Вскоре они, оставив позади себя немалое расстояние, подъехали к заброшенному, разоренному зимнику Кодара. При виде его темная, жгучая печаль охватила Абая. Оба спутника свернули к мазару несчастных мучеников и, стоя над могилами Кодара и Камки, тихо помолились. Затем, с поникшими головами, продолжили путь.

Страшные картины прошлого неотвратимо всплывали перед глазами Абая. Как будто все это произошло сегодня утром. Вспомнил он и про свои мучительные, страшные слезы скорби того дня...

Аул Кулыншака все еще оставался на зимовье. Обычно с наступлением первых теплых дней кочевники ставили рядом с душевными зимниками легкие войлочные юрты и переходили туда, на свежий воздух. Аул Кунанбая в Карашоки давно перебрался в юрты, но у Кулыншака бытование все еще оставалось по-зимнему.

Старый Кулыншак не мог не видеть в нем еще зеленого юнца, но поскольку его послал сам Кунанбай, встретил Абая с подобающим уважением, как должно встречать взрослого гостя-посланца. После того как прибывшие поздоровались и сели, хозяин кликнул жену:



– Эй! Поживее, баба! Ставь на огонь казан нашему гостю!

У старика было пятеро сыновей, которых в народе называли «пять удалцов». Дома сейчас находился один из них, Манас, огромный, широкоплечий – истинно батыр. С мощным бычьим лбом, но с глазами живыми, быстрыми, с лицом приветливым и открытым – Манас на самом-то деле не был сыном Кулыншака. Джигит был его внук, которого дед усыновил и стал называть пятым сыном. Он сидел молча в сторонке, тихонько потренькивая на домбре, и время от времени окидывал гостей испытующим взглядом.

В доме был наготове чай, и пока байбише заботилась с мясом, сноха ее, жена Манаса, расстелив дастархан, принялась разливать гостям чай. Это была молодка с худощавым, стройным телом, с движениями сильными и ловкими, с виду очень опрятная, подтянутая. Волосы на висках ее были плотно приглажены, уходили под платок гладкой прической, заметно было, что они чисто вымыты. Не произносившая ни слова, эта молодая женщина, однако, лишь одним своим присутствием наполняла дом чувством бодрой свежести и духом теплого домашнего уюта.

Невольно заглядевшись на нее, следя за нею, когда она входила и выходила из дома, Абай начал свой представительский разговор.

– Уважаемый аксакал! – начал он.

Кулыншак, посмотрев на Абая, постукивая ногтем по желтой роговой табакерке, стал ждать; взял двумя пальцами кудрявую зеленоватую щепотку насыбая и отправил в нос.

– Отец просил отдать вам почтительный салем.

– Спасибо, дай Бог и ему здоровья.

– Аксакал! Забота моего отца – это урочище Беткудык. Раньше оно вместе с зимником принадлежало роду Борсак, но недавно перешло во владение нового хозяина, Акберды. И теперь он считает себя не только владельцем зимовья, но и прилегающих к нему пастбищ. В прошлом году вы пользовались ими, а теперь уже скоро наступит лето, и Акберды обратился к отцу



с просьбой. Мол, стоянка удобная, близко от аула Кулыншака, мы понимаем, но неужели Кулыншак собирается пользоваться пастбищами и дальше? Мы сами хотели бы осенью накосить там сена. Может быть, он не будет больше занимать Беткудык, оставит его за мной?

– Е-е, допустим, так говорит Акберды. А что говорит по этому поводу твой отец?

– Отец считает, что слова Акберды вполне уместны. Передавая приветствие вам, отец просил сказать, что было бы хорошо вам больше не занимать Беткудык.

Абай все это высказал вполне уверенно, спокойно, без всякой робости, с достоинством, присущим взрослому посланцу. Кулыншак пока молчал, слегка кивая головой. Затем усмехнулся и молвил вежливо, по-прежнему обращаясь к Абаю как к взрослому:

– Пейте чай! Поближе садитесь! – И он сам придвинулся к дастархану.

Абай стал пить чай и спокойно ждал ответа.

Хозяин молчал; не спеша выпил пару чашек. Но в молчании своем он заметно, на глазах, становился все мрачнее и мрачнее. И, наконец, резко обернувшись к Абаю, сказал:

– Уай, сынок, твой отец, наверное, глубоко проник в дело по Беткудыку. Но коснулся ли он первопричины? Когда-то в урочище располагался Борсак, а потом мы начали их сменять, и по очереди, через раз, косили сено и делили его пополам. Знает ли твой отец об этом?

– Знает, видимо. Но сейчас, аксакал, разговор идет о праве собственности. Вы сами сказали – раньше Борсак являлся владельцем урочища. Несомненно, это была собственность Борсак. И вы договаривались с борсаками и пользовались их землей. А теперь владение на Беткудук перешло к Акберды, и вы точно так же можете договариваться с Акберды. Только при этом должны учитывать, что земля принадлежит ему.



– Е-е! Выходит, что хозяин коня теперь Акберды. Захочет – посадит позади себя, а не захочет – по шапке даст. И хотя ты живешь совсем рядом, считай, на расстоянии вытянутого аркана, но уже подступиться к Беткудыку не смей. Стало быть, выгоняют нас с Беткудыка! – в сердцах высказался Кулыншак и мрачно насупился.

Абай вполне понимал его обиду, и ему не хотелось дальше растравливать Кулыншака. Поначалу, приехав к нему и старательно излагая послание отца, Абай еще не особенно проник в суть дела. Но, увидев, как возмутился и расстроился этот всеми уважаемый в округе человек, Абай осознал, наконец, всю тяжесть и сложность порученного ему дела.

– Аксакал, я только передаю послание отца. Решение за вами.

– И какое решение я могу принять? Если только одно и слышу: Акберды да Акберды! Выходит, Аллах милостив к одному только Акберды! – с едкой усмешкой высказался Кулыншак.

Абай невольно рассмеялся шуточке Кулыншака. Он ведь приехал сюда не с тем, чтобы спорить, настаивать на чем-то. Долг свой посланнический выполнил – тем самым и освободился от него. И почувствовав себя непринужденно, Абай подхватил шутку хозяина и тут же сочинил на ходу:

*Не сберечь от Акберды
Ни земли и ни воды,
Ни луны и ни звезды:
Богом дан нам Акберды!..*

Этой ответной шуткой, да еще и в стихах, да столь быстрой, все сидящие за дастарханом были покорены, раздался дружный хохот.

Абай заметил, что особенно была довольна и громче всех смеялась молодая келин, жена Манаса, которая разливала чай.

¹ Акберды означает «даренный богом».



Раскрасневшись, бросая быстрые веселые взгляды на Абая, она выражала свое нескрываемое восхищение. Ему это было приятно, необычно – внимание красивой взрослой женщины...

И Кулыншак, с довольным видом откинувшись назад, произнес уже совсем другим, добродушным и веселым тоном:

– Е-е, сынок! Ну, до чего же ядрено ты завернул! Приятно послушать такое про жадного Акберды! Хорошо бы, если он сам послушал.

После этого, больше уже не возвращаясь к разговору про Беткудык, хозяин вдруг заговорил о маленькой Камшат:

– Скажи, свет мой ясный, как поживает у чужих людей тот маленький ребенок, которого отдали Божею? Слышал я, что бедная Айгыз не просыхает от слез, как она там? – Кулыншак далее расспрашивал и про Зере, и об Улжан, и об остальных домочадцах Большой юрты Кунанбая.

По поводу маленькой Камшат Абай ничего не стал говорить. И тогда Кулыншак, вернувшись к началу разговора, добавил:

– Сторона Божея, надо думать, недовольна тем, что за все свои потери и обиды не получила настоящего выкупа. Поэтому в доме Божея, слышал я, не простили Кунанбаю, и уход за твоей маленькой сестричкой не очень хорош. Бедная Айгыз знает об этом, оттого и убивается так сильно.

Абаю не очень приятно было, что Кулыншак в разговоре затрагивает обстоятельства, далекие от него, но очень больные для самого Абая. Он решил никак не поддерживать аксакала в таком разговоре и откровенно отмалчивался, потупившись. Но через некоторое время он сумел найти выход из неловкого положения, вдруг спросив у него:

– Аксакал, скажите мне, почему ваших сыновей называют «бескаска» – «пять богатырей»? За какие подвиги?

Умный старик, понимая, что юноша не хочет говорить про неприятные семейные дела, мысленно похвалил его: «Смотри-ка, до чего умен и сдержан. Серьезный малый. И рассудительный такой. Видно, отец достаточно учит его уму-разуму».



– Они сами-то уверены, наверное, что не зря их называют удальцами, батырами. Но какие подвиги за ними – того я не знаю. Думаю, все это пустое – одна болтовня и похвальба. Хочешь – спроси у него самого, – говорил старик, указывая на Манаса. – Спроси, где они сумели показать свою силу, кого победили, кого обидели... А ведь когда Бокенши – Борсак взбунтовались, мол, умрем, а не отдадим Карашоку, достаточно было одного слова твоего отца, чтобы я поднял этих своих удальцов и бросился к нему на помощь, – вдруг снова резко повернул старик разговор к его началу. – Тогда я думал, что и мне достанется какой-нибудь клочок земли с захваченных урочищ. А что же я получил? Мордой об камень получил, вот как это называется.

– Аксакал, но как же быть с тем, что говорят: «Не бери порченное у испорченных, толку будет мало»? Вы забрали у своих – у вас забирают свои же. Разве Бокенши – Борсаки не свои? Разве могло пойти вам на пользу то, что было отнято у своих родичей? Так что не стоит, наверное, вам излишне переживать о потерях.

Кулыншак молча смотрел на него – Абай все больше нравился старику, парень высказывался вполне внятно и рассудительно. Но ему не нравилось то, что говорил Абай. Манаса же и его жену, судя по их глазам, доводы Абая убедили. Аксакал не стал отвечать, но по виду его было понятно, что послание Кунанбая ему сильно не по душе.

Абаю теперь было ясно, что Кулыншак поддерживал его отца только корысти ради, чтобы урвать «клочок какой-нибудь земли» у Бокенши или у Борсак. И глубоко разочарованный, огорченный и за отца, и за уважаемого аксакала, у которых на уме была одна только нажива, Абай покинул аул Кулыншака.

Вернувшись к отцу, Абай доложил ему, что возражений со стороны Кулыншака не было. Но не сказал о том, что аксакал сильно обиделся. Докладывал сын Кунанбаю коротко и сухо.

О поездке Кунанбай спрашивал отдельно и у Карабаса, вызвав его одного. Тот подтвердил все то, что рассказал сын отцу.



От себя Карабас дал очень высокую оценку и посольским речам Абая, и его поступкам.

– Сын ваш, мырза, может разговаривать как взрослый человек. Несмотря на то, что перед ним был сам Кулыншак, парень не оробел и разговаривал с ним как равный с равным, – расхваливал Абая Карабас.

Кунанбай поднял руку, ладонью на шабармана, мол, достаточно, замолчи.

Но на следующий день снова послал сына с поручением, и опять придал ему в спутники Карабаса. На этот раз они были отправлены к баю Суюндику.

В неблизкий аул Суюндика посланцы прибыли уже в поздние сумерки. Лишившись своего зимовья, Суюндик зазимовал в стойбище Туйеоркеш – Верблюжьих Горбы, что в дальнем углу округа Караул. Аул Суюндика, большей частью своих очагов, сейчас бытовал в юртах. Зажиточный аул, имевший довольно большое количество скота, насчитывавший и достаточное число людей, еле уместился в старых зимниках, не успев построить новых. И когда пришло первое тепло, пригрело весеннее солнышко, аул сразу же перешел жить в войлочные юрты.

В большой белой юрте Суюндика было тепло, весь дом заставлен домашним скарбом, перевязанными вьюками, сундуками, горой чем-то набитых мешков. Стены сплошь завешены коврами и узорчатыми войлочными кошмами.

Все еще ходивший в саптама, сапогах с длинными войлочными голенищами, и в теплом бешмете с беличьим подбоем, Абай не должен был замерзнуть в добротном войлочном доме Суюндика. Правда, этой весной ему впервые приходилось ночевать в юрте. Здесь был прохладный, свежий воздух, дышалось полной грудью. Весной, после духоты зимников, первые юрты, поставленные на открывшейся от снега земле, всегда были людям в радость...

Посреди просторного войлочного шатра на низком круглом столике стояла каменная лампа, дававшая тусклый желтый свет.



В полумраке сидели сам бай Суюндик, его байбише, сыновья Адильбек и Асылбек, а также прибывшие гости. Но находилась здесь еще одна душа, чье присутствие озаряло, словно весенним светом, сумрачное кочевническое жилье. Это была дочь хозяина, Тогжан.

Она уже несколько раз заходила и выходила из юрты отца, то и дело поглядывая на Абая. Жила она где-то в соседней юрте. Нежные серебряные звоны шолпы¹ оповещали о приходе Тогжан, словно чудесные голоса невидимых существ, летящих впереди нее с радостной вестью. Все, что было связано с нею, касалось ее, украшало ее, представлялось Абаю неземным – не таким, как все остальное вокруг. Филигранные серьги в ушах, шапочка из куньего меха на головке, многочисленные браслеты, позванивающие на ее тонких запястьях – словно переключаясь с невидимками, прячущимися в шолпах ее длинных гибких кос, – все это казалось Абаю сказочными сокровищами, доставленными из чуждедалных стран. Изогнутые тонкие брови на ясноглазом белом лице будто срисованы с серповидной луны, но внешние кончики их, изгибаясь к вискам, напоминали трепетные остроконечные крылья ласточки. Изящный прямой нос, открытый смелый взгляд длинных, чуть раскосых глаз – облик ее показался Абаю необыкновенным, прекрасным.

Когда она, вмешиваясь в домашние разговоры, смеялась или в легком смущении отвечала на чью-либо шутку, высокие брови ее начинали сходиться и расходиться на сияющем лбу, словно стремительные удары крыльев птицы, возносящейся в небесную высь. И Абай не мог оторваться от ее, то и дело уносящихся к небесам, чарующих глаз, и сам тоже устремлялся вслед за ними в полет – Абай не мог отвести свои глаза от Тогжан.

Девушка радостно и усердно хлопотала по дому, устраивая гостей, отдавала служанкам распоряжения, чтобы те немедленно поставили чай и накрывали дастархан. Когда чай, за совсем короткое время, был готов и подан, она села рядом с отцом,

¹ Шолпы – золотые или серебряные украшения, вплетаемые в косы.



чтобы разливать, вместе с молоком, ароматный чай по чашкам и передавать в руки сидящих за низким круглым столом гостей и хозяев.

Абай, посланник отца, не растерялся и перед баем Суюндиком. И снова юноша разговаривал с ним не как зеленый юнец, но как вполне разумный, зрелый муж.

За чаем, то и дело поглядывая на Тогжан, он стал спрашивать у Суюндика:

– Аксакал, если знаете, то скажите мне: почему называют Караулом гору, возле которой находится ваш стан?

Суюндик отвечал:

– Бог знает, почему, свет мой ясный. Всегда так называли. Видимо, с тех незапамятных времен, когда Тобыкты и Мамай стали устраивать набеги друг на друга. Гора стоит на равнине, в сторонке, с нее далеко видно – и оттуда тобыктинцам можно было вовремя заметить врага... Да, мне думается, название идет с тех самых времен, когда начались междоусобные войны.

– Значит, название горы придумали тобыктинцы? До них, до войн с Мамаем, гора Караул разве так не называлась?

– Думаю, что да. Ведь тобыктинцы дали название всему, что есть в наших краях.

– Этого не может быть! Если Тобыкты давал всему название, то откуда название Чингиз? Разве в родах тобыктинцев был когда-нибудь человек по имени Чингиз?

– А ведь, свет мой ясный, ты прав – и на самом деле! Ни про какого Чингиза среди тобыктинцев слыхано не было. И тогда, спрашивается, откуда это имя? Ведь самую высокую гору называли именем Чингиз!

Молвив это, бай Суюндик задумался, потупив глаза.

То, что отец не нашелся, как отвечать, задело самолюбие его младшего сына, Адильбека. И он решил вступить в спор:

– Я слышал, что слово «Чингиз» объясняется понятием «шын кыс» – настоящая, матерая зима, то есть.

На что Абай лишь вежливо улыбнулся.



– Это могло бы сойти, если не было бы великого хана по имени Чингиз.

– Твоя правда! Слышал я когда-то, что был такой хан, только забыл об этом. Ну-ка, свет мой ясный, расскажи нам, что знаешь о нем! – с неподдельным интересом попросил Суюндик.

Юный гость, по-прежнему то и дело поглядывая на дочь хозяина, пространно рассказал все, что узнал про Чингиз-хана из книг и что услышал из чужих уст. В конце рассказа привел некоторые свои соображения.

– Вся горная гряда недаром называется «Чингиз», а высокий пик на ее вершине – «Хан». И отдельно видимая вершина называется «Орда», то есть ставка хана. Это говорит о том, что здесь, в этих краях, было место ставки Чингиз-хана. И название Караул, наверное, возникло в те времена.

Суюндик слушал Абая с великим вниманием. Даже чай перед ним остался нетронутым, остыл в пиале. Тогжан заметила это и сменила остывший чай горячим. Увидев, какой глубокий интерес вызвал у отца разговор с Абаем, она с уважением и нескрываемым восхищением смотрела на него.

Все остальные, находившиеся в тускло освещенной ночной юрте, также были захвачены интересным для них сообщением Абая, лица их оживились. Второй сын бая, рассудительный Асылбек, и шабарман Карабас были в полном восторге.

– Так! Несомненно, так и было! Вполне допустимо! Очень уместно! – перебивая друг друга, выражали они свое согласие.

Не считая названия главной горы, по которому был назван и весь хребет, толкование Абая давало объяснение и названиям вершины Хан и широкой горы Орда, где зимует племя Мамай. Слушатели юного Абая шумно обсуждали меж собой, словно его и не было рядом, почему люди, живущие в этих краях, не додумались до таких простых истин? Досадное упущение! Лучше надо знать свое прошлое!

Бай Суюндик из своих рук подал чашку чая юному гостю, со словами:



– Откушай чаю, угощайся, Абайжан! – И он придвинул ближе к нему чашки со сладким *жентом*, чаши с баурсаками.

Глаза Тогжан сияли, когда она наблюдала, как старается отец выразить свое благорасположение к Абаю. Эти черные, длинные, чуть с раскосым поставом глаза глядели на него ласково, внимательно, испытующе. Это были глаза родные, не безразличные.

Да и сам юный Абай впервые в своей жизни смотрел столь взволнованно, так открыто и восхищенно на девушку. Тогжан долгую минуту, не отрываясь, тоже смотрела ему в глаза. Потом смутилась и отвела взгляд в сторону, щеки ее нежно покрасовели.

– Не тот мудр, кто много прожил, а тот, кто много познал, – заключил Суюндик. – Как хорошо, сынок, что ты сумел где-то так много услышать и запомнить.

– Да ведь я все это услышал и узнал от таких же мудрых людей, как вы, Суюндик-ага, – смиренно отвечал Абай. – Мне и от вас нужно узнать кое о чем...

– Ну что ж, спрашивай, сынок. Чего тебе хотелось бы услышать от меня?

– Ходит молва, аксакал, что вы как-то решали земельный спор между Кожекбаем и Кулжабаем в Малой Орде, и вроде бы сказали: «Я не буду судить по баранам, а буду судить по божьей правде». Как понимать эти слова, ага? Вот что я хотел спросить, – сказал Абай.

Услышав его, Карабас и сыновья Суюндик-бая, Адильбек и Асылбек, так и покатались со смеху. Было похоже, что все, кроме Абая, знают по этому случаю что-то особенное... Суюндик же несколько смешался, крикнул и стал шарить по карманам, ища табакерку.

– Шырагым, свет мой ясный! Ты расспроси об этом лучше у своего отца, – изрядно задержав с ответом, молвил наконец Суюндик.

– Наш отец не очень-то разговорится с детьми, вы же знаете, Суюндик-ага, – отвечал Абай.



– Но твой отец имеет отношение к этому делу, об этом-то ты знаешь?

Карабас, Асылбек, Адильбек смеются, – им, молодым, забавно, что почтенный бай старается сохранить приличие гостеприимного хозяина и в то же время делает неловкие попытки увильнуть от ответа на вопросы юного гостя. Абай же донимает его как назойливая муха.

– Конечно, знаю, ага.

– Ту-у! Тогда и спрашивал бы у него, мой дорогой! В делах, которые касаются твоего отца, лучше него никто не сможет разобраться. Так что полезнее будет услышать тебе ответ из первых уст, сынок.

– Дельный совет, мудрый совет! Всегда буду следовать ему, аксакал... Но я не об отце – о вас хочу спросить, ага. Правда ли, что при разбирательстве у вас с ним возникли разногласия и даже были споры? После этого ваши отношения охладели?

– Ну, добро. Сразу отвечу тебе: да!

– В таком случае, как вы думаете, аксакал: если о ваших спорах я действительно расспрошу у своего отца, а ваши сыновья, которых я считаю своими старшими братьями, всё узнают от вас, – как мы, ваши дети, сможем узнать, где истина? Ведь каждый будет настаивать на своей правоте. Не лучше ли будет, если обо всем вы расскажете мне, а ваши сыновья услышат от моего отца? Тогда чаши весов уравновесятся. Как вы считаете, ага?

Сам бай Суюндик и другие сочли доводы Абая весьма убедительными. Карабас, довольный и веселый, повернулся к хозяину, ткнул пальцем в его колено и сказал:

– Оу! Аксакал! А мальчик-то прав? – тем самым подвигая Суюндика на откровенность.

– Жа! Обложил ты меня со всех сторон, парень, деваться некуда. – И, улыбаясь, поглядывая на своего старшего сына Асылбека, все еще окончательно не решаясь пускаться на откровенность, бай продолжал: – Е, ребятки мои, не знаю, как вам,



но мне молодой гость нравится. – Суюндик, видимо, и на самом деле склонялся к тому, чтобы рассказывать.

Чаепитие закончилось, однако Тогжан еще не распорядилась убирать чашки, она с неясной улыбкой на лице слушала разговор мужчин. Улыбка эта предназначалась, видимо, Абаю, на которого она смотрела уже как на близкого, родного человека.

Абай подвел разговор к тому, к чему и хотелось ему подвести:

– Суюндик-ага, вы сами расскажите, почему отношения между вами и моим отцом испортились. Ваше объяснение для меня важнее...

– Ну что ж, расскажу, если ты просишь. Это и правильно, отныне сам будешь знать... Так слушай же. Твой отец близко сошелся с Жамантаем из рода Мамай. Настолько близко, что стал его названным зятем. За это, как и положено, названный зять получил от названных сватов подарок в двести голов овец.

– Названный зять? Как это?

– А очень просто. Это не настоящий зять, а что-то вроде побратима – *тамыра*.

– Тогда почему тамыром его и не называть?

– Тамырами могут стать сверстники, но если человек, годами моложе, захочет стать побратимом старшего по возрасту, то, по обычаю нашим, он может быть только *окил куйеу* – названным зятем.

– Понятно. Ну и что было дальше?

– Однажды, не так уж и давно, возникла земельная распря между Кожекбаем, сыном Жамантая, названного свата твоего отца, и неким его бедным родственником Кулжабаем. Тяжбу их мырза Кунанбай поручил разрешить мне. «Назначаю тебя судьей», – сказал он и поехал на суд вместе со мною. Я выслушал обе стороны, разобрался во всем и прямо на меже совершил справедливый раздел земли, указал каждому его долю. Все было закончено, поехали домой, я был доволен, что удалось найти самое правильное решение. Но вдруг замечаю, что Кожекбай,



сын Жамантая, как раз-то и не очень доволен. Поехали назад – так замечаю по его лицу, что не по душе ему мое решение. Весь так и надулся, того и гляди – лопнет! Приотстал вместе с мырзой – и давай ему что-то бормотать в ухо, наклонившись с коня. Видимо, достаточно набормотал, убедил мырзу – твой отец сзади вдруг как рявкнет на меня: «Эй ты, прокаженный! Почему так несправедливо судил?» Как можно было так говорить мне? Я разве не бий, призванный судить справедливо? Тогда и ответил я ему: «Мырза, я судил не по баранам, которых ты заполучил, а я судил по божьей правде».

Рассказав это, бай Суюндик умолк и надолго задумался.

– Ну, и что было дальше? – спросил Абай, ожидавший продолжения рассказа.

– Дальше? А зачем тебе это знать? Ничего хорошего дальше не было. Была грызня, был шум большой, было что-то нехорошее. Тебе не надо этого знать, голубчик. – Досадливо махнув рукой, Суюндик прекратил свой рассказ.

Абай, покраснев от какого-то горячего внезапного стыда, молча остался сидеть, чуть потупившись. Взор его был обращен на свет масляной лампы, в черных зрачках его пламенели красноватые огоньки, казавшиеся не маленькими, но отдаленными огнями ночных костров. Тогжан теперь могла смотреть на ушедшего в себя Абая, без опасения выглядеть чрезмерно любопытной и назойливой.

В доме Суюндика нашелся один человек, который остался доволен, что бойкого Абая срезали и ввели в смущение – этим человеком был младший сын бая, джигит Адильбек. Он совсем не походил на своего рассудительного, спокойного брата Асылбека. Дерзкий, резкий, грубоватый и своевольный, Адильбек невзлюбил слишком умничавшего, по его мнению, Абая. Теперь, видя его подавленным и растерянным, злорадно ликовал про себя: «Ты этого хотел? Так будь доволен, получи!»

Но смущение Абая вскоре прошло. Живость и доброжелательность быстро вернулись к нему, и он стал расспрашивать хозяина



о другом событии. Оно касалось еще одного – стихотворного – высказывания Суюндика, которое стало широко известным в степи. Стихи эти были произнесены в то время, когда справлялся ас – годовая тризна по Оскенбаю, отцу Кунанбая. Бай Суюндик согласился рассказать и об этом случае.

– Мырза, твой отец, дал оповещение на весь Кокшетауский край, пригласил на годовую ас несметное число гостей. Подобной тризны никогда до этого не было в Тобыкты – и не будет больше. Тебе приходилось, наверное, слышать об этом?

– Да, я слышал. И вы тоже ездили туда?

– Нет, как раз в то время я и был в разладе с твоим отцом. Не поехал я. Хотя ездили все: и весь род Айдос, и Жигитек. Никого не оставалось дома в родах Мамай и Жуантаяк. Поднялись и двинули коней на Кокшетау все наши роды и племена, устроили там небывалый поминальный той, конные состязания. И вот там, на поминках, поссорились Божей с Майбасаром. Майбасар – старшина всего Тобыкты. Попросили обратиться к нему Божей, от имени рода Найман, где были его нагаши. Найманы жаловались, что скотокрады-барымтачи из рода Жуантаяк угнали у них большое поголовье лошадей и забили на мясо. Гонец из края Найман прибыл прямо на тот ас и просил у родственника Божей защиты и помощи. Божей тут же обратился к Майбасару: «Образумь жуантаяков. Верни найманам скот». На что Майбасар лишь пренебрежительно фыркнул: «Что ты там бормочешь?» Этим он смертельно задел Божей. «Если ты настолько пренебрегаешь мною, так почему я – в угоду тебе – должен находиться здесь?» – возмутился он. Кош! Кош! Божей тут же уехал с поминок. За ним покинули ас люди из родов Жигитек, Байшора, Жуантаяк. И вот по этому случаю я, находясь у себя дома, отозвался стихом.

– И что вы сочинили тогда? Хотелось бы послушать.

– Если есть желание, слушай.

Каждой твари по паре, един только Бог.

Мать и отец – святыни для нас, словно Мекка.



*Но если в ас сразу сорок злодейств перешли твой порог,
Оскенбай, – нет несчастней тебя человека¹.*

– Так высказался я. И люди, слышавшие меня, запомнили эти стихи.

Абай внимательно выслушал и рассказ, и стихи Суюндика; и ему стало ясно, что должен воспоследовать еще один вопрос. И он задал его:

– Вы сказали, что «сорок злодейств перешли твой порог, Оскенбай»... Это что – дела, совершенные моим дедом Оскенбаем или кем-то другим?

– Абайжан, голубчик, ты вынуждаешь меня говорить то, чего не должно мне говорить... В стихах речь идет не о злодействах Оскенбая, конечно. Подразумевается, опять-таки, твой отец. Ойбай, зачем я все это говорю! Ведь назавтра ты, принудивший Суекена все рассказать, можешь опять поссорить меня со своим отцом. – Сказав это, Суюндик устало улыбнулся.

– Что вы, Суюндик-ага! Я спрашиваю не для того, чтобы потом ходить и наушничать. Я хочу узнать правду, какая бы она ни была.

– Верю тебе, сынок. Ну, так слушай. «Сорок злодейств» – это о расправе над сорока очагами рода Уак у подножия горы Кокен. В том году произошли внутренние распри в роду, как это обычно бывает у нас, и некто Конай-батыр разыгрался, разинул пасть на бедных уаков аула Кокен, а мырза Кунанбай принял сторону сильного Коная. Но уаки стойко противились, приговору мырзы не подчинились, и тогда он натравил батыра Коная совершить набег на аул Кокен. Нападение было внезапным, и жители аула сорока очагов, не успевшие подготовиться к защите, спаслись бегством и попрятались в густые заросли камыша, стеной стоявшего вокруг озера...

Тут бай Суюндик умолк. Сидел, опустив глаза, потом закончил рассказ:

¹ Перевод А. Кима.



– Кунекен советует Конаю поджечь камыш. Когда люди, в страхе перед огненной гибелью, выбегают из камыша, их преследуют и безжалостно избивают... Так мырза Кунанбай помог Конай-батыру победить сорок очагов аула Кокен. Я имел в виду это событие, когда сочинял стихи.

Абай больше ни о чем не расспрашивал хозяина. Вскоре сварилось мясо, и люди приступили к еде. В этом доме Абая не воспринимали как чужого, которого надо с почетом угощать отдельно – его и Карабаса усадили в дружный семейный круг, вместе с детьми Суюндика и его байбише. Тогжан, сидевшая между матерью и отцом, оказалась теперь еще ближе к Абаяу, который был по правую руку от хозяина. Теперь Абай мог видеть ее чуть сбоку.

Ровная линия прямого тонкого носа обвораживала его, не замечал он ни у кого из девушек такой чистоты и прелести лица. Округлый розовый светящийся подбородок выглядел как бочок яблока, освещенного луной. Оттененная черной косою, белела стройная, нежная шея.

До этого оживленная, веселая, порхающая, теперь Тогжан вдруг вся переменялась и, поникнув в изящном полуобороте к Абаяу, предстала перед ним взволнованной и робкой, застенчивой и скромной. Что это с ней? Все в девушке преобразилось, задышало по-другому, стало таинственным и необъяснимым. Почему она, такая красивая, любимая всеми, всеми ласкаемая – вдруг поникла и побледнела, а то и вскинула голову, сильно покраснела?

Дом Суюндика славился своим гостеприимством и обильным, богатым столом. Здесь всегда угощали самым вкусным и изысканным. И сегодня мясо было приготовлено отменное. Острый ножичек расторопного Карабаса так и летал над большим блюдом, легко, словно в мягкое масло, входя в казы и распластывая на кусочки колбаску жирного жая. Деловитый ножичек мясодара Каратая крушил, кромсал, нарезая на тонкие лепестки глыбы вареного свежего мяса, вяленого мяса, кольцо толстой



конской колбасы из чистейшего брюшного сала, называемой *уилдирикти*. Уничтожению подлежал сочный кус – субе жирного барана, на убой откормленного зимою в хлеву, зарезанного совсем недавно. Для особенного, обогащенного мясного вкуса тушу баранью опалили на огне и основательно прокоптили.

Еда была приготовлена на славу, гости и хозяева с усердием приступили к великолепной трапезе. И только двое, Абай и Тогжан, отчего-то не усердствовали, юный гость посматривал на богатый дастархан довольно равнодушно, а беленькая, униженная браслетами нежная ручка байской дочери протягивалась к блюду с мясом весьма редко.

Суюндик и Асылбек с двух сторон усердно потчевали Абая.

– Кушай, голубчик мой!

– Абай, что-то ты мало берешь! Ешь больше!

Но им так и не удалось растормошить на еду юного гостя. После обильных мясных блюд подали прохладный золотистый кумыс, который пили долго, не спеша, с огромным удовольствием, за приятной беседой.

Абай вскоре перестал участвовать в общем разговоре и сидел вялый, с отрешенным видом. Хозяева решили, что молодой гость утомился, и его потянуло ко сну. Было отдано распоряжение устраивать постели, и мужчины покинули юрту.

Этот вечер был для Абая необыкновенным, таких радостных чувств, такого сердечного волнения он еще никогда не испытывал.

Слово «возлюбленная», которое часто повторялось в сказках и рассказах-хикая и которое являлось для него всего лишь красивым определением, вдруг сегодня обрело живую, нежную телесность, предстало стройной фигуркой в белом платье, зазвучало серебристым звоном шолпы, залиvistым девичьим смехом. Возлюбленная, представ перед ним в живом обличье, заявила в полный голос, на весь мир: «Вот я! И та, в сказках, была я! И теперь перед тобой – тоже я! Я вся перед тобой!»



Он вышел под огромное ночное небо, покинув душную полутемную юрту, запрокинул голову, лицом к звездам, и вместе с ними задышал чудесным, прохладным легким воздухом.

Месяц, достигший половинной своей зрелости, медленно плыл с востока на запад. Он поднимался ввысь – и уплывал вдаль, словно звал плыть вместе с собою – обещая избавить сердце человеческое от всех обид и тревог, утешить его, очистить от всякой земной грязи и в безоблачных просторах открыть ему небесное блаженство.

От становища Туйеоркеш зубчатые вершины Чингиза видны лишь наполовину. Погрузившись в густую синюю мглу наступившей ночи, ближние холмы предгорья высятся черными громадами. Со стороны уснувших гор веет таинственный ночной ветерок.

Недалеко от юрты в просторном загоне лежала и беззвучно отдыхала овечья отара, казавшаяся неживой массой в своей неестественной, мертвенной неподвижности. Адильбек, Асылбек и другие разошлись по своим юртам спать. Тундуки на оверсиях юрт были задернуты у всех пяти-шести юрт маленького аула. Под яркой половинной луною белая юрта казалась намного белее, чем при дневном свете.

Суюндик и Карабас ходили возле привязанных коней. В этой свежей весенней ночи Абаю представляется совсем близким наступление утра. Словно не достало времени для глухой долгой ночи. И эта ночь, проникнутая дыханьем и свежестью утра, казалась Абаю предназначенною только для него одного, для его радости...

«Неужели это любовь? Она ли это?» Если и на самом деле любовь, то эта ночь, сразу переходящая в утро, – чудесная лунная ночь и есть колыбель любви. «Я слышу песнь этой любви».

О, удивительная ночь, лунно-молочная, волшебная – *утренняя ночь*, хотя до зари еще далеко! Заря возгорелась в сердце, где было много ранней горечи, и надежды, и боли, и радости.



Вспыхнувшая заря осветила в этом сердце много таившихся там, неведомых доселе, горячих, загадочных, необыкновенных чувств. Они воздушны, полётны, устремлены куда-то вдаль. Они неуловимы, словно взмахи стремительных крыльев, они меняются на лету, и душа томится, не находя покоя.

«Что это за чувства? О, что происходит со мной? Я потерял покой, спокойствие мое мне изменило!»

По телу прошла какая-то дрожь, словно от озноба. Но ведь ему не зябко – сердце буйно колотится, жар сердца греет его. Там, в сердце, и рождается рассвет.

«Заря... Заря на сердце. Это ты, мое чудесное озарение? Ты ли это, свет души моей? Ты пришла? О, кто ты?»

Белая, тонкая рука Тогжан. Ее светлая, стройная, шелковисто-нежная шея... И эта утренняя заря в ночи... Это она, Тогжан!

...Ты встаешь в моем сердце, рассвет любви!

Это была начальная строка песни, рожденной душой в этот миг. Песни, посвященной Тогжан, девушке, которую он – впервые в жизни! – радостно назвал любимой.

Желая запомнить, Абай повторил про себя несколько строк своего первого любовного послания. Они пришли легко, сами собою, излившись из вдохновенного чувства. Он хотел продолжить, но тут его окликнул Карабас. Оказалось, что вокруг на подворье никого, кроме них, уже не осталось. Направляясь вместе с атшабаром к юрте, Абай хотел еще раз прочитать про себя стихотворение, но ничего, кроме первой строки, не осталось в памяти. Так и шел он, повторяя: «Ты встаешь в моем сердце, рассвет любви!»

Когда Абай и Карабас вошли в юрту, Суюндик и его байбише уже возлегли на свое высокое супружеское ложе. Место, где спали хозяева, было отделено желтоватой занавесью, выделанной под шагреневую кожу. А на торе просторного жилья служанка устраивала две постели. По всей видимости, кроме хозяев и гостей в юрте никто больше не будет ночевать.



Тогжан приходила из другой юрты, она была дочерью от младшей жены Суюндика, по имени Кантжан. Об этом сказал Абаю Карабас, когда они подходили к юрте. Абай подумал, что Тогжан уже ушла, и он, хотя и предполагал это, почувствовал некое разочарование. Постели стелила белолицая молодая женщина, разливавшая за ужином чай.

Абай уже направился к тору, к постелям, как вдруг заколыхалась шагреневая занавеска, вместе с этим мелодично зазвенели шолпы – и с того края, что был ближе к выходу, показалась стройная фигура Тогжан в белом платье. Она выходила из родительской половины, неся в руках сложенное шелковое одеяло. Движения ее были легкими, плавными, она осторожно прошла мимо Абая, потупившись, не глядя на него. Казалось, она смущена своим внезапным появлением среди тишины, смущена даже слишком громким звоном шолпы в своих косах.

Тогжан, прижимая к груди свернутое одеяло, прошла к служанке, уже заканчивавшей стлать постель, и стала тихим голосом указывать ей:

– Под ноги, подложи что-нибудь под ноги, чтобы повыше было...

Абай понял, что ее заботы касаются его, только его одного – и весь вспыхнул от радостного волнения. Он хотел что-то сказать ей, признательное и благодарное, но перехватило дыхание, сердце застучало со страшной силой, и не нашелся, что сказать. Совершенно растерявшись, принялся молча, поспешно снимать с себя верхнюю одежду.

Тогжан, деликатно приблизившись, расстелила на постели шелковое одеяло и потом быстро, бесшумно направилась к двери. Вслед за нею прошла молодая женщина, прислужница. Обе они не оглядывались.

Но перед самым порогом, уже пропустив вперед прислужницу, Тогжан неожиданно, мягким движением стана, гибко обернулась и бросила в его сторону последний взгляд. Так и вышла за дверь, отступая в темноту спиной, лицом к нему.



Абай в это время стягивал с плеч свой бешмет с беличьим подбоем. В тот миг, когда Тогжан обернулась у двери и стала уходить в ночь, отступая, лицом к нему, Абай замер, сердце его метнулось к ней, словно желая удержать Тогжан на пороге ночи. Но она ушла, бросив на него загадочный прощальный взгляд. А он остался стоять на месте, неподвижный, будто окаменев, в свисавшем с плеча, наполовину снятом бешмете, из-под которого ослепительно белела исподняя рубаха. Руки его, простертые вослед ушедшей девушки, неловко и как бы недоуменно застыли на весу. В ее последнем взгляде, направленном на него, почудилась ему некая усмешка – или это просто показалось? Но он успел заметить, как раздвинулись ее губы, и сверкнули жемчужные зубы. «Неужели я представился ей смешным? Что я сделал такого смешного?» – с тревогой промелькнуло в его голове. И невольно почувствовав какое-то смущение, Абай быстро разделся, бросился в постель и свернулся калачиком под шелковым одеялом, которое принесла Тогжан.

А она все еще была недалече – в тишине ночи ее уносили перезвоны серебряных шолпы. Эти чудесные звуки, то заливаясь громче, то стихая, все дальше удалялись в ночь. И тогда Абай слышал гулкие удары своего сердца, словно в груди у него скакал неистовый конь – и грохот сердца заглушил последние нежные звоны шолпы. Как они были ему теперь дороги! Как он их любил!

Яркий свет вспыхнул в его душе, ярче всех человеческих светочей – и никогда этот свет не угаснет в нем. Он даже не заметил, как погасили лампу. Глаза Абая закрыты – душа его унесена ураганным вихрем нового, небывалого чувства.

В эту ночь до самого утра Абаю не было сна, лишь на восходе солнца он вздремнул слегка. Однако проснулся и встал вместе со всеми остальными. С лица он был бледен, выглядел несколько утомленным. Но, выйдя на воздух и прогуливаясь перед чаем, Абай уже вполне взбодрился и оживленным взглядом окидывал юрты маленького аула, пытался угадать, в которой из них мог-



ла быть Тогжан. Вблизи Большого дома Суюндика находилась еще и другая белая юрта, поменьше размером – наверное, очаг старшего сына, Асылбека. За нею – новая серая юрта о шести канатах, скорее всего, там и был очаг младшей жены бая Кантжан. Абай внимательно приглядывался к этой юрте.. Тундук на овершие юрты еще закрыт, значит, Тогжан и ее мать еще не встали.

Из Большого дома вышел Суюндик. Подойдя к нему, Абай тут же передал ему салем своего отца и коротко изложил суть дела, по которому был послан.

Во время утреннего чаепития Тогжан не появилась. Не пришли на деловую беседу и Асылбек с Адильбеком. По скорому завершению дела, Карабас предложил выехать обратно пораньше, воспользоваться утренней прохладой. Как только убрали дастархан, расторопный Карабас быстренько направился седлать лошадей.

Абаю так не хотелось уезжать из этого гостеприимного, мирного аула! Таких спокойных, добропорядочных родовых гнезд приходилось ему встречать совсем мало. Мелькнула в голове мимолетная мысль: породниться бы с этим аулом, чтобы чаще и запросто бывать здесь. Спокойно, по-домашнему, по-свойски приезжать сюда на обед – и безо всяких предуведомлений.

Перед самым отъездом, когда в юрте остались только Суюндик со своей байбише и Абай, супруги стали расспрашивать его о старой Зере, о здоровье Улжан. Старик сказал:

– Сын мой, передай большой привет своим матерям!

И байбише стала слать приветы Улжан, Айгыз, вспомнила о малютке Камшат и по этому поводу принялась охать, ахать и расспрашивать:

– Шырагым-ау, свет мой ясный, скажи, как себя чувствует малышка, которую отдали в дом Божея? Ох, нелегко было решиться на такое бедняжке Айгыз! Как же она мучается, наверное! И как только люди могли пойти на такое злое дело, посмели вырвать из рук матери родное дитя! Ах, как плакала, говорят, малютка при этом, криком кричала! О, Алла...



Возмущаясь, от всей души сочувствуя матери и осуждая ее мучителей, байбише не могла однако скрыть в голосе ноток бабьего любопытства. Абаю это было в тягость, и он старался как можно короче отвечать на ее вопросы. Но байбише, все больше расходясь, продолжала свое.

– Жена у Божоя – ох, недобрая, все это знают. Да и девочек нарожала она достаточно – зачем ей еще и чужая девочка? Разве будет заботиться о ней?

– Перестань, баба! Если жена не будет заботиться, то Божей на что? Он и позаботится! Отчего ему не позаботиться о ребенке? – попытался Суюндик замять слова своей байбише.

– Апырай! Не знаю я, кого слушать! Кругом только и говорят, в аулах злые языки только и болтают: «Дитя было отдано как плата за обиду! Скот пожалели отдать – ребенком расплатились!» И обращаются с нею плохо. А долго ли обидеть дитя малое? Что оно понимает? Кому пожалуется? Ах, как переживает, наверное, бедняжка Айгыз! Свет белый не мил ей, наверное! – и расстроенная своими же словами, байбише в голос зарыдала. Потом вытерла покрасневшие глаза, полные слез, и смолкла, пригорюнившись. Почмокала губами, подумав о чем-то еще, и снова заплакала...

Абая тронула сердечность этой женщины – тоже матери. Но слухи о плохом обращении с Камшат встревожили его. Дома по поводу отнятой у матери девочки испытывали большие страдания и тревогу, это были страдания родных, у которых с кровью вырвали из рук их любимого ребенка. Но дома ничего еще не знали о жестоком обращении с девочкой. Никто еще не донес им зловещих слухов по этому поводу.

Однако, видимо, разговоры эти были неспроста. По возвращении в Жидебай надо будет рассказать бабушке Зере и матери Улжан. О том, как воспримет отец эти слухи, если сын расскажет ему, Абаю и думать не хотелось. Он решил действовать, не считаясь с отцом.

Перед отъездом попили кумысу, и вскоре гости покинули юрту, уселись на своих коней. Отъезжая от дома Суюндика с



прощальными словами «Кош! Кош!», которые звучат всегда немного печально, Абай оглянулся на малую юрту. Тундук на ней по-прежнему был закрыт, видимо, хозяйки еще отдыхали. Подумалось с легкой обидой: «Неужели Тогжан не захотела увидеться еще раз? Не соизволила даже пораньше встать и попрощаться...»

Сдерживая боль тайной досады, юноша тихо тронул поводья, и чуткий конь неторопливо зашагал по дороге. Немного отдалившись, Абай оглянулся, чтобы бросить с седла прощальный взгляд на аул. И вдруг увидел, как появилась возле малой юрты женская фигурка, накрытая с головою темным чапаном. Платье на ней было белое, длинное; широкая, вольно развевающаяся на ходу юбка касалась земли. Это могла быть Тогжан. Видимо, только что встала. Может быть, захотела попрощаться. Но, выйдя из юрты, женщина даже не стала оглядываться вокруг, не посмотрела в его сторону, а сразу направилась, шагая по-молодому упруго и грациозно, в противоположную от него сторону за аул, к зеленому холмику.

И, словно на прощанье, ласкает слух Абая улетающий звон серебряных шолпы. И сотрясают его грудь гулкие удары собственного сердца.

Уже все больше отдалялся он от ставшего родным для него стана с названием Туйеоркеш. Отныне оно звучит для него завораживающе – Туйеоркеш! Верблюжьи Горбы. В это погожее апрельское утро кажется невозможным сказать: прощай, Туйеоркеш! Заповедным местом на земле стал для него этот удаленный от всех горный кочевнический стан. Там, позади, в этом зачарованном углу осталось дивное, дивное создание.

Спустившись по горному склону на равнину, следуя вдоль берегов реки Караул, два всадника рядом, бок о бок, стали приближаться к длинному косогору, покрытому свежее-зеленой, радостной весенней травой.

Перевалив косогор, они ехали по ровной местности, на которой только вдали виднелись одинокие небольшие холмы. Абай,



словно нехотя тянувшийся за своим спутником, вдруг услышал за спиной топот приближавшейся на скором галопе лошади. Сердце Абая буйно всполошилось, он живо обернулся – и тут же разочарованно сник. Тайная надежда оказалась несбыточной. Это была не Тогжан – и даже не гонец от нее, из аула Суюндика. Догоняющий оказался незнакомым молоденьким джигитом с круглыми щеками, смуглый, чуть полноватый, с пробивающимися черными ниточками усов, еще почти подросток. Одет он был просто – и даже бедновато, под ним была неказистая темно-гнедая кобылка с жестко торчавшей на холке подстриженной гривой. И конек выглядел жеребенком – и всадник казался мальчиком. Но лицо его было приветливым, глаза сияли детской радостью, он улыбался, оттопырив свои смугло-румяные щеки, сверкая белоснежными зубами. Подъехав, первым отдал учтивый салема Абая и его спутнику.

Ехал он один-одинешенек по степи, скучал – и тут увидел впереди двух всадников. Решил догнать и скоротать за разговорами путь-дорогу. Пришлось его кобылке поработать ногами – когда она догнала верховых, грудь ее была вся потная, на храпах висели клочья пены.

Абай и Карабас непрочь были разделить скуку путевую с новым спутником. По расспросам выяснилось, что он из аула Суюндика, сын Комекбая, имя юноши – Ербол.

Карабас легко и быстро нашел общий язык с Ерболом. Абай прислушивался к их разговору, и по ходу его проникался все большим уважением и симпатией к юному попутчику. Потому как оказалось, что Ербол стоит очень близко к семье бая Суюндика: мать парня и мать Тогжан приходятся внучатыми сестрами. Ербол свой человек в доме Суюндика и часто бывает в нем. Разговорчивый, открытый, с доброй улыбкой во все лицо, Ербол все больше нравился Абая.

Вскоре разговор пошел только между ними, Карабас молча ехал в сторонке. Сверстники оживленно болтали о всяком-разном. Абай заговорил об охоте: вдоль реки Караул водилось много дичи, хотелось бы поохотиться на них с ястребами.



– О, у тебя есть охотничий ястреб? – оживился Ербол. – Тогда приезжай к нам, в Верблюжьи Горбы. Я сам поведу тебя, покажу, где гуси и утки водятся!

Дома, в Карашоки, у старшего брата Такежана имелся ястреб, серебристо-голубоватого оперенья. Приглашение Ербола совершенно осчастливило Абая: с самого отъезда из Туйеоркеша он только и ломал себе голову, под каким предлогом приехать бы снова туда. О, Ербол со своим предложением оказался бесценной находкой! Теперь все могло получиться. Переведя разговор на охоту, на дичь, на ястребов, юноши никак не могли остановиться. Карабас с улыбкой смотрел на них: они выглядели как давнишние, самые близкие друзья. Их разговорам не было конца.

Но вот взобрались еще на один косогор – и оказалось, что дальше их дороги расходятся. Ербол должен был повернуть направо, ехать в направлении Колькайнара. Там у него были свои дела. А Карабас и Абай, следуя дальше вдоль склонов Чингиза, должны были держать путь в аул Кунке.

Абаю очень не хотелось расставаться с Ерболом, и он предложил своему новому другу:

– А можешь отложить свои дела в Колькайнаре?

– Зачем?

– Поедем с нами.

– О, с какой стати? Еще спросят: а чего ты тут потерял? Что я отвечу?

– Кому какое дело! Ты будешь моим гостем. Погуляешь у нас. Вместе поохотимся с ловчими птицами...

Ербол, поддавшись уговорам Абая, на миг заколебался. Стал рассуждать вслух:

– Конечно, поехать было бы хорошо. – Но, немного подумав, продолжал дальше: – А дело-то останется не сделанным! Нет, так я не могу!

Вскоре Ербол, распрощавшись с Абаем и его спутником, отделился от них и затрюхал на своей кобыленке в сторону



Колькайнара. При прощанье он так же широко и белозубо улыбнулся, как и при встрече. Абай, покоренный добродушием и сердечностью молодого джигита, с сожалением расстался с ним и долго смотрел ему вслед. Ах, какой счастливец этот Ербол! Если захочет, он может хоть каждый день видеть Тогжан! Ничто не помешает ему, ведь он близкий родственник ее. Но ему, кажется, вовсе не нужно такого счастья. Вон, скачет себе, удаляясь все дальше, с неизменным весельем и с бодрым настроением в душе – даже издали это заметно по его спине, по растопыренным в стороны, подпрыгивающим локтям. И с ним вместе удаляется вновь появившаяся была надежда оказаться рядом с Тогжан.

2

В Карашоке Абай и Карабас прибыли после полудня. Возле просторной белой юрты Кунке стояло на привязи много лошадей в богатой наборной узде, под отделанными серебром седлами. В Большом доме шла какая-то сходка.

Карабас сказал Абаю, посмотрев на тавра у лошадей, что собрались люди не из дальних мест, стало быть, сбор местного значения.

– Это люди из родов Жуантаяк, Топай, Иргизбай. Обычная сходка. Но кони уже оседланы, значит, сходка закончилась, и все собрались уезжать. А это значит, Абайжан, что мы с тобой прозевали обед!

Абай вошел в дом, юрта была полна народом. Он с порога произнес общий салем. На высоко подложенных, в несколько слоев, стеганых одеялах сидел отец, глыбой возвышаясь над всеми сидящими возле него; он сидел в распахнутой белой рубахе, волосатая грудь наружу.

Уже одетые к отъезду люди попивали кумыс на дорожку и слушали последние наставления Кунанбая. Были и поднявшиеся уже на одно колено, накинувшие на голову шапки, готовые тут же встать и выйти из дома.



Присутствующий народ хотя и ответил на приветствие сына мырзы, но никто не стал любезно расспрашивать его о здоровье, о делах. На краю стеганого одеяла, постеленного для гостей, сидела байбише Кунке, которая должна была разливать кумыс. Но она усадила рядом Жорга-Жумабая и поручила это дело ему, что и проводил он умело и расторопно: взбалтывал кумыс длинным черпаком, наливал в чаши. Подсев к старшей матери, Абай прослушал последние слова отца.

– Меня хотят уверить, что все тихо-мирно, никто ничего не затевает. Допустим, я поверю, во вред себе, но поверю, ну и что с этого? – вопрос его прозвучал почти как угроза. – Кому от этого будет польза? Нет уж – не буду никому верить, а постараюсь поверить тому, что увижу собственными глазами. А пока потерплю. И кто мой истинный друг, – и тут Кунанбай повел своим единственным глазом от тора до порога, цепким взглядом окидывая каждого, задерживаясь на лицах старшин из родов Жуантаяк, Топай, сидящих рядом с ним, – кто истинный друг, тот будет терпеть вместе со мной. Терпите, ничего пока не предпринимайте, но будьте готовы ко всему! А когда я сяду на коня, тогда и будьте рядом со мной! Если так поступите, будет доволен Бог, буду доволен и я. Вот пока все, что я хотел сказать. Ни просьб других, ни пожеланий особых у меня нет, – так завершил мырза.

И эти последние слова прозвучали как начальственное решение: «Все, можете идти».

Сидевшие в юрте дружно одобрительно загудели. Раздались отдельные возгласы:

- Да будет по-твоему!
- Да будет так, как ты сказал.
- Считаю, что мы поклялись!
- Будем стоять за тебя!

Абай слушал, смотрел и думал: похоже, клятву ему дают. Наверное, собрал всех, чтобы увериться в их преданности. Вспомнил слово «друг».

Но эти люди, которых отец назвал друзьями, которые клялись ему в верности, все до одного были новыми, незнакомыми Абаю.



Раньше на их месте, на таких же сходках, были привычные, близкие люди, такие как Байсал, Каратай, Божей, Суюндик, Тусип.

...Сегодня не было ни одного из них. Не было даже Кулыншака, к которому Абай ездил недавно. Тут что-то затевается другое. И кто эти новые друзья? Куда делись старые? Наверное, зреет очередной сомнительный замысел.

По возвращении из Каркаралинска Абай полагал, что вражда прекращена, примирение враждующих сторон состоялось принесением в жертву маленькой Камшат. После этого больше никаких слухов, ни больших, ни маленьких, в народе не ходило. Не было, кажется, и событий, вызывающих всякие кривотолки и тревоги.

Почти все участники схода уехали, остались несколько аксакалов, с которыми Кунанбай хотел о чем-то посоветоваться. Среди оставшихся, почувствовал Абай, все еще не спало некое внутреннее напряжение.

Абай еще долго не мог подступиться к отцу с отчетом о совершенной поездке к Суюндику. Но, наконец, уловив минуту, сын смог сбросить со своих плеч бремя ответственности. Абай после этого намеревался сразу отправиться в Жидебай и ночевать уже там. Когда он испросил об этом разрешения у отца, тот резким тоном ответил:

– Ты что, девочка, которая привыкла играть в куклы возле матери? Тебе больше по душе быть среди баб, чем рядом со мной? Здесь ты видишь людей, вникаешь в умные разговоры, получаешь хорошие уроки жизни. А там чему ты можешь научиться?

Слова отца звучали убедительно, но они не показались Абаю бесспорными. Он подумал: «Да, вы мне отец, но там – моя мать! Ребенок растет, внимая словам отца и матери».

Однако не стал высказываться вслух.

Ответа отцу он не дал, лишь сдержанно высказал свое желание:



– Там, дома, есть ястреб, а в этом году много дичи. Хотелось бы поехать в Жидебай и немного поохотиться с ловчей птицей.

Эти доводы Кунанбай сразу понял и принял без особых возражений. Лишь предложил:

– Задержись еще на пару дней. Хочу завтра-послезавтра послать тебя с поручением к Байдалы. После этого, пожалуй, ты и можешь отправиться в Жидебай.

Молчаливо принимая это предложение, Абай настроился еще пожить немного у неродной матери.

Байдалы не был тем человеком, с которым Абаю приходилось близко сталкиваться. Тем не менее посылают к нему.

Вначале послали к Кулыншаку. Тот остался в обиде на Кунанбая. А Суюндик – тот уже давно в обиде на него. Вчера в ночном разговоре Абай услышал от взрослых людей разные обвинения отцу. Это были суровые, серьезные обвинения, осуждающие Кунанбая. Он обижал людей, был несправедлив к ним. Обидел Суюндика, обидел и Кулыншака, но отправлял сына именно к ним! А теперь собирается отправить к Байдалы – для чего? Ведь Байдалы тесно связан с Божеем и открыто враждует с Кунанбаем. Его же собственная вражда и противостояние с Байдалы казались несокрушимыми, как вечные ледники. Однако что случилось? Неужели растаял лед вражды в его душе? Или появились какие-то новые намерения? Этого Абай пока не знает. И вот вскоре должен ехать к Байдалы. Хорошенько подумав, Абай, наконец, как будто стал постигать тайные помыслы отца. Он преднамеренно посылает сына к людям, враждебно настроенным к себе. Хочет, чтобы сын поближе узнал их – «увидел врага в лицо». Познал его сущность. И со временем, став умнее, поймет отца, и уважение, благосклонность, преданность сына к нему только возрастут и укрепятся.

Это понимание не принесло Абаю покоя и удовлетворения, наоборот – он весь внутренне напрягся и насторожился. Перед ним запутанные, как развалившийся клубок ниток, темные дебри



вражды и ненависти. Непроходимые дебри. Абай на мгновение увидел себя со стороны: втянутого в этот клубок, блуждающего в этих дебрях, беспомощного и беззащитного, совсем безоружного в лютой войне коварства и ненависти.

Очень рано проявилось у Абая это свойство: как бы раздваиваться и рассматривать себя со стороны глазами постороннего человека.

Через два дня, как и было намечено, Абай с Карабасом были направлены к Байдалы.

Здесь было совсем по-другому, чем у Кулыншака и у Суюндика, – ни приветливой встречи, ни угощений. Едва переступив порог большой юрты, гости были оглушены свирепым криком Байдалы, который не на шутку рассердился на кого-то.

В доме Байдалы все было перевернуто вверх ногами, казалось, люди бегают, кричат, делают что-то без всякого смысла. У порога здоровенная скотница взбалтывала мутовкой в деревянной бадье перекишную простоквашу, из которой готовят курт, сушеный сыр. Прямо посреди юрты в большом казане варился тот же курт, в юрте от кислых паров, жара очага – не продохнуть. Хозяин дома, Байдалы, поймал какую-то маленькую смуглую девчонку и, зажав ее в коленях, азартно шлепал по заднику, приговаривая:

– Покарай тебя бог, вот тебе, получай! Чтоб тебя... вот я тебе! Получай! Никакого покоя от тебя! Вон отсюда, чтоб я тебя не видел! – И он отшвырнул прочь орущее дитя.

Если до этого девчонка пронзительно визжала, получая шлепки, то теперь, свалившись на проходе посреди юрты, закатилась в оглушающем, совершенно невероятном для ребенка, жутком реве. По лицу ее текли, смешиваясь, слезы, сопли.

– Убери! Прочь с глаз моих! – страшным голосом закричал Байдалы, обращаясь к какой-то бабе. Та подскочила с оробелым видом и, подхватив на руки ребенка, побежала из юрты, на ходу испуганно оглядываясь на него.



Как раз в это время и входили в дом Абай с Карабасом. Поздоровались, подождали, пока хозяин придет в себя, потом прошли на тор.

Байдалы на салею ответил небрежно, сам приветствовал гостей холодно.

Если в доме варят сыр, то котел, стало быть, занят – и это очень удобная причина для тех, кто не желает готовить для гостей мясо. Абаю не хотелось долго задерживаться в доме, где было так беспокойно и неудобно. К тому же быть в гостях у такого неприветливого, раздражительного человека, как Байдалы, было для Абая большим испытанием. Он не хотел задерживаться здесь и лишней минуты, и даже угроза остаться без обеда его не огорчала. Другое дело – Карабас, и Абай насмешливо покосился на него.

И в самом деле, остаться без сытного мясного обеда или ужина, будучи в гостях, для расторопного Карабаса было дело немислимое. Покушать он любил и еде придавал большое, особенное значение. Вкусная еда для него была больше чем еда. Бывало, при нежелании Абая ночевать в каком-нибудь ауле, Карабас почти с ужасом говорил ему: «Что ты! Разве можно! Да в этом доме подают такую вкусную копченую конину!» А в другой раз, когда после всех дел можно было засветло уехать домой, Карабас умолял Абая оставаться на ночлег: «Жаным, дорогой мой, ты не знаешь, как в этом доме умеют принимать гостей! Нельзя уезжать!» И ради него Абаю часто приходилось ночевать у людей, с которыми было ему совсем неинтересно.

Но на этот раз настроению Абая соответствовали и обстоятельства в доме, и неприветливость хозяина. Абай решил скорее покончить с делом и уехать. Смотревший хмуро, исподлобья чернородый Байдалы сразу уставился на дверь и даже не взглянул на гостей. Вскоре обратился к женщине, пахтавшей мутовкой сырный творог, и повелел:

– Эй, женщина! Принеси им кумысу! Пусть отведают...



Когда принесли небольшую деревянную чашу, Байдалы сам взболтал кумыс черпаком, разлил по чашкам и подал гостям. Себе тоже налил.

– Куда едете? По каким делам? – спросил он наконец.

Абай начал излагать ему поручение отца.

Разговор опять шел о земле. Перед откочевкой на джайлау Кунанбай передал роду Бокенши, изгнанному в прошлом году из Карашоки, земли рядом с пастбищами Байдалы. Теперь Кунанбай извещал его, что этими землями будут пользоваться аулы Сугира и Суюндика. Абай передал слова отца, еще не притронувшись к кумысу.

Выслушав Абая, Байдалы нахмурился. Темное бородатое лицо его стало еще угрюмее. Затем он поднял глаза и тяжелым, неподвижным взглядом уставился на Абая. Но юношу, кажется, это ничуть не смутило, и он не отвел в сторону своих глаз. Во всем облике Абая, еще почти детском, не было и следов страха, беспокойства, враждебности. Весь вид его говорил: что это так странно смотрят на меня? И, кроме легкого удивления, глаза его ничего другого не выражали.

Байдалы сам отвел глаза; после продолжительного молчания резко поднял голову и сказал:

– Добро. Пусть будет по-вашему. Аулы Суюндика и Сугира могут занять пастбища. Я не пойду против.

Ответ прозвучал решительный, твердый, исходивший от истинно мужественного человека. Он не стал раскрывать своих чувств. Все свое возмущение, всю ярость накрепко закрыл в сердце.

Только тут Абай притронулся к кумысу. Выпив кумыс, хотел уже вставать и уходить, как Байдалы удержал его движением руки.

– Я согласился на его слова. Но я сам тоже хочу кое-что ему сказать, пусть и меня послушает. Только ты должен передать все с начала и до конца, слово в слово, ничего не вставляя от себя. Сможешь?



– Аксакал, говорите все, что хотите. Я в точности передам, ничего не утаю. Как для отца, так и для вас я всего лишь посылный, не могу что-то добавлять или утаивать.

Байдалы был очень доволен ответом Абая. Парень, который показался ему совсем еще зеленым, отвечал как взрослый муж.

– Пойми меня: если я передам свои слова через кого-нибудь другого, то выйдет так, что я вложу их в уста постороннего человека. А мне хотелось высказаться самому прямо в лицо твоему отцу, без всяких посредников. Ты же его сын – и я могу через тебя, напрямую, высказать ему все, что хочу. – Он выдержал небольшую паузу, потом продолжил. – Так слушай... «Помирились, пришли к согласию» – не вчера ли еще прозвучали эти слова на сходке, перед всем родом Аргын? А на что похоже сегодня это примирение? Когда после примирения к хвосту моего коня привязали дохлую собаку – зачем мне нужно это примирение? И род Жигитек тут ни в чем не виноват. А если посмотреть, чем обязан род Иргизбай роду Жигитек, – то и всякая вина снимается, если бы она и была. В свое время мой дед Кенгирбай дал свое благословение твоему деду Иргизбаю на избрание его верховным бием. Хотя и были у моего дедушки свои сыновья и достойные родственники... И что же? На приговор Кенгирбая «передать власть Иргизбаю» чем сегодня он ответил Жигитеку? Пользуясь властью, он топчет род Жигитек. Если от скуки захочет враждовать с ближними – сразу начинает бить, душить Жигитек. Е! Неужели никогда не смягчится, не отступится от нас? Не перестанет врезать по яйцам, приговаривая: «Скорее кидайся в костер! Не остановлюсь, пока ты сам не кинешься в огонь!» Твой отец ждет моего ответа? Так вот, передай ему мои слова... Нет, не мои – слова от всего Жигитек. «Ты не остановишься, пока не добьешься своего. Ты хочешь dokonать Жигитек. Мы знаем. Но этого ты не сможешь сделать. Берегись!» Так и передай ему. Такой салема посылает ему Жигитек. А землю – пусть забирает. Да не одни эти пастбища – пусть все забирает, что только еще сможет забрать!



И Байдалы махнул рукой.

В юрте постепенно умолкли все другие людские голоса. Лишь трещал огонь в очаге, пламя лизало черное дно большого казана, в котором варился кислый сыр. Налитое доверху творожное сусло *иркит* уже давно вскипело и, бурля крупными пузырями, шевелилось, булькало, шипело. Взгляд Абая был невольно притянут к этому шевелению пузырей, бульканью на поверхности котла. И кипящий казан представился Абаю картиной гнева и возмущения людей, которых обидел Кунанбай. Вон, с краю, бьют пузыри, пуская пар и вспенивая иркит – это место кипения напоминает ему гнев Байдалы. Рядышком точки кипения, с выделением пара и пузырей, напомнили Абаю гнев Божея, обиду Суюндика, возмущение Кулыншака.

Слова Байдалы помогли вскрыть Абаю самые глубинные закоулки распрей отца и этих людей. Эти слова коснулись множества тайных узелков, которые связаны с давно минувшими годами, тяжбами, сварями, тяжелыми проступками.

Абай не хотел высказываться по поводу речи Байдалы, не хотел подавать виду, с душою ли он воспринял его слова или плохо. Он запомнил суть послания Байдалы, для передачи отцу, и собрался распрощаться с хозяином. Взял в руку камчу, надел тымак, приподнялся на одно колено. Но тут Байдалы подал ему знак рукой: подожди еще немного! И уже совершенно другим, изменившимся голосом, мягко, по-домашнему, повел совсем другой разговор. Смотрел он на Абая при этом ласково, с добродушной улыбкой. Нет, не похож он был на недавнего взбешенного и злого, непреклонного Байдалы!

Абай знал, что взрослым присуща смена разных настроений, что вдруг прорываются у некоторых странности сложного характера. Однако такого человека, как Байдалы, который столь легко и непринужденно может переходить от неистовства, страшного гнева к спокойному, мирному общению, Абай еще не встречал.



Недавно весь бурливший от гнева, Байдалы теперь был сама мягкость и степенность. Мирно журчащим голосом повел разговор:

– Все знают Каратая. Это хороший человек, но многие еще не знают, какая кладезь мудрости в нем зарыта. Если он происходил бы не из слабого рода Кошке, а из Иргизбая, скажем, то далеко бы пошел!

Сказав это, Байдалы помолчал, подумал о чем-то – и продолжал далее:

– Как-то на днях мы вчетвером, Каратай, Божей, Байсал и я, собрались за обедом в доме Каумена. Говорили о том о сем, потом стали обсуждать, кого можно было бы назвать самым лучшим мырзой? Ну да – самым справедливым, мудрым мырзой. Все призадумались. Байсал лежал, как сытый зверь, отвернувшись к стене. Хлопал глазами, зевал, словно и впрямь зверь, который греется на солнышке. Он один не участвовал в разговоре. На вопрос, кто самый лучший мырза, ответил Каратай: «Самый лучший мырза – Кунанбай». Затем последовал другой вопрос: кто самый сладкоречивый? И опять ответил Каратай: «Конечно же, Кунанбай!» Значит, уже дважды выпрыгнул первым Каратай. Сидим дальше, и снова задают вопрос: «А кто самый родовитый?» И опять Каратай опередил всех других: «А вы не знаете? Конечно же, самый знатный – Кунанбай!» Тогда Байсал не выдержал, поднял голову с подушки и прямо-таки отрезал: «Астапыралла, по-твоему, лучший мырза – Кунанбай, лучший оратор – Кунанбай, самый знатный человек – Кунанбай! В таком случае, какого дьявола мы с ним воюем? И все наши обиды на него, выходит, это дурь наша сплошная?» На что Каратай быстренько дал ответ: «Уай! Видит Аллах, и вы все видите, что я не искал в Кунанбае пороков. И противостояю ему я не за то, что у него есть какие-то пороки, а только за то, что у него нет только одного – доброты. Все у него есть – нет доброты к людям».

Рассказав это, Байдалы помолчал, давая Абаю возможность чуть подумать, затем продолжил:



– Вижу, ты парень сообразительный, многое понимаешь. Твой отец, наверное, не слышал о нашем разговоре у Каумена. Вот и расскажи ему. Сколько раз и где приходилось роду Кокше испытывать на себе жестокость Кунанбая, того я не знаю. Но я знаю, что моему роду Жигитек приходится испытывать это на себе каждый божий день. И ни разу мы не слышали от него слов: «Я прощаю вам...»

Так говорил Байдалы.

На обратном пути Абаю нигде не хотелось задерживаться, ни с кем разговаривать. Услышанное об отце тяжело легло ему на сердце. Отъехав от аула Байдалы на некоторое расстояние, Абай вдруг предложил Карабасу:

– Давай поскачем на перегонки! – и, не дожидаясь ответа, пришпорил коня.

Уравновешенному Карабасу подобные внезапные вспышки Абая были не по душе. Но для того, чтобы успеть засветло добраться до Карашоки, подобная скачка была бы кстати. К тому же лошадь под ним была добрая – вороная нежерёбая кобыла в белых чулках, скаковая лошадь для охоты, нагонявшая волков. Карабасу тоже хотелось испытать ее, он считал, что она ни в чем не уступит любимому коню Абая, Аймандаю. И ко всему этому – Карабас был истинный казах, кровный конник.

– Тогда вперед! – воскликнул он. – Скачи шибче! Обгону!

Два спутника на безлюдных просторах степи, они скакали долго и упорно. То один обгонял другого, то отставший вновь вырывался вперед. Иногда Карабас, догнав Абая, начинал жалеть коней и предлагал:

– Прекратим это! Хватит!

Абай тут же уходил вперед и, проскакивая дальше, кричал:

– Нет, не хватит! Догоняй!

И Карабас понял, что мальчик очень расстроился в поездке, не в себе, пожалуй, а теперь вошел в азарт, и его ничем не остановить.

Перед самым закатом солнца они на взмыленных конях влетели в аульный стан Карашоки.



За околицей аула возвышалась небольшая каменная горка. Кунанбай с Майбасаром ушли туда и уединились на ее вершине. Спешившись, Абай бросил повод в руки Карабаса, а сам поспешно направился к отцу. Кунанбай, хотя и находился не так уж близко, но сумел разглядеть издали, что гонцы прибыли на запаленных лошадях. Вороная кобыла ходила на привязи, мотая головой, словно бодаясь, – все никак не могла успокоиться. Зоркому глазу Кунанбая, безошибочно разбиравшему всякое поведение лошадей, достаточно было заметить это, чтобы сразу понять, в какой бешеной скачке проходило возвращение гонцов. Значит, что-то произошло особенное, важное? Или это просто молодая дурь, неразумная скачка...

Итак, Кунанбай этому не придавал особого значения. У него не было привычки шпынять своих детей по мелочам: «коня загонишь... дому убытки причинишь...» Он никогда не ругался, даже если случалось, что кто-нибудь из его сыновей по опрометчивости ломал ногу лошади или, увлекшись скачкой, загонял насмерть коня. Кунанбай в этом отношении никогда не проявлял скупости, не придирался по мелочам. Особенно к Абаю. И сейчас он понимал так, что их быстрая езда, загнавшая лошадей, явилась следствием обычной неразумной скачки.

Но его несколько удивило, даже насторожило, что Абай по возвращении даже не зашел домой, а направился сразу к нему. Видимо, это неспроста. Когда сын подходил к нему, Кунанбай внимательно всмотрелся в его лицо. Глаза сына сверкали, казалось, в них искрится недобрый огонь; мальчишеские щеки размялись; он и сам дышал запаленно, раздувая ноздри. В знакомом юном облике сына читалось не свойственное ему, едва сдерживаемое внутреннее напряжение. Не узнать было обычно спокойного и рассудительного Абая. И когда сын, взбежав на горку, подошел к нему, Кунанбай спросил с необычным для него озабоченным видом:

– Что случилось, сынок? Отчего такой взбудораженный? Сядь, рассказывай.



Абай, усаживаясь на землю – ниже отца, удивился тому, что тот сразу и точно угадал его душевное состояние. Усевшись, сын не заставил себя долго ждать. Полно, стараясь не пропустить самые важные слова, повел он рассказ о сегодняшней встрече с Байдалы.

Говорил прямо, то, что слышал, глядя в лицо своему отцу. Вначале Кунанбай слушал его походя, с прохладцей. И лишь тогда впервые нахмурил брови, когда дошло до слов Байдалы: «Ты хочешь доконать Жигитек». И тут он настороженно посмотрел на сына. Он как бы мысленно прощупывал его: «А ты сам на чьей стороне?»

Абай не испугался взгляда отца. Не отвел своих глаз. Говоря об обиде Байдалы предельно точно, в выигрышном свете для него, юноша явно закладывал в этот рассказ свои вопросы, а в них уже содержались ответы. И дело неотвратимо подходило к тому, что отец и сын наконец, впервые честно, откровенно должны были высказаться друг перед другом.

Но Кунанбай тотчас же отогнал подобные мысли и заострил внимание на тяжести обвиняющих слов Байдалы. Разумеется, Кунанбай услышал все, что надо было услышать, и понял все, что необходимо было понять. Но он в ответ на все эти обвинения и бровью не повел. Только одышливо запыхтел, выпятив нижнюю губу. Мысли свои – все! – удержал при себе. Ничего не сказал в ответ. Идя к отцу с посланием Байдалы, юный Абай надеялся, что отец будет откровенен, раскроется наконец и объяснит многое, что мучительно гнетет сердце сына. Этого до сих пор не произошло.

Кунанбай глубоко проник в мысли сына, хорошо понимал его состояние. Понимал, что необходимо что-то сказать ему. Дать ответ. И не для Каратая и Байдалы. Ответить надо засомневавшемуся в нем сыну, и своим ближним, и всем родичам. Это необходимо и для того, чтобы подготовить ответный удар и достойное наказание противнику.

– Каратай человек ушлый, тертый. Знает, где надо пуститься вскачь, а где ехать шагом. Бог с ним, пусть он во всем будет



прав. Но я знаю одно: если в человеке есть какая-то благородная черта, ее же могут выставить и как слабость. В жизни своей я придерживаюсь своих взглядов, сынок, и стараюсь не отходить от них. И я понимаю жизнь так, что истинная добродетель в человеке – это его упорство и воля в делах. Но в любом деле, мой сын, не бывает без изъянов. – Сказав это, Кунанбай умолк с сумрачным видом. И это уже был не тот человек, который всего минуту назад весь кипел обидой и гневом.

Что же, Абай хотел услышать ответ отца, и Абай его услышал. И это был ответ очень непростой. Он заставил сына глубоко задуматься.

Через некоторое время Кунанбай, необычно для него печальный и как будто присмиривший, негромко продолжил:

– Человек – создание слабое и грешное. Разве может грешный человек удовлетвориться тем, что имеет? Сколько бы он ни имел, ему все мало.

Абай не только ответ получил – он услышал косвенное признание вины. Кунанбай брал вину на себя!

И Абаю открылось, что отец у него – большой, незаурядный человек. Он не похож на Байдалы, который может весьма красноречиво обвинять, искусно спорить, убедительно жаловаться. Нет, отец не искусный оратор, не красноречивый – он глубокий, сильный, мыслящий человек. Он как те слоистые горные вершины, которые состоят из многих каменных напластований.

Кунанбай ушел один, погруженный в свои мысли. Майбасар ушел еще в самом начале разговора отца с сыном. Абай остался сидеть на вершине холма, снова не найдя ясного ответа на свои, уже новые, вопросы и тревожные размышления.

3

Перед возвращением в Жидебай из отцовского аула Абай спрашивал у него, как в этом году будет обстоять дело с весенней кочевкой. Кунанбай велел Большому аулу начинать



раньше других, но двигаться не по прежнему кочевому пути и не в том порядке, что раньше. До этого аулы Кунанбая сначала собирались всей кочевой ордой в Карашоки и оттуда друг за другом караванами уходили за Чингиз по перевалу Бокенши. Нынче Кунанбай решил кочевать по новому пути, через перевал Акбайтал, ибо летние джайлау этого года были выбраны им по берегам реки Баканас, протекающей за этим перевалом.

Баканас и Байкошкар – самые большие реки на летних пастбищах Тобыкты. Раньше, если аулы Кунанбая занимали летом берега Байкошкара, на Баканасе располагались аулы рода Кокше, земли эти вдоль реки принадлежали им.

Но поскольку теперь Кунанбай был во вражде с Каратаем, то появилось у мырзы намерение отнять у Кокше право на его единоличное владение пастбищами и запустить свой скот на эти земли.

Были и другие расчеты. Этим летом три рода – Жигитек, Бокенши, Кокше собирались кочевать вместе. Явно готовили что-то, недаром было предупреждение от Байдалы. Их аулы совместно копят силы для каких-то враждебных действий, и надо было постоянно следить за ними. С этой целью Кунанбай и решил внедрить аулы иргизбаев среди их летних станом.

Если джайлау расположатся чересполосицей, вперемежку, то аулы поневоле станут тесно общаться, начнется круговое хождение в гости, будут совместные праздники, торжества и сходки. При такой жизни, добрососедских отношениях и смежном ведении хозяйства будет проще расположить людей к себе. И Кунанбай решил отправить на джайлау в Баканас свой Большой дом во главе с матерью Зере. Это самый уважаемый дом во всем Тобыкты, главный очаг рода. К тому же Улжан славилась как щедрая и гостеприимная хозяйка дома, не то, что скуповатая байбише Кунке. Улжан могла без особых стараний расположить к себе людей, помирить их при разногласиях, взаимных обидах, доброжелательно встретить и проводить гостей, и все это способствовало возвеличению дома Кунанбая.



«Кочуйте через перевал Акбайтал, проследуйте в сторону Баканаса, располагайтесь по соседству с Бокенши, Кокше» – отдавая такое распоряжение, Кунанбай знал, для чего это делается.

Абай не постигал всей глубины замыслов отца. И хотя он подумал, что новая кочевка принесет немало неудобств аулу, душа его тихо ликовала. Кочевой путь вверх к Караулу, затем жизнь в продолжение всего лета поблизости от дома Суюндика означали то, что пути-дорожки его и Тогжан опять могут сойтись! А он-то предавался печали и унынию, не видя никаких возможностей для этого. И вдруг – такое везение!

Во все последние дни юноша пережил множество всяких встреч, испытал немало сильных впечатлений – но ни на мгновение не оставляло его глубинное чувство счастья, и это счастье носило имя Тогжан. Она всегда была перед его глазами. Он не смог бы, если и захотел, скрыть своих чувств. Однажды, задумавшись о ней, Абай не сразу заметил на себе пристальный взгляд отца, и он тут же покраснел перед ним. Кунанбай, хотя и видел какие-то перемены в сыне, никакого значения этому не придавал. Абай же, всей душой радуясь новому кочевью на Баканас, через перевал Акбайтал, выразил вслух только одно сомнение: хорошо ли, что их аул отправится отдельно, в отрыве от всех остальных? Но и об этом Кунанбай уже подумал заранее.

– Зачем же? Не только наш аул будет там. Разумеется, ему не стоит оказываться в одиночестве среди чужих. Хочешь знать – туда еще отправятся более десятка аулов, мало не покажется, – усмехнувшись, сообщил он. – Всех я уже оповестил. Кроме наших, там будут аулы Жуантаяк и Карабатыр.

Это были аулы из небольших мирных родов, всегда подчиненных порядкам и указаниям Кунанбая, так что их соседство не вызывало у Абая сомнений. С легкой душой Абай отправился в аул своих матерей.

Надежда вновь увидеть Тогжан окрылила Абая, он летел из Карашоки домой, вдохновленный чудесной новостью. Всю



дорогу он проскакал, ничего не замечая вокруг. Нетерпеливое ожидание будущей встречи с Тогжан неудержимо влекло его вперед – скорее, скорее!

Он шлет ей нежные послания, в душе рождаются ласковые слова: «Ты моя первая и единственная! Ты моя самая желанная в жизни! Ты мое бесценное сокровище!» Юное сердце его колотится так сильно, что заглушает топот резвого иноходца Аймандая. Молодой порыв к жизни, к счастью пылает в нем, словно бушующее пламя степного пожара.

Никогда еще он не преодолевал путь от Карашоки до Жидебая так быстро. Верный скакун перенес его от аула до аула единым махом. Абай не заметил, сколько времени ушло на дорогу, – ему показалось, что всего одно мгновение.

Аул в Жидебае, оказалось, тоже перебрался из зимников в юрты. В эту весну половодье на реке Караул широко разлилось по всей округе, паводком пространно затопило поемные луга Жидебая, на них выросла обильная трава. И по яркой, зеленой равнине раскинулись белоснежные войлочные шатры большого аула. В вечернюю пору, при ясной погоде, мирный аул выглядел уютным, приветливым и словно приглашал на отдых всякого путника, проезжавшего мимо. Вокруг теснились в загонах пригнанные на ночь большие отары овец. Блеяли ягнята, лаяли собаки, перекликались людские голоса – звучал жизнерадостный шум вечернего аула.

В этом году горные джайлау рано покрылись зеленью. Кочевники Причингизья, оставляя первую траву на равнинном подножье, спешили перегнать скот на летние пастбища. Большой аул также был охвачен нетерпением скорее выйти на кочевой путь.

Улжан все хорошо поняла, что передал ей сын от имени мужа. Но она представила себе, сколько времени понадобится на сборы, и ответила сыну, что меньше чем за неделю им не управиться. Предстояло тщательно отобрать хотя бы самое малое число вещей из обиходного скарба, увязать их во вьюч-



ные торока, продумать до мелочей о том, чтобы летняя жизнь на джайлау не стала для людей в тягость.

«Если аул Суюндика тронется раньше, трудно будет его догнать», – беспокоился Абай и не находил себе места. Ведь ничего нет лучше на свете, чем весенняя многодневная кочевка рядом с дружественным аулом! И если там есть любезные твоей душе люди, друзья и сверстники, родные и близкие, то какое удовольствие ехать с ними по кочевой дороге вместе, бок о бок, всласть разговаривать о том о сем. А то и спешиться вовсе и шагать рядом с караваном в веселой толпе, на ходу придумывая разные забавы и шутки. Есть еще и чудный обычай – аулам, сговорившимся кочевать вместе, сходиться на сборы перед началом пути где-нибудь на просторном становье. И тогда предстоит испытать волшебные дни и ночи на этой земле – дозволяется тем, кто этого хочет, ночью встречаться под сенью походного шатра, а то и под сводами дырявого временного шалаша, чтобы наедине с любимой полюбоваться на звездное небо сквозь прорехи райской кровли. И хоть сам Абай еще не испытывал таких блаженств, но был наслышан о них от многих молодых джигитов, чуть постарше него...

Однако объявленный матерью Улжан срок исхода кочевья никоим образом изменить было нельзя, потому что Улжан никому не позволяла вмешиваться в свои распоряжения по домашнему кочевому быту, даже суровому супругу, Кунанбаю.

И как бы ни томился, ни метался Абай в душевном беспокойстве, мечтая о желанной встрече на дорогах к джайлау, ничего ему не оставалось делать, как только подчиниться и терпеливо ждать.

За вечерним чаем Абай рассказал матерям, Зере и Улжан, то, что слышал о маленькой Камшат. Рассказал, не утаивая ничего, все до мельчайших подробностей, не смягчая, с жесточайшей откровенностью, не считаясь даже с тем, что это может вызвать страдания и слезы матерей. Пусть матери знают всю неизмеримую во зле страшную беду, в которую попала бедная малышка.



Старая бабушка Зере тяжело вздыхала, низко клоня голову и горестно покачивая ею. Вдруг принялась громко укорять Кунанбая. Улжан, сидевшая молча, неподвижно, словно окаменев, нескоро пришла в себя и сказала Абаю:

– Пока обо всем этом ничего не говори Айгыз. И без того у бедняжки сердце разрывается на части. Сегодня утром она рассказала: «Ночью мне приснился сон, как будто Камшат упала головою в очаг, и ее всю охватил огонь». Байбише у Суюндика женщина добрая, с материнским сердцем. Что бы там она ни говорила, но ее слова верные. Нужно поторопиться скорее перекочевать на Чингиз. Там возьмешь с собой кого-нибудь из взрослых, отправишься в аул к Божею, где бы он ни остановился. Своими глазами увидишь Камшат, на месте разберешься во всем... Лишь после этого, когда вернешься, поставим в известность Айгыз и обратимся к отцу.

На том и порешили. Дней десять спустя Большой аул Кунанбая перевалил через Чингиз по перевалу Акбайтал и осел на отдых у рочище Копа, по соседству с аулами родов Жигитек и Бокенши. До этого дня остальные аулы, поднятые Кунанбаем, не смогли догнать жигитеков, которые прикочевали сюда раньше через другие перевалы. Жигитек и Бокенши, к тому же, тронулись в путь намного раньше остальных.

На *ерулик* – угощение, устраиваемое теми, кто раньше прибыл на джайлау, в Большой дом из соседних аулов принесли чаши с вареным мясом, полные *саба-саба* – двойные бурдюки с кумысом. Все свободные от дел байбише в сопровождении молодых келин явились на поклон к старой матери, Зере. У людей отношение к Кунанбаю могло быть самым разным, но для всей родни во всех аулах дом Зере считался главным домом рода, и по старинному обычаю сюда приносили подношения – часть из какого-нибудь семейного прибýtка – *сыбага* – или освященное веками приношение-ерулик. Но среди тех, кто принес гостинцы, не было ни одного человека из аулов Божея, Байдалы или же из аулов Сугира, Суюндика. Все пришедшие с еруликом были



людьми из небогатых мирных аулов, которые не вмешивались ни в какие распри, жили тихо, скромно, изо дня в день трудясь в степи пропитания ради.

В Большом доме были от души рады тем, кто пришел навестить их и поздравить с благополучным прибытием, и ни словом не помянули тех родственников, которые не пришли.

На другой день по приезде на джайлау Абай поехал, как и обещал матерям, в аул Божея. Он отправился вместе с муллой Габитханом.

Божей разбил свой стан не так далеко от урочища Копа – у красивого пресного озера Сарколь, широко раскинувшего свою зеркальную гладь под зеленой грядой длинного предгорного увала. Около полудня два молодых джигита прибыли туда. Вокруг озера Сарколь расположилось еще немало аулов, и путники спросили у встречного мальчишки на бойком пегом стригунке, гнавшего косячок кобыл на дойку, где находится дом Божея. Мальчишка показал на ближайший аул, состоявший из десятка юрт и кибиток. Аул выглядел не особенно богатым, всего лишь пара белых юрт имелась в нем, остальные юрты и кибитки были из серого, потемневшего от времени старого войлока. Было известно, что бай Божей не столь уж и богат, он человек среднего достатка.

Абай и Габитхан подъехали к дому Божея с тыльной стороны. У коновязи возле юрт не было привязано ни одной оседланной лошади. Видимо, в этот час в ауле не имелось посторонних людей. А свои джигиты могли уехать на какой-нибудь сбор. Но если и проходила где-нибудь сходка родов, то не в этом ауле – скорее всего, в одном из больших аулов на противоположном берегу озера, где виднелось много белых юрт. И в подтверждение этого путники увидели в одном ауле, возле высокой белой юрты, большое скопление мельтешивших людей. Молодые джигиты предположили, что Божея, скорее всего, нет дома, он должен быть там, на сходке. Предположения их подтвердились.



Когда, привязав коней, они подошли к юрте, Абай услышал слабенький, жалобный плач маленького ребенка. Это был плач больного ребенка, безнадежный и тоскливый.

У Абая екнуло сердце, больно обожгло предчувствием недоброго. Он узнал голос плачущего ребенка. Плакала Камшат. Абай и его спутник обошли юрту по кругу и приблизились к входу. В этот миг визгливым криком разразился сварливый женский голос, заглушивший плач девочки. Кричала старая байбише Божея, раздраженная неутихающим жалобным плачем ребенка:

– Эй, угомоните ее! Чего она воет? Заткните глотку подкидышу! Чтоб глаза у нее вытекли!

Выкрикнув это, рассвирепевшая байбише скосила глаза на дверь, когда вошли, подняв войлочный полог над входом, два джигита. Довольно вместительная юрта изнутри выглядела богаче, чем снаружи. По стенам развешены ковры, войлочные кошмы-алаша. Но повсюду был такой беспорядок, что у гостей голова пошла кругом. Пол не подметен, кругом навален мусор, висят какие-то тряпки, на торе громоздится груда разваленных одеял вперемешку с подушками.

Возле высокой кровати сидела перед прялкой здоровенная байбише, с сумрачным видом крутила веретено. Темное, словно чугунное, жирное лицо с вывернутыми раздувающимися ноздрями выставляло натуру необузданную, грубую, раздражительную. С другой стороны кровати на толстых корпе, стеганых одеялах, сидели две дочери Божея, девицы на выданье, но уже довольно перезрелые. Они со старательным видом занимались вышиваньем. Обе были крупные, похожие на мать, некрасивые и грубоватые на вид. Они выглядели такими же злобными и раздражительными, как мамаша, к тому же – непонятно отчего, девицы хмурились и с насупленным видом диковато косились на молодых гостей.

Не дождавшись обычных приглашений, джигиты сами прошли на тор и сели повыше женщин. Негромко, вежливо произнесли салем. Женщины неохотно ответили. И тут снова заплакала Камшат.



Только теперь Абай заметил ее – на полу среди мусора, справа от тора. Она лежала на боку, свернувшись в комочек, поджав коленки к груди. Ничем не укрытая, на грязной подстилке из выцветшей дырявой пеленки. Под голову вместо подушки бросили оторванный рукав старого чапана.

Девочка не узнала прибывших людей. Но, как будто жалуясь им на свое отчаянное положение, она смотрела на них недетскими сумеречными глазами и, вся в слезах, с дрожащими губами, судорожно всхлипывала – словно умоляла спасти от этих страшных, чужих людей, которые мучили ее.

Прежде это была пухленькая, розовощекая, чудесная девочка с черными глазами-смородинками. Теперь ее не узнать – ужасная перемена произошла в ней. Исхудавшая до костей, с руками и ногами, висевшими как плети – это было дитя смерти. Маленькое старческое лицо с впалыми щеками, иссеченное страшными, стянутыми ко рту морщинами – лицо умирающего от голодного истощения взрослого человека.

И только пушистые ресницы на широко распахнутых глазах, казалось, стали намного длиннее, чем раньше. Из этих черных безнадежных глаз прозрачными бусинами катились слезы. Выброшенная взрослыми людьми на погибель, девочка находилась уже в мире неживых.

Увидев девочку, Абай и Габитхан мгновенно, не сговариваясь, вскочили с места и бросились к ней.

Но несчастный ребенок не узнал их, испуганно отвернулся и стал уползать в сторону.

Мулла Габитхан, потрясенный увиденным, срывающимся голосом вскричал:

– О, мазлума! Какие же мучения пришлось тебе вынести, мазлума! Невинное божье создание! – И, не сдерживая себя, громко заплакал.

Абай от гнева и жалости, возмущения и сострадания – этих неистовых чувств, испытываемых им одновременно, весь задрожал, едва владея собой.



Вся зловещая бабья семейка, во главе с женой Божея, принялась визгливо завирать, чтобы только отвлечь гостей от всего, что они увидели воочию. Бабье пыталось оправдать себя и представить дело таким образом, что ими содеяно нечто самое обыденное и заурядное.

– Ойбай, вон, все остальные дети у нас как дети – бегают, носятся, кушают все, что им дают. И только на эту девочку напасть какая-то обрушилась, все животом мается, бедняга! – говорила байбише.

– Болит живот – не разевай на еду рот! А она так набьет себе живот, что он у нее сразу и заболит! Но разве глупому ребенку объяснишь все? – затараторила одна из перезрелых дочерей. – Вот и болеет она. А чуть полегчает – то сразу, что ни попадя, запихивает себе в рот...

– Ведь она так никогда не выздоровеет! Не слушается она, девчонка сама во всем виновата...

Таким образом, неуклюже вступая в разговор, две божеевские дурнушки пытались вести беседу с молодыми гостями.

Абай даже отвечать им не стал. Он не мог разговаривать с ними. Он считал, что видит перед собой людей, лишенных всякой совести, всякого чувства милосердия, сострадания. Они сами и страдать-то не умеют. И эти люди ужаснули его.

Когда байбише Божея, взяв себя в руки, вспомнила, что она хозяйка очага, и стала предлагать им чаю, Абай резко отказался:

– Нет! Не будем пить чай!

И он не тучной хозяйке отвечал – он обращался к самому себе. Абаю по-прежнему не хотелось даже разговаривать с нею.

При виде несчастной Камшат, маленькой беспомощной пленницы этих зверовидных баб, у Абая пропала всякая мысль о еде. Какой там чай! Люди при кончине близкого человека оплакивают его с громкими возгласами «Бауырым! Бауырым». Но что толку кричать, плакать, если человека уже нет? А что толку, если он,



Абай, вконец обезумев от боли и горя, обхватит жалкое тельце Камшат, прижмет к себе с криком: «Бауырым, моя несчастная!» и заплачет перед этими озверевшими людьми? Нет, так нельзя. С другой стороны, если он, разозлившись на этих чудовищ тупости и лицемерия, на несчастных дур, разнесет их очаг в пух и прах – как ему и захотелось вначале, – то какая в этом будет польза для маленькой Камшат? Скорее наоборот, ей станет еще хуже. Мучения малышки увеличатся... Что делать? Выхода нет никакого! В сильном замешательстве, он даже не заметил того, что байбише налила и подала ему в руку чашу с кумысом – он принял эту чашу, с недоумением посмотрел на нее, затем молча отставил в сторону. Но кому он может отомстить, кого наказать? Винываты ли только одни эти толстые бабы? Нет, не только они. Поразмыслив об этом, Абай сухо попрощался и быстро покинул дом Божея. Его всего переполняли гнев и жажда мести – но кому? Бессильная злоба кромсала его сердце. С этими чувствами он ехал всю дорогу от озера Сарколь до своего нового стана Коба. И уже в сумерках, въезжая в аул, он еще был в том же состоянии духа.

Подъехав, он увидел, что к толстому аркану коновязи, протянутому от Большого дома до гостевой юрты, привязан длинный гнедой иноходец отца. Рядом стояла чья-то незнакомая лошадь. Конь Кунанбая еще под седлом, значит, отец прибыл недавно. И с ним сопровождающих нет, он приехал без свиты. Окончательно убедившись в этом, Абай принял решение: он сегодня же обо всем расскажет отцу, о страшном положении Камшат. И с этой решимостью Абай вошел в дом.

Как он и предполагал, Кунанбай приехал один, лишь в сопровождении Жорга-Жумабая. Только молодые джигиты вошли в дом, вслед за ними, словно подсказало ее материнское сердце, чувшшее беду, вошла Айгыз. Она знала, что Абай с утра отправился в аул Божея. опережая всех, она подошла и уставилась в Абая огромными тревожными глазами и спросила падающим, срывающимся голосом:



– Абайжан, родненький... Что увидел, что услышал? По-встречал ли бедную свою сестричку, рожденную для несчастья? Жива ли она?

И Зере, и Улжан, встретившие Абая, смотрели на него с таким же вопросом в глазах. Абай перевел взгляд на отца, тот сидел молча, неподвижно уставив свой пронзительный взгляд на Айгыз. Вид у него был мрачный, неприступный.

Не желая больше сдерживать себя, Абай отбросил свою обычную робость перед отцом.

– Да, мы съездили, все увидели своими глазами. Камшат больна, еле жива. Она не узнала нас. Одичала вся, боится людей, они ей кажутся чужими, страшными. Что еще тут можно сказать! – вдруг выкрикнул он и умолк.

Никогда еще Абаю не приходилось говорить перед отцом о человеческом страдании. Кунанбай, резко обернувшись, холодно посмотрел на сына. Но не сказал ни единого слова.

Все женщины сидели, тихо всхлипывая, горестно покачивая головами, тяжело вздыхая и охая. И тогда Айгыз подняла глаза, полные слез, и стала причитать:

– Карашыгым, свет очей моих, цыпленочек мой, бедная сиротка моя! Кто проклял тебя, когда ты родилась на свет? Будь он сам проклят!

Тут Кунанбай резко поднял левую руку, словно желая подать знак: «Прекратить сейчас же!». Но получилось у него так, словно он отгораживался рукой от обжигающего пламени проклятья.

Айгыз, привычная держаться в страхе и покорности перед мужем-повелителем, сразу же смолкла, голова ее поникла. Однако, продолжая что-то шептать про себя, вдруг заплакала навзрыд.

– А ну, прекрати! Чтоб все беды на твою голову! Чего ты во-ешь, что случилось? Да пропади все твое зло вместе с тобою! Будь ты трижды проклята! – крикнул Кунанбай.

Айгыз не осмелилась хоть слово сказать в ответ. Но Улжан, сидевшая рядом с Абаем, утирая кончиком головного платка свои глаза, подняла голову и молвила с отчаянием в голосе:



– Что это такое? Гори в огне – и все равно молчи? Да мы все предаемся горю по Камшат, все! И не только сегодня! А кому пожалуешься? Кто выслушает нас?

Кунанбай и старшей жене Улжан не дал говорить, одернул ее:

– Прекратите, вы все! Одна начинает, другая поддакивает! Что ты позволяешь себе? Вместо того чтобы успокаивать, рас-
паляешь еще больше!

На Улжан обычно муж не повышал голоса, как это делал на Айгыз, но сейчас выговаривал ей с упреком, строго, с недобрым видом.

Именно в таком строгом тоне он и хотел подавить бунт своих домашних. Но он забыл про свою матушку Зере.

– Ну-ка, не запугивай моих невесток! Что же это такое! – властным голосом крикнула она.

Придвинувшись на ковре, упираясь руками в пол, она пронзительными глазами уставилась в лицо сыну. Абай никогда еще не видел свою бабушку во гневе. Кунанбай перед нею сразу будто съёжился, мгновенно присмирел. Отвел свой взгляд в сторону.

– В месяц, в неделю раз приходится им видеть тебя. Кому же они могут принести свое горе и надежды, как не своему мужу? А ты что с ними делаешь? Если хочешь быть жестоким – будь таким со своими врагами. А чего ты добиваешься, проявляя жестокость к своим близким, к родне, к своим женам и детям? Тебя что, блюдолизы твои, льстецы называют «земным повелителем», посланным с небес? Так вот, никакой ты не посланец неба, и здесь, на земле, у тебя на шее еще больше долгов висит, чем у многих других, ты понял? Здесь, на земле, ты прежде всего отец своих детей. И как бы тебя ни называли «земным повелителем», ты не с неба свалился, а родился от женщины. Я тебя родила! А вот эти тоже матери, и они говорят тебе о своих горестях и печалях. Так выслушай их! Это ты и другие, такие же, как и ты, заставили нас мучиться, ввергли в тоску и печаль. Вы отдали Камшат на растерзание в чужие недобрые руки! Чем кричать на



жен, ищи и найди выход из беды! Что хочешь сделай, но спаси от мучений мою крохотную девочку!

Так повелела разгневанная старая Зере.

В юрте наступила мертвая тишина. Кунанбай, не находя ответа, растерянно молчал. До него дошел голос матери – уже усыпающий, казалось, уходящий навсегда – и вдруг прозвучавший с такой силой, неотразимо, как сама истина. И грозный властитель, уязвленный совестью в самое сердце, склонился перед матерью.

– Что теперь делать? Как мне быть? Ведь так решили старейшины рода Аргын, – словно жалуюсь ей, как мальчик, начал оправдываться Кунанбай.

И тогда Абай, в душе давно возмущавшийся таким решением, наконец, высказался:

– Приговор, отец, безжалостный и жестокий. Как можно решать так бесчеловечно? Такое решение не приведет к примирению. Наоборот, он озлобляет людей. Ведь для родственников, у которых ребенка забрали, жигитеки не станут роднее после этого. А для жигитеков, которым был нужен скот, а не маленький ребенок, что за радость заполучить вместо скота новую заботу и обузу? И разве не дороже было для них получить хотя бы пять кобылиц вместо жизни маленькой Камшат? А если это так, то подумайте, на какой произвол злой судьбы мы бросили самое маленькое, самое невинное среди нас существо? Разве не на съедение волкам мы бросили ее?

Неожиданные слова Абая показались отцу в чем-то убедительными. Это была для него новая мысль. Человека, оказывается, сами люди могут оценить дешевле скота! Для Абая такая цена – неприемлема. И все же – сын рассуждает однобоко. Говоря о человечности и о бессердечии – он забывает о том, что существуют еще и устоявшиеся в веках старинные казахские обычаи и традиции. Сохранить их – важнее жизни отдельного человека. Так мыслил он, но сын его мыслит совершенно по-другому...



– Сынок, ты еще не созрел разумом, хотя искренен и чист душой. Ты ускакал совсем не в ту степь.

Было похоже на то, что между отцом и сыном, несмотря на их разногласия, стало возможным обсуждение самых серьезных семейных обстоятельств. И Кунанбай, хотя и произнес слова «не созрел разумом», все же постарался вникнуть в мысли сына. И к тому же ответы отца Абаю явились косвенными извинениями Кунанбая перед женами Улжан и Айгыз. Явно это было так. Выдержав паузу, он продолжал:

– Не тому учат старинные обычаи. Чтобы примирить враждующие стороны, могут отдать в чужой род и взрослую девушку. Отдают как рабыню, как наложницу или жену – под полную власть тех, кто берет. А мы отдали маленькую Камшат семье Божея, чтобы ее приняли как родного ребенка. Отдавали не в рабство, не для того, чтобы над нею издевались и предавали ее мучению. Здесь вся вина ложится на Божея. Если на то пошло – почему моя дочь не могла бы стать его дочерью? Почему? Но он воспринял ее как дитя врага, ошетинился, как еж, выставив иглы ненависти не столько против нее, сколько против всего моего потомства. Так на чьей шее висит грех? Я могу даже признать, что в чем-то виноват перед ним. Но ребенок при чем? Разве виновна моя дочь в том, что ее вынули из колыбели и, как любимое дитя, передали в его объятия? И если он, в конце концов, не сумел объяснить своим бабам, своим родичам и всем вокруг себя, что это все значит, то великий грех на Божее! Все это я передаю ему в своем послании.

В этих словах, уничтожающих Божея, содержалась суровая правда о нем. И Абай сам, съездив к нему домой, вдруг увидел этого человека совсем в ином свете. Божей мог, по крайней мере, свою жену поставить на место. Если бы, конечно, захотел этого. Об этом был разговор и у Абая с Габитханом, когда они возвращались из поездки.

На следующий день с посланием Кунанбая был отправлен в аул Божея шабарман Жумабай.



И Айгыз отправила вместе с ним одну пожилую женщину из аула – передать жене Божея свое послание. В нем Айгыз просила сказать такие слова: «С моим ребенком, отправленным к ней, в ее семью, она обращается как с ненужным подкидышем. Если бы умнее была да совесть имела, так бы не поступала. Оставила маленького ребенка без присмотра, обрекла на болезни и страдания».

Жорга-Жумабай вернулся из аула Божея мрачнее тучи. Вид у него был необычно для него подавленный и угнетенный. По его приезде Абай первым услышал ответ Божея. Оказывается, во время высказывания шабарманом слов послания рядом с Божеем сидели Байдалы, Тусип и еще некоторые... А когда жена Божея пересказала ему слово в слово послание от Айгыз, то он полушепотом переговорил со своим окружением и после этого жестким голосом высказал такое ответное послание:

«Пожаром, который устроил Кунанбай, дотла сожжена моя честь. Он что, думает: «Рана зажила, кости срослись»? Напрасно так думает – ему невдомек, что творится в моей душе. Или он решил: пусть у других все горит синим пламенем – лишь бы его очаг остался цел? Наверное, Кунанбай не разорился, и дом его не зачах, лишившись одного из своих многочисленных отпрысков. Пусть лучше ничего больше не спрашивает у меня, держится в сторонке. И пусть не городит на меня всякую напраслину – тоже мне, родственничек называется!»

В этих словах таилась неискупленная смертельная обида. О, вражда еще не рассосалась, она вспухла сильнее, как бы напоминая: «Я еще здесь, я не исчезла!»

Кунанбай выслушал ответ, тяжело дыша, потемнев лицом, задыхаясь от гнева. Послание Божея не понравилось и Абаю. Оно разочаровало и сильно огорчило его.

«Где же у них простая человеческая жалость? Тупые бабы, байбише и ее дочери – они могли это сделать, но Божей! Что за жестокость – замучить маленького ребенка, предать его медленной, мучительной смерти, и при этом быть рядом, спокойно



смотреть на все это! Что же он, всегда такой обходительный, почтенный, добродетельный только с виду такой? Других обвиняет в нечестивости, а что же сам? Чем он лучше Кунанбая, которого проклинает, с кем враждует постоянно?»

Так думал Абай, опечаленный и подавленный.

Кунанбай был в ярости. Не мигая, одноглазо уставился на сына, произнес срывающимся голосом:

– Что это, сынок? Выходит, мой ребенок для него не человеческое дитя, а какая-то жалкая зверюшка? Нет, его ненависть ко мне не утихнет до самой могилы. Он же готов разодрать, загрызть, убить любого из моих сыновей, истреблять подряд всех моих потомков, выкалывать им глаза и зубами в клочья рвать! А что мне остается делать? Есть один выход... Я еще немного подожду, потерплю... Надо посмотреть, чем все это кончится, – сказал Кунанбай, и вид у него при этом тоже был подавленный.

По прошествии нескольких дней после этих событий из аула Божея пришла тяжелая весть, все предчувствовали ее – но все же она оказалась неожиданной.

Умерла Камшат. Несчастную девочку, скончавшуюся утром, поторопились схоронить в тот же день, сразу после обеда. Бесчеловечно поступил дом Божея, похоронив ее без уведомления дома Кунанбая и родной матери ребенка, Айгыз. Ужасную весть услышали она и Улжан сегодня из уст одного пастуха.

Не только Кунанбай – все в доме осудили Божея. Особенно старая Зере и Абай – они были убиты его черным поступком. Если недавний ответный его приговор показался им нехорошим, то последнее деяние Божея было воспринято ими как непостижимая, нечеловеческая жестокость. Божей, видимо, и сам почувствовал что-то неблагополучное. Стало известно, что в день смерти девочки он советовался с Байдалы, с близкими: «Может быть, надо сообщить Айгыз?» Но резко воспрепятствовал Байдалы, тут же сообщив, что Кунанбай передал во владение роду Бокенши урочище, принадлежащее роду Жигитек.



С тех пор как земли Копа и Каршыгалы были отобраны у Жигитек и переданы Бокенши, между этими родами каждый день возникали споры-раздоры по поводу пастбищ, выбора кочевых станов, выгонов для кобыл. Прежде жившие в большом согласии между собой, роды эти стали охладевать друг к другу.

Байдалы, Тусип и другие аткаминеры, чувствуя это, потеряли покой: «Как бы не обидеть Бокенши, не выпустить бы их из родственных объятий». Ведь для них Бокенши были главной опорой в борьбе с Иргизбаем. И в ежедневных этих тревогах они видели причину всех бед одного Кунанбая с его кознями. Божей так же болезненно воспринимал беспокойные новые обстоятельства в отношениях с родичами и тоже был очень зол на Кунанбая. Так уж случилось, что именно в это сложное время, на которое выпала смерть маленькой Камшат, Божей вынужден был повести себя столь жестоко.

Но в душе Абая не было прощения Божею, виновному в гибели невинной малютки Камшат. Он все равно не мог бы встать на одну из враждующих сторон в этой борьбе взрослых, в которой испытываются подлинная человечность, совесть и честь.

Кунанбай пришел в крайнюю ярость, когда узнал, что Камшат похоронили, даже не известив его о смерти девочки. В большой аул Кунанбая вскоре по тайному приглашению съехались многие большие люди из родов Иргизбай, Топай, Жуантаяк. И опять Кунанбай, принародно обвинив Божея в нечестивом поведении, направил к нему приговор-послание, составленное от имени присутствующих старшин.

На этот раз к жигитекам был отправлен не Жорга-Жумабай, а поехали с посланием Изгутты и Жакип, братья Кунанбая.

Прибыв к Божею, разговор начал Изгутты:

– Что же ты? Ведь не рабыня же тебе досталась, взятая в набеге! Разве она не дитя Кунанбая была, родимая дочь его? И, наконец, можно же было сообщить матери, чтобы она хоть горсточку земли могла бросить в могилу? Что за низость, что за недостойная мстительность!



Ответ на послание Кунанбая высказал Божей в присутствии Байдалы и Тусипа.

– Это Кунанбаю свойственно искать причину для оправдания какого-нибудь своего нового подвоха. Что надлежало мне сделать? Неужели справить тризну по смерти девчонки, размером с ноготок? Ну, если и справил бы – то что, моя голова убереглась бы от коварного удара сзади, с его стороны? Если считает, что я виноват в смерти, пусть потребует с меня кун, выкуп за смерть. Только пусть сначала попробует взять его у меня, если на то хватит у него силенок.

Было похоже на то, что земельные распри и притязания дошли до предела! Слова Божея означали только одно: раздоры в это лето перерастут в большую войну, грядет лето великой смуты.

Отправив восвояси Изгутты и Жакипа, Божей и его люди тотчас бросили клич, сзывая на большую сходку всех родственников, близких и друзей.

В тот самый вечер, когда Кунанбай со своими людьми принял решение о начале новой военной вражды, в ауле Божея, на озере Сарколь, принимали такое же решение и клялись в верности друг другу Байсал, Каратай, Божей и другие из их союза.

Наступила пора, когда кочевым аулам надо было уже обустроиваться на своих джайлау и зажечь размеренно. Было самое начало лета. Перевалив через хребет Чингиза, запозднившиеся аулы с обеих враждующих сторон спешили занять удобные кочевые станы – Баканас, Байкошкар, Казбала, Жанибек. Было похоже на то, что теперь, с наступлением теплого времени, все летние дни – вольготные дни на джайлау и темные ночи будут заняты боевыми схватками.

В целом кочевка всего народа Тобыкты происходит весьма быстро. В кочующих караванах джигиты, все до одного, не слезают с лошадей, сидят наготове в седлах, с шокпарами и соилами в руках. И по ночам беспокойно объезжают табуны пасущихся коней, на которых им этим летом придется еще поездить.



Всеобщая вражда, нарастая с каждым днем, распространяется все шире. В аулах люди слышат беспокойные крики и шум из соседних аулов, где стар и млад, молодые бабы и старухи – все живут с одной тревогой: «налетят – ограбят», «вот, пришли они, окаянные!». И по ночам не спят, тревожно прислушиваясь к каждому шороху.

Аул Зере, подхваченный волной этого тревожного исхода, быстро снявшись со стана Коба, вскоре добрался до Баканаса. Уже прошел день, как они здесь. Рядом, вдоль реки, собралось не десять аулов, как говорил Кунанбай, а все тридцать-сорок. И оттуда зашпешили в Большой аул Кунанбая множество верховых, вооруженных соилами, привязывали коней возле юрт Улжан и Айгыз. На перекочевке, в пути, Кунанбай не удалялся от своего аула. В Баканасе он устроил военную ставку, стал принимать посыльных, сам отправлял во все стороны гонцов. Сегодня все его атшабары, старшины родов и бии – на Баканасе. Все тридцать-сорок аулов, раскинувшиеся вдоль реки, составили некую орду, как будто для проведения великой сходки или небывалого торжества. Ни большого схода, ни выборов властей, ни великих похорон или тризны не было. Но, несмотря на отсутствие подобных причин, огромная, кипучая орда образовалась. Вновь прибывающих людей, казалось, не счесть.

Абай не знал дальнейших намерений отца. Со дня прибытия на Баканас был Кунанбай постоянно окружен людьми. Со смертью Камшат весь Большой дом погрузился в траур, обе матери и бабушка постоянно пребывали в скорби и печали, Абай отошел от всех дел и забот отца. Слышал только, что на соседние стоянки должны были прибыть несколько аулов Жигитек, Бокенши, Котибак, но они никак не прибывали, и это беспокоило окружение Кунанбая. Никто не знал и не мог предположить, в чем причина. Стали дознаваться – услышали, что караваны остановились на уровне Актотмар, Каршыгалы, Шакпак. Враждующие между собой кочевья обычно старались опередить друг друга на караванных путях, или хотя бы не отстать и следовать, как



говорится, «стремя в стремя», тесня друг друга в узких проходах. Так шло дело и в этом году, но вдруг что-то случилось, и недружественные аулы резко отстали на пути к джайлау. «Почему? Что за этим стоит?» – гадали люди, стар и млад, пока однажды около полудня не пришла в Баканас неожиданная, потрясшая всех весть...

Стало известно, что трое путников из рода Бокенши, заскочившие на временную стоянку аула Изгутты, чтобы напоить лошадей, сообщили: «Уже пять дней, как болеет Божей. И теперь болезнь, похоже, добивает его. Или Божея страх охватил? Или решил, на всякий случай, предусмотреть худшее? Но накануне вечером созвал всех близких родственников и стал с ними прощаться».

Эти слова путников-бокенши оказались правдой.

Весь народ на Баканасе, доселе усердно готовившийся к предстоящим сражениям, на сегодняшний день отставил все и полностью предался обсуждению главной новости. «Говорят, он обратился к родным с прощальными словами!» «Байсал, Байдалы и Тусип попрощались с ним со слезами на глазах!» «Его болезнь напугала родственников». «Неужели он умирает?» Пастухи, встретившись в степи на путях своих, бабы на скотном дворе, конные в седлах, пешие на дорогах, чада и домочадцы в юртах, невестки-снохи, сидящие за чайным кругом, – все только и говорили об этом.

На следующий день недобрые слухи подтвердились. Пришла весть о кончине Божея. Умер он накануне ночью, в час, когда люди готовятся отойти ко сну.

Жумабай услышал о смерти Божея, будучи на дороге, спешно повернул коня и прискакал к дому Улжан. Все сидели за утренним чаем – сам Кунанбай, Зере, Улжан, из детей – Абай, Оспан и Такежан.

Взрослые траурную весть восприняли по-разному. Кунанбай, заметно побледнев, устоял сквозь дверной проем, с приподнятым пологом, на далекие голубоватые холмы и пригорки. Без-



звучно шевеля губами, начал читать молитву. Провел ладонями по лицу. Зере, мгновенно охваченная горем, как сухое дерево пламенем, со стоном вздохнула и затем тихо заплакала, проливая крупные, редкие слезы.

У Абая перехватило горло, он не мог вздохнуть, сердце болезненно заколотилось в груди.

Аулы Иргизбая на Баканасе ждали траурного гонца с известием о кончине Божея. Полагали, что, следуя старинному обычаю, пригласят сородичей на *жаназа*, заупокойную молитву перед погребением.

Следуя тем же старинным обычаям – если и находятся люди в ссоре, пусть даже самой жестокой, их на время может примирить необходимость того, о чем говорится в старинной поговорке: «Надо мириться ради участия на пышном пиру или на похоронах усопшего». Особенно по смерти такого знатного человека, как Божей. Не присутствовать на погребении, не оплакивать покойника – означало отказ признавать его родственником. Кунанбай, Зере и Улжан до самого полудня ждали траурного гонца. Не дождавшись, сами начали готовиться к поездке на *жаназа*.

Для тризны выделили большие двойные бурдюки с кумысом, отобрали скотину, предназначенную на убой, подготовили к перевозке траурные юрты.

Устроили накоротке совет, обсудив, какой дорогой самостоятельно добираться до места. Затем прождали вестника смерти до самого вечера – гонец так и не прибыл. Это было неслыханное дело, но пришлось смириться. Кунанбая на похороны Божея не приглашали. Нарочито, вызываяще обошли его стороною.

Неизвестно было – явилось ли это предсмертным повелением Божея. Так могли распорядиться Байсал, Байдалы, Тусип, унаследовавшие дела покойного. И в том, и в другом случае – неприглашение было тяжелым ударом по Кунанбаю. С застывшей в жилах кровью вражды – и мертвый! – сородич послал ему стрелу мести. В самом славном роду Олжай – да и по всему многочисленному роду Тобыкты не случалось такого проявления



гордыни, такого пренебрежения, такого грубого толчка в грудь своему сородичу, который хотел войти в дом в день скорби.

Кунанбай был сильно угнетен, но, в конце концов, он почувствовал себя оскорбленным. Страшный, неукротимый гнев поднимался в нем. Не по отношению к Божею – на покойников не обижаются. Гнев Кунанбая готов обрушиться на Байдалы, Байсала и все их окружение. Он будет карать их за неслыханное, непристойное оскорбление, подобного которому не знал великий род Тобыкты.

Но вместе с этим Кунанбай ясно понимал, что по смерти Божея вся усиленная подготовка к враждебным действиям должна быть прекращена. В дни траура не должно быть боевых схваток, насилия. Поэтому Кунанбай отдал распоряжение всем акимам аулов на Баканасе и по своим аулам: «Сохранять спокойствие. Вернуться к обычным делам по хозяйству».

Сам он, взяв с собой одного лишь Жумабая, удалился в аул Кунке, уже перекочевавший и поставивший юрты у вод Байкош-кара.

Все это означало, что нависшей над аулами угрозы набегов и битв уже не надо бояться. Ожидавшегося летом «времени смут, всеобщего раздора и вражды» не будет. Смерть Божея отменила все это. А что будет? – возникал вопрос. На это достаточно ясного ответа не было. Ясно было одно – в траурные дни такого человека, как Божей, нельзя вскакивать в седла и, размахивая оружием, нестись друг на друга.

Не получив приглашения на похороны Божея, Зере и Улжан сильно опечалились. Но пришлось смириться. Убитые горем и стыдом, эти две невинные, милосердные души проливали слезы по Божею, сидя дома. Накрывая траурный дастархан, просили Абая и Габитхана почитать заупокойные молитвы. В течение недели жарили поминальные лепешки, читали Коран, совершали похоронные обряды, которые они хотели бы совершить на могиле Божея.

В эти траурные дни аулы родов Жигитек, Бокенши, Котибак, разбросанные по просторам джайлау Каршыгалы, заполнились



приехавшими людьми. Не было конца прибывающему днем и ночью потоку этих людей: мужчин, женщин, старых и молодых. С неумолкающим криком «бауырым» по усопшему Божею шли они, скорбящие и плачущие.

Самые близкие родственники Божея, делившие с ним радости и горе, повседневные заботы и хлопоты, и сородичи дальние, и те, что жили рядом, прибывали со своими сабами кумыса, ставили свои вместительные юрты для гостей, пригоняли скот для забоя. Не забывали при этом захватить с собой многочисленную обслугу из мужчин и женщин. Готовилось особенное, великое похоронное торжество, какого давно не бывало в этих краях.

Смерть Божея не позволила многим аулам Жигитек и Бокенши добраться до дальних пастбищ, которые успел занять Кунанбай. И теперь было решено, что они будут оставаться здесь, на месте похорон, дожидаясь сороковин после того, как будут справлены и поминки седьмого дня. Все эти аулы широким кольцом окружили аулы Божея.

Божей болел недолго, не больше недели. Он, как только слег, так больше уже и не смог подняться. С первого же дня здоровье стало резко ухудшаться. Вскоре стало ясно, что Божей неотвратимо приближается к могиле, его как будто притягивала сама земля. На третий день болезни он начал метаться в постели, задыхаясь, весь в сухом жару, томясь и не находя себе места.

Байсал, на своем веку повидавший немало смертей, потрогал пульс у больного и после этого сидел рядом, безнадежными глазами глядя на него. Тут же находились Тусип, Байдалы, Суюндик и другие. Кроме друзей, соратников, близкой родни никого больше не было. Все ждали, что Божей захочет сказать им что-то важное перед смертью. Байсал проговорил негромко:

– Сейчас у него приступ. Хорошо бы ему как следует пропотеть – это может помочь. Пот выпаривает болезнь изнутри.

Божей вдруг вздрогнул, открыл глаза и, с трудом ворочая языком, заговорил. Его бескровное, землисто-серое лицо стало меняться на глазах, наливаясь свинцовой тяжестью. Срываю-



щимся голосом, то громким, то совсем утихающим, произнес невнятно:

– Приступ?.. Изнутри, говоришь?.. Ну да, хворь пожирает меня изнутри. Все кончено... Ухожу. Кунанбая будет просторнее... на земле. Я... я скоро откочую в иной мир. Перестану стоять на его пути... Но... что... будет с вами?

Из четверых его соратников, сидевших рядом, только один Суюндик заплакал. Трое остальных хранили суровое молчание, сидели, словно окаменев.

Таково было прощальное слово Божея. После этого он уже ничего не говорил, впал в беспамятство. Через четыре дня скончался, не приходя в сознание.

Решение не приглашать Кунанбая на похороны приняли Байсал и Байдалы.

Божей испустил дух поздно вечером, и эти двое, словно потеряв рассудок, ночь напролет рыдали и вопили вместе с женщинами, детворой, стариками и молодыми джигитами. Когда вновь прибывшие люди вошли в дом и с рыданиями стали обнимать родных и друзей Божея, Байсал вдруг резко выпрямился, вскрикнул и рухнул на пол. Он был в обмороке. Байдалы, Тусип и Суюндик вынесли его из толпы, уложили в сторонке, и Байдалы сказал:

– Слезами не вернешь батыра Божея. Если бы он мог ожить от наших пролитых слез, то давно бы ожил. Слез пролито много. Посмотри сам! – И Байдалы показал на множество людей, женщин и мужчин, скорбными причитаниями оглашающих ночное небо.

Байдалы, сам убитый горем, непрерывно, тяжело вздыхающий, тем не менее призывал Байсала:

– Возьми себя в руки. Крепись. Пора всем нам прийти в себя, – и тут же обратился он к остальным вокруг себя: – Будем готовиться к похоронам. Надо отправлять гонцов.

Этой же ночью, собрав человек пятьдесят молодых джигитов, придав им в руководство несколько умудренных в деле стариков, друзья Божея начали готовиться к погребальным действиям.



Байдалы решал, кого приглашать, куда посылать гонцов. И это было, в основном, его решение – отлучить от похоронных торжеств Кунанбая и его аулы.

Уже за полночь человек сорок сели на коней, у каждого гонца на поводке была запасная лошадь. Им выделили самых выносливых, быстрых коней, гонцы со скорбной вестью разлетелись в ночь, во все стороны. Должны были быть оповещены соседи и родственники всего Тобыкты – от ближайших Керей, Матай и до самых дальних, обитающих на окраинах тобыктинских владений родов Шор и Бошан, что у пределов Каркаралы.

На восходе солнца подвезли и поставили рядом с юртой Божея самую большую, о восьми створках, белую юрту Суюндика, в которой до погребения должно было покоиться тело усопшего. Внутри траурная юрта была пуста, лишь весь пол устлали коврами. С правой стороны от входа поставили высокое ложе, накрытое черным покрывалом. На это траурное ложе и вознесли покойника, оставили до его погребения. Здесь должны были читать заупокойные молитвы.

При выносе тела Божея из его собственного дома и перемещении в траурную юрту был великий плач, раздались скорбные причитания жен и дочерей Божея, всех его домашних.

Справа от входа Байдалы собственноручно укрепил траурный стяг.

Этот стяг на конце копия был поднят в знак обета живых усопшему в том, что его достойно проводят в последний путь, в признание великого почитания его памяти, в знак печали и скорби по нему. Если бы покойный Божей происходил из ханского рода, то вывешено было бы знамя белое, голубое или полосатое. По цвету знамени определялся уровень знатности покойника. Если умирал простолюдин, то цвет стяга зависел от его возраста – по этому вопросу Байдалы советовался с Суюндиком, большим знатоком народных обычаев.

Суюндик пояснил, что по смерти молодого человека стяг полагается красный, у тела старого человека должен быть поднят стяг белый. А для человека среднего возраста, каким был Божей,



траурный флаг положен быть двухцветным, полосатым – черно-белым. Такой стяг и вывесил Байдалы.

Этот траурный знак говорил об особом почитании Божей и означал, что траурный срок будет длиться в течение года после погребения – и закончится асом, большой поминальной тризной.

Совершен был еще один ритуал, освященный старинными обычаями, – после вывешивания стяга подвели к дверям траурной юрты и привязали к косякам, с разных сторон, двух коней. Один был огромный темно-рыжий жеребец с крутой шеей, на нем Божей ездил еще прошлой зимой. Другой – темно-серый, подтянутый, стройный – был взят Божеем под седло только весной этого года.

Увидев коней, на которых всеми чтимый Божей ездил совсем еще недавно, народ издал громкий вопль горя и печали. Многие плакали навзрыд, старики клонили свои головы к крюкам посохов, на которые они опирались обеими руками, иные падали на колени и, упираясь ладонями в землю, склонялись в низком поклоне.

– О, несравненный наш арыстан, лев отважный! О, родимый мой! Бауырым-ай!

И вновь Байдалы успокоился раньше других. Он подошел к темно-рыжему коню, стоявшему справа от двери.

– Друг верный! Ушел твой хозяин, оставил тебя! С кем теперь останешься? Одинокий ты, покинутый навсегда! – сказал он, достал нож, ухватил одной рукою коня за челку и резким движением обрезал ее.

Затем, обойдя лошадь сзади, ухватил ее за хвост и, с хрустом перерезая грубый конский волос, отхватил полхвоста, чуть повыше сустава задней ноги. То же самое проделал он и с темно-серым жеребчиком. Обкарнав обоим лошадям хвосты и гривы, он разнуздал их и отпустил к другим, ходившим недалеко. И сразу обе стали выделяться среди остальных. На этих двух лошадях, заметно помеченных, никто не должен был ездить.



За год они должны нагулять жир, и потом их забьют на поминальной тризне хозяина.

Байдалы посмотрел вслед лошадам и объявил для всех:

– У темно-серого хвост и грива черные, масть подходит. Пусть этот конь и будет траурным конем. При кочевке надевайте на него траурную сбрую от батыра-хозяина, пусть конь ходит под его седлом. Накрывайте его черной траурной одеждой Божея.

И это решение Байдалы не подлежало обсуждению.

После чего все акимы аулов, совместно со старшинами, во главе с Байдалы и Суюндиком, приступили к обсуждению того, сколько и какого поголовья скота пойдет на забой для предстоящей тризны по Божею.

«Смерть у богатых таскает золотые плоды, у бедных оголяет зады» – так говорится, но Божей не беден, хотя и не богат, и у него много сильных сородичей и богатых друзей, которые вместе с ним, пока он был жив, достигали общих целей, трудились и наживали. Так что они не могут предать его забвению! Разве останутся в стороне, когда друга еще не похоронили?

Эти мысли не были высказаны вслух, но каждый из оплакивавших Божея родственников и друзей думал именно так.

Все расходы они берут на себя, никак не утруждая дом Божея. Договорились между собой, что оттуда даже хилого козленка не возьмут для поминок. В течение траурного года всякий бесприютный, усталый, проголодавшийся путник, близкий и дальний, может спешиться и привязать коня у очага Божея. Их благодарные молитвы обернутся Божьей благодатью для аруаха Божея на том свете. Байдалы и сподвижники его хорошо запомнили назидания мулл и ходжа, внушавших им «исполнять все обряды по покойнику, согласно обычаям, не оставляя в забвении дух умершего», и это будет угодно Богу.

Все равно очагу Божея расходы еще предстоят, причем неисчислимые расходы! Потому и самые первые необходимые затраты должно разделить меж друзьями-соратниками Божея и его сородичами. И они, проявив необычайное единодушие и



подлинное братство, не позволили себе удариться в скупость. Подобного общинного жертвоприношения – *пидия* на алтарь доброй традиции давно уже не происходило в степи. Смерть и похороны Божая вновь вернули к кочевникам этот высокий обряд траурного благодеяния.

Во главе с Суюндиком, Байсалом и их окружением родичи наперебой вызывались помочь, перечисляя все то, что они жертвуют из своего скота, из ценных вещей, драгоценных изделий: «я столько-то даю на похороны», «это мои приношения», «это мой вклад на помин души». На пожертвования давали – кто пару лошадей, кто верблюдицу, кто слиток серебра – *жамбу*, кто слиток золота или серебра в форме копыта жеребенка – *тайтуяк*, кто такой же слиток в форме бараньего копытца – *койтуяк*.

К концу траурного благотворительного собрания просчитали, что весь сбор *пидия* составляет несколько «девяток». Девять верблюдов – главная девятка. Затем – девять лошадей. По «девяткам» разделили подношения овцами, козами, шубами, коврами – и прочая, и прочая.

Наутро, в продолжение того же собрания, было решено, что эта белая юрта, с траурным флагом, должна быть обставлена самыми дорогими, роскошными вещами и обиходными предметами, соответствующими представлению о величии происходящих событий. Суюндик, Байсал, Байдалы и многие другие богатые люди решили принести в этот траурный очаг свои самые ценные вещи домашнего обихода: ковры, богатые шубы, редкостные тулупы необычной выделки, настенные кошмы-тускиизы с красочным народным орнаментом. Уже к полудню все эти вещи были доставлены, сложены в юрте – и будут развешены и расставлены сразу же на следующий день после похорон.

В доме Божая находилась его байбише, повязанная белым платком, с распущенными по плечам черными волосами. На бескровном, серовато-бледном, усталом лице ее проступали синеватые узлы вен. Щеки были глубоко исцарапаны ногтями и кровоточили. Она сидела молча, обессиленная многодневным иступленным плачем.



Обе дочери Божея сняли свои девичьи шапочки-борики и повязали головы черными шелковыми шальями. На смерть отца они сочинили тоскливый плач-причитание и с утра раннего, как только начиналось посещение соболезнующих, и потом весь день напролет осиротевшие девушки встречали и провожали траурных посетителей этим плачем.

Отовсюду, со всех просторов по обе стороны хребта Чингиз, от степных долин и горных джайлау, от холмистых нагорий и лесистых склонов прибывали бесконечными потоками люди. От поступи коней толп скорбящих содрогалась земля.

Решено было похоронить Божея не на горном джайлау, а на его земле у зимнего стана Токпамбет. И тело его отправилось назад, в обратную кочевку, вновь преодолевая перевалы Чингиза.

На похороны Божея, оплакиваемого всем народом, не пришли, чтобы бросить в могилу горсть земли, только Кунанбай и его люди.

ПО ПРЕДГОРЬЯМ

1

Еще до полудня далеко, а на берегах Баканаса воздух раскалился, дышать стало нечем. На небе не видно ни облачка, даже с медную монетку величиной. Уже несчетно дней прошло с тех пор, когда в последний раз прокропил дождь – с тех пор ни капли не выпадало, ни единого облачка в небе не появлялось. Были другие джайлау, расположенные по склонам Чингиза, с дождями и прохладой ветров, – но в южную сторону от Баканаса по этому времени тянулось неподвижное пространство пышущего жарой пекла. Заходили сюда кочевники только ради водопоев невысыхающего Баканаса, на берегах которого заманчиво зеленели широкие полосы заливных лугов да темнели вдоль берегов продольные, темные заросли карагача. В продолжение этой зелени, еще южнее, простирались по плоскогорью поля ковыльные и полынные – сероватые, в легкую матовую прозелень. Лучших мест для пастбищ не найти было кочевнику, если бы только не испепеляющая жара.

Измученный духотой, Абай вышел из юрты и увидел, как все живое вокруг пытается спастись от несусветной жары. По аулу уныло бродят люди и ягнята в поисках тени.

Возле Большой юрты, с теневой стороны, лежала на брюхе пегая, желто-белого окраса, огромная костистая собака, вывалив до земли язык, часто дыша, словно умирая от жары.

Табун холостых кобыл, оставив пастбище, ушел на самый верх высокого холма и там, сбившись в единое тело, спасался на ветру от оводов и слепней.



Отары овец, возвращавшиеся с кормежки к полуденному водопою, бегом неслись к воде; забежав в жидкую грязь по брюхо, бараны лежали на мелководье, бурно поводя боками. Никуда бы они не двинулись отсюда, ни на какую кормежку, так бы остались лежать в воде, если бы их не сгоняли чабаны.

Коровы залезли в широкие мелкие лужи, оставшиеся после разлива реки, и там, удобно развалясь, возлежали на боку, перетирая во рту жвачку. На широком пустыре из угрюмо замершего на месте стада отделялись некоторые телки и бычки и носились взад-вперед, задрав хвосты – замученные оводами и осами. По их невероятным прыжкам, по выпученным глазам, которыми они вращали во все стороны, словно бесноватые бахсы, по раздувающимся ноздрям и утробному реву можно было подумать, что они взбесились.

На всех юртах тундуки сверху были плотно накрыты кошмяными фартуками, притянутыми веревкой к опоясывающему круглый дом волосяному канату – *белдеу*. Зато самый нижний ряд войлочной оболочки юрты был снят с решетчатых стен – *кереге*, чтобы жилище свободно продувалось сквозняком.

Абай не знал, куда деваться от жары, долго стоял на месте, безразличный ко всему, утомленно зевая, потом нехотя направился в сторону реки. С капельками пота на носу, с гудящей головой, проклиная про себя безжалостное солнце Баканаса, Абай брел, едва находя силы переставлять ноги.

Подойдя к берегу, он сверху, с кручи, увидел шумную ватагу купавшихся в реке мальчишек, среди них своих братьев, Оспана и Смагула. Дети наслаждались прохладной водой, барахтаясь в ней, ныряя возле самого берега, оглашали берег звонкими криками и смехом. Абай преднамеренно удалился от буйной детворы в сторону, устроился отдельно, разделся и бросился в воду. Он научился плавать не так давно, но уже прилично держался на воде. Переплыл широкий, полноводный Баканас туда и обратно. Взбодрившись и повеселев, Абай стал нырять с берега в воду.



Он не обращал внимания на шум и гам мальчишек, не смотрел в их сторону. Но они, оказывается, следили за ним. Прибежал Оспан и привел за собой остальных. Хлопая себя по мускулистым бедрам, бесштаный Оспан восторженно орал:

– Абай! Абай! Нырни еще раз! Прыгни, Абай! Я тоже прыгну!

И Оспан с разбега заскочил на спину брата Смагула, тот едва удержался на ногах. Попытался сбросить его с себя, но брат держался на нем цепко.

– Хочешь меня скинуть?! Ты что! Да Оспана утром не мог скинуть белый стригун! Не брыкайся давай!

Оспан, крепко обхватив одной рукою брата за шею, другой будто настегивал плеткой и дрыгал ногами, пятками прищипывая «коня».

Усмиренный волей всадника, Смагул понесся в сторону Абая, проскакал мимо него и вместе с Оспаном ухнул в воду.

Шалости и буйство Оспана в последнее время стали надоедать Абая. Если год-два назад он сам мог забыть и принять участие в какой-нибудь озорной выходке братишки, то со временем его проделки и назойливость стали раздражать старшего брата. Теперь Абай мог, когда Оспан чересчур расходился, по-настоящему рассердиться на него и прогнать от себя.

Вот и сейчас, когда Оспан с приятелями нагрянули на его тихое место, Абай предпочел лучше удалиться, вылез из воды и стал одеваться.

Оспана же это ничуть не смутило.

– Смотрите, я плыву, как Абай! – крикнул он и, лежа животом на мелком дне, выставив из воды зад, зазолотил ногами, словно разбрыкавшийся жеребенок.

Абай не спеша оделся, пошел назад. Взобравшись по круче берега, наверху, прямо перед собой, увидел старшего брата Такежана, сидевшего на коне, с ястребом на руке. Как всегда, брат был нарядно одет, выглядел уверенно. Видимо, только что подскакал, – конь под ним, саврасый жеребчик-четырёхлетка,



был взмыленным. Засекаясь на месте, конь нетерпеливо подавался то в одну сторону, то в другую, никак не мог успокоиться. Ястреб на руке всадника был под колпаком.

К седлу такежановой лошади приторочены гусь и две утки. Увидев охотника, с реки набежала на него детвора. С криком пристали к нему:

– Ага! Агатай! Дай гуся!

– Мне утку!

С реки бежали отставшие, на ходу натягивая одежду, кричали:

– И мне гуся!

– Ага, а мне дай утку!

Иногда Такежан, возвращаясь с удачной охоты, одаривал детвору чем-нибудь из своих трофеев. Но это непросто обходилось для них – Такежан заставлял их долго кланчить, выпрашивать и помогать.

Дети хорошо знали, что Такежан так просто не отдаст, но в конце концов все равно поделится, и кланчили упорно, азартно, не отставая.

Не обращая внимания на мальчишек, Такежан с усмешкой превосходства смотрел сверху вниз на Абая. Он явно хорохорился перед ним, что уже джигит, что имеет ловчую птицу, выезжает на охоту, – с Абаем же мало кто считается, все еще воспринимая его как зеленого юнца. К тому же этим летом Такежан ездил в аул своей невесты. У байского сына не было недостатка в друзьях из молодых джигитов, чуть постарше его возрастом. Вместе с ними по ночам он гонялся в кустах за девушками, производя великий шум и переполох в аулах. Абай, конечно, не был способен ни на одно из этих славных мужских дел.

Оспан и Смагул первыми подбежали к нему, выклянчивая дичь у старшего брата. И этот брат для начала крепко выматерил их. Еще одно преимущество, на его взгляд, которое он имел перед Абаем – тот не ругался. Перед отцом, грозным



Кунанбаем, Такежан и пикнуть не смел, не то чтобы материться. Однако в стороне от него крыл по-черному всех: детвору, чабанов, скотниц, сверстников.

– Чтоб ваших тещ туды и сюды... Эй вы, засранцы! Лучше бы ежевику набрали с утра, чем тут зря мутить воду.

– Ежевику!

– Агатай, а где ежевика?

– Ей, агатай, где ты видел ежевику? Ну, скажи, где! – снова стали теребить Такежана дети.

С наступлением лета вся детвора на джайлау только и мечтала о ежевике. Однако вблизи аулов на Баканасе ежевику никто не находил. И никто не знал, поспела она уже или не поспела.

При упоминании о ежевике встрепенулся и Абай. Стал спрашивать у Такежана. Тот сообщил, что, проезжая мимо людей, слышал с седла: рядом с Баканасом протекает река Жанибек, возле нее, за серыми взгорьями, что поближе к подножию Чингиза, ежевики этой тьма-тьмущая.

– Не сегодня-завтра туда уже перекочуют жигитеки и бокенши. Как они там появятся – ежевику вы только и видели! Все соберут, а вам ничего не достанется. Так что надо поспешить, опередить их!

При этом сообщении Такежана детей охватило великое беспокойство.

– Ну, конечно, надо поспешить!

– Скорей поедem! Вперед других соберем!

– Ловите коней!

– Ежевика! Ежевика! О, Алла, дай нам ежевики!

Всполошилась вся детвора. Мальчишки сразу забыли про гуся и уток. Поехать за ежевикой хотелось и самому Такежану. Он кивнул головой Абаю: «Поехали!» Абай несколько задержался с ответом, но потом решил, что на худой конец можно ведь и просто развеяться, прокатиться на коне.



Прошло времени не больше, чем вскипятить чай, как вся мелюзга аульная, повскакав на стригунков, вслед за Такежаном и Абаем шумной ватагой вылетела из аула.

Почти каждый мальчишка скакал на своем жеребенке, но кое-кто из малышей, еще не имевший своей лошади, сидел сзади своего брата или старшего родственника, крепко обхватив его и прилипнув щекой к его спине.

Оспан сразу же намного отстал от других. Не послушавшись табунщика, который советовал поехать на объезженной лошади, мальчишка вскочил на стригунка, чья объездка началась только сегодня утром.

Жеребенок этот давно приглянулся Оспану.

Белоснежный, ладненький стригунок уже дня четыре горячил воображение Оспана. Кобыла-мать, ожеребившаяся в первый раз, оказалась на удивление строптивой, злой, весь прошлый год не давалась доиться, и стригуна ни разу не привязывали. Таким образом, он и в этом году оказался сосунком – сосал матку уже второй год! Как и его мать, жеребенок оказался полудиким. Облюбовав его, Оспан стал приставать к табунщику Масакбаю, знаменитому укротителю лошадей, чтобы тот поймал стригунка. И вот сегодня на рассвете, во время дойки кобыл, Масакбай заарканил его.

Масакбай был мастер укрощать самых диких, строптивых лошадей. Он круто взялся за белого стригунка, чья злоба и дикое упрямство удивляли даже его. С визгливым ржанием, брыкаясь, затем становясь на дыбы, жеребенок не подпускал к себе. А когда объездчику удалось вскочить на него, стригун мигом сбросил его. Так он сбрасывал Масакбая два раза. Никогда еще не оказывавшийся на земле дважды, табунщик рассердился. Он начал душить животное арканом, потом скрутил верхнюю губу волосяной закруткой, безжалостно исхлестал его, гоняя по кругу. Наконец бросил ему на спину большую попону, туго обмотал по брюху широкой тесьмой, *баскуром*, и вновь запрыгнул на стригуна. Крепко ухватив за уши, стал рвать



и выкручивать их. Хлеща плетью по голове, погнал его вперед и долго скакал по степи. Вернулся на взмыленном коньке и хотел привязать его к натянутому меж кольями шерстяному канату, *жели*, к которому привязывали жеребят и ягнят во время дойки их маток.

Но тут Оспан, до этого с великим азартом следивший за действиями мастера-объездчика, уверенный в том, что стригун обессилел, сам, без спросу запрыгнул ему на спину, не слушая опасных криков взрослых джигитов: «Стой! Куда? Убьет!» И хотя у стригунка в кровь была разодрана скруткой губа, весь он был в мыле – дикарь не сдался. Едва только Оспан оказался на нем, жеребчик вновь принялся крутиться, брыкаться, подкидывая задние копыта – яростно сражался еще долгое время. Но Оспан удерживался на нем, с улыбкой восторга на физиономии, и сколько бы ни прыгал, ни бесновался стригун, мальчишка сумел усидеть на нем, ни разу не упал. Об этом-то он и хвастался недавно на реке, вскочив на спину своему брату Смагулу.

А теперь Оспан отстал от других, задержавшись у *жели*, потому что хотел скакать на белом стригунке, а тот снова озверел и не давал приблизиться к себе. Но мальчик изловчился и сумел вскочить на него. Стал исступленно нахлестывать плеткой крутившегося на месте стригуна. И тот, отчаявшись сбросить с себя этого легковесного, но такого цепкого наездника, наконец, сорвался с места и понесся вперед. А мальчишке только этого и надо было – он подгонял ударами камчи и без того несущегося с безумной быстротой жеребчика и кричал звонким мальчишеским голосом:

– Аруах! Аруах! – призывал дух предков.

На бешеном галопе он вскоре догнал Абая и остальных.

Но стригун еще не все показал: когда он на бешеном скаку, строптиво отвернув в сторону голову и косясь на маленького седока, подлетел к табунку детей во главе с Такежаном, то с ходу, крепко врезался в его коня. Всех раскидало по сторо-



нам, все смешалось, лошади закружились на месте, и, когда Оспан попытался управиться с жеребчиком и выбраться из беспорядочной толпы, стригунок вновь начал остервенело взбрыкивать и, поджимая уши, крепко закусив удила, закружился на месте.

Абай испугался за Оспана: как бы не сбросил его, не убил дикий жеребчик. Но взглянул на лицо брата – и был поражен! Широко раскрытые глаза мальчишки горели вдохновением, казалось, искры сыпались из них. Он наслаждался борьбой с диким животным! Страх в нем не было. Казалось, он подстрекал стригунка: «А ну-ка, взбрыкни еще! Что ты еще можешь показать?» И тот взбрыкивал все неистовее, вставал свечкой, а затем прыгал вперед и поддавал задом – но на все его уловки Оспан находил свой ответ и удерживался на коне.

Его было не узнать – уже не осталось в нем ничего от озорника и шалопая Оспана. Глазам Абая в этот миг предстал не мальчик, но истинный *палван*, бесстрашный единоборец, из породы степных батыров.

Все остальные мальчики, стихийно образовав круг, с волнением и азартом наблюдали за его борьбой с полудикой лошадью.

Такежан от восхищения пощелкивал языком и, не в силах удержать в себе чувство гордости за братишку, ласково крыл его самым отборным матом.

Кто-то из друзей Оспана, уже достаточно натерпевшись страху за него, хотел помочь ему укротить дикаря, стал хватать за повод, виснуть на нем – но Оспан крикнул яростно:

– Не лезь! Отойди! – и никого не подпустил близко.

Наконец, белый жеребчик решил, низко опустив шею, молотя задними копытами воздух, сбросить седока через голову. Оспан ответил тем, что подsunул ступни с двух сторон в подгрудки, под передние ноги стригунка, а сам запрокинулся назад, улегся на его спину и ловко джигитовал. Тогда взбешенный конь стал резко подкидывать свой подбористый зад и лягать сразу обеими



задними ногами воздух – Оспан, не вынимая своих ступней из подмышек передних ног стригуна, согнулся калачиком, припал к гриве и обхватил руками его шею.

Через какое-то мгновение стригунок опять встал свечкой, высоко подняв передние ноги и перебирая ими, как псы во время драки, потом приземлился и через пару заскоков в одну сторону, в другую, вдруг с безнадежным видом остановился, опустил голову, топчась на месте. Дикарь пал духом, он был покорен. И тогда Оспан, с горящими щеками, с мокрыми от пота взлохмаченными волосами, бросил сверкающий взгляд на Абая, на друзей – и неожиданно звонко расхохотался.

И друзья его, столпившись вокруг, тоже громко, радостно, от души рассмеялись. Никогда еще никто из них не видел ничего подобного, сам их старшой, Такежан, уже считавший себя джигитом, не мог бы показать такой джигитовки. Радуюсь и восхищаясь братишкой, он воскликнул:

– Ту-у, чертенюк! Ты что, сумасшедший, что ли? Ничего не боишься! А? – И, стегнув камчой своего саврасого жеребца, с места сорвался в галоп. За ним понеслись и мальчишки на своих жеребчиках, и белый стригунок, наконец вняв науке, тоже последовал вслед за другими. Оспан, нахлестывая своего беляка, одновременно пришпоривая его пятками, закричал тонким мальчишеским голосом:

– Аруах! Аруах! Масакбай! – с благодарностью призывая дух предков табунщика Масакбая, который одним примером своим обучил Оспана мастерству объездчика.

Прошло немало времени с того часа, когда мальчишки начали собирать ягоды на зеленом покате горы, покрытом густым разнотравьем и овейным душистым ароматом спелой ежевики. Солнце уже склонилось за поздние пополудни, на всем видимом обширном просторе долины тени от холмов и пригорков длинно вытянулись, на дне потемневших низин повеяло вечерней прохладой. Стреножив коней и отпустив их вольно пастись, мальчишки насели на густые заросли ежевики,



сплошь багровые и черные от несметных ягод. Уже давно бы им пора насытиться, но оторваться от ягод невозможно, руки сами тянутся к тускло лоснящемуся невиданному изобилию темных ягод. И такая была нетронутая ягодная сила, что дети совсем недалеко продвинулись с того места, откуда начали сбор. Сначала просто ели, снимая ягоды с колючих веток полными горстями и отправляя в рот. А то, что не попадало в испачканный красным соком рот, набиралось в карманы чапанов, в тюбетейки и тымаки, снятые с головы, в кожаные торбочки.

Зачарованная тишина предвечерья в горах – и вдруг до слуха детей долетает странный надвигающийся густой звук. Они не знают, что это похоже на гул и отдаленный рев всепожирающего степного пожара.

Дети встрепенулись, вытянулись, молча посмотрели на Абая и Такежана – более старших.

Абай внимательно всматривался в ту сторону, откуда доносился шум, – там виднелся с широкой округлой вершиной холм, один из многочисленных увалов предгорья Чингиза. Абаю что-то подсказывало, что из-за пустынной вершины холма должно что-то появиться. С обратной стороны увала бесшумно вышли на его верх лошади, – огромный табун перевалил вершину и двинулся широким потоком вниз по склону. Табун направлялся в долину. Бесконечный, тесно сплоченный поток лошадей продвигался все так же бесшумно и быстро. Часто, негромко пофыркивая, мотая опущенными головами, кони шли удивительно спокойно и уверенно.

От них доносилось детское ржание жеребят и стригунков. Опережая взрослый табун, игриво носились поперек его хода двухлетки и трехлетки, полные просыпающихся в них телесных сил. И слушая их голоса, стригунки из мальчишеского отряда возбужденно отзывались, а некоторые, даже в путях, попытались следовать за табуном. Двухлетки-трехлетки, приподняв головы и наострив уши в сторону проходящего косяка, дружным ржанием отвечали на призывы незнакомых сверстников.



Абай и мальчишки разбежались по своим коням. Огромный косяк лошадей, внезапно появившийся в этом безлюдном краю, оказался единым табуном кочующих аулов.

Когда, немного оробевшие, мальчики вскочили на коней, собираясь уже поскакать в сторону своего аула, – на той же широкой вершине увала, где появлялись лошади, показался кочующий караван, перевалил вершину и потек вниз, следом за лавиной лошадей. Обособленный от остального большого каравана, отдельно, впереди двигался маленький караван верблюдов в пятнадцать. Изрядно отстав от него, из-за холма начали появляться, верблюд за верблюдом, остальные караваны, идущие близко друг от друга, насчитывающие по десять верблюдов, затем караваны по пятнадцать верблюдов, и вслед за этими пошли вовсе мелкие – по пяти-семи верблюдов. Вся вереница караванов растянулась на довольно значительное расстояние.

Следом за прошедшим косяком проехало много верховых джигитов на конях. Все они были вооружены – кто с соилом, кто с шокпаром в руках; иные со свернутыми арканами. Среди них в особинку смотрелись джигиты-охотники с беркутами на подставах, устроенных при седле.

Пока Абай и сотоварищи сплачивались вместе в одну кучку, отряд конников, следовавших за табуном, проехал мимо, – и вдруг вслед за ними показался необычный караван, сразу привлекавший к себе внимание Абая и всех мальчиков. Вокруг этого каравана ехало множество женщин на лошадях. И молодые, нарядно одетые, и байбише в огромных белоснежных головных уборах. Под ними были хорошие лошади, сплошь иноходцы и молодые, поджарые, еще не жеребившиеся кобылицы.

Вся конская сбруя: уздечки, седла, стремяна, чепраки на конях и подхвостники – все сверкало и вспыхивало на солнце искристым блеском серебряной отделки.

Впереди большого каравана, на расстоянии от двери до тора, ехала группа девушек, выстроив лошадей в ровный ряд.



В самой середине их строя шагала темно-серая лошадь с коротко отрезанной челкой. Чуть отстав от этого ряда, ехала одинокая байбише с угрюмым лицом. Ее голову прикрывал черный платок. Вид каравана из пятнадцати верблюдов, возглавляемого ею, был зловещ и странен. Все вьюки, притороченные к верблюжьим горбам, были покрыты черными коврами, серыми кошмами, черно-белыми покрывалами-текеметами. Представлялось, что караван с его огромными тюками, нависающими с обеих сторон верблюдов, идет-покачивается по дороге как-то особенно грузно и тяжеловесно.

Удивленные видом столь странного каравана, мальчишки с Баканаса сидели на своих сгрудившихся в кучу лошадаках, не посмев пересекать путь скорбно-торжественному шествию. Им оставалось только стоять на месте и смотреть на процессию, ожидая, когда пройдет весь караван.

Из людей каравана сначала никто не обратил внимания на стоявших при дороге верховых мальчишек. Но, когда процессия подошла поближе, группа девушек перестроилась, чтобы не занимать дорогу слишком широко – и вперед выдвинулись две девушки, которые вели в поводу серую лошадь с обрезанной челкой.

Умирающий от любопытства Оспан подобрался сзади к Абаю и, доставая его концом протянутой камчи, тыкал в спину, спрашивал полупшепотом:

– Абайжан, кто такие? Чей караван?

Когда две девушки с ведомой ими траурной лошадейю выдвинулись вперед, глазевший на них Оспан громко расхохотался, показывая рукояткой камчи на них:

– Ойбай! Смотрите! Тымаки-то на них как надеты!

Абай резко обернулся к нему и сердито одернул брата:

– Замолчи, чертенюк.

Сделав вид, что испугался Абая, Оспан уткнулся носом в гриву своего белого присмирившего стригунка и тихонько захихикал.



Картину, которая так рассмешила братишку, Абай и сам наблюдал впервые.

О том, что это траурный караван Божея, Такежан и Абай догадались сразу. Понятно, что такой караван и должен отличаться от прочих. Однако их весьма удивило, что девушки, ехавшие впереди всей траурной процессии, выглядели столь странно. Это бросилось в глаза, когда они выделились из остального строя девушек. На голове у каждой красовалась мужская шапка-тымак. Это были хорошие, настоящие шапки из черного каракуля, покрытые черным же бархатом. Но головные уборы, вовсе не предназначенные для девушек, они напялили задом наперед, прикрывая назатыльником лицо. И только теперь Абай увидел, что на темно-серой лошади была сбруя покойного Божея, что через седло переброшена его темно-бурая лисья шуба, в которой он прошлой зимой ездил в Каркаралинск. Сбоку седла была воткнута его камча, на ручьятку которой – также задом наперед – был нацеплен зимний лисий малахай Божея.

Увидев стоявшую в стороне от дороги группу верховых, две девушки затаили траурный плач. По старинному обычаю, если на пути каравана встречались путники или попадался аул, то девушки, ведущие за собой траурный караван, должны были возвестить скорбным плачем о смерти человека, чье кочевье движется по дороге. Две девушки в черном и начали исполнять траурную песню.

Но не понять было насмешнику Оспану значения этих важных действий. Он никогда не видел, как хоронят человека, – никогда еще на его коротенькой памяти никого не выносили хоронить из родного дома. Он замечал во всем этом странном шествии одно только смешное – задом наперед надетые и натянутые на самые носы мужские шапки на девушках. Остерегаясь Абая, он уткнулся лицом в гриву и тихонько похихикивал. Но тут первые две девушки, проходя мимо, заголосили с такой неподдельной могучей скорбью, что Оспан сразу же замолк. Ехавшие вслед



за первыми пять девушек, сомкнув строй, подхватили траурный напев высокими, диковатыми, странными голосами.

Вглядевшись в этих девушек, Абай вздрогнул. Непроизвольно поднял правую руку, с которой свисала на ременной петле камча – словно умоляя: «Не уходите! Остановитесь!» Но голоса не подал. С бешено забившимся сердцем, изнемогая, сидел он на коне, запустив левую руку в его гриву.

Среди проехавших мимо пяти девушек, та, что сидела на белом прекрасном иноходце, была Тогжан. Он ее не видел с самой весны.

На ней легко колыхался черный чапан тончайшего шелка, голова укрыта новенькой куньей шапочкой, с тонкой шеи ниспадала на грудь искрившаяся на солнце шелковая шаль. Верхом на белоснежном иноходце, с золотыми качающимися сережками в ушах, сказочно красивая – Тогжан среди остальных девушек в траурном ряду смотрелась как яркая звезда Шолпан¹ среди других многочисленных звезд.

Траурная торжественность, скорбное пение и высокая печаль придали ее юному лицу значительность и выражение умной сосредоточенности. Нежный румянец ее щек чудесно сочетался с белизной высокого девичьего чела, а густые, черные волосы, спадающие с двух сторон, оттеняли ее лицо и стройную шею – светлую, исходящую жемчужным сиянием.

Она ехала подбоченившись, правая рука ее покоилась на пояске, что туго перехватывал ее колыхавшуюся, по ходу лошади, гибкую талию. Тогжан не глядела по сторонам, вместе с другими она истоиво возносила песнь скорбного плача. Абай, затаив дыхание, пытался удержать в себе всю бездыханную бесконечность мгновения, пока Тогжан проезжала мимо, совсем близко от него. И среди всех остальных голосов он различал, слышал, выделял ее нежный переливчатый голос. Может быть, на самом деле то был голос иной девушки, не Тогжан,

¹ Шолпан – Венера.



но все равно это она одна пела так странно и прекрасно эту скорбную песнь, пела для него одного.

Она удалялась – и сзади Тогжан теперь предстала совсем не в том обличье, в каком ее всегда представлял Абай в воспоминаниях. В ее хрупкой и нежной фигурке вдруг он заметил проявление какой-то уверенной молодой силы.

Абай от внезапной сладкой боли невольно закрыл глаза. И вдруг мгновенная, яркая, совсем иная картина вспыхнула перед его глазами; словно прорвавшаяся сквозь ночные тучи слепящая луна залила своим светом все уголки этой картины; стало больно сердцу. Это была умопомрачающая картина какого-то смятенного, иного мира, – вдруг преобразовавшегося в буйные волны вихря. Затем вновь настал ясный солнечный день, Абай открыл глаза.

Плач Тогжан, плач дочерей Божея, вся черная процессия и обреченная, шагающая без седока лошадь в траурном снаряжении – это печаль всего рода, скорбь людей, с которыми усопшего единит кровная общность. Но такая общность не остановила этих людей перед решением отлучить Кунанбая и его аулы от участия в похоронных обрядах. Также никого из его родни не пригласили на *жаназа* по Божею. Люди, среди которых находилась его возлюбленная Тогжан, сурово и холодно глянули на Абая и других кунанбаевских детей, словно говоря им: «Не подходите. Вам не дозволено смотреть на нашу скорбь!» Но никак не представлялось, что действия их справедливы, – Абаю эта встреча в дикой степи наложила еще одну печаль на сердце.

Плачущая возлюбленная, плачущие близкие и родственники Божея и сам покойный Божей – все они открыто обвиняли Кунанбая и весь его род, обвиняли, конечно, и Абая. Удар для него был тяжел. Опустив голову и насупившись, он вслушивался в звуки скорбного плача и глухих рыданий, – и словно уходил, стремительно отлетал в мир иной, покидая окружающий.



Вдруг кто-то прикоснулся к его плечу, как бы призывая – «поехали». Абай резко поднял голову и увидел рядом Такежана. Заметив слезы на глазах Абая, широкоплечий, статный Такежан презрительно скривился и молвил с упрехом:

– Ты что это? Чего перед врагами нюни распустил!

Абай провел руками по своему лицу. Он и не заметил, что плачет. Из глаз его катились слезы.

Оказалось, весь большой караван уже прошел. Между этим и следующим караваном образовался промежуток, и маленькие иргизбаи во главе с Такежаном пересекли дорогу и двинулись в сторону своего аула. До сих пор лениво полулежавший на белом стригунке, обняв его обеими руками за шею, Оспан вмиг оживился. Он рывком стянул с головы товарища рядом его тымак, напялил на себя задом наперед, дурашливо захохотал и, пятками размашисто пришпоривая стригунка, послал его вперед. Оспан совсем забыл, что за дичок у него конь, и не успел приготовиться к его неожиданностям. А стригун начал с того, что как следует поддал задом и тут же рванулся вперед.

Оспан даже поводья не успел подобрать. Как мячик он слетел на землю, но не растерялся, не выпустил поводка, его сильным рывком сдернуло вперед, он сумел вскочить на ноги и, невероятными прыжками догнав стригунка, с разбегу, одним махом вскочил на него. На обе щеки пылая алым румянцем, мальчишка захохотал, запрыгал на седле, размахивая руками, подкидывая локти, осыпая ударами камчи стригунка.

Остальная детвора дружно и весело ударилась вдогонку за ним. Такежан и Абай поехали не спеша. Такежан снова начал поучать Абая, как взрослый джигит.

– Мужчина ты или баба? – куражась, говорил он. – С чего это вдруг ты стал плакать?

Теперь уже Абай начал сердиться на брата. Набросился на него с упреками.

– Ты считаешь себя взрослым, умным? Тогда скажи, почему ты сам не плачешь по Божекену?



– Е-е! Чего плакать? Нас даже на жаназа не позвали! Ты что, ничего не понимаешь?

– Зато ты, кажется, все хорошо понимаешь! Нас на жаназа не позвали его родственники! Покойный Божей тут не причем.

– А не позвали потому, что он был во врагах с нашим отцом!

– Кто виноват, что так вышло? Кто кого первым ударил, и кто больней ударил? Ты разобрался в этом?

– А нечего и разбираться! Я всегда на стороне отца!

– Вот оно что! Ты бы так сразу и сказал. А то прикидываешься, что сам умеешь думать, даже советы даешь другим. А живешь только отцовским умом! «Волчонок бежит за волком потому, что тот его умнее». Так?

– Ойбай, ну, ты даешь! По-твоему, что – отец не умнее? А кто умнее? Старая бабка Зере, что ли? Выходит, что нет никого мудрее на свете, чем наша полоумная бабушка!

– А ты все равно не слушаешься отца, не набираешься от него ума, хотя и стоишь горой за него!

– Е-е! Ты что? Думаешь, я дураком вырос? Дикарем один в горах жил? Ах ты, тещу твою так и разэдак!..

– Вот, ты материшься и думаешь, что взрослым стал. Только и знаешь, что крыть работников да пастухов, показываешь, какой ты крутой хозяин. А ума-то настоящего и нет!

– погоди! Обо всем расскажу отцу! Он тебе покажет! Поплачешь еще раз на глазах у врага!

– Воля твоя, расскажи! Ну а я, пожалуй, передам бабушке, что ты называешь ее «полоумной». Идет? – И Абай насмешливо посмотрел на брата.

В этом месте Такежан предпочел умолкнуть. По натуре своей он не был спорщик, в препирательствах да доказательствах никогда не брал верх. Доносить отцу он все равно не стал бы. Да и находился сейчас тот далеко. Потом, он не был уверен, что его донос понравится отцу. Но самое главное – бабушка Зере, которую пригрозил Абай, была намного опаснее и страшнее отца, и она-то была рядом.



Старая мать была незлобивым человеком. Но уж если она порой сердилась на кого-нибудь, то в гневе своем была страшна. Этой весной Такежан ненароком выматерил одну пожилую скотницу, та в слезах прибежала к Улжан и Зере. Старая бабка тотчас призвала к порядку внука-грубияна и устроила ему добрую взбучку.

Содрогнувшись от лютого холода бабушкиных глаз, пронизывавших его до костей, Такежан в тот раз что-то стал бормотать, завираться, с тем чтобы оправдаться как-нибудь и поскорее целым-невредимым сбежать от нее. Но не тут-то было, – и на глазах Улжан и Абая он претерпел позорное унижение: Зере несколько раз пребольно стукнула его по голове своей кривой деревянной клюкой.

Это произошло как раз в то время, когда Такежан готовился, «видя себя джигитом, поехать навестить невесту в ее ауле». Все это живо вспомнилось Такежану теперь, когда он препирался с Абаем. Такежан решил как-нибудь загладить ссору и, по своему обыкновению, все свести к грубоватой шутке.

– Ой, да ну тебя, тещу твою туда и сюда! Надоел! – Он смачно сплюнул, стегнул коня плетью и умчался догонять мальчишек.

Довольный, что остался один, Абай пустил коня неторопливым, спокойным шагом. Сегодня он вступил в спор с одним из близких людей своей семьи. Вновь проворачивая в голове недавний разговор с Такежаном, Абай свои слова – «волчонок следует за волком, потому что тот его умнее» – нашел вполне уместными. Разве не легче всегда – следовать проторенными путями, сбившись в дружную стаю? Хищники хорошо понимают это. Но надо ли уподобляться хищникам? Не походить на зверя, всегда, во всех случаях оставаться человеком! Абай был захвачен этой мыслью. Порой течение спокойных, ясных мыслей смешивались с потоком возбужденного сознания, возвращавшего его к столь неожиданной, необычной и странной встрече с Тогжан. И ее облик всплывал перед его глазами,



словно молчаливый, мощный призыв оставаться в этой жизни благородным, достойным во всем. Словно она взяла его за руку и повела по пути безгрешной любви, душевного милосердия, увлекла к благим поступкам и помыслам – к прекрасному миру добра и красоты. Занятый этими мыслями-грезами, Абай не заметил, как доехал до Баканаса.

Узнав от Абая, что аулы покойного Божея откочевали наконец к своим джайлау, Зере и Улжан срочно послали к Кунанбаю нарочного, со словами: «Траурный аул расположился недалеко. Нам уже медлить не стоит – и так стыдно смотреть в глаза родичам. Надо посетить очаг покойного, помолиться на жаназа за упокой его души. Как думает насчет этого Кунанбай?»

Кунанбай, казалось, только этого и ждал. Он решился быстро. В ту же ночь он с Кунке и десятью старейшинами и их джигитами приехал в Баканас. Все двадцать аулов, расположенных там, стали спешно запасать кумыс, отбирать скот для жертвоприношений. Каждый аул, по своим возможностям, забивал скотину, колол овец и ягнят, а в некоторых аулах мясо сразу и отваривали.

Большой дом выделил три двойных саба кумыса, одну откормленную яловую кобылицу, одного стригунка, а Зере и Улжан, от себя отдельно, предназначили на жертвоприношение еще и верблюда.

К полудню большая толпа всадников, в самую жару, двинулась, запылила по степи в сторону Жанибека. Около сорока мужчин и тридцати женщин, одетых в траур, составили главную группу. Молодежь тоже поехала, среди молодежной толпы верховых были сыновья Кунанбая – Такежан, Абай, Оспан.

Зере и Улжан поехали в повозке, с ними села пожилая байбише по имени Сары-апа. Предусмотрительный Кунанбай отправил их намного раньше остальных. Когда арба была примерно на полпути к Жанибеку, тронулся в путь основной траурный отряд.

Кунанбая сопровождали братья – Майбасар, Жакип, названный брат Изгутты, а также самые близкие родственники и



старшины родов, аксакалы и карасакалы. Отдельно, тесной группой, ехали женщины, среди них – старшая жена Кунанбая Кунке, младшая жена Айгыз, жены братьев и родственников. Была пожилая тетушка Калика, была и старуха Таншолпан.

Вслед за первой толпой всадников, во главе с Кунанбаем, продвигались другие группы, далеко растянувшись по пыльной дороге.

Остановившись недалеко от траурного аула, прибывшие на поминки сосредоточились за вершиной холма, – затем все одновременно, издав громкий клич скорби, с плачем и воем понеслись вниз по склону.

По старому обычаю надо было, чтобы приехавшие на поминки влетали в аул умершего на всем скаку с криком: «Ойбай, бауырым! Родной мой!» Первыми вопль должны издать старшие, остальные – подхватывать и повторять за ними. Когда Кунанбай с криками и плачем поскакал вперед, все прибывшие с ним ринулись следом, присоединив свой многоголосый вопль.

Абай оказался в срединной группе. Рядом и вокруг скакали его старший брат Кудайберды, сын Кунке, атшабар Жумагул, Жорга-Жумабай, Такежан...

– Ойбай, бауырым!

– Агаке-е-ем!

– Аскар белим!

«Родной наш, старший брат, опора ты наша» – означали эти протяжные крики, перемежающиеся со стонами и громкими рыданиями.

Атшабар Жумагул и брат Такежан скакали близко от Абая, оба они раскачивались из стороны в сторону в седлах, словно в полном изнеможении горя, оба рыдали, прижимая ладони к лицу, и казались близкими к безумию, задавленные горем. Но с седла, с близкого расстояния, Абаю было видно, что эти двое явно притворяются.

Сам Абай тоже кричал и плакал на всем скаку, но крики и плач его были от сердца, он сильно скорбел по Божею. Рядом



скакал брат Кудайберды – и он тоже кричал и плакал, и плач его также был искренним. Абаю всегда был близок этот брат, а сейчас он особенно ощутил эту близость с Кудайберды. Абай решил держаться его и делать все так, как делает тот. С криками, в грохоте конских копыт, несущаяся толпа верховых вынеслась, словно с гор лавина, на зеленые задворки аула. Вмиг свернула к белой юрте с черной опояской – траурной юрте.

Тут все увидели, что арба Зере уже подъехала к ней, чуть раньше, чем подскакали верховые. Им было видно, как женщины, сойдя с повозки, обнимают встречающих, плачут, прислонившись друг к дружке головами.

Подъезжая к траурной юрте, прибывшие увидели пешую толпу, человек тридцать-сорок, стоявших, согбенно опираясь обеими руками на белые, вычищенные от коры, деревянные посохи. Все они были в траурной одежде, все раскачивались над посохами, словно едва держась на ногах от горя. Абай узнал их – это были родственники покойного и его друзья-соратники – Байдалы, Байсал, Тусип, Караша. Чуть далее также опирались обеими руками на посохи молодые джигиты, также выражающие крайнюю степень изнеможения от горя и скорби. Абай узнал среди них Базаралы, его брата Балагаза. Но подбежали другие молодые джигиты, назначенные встречать гостей, проворно перехватили поводья у прибывших, помогли им сойти с седел и отвели коней в сторону. Похоже, на каждого прибывшего на жаназа поставлено по человеку, чтобы внимательно обслуживать гостя.

Глядя на плачущих, искренне скорбящих Байсала, Байдалы, подъехавший Абай и сам зарыдал. Острая скорбь по Божею пронзила его до самого сердца.

Старших, приехавших на жаназа, после объятий и взаимных приветствий вводили под руки в траурную юрту. Там вдруг громко, многоголосо запричитали женщины. Туда вместе с мужчинами зашел и Абай.

Под шатровым куполом большой юрты трудно было повернуться от тесноты многолюдья, пространство от порога



до тора было сплошь занято женщинами, сидящими в тесных рядах. Подперев кулаками свои бока, скорбящие – байбише раскачивались и голосили.

В самой середине плакальщиц находилась вдова Божея с черным платком на голове, громко причитавшая и проливавшая обильные слезы. Ближе к тору, теснясь в кучку, причитали пять девушек. Весь дом был переполнен звуками скорби и горестных стенаний.

Вошедшие мужчины, обходя плачущих женщин, опускались на колени, обнимали их за плечи и скорбели вместе с ними.

Абай проследовал в юрту вслед за Кудайберды, держался позади него. Обходить подряд всех многочисленных плакальщиц вошедшие не могли – ввиду тесноты, да и времени было мало. К тому же все свободные места возле женщин были заняты старшими – заметив это, Кудайберды протиснулся напрямик к байбише Божея, плача и причитая, склонился над нею. Когда человек, бывший около вдовы, после положенных ритуалом объятий и слез отошел от нее, Кудайберды сам обнял байбише и вскричал высоким юношеским голосом:

– Брат наш! Незабвенный брат!

Абай тоже сначала прошел к байбише, затем стал продвигаться в сторону пятерых девушек.

Наконец всеобщий плач постепенно утих. Только вдова-байбише продолжала причитать, и ей время от времени вторили девушки своими рыданиями. Байбише напевным голосом жаловалась на злую судьбу, убившую все мечты, наградившую вдовой долей, лишившую ее надежного супруга. Ее плач снова всех опечалил, и многие вновь прослезились. Но вскоре и вдова умолкла. Тут скорбь продолжил всплеск девичьих голосов, снова поднявших плачи и стенания.

На этот раз их плач был особенно печален и горестен. Хор девичьих голосов, слившихся в единой скорби, всех захватил – люди вслушивались, как замороженные. Но вот и плач девушек утих, и голос байбише больше не звучал. Только стенания ее



двух дочерей продолжали держать внимание всех, творящих жаназа.

Стараясь четко и ясно произносить каждое слово, дочери Богаея причитали:

«Отец родимый, на кого ты нас покинул?.. Мечты наши теперь не сбудутся. Ушел ты, преисполненный гнева и обиды... Оставил нас одних на этом свете... Зачем бросил детей сиротами? Ведь сиротская доля – это горе и печаль...» Все в траурном доме, слышавшие их плач, не могли сдержать слез. Абай тоже прослезился, горячий ком перекрыл ему горло.

Далее, продолжая возносить свои жалобные песни усопшему отцу, дочери стали называть имена его близких, друзей. Вдруг, неожиданно для всех, девушки перешли на что-то совсем иное – голоса их будто обрели медное звучание. Помянули имя – Кунанбай. Мгновенно в доме установилась мертвая тишина.

А звенящие медные голоса двух девушек-сирот словно наносили удар за ударом Кунанбаю по голове, которую он низко склонил, надвинув тымак на самые глаза.

И все же то, что они пели, было обычным ритуальным причитанием. Его никогда, ни под каким видом, ни за что нельзя прерывать или сбивать. Плач на поминках – как священный намаз в мечети, непосягаем. Слова девушек-сирот становились все суровее и жестче.

*Кунанбай, ты врагом нам стал,
За обиду – дитя нам дал...
Кунанбаем зовется враг,
Как кулана, дик его шаг,
Как змея, он пестр и лукав...*

Это для Кунанбая было больнее, чем удары камчой по голове. Сидевшие рядом с ним аксакалы стали беспокоиться, не допустил бы он, взъярившись, чего-нибудь недозволенного.



Стали беспокойно покашливать, зашевелились. Однако Кунанбай, словно окаменев, стиснув зубы, сидел на месте, не подавая виду, насколько он оскорблен и обижен. Абаю было невыносимо стыдно за него, за себя. Его отец был посрамлен на глазах у всех... А ведь среди тех пяти девушек, хором подпевавших плакальщицам – дочерям Божея, находилась Тогжан! Хорошо еще, что она сидела лицом не в его сторону. На голову девушки, с двух сторон прикрывая лицо, была брошена черная шаль. «Ойпырмай! Лучше бы мне провалиться сквозь землю, чем так опозориться!» – мучительно думал Абай. Так же, как и отец, он сидел, опустив голову, и не смотрел ни на кого вокруг.

Вдруг он услышал шумные вздохи и недовольное пыхтение со стороны тора. Поднял глаза и увидел: Сары-апа, приехавшая вместе со старшими матерями в повозке, вся потемнев от гнева, приподнимается с места, становится на колени и накрывает голову черным чапаном. Сидя на корточках, приготовившись, запела грозным, отнюдь не печальным, низким голосом:

*Эй вы, девушки, где ваш стыд?
Мир не добрых, а злых плодит!
Иль Божей не был чтим кругом,
Чтоб его хоронить тайком?*

Как внезапно начала петь Сары-апа, так же внезапно и закончила. Все накопленное в сердцах враждующих людей было высказано устами этих плакальщиц. После них уже не возникало непримиримых обличительных слов ни с той, ни с другой стороны. Две дочери сиротки еще какое-то время невнятно голосили, всхлипывая, но постепенно и они замолкли. В траурном доме нависла тишина – и тут мулла Габитхан, сидевший возле старой матери Зере, начал читать Коран по бухарскому канону, нараспев, звучно, мелодично. Люди замерли в молчаливом благоговении.



Так завершилась зауспокойная молитва – жаназа Кунанбая по умершему Божею.

После молитвы женщины остались на месте, а мужчин увели в другую юрту на поминальную трапезу. Обслуживали гостей сами старшие люди аула – и Байдалы, и Тусип, и другие аксакалы и карасакалы. Однако за чайным кругом и за кумысом не было, как это бывает обыкновенно, ни оживленных разговоров, ни рассказов. Обед также проходил в необычном сдержанном молчании. Изредка обмениваясь малозначительными словами, старались только быть взаимно вежливыми. Говорить, собственно, было не о чем.

Лишь коротко переговорили о видах на корм в это лето, о травостое на лугах предгорий. Немного, как будто между прочим, поговорили о взаимных налетах барымтачей между соседствующими родами Керей и Найман.

До отправления назад Кунанбая и его людей именно эти новости немного отвлекли, внеся какое-то оживление в разговор, не дали оборваться ему, словно нитке.

Как будто бремя великой заботы свалилось с плеч Кунанбая. Чуть ли не с облегченным вздохом «Ух!» он после жаназа отправился назад в аул Кунке. По дороге он долго молчал – и, наконец, только одно и высказал:

– А Сары-апа надо окружить почетом и уважением!

2

Наступила осень. Третий день, не переставая, сыпал с неба холодный серебристый дождь. Аулы вернулись с джайлау, перевалив назад через Чингиз, на недолгое время заняли свои зимники, заготовили на зиму сено и двинулись дальше на осенние пастбища. На лугах Жидебая и в соседних урочищах собралось множество аулов, и все лето безлюдно пустовавшие места вдруг наполнились кочевым народом.



Теперь, по осени, не ставили просторных юрт, их свернули и убрали. Аулы перешли жить в небольшие, более теплые юрты. Люди вынуждены уже не только доставать и надевать теплую одежду, утеплять войлочными коврами стены, но и разводить огонь внутри своего жилья. Сразу стало теснее, беспокойней, зато теплее. В осеннее время удобней всего маленькие юрты из цельного войлока, не боящиеся копоти. Каждый хозяин по своим возможностям и соображениям устраивал себе удобное осеннее жилище.

Еще одним отличаются аулы осенние от летних: теперь уже не доят овец, и подросшие ярки пасутся вместе с матками.

Мужчина на коне, приглядывающий за скотом, всегда не прочь при встрече посудачить, переброситься словом с подобным себе одиноким пастырем, но в эти осенние дни у него особенный интерес к встречам – нечаянным или назначенным. Обутый в теплые сапоги-саптама с войлочными голенищами, одетый в мерлушковый полушубок, столь незаменимый в сыкатную погоду и в холодные ночи, джигит на коне в это осеннее безвременье крутится еще с одной заботой. Он мечтает во что бы то ни стало сменить свою верховую лошадь. Прежний конь за долгое лето изработался, а перейдя на осенние корма, сразу истощал и своим видом больше не радовал глаз хозяина. К холодам, на зиму, хотелось джигиту пересесть на коня упитанного, бодренького. Тогда и отводил хозяин в табун своего исхудавшего чалого или савраску, а себе под седло брал отгульную лошадь. Он исподволь готовил ее к зиме, старался поменьше гонять, чтобы она не спала с тела, чаще оставлял на выстойке, иногда на всю ночь.

И хозяева стад с небольшим достатком, и богатые баи, владельцы несметных стад, – все в эти дни осени были охвачены беспокойством о замене верховых лошадей.

Говорится, что осенью хлопот не оберешься, казаху некогда голову поднять, или говорят: осень – время неожиданных поездок, беспокойных кочевков. Это так, но джигит, урожденный



конник, не может остаться на холодную зиму без выносливой верховой лошади. И он будет ее добывать – выпрашивать, обменивать, брать на время под залог, выманивать, клянчить, выкупать, отдавая последнее, а то и украдет ее или отнимет силой.

Время – позднее пополудни. Сумерки еще не начались, но до них уже недалече. Пасмурное небо низко и темно, сыплет осенний серебряный дождь. Четыре путника, Майбасар, Кудайберды и сопровождающие их атшабары Жумагул и Жумабай, едут по дороге в направлении Кызылшокры, к аулу Кулыншака. Дорога тяжелая, лошади преодолевают вязкую грязь дерганным шагом, верховые ссутулились в седлах, мокрые от дождя. Они спешили в аул Кулыншака, гонимые той же осенней заботой и страстью кочевника – найти доброго скакуна на предстоящее зимнее безвременье.

Аул Кулыншака – всего из десятка юрт, втиснулся в неширокий горный распадок. В ауле уже поджидали, кажется, гостей. Кулыншак и пятеро его удальцов – «бескаска» сидели на вершине каменной горки и смотрели в сторону въезда в ущелье, когда показались там четыре всадника. Увидев их, Кулыншак вскочил с камня и воскликнул:

– Эге! Кажется, это они! Кунанбаевские люди!

– Чего-то очень торопятся! Слишком быстро скачут! – усмехнувшись, сказал один из «бескаска», самый старший из «пяти удальцов» – Турсынбай, и недобро прищурился.

– Раз приехали гости, нечего нам тут рассиживаться! – сказал Кулыншак. – Один из вас пусть скачет к Пушарбаю. Надо передать ему: «Не могу всех остальных оповестить». Пусть от Пушарбая полетят его вестники. Первым делом надо оповестить род Котибак.

– А через них – Жигитек, и Бокенши!

– Так и надо сделать! Пусть помогут нам при кочевке, проведут нас. И пусть не медлят, собираются все, как договорились.



– Пусть будут верны слову! К ночи они должны явиться сюда.

Все сыновья Кулыншака, столпившись возле отца, приняли участие в совете: Турсынбай, Садырбай, Мунсызбай, Наданбай. В богатырской кучке присутствовал и Манас, усыновленный, по обычаю, Кулыншаком внук, старший сын Турсынбая. Манас хранил почтительное молчание и только ждал приказаний старших.

Все, что было решено на совете Кулыншака, поручалось передать жигитекам непосредственно через Манаса. Он ждал только появления четырех всадников.

Когда те подъехали и спешили у юрты Кулыншака, тут же появился хозяин с сыновьями, сошедший с горы. Не задерживая прибывших на улице, Турсынбай пригласил их в свою Большую юрту:

– Заходите!

А в это время Манас, оставшийся во дворе, быстро пробрался к крайней юрте и, отвязав темно-серого огромного скакуна, вспрыгнул на него и помчался по каменистой дороге в сторону Караула. Перед тем как выехать, Манас немного подождал, выглядывая из-за юрты: увидев, что один из приехавших был, точно, Майбасар, уже медлить не стал.

Майбасар вошел в чужой дом с неприязненным, сердитым лицом. Прошел и сел на тор, не расслабив пояса, не выпуская из рук сложенной вдвое плетки. Подбоченившись, угрюмыми глазами оглядел всех из-под серой каракулевой шапки, сбитой набекрень, искривился в недоброй усмешке, раздувая ноздри.

Ткнув рукоятью камчи в сторону Кулыншака, сказал:

– Так, значит, родственничек! Ты что же это делаешь? Почему избил моего атшабара? Если что-то вышло не так, как тебе хотелось, ты должен был обратиться с жалобой, куда следует. А ты что? Мог бы, на крайний случай, сам приехать к мырзе! Или ты ему не доверяешь? Или решил показать свой норов?



Ведь еще только вчера был рука об руку с нами, а сегодня что? Говори честно, вот, прямо в лицо мне говори, – что ты задумал? Мне мырза так и поручил: «Спроси, узнай, услышь непременно из его уст». Вот и сына своего, Кудайберды, прислал вместе со мной.

Майбасар смачно отхаркнулся и сплюнул в очаг, в желтоватое кизячное пламя, и тут же резко обернулся в сторону Кулыншака, свирепо уставился на него.

Четверо сыновей его сидели, потупив бычьи лбы, с непроницаемыми лицами, словно они ничего и не слышали. С виду двое из них, Мунсызбай и Наданбай, были даже чем-то довольны. Они сидели рядышком, поодаль, в одинаковых позах: сгорбившись, опершись спиной о решетку стены, кереге, втянув голову в плечи и пряча подбородок в отвороты чекменя.

Кулыншак полулежал на ватном корпе, расстеленном на полу, и не смотрел на гостей. И лишь сын Садырбай, сидевший рядом с отцом, чуть ниже его, порой холодно поглядывал на Майбасара, не опуская глаз перед ним.

Помолчав немного, Кулыншак поднял глаза на Майбасара:

– Говоришь, посыльного твоего избили? Надо же, свет мой ясный! Но почему не говоришь о том, как ты дерзко замахнулся палкой на мою голову? Что забросил аркан в мой табун, чтобы поймать моего лучшего коня! Почему мырза об этом ничего не говорит? Или он не видит того, что творится у него под самым носом? Почему он с тебя не взыскивает, – не призывает к ответу грабителя?

– Ты мне не дерзи, аксакал! Незачем кочевать туда, куда не следует! Не лезь в драку, если тебя не трогают. Я приехал и сижу здесь, чтобы до конца разобраться с тобой!

– Не кочевать туда, куда не следует, говоришь? А я как раз и собираюсь туда кочевать. Тебе не надо – а мне надо, я хочу откочевать как можно дальше от тебя. Я порываю с тобой и уйду к тем родственникам, которые не будут зверствовать и отнесутся ко мне с открытой душой.



– Кто тебе разрешит? Куда ты уйдешь? Мырза просил передать, чтобы ты никуда не уходил, он сказал, что будет договариваться со всем родом Торгай.

– Вот и передай ему, что желаю успеха! И здоровья желаю! Пусть эти мои слова станут словами прощания для него. Откочую!

– Почему? Что такое случилось, аксакал? – вмешался тут молодой Кудайберды. – Отец наказывал: пусть никуда не переходит, пусть ругается, спорит, но не откочевывает к моим врагам. Ведь они хотят одного – отторгнуть от меня весь Торгай. Отец сказал: пусть возьмут назад все то, что забрали у них, но только пусть успокоятся и не думают откочевывать.

Майбасар не дал Кулыншаку ответить на эти слова, грубо и резко обратившись к нему:

– Эй, в чем ты винишь нас? Разве это не ты избил моего атшабара?

– На пятерых моих сыновей, – вот они сидят перед тобой, – Аллах дал одну стоящую лошадь, темно-серого скакуна. Ты попросил его отдать, я тебе ответил, что не могу отдать. Неужели это было так непонятно? А ты прислал своего атшабара, этого пса нечестивого, который злей волка, – чтобы он силой увел коня. Ты напал на меня, словно разбойник, хотел отобрать лошадь, которую я сам вырастил. И что я, по-твоему, должен был делать, Майбасар?

– Коня хотел забрать не я – это мырза так велел. Вот, ради этого мальчика, его сына Кудайберды, – отвечал Майбасар. – Мальчику понравился твой конь. Конечно, атшабара послал я, и распоряжение было от моего имени, но просил это сделать мырза. А я подумал: «Мальчик уже вырос, ему хочется коня, неужели Кулыншак пожалеет для Кудайберды серого жеребца? Пусть даже это будет прихоть, маленькое озорство баловника... Кулыншак не должен обидеться».

– Озорство? Что еще за озорство такое! – возмутился старший сын, Турсынбай.



– Это называется озорством? – вмешался третий сын, Садырбай. – Нет, это называется по-другому. Что хочу, то и ворочу. Это называется насилием. Так поступают с рабами, с чужаками, которые не могут постоять за себя.

Договориться двум сторонам оказалось невозможно. Скакуна темно-серого здесь не собирались отдавать. А тем, которым хотелось его забрать, пришлось смириться с этим. В молчании они и просидели довольно долго.

Но потом Майбасар вновь стал упрекать Кулыншака в том, что он собирается перекинуться к жигитекам.

Послание Кунанбая, переданное через Майбасара и Кудайберды, прежде всего, касалось этого вопроса. Не мог допустить мырза, чтобы род Торгай целиком перешел на сторону врага. И вопрос насчет вожака серого скакуна был поднят Майбасаром для затравки, чтобы начать давить на Кулыншака по главному вопросу. Воспользовавшись тем, что избил его посыльного, Майбасар хотел заставить отца пятерых богатырей признать свою вину. Но получилось все не так, и никакой вины за собой Кулыншак не признавал.

Несколько дней назад Кулыншак, оскорбленный до глубины души приказом Майбасара отдать его кровного коня, жестоко избил присланного им атшабара и окончательно решил порвать с Кунанбаем. Он послал конного нарочного к жигитекам, сообщая о своей готовности вместе с ними кочевать на осенние джайлау. Слух об этом дошел до Кунанбая, и он отправил брата и сына, чтобы они любым способом приостановили отторжение рода Торгай, одного из самых близких к Иргизбаю родов.

По смерти Божея обе враждующие стороны, соблюдая траурное перемирие, открыто еще не сталкивались, но злобу и месть копили исподволь, иногда покусывали и травили друг друга по мелочам. И все же вражда, раздуваемая с обеих сторон, могла дойти до предела, и после многих мелких взаимных обвинений и придирок – однажды разразиться беспощадной военной грозой.



При жизни Божея не происходило враждебных стычек более жестоких, чем избиение жигитеков в Токпамбете. Но именно после того случая Жигитек, Котибак и Бокенши стали объединяться, чтобы собрать силы для достойного отпора Кунанбаю. Когда умер Божей, многим показалось, что и противостояние закончилось, но это была одна видимость. Наоборот – смерть Божея, не вскрыв нарыва, увела болезнь глубоко внутрь, и противостояние двух вождей перешло во вражду Кунанбая с объединением тех крупных родов, которые он притеснял. Смерть Божея сплотила их еще крепче.

Несравнимо с прежним смелее стали отстаивать себя и увереннее держаться пред кунанбаевским произволом старшины родов, друзья покойного Божея: Байдалы, Байсал, Каратай, Тусип, Суюндик. И другие вожди начали открыто присоединяться к ним.

Именно на это время и поступило к Кулыншаку послание от Кунанбая – «прислать темно-серого скакуна». И то, чего раньше не удавалось добиться от Кулыншака Байсалу и Пушарбаю, неоднократно, наедине уговаривавших отца «бескаска», было решено им самим в одну минуту. Род Торгай был близок к Иргизбаю настолько же, насколько он был близок и к роду Котибак.

Произожди все это в другое время, Кулыншак на приказание «прислать темно-серого скакуна» не посмел бы ответить отказом. Раньше он во всем уступал мырзе, но не теперь.

Майбасар, услышав о его отказе, рассвирепел:

– Как это не отдаст? Кунанбаю коня какого-то не отдаст? Да если мы не сможем забрать коня у него, то чего же мы будем стоять? Пусть себе обижаются, но деваться им все равно некуда. Кунанбай просит – пусть попробуют отказать Кунанбаю!

И вот теперь, после страстей по темно-серому скакуну, все выяснилось, род Торгай решил отложиться от Иргизбая и перейти к жигитекам и котибакам.

Теперь Майбасар, забыв обо всем другом, старался только уговорить Кулыншака не пойти на это. Кулыншак отмалчивал-



ся, иногда коротко отнекивался. Не получив более или менее вразумительного ответа, Майбасар наконец потерял терпение и впал в ярость. Принялся снова грубо орать, давить, прибегать к угрозам.

– Эй, Кулыншак, я передал тебе послание мырзы, чтобы ты не откочевывал. И сам я, ты же видишь, жду этого от тебя. Я не скрыл обо всех бедах, которые тебя ожидают, если ты уйдешь от нас. Дай слово, что не откочуешь, и покончим на этом.

При последних словах лицо Кулыншака потемнело, он метнул на Майбасара недобрый взгляд и ответил:

– А теперь ты послушай меня! Я буду краток. Хватит, надоело терпеть! Вот тебе мое последнее слово: откочую!

Кудайберды и Жумагул тревожно и озабоченно переглянулись. Однако разъяренный Майбасар уже не владел собой, в бешенстве стал бить рукоятью камчи по войлочной подстилке и кричать:

– Знаю, кто тебя подстрекает! Знаю, к кому хочешь пойти на поклон! Это они заманивают тебя! Небось, наобещали тебе: «Защитим, в обиду не дадим!» Эти шайтаны, Байдалы и Байсал, со своими длинными руками и широкими объятиями! Но пусть только попробуют увести тебя из-под моей власти – этим самозванным мырзам всажу в их задницы острую пику! – Майбасар трясся от ярости, глаза его безумно вытаращились, в бешенстве он кричал, уже ничего не соображая. – Прочучу их, как в прошлый раз в Токпамбете! Стяну штаны, всыплю плетей по голым задницам!

Из всех пятерых «каска» самым горячим и вспыльчивым был Садырбай – он заерзал на месте, тяжело задышал, но произнес вполне спокойным голосом:

– Не надо, почтенный, вспоминать про Токпамбет. Ничего славного ни мырза, ни ты не совершили тогда.

В это время в дом вошел Пушарбай с двумя молодыми джигитами. Это был тот Пушарбай, который в прошлую осень в Токпамбете, накрыв своим телом Божея, объявил «араша»,



защищая истязуемого и беря его вину на себя. Пушарбай оказался первым из котибаков, кто содействовал переходу всего рода во главе с Байсалом на сторону Жигитек. С густой окладистой бородой, с огромным могучим телом, Пушарбай был смелый, гордый человек, он не забыл про ту расправу, когда тоже был избит кунанбаевскими людьми.

При его появлении сыновья Кулыншака как-то по-особенному переглянулись между собой, привстали на одно колено и, видимо, к чему-то приготовились. И тут снаружи послышались шаги множества ног, вокруг юрты ходили какие-то люди. Жорга-Жумабай насторожился: «Кто это пришел? Что они задумали?» – и тревожно посмотрел на старшину Майбасара. Снаружи послышался мужской голос:

– Уа, есть кто-нибудь дома?

Пушарбай, живо обернувшись к двери, ответил:

– Уа, я дома!

В тот же миг в юрту вошли человек десять во главе с Манасом, решительно направились к тору. Их опередили братья «бескаска» и Пушарбай – набросились на Майбасара и его людей.

– Прочь! – рявкнул Майбасар и, откинувшись назад всем телом, замахнулся плетью.

Садырбай кинулся на волостного, опрокинул его на спину, придавил коленом.

Остальных, всех троих, джигиты также свалили и прижали к земле. Здесь готовилось что-то похуже, чем расправа над посыльным Майбасара.

Пушарбай, Садырбай и Мунсызбай зверски избивали волостного, от всей души работая плетками. Та же участь постигла и его спутников, но Кудайберды избежал плетей – его успел выдернуть из свалки Кулыншак и, прижав к себе, накрыл его голову полой чапана. Какое-то время стегали Майбасара молча, с яростным придыханием, но кто-то вдруг крикнул:

– Вытащим на улицу! Ну-ка, хватай его!



И Майбасара выволокли из юрты на двор.

Возбужденный, неистовый Садырбай вскричал:

– Он грозился: стяну штаны и всыплю плетей по голым задницам. Это он хотел так наказать Байсала и Байдалы. А мы его самого и на самом деле так накажем! Снимай с него все!

Он первым набросился на избитого Майбасара, стащил с него чапан, потом сапоги, содрал штаны, – ударом ноги по голой спине свалил волостного наземь и принялся пинать его, катать по земле, приговаривая:

– Ты чего только с нами ни делал! Как только ни издевался! И с чего так обнаглел, а? С чего? – приговаривал Садырбай с каждым ударом. – Я не так еще опозорю тебя! – Перевернул Майбасара ничком. – Острую пику хотел всадить им в задницы? А вот сейчас тебе самому будет острая пика! – И с этим Садырбай, ударами сапога раздвинув ноги лежавшему старшине, стал пинками набивать ему в пах сухие катышки верблюжьего помета, валявшиеся на земле.

– Майбасар! Если в тебе есть хоть капля мужской гордости, ты должен сдохнуть после такого позора! – крикнул он и еще раз пнул его ногой.

В ту же ночь аул Кулыншака, надругавшись над братом мырзы и унизив его сына, разобрал юрты и поспешно снялся с места. Оповещенные Манасом еще с вечера, вооруженные конники из родов Жигитек и Котибак прибыли к началу кочевки и затем сопроводили аул до своих джайлау. В ту же ночь были переправлены через воды реки Караул и препровождены до земель Жигитек и Котибак караваны и других аулов рода Торгай.

Майбасар, его люди и Кудайберды были освобождены только к утру, когда караван Кулыншака удалился уже на значительное расстояние. При первых лучах солнца пленники увидели своих лошадей, привязанных к столбам брошенной коновязи, – а до Жидебая они добрались и предстали перед Кунанбаем только к середине дня. Все его сторонники находились здесь. Вокруг



Жидебая верст на десять тесно расположились аулы родов Иргизбай, Топай, Жуантаяк, Карабатыр. «Жигитеки избили и опозорили Майбасара, унизили Кудайберды, насильно увели к себе аул Кулыншака» – весть эта быстро облетела всю округу. Кунанбай отдал срочный приказ, и сто пятьдесят джигитов мигом сели на коней, – не успело бы пройти время, за которое вскипает чай. Во главе ополчения был сам Кунанбай, рядом с ним его братья Изгутты и Жакип.

К полудню Кунанбай, который знал о ежедневных передвижениях аулов Жигитек, отдал новый приказ сидевшим в седлах ополченцам:

– Они хотят набегов и нападений – пусть получают. Приказываю: догоните, нападите и захватите уходящий по долине караван жигитеков.

Он послал свой отряд на кочевой караван, двигавшийся по Мусакульской долине. Как дикая орда, налетели конники Кунанбая, не разбираясь, на кого нападают. Разъяренный Кунанбай уже ничего другого не разумел, кроме одного: «Это кочевка жигитеков. Значит, надо ударить!»

Действительно, это был кочующий аул жигитеков, но оказалось, что это траурный караван Божея.

Вначале отряд обрушился на косяк лошадей и стадо крупного скота, следовавшие впереди кочевья. Быстро сбросив на землю джигитов, ведущих стада, тех, которые пытались сопротивляться, и рассеяв по степи остальных, иргизбаи угнали лошадей и коров. Далее они хотели напасть на караван и разграбить его, но Изгутты и Жакип, находившиеся впереди отряда, увидели, что это траурный караван, – и на всем скаку отвели отряд в сторону. Две дочери Божея, которые шли, ведя в поводу остриженного коня покойного, обратили внимание на верховых только с тем, чтобы затянуть свое заунывное пение, и, не глядя на них, зашагали дальше. Но байбише Божея остановила своего коня, встала на дороге, задерживая следующий за нею караван верблюдов, и гневно прокричала вслед удалявшимся иргизбаям:



– Уа, нечестивцы! Изверги! Напали на траурную кочевку!
Чтоб вам вечно выть в своих могилах, вероотступники!

Как только доложили Кунанбаю, что это траурный аул Божея, он сразу приказал:

– Караван не захватывать! Но аул не должен двигаться дальше. Пусть ставит юрты там, где находится сейчас.

Кочевой караван распался, сбился в беспорядочную кучу. Через некоторое время начал разгружать верблюдов, ставить юрты. Отряд Кунанбая унесся назад.

По степи разнеслась зловещая весть: «Кунанбай напал на траурную кочевку Божея. Надругался над аруахом покойного».

Следующую ночь жигитеки готовили оружие, правили снаряжение. К утру мужчины всех аулов, начиная с траурного, что был остановлен в долине, уже были на конях. Сам собою выявился опорный стан для ополчения Жигитек – на месте вынужденной стоянки аула покойного Божея, в долине Мусакул. Байсал бросил клич о походе на Кунанбая и объявил всеобщий сбор котибаков. Бай Суюндик поднял всех бокенши.

Та же решающая ночь была отведена и на сборы всего ополчения Кунанбая, стекавшего в Жидебай. Долина Мусакул начиналась всего в трех верстах от Жидебая. Долине этой надлежало стать полем большого кровопролитного сражения. Кунанбай собрал вокруг себя не только ближайшие дружественные роды и племена, он разослал конных нарочных с заводными лошадьми во все дальние пределы Тобыкты.

Сторона Байдалы – Байсал точно так же копила силу. От них были посыльные в аулы Каратая из рода Кокше и к многочисленным дальним племенам Мырза и Мамай.

Ввиду неминуемо надвигающихся событий Байдалы озаботился еще одной мерой предосторожности: отправил этой же ночью в Каркаралинск Тусипа. Для сопровождения придал ему пятерых джигитов, каждому выделил заводную лошадь. Карманы гонца набил деньгами. Тусип повез к властям со-



ставленные приговоры, жалобы, заверенные печатями разных родов. В приговорах было одно: «Кунанбай возмутил народ, сеет смуту. Громит аулы, напал на траурный караван. Сталкивает разные племена Тобыкты в кровавых стычках, допускает взаимные убийства».

Теперь аткаминеру Байдалы ничто не мешает пойти на открытое, яростное столкновение с ага-султаном.

Вот уже забрезжил рассвет следующего утра. Уже понеслись по степи конные дружины Кунанбая – с гиканьем, с боевыми кличами, в грохоте копыт.

Воители Байсал, Байдалы, Суюндик тоже вскочили на коней и во главе своих отрядов понеслись навстречу противнику. На выстоявшихся сильных лошадях, размахивая соилами и шокпарами, с пиками наперевес, конники двух войск сшиблись посреди широкой долины, тонувшей в утренней мгле. Все перемешалось в хаосе сотен беспощадных поединков. В густой туче поднятой пыли обезумевшие джигиты свирепо набрасывались друг на друга, неясно различая своего от врага. Взаимное избиение было свирепым, яростным и страшным.

Этот бой, впоследствии получивший в народе название «Мусакульской битвы», надолго остался в памяти казахов Тобыкты. Каждая из воевавших сторон смогла выставить тысячное войско. На этот раз Кунанбай не имел численного преимущества. Его отряды неоднократно в неистовом натиске врезались в самую гущу жигитеков, но каждый раз, получая жестокий отпор, вынуждены были уноситься назад, чтобы вновь собраться в кулак для следующей атаки. При каждом накате и откате конницы падало человек десять-пятнадцать. Их тут же подбирали и уносили с полей сражения.

В первый день бои продолжались с утра и до вечера, никакого преимущества ни на чьей стороне не наблюдалось. К ночи обе стороны отступили.

На следующее утро сражение возобновилось. И снова до самого вечера шла упорная, тяжелая, равная битва.



Невиданное, небывалое по взаимной ожесточенности и упорству сражение продолжалось третьи сутки. В этот день по приказанию Кунанбая сто пятьдесят лучших воинов было пересажено на свежих коней, и их перевооружили. Отставив деревянные соилы, они взяли в руки стальные секиры и копья. Упорное двухдневное сопротивление жигитеков привело Кунанбая в состояние क्रомешного бешенства. Он решил пойти на большое кровопролитие – используя преимущество стального оружия над деревянным. Добиться победы, убивая наверняка. Вся беспощадность, все злобное коварство Кунанбая проявились во всей своей бесчеловечности.

Он решил заманить врага, выпустив утром третьего дня воинов с обычными белыми дубинами-соилами. Он велел им вступить в схватку, а потом среди боя изобразить поспешное отступление и бегство. Он знал, что в преследование пойдет лучшая часть воинов противника – которую и надо было заманить в ловушку.

Его замысел удался. От жигитеков и котобаков вскоре оторвалась группа на самых быстрых скакунах, стала наседать на плечи бегущего неприятеля. В этой головной группе мчались все «пятеро удальцов» Кулыншака, также и Балагаз, и могучий Пушарбай, и Кареке. Гоня иргизбаев, они оказались вблизи холма, на котором стоял Кунанбай, с засадным отрядом за спиной. Он махнул правой рукою, двинул вперед бойцов со смертоносным оружием, секирами и стальными копьями, направленными против деревянных дубин. Кунанбай и сам, вместе с другими джигитами, бросился в конную атаку.

Засадный отряд во главе с Изгутты врезался в ряды преследователей, вмиг смял их и обратил в бегство. Человек десять, пытавшихся оказать сопротивление, тут же на месте были изрублены и заколоты. Началось преследование. Изгутты со стальной секирой налетел на Пушарбая. На помощь к старику бросился Кареке, заслонил его собою, Изгутты уже высоко занес секиру над собой – и обрушил ее на Кареке, тот успел



откинуться назад, и лезвие топора не врезалось ему в череп, – отрубило нос. Мгновенно кровь залила лицо и одежду воина, на полном скаку он пролетел мимо Пушарбая, взмахнул руками и рухнул с седла на землю. Жигитеки не смогли даже вынести его, – всем им пришлось спасаться бегством, отбиваясь на скаку. Это было началом их поражения. Кунанбай преследовал их яростно и неотступно. Казалось, что он решил: «истребить жигитеков всех до одного!» – и гнал их, наседавая им на плечи.

И вдруг далеко впереди беспорядочно бегущих конников Жигитек возник высокий, далеко уносимый в сторону ветром, столб пыли. Подобная пыльная туча могла взвиться только над движущимся в атаку огромным войском конницы.

Лазутчики еще раньше предупреждали Кунанбая: «Жигитек послал нарочного в род Коныр, на помощь позвали войско из племени Мамай». Кунанбай знал, что если Мамай прибудет на помощь жигитекам, то их уже не удастся одолеть. В этом крылась большая опасность. Кажется, это подтверждалось: враг бежал, но навстречу ему, из-за широкого холма, появилось несметное войско. Это идет Мамай.

Иргизбаи смутились. Отважный Изгутты и его дружина стали невольны сдерживать коней. Судя по облаку пыли, через холм перевалило не менее тысячи конников.

Вся кунанбаевская конница тут же развернулась и пошла в стремительное отступление. Однако жигитеки что-то не проявили желаний разворачиваться и преследовать врага. Как наладились в беге своем, так и продолжали скакать. Оба войска разошлись – и именно тогда, когда должен быть начаться последний, самый страшный бой.

Кунанбай не догадывался, что он жестоко обманут. Байдалы превзошел его в воинской хитрости. Он заранее пустил слух о том, что ждет прибытия подмоги из Коныра и Мамай. Затем собрал со всех аулов, своих и соседних, огромное стадо верблюдов и велел гнать их через холм в долину, поднимая как можно больше пыли. Несметное войско, прибывающее на помощь жигитекам, было не что иное, как табуны верблюдов.



Кунанбай не знал этого и отступил. Байдалы не увлек своих людей на преследование отступающего врага. В его войске было совсем мало секир и стальных копий.

Так завершилась трехдневная Мусакульская битва. Кунанбай не смог подавить противника. Жигитеки доказали, что способны отразить любое нападение Кунанбая и защитить себя с оружием в руках.

Военные действия закончились, но грозное эхо битвы, шумная молва, невероятные слухи и разноречивые толки все шире разносились по всей великой степи.

Родовые вожди, аткаминеры враждовавших с Кунанбаем племен, стали намного значительнее в глазах народа. Окружение Байдалы воспряло духом и стало высоко держать головы. Приближенные же Кунанбая, наоборот, вели себя намного сдержаннее и стали разговаривать заметно тише, чем раньше. Уже одно это доказывало, что Кунанбай, в общем-то, потерпел поражение.

Что делать? Как снова заставить повиноваться тех, кто осмелился открыто выступить против него, и даже с оружием в руках? Они почувствовали вкус борьбы и неповиновенья! Кунанбаю жить не давали эти мысли.

Прошло дней десять мирной тишины после большой Масакульской битвы. Выступившие против Кунанбая вожди родов и племен торжествовали. «Рухнул утес Кунанбая, дух его надломлен» – повсюду шумели они. Начались поездки друг к другу с поздравлениями, с принесением на жертвенный стол овец, лошадей. Это еще теснее сплачивало всех, противостоящих Кунанбаю. Они совершали совместные благодарственные молитвы, братались и кумились, устраивали сговоры и сватовство. Шли бесконечные тои.

Не напрасно торжествовал Жигитек.

На десятый день после отъезда Тусипа прибыло из Каркаралинска казачье подразделение из пятнадцати русских и казахских джигитов. Тусип к этому времени успел вернуться уже домой.



Все знали, что по жалобам рода Жигитек приехал разбираться специальный «чиноулык» Чернов, под охраной вооруженных казаков.

Приехавший чиновник Чернов был командирован *дуаном*, корпусом. Для прибывших было срочно поставлено десять юрт на одной из стоянок между Жидебаем и Мусакулом. В продолжение трех дней шло следствие. Чернов с самого начала держался начальственно и строго по отношению к Кунанбаю. Вопрос о том, усидит ли на должности ага-султана Кунанбай, уже был ясен, очевидно, для Чернова. Хотя ничего еще не объявлялось по этому поводу, чиновник обращался с ним как с обыкновенным подследственным. А жалобщикам ничего и не надо было пояснять, они сами все видели, и жигитеки, бокенши, борсаки, котобаки стали усердно заваливать следствие все новыми жалобами и обвинениями.

Однако сторонники Кунанбая тоже не дремали и, как говорится, готовились ударить «той же палкой по тому же горбу». «Убивали людей. Грабили по аулам! Выжигали пастбища! Пугали беременных женщин, доводили их до выкидыша!» – эти и другие, самые невероятные жалобы на главных старейшин Жигитека и присных с ними обрушились на стол «чиноулыка» Чернова. В этих же заявлениях говорилось, что Кунанбай вел беспощадную борьбу с преступниками, и что эти-то преступники и обрушили клевету на их гонителя. Друзья Кунанбая защищали его как могли.

Чернов не стал выносить своего заключения, находясь в степи. Он только выслушал и собрал все жалобы и приговоры с обеих сторон. На третий день следствия объявил Кунанбаю:

– Поедешь с нами в Каркаралинск. Выезжаем завтра утром.

Это уже был дурной знак.

Вернувшись от чиновника, Кунанбай в тот же вечер созвал десять самых близких родственников и друзей. Из старших были Изгутты, Жакип, Майбасар, из молодых – Кудайберды и Абай.



Кунанбай, сидя во главе совета, сообщил о грозящей опасности. Родич Ирсай, из почтенных аксакалов, впал в слабость и начал хныкать, но Кунанбай прикрикнул на него:

– Нечего сопли распускать! Ты, если можешь, совет дай! Помоги! А слезы твои мне не нужны!

Настала тишина. Все молчали. Понимали, что красноречие здесь ни к чему. Решить дела никто не мог. А Кунанбай, понимая беспомощность своих людей, стал рассуждать сам:

– Значит, дело передается на рассмотрение в дуане. Теперь все зло, направленное против меня, накопится в бумагах. А разве бумага знает о чести, заслугах, именитости человека? Вот вы, если сумеете, то остановите поток этих бумаг! Остановите жалобщиков, преследующих меня по пятам. Ничего для этого не пожалейте, но остановите! – решительно закончил он.

Даже в душе согласившись с его доводами, никто из присутствующих родичей, заурядных и неграмотных степняков, предложить ничего не мог. И все продолжали молчать. Абай был поражен безволием и никчемностью людей, окружавших его отца. Раньше Абай избегал говорить на советах, высказывать свое мнение, но теперь решил высказаться.

– Чтобы остановить жалобы, прежде всего нужно расположить к себе тех, кто жалуется, – негромко произнес Абай.

Кунанбай одноглазо метнул на него тяжелый взгляд:

– Это как, сынок, – прикажешь, может быть, мне поклониться им в ножки?

– Этого не нужно, отец. Надо просто вернуть отнятое у них и возместить убытки, которые они понесли из-за нас. Иначе жигитеки никогда не смолкнут.

Кунанбай тут задумался. Однако по поводу высказанного сыном он хотел послушать других и обвел их сумрачным взглядом.

Остальные высказались: признали слова Абая вполне уместными. Но говорили неуверенно, с оглядкой на Кунанбая. Один Изгутты решительно поддержал Абая и добавил от себя:



– Эти жигитеки, бокенши и котобаки – все просто изнывают о потерянной земле, ничего, кроме своих пастбищ и зимовок, знать не хотят. Попробуем, поделимся с ними землей. Ничего другого не остается.

Такое решение, в сущности, было бы равносильно тому, чтобы принести повинную роду Жигитек. Гордость Кунанбая была сильно задета. Внутри он весь клокотал от бессильной ярости, но ни звуком, ни движением не выдал себя. Он тоже понимал, что надо идти на уступки.

– Если их успокоит только земля и скот – пусть нажрут и успокоятся, – сказал он глухо. И опустил голову. – Но как это унижительно: дожить до такой собачьей жизни! – с горечью закончил он.

Отпустив всех, Кунанбай оставил только своих братьев, Изгутты и Майбасара. Вместе с ними стал уже спокойно, деловито обсуждать, каким образом, через кого начать переговоры с жигитеками.

Посредники нужны были надежные. Пойти на поклон врагу – дело нелегкое, а ведь первым делом придется выходить на Байдалы, что явится для Кунанбая не просто унижением. Здесь эти родственники, мало на что пригодные, все-таки могут пригодиться. Среди них и надо искать посредника для переговоров. Кунанбай сам стал называть имена – первым упомянул Байгулака, самого толкового джигита из молодых. Вторым назвал атакминера Каратая из рода Кокше. Он, конечно, в ссоре с Кунанбаем, но на второе сражение жигитеков с иргизбаями не привел своих джигитов в ополчение Байдалы. Кунанбай отправил ему с нарочным такое послание: «Пока будем живы, придется нам встречаться не раз. В жизни всякое бывает: и спиной повернешься порой, и дружбы станешь искать вдруг. Но все мы под Богом ходим – и да будут светлы дни наших встреч на этой земле. Вот и все, чего я желаю сказать».

На следующий день Кунанбай без большого шума попрощался со своими друзьями, родственниками, женами и детьми



и отправился вслед за «чиноулыком» Черновым в далекий путь. С собой он взял в спутники только пятерых джигитов. Самым надежным из них был Мырзахан, с юных лет служивший Кунанбаю и настолько преданный ему, что готов был жизнь положить за него. Кунанбай во всем мог довериться Мырзахану.

Что ждет впереди гордого Кунанбая, никто не знал. Скинут ли его с должности или он устоит – никому не было ведомо. Одно было всем понятно – всеильный Кунанбай, который еще недавно творил суд и расправу по аулам, сегодня вынужден ехать в город не по своей воле.

Это радовало жигитеков, бокенши, котобаков, все они как долгожданный праздник встретили следовавшие дни. В общем шумном веселье, в скачках принимали участие не только задорная молодежь, но и старые батыры. Все три рода, сумевшие объединиться и дать отпор кунанбаевскому произволу, словно срослись и стали единым родом. «Назад больше ему не вернуться! Мы не позволим! Завалим жалобами начальство, задушим Кунанбая доносами! В пропасть свалим! Отомстим за Бога!»

И в самом деле, аксакалы и аткаминеры натащили новую грудку доносов и приговоров, с нашлепанными печатями, и собиравались вновь отправить Тусипа в город.

В самую эту ябедную круговерть, словно с неба, спустились к ним Байгулак с Каратаем. Долго им пришлось вразумлять захваченных бумажным безумием людей, чтобы они приостановили поток жалоб. С посланниками Иргизбая стал вести переговоры Байдалы, на него-то и направил весь поток своего красноречия премудрый Каратай.

– Мы не можем одобрить тебя, если ты готов не останавливаться ни перед чем. Мы приехали к вам как родственники, как посредники для обеих сторон. Кунанбаю за свою непримиримость сейчас приходится отвечать, он прижат к земле, и для тебя самое удобное время, чтобы все свое вернуть назад. За убытки, нанесенные Кунанбаем, возьми у него земель!




Три дня длились переговоры. Народ гудел, все обсуждали предложения Каратая. Наконец они были приняты.

Байдалы выставил такие требования: возвращение пятнадцати зимовок, которые захватил Кунанбай в течение десяти лет, одну за другой, хитростью и обманом или грубой силой; и каждый из четырех родов – Жигитек, Бокенши, Котибак и Торгай – получает несколько дополнительных пастбищ.

В результате земли достались сильным аткаминерам родов и их аулам. Байдалы, Байтас и Суюндик стали владельцами тех отторгнутых от кунанбаевских владений пастбищ и зимовок, которые он в течение многих лет собирал под себя по крупице, отнимая у многих других. Как говорится, «недуг многих – это то, чего нет у многих» – смертоубийственная тяжба родов Тобыкты завершилась тем, что вожди этих родов заимели новые зимовки и новые пастбища. Остальной народ в других аулах тоже не остался без вознаграждения за участие в междоусобной войне – получили годовалых жеребят и убойный скот для зимней заготовки мяса, *согыма*, получили во временное пользование верховых лошадей, получили на откорм бычков и телок. А расплачивались всей этой живностью не только Кунанбай и его старейшины, – весь богатый род Иргизбай взял на себя издержки.

Враждующие стороны окончательно примирились через десять дней по отъезду Кунанбая. Поток жалоб в Каркаралинский дуан прекратился. Акимы родовитых аулов, получившие целые табуны и обширные пастбища, на радостях победы щедро раздаривали скот приближенным и своим родственникам. Жертвуя Создателю и духам предков, даровавшим им эту победу, владельцы новых огромных стад днем и ночью кололи откормленных баранов. Многолюдные, шумные сборы, праздники со скачками, с состязаниями певцов, с девичьими игрищами не прекращались. Казалось, что после буйства набегов и кровопролитных сражений наступили дни всеобщего благоденствия.



Итак, прекратилась смута, кончились битвы, и народ возвратился к обычной спокойной жизни. От больших зимних стоянок, таких как Жидебай и Мусакул, кочевники двинулись вниз в долины, на свои осенние пастбища.

Аулы разбредались, устремляясь к своим привычным для осеннего уединения станам, и теперь людские гнездовья не тянуло, как на весенних джайлау или на зимовьях, собираться большими стойбищами, а разбредались они по просторной степи как можно дальше друг от друга. Ибо так было выгоднее пасти стада, не мешая друг другу, и скотина на осеннем степном разнотравье нагуливала жир намного лучше.

Все кунанбаевские аулы рассыпались по степи на значительное расстояние друг от друга. Самые обильные пастбища начинались за стоянкой Бауыр – бескрайние всхолмленные степные просторы.

В эту осень аул Зере не стал откочевывать далеко от зимовья. Всего тремя переходами добравшись до Есембая, приняли решение: «Осеннюю стрижку проведем на этом месте, чтобы потом быстро вернуться на зимник», – и аул отстал от остальных, уходивших торопливыми караванами все дальше в степь.

Нынешняя осень выдалась холодной, рано задули пронизывающие предзимние ветра, постоянно стояла пасмурная погода, несущая или тяжелые обложные дожди, или докучливую липкую водяную пыль. Эти ранние признаки зимы подсказывали – не нужно уходить далеко от зимовий, и Улжан, думая о старой свекрови и о детях, намеренно сократила путь осенней кочевки. Рядом с ее аулом остались три небольших аула из близких соседних родов.

После отъезда Кунанбая в округ Абай из своего аула никуда не выезжал. До него доходили слухи о шумных торжествах и веселье в Жигитек. Узнал он и о том, что пятнадцать зимовок,



уступленных Иргизбаем, стали добычей хищных богатеев, главарей божеевского противостояния. Сразу следом пришли новые вести: главари эти не поделили миром уступленные им земли, между ними начались раздоры. Абая не удивили эти новости, он многое повидал за последний год, и мир взрослых, к которому он так тяготел еще совсем недавно, теперь вызывал в нем только недоверчивую усмешку. Если они и на самом деле поднялись за честь и достоинство Божея, то почему бы им не вспомнить и о собственной чести и своем достоинстве?

Раны, нанесенные их чести и достоинству, они залечивают, оказывается, зимниками и новыми пастбищами. И высокопарные слова: «Народ исходит плачем... Хребет перебили народу... Многострадальный народ...» – это все лживые, лицемерные слова. Оказалось, что как только вожди племен набили себе зоб, так весь этот великий шум сразу пошел на убыль, а потом и вовсе умолк.

Часто и подолгу размышляя над подобными вещами, Абай с горечью понял – особенно в эту осень смертоубийственных страстей, – что природа и человеческое поведение взрослых порой выглядят далеко не совершенными и малопривлекательными. И он, все больше узнавая о проявлениях несовершенства мира, только сокрушенно покачивал головой. А слыша со стороны иргизбаев, взбешенных от злости и унижения: «Эти жигитеки с ума сходят от радости! Днем и ночью пляшут и поют, устраивают тои, а мы тут горюем и переживаем о нашем дорогом мырзе!» – Абай насмешливо усмехался. В этих словах звучала плохо скрытая зависть к победителям.

Ему только и оставалось – усмехаться про себя. Он как будто был отгорожен от внешнего мира некой непробиваемой оболочкой. Он рос и вырослел душой, словно находясь вне этого мира.

Все чаще он брал в руки домбру. Играл неизвестные ему самому, возникающие сами по себе светлые, грустные кюи.



Однажды вечером, после долгой прогулки верхом, Абай зашел в дом к матерям, застал там Габитхана, Такежана, Оспана и нескольких чабанов. Абай молча взял домбру и стал играть. Он играл долго и хорошо, все заслушались. И вдруг он запел – какую-то никому не известную, веселую, шутивную песню. Слова ее понравились слушателям. Улжан спросила: «Чья это песня? Не твоя ли?»

На что Абай ответил:

– Нет, это песня Байкокше.

Но это была песенка самого Абая. Он еще не решался никому признаться, что сочиняет песни. Стеснительность и робость сковывали его.

Этой осенью, в особенности с наступлением холодов, когда уже все перебрались в зимники и вечерами сидели дома, Абай весьма увлекся игрой на домбре. Нашлись и хорошие учителя, старые исполнители-күйши, которые взялись его обучать в манере известных мастеров игры на домбре, таких как Биткенбай и Таттимбет.

Учась играть на домбре, показывая игру, Абай время от времени пел свои веселые шуточные песенки, развлекая домашнюю публику. На зимовье мулла Габитхан возобновил занятия с Оспаном и Смагулом. Абай, сидя возле них, читал книги. Он заново увлекся поэзией Навои, Бабур и Аллаяра, читая их, вдруг брался за бумагу и писал что-то свое.

Больше всего в поэзии его увлекала тема «страсти огненной, тоски по прекрасной возлюбленной». Хотя еще сам не был знаком с этой страстью, о которой слышал от других, но сердце его жаждало непременно ее испытать.

Была на свете душа, которой он мог бы посвятить стихи «тоски по прекрасной возлюбленной». Это далекая Тогжан, оставшаяся по ту сторону вражды и ненависти, за непроходимыми рвами смертельных схваток и убийств. И хотя эти схватки и убийства разделили их, он не может забыть Тогжан. Все первые робкие стихи его, написанные в эту зиму, посвя-



щались ей одной. Собралась небольшая книжка, которую он, внутренне краснея от волнения, назвал: «Тебе посвящаю, лунолика, звуки первых своих стихов». Завершалась книжка стихотворением: «Ты встаешь в моем сердце, рассвет любви!» Случалось Абаю некоторые из этих стихов напеть под домбру Такежану, Габитхану...

Изредка он выезжал поохотиться на зайцев, брал с собой черномордую, по всему телу ярко-рыжую породистую борзую, хорошо натасканную.

Два раза ездил в горы, в Карашоки, погостить в ауле старшей матери Кунке. Он навещал брата Кудайберды, который был женат рано и теперь уже имел двоих детей, мальчиков. В эту зиму у него родился третий сын.

Аул Кунке раньше других оповещался о делах и решениях Кунанбая. Здесь обосновался окружной приказ ага-султана, отсюда рассылались во все стороны его указы и послания.

Аулы рода Иргизбай, зимовавшие в урочищах на склонах Чингиза, были самыми многочисленными среди остальных, тоже немалых, аулов других родов. Поэтому сообщений и новостей стекалось сюда великое множество. Когда в доме Улжан начинали беспокоиться, не слыша об уехавшем Кунанбае, Абай отправлялся в аул Кунке, чтобы узнать новости. Но каждый раз, приезжая к старшей матери, Абай становился свидетелем разных ее выходов и, одновременно, жертвой весьма противоречивого характера и сложного поведения Кунке.

После отъезда Кунанбая в город она постоянно за глаза упрекала Улжан, не стесняясь присутствия Абая:

– Улжан не интересуется, как дела у мырзы? Здоров ли он? Нет, она не думает о нем. Если бы думала, то – как и при старом мырзе, отце нашего мырзы, покойном Оскенбае, – устраивала бы у себя в Большом доме приемы гостей, наполнила его людскими голосами, придала бы ему надлежащее достоинство и пышность. А сейчас что? Она и кочует совсем отдельно, и



живет отдельным аулом в Жидебае. Разве это дело? Вместо того, чтобы стать примером и опорой для других, собирать людей на щедрое угощение, тем самым возвышать шанрак дома своего мужа, она думает только о своем благополучии и покое и ничего не делает из того, что должно ей делать. Апырай! Ведь все эти тяготы на моих плечах! Все заботы о гостях, затраты аулов мырзы – на мне одной!

Абай никогда не вступал с нею в пререкания. В это время убой скота в доме Кунке гораздо значительнее, чем в Большом доме Улжан, и это особенно раздражает и злит старшую жену Кунанбая. Особенности и сложности женского соперничества проистекают и зависят, оказывается, от того, сколько баранов пошло на заклание. Абай старается вовсе не обращать внимания на выпады старшей матери, терпеливо выслушивает ее, чтобы тут же забыть ее слова. Насколько неприязненно встречает Абая старшая мать Кунке, настолько же радостно, с распростертыми объятиями встречает ее сын, Кудайберды...

Абай матери никогда не передавал неприязненных слов Кунке, но оставаясь наедине с бабушкой, все ей рассказывал, советовался с нею, как ему держаться с Кунке. Бабушка Зере ему сказала:

– Не принимай близко к сердцу ее слова. Она хорошо знает, какие обязанности возложены на каждый очаг. А напраслину возводит на Улжан из-за своей проклятой ревности. Ревность во всем виновата! Ты посмотри: Кунке ведь и на Айгыз набрасывается! Ладно, мой родной, ты матери ничего не говори, я сама все улажу.

Зере вскоре призвала к себе Изгутты и через него передала для Кунке такие слова: «Лучше бы она помолчала, набравшись терпения. Пусть не распускает язык, по всякому вздору перед всеми не треплет имени мужа, не позорит родных, не выносит сора из дома».

Ждать возвращения Кунанбая в его аулах уже устали. Близких, родственников и друзей охватывало беспокойство.



Пятнадцать отданных зимовий были заняты и обжиты аулами Байдалы и Байсала. Осень отошла незаметно, и уже ползимы прошло, а Кунанбай все не возвращался. Лишь каждый месяц присылал джигитов, одного за другим, чтобы те гнали скот в город. Через посыльных передавал в аул разные хозяйственные распоряжения. Коротко извещал, что жив, здоров.

Про свое служебное положение оповестил сразу же по приезде в город: снят с должности ага-султана. Одного этого сообщения было достаточно, чтобы у родни возникло немало тревожных вопросов и догадок. Но Кунанбай коротко отзывался: дуан пока не отпускает, дознание продолжается.

Действительно, в Каркаралинске избрали нового ага-султана, им стал Кусбек, потомок Бокей-тюре – старинного ханского рода. Когда-то он занимал эту должность, но тоже был снят властями. Вновь вернувшись на должность, он не стал, разумеется, особенно жаловать Кунанбая. Кусбек еще не забыл своего проигрыша ему на прошлых выборах. И ко всему, он был близок к богатею Баймурыну, который придерживался стороны Божея в отшумевшей недавно тяжбе по междоусобной степной войне кочевников.

Ага-султан поменялся, но рыжий «майыр» оставался. В бытность Кунанбая на месте ага-султана этот «чиноулык» не особенно жаловал его, и вот они оба, новый ага-султан и рыжий «майыр», стали нагнетать дело Кунанбая новыми обвинениями, раздувать засланными «приговорами» из разных племен, утяжелять дополнительными кляузными и ябедами – и отправляли всю эту бумажную стряпню в Омск. Тайной целью, тщательно скрываемой от Кунанбая, был переброс его дела под следствие губернского корпуса. Это означало, что если их замыслы осуществляются, Кунанбая могут и сослать.

За пару месяцев пребывания в округе дела его заворачивались все туже, пришлось снова обратиться за помощью к своим доброхотам и сторонникам, таким как Алшинбай. И лишь после того, как фигура Алшинбая открыто противостояла



Кусбеку, новый ага-султан, зная силу этого бия и ведая про его решительное влияние в выборах на эту должность, – начал потихоньку уходить в сторону.

Однако кое-какие бумаги успели уйти в Омск. И теперь, в противостояние Кунанбаю, вырисовались прожорливый «майыр» и прибывший из Омска чиновник. Работу над тем, чтобы их задобрить и умаслить, опять-таки Кунанбай поручил Алшинбаю. Средства, пускаемые в ход, были прежними – деньги, взятка натурой, щедрые расходы на угощение и подарки. Но настала зима, упали цены на скот. Гнать через такое большое расстояние скотину было невыгодно, она сильно теряла в весе. И Кунанбай с Алшинбаем стали ощущать некоторую нехватку в средствах. Но тут в Каркаралинск прибыл из Семипалатинска крупный купец, бай Тыныбек. Привел он большой караван, нагруженный тюками с дорогим товаром, хотел продать его и закупить у всего населения Каркаралы шкуры животных, забитых для зимней заготовки мяса – *согыма*.

В торговых делах с местным населением Алшинбай с Кунанбаем были для Тыныбека самыми выгодными посредниками и партнерами. Он отпускал им в долг разные товары, давал мануфактуру под залог скота, а они помогали ему обернуться таким образом, чтобы за овцу можно было получить теленка, а теленка со временем превратить в бычка, бычью шкуру обменять на овцу. Купец Тыныбек хотел бы прочно укорениться в деловой жизни округа, и с этой целью в прошлом году, при встрече в Семипалатинске, он высказал Кунанбаю свое желание породниться с ним, высватав его дочь за своего сына.

Тогда Кунанбай ясного ответа не дал, лишь туманно обнадежил Тыныбека. Ага-султан посчитал недостойным для себя выдавать дочь за городского купца, боялся, что не оберется наветов: «Отдал дочь не в хороший дом, а за хорошие деньги». А сейчас, как раз нуждаясь в этих деньгах, Кунанбай сбавил гонору, и когда Тыныбек вновь обратился к нему с тем же предложением, отнекиваться не стал. Алшинбай выступил сватом,



и дело сделалось. Кунанбай дал согласие на помолвку своей дочери Макиш с сыном купца.

С этого дня замок денежного сундука Тыныбека открылся для Кунанбая, и прожорливый «майыр» стал намного доступнее для тайных переговоров. В нем Кунанбай теперь не сомневался, но для него непонятным оставался «чиноулык» из Омска, Чернов, который специально был прислан корпусом для прекращения междоусобной войны и смены ага-султана. Кунанбай с Алшинбаем опасались, гадали: возьмет, не возьмет Чернов?

И вот, с помощью толмача Каска, Алшинбай два вечера подряд ублажал желудок омского чиновника, ухаживал за ним и обхаживал его с великим старанием. На третий день пришел к свату Кунанбаю с доброй вестью:

– Слава Аллаху, глотка у него оказалась широкая. Все глотает, что ни попади туда, хватает, рвет и проглатывает, от удовольствия урчит и прикрывает глаза. Ничего особенного не требует, не важничает – даже для виду. Мечет все подряд, никакой даже поганой мелочью не брезгует. А ведь всю осень приглядывался я к нему и думал, что сухой он и жесткий человек, неприступный чиновник, смертельный капкан для тебя!

Стало быть, дальнейшее преследование в округе для Кунанбая прекратилось, оставалось только приостановить поток поступающих бумаг и уничтожить их. Но именно в этот момент поступило из Омска неожиданное распоряжение. Вследствие рассмотрения уже отправленных туда ябедных бумаг решением корпуса майору строго предписывалось явиться самому и доставить Кунанбая и все его «дело».

Каркаралинский чиновник, успевший нахватать взяток, заметался в растерянности. Поездка Кунанбая в Омск никакими силами не могла быть отменена. Кунанбай отправил с этим известием шабармана в аул. Там восприняли эту поездку как судебное наказание, как ссылку. В Бокенши, Жигитек заговорили: «Все, Кунанбаю конец, он осужден. Его ссылают в



Итжеккен, где ездят на собаках». «Нет, еще дальше – на край света в Тескентау, где Темирхан-шора живет».

Кунанбай отправлял домой еще нарочных, успокаивая своих домочадцев, особенно старую мать: «Пусть не пугается! Съезжу в Омск, раз это надо. Все будет в порядке».

Но сколько бы ни успокаивал Кунанбай, после каждой весточки от него старая Зере делалась все печальнее. Участились ее грустные вздохи. Стало затягиваться ее отрешенное молчание. Во время вечернего намаза она вдруг могла умолкнуть и через какое-то время негромко, полупрошепотно произнести совсем не молитвенное: «А ведь он там совсем один-одинешенек... Бедняга, всегда у него было так. Одинокий он у меня».

По прибытии распоряжения из Омска Алшинбай, майор Чернов и Тыныбек, посоветовавшись, решили, что уклоняться от поездки Кунанбаю не следует. Майор отправил вперед, срочной депешей, сообщение о своем выезде и должен был скоро выехать сам, захватив все бумаги по делу Кунанбая. Майор дал слово ему, что в Омске добьется прекращения его дела. Как это сделать – обдумает по дороге. Но по прибытию в город решение у него уже будет.

Кунанбай первым тронулся в путь. В поездку были взяты лучшие кони, удобные крытые сани, захватили вдоволь продовольствия, учтена была и запасная упряжка крепких лошадей. Денег он взял вдоволь, набил ими карманы, напихал за голенища сапог. Кунанбай отправился в сопровождении всего трех джигитов, среди них был верный Мырзахан.

По дороге Кунанбая не оставляла тревога. В приближение Омска эта тревога усиливалась. Хотя рыжий «майыр» взял немало, но этот иноверец, во многом непонятный ему, уклончивый и скрытный, не внушал Кунанбаю доверия. Перед отъездом он прямо высказался Алшинбаю и Тыныбеку:

– Я поеду, а вы следите внимательно за той стороной. Выясните до конца все решения, по каждому добивайтесь ясного ответа. Если что, посылайте вдогон нарочного с сообщениями.



На третий день после отъезда Кунанбая его догнал джигит по имени Коккоз, отправленный Алшинбаем. День был морозный, но солнечный и ясный. Гонец прискакал с заводным конем. Густые ниспадающие гривы, подрубленные хвосты и длинные челки на обеих лошадях были покрыты сверкающим на солнце инеем. От боков и от пахов конских валил пар, обе лошади были взмылены – видно было, что их гнали безжалостно.

Джигит Коккоз под руки помог выйти из саней Кунанбаю, отвел его на край дороги и, наклонившись к нему, тихим голосом передал все, что ему было велено передать. Потом распрощался со всеми и остался на пустынной дороге. А тройка Кунанбая, в сопровождении верховых, рванулась с места и отправилась дальше.

Ехавшему вместе с ним в санях Мырзахану Кунанбай сообщил только следующее:

– Алшинбай передал: надо подождать майыра в Павлодаре. Дальше ехать вместе с ним.

– Значит, майыр собирается сдержать свое слово. А не струсит? – сказал Мырзахан.

– Не должен. Не похож он на труса, – отвечал Кунанбай. – Однако мы его постережем. Измены не допустим. Поостережемся. Увидишь потом сам, – многозначительно завершил он и, отвернувшись, уткнулся носом в воротник.

Но Мырзахан продолжал сомневаться: если майор не собирается сдавать властям Кунанбая, зачем ему понадобилось везти его в Омск?

Кунанбай терпеливо объяснил:

– Так было нужно. Он должен показать перед корпусом, что старается, хорошо исполняет поручения. Если надо съездить в Омск, чтобы только оправдаться, затем вернуться назад, – не так уж и длинна дорога. Ты об этом не беспокойся.

В Павлодаре пришлось три дня ждать майора, в день прибытия он сразу же пригласил Кунанбая на квартиру, где остановился. Кунанбай пришел, сопровождаемый одним только Мырзаханом.



Майор стоял в доме своего доброго знакомого, купца Сергея, который хорошо знал казахов и относился к ним с большим уважением.

Майор принял Кунанбая с Мырзаханом в большой, богато обставленной комнате, где находился один, без хозяев. В Каркаралинске майор всегда держал при себе переводчика, но оказалось, что он довольно неплохо освоил казахский и мог обходиться без толмача.

– Ну-с, Кунанбай Оскенбаевич, тебе не терпится увидеть бумаги, в которых находятся обвинения против тебя, не правда ли? – уставив косые глаза на посетителя, игриво спросил майор.

– Покажи! Все до одной бумажки покажи! Ничего не утаивай!

– О, покажу, покажу, не волнуйся! Я обещал Алшинбаю, значит, покажу, – улыбаясь, сказал майор, затем встал, подошел к двери и закрыл ее на замок.

Раскрыл офицерскую полевую сумку и достал кипу бумаг. Документы были аккуратно сложены и прошиты. Получилась увесистая пачка.

Увидев вытащенные на свет божий вредоносные для себя бумаги, Кунанбай как-то странно съежился, крикнул и, словно сильно продрогший человек, несколько раз вздрогнул всем телом и стал быстро потирать руки, ладонью о ладонь.

– Майыр, что-то холодно тут у тебя, – сказал он. – Я совсем замерз. Вели затопить печку!

Майор сначала молча уставился на Кунанбая голубыми, скошенными к переносице, глазами, подумал о чем-то, затем кликнул человека и приказал ему растопить печь. Пока слуга принес охапку дров, уложил в печку и разжег огонь, майор достал две бутылки коньяку, расставил закуску и предложил Кунанбаю выпить. Кунанбай пить не стал, велел Мырзахану выпивать с майором, а сам принялся подливать им в рюмки, приговаривая: «Пей-пей!» И разговор повел о чем-то, по пустякам...



Между тем огонь в печке разгорелся, дрова затрещали, буйно сгорая, превращаясь в груды багровых светящихся угольев. Майор, выпивший изрядно крепкого коньяку, захмелел.

Кунанбай потыкал рукой в кипу бумаг на столе и сказал:

– Майыр, мы с тобой немало поработали вместе. Знаем друг друга не первый день. Если имеешь еще какие-нибудь бумаги против меня, вытаскивай все! Ты же мой старый приятель, ничего не таи от меня! Покажи все до одной бумажки! Доверься мне, а я тебя не обижу.

– Больше ничего нет, Оскенбаевич! Бог тому свидетель! Ни клочка более... Это все, что осталось... – бормотал опьяневший майор. – Ты мне тоже старый приятель...

Вдруг Кунанбай бесшумно вскочил с места, обежал кресло, на котором сидел майор, навалился на него со спины и скрутил назад руки.

– Е, Мырзахан! – крикнул Кунанбай. – Хватай бумаги, бросай в печку!

Пьяный майор не сразу понял, что замышляет Кунанбай, он оторопел и растерялся, но потом опомнился и стал изо всех сил вырываться. Однако Кунанбай, в молодости ловкий борец и силач, и сейчас еще был силен. Он сковал майора своими сильными руками, не давая ему шевельнуться.

Расторопный Мырзахан сгреб в охапку всю кипу бумаг со стола и, подбежав к горячей печке, стал отрывать прошитые тетради и бросать их в огонь. Майор понял, наконец, что ему не вырваться из крепких рук Кунанбай, и стал в крик умолять его:

– Эй, довольно, Оскенбаевич! Перестань! Ты что же это делаешь, дос? Дос! Ведь это казенные бумаги! Закон нарушаешь! Мне же за них отвечать! – Майор вопил отчаянным, плачущим, пьяным голосом.

Время от времени он делал новые попытки вырваться, потом вяло сникал и начинал хныкать:

– Зачем сжигать... бумаги? Вы, значит, вот как... А мне что делать теперь?



Мырзахан между тем зашвырнул в огонь всю пачку документов. Очень скоро от них осталась только потрескивающая груда легкого пепла. Кунанбай и Мырзахан молча переглянулись, затем бросили в кресле поникшего, ослабевшего майора, закрыли дверку печки и быстренько удалились из комнаты.

Кунанбай знал, что майор захочет подороже продать ему обвинительные документы против него, но решил поступить с чиновником по-своему. Он давно задумал то, что совершил сегодня в Павлодаре... В эту же ночь он покинул город и отправился дальше один, без майора...

А брошенный в кресле майор, выглядевший пьяным до полного бесчувствия, – как только казахи вышли из комнаты, тут же вскочил на ноги совершенно трезвеньким. Покачав головой и, видимо, признавая, что на сегодняшний день он проиграл, Вареная Голова выпил еще пару рюмок коньяку и пошел искать хозяина дома.

Купец Сергей был надежным другом. Он сразу понял, что случилось, и быстренько нашел решение, что делать. Выйдя потихоньку во двор, они вдвоем прошли к небольшому сарайчику, где стояли сани, на которых приехал майор. Бросив в сани старую кошму и груду ненужных бумаг, они вышли из сарая и подожгли его. Через минуту сарай весь был охвачен пламенем пожара.

Этот пожар, который устроил для майора его «добернайы» – доверенный то бишь, купец Сергей, был ответным подарком на другой пожар, который в прошлом году посоветовал устроить на складе майор Сергею, когда тот проворовался на казенном товаре и не смог вернуть деньги. Тогда по всем правилам пожар был заактирован дуаном, майор наложил печать на акт и поставил свою подпись. Товар был списан, Сергей спасен. Благодарный купец уже в этом году смог выручить майора – точно таким же способом. Утром следующего дня Сергей все уладил с городским пожарным начальством – и наградил друга-майора актом о сгоревших казенных санях и всех документах, находившихся в них.



Через пять дней Кунанбай и майор порознь друг от друга прибыли в Омск. Канцелярия Омского корпуса в продолжение десяти дней вызывала Кунанбая на непродолжительные допросы, затем, признав его невиновным, полностью сняла с него все обвинения. Майор, прибывший в корпус с актом о сгоревших при пожаре документах, сумел благополучно защитить свое мнение в следствии по делу Кунанбая.

Освободившись от судебного преследования столь необычным способом, Кунанбай вернулся в Каркаралинск победителем. В пределы Тобыкты поскакал конный нарочный с этой новостью – торопясь получить положенный ему суюнши¹. Но сам Кунанбай не спешил вернуться домой. Он еще надолго задержался в Каркаралинске.

Мырзахан, со своей стороны, всюду разглашал весть о поездке в Омск как героическую повесть о великой победе Кунанбая над «майыром». В его изложении майор представлял как опасный и коварный злодей, жаждавший уничтожить Кунанбая. Потрясая бумагами, этот злодей якобы грозился: «Вот чем я уничтожу тебя, сотру в порошок, с лица земли сведу!» Но Кунанбай не дрогнул и силой умного слова отвел чары злых бумаг. А недотепа «майыр», Вареная Голова, был посрамлен. И люди, слушая Мырзахана, охотно верили ему и одобрительно говорили: «Да, вот он какой!» – и кивали самим себе. Со слов Мырзахана, пошла новая волна славы о «несгибаемом мужестве и стойкости», «непревзойденной ловкости и изворотливости ума Кунанбая». И новая легенда о его подвигах, сотворенная Мырзаханом, через гонцов и нарочных достигала ушей тобыктинцев.

А Кунанбай, вернувшись в Каркаралинск, встретился там как ни в чем не бывало с майором, и у них состоялось полное примирение. Восстановил Кунанбай все пошатнувшиеся былые связи и приятельства с другими чиновниками окружного дуана. Он пробыл в городе до самой весны, хлопотал о предоставле-

¹ *Суюнши* – подарок за добрую весть.



нии ему должности. Разумеется, об ага-султанстве и говорить не приходилось.

Только к тому времени, когда сошли снега и обсохшая степь покрылась первой, едва заметной дымкой зелени, Кунанбай покинул Каркаралинск и отправился домой. Возвращался он в должности волостного старшины, спихнув родного брата Майбасара и усевшись сам на это место.

Эта весть также быстро распространилась по всему тобыктинскому краю и долетела до его аулов раньше, чем он прибыл туда.

4

Этой весной Абай особенно отдалился от всей житейской суеты, ушел от повседневных человеческих страстей и вожделений, храня в сердце некую сокровенную тайну. Этой тайной было пробуждение в нем его поэзии. Мыслящая душа раскрывалась в живых тонких звуках домбры, на которой он играл, и уходила бродить по строчкам новых стихотворений. Их он написал немало, научившись непринужденно воспарять на крыльях воображения. Рождалась музыка и являлись стихи у него одновременно, домбра и чистая бумага всегда были под руками Абая, и этой весной он сочинил немало чудесных песен, проникнутых самой высокой поэзии. Но это была не отвлеченная поэзия, – Абай рассказывал о состояниях своей влюбленной души. И рассказанное им – было всего малой частью того, что он переживал в себе. Когда бы рядом вдруг оказалась та нежная душа, готовая искренне воспринять его любовь и вдохновение – насколько сильнее, прекраснее, удивительнее могла бы выразиться домбра, способная передать то, чего не может высказать даже его поэтическое слово! И в порыве досады Абай восклицал:

– Апырау! Я не знаю, что мне делать! Язык мой беден и убог, не могу даже передать то, что я чувствую.



Песни и стихи, все то чудесное, что открылось ему в мире его души, он не мог донести до той единственной, которой все это посвящалось. Есть ли у него хоть какая-нибудь надежда открыться ей? Или он так и будет всю жизнь тосковать и мучиться в одиночестве, без нее? И вечно пребывает в нем, нежно и больно напоминая о ней, лишь тихий перезвон серебряной шолпы. А в глазах будет вставать тот багряный рассвет после бессонной ночи, что навсегда стал для него образом любимой Тогжан. Ах, почему невозможно забыть это светозарное утро?

Когда в степь пришло тепло, незаметно растаял снег и наступившие пресветлые дни весны были словно проникнуты материнской нежностью, Абаю не сиделось дома. Оседлав коня, он выезжал из аула и затем скакал, куда глаза глядят. Нашлась и вполне объяснимая причина для этих конных прогулок – полевая натаска рыжей черномордой борзой. Выходило иногда так, что, выбравшись за околицу аула, Абай сразу же пускал коня вскачь, предоставляя борзой самой искать зайца. А вскоре он вовсе забывал про собаку. И постепенно они перестали понимать друг друга: он не знал, каким образом натаскивать ее, она не знала, чему должна следовать на охоте. Бывало, он спохватывался, не видя нигде рыжей борзой, и начинал громко звать ее. И когда она, возбужденная, рьяная, вдруг выламывалась из кустов, гоня перед собой зайца, – и выгоняла его на открытое место, Абай растерянно смотрел на них, неподвижно возвышаясь в седле, словно каменный истукан. В другой раз, когда пес на его глазах, настигая и уже нависая над зайцем, сделал последний отчаянный рывок и, надав с сумасшедшим ускорением, закусил его и покатился вместе с добычей на землю, а потом с довольным видом, вывалив язык, стоял над добычей, поджидая хозяина, Абай с безразличным видом проехал мимо – к полному отчаянию пса. Обычно в таких случаях охотник спешит поскорее подскочить к месту сшибки дичи и отнять у собаки, не дать ее разорвать и съесть. Теперь же рыжая борзая с черной мордой настолько была удивлена



и озадачена, что, когда хозяин так и проскочил мимо и начал удаляться, – стала громко, беспокойно лаять вслед. Но и это не помогло – тут пес впал в большое беспокойство, с подвизгиваниями принялся бросаться то в сторону удалявшегося охотника, то отскакивать снова назад к лежавшей на земле дичи. Но хозяин даже не обернулся ни разу, и тогда борзая отбросила всякие приличия, затащила зайца в кусты, разодрала и ела его, пока не насытилась. Лишь после этого, с измазанной в крови мордой, догнала неспешно трусившего на коне хозяина. Взглянув на пса, узрев его виноватый, преступный вид, Абай раскаялся в своем безразличии.

При этом он одновременно старался не потерять некой, совершенно исключительной, душевной сосредоточенности – из глубины сознания всплывала новая, красивая мысль, словно долгожданная и уже любимая новая мелодия.

Навстречу из далей серенького дня прилетел низовой ветер, мягко гнувший метелки прошлогоднего пожелтевшего ковыля. Абай снял с головы шапку и подставил разгоряченный лоб прохладным струйкам ветра. Его прозрачные потоки стекали с горных склонов Чингиза, со стороны гор Караул и Туйеоркеш. Или это веяло мощным живым дыханием этих гор? Благодатным, умиротворяющим, блаженным, усыпляющим дыханием.

Однажды, когда Абай находился на зыбкой границе между миром подлинным и запредельным, плыл в зыбких волнах своих одиноких грез, – вдруг к нему на рысях подъехал всадник. Своим внезапным появлением путник заставил вздрогнуть Абая, который словно выпал из сна в реальность. Абай взгляделся в него – совершенно незнакомый человек. Молодой совсем джигит. Абай сидел на своем коне, забравшись на бугорок посреди ровного ковыльного поля. Когда джигит напрямик завернул к нему, Абай встретил его выжидающим спокойным взглядом. Однако тот весь расплылся в радостной улыбке, словно родному человеку. Подъехав близко, назвал его по имени, отдал салем. Абай ответил, вновь пристально



вглядываясь, – и вдруг узнал его! А узнав, так и вспыхнул от радости, щеки его загорелись румянцем.

Перед ним был Ербол, тот самый Ербол, с которым Абай познакомился в прошлом году, возвращаясь из аула Тогжан! Было неловко, что не сразу узнал его. Но Ербол ничего, кроме радости встречи, не проявил.

– Ты охотишься? С собакой? А где же собака?

– Собака? Здесь была... В кусты чия убежала, наверное, – отвечал Абай; только сейчас он заметил, что собаки нет.

Пес тут как тут выбежал из зарослей чия. Внимательно оглядев собаку, Ербол рассмеялся.

– Ну и охотник ты, я вижу! Разве выходят на охоту с таким перекормленным псом?

– Я не кормил его вовсе!

– А тогда что с ним приключилось? Ты посмотри на его бока, милый мой! Вот раздулись! Видно, недавно пожрал. А что он ел, интересно? Е! Ты видишь кровь на его морде, на груди? Даже не знаешь, что пес твой поймал добычу! Он зайца, наверное, сожрал!

Кончили говорить про собаку, заговорили про другое. Абай был взволнован. Задушевная радость была для него – разговаривать с Ерболом. Не хотелось с ним расставаться. Он стал приглашать его в гости. У Ербола возражения не было. На этот раз он как раз был свободен от всех дел, – сел на коня и поехал гулять по аулам. Предложение Абая с удовольствием принял.

С того дня пять дней подряд Абай не отпускал Ербола от себя, принимая его в своем ауле как желанного гостя. Они вместе развлекались, рассказывали друг другу о себе, по вечерам пели и веселились. Абай пел ему собственные песни, читал свои стихи. Наконец-то в его жизни появилась близкая душа, которой он мог доверить все самое сокровенное. Он раскрыл другу глубочайшую тайну своего сердца. И сказал ему, замирая от волнения: «Дай знать об этом Тогжан!»



Ербол выучил наизусть стихи, прочитанные ему Абаем, горячо заверил его, что донесет их до Тогжан, расскажет ей о пламенных чувствах молодого джигита Абая, и уехал домой.

Через три дня, показавшиеся Абаю вечностью, Ербол приехал обратно в Жидебай – с тем, чтобы увести его за собой в направлении своего аула в Верблюжьих Горбах – Туйеоркеш.

Абай мог мечтать только о единственном – встретиться с Тогжан и поговорить с нею. Об этом желании друга Ербол вначале рассказал снохе Тогжан, жене ее старшего брата Асылбека. Она вначале сразу же отказалась быть посредницей в их свидании, но Ербол почитал ей стихи Абая, и они так понравились снохе, что она, никогда еще не сводившая между собой джигита с девушкой, согласилась помочь им встретиться. Вместе с Ерболом она поговорила с Тогжан, с кем была в задушевных отношениях, наперебой они читали ей стихи поэта, влюбленного в нее, – и добились согласия Тогжан на тайное свидание.

Взволнованный и нетерпеливый, Абай не заметил, как добрался до Верблюжьих Горбов. Двое джигитов въехали в горный аул уже в сумерках. В тесном пустоватом дворе стоял одинокий дом Ербола, соседей поблизости не было. Этот зимник находился с одного берега реки Караул – на другом берегу, примерно с версту расстояния, находился хозяйственный двор зимовья Суюндика.

Богатый аул, расположенный на противоположном берегу горной реки, еще скованной льдом, уже был виден смутно, погруженный в наземную темноту, но вверху, на фоне светящегося темно-синего неба, высоко поднимались кудрявые султаны дыма над трубами очагов. Как-то спокойно, не тревожно лаяли собаки в ауле, безмятежно отходившего ко сну. Но это был недружелюбный к Кунанбаю аул, после совсем недавних междоусобных сражений Абаю туда нет доступа.

Если там узнают о приезде Абая да еще с такой целью – не миновать проявления ненависти и жестокости с той стороны. Асылбек и Адильбек, сыновья Суюндика, джигиты крутоватые,



бесстрашные и мстительные. Если им станет известно о том, как тайно обошел их вражеский сынок, они сгорят со стыда. Поэтому надо было все сделать с крайней осторожностью, в полной скрытности. Ербол с Абаем до полного наступления темноты просидели на другом берегу в укрытии.

В условный час, в тишине глубокой ночи Ербол и Абай пешком по льду перешли реку. Аул давно спал, даже собаки молчали. Ербол подвел к зимнему загону скота; тихонько толкнув дверку, открыл ее и завел Абая в верблюжатник, оставил его на месте, а сам, шаря перед собою руками, направился куда-то в темноту. Абай стоял, боясь шелохнуться, затаив дыхание. Слышал гулкие удары своего сердца. Ербол отсутствовал недолго. Вскоре он вновь объявился рядом, в темноте, и, взяв его за руку, зашептал:

– Слава Всевышнему. Все хорошо. Сегодня Асылбека нет дома! Сейчас пойдем в его юрту.

Когда Абай вошел в юрту, навстречу ему поднялась и осталась стоять на месте, возле высокой стопы разноцветных одеял, белолицая хозяйка дома. Тогжан сидела рядом на полу, на разостланном стеганом корпе. Дом был богатый, кругом висели шерстяные и шелковые ковры, пол от самой двери до тора был накрыт разноцветными алаша – домашней выделки коврами. Высокую кровать с костяными накладками отгораживал белый шелковый полог.

Когда Абай тихим голосом произнес слова приветствия, молодая хозяйка подошла к нему, с учтивым видом приняла его шапку и развязала пояс на его чапане.

И в эти первые мгновения Тогжан, еле живая от смущения, вся зардевшись, ответила на его приветствие едва слышным голосом. Потом лицо ее вдруг сильно побледнело. Вся смятенность ее души сказывалась в этих внезапных сменах красок на ее лице, в бурных приливах крови на сердце и в полуобморочном его замирании. Ербол понял состояние обоих и решил оставить их наедине.



– Схожу, пожалуй, на тот берег и проверю лошадей, – сказал он и быстро выскользнул из юрты.

Невестка Тогжан тоже вышла, сказавшись, что пойдет ставить чай, – и уже не вернулась.

Оставшись вдвоем с девушкой, Абай сильно смутился, потерялся. Но пригляделся к Тогжан и понял, что она смущена не менее его. Перед ним был робкий, стыдливый ребенок, совершенно невинное дитя. И он понял, что они могут, оставаясь в таком смущенном состоянии, упустить радость первого свидания.

– Тогжан, вы слышали мой салем? – спросил он, наконец. – Стихи были написаны для вас... Я не поэт... но я тосковал о вас, и я написал стихи. Не знаю, стоят ли они вашего внимания.

– Я слышала их, Абай. Ваши стихи чудесные.

– Правда? Вам понравились? Я ведь и на самом деле не акын. Но с самого первого взгляда на вас во мне что-то произошло. Я не мог забыть ваше лицо ни на миг.

– Вы так говорите... но вы с тех пор ни разу не приезжали больше. Я думала, что вы забыли про меня.

– Как бы я мог приехать, Тогжан? Разве вы не знаете, что творится кругом? Я бы на крыльях прилетел, чтобы еще раз взглянуть на вас, Тогжан, айналайын. Разве только чудом я мог бы увидеться с вами.

– И я тоже... – опуская глаза, краснея, сказала Тогжан. – Я тоже хотела увидеть вас. И я видела, однажды... Мы шли в траурном караване. Не знаю, узнали вы меня...

– О, Тогжан! Как хорошо то, что вы сказали. Вы хотели видеть меня! А я ведь тогда еле сдержался, чуть не вскрикнул: «Постойте! Остановитесь!» Я ведь тогда подумал, что вы не заметили меня, а если и заметили, то вам было все равно... Тогжан, да как же это я мог бы забыть вас?

Абай подошел к ней и, нагнувшись, нежно взял ее за гибкие, белые руки. Тогжан застыдилась и, не отнимая рук, выпрямляя их и отворачивая лицо, попыталась отодвинуться в сторону.



Этот вечер и эта ночь навсегда сблизили два юных сердца в непреходящей любви, неугасимой страсти. Они ничего не умели желать, кроме того, чтобы держать друг друга за руки и разговаривать наедине – ненасытно, нежно, доверчиво.

Лишь под утро молодая женге – невестка вернулась в юрту. Когда она, с улыбкой взглянув на них, опять молча пошла ставить чай, Абай решился... Он склонился лицом к Тогжан и быстро поцеловал ее в щеку. Она, мгновенно вспыхнув, охватила его лицо пылающими ладонями и стала уклоняться – но это было не сопротивлением ее, это был девичий стыд. Абай порывисто устремился вперед, крепко обнял девушку и стал целовать ее глаза. И теперь Тогжан никак уже не противилась.

Она прижалась горячей щекой к лицу Абая и замерла на миг. Потом гибким движением сильного молодого тела выскользнула из его объятий.

– Мое солнышко! – протянул к ней руки Абай.

В эту минуту молодая невестка снова быстро и бесшумно вошла в юрту. На этот раз она не улыбалась, озабоченным голосом произнесла:

– Ойпырмай! Как бы тебе, голубчик Абай, в беду не попасть. Ночью лед на реке тронулся. В Карауле вода прибывает. Где ты оставил коня? За рекой?

Тревожное сообщение женге ничуть не озаботило Абая: юное сияющее лицо его было счастливо. Зато встревожилась за любимого Тогжан:

– Как же вам перейти через реку? Где ваша лошадь? Оу, вам нельзя оставаться на этой стороне! – девушка сильно разволновалась.

Абай только теперь начал осознавать, что и на самом деле: конь его на том берегу реки, а он сам на этом. Воды Караула весьма коварны, внезапный ледоход, разливы и наводнения здесь не редки. Переждать ему на этом берегу в ауле нельзя. Уже светает, еще немного – и его тут могут обнаружить. Надеяться на добрых друзей не приходится, их здесь у него нет.



Быстро поразмыслив обо всем этом, Абай решил немедленно уходить, чтобы не подвергать опасности гостеприимных хозяек. Быстро одевшись, перепоясавшись, надев шапку, он направился к выходу.

Невестка, на ходу надевая чапан, опередила Абая и распахнула ему дверь. Он обернулся к оставшейся в юрте Тогжан, сжал ее руки.

– Милая, светлая моя! Не бойся за меня. Переберусь как-нибудь! Все весточки от меня тебе будет приносить Ербол.

Белые, с длинными пальцами гибкие руки Тогжан лежали на груди Абая. На мгновение тесно прижавшись к нему, прошептала:

– До свидания! Не забывай...

Добрая наперсница ее, молодая женге, провела его за руку через темный двор, подвела к узким воротцам и сказала на прощанье:

– Ну, дорогой мой, времени у вас было мало, что делать! Иди! Спрятать мне тебя некуда. Помни, карагым, что здесь твои добрые друзья. Только будь осторожнее, когда станешь переходить через реку. До свидания! Кош! Кош!

Абай схватил руки женге, с жаром произнес:

– Никогда не забуду, женеше! До самой смерти не забуду вашей доброты! – отвернулся и ушел твердой поступью через узкие воротца.

Абай шел и думал об этих славных женщинах, одну из которых он полюбил на всю жизнь. Перед глазами возникали их светлые добрые лица. Его переполняло чувство великой благодарности и любви к ним. И это чувство тесно сплачивалось с ликованием безмерного счастья, обжигавшего его сердце.

А впереди поднимался, навстречу и ввысь, до неба, какой-то могучий перекатывающийся гул, – Абай только теперь услышал его.

Это был шум половодья, взламывающего лед на реке. Переполненный Караул вышел из берегов. Абай вскоре оказался



у бушующего горного потока, который уносил прочь с треском ломающиеся льдины, со скрежетом и грохотом перекатывающиеся камни.

Он долго простоял на берегу, захваченный мощной, пугающей картиной пробужденной стихии. Перейти пешком реку теперь было невозможно. А на небе уже появились первые проблески наступающего рассвета.

Зайдя в сквозящие, без листвы, заросли прибрежного кустарника, походил взад и вперед, пытаясь найти какой-нибудь выход. Между тем рассвет уже неумолимо разгорался, все яснее проступали горные дали, и четче обозначались очертания окружающей местности. Вскоре проснется аул, к ревущей реке потянется любопытствующий народ. Первыми придут старики на отдыхе, у которых чуткий сон и которым не надо с утра заботиться о скотине. Если недалеко от дома Суюндика увидят они сына Кунанбая, то сразу заподозрят неладное.

Но уже ничто Абая не пугало. Переполнявшая его радость не давала чувству опасности захватить его. В подобной сложной обстановке юноша оказался впервые, однако он ничуть не растерялся. Сохранял спокойствие, словно многоопытный, уверенный в себе джигит.

Прячась в реденьких кустах тальника, вглядывался сквозь ветки через реку в сторону подворья Ерболова зимника. Заметил на том берегу фигуру человека, поспешно семенящего к реке, наискось к ее нижнему порогу.

Абай кустами прошел в ту же сторону, сравнялся с человеком, в котором узнал Ербола, и громко крикнул:

– Ербол! Э-эй, Ербол!

Тот, увидев через реку Абая, замахал рукой, явственно давая знак: мол, тише, пригнись! Но Абай не стал пригибаться, ему стало смешно при виде столь суетливых движений Ербола. Стоя на месте, Абай стал ждать иных указаний Ербола.

Воды Караула разлились угрожающе широко, потоки неслись, сшибаясь, с бешеной быстротой, и по всей этой ширине



вода на поверхности скручивалась в темные водовороты. Ербол, с бледным лицом, подбежал с другого обрывистого берега к самой реке. Он был изрядно напуган: считая себя виновником того опасного положения, в которое попал Абай, Ербол тревожился, что его друг может сильно напугаться.

Но Абай, остановившись точно напротив Ербола, с улыбкой на все сияющее лицо, шутиливо прокричал:

– Чего делать будем, эй! Выручай, Ербол! Караул-река хочет взять меня в плен!

Ербол спрыгнул с обрыва на песок у самой воды. Крикнул Абаю:

– Спрячься здесь! Сиди в тальнике! А я скоро вернусь, ты только не бойся! – И побежал по берегу вниз по течению.

В скором времени Ербол вернулся назад верхом на огромном рыжем воле, который до этого стоял в его подворье. Абай удивился, почему не на коне? Подведя вола к реке, Ербол хотел сходу загнать его в воду, но бык уперся, не пошел. Однако Ербол, отчаянно работая камчой, все же его переупрямил. Бык двинулся поперек течения. Вода была неглубока, но бурлила в крученых потоках, несла обломки льда. Огромный рыжий бык, не пугаясь этого, шел ровно, неторопливо, спокойно, не останавливаясь. Подступив к крутому берегу, Ербол бросил длинный поводок, Абай поймал его и начал изо всех сил тянуть, Ербол еще усерднее стал нахлестывать камчой, и бык вскоре выбрался на берег.

Друг, не пожалев себя, пришел к Абаю на выручку, сапоги Ербола были полны ледяной воды, выливавшейся через край голенищ. Абай обнял его, спросил:

– А где же конь? Почему не на коне, а на этом быке?

– На твоём коне нельзя, – последовал ответ, – твоего коня все знают. Аул уже проснулся, увидят нас здесь – тут же и набегут. А моя лошадка слаба, силенок не хватит ей реку перейти. К тому же она, треклятая, ночью выскочила из загона и ушла в горы пастись. Из-за этого я и задержался.



Усевшись вдвоем на рыжего вола, они хотели развернуть его и снова загнать в реку. Но не тут-то было, – упрямая скотина не желала даже стронуться с места. Напрасно провозились с волом полчаса. Как только ни костерил Ербол красного вола, помянув его предков до семьдесят седьмого колена, но вол остался равнодушен. Наконец, совсем выдохшийся Ербол плюнул на него и, прокравшись к краю зарослей, стал озирать пустошь перед аулом. Что-то заметив, бесшумно исчез. К этому времени уже наступил полноценный световой день. В одном повезло друзьям: почему-то этим утром люди в ауле заспались.

Абаю не очень долго пришлось ждать друга, – Ербол заявился назад верхом на упитанной темно-серой кобыле.

Абай был удивлен:

– Оу! Откуда ты взял ее?

– Тише... Это кобыла чабана отары Суюндика. Тут недалеко паслась, стреноженная.

– Да как же так? А чабану что делать?

– Пусть чего хочет, то и делает, нам-то что.

– Овцы разбегутся, как ему быть? Пешим остался пастух...

– Оу, создатель! Да мне не то, что чабан – пусть сам аруах его останется пешим! Как могу я оставить тебя в руках врага? Давай, кончай всякие разговоры, садись скорее на коня! – как отрезал Ербол и, подставив сложенные вместе руки, помог Абаю взобраться на кобылу.

Абай с радостью во всем подчинился своему решительному другу.

– Ербол, Ербол! Ты самый лучший друг! О, я никогда не забуду все, что ты сделал для меня!

– Ладно, Абай, хватит болтать! Давай! Вперед! Гони!

Заступив в ледяную воду, серая кобыла шумно зафыркала, задышала прерывисто, поджимая брюхо, но послушно пошла вперед, слегка пошатываясь в потоке воды и спотыкаясь, но хорошо удерживаясь на ногах. Темно-рыжий, почти красный,



длинный, громадный вол, глядя на идущую по воде лошадь, сам последовал за ней и спокойно перевез Ербола через реку.

Два юных джигита, как только преодолели Караул, тотчас освободили и вола, и кобылицу, а сами, укрываясь за береговым выступом, спустились вниз по реке на довольно значительное расстояние и вышли на пригорок. Оттуда спокойно направились в сторону Ерболова зимника. Подходя к нему, они увидели, как за рекой, взобравшись на уютный холмик за зимовьем Суюндика, стоит человек и внимательно обзирает окрестности аула. Ербол полагал, что это, должно быть, хозяин темно-серой кобылы.

– Да! Нынче на славу потрудилась твоя кобылка! А тебе сегодня придется пешком пасти овец! – насмешливо молвил Ербол.

Абай не стал заходить в дом. Постоял во дворе, пока ему седлали коня. Радостный, счастливый, благодарный, он дружески распрощался с Ерболом. Придерживаясь берега Караула, ровной иноходью направился в сторону своего аула – уже хорошо знакомым путем.

5

Ко времени возвращения Кунанбая уже многие аулы перешли жить из зимников в войлочные юрты, белые и серые купола которых, как грибы, высыпали на зеленеющие чистые поляны. Семейные очаги, в которых имелись старые люди, еще оставались в душных зимниках, юрты на свежем воздухе ставили молодые семьи. У подворья зимовий толкутся, жмутся на привязи, скачут совсем еще маленькие ягнята, верблюжата, телята – приплод новой весны.

Весенний аул словно расцвечен всеми яркими красками, благоухает бодрящим, свежим ароматом молодой жизни. Пушистые, словно шарики маленьких цыплят, беспрестанно блеют белые, серые, черные ягнята, ищут матерей. Нежно-



мохнатые верблюжата с дивными черными глазами доверчиво смотрят на подходящих к ним людей. В табунах среди взрослых лошадей появилось много длинноногих и длинноухих жеребят с кудрявыми хвостиками. По широкой пустоши рядом с аулом ходят коровы, между ними носятся, дурашливо подскакивают, задрав хвосты, быстро подросшие за эту весну телята. Вся эта скачущая, блеющая, по-детски орущая новая живность словно подпевала радостному, мощному гимну всеобщей жизни, звучащему над весенней степью: «Мы – радостное продолжение этой жизни! Мы – посланцы от потустороннего духовного мира в мир светлого земного бытия!»

Оба аула Кунанбая уже перебрались в Жидебай. Доили кобылиц, с прошлого года ходивших в табунах с жеребятами. В домах, в бурых кожаных мешках-сабах, плескался и созревал кумыс.

Не только в аулах рода Иргизбай, но и во многих других – родов Топай, Жуантаяк – возвращение Кунанбая отметили с большой радостью и торжеством.

Родственники несколько первых дней толпами валили в Жидебай, привозя с собой всевозможные дары, днем и ночью устраивались тои и разные увеселения. Прошедшая зима была спокойной, благополучной. Заготовлено мяса было достаточно. Стояли на откорме жирные бараны, которым зимой давали вдоволь сена, и по мере необходимости забивали годовалых жеребят или стригунков, оставленных сосать маток до третьего года. Из всего этого – щедро выделялось на пиры в честь благополучного возвращения Кунанбая. Родственники из других аулов приглашали к себе и всю семью его вместе со старой матерью, с женами и детьми, со всеми домочадцами, близкими родичами и их детьми.

Зере велела отвести к Кунке и зарезать серую кобылу, которую мать посвятила в жертвенное животное на случай благополучного возвращения сына и продержала на выстойке всю зиму.



Это двухнедельное непрерывное заклание животных и угощение множества людей, близких и не очень близких, имело скрытой целью выявление среди них подлинных сторонников и тех, которые отложились от Кунанбая за период временной потери им власти. На этих пиршественных сборах присутствовали аткаминеры, аксакалы и карасакалы множества больших и малых родов.

Державшийся особняком в прошедшей осенней междоусобной войне, премудрый Каратай, глава рода Кокше, как раз теперь пошел навстречу Кунанбаю и открыто явил себя его сторонником. Теперь они уже стали не разлей вода, днями и ночами проводили время вместе.

Еще недавно ходили разные слухи о том, что Кунанбай сослан, навсегда лишился всех должностей и уважения в народе. Но теперь, по благополучном возвращении да еще и в должности старшины всего Тобыкты, эти кривотолки были сведены на нет. А вместе с тем героическая сказка Мырзахана о подвигах Кунанбая в Павлодаре и Омске в борьбе против коварного шайтана «майыра» широко распространилась и стала известна даже маленьким детям этого края.

Все это щедрое гостеприимство, долгие застолья, это неимоверное заклание животных и поедание мяса означали не только выражение радости по поводу возвращения Кунанбая. Тут была замешана политика, смотр сил своих сторонников, стремление вновь вернуть к себе отпавших и теснее сплотить ряды тех, кто остался верен, и проявление усилия не только в том, чтобы сохранить свое влияние и авторитет, но и значительно повысить их.

И подобные тои, на которых всегда возникали и зрели некие угрозы для врагов, – для своих явились торжествующими проявлениями нового единения. Они продолжались, не прекращаясь ни на день, целых две недели. Но вот наступило время, когда из зимников надо было выходить на весенние пастбища и, подобно осенним кочевьям, широко рассыпаться



по просторам холмистой степи, чтобы нагуливать скотину на сочной нови, не мешая друг другу.

И сразу стали реже посещения гостей и приглашения родственников. Наконец Кунанбаю выдалось больше времени пообщаться со своей семьей. В ауле Улжан, расположенном в долине Ортен, он пробыл три дня. В эти дни Абай заметил, как сильно поседел отец и сколько новых морщин появилось на его суровом лице.

Однажды за полуденным дастарханом Улжан собрались Кунке, Кудайберды, Айгыз и вся остальная семья. Кунанбай, поглядывая на мать Зере, говорил для всей семьи, и слова его были исполнены печали. Он в эту поездку, оставшись без близких, ощутил все свое одиночество среди других людей. Почувствовал, что крепкой опоры нет для него даже среди родных братьев, старших и младших. А сыновья его очень еще молоды. И хотя они уже повзрослели, он до сих пор не всех женил, откладывал свадьбы, а ведь мог бы радоваться сейчас многочисленным внукам, лелеял бы и ласкал их. Теперь он не намерен дальше откладывать.

Все матери, вслед за Зере, только приветствовали эти слова и очень радовались. Что же для женщин является истинным счастьем, как не женитьба выросших детей и появление внучат? Счастье это – извечное.

Далее Кунанбай стал говорить о том, что в этот раз он убедился в надежности своих сватов: «Э, только у них я нашел поддержку и настоящую дружбу». Он имел в виду Алшинбая и Тыныбека. Но кроме них он упомянул и о преданности бая Байтаса, из племени Тасболат, рода Тобыкты. Так как встреча их произошла по пути Кунанбая на следствие, ничего о нем родные еще не слышали. Кунанбай сообщил, что у Байтаса оказалась молоденькая дочь, что они решили породниться, сосватав ее за Оспана. Таким образом, у озорника и драчуна Оспана появилась невеста по имени Еркежан. Все домочадцы, особенно матери, развеселились по этому поводу, порадова-



лись и от души посмеялись. И начали шутливо совещаться, как бы мальчишке доходчивее объяснить, что и на его ноги уже надеты крепкие пугы.

После этого Кунанбай объявил еще одну новость. Она касалась двух сыновей от Улжан. Старший, Такежан, в прошлом году посетил свою невесту и теперь вскоре должен был жениться. Калым сполна выплачен, скот в аул свата отогнали, тянуть со свадьбой незачем. Пусть создается его очаг. То же и с Абаем – и тут тоже незачем тянуть. С ним чего-то особенно затянулось, и это стало большой заботой матерей. Надо было давно отсылать его в поездку жениха к невесте.

Оказывается, Кунанбай с Алшинбаем уже договорились об этой поездке. Назначено было на эту весну.

Среди всех остальных сватов Алшинбай на особом месте. Помимо того, что он большой друг Кунанбая, Алшинбай и сам по себе очень значительный человек в Аргынском крае, потомок знаменитого на весь род Казыбека, сын известного бия Тленши. Пожалуй, нет казаха более благородного происхождения, чем Алшинбай, и сосватать невесту в его ауле, затем послать к нему жениха на *урын бару*, обряд знакомства жениха с невестой, было делом нелегким и требовало больших расходов.

Но матери были рады, их ничто не смущало. Только старая Зере призадумалась, потом сказала:

– Не будет ли удобнее послать его после того, как на джайлау переедем? Устроимся, почувствуем себя свободнее – тогда и отправим?

На что Кунанбай возразил:

– Тогда от нашего джайлау до джайлау Алшинбая станет слишком далеко. Добираться до него будет долго, скот, который мы погоним к нему, отощает за дорогу. Абай поедет в сопровождении аксакалов, им тоже будет тяжело. Нет, надо отправляться отсюда, и выезжать как можно скорее – дней через пять-шесть. Благо, что зимовали хорошо, скот отъелся, есть что погнать... Возглавишь поездку на урын бару ты, – обратился



Кунанбай к жене Улжан. – Повезешь сына и всех остальных к моему родне, в родные твои края.

Улжан вся просияла, услышав это поручение.

И пошел оживленный семейный совет о том, как и что надлежит сделать, чтобы не ударить лицом в грязь перед сватами. Непривычный к тому, чтобы подолгу обсуждать необходимые решения, Кунанбай прервал общий разговор и начал сам четко и коротко называть людей, которые должны поехать, перечислять все то, чего и сколько надо брать с собой: скот живьем, ткани, денежные суммы, ценную утварь и слитки серебра.

Но как бы то ни было, домочадцы Кунанбая отнюдь не хотели оставаться в стороне от обсуждения, ибо у каждого было свое представление, каким будущим родственникам какие везти подарки, чтобы потом стыдно не было. И тут слово Улжан имело веское значение. Когда дошло до определения, какой скот в каком количестве гнать, назвали число голов: семьдесят лошадей, тридцать верблюдов. Это было изрядно – лошади кунанбаевских косяков славились, в особенности породистые рыжей масти и саврасые. Он решил ничего не жалеть для аула Алшинбая, и потому к двум табунам обеих мастей были приданы жеребцы-производители.

После точного установления подарков в мануфактуре и в ценных товарах, надлежало сегодня же ночью ехать за ними в Семипалатинск. Отправиться должны были Изгутты и Кудайберды. Им было велено особенно не задерживаться в городе и, произведя закупки с помощью Тыныбека, вернуться домой дня через четыре.

На обсуждении всех этих вопросов из детей Кунанбая присутствовал только Кудайберды, остальные сыновья не были званы на совет. По-разному восприняли дети решение старших по поводу их сватовства. Когда сказали Оспану:

– Тебе невесту сосватали, – он, не сразу поняв, в чем дело, тем не менее, с деловитым видом ответил вопросом на вопрос:



– Что значит невесту? Бабу какую-нибудь нашли, что ли?

Когда Изгутты, явившийся с этой вестью, улыбаясь, как мог объяснил мальчишке, что к чему, Оспан принял еще более важный вид и небрежно бросил:

– Е, пусть приведут. Мне баба может понадобится.

Абай выслушал весть в смятении и растерянности. В душе у него содрогнулось и похолодело. Вспоминая сейчас Тогжан, он чувствовал себя перед нею отступником и предателем. Абаю эту весть сообщила сама Улжан, и ей не совсем понравилось то напряженное молчание, с которым он воспринял сообщение. Однако она решила: это он от смущения. Несколько дней Абай находился в сильном волнении. Размышления его были горестны и одиноки.

У него есть сговоренная невеста. У Тогжан, он знал, – нареченный жених. Невозможно ему не поехать к родителям невесты, невозможно отказаться от женитьбы. Это воля родителей. Сказать им, что он отказывается от поездки, – это невозможно! Истинную причину этого отказа он не посмеет им открыть. Власть родительская всеильна. И хоть душа его рвется к любимой Тогжан, он должен подчиниться их власти. Он в предгорьях своей судьбы – одинокий, в путях. Что ожидает его там, впереди, ему неизвестно.

С угнетенной, безрадостной душой, которая была в разладе с внешним миром, Абай отправился в путь, к родителям своей невесты.

НА ПОДЪЕМЕ

1

В аул свата Алшинбая отправилась Улжан в сопровождении тридцати человек. Незадолго до их приезда Алшинбай выбрал джайлау на просторной долине, богатой водою и кормами. Туда перекочевали уже около сорока аулов рода Бошан, населенных потомками Казыбека.

Гостей ожидали, к их приезду дойные кобылы были заранее пригнаны в аулы и содержались на привязи.

Согласно обычаю, свадебный караван должен был прибыть чуть раньше, хотя бы на полдня, чем сам жених и его молодые дружки. Из женского сопровождения вместе с Улжан поехали тетушка Калика и служанка Катша. Старшим среди мужчин был Изгутты, он же и главный сват. Приданы были к свадебному поезду несколько аксакалов, певцы-сэре, джигиты сопровождения и погонщики скота, предназначенного на калым.

С Абаем ехало двенадцать человек его свиты. Это была видная молодежь рода Иргизбай, к ним также присоединились два атшабара – Жумагул и Мырзахан. Из самых близких родственников жениха поехал брат Такежан. По личному приглашению жениха в его свадебную дюжину вошел друг Ербол, с которым Абай ни на час не расставался.

Дары, что повезла Улжан, были немалые. Кроме отогнанных табунов лошадей и верблюдов, – отправлены огромные тюки на двух матерых верблюдах-атанах. Везли в дар ткани на приданое невесты: атлас, бархат и плюш, дорогое сукно, тончайшие шелка. Ими наполнены два сундука, в остальных тюках было набито



все то, что полагалось для подарков многочисленной родне Алшинбая и сватов с его стороны: мужские чапаны, женские камзолы, рубахи, платья, яркие расшитые платки.

Но были особенные дары, сопутствующие всякой богатой свадьбе.

Самым дорогим в калыме являлся серебряный слиток *бесик-жамба*, отлитый в форме колыбели. Этот главный дар, преподнесенный свату Алшинбаю, назывался *илу*.

Обеим сторонам известно, что *илу* является ответом на *киит*, и это должно быть равного достоинства. Уже лет десять назад, когда родители сосватали своих маленьких детей, Алшинбай преподнес свату свой *киит* – серебряный слиток в виде копыта жеребенка, называемый *тайтуяк*. Но этот слиток оказался поменьше, чем нынешний илу Кунанбая. И люди заговорили, что Кунанбай вознамерился показать себя щедрее Алшинбая. Однако, полагали все, Алшинбай вряд ли позволит превзойти себя в щедрости.

Уже в первую же ночь по прибытии гости и хозяева, развязав туки с дарами и открыв сундуки, смогли убедиться в том, насколько велики богатство и щедрость обеих сторон. Ведь то, что принесено, должно быть отдарено в равной мере. И в ту же ночь стало ясно, что Алшинбай в долгу не останется. Для начала он велел поставить на ровном, чистом месте, в сторонке от аула, три больших белоснежных юрты для сватов и их сопровождения. Ночная трапеза началась с мяса стригунка, мяса молодой овцы и трехгодовалого валуха, мяса копченых ягнят весеннего окота. Алшинбай приказал откинуть створки юрты с той стороны, где сидела Улжан, и туда снаружи подвели на осмотр упитанного стригуна, попросили у гостей благословения-бата на заклание.

Абай со своей свитой подъехал к аулу в поздний час пополудни, остановился в версте от него. Теперь выдвинулись вперед джигиты постарше, такие как Такежан, Мырзахан, и поскакали в аул с оповещением. Жених Абай, его друг Ербол, еще трое джигитов сошли с коней и стали ждать девушек и молодых



женщин, которые должны были вскоре выехать навстречу. Абай знал, что начнутся весьма сложные, бесконечные обряды, в которых он мало разбирался, и, на всякий случай, придержал возле себя многоопытного Жумагула. Волнуясь и досадуя, Абай жаловался Ерболу:

– Женихья должна быть радостью для родителей, для жениха, так для чего придумали эти мучения? Эти обряды – не мучения ли для всех, Ербол?

Ербол рассмеялся.

– Ты точно заметил. Конечно, мучения! Так что – приготовься! Вот сейчас – кто приедет? Какие-нибудь сумасшедшие женге, наверное. Эти тетки чего-нибудь такое придумают, что только держись! Даже страшно становится.

Оставшийся с ними Жумагул был женат давно, ему уже приходилось испытывать все то, о чем толковали юнцы, Абай с Ерболом. Полагаясь на его опытность, они приступали к нему с вопросами, просили у него советов. А он, поглядывая в сторону аула, говорил ничего хорошего не обещающим голосом:

– Всякое может быть. Но, я думаю, начнут с того, что набросятся, почему нет перьев филина на твоей шапке? Почему жених не в красном чапане? И еще – если не натянешь шапку на самые глаза, то запросто могут надавать по щекам. Это касается вас обоих! Короче, ты с Ерболом еще увидишь немало интересного. Терпи, дорогой, ничего не поделаешь!

Носить на голове необыкновенно высокий тымак с пером филина на макушке – удел каждого жениха. Но при этом надо еще обязательно быть в ярком красном халате и в сапогах на высоких каблуках.

Перед поездкой к невесте бабушка Зере, Айгыз и целая куча тетушек смастерили для Абая подобный наряд, но он пришел в ужас и отказывался надеть его. Однако старая бабушка, обычно во всем потакавшая любимому внуку, на этот раз осталась непреклонной и строго приказала ему:

– Надевай! Это обычай твоих предков. Сваты не тебя будут укорять, если ты нарушишь обычай. Скажут: «Разве отец его не



был когда-то женихом, а мать – невестой?» Нас будут винить, родителей. Так что, надевай!

И перед выездом Абай оделся в полный наряд жениха, в котором он чувствовал себя ряженым, кем-то вроде шамана-бахсы. Но, отъехав от аула, он обратился к матери Улжан с мольбой:

– Апырау! Матушка, если я скоро должен стать зятем, то ведь зятем в роду Бошан, а не в Тобыкты! Сколько еще нам ехать по нашим краям, а я буду красоваться в этом наряде перед всеми, во всех встречных аулах! Нужно ли это, матушка? Разрешите мне ехать в своей одежде, а этот наряд я надену по приезде на место.

Хотя Улжан и показалось, что это будет не совсем правильным, но она не могла отказать сыну в его просьбе. И Абай до сего часа был не в «наряде шамана-бахсы». Малахай с пришитыми перьями филина и красный бархатный чапан лежали в переметной суме. Именно об этом и напоминал шабарман Жумагул. Он не одобрял того, что Абай не хочет надевать красивый наряд жениха. Он понял так, что Абай попросту стесняется и даже, чисто по-детски, побаивается, и решил его приободрить шуткой.

– Э, даже батыр Барак в старину, подъезжая к невесте, воскликнул: «О бесстрашное сердце мое! Ты ни разу не дрогнуло перед боем, но что же ты теперь, когда я женюсь, задрожало перед какими-то длинноволосыми женге?» Видишь, дружок, даже батыры боятся! Однако все кончается благополучно, это я уж по себе знаю! – изрек Жумагул, чем и рассмешил Абая и Ербола.

Ербол стал снова просить Жумагула:

– Ты все-таки будь всегда рядом, подсказывай, куда ему идти, кому кланяться, перед кем стоять навытяжку, когда нужно надеть шапку и надвинуть на глаза, когда поднять ее и вести себя свободнее.

Абай увидел, насколько озабочен Ербол предстоящими делами, словно готовится вместе с другом шагнуть через каменный порог судьбы, думает и беспокоится больше него самого.



Абай, глядя на друга, не узнавал своего прежнего беззаботного и всегда улыбающегося Ербола! И кто ему дороже – тот, прежний беспечный Ербол или этот, как будто даже разучившийся улыбаться?..

Все же, если и вспоминать про самое хорошее в их дружбе, – то не было ничего лучше той весенней ночи на ледоходе горной реки Караул. Ербол, который верхом на красном воле отважился перебраться через бушующий поток, чтобы прийти к нему на помощь – тот Ербол в глазах Абая навсегда остался прекрасным, словно небесный ангел.

В день отправления в путь к родителям невесты друг принес Абаю особенную весть – от Тогжан: «Словно заблудившийся в безлунную ночь – он исчез. И все-таки: желаю ему удачи! Пусть радуется этой жизни! Так и передай ему!» Когда Тогжан, заповедав это, повернулась и отходила прочь, Ербол увидел, что она вынула платок и прикрыла им глаза.

Услышав это, Абай всю дорогу не мог прийти в себя. Он чувствовал, что чужая тяжелая воля влечет его вперед – против его собственной. И вот он стоит здесь, в уже наступивших глубоких сумерках, и ждет чего-то... Вдруг из темноты прозвучал женский смех. В следующий миг послышались серебряные звоны множества шолп. Появились девушки в куньих шапочках, украшенных перьями, и молодые женщины в белых платочках, вышедшие навстречу жениху. Их было много – веселых, шумных, щебечущих, словно ласточки. Между ними бегом носились дети. Абай и его люди оказались в окружении шумной толпы женщин. Раздались певучие голоса.

– Ну-ка! Который из них Абай?

– Кто из вас будет жених?

– Что это они все в простых одеждах? А почему не видим наряда жениха?

Переговариваясь и посмеиваясь, женщины подошли и приветствовали джигитов. Они ответили. Веселые вопросы продолжались.



Разволновавшись, Абай сначала не знал, что говорить, наконец, нашелся и попробовал ответить шуткой:

– Выбирайте, кого хотите, смотрите сами! – ответил он, улыбаясь, стараясь выглядеть уверенным. – Кто вам больше понравится, тот и будет Абай!

Молодые женщины рассмеялись. Разумеется, они уже давно определили, кто из них Абай. Но, вслед за шуткою, одна из молодежьих женге строгим голосом, повелительным тоном приказала:

– Ну, будет с тебя, голубчик! Пошутил и хватит. Ты свой тобыктинский малахай носи на здоровье у себя дома, а здесь, в нашем ауле, изволь носить шапку жениха!

Тут женщина решительно стала доискиваться, куда жених спрятал свою жениховскую одежду. Выступил вперед Жумагул:

– Сколько я ни говорил ему, он все не слушался. Давайте, как следует проучите его, девушки! А наряд его лежит у меня в корджуне.

Он отвязал от луки седла и снял с коня свою переметную суму и передал женщинам.

А в это время мальчишки, прибежавшие вместе с женщинами, устроили барымту, угон лошадей. Они взобрались по двое, по трое на скакунов приезжих джигитов и, нещадно нахлестывая их, погнали прочь, в сторону аула. Абай приехал на замечательном белогривом золотистом иноходце. Теперь было ясно, что, следуя ритуальному правилу: «на коне жениха надо золу вывозить», – белогривому скакуну изрядно достанется. Окружив его, мальчишки звонкими голосами закричали:

– Ей! Да это же иноходец!

– Ойбай, красивый какой!

Трое мальчишек, один за другим, вскарабкались на него и, держась друг за друга, в три руки стали настегивать белогривого и умчались на нем в темноту.

До аула Алшинбая женщины и Абай со свитой добирались пешком.



Юрта, отведенная жениху, выделялась особенной, нарядной белизной. Внутри убранства было не так уж много: несколько сундуков, ковры, кое-что еще. Обставили дом жениха так преднамеренно: чтобы больше было места для совершения предстоящего обряда. Однако кереге – стенной деревянной решетки – видно не было под сплошными навешенными шелковыми коврами. Их яркая роспись, замысловатые узоры орнамента красного и зеленого цветов придавали всему свободному пространству юрты вид нарядный и веселый. От самого порога до тора разостланы шерстяные ковры и войлочные кошмы с крупными узорами. Поверх ковров были настелены несколько слоев стеганых одеял-корпе, всюду разбросаны расшитые пестрые подушки.

Справа от входа стояла кровать с узорчатыми костяными накладками, выгороженная кружевным занавесом зеленовато-розового цвета. Взбитая перина высоко поднимала пышную постель, застеленную яркими атласными одеялами, изголовье кровати занимала огромная белоснежная подушка. Занавеска над постелью была поднята.

Абай занял место перед кроватью, с обеих сторон сели девушки, будущая родня. Ербол, Жумагул и остальные джигиты-друзья также были рассажены между девушками

Едва успели разместиться, как в юрту вбежали три молодые келин и с паническим ужасом закричали:

– Занавески! Ойба-ай! Занавески-то опустите!

Сидевшая рядом с Абаем девушка вскочила с места, потянулась и дернула за края двухцветный полог, собранный и раздвинутый по сторонам. Шелковый занавес с шелестом упал и отгородил жениха.

Дверь распахнулась, в юрту вошли три важные байбише, стали в ряд. В середине была тучная, вся округлая, смуглолицая женщина, старшая теща, *ене* Абая, главная жена Алшинбая. Рядом с нею была настоящая *ене*, мать его невесты Дильды. Они держали в руках блюда со сладостями – *шашу*.



– Ну, почтенные матери, давайте выкуп. Где выкуп? Иначе не увидите вашего сына! – закричали молодухи и встали возле занавеса, держа его за край.

– Выкуп будет! – сказала байбише и прихватила пригоршню сластей с блюда. – Только покажите нам лица наших детей!

Занавес раздвинулся, и успевшие приготовиться Абай с друзьями предстали перед женщинами в приветственном поклоне. Абай стоял, склонив голову, не поднимая глаз.

– Да будет жизнь твоя долголетней! Да пошлет Всевышний тебе счастливые дни, свет мой ясный! – С этими словами байбише стала разбрасывать с блюда шашу: сушеный урюк, изюм, конфеты. Толкаясь, хохоча, девушки и молодки бросились подбирать сласти.

– Пусть будет счастливой твоя новая жизнь, которую ты начинаешь! Долгих лет радости и веселья тебе, родной мой Абай! – так приветствовала его подлинная теща, мать Дильды. Подошла, обняла его, расцеловала в обе щеки. Абай стоял перед нею молча, смиренно опустив глаза. Впрочем, в таких случаях зятьям и должно вести себя скромно, немногословно. Им необязательно отвечать, что-то говорить.

Но все равно, Абаю в этот вечер было тяжело и неудобно. Даже нахлобученный на самые глаза тымак, под которым было жарко и пот стекал по лбу на лицо, – причинял мучительное неудобство, раздражал его, и он чувствовал себя окончательно несчастным.

А тут еще со всех сторон на него откровенно, без стеснения, с диким любопытством пялились зрители, засунувшие головы в дверной проем, одну над другой. И все обменивались между собой мнениями:

- Ну и как? Красивый женишок?
- Под пару ли будет нашей дочери?
- Выглядит вроде бы ничего. А тебе как?
- Да красив, вроде.

Абай не в силах был поднять голову. То, что его вырядили, как девушку на выданье, надели на него ярко-красный чапан и



выставили на всеобщее обозрение, совершенно убивало Абая. Порой он даже забывал, почему здесь, ему казалось, что за какие-то провинности выставлен на посмешище, и люди тычут в него пальцем, восклицая: «Смотрите! Это ведь Абай! Он и есть, тот самый!»

И, наверное, под его настроение, – в доме жениха молодым гостям было совсем невесело. Даже посидев в чайном кругу, они не особенно разговорились друг с другом, общее настроение не поднялось. Жумагул, Ербол и остальные дружки жениха, которым веселья и остроумия обычно было не занимать, теперь сидели с постными лицами и лишь вежливо переговаривались с девушками, окружавшими их.

Но и тут наблюдательный Абай заметил что-то необычное в этих чужедальних девушках. У нескольких он увидел необычайно белые лица и щеки ярко-макового цвета. По молодой неопытности он еще не знал, что девушки в этих краях, особенно в роду Бошан, чьи аулы близко подходят к городу, пользуются пудрой и накладывают на лицо румяна.

После чаепития в дом жениха пришли старшие джигиты из свадебного каравана – Такежан, Мырзахан и остальные. Они привели с собой певцов-сэре и молодых джигитов этого аула. Сразу стало шумно, непринужденно, пошли веселые разговоры, раздалась смех и шутки.

Жениха окружили девушки и молодухи-келин. Но не было среди них той главной, ради которой совершался весь этот праздник, – невеста Дильда пока не появлялась.

Приезд Абая в аул невесты можно было назвать по-разному. Это и *урын келу*, «тайный приезд», хотя тайны никакой не было, а были со стороны жениха многие подарки родственникам и родственницам невесты. А то называлось – *кол устасу*, то есть «рукопожатие» – церемония первого показа, первой встречи жениха с невестой. Тут уж приходилось жениху набраться терпения: невесту так просто ему не покажут.

Прежде всего, родители с обеих сторон должны устроить той в честь первой встречи жениха и невесты. Той – дело много-



трудное. Требуется тщательной подготовки безо всякой спешки, о затратах говорить излишне. Надо думать только о том, чтоб все были довольны. Лишь после хорошего тоя можно провести и *кол устасу* – вечер «рукопожатия» молодых.

По всем этим причинам Абай не мог увидеть в лицо Дильду не только в первый вечер по приезду, но и в последующие два дня.

На второй день только друг Ербол ходил познакомиться и смог увидеть Дильду. Вернулся он весьма довольный, ему Дильда понравилась, и он хотел порадовать Абая тем, что начал рассказывать, как выглядела красивая невеста. Однако Абай быстро прервал его и заговорил о чем-то другом.

Ожидаемый с общим нетерпением той разразился на третий день, в полдень. А с утра юрту жениха, где сидели Абай и его друзья, посетило бесчисленное множество местных девушек, молодух-келин и не совсем молодых, но очень задорных и развеселых женге. Толпами прошли через жениховский дом почтенные байбише. Встречавшие гостей Жумагул и Ербол утро провели в согнутом состоянии, не успевая выпрямиться после учтивых поклонов. Они и Абая не давали засиживаться, то и дело встряхивали его, заставляя подняться на ноги:

– Эй, ну-ка вставай!

– Они у самого порога!

– Ойбай, ты только посмотри, сколько их!

Абай покорно и терпеливо сгибался в уважительном поклоне.

Дом жениха в эти дни наполнился весельем, песнями, звонким молодым смехом. Почтенные байбише то и дело приносили и разбрасывали сласти – шашу. Кумыс и чай подавался в любое время, дастархан не сворачивался.

И вот, ближе к полудню третьего дня празднеств, когда молодежь завершала мясную трапезу, снаружи донеслись возбужденные голоса:

– Той! Той начинается!



– На коней! Скорее на коней!

Абай и все находившиеся вместе с ним джигиты выбежали из юрты. Их лошади, уже под седлами, стояли у коновязи. Жениху дозволено было смотреть на всеобщее пиршество, игрища и веселье, находясь в седле, вместе с джигитами своей свиты. Женская пестрая и шумливая толпа осталась кипеть возле юрт, Абай и его джигиты – пятнадцать всадников – обособились и проехали стороной к полю праздничных игрищ.

Взрослые группы сватов, со стороны жениха, уже выбрались, оказывается, за аул и, столпившись в разных местах просторной долины, уже готовы были любоваться праздничным зрелищем.

Торжества и празднество Алшинбай задумал провести с размахом, чтобы они поразили всех и запомнились надолго. Приглашено было столько гостей, что одни только их верховые лошади составили огромный табун. Выезжая на поле, гости на лошадях смотрелись как лава неисчислимой конницы. Поставленные в два ряда юрты для гостей – около шести десятков – образовали посреди ярко-зеленой равнины целый аульный поселок. Но юрты эти были только помещениями для пиров, – мясо готовилось на краю аула, из которого только что выехали Абай и его молодежная свита. Между гостевыми юртами и кухонными шатрами сновали туда и сюда подавальщики верхом на лошадях. Их было около двадцати человек – молодцов с одинаковыми белыми повязками на головах.

Под ними всеми были прекрасные иноходцы с ровным бегом, которые своим плавным ходом напоминали плывущие лодки. Все двадцать мясодаров скакали от аула к гостевым юртам, зажимая в зубах поводья, а в раскинутых над плечами руках держали по большому блюду с мясом или деревянные чаши с горячим бульоном. Вслед за каждым из молодых разносчиков скакал какой-нибудь пожилой джигит и подстегивал камчой лошадь подавальщика, чтобы та птицей домчалась до гостевого поселка. Не пролив ни капли бульона, подлетали туда на ино-



ходцах джигиты. Выстроившись в ряд перед юртами, ждали их аксакалы и карасакалы, они быстро принимали блюда и чаши и передавали дальше разносчикам, которые уносили их в распахнутые двери юрт.

Таким образом, не успевая остыть, мясо прямо из кипящих казанов быстро переходило из рук в руки и попадало на гостевой дастархан.

Мяса поедалось гостями очень много. Не раз и не два скакали по своему пути мясодары между кухонными юртами и гостевыми. Пир начинался, когда Абай еще сидел в юрте, и продолжался, пока он со своими джигитами выехал из аула и разъезжал по долине, где должны были состояться игры и состязания. Гости встали из-за дастархана и сели на коней, чтобы полюбоваться на праздник, только после того, как съели горы мяса и опустошили огромное количество кожаных саба с кумысом.

Игры и состязания: конные скачки, кокпар (или козлодрание), борьба на поясах, джигитовка – происходили в тот же день. Игры завершились с заходом солнца. Возвращаясь с праздника в аул, старики от души расхваливали:

– Вот это той! Всем тоям той!

– Калым Кунанбай выдал мощный, но и Алшинбай перед ним не сплеховал! Проявил невиданную щедрость!

Вечером юрта жениха была переполнена народом. Должна была состояться первая встреча молодых. Собралась вся родня со стороны жениха, во главе с Улжан и Изгутты, и близкие родственники невесты во главе с Алшинбаем. Жених и его свита были отгорожены занавесом. Непринужденно держались и чувствовали себя свободно только самые старшие, а молодежь, отделенная занавесом, сидела там и разговаривала шепотом, смеялась тихо, в ладошку, да и то позволяли себе это лишь на румяненные местные девушки, смелые в своем ауле.

Но вот у входа началось какое-то оживление. Две молодые женге, бдительно наблюдавшие у дверей, вдруг встали и откинули в стороны входные занавеси. В юрту бесшумно и как-то очень быстро прошли несколько девушек.



Среди них и была Дильда. С наброшенным на голову красным чапаном невесты. Лицо было скрыто. Абай и его друзья увидели только ее стройную, тонкую фигуру. Быстро и легко нагнувшись, она сняла верхнюю обувь. Невеста оказалась довольно высокой, худощавой, но гибкой и сильной на вид.

Ее место было подле Абая; не сняв с головы наброшенного красного чапана, она быстрыми шагами прошла по ковру и опустилась рядом с ним. Села чуть боком к нему. Абай хотел произнести салем, но она даже не взглянула в его сторону, и он промолчал.

Подали мясо, сидевшие на почетном месте взрослые и молодежь за занавесом – все приступили к трапезе. Ни жених, ни невеста не притронулись к еде.

После угощения мулла, которого Абай не мог видеть, сидя за занавеской, принялся за чтение молитвы. За молитвой последовал обряд кругового распития воды. Большая пиала с холодной водой обошла всех, кто сидел на торе, затем была поднесена Абаю. Он сделал глоток и передал пиалу Дильде.

Две нарядные женге из родни невесты подошли к молодым и, улыбаясь, опустились перед ними на ковер. Одна из них укутала легкой шелковой тканью руку невесты и вложила в правую руку жениха. Абай слегка сжал тонкие пальцы Дильды. Заметив это, женге, сидящая напротив, игриво засмеялась:

– Ишь ты, какой быстрый! Что, рука так и прилипла сразу? Давай ее сюда, твою руку, погладь невесту по голове!

Женге захватила руку Абая и заставила его провести ладонью по волосам на голове Дильды, по ее длинным косам, спадающим на спину. Абай почувствовал, что его рука тоже укутана тканью, – он гладил волосы невесты через тонкий шелк.

Обряды *кол устату* и *шаш сипату* – прикосновение рук и поглаживание волос – главные на свадьбе кочевников. За проведение этих церемоний женге, родственнице невесты, положены со стороны жениха хорошие подарки. Шустрая женге успела уже получить подарок и от Дильды.



После этих обрядов старшие раскрыли ладони, обратив их вверх, и совершили молитву-благословение – бата.

– Да будут они счастливы!

– Живите в радости долгие годы!

– Да пошлет вам Всевышний богатство!

Эти благословения и добрые пожелания прозвучали за занавесом от невидимых родителей и старших. После чего они вдруг разом поднялись и покинули дом.

Недолго оставались в юрте и молодые люди, быстро и дружно они разошлись, желая поскорее оставить наедине жениха и невесту.

До этого часа Абай и словом не обмолвился с Дильдой. Он ее толком и не разглядел, она его – тоже. Лишь в одно мгновение, когда Дильда входила в юрту, затем проходила за полог, она успела бросить взгляд в его сторону. И потом, усаживаясь рядом с ним, из-под красного чапана, накинутого на голову, невеста чуть подробнее рассмотрела лицо жениха.

Когда в юрте опустело, та самая женге, что соединяла им руки, сказала Абаю:

– Сейчас будем стелить вам постель. А ты, пожалуй, выйди ненадолго, перед сном проветришь немного!

Эти слова оцарапали Абая по сердцу своей грубой откровенностью. Он не стал задерживаться, быстро поднялся с места и вышел из юрты. Вокруг уже не было ни души. Даже Ербол исчез куда-то. Абай почувствовал себя всеми покинутым. Ночь была беспросветно темна, – с вечера небо обложили плотные тучи. Абай одиноко направился куда-то в этом полном мраке.

Дильда тоже осталась в юрте жениха одна, без своих подружек. С нею еще были две женге, проводившие обряды. Одна из них вывела Дильду на воздух, другая осталась в доме стелить молодым постель.

Обняв Дильду за плечи, бойкая женге спросила, смеиваясь:

– Ну и как, голубушка? Жених-то каков из себя? Понравился он тебе?



Дильда не смутилась, ответила спокойным голосом:

– Не знаю... Чернявый какой-то... Толстенький...

Женге в словах девушки уловила некоторое разочарование.

– Что ты! Не говори так! Ты не разглядела – он красивый, смуглый, – уверяла ее женге.

Безрадостно было на душе у Абая. Он шел в темноте один, испытывая какое-то сложное чувство – утраты ли, обиды, сожаления о чем-то, стыда.

Богатая свадьба, несметные дары, пышный праздник, большая свита – хороша его участь жениха и зятя. И здесь гостеприимство, внимание, забота, многолюдный той, пиры каждый день, игры, кокпар – и все это, вроде бы, в его честь. Огромный круг благословений, благих пожеланий, добрых здравниц – во имя счастья двух молодых новобрачных... Но так ли это? Нет, не для них все это делалось. Все это делалось для того, чтобы свадьба принесла громадное удовлетворение самим родителям, старшим – в том, что они с честью воздают дань взаимного уважения и все делают согласно старинным обычаям и традициям.

А что же сами молодые? Они даже толком не успели рассмотреть друг друга. Это совершенно не волнует старших, они даже не заметили этого. Жених с невестой обязательно познакомятся вон на той постели, которая приготовлена для них.

Абай прочитал немало книг. В них были слова: любимый друг, бесценная, возлюбленная, которые были восприняты его чистым сердцем во всей их светлой, высокой значимости. О, как далека от него стройная, хрупкая, сияющая в лучах своей красоты Тогжан, вызванная из его воспоминаний в этот трудный для него час! Неужели не явится перед ним недостижимым видением, возносящимся к облакам?

А его невеста, вполне достижимая, переданная ему чужими руками по исполнению каких-то рутинных обрядов, досталась ему недорогой ценой. О, как ненавистны ему те руки, что свели их друг с другом, словно бессмысленную скотину!



Ничего не чувствуют... Кто они такие? Чужие. Что они с ним сделали? Разрушили, опрокинули мир его души... Казалось, прежде в этом мире летали какие-то живые, чудесные, красивые огни. Но вот они огорченно вздохнули – и угасли... Абай забылся, на мгновение потерял всякое представление, где он, по какой дороге ступают его ноги.

Вдруг послышался серебряный звон шолпы. Он вздрогнул.

К нему быстро подошла женге невесты, отправившаяся на его поиски. Смеясь, она шутливо заметила:

– Ты что это цену себе набиваешь? Думаешь, лучше тебя нет женихов? Чего заставляешь невесту ждать?

И она повела Абая в юрту.

Там полог перед кроватью был спущен, постель приготовлена. Дильды и второй женге не было. Абай снял жениховский чапан, женщина приняла его в свои руки, повесила на стену. Затем она стянула с его ног сапоги и напонила, что за этот последний обряд – разувание жениха – положен ей подарок. В карманах Абая оказалось достаточно денег, которыми набила их предусмотрительная Улжан. Чувствуя некоторую душевную стесненность, Абай протянул женщине деньги.

Быстро раздевшись, он упал в кровать и укутался в шелковое одеяло. Дильда еще долго не входила в дом, слышались лишь звоны шолпы за войлочными стенками юрты. Должно быть, так полагалось по обычаю. Невесту должны были ждать. Женге, завершив все, что ей полагалось сделать, взяла в руки светильник и вышла из юрты. Стоя снаружи, за открытой дверью, она пропустила в дом Дильду, потом прикрыла дверь. Это было к лучшему. Абаю не хотелось, чтобы Дильда входила при свете.

Невеста в темноте приближалась к нему, казалось, прикрывая свой стыд и смущение ночной темнотой. Абай, скорее злясь на все происходящее, нежели волнуясь, лежал в равнодушном ожидании.

Он слышал звуки всех ее движений. Сняла камзол. Стянула с ног и бросила на пол сапожки. Через неуловимое мгновение



оказалась подле самой кровати. Дышала спокойно, уверенной рукой откинула одеяло, провела рукой по постели. Абай лежал на краю, видимо, жених не сообразил, где ему надлежало лежать. Внезапно раздался незнакомый грубоватый голос невесты:

– Подвинься!

Так произошла их первая встреча, которая столь долго, тщательно, с соблюдением всех многосложных обычаев и правил, со столь огромной затратой средств на тои и взаимные свадебные подарки, усилиями стольких людей подготавливалась.


Абай вздрогнул от неожиданности, молча перекатился в глубину постели.

Безучастный Абай и равнодушная Дильда не воспылали страстью друг к другу. Дильда была послушна и покорна, как должно быть невесте. Она не была прельщена Абаем. Гордая Дильда помнила, что он сын Кунанбая, но и не забывала, что она внучка самого Алшинбая. Смущаться, робеть, выказывать страх девичьей невинности она не стала. Просто исполнила все то, чему научили ее опытные тетушки.

После первой брачной ночи Абай со своими друзьями-джигитами пробыл в ауле еще две недели. Улжан отбыла домой дней на пять раньше.

Ко времени отъезда Абая молодые успели немного привыкнуть друг к другу. Дильда показалась Абаю и обаятельной, и красивой. И она тоже нашла в нем хорошие стороны. Но, несмотря на это, они так и не смогли раскрыться друг перед другом, в душе остались чужими, далекими.

Считается, что первый приезд к невесте делает молодого жениха взрослым, подлинным супругом. Он восходит к главному перевалу в своей жизни. Абай одолел этот перевал. Но в его юном сердце не вспыхнуло никакого огня, не добавилось новых пламенных порывов. Наоборот – его сердце, казалось, остыло, в нем появилась некая скрытая щербина. Он вернулся домой сумрачным. Ясная, чистая душа его словно затянулась тиной.



К тому времени, когда Абай со своими людьми вернулся из свадебной поездки к невесте, все аулы успели перекочевать на джайлау за Чингиз. Дом Кунке, где в это время находился Кунанбай, был переполнен людьми. Абай с джигитами вошел в юрту и, подойдя к Кунанбаю, сидевшему среди гостей, почтительно приветствовал его.

Кунанбай уже разговаривал с Улжан о свадебной поездке, сразу по ее возвращении, поэтому он принял приветствие сына, но расспрашивать ни о чем не стал и сразу отпустил его.

Абай тут же мог бы уехать к Улжан, но его задержал брат Кудайберды. Он встретил Абая и его друзей празднично, как самых желанных гостей. Казалось, что во всем очаге Кунке только ее сын принял душою самое искреннее участие в том очень важном событии, что произошло в жизни Абая.

Кудайберды с интересом расспрашивал о свадебных традициях в роду Бошан, о нравах бошанов, об особенностях их обычаев. Еще он просил спеть новые песни, появившиеся в тех краях, и заявил, что эти привезенные песни он готов принять как особый подарок своих гостей.

Абай с Ерболом в ту ночь спели немало из того, что выучили во время поездки. Перед тем как начать петь новые песни, Абай заметил ненароком:

– Оказывается, край Каркаралы более певучий, чем наш. Поют там лучше.

На что Кудайберды с веселым смехом отвечал:

– Что я слышу! Не может этого быть! Или душа жениха, побывавшего в доме невесты, сама стала более певучей? Потому и заметил он, что песни там лучше, чем у нас.

Присутствующие дружно рассмеялись на слова Кудайберды, оценив его шутку, но Абай вполне серьезно стал уверять брата.

– Баке, но я говорю то, что есть на самом деле! – Абай по-свойски называл его именем Баке.



– Ладно, тебе незачем нас убеждать, что все в Каркаралах лучше, чем у нас. Ты, брат, просто спой нам их песни, а мы слушаем.

– Е-е! Баке прав, пусть песня сама за себя скажет! Давай начнем, Ербол! – раззадорился Абай и первым приступил к исполнению бошанской песни. Ее тут же подхватил Ербол – и в два голоса, ладно и красиво, друзья спели песню «Топайкок». В Тобыкты она была неизвестна. Абай увидел, какое впечатление произвела песня на слушателей.

– Ну, как вам? – спросил он.

Все были восхищены. Кудайберды, забыв о своей иронии, искренне выражал свое одобрение.

– Хорошая песня! Прекрасная песня! – повторял он вместе с другими.

– В таком случае послушайте еще, – сказал Абай, и вместе с Ерболом они спели любовную песню «Красавица».

Она также понравилась Кудайберды и всем остальным. Абай с Ерболом переговорили о чем-то, потом Абай объявил:

– А теперь споем то, что оставили для вас под конец.

И они дуэтом исполнили протяжную, красивую и сложную по мелодии песню – «Белая береза». Когда песня закончилась, все в доме сидели, затаив дыхание, не шелохнувшись.

Абай сыграл на домбре проигрыш концовки, с постепенным замиранием мелодии, затем накрыл пальцами струны.

– Ну, а на это что скажешь, Баке? – спросил он, глядя на Кудайберды.

– Скажу, карагым, что ты был совершенно прав!.. Вы привезли чудесные песни.

И тут Абай рассказал, что их собственные песни, которые они возили к бошанам, никакого впечатления на них не произвели. «Зеленая долина», например, или «Смуглянка», любимые тобыктинцами, успеха в Бошане не имели. Во-первых, эти песни у них были известны давно, каждый ребенок их знал, для них они уже устарели, а во-вторых, – пели они их на другой мотив и совсем



в другой песенной манере, гораздо интереснее тобыктинской. И вообще, Абай был суров к своим: тобыктинцы собственных песен сочинить не могут, а берут их в чужих краях, привозят к себе и портят их плохим исполнением, искажают напев и мелодию. Такая печальная судьба постигла песни, привезенные из того же Каркаралинского края, и из Баяна, и с Караоткель. Этим, кажется, Абай высказал самые серьезные возражения на шуточные обвинения Кудайберды. А старший брат теперь только с удивлением и обожанием смотрел на него, полностью признавая и принимая его правоту. Он обнял его за плечи, притянул к себе и воскликнул:

– Уа! А ты вернулся, смотрю, большим знатоком и ценителем песен!

И на самом деле, эта непростая, значительная в его жизни поездка заставила Абая глубже всмотреться в окружающую жизнь и подтолкнула его к тому, чтобы он обрел необходимую твердость и независимость суждений по самым разным сторонам этой жизни.

На другой день он прибыл, наконец, в аул своей матери. Здесь его с радостью встретили все – стар и млад. Бабушка Зере – хранимая своей великой способностью любить – выглядела бодрой и намного моложе своих немалых лет; она долго ласкала его и не отпускала от себя. Младшие братья, совсем еще юные джигиты, набрасывались с объятиями, висли на шее.

Аул на сей раз занял становье среди зеленых холмов и пригорков в богатейшем водой и кормами урочище Ботакан. Все аулы в Тобыкты жили сейчас в ожидании предстоящего большого торжественного события. Об этом говорилось и вчера, в ауле Кунке, на многолюдном сборе акимов, – и сегодня, по прибытии на Ботакан, слышал Абай о том же самом. Весь край, все его население, все возрасты, начиная от детей и заканчивая стариками, обсуждали предстоящую тризну по Божею – его приближающийся годовой ас.

Родственники Божея, державшие траур почти на протяжении всего года, с зимы готовились к асу. Ранней весной, когда



вот-вот должен был начаться массовый овечий окот, по степи прошло широкое оповещение с приглашением на ас покойного Божея, и были названы месяц, число и место проведения годовой тризны.

Роды Жигитек, Котибак, Бокенши, Торгай, объединившиеся с прошлого года, прикочевали к обширным пастбищам на джайлау Казбала. На поминках должна была быть разыграна большая байга, урочище Казбала с его просторными долинами как раз подходило для скачек.

На запад от этого урочища и расположено становье Ботакан, которое было выбрано аулом Улжан на текущее лето.

Абай и Ербол, вернувшись после поездки с чужбины, были рады сразу же окунуться во все важные новости и заботы родного края. Аул матерей Абая с утра до вечера в мельчайших подробностях обсуждал, как в других аулах готовятся к асу, чтобы самим сделать все не хуже.

Ербол заторопился домой, зная, что в его ауле тоже готовятся к участию в годовом асе Божея. Абай не уговаривал друга остаться, хотя расставаться с ним не хотелось. Но Ербол сам обещал вернуться назад дня через два, чтобы потом уже надолго оставаться рядом с ним.

На другой день по прибытии домой Абай имел долгую беседу с матерью Улжан, узнал обо всех событиях, происшедших со дня их отъезда к Бошан.

По словам Улжан, Кунанбай с весны, как только вернулся домой, созывал большие и малые сходки и, как можно было предположить, к чему-то опять готовился. После многочисленных тоев и щедрых угощений он добился того, что перетянул на свою сторону еще несколько родов. Одних он задаривал скотом, другим обещал что-нибудь заманчивое, третьих запугивал холодными угрожающими посланиями через гонцов – и в течение небольшого времени намного увеличил число своих приверженцев. Среди них были и фигуры весьма влиятельные, крупные, вроде премудрого Каратая, род Кокше, или не очень



влиятельные, но находившиеся в неопределенном положении в отношениях с Кунанбаем. Словом, ко времени кочевки на джайлау он почти всех прибрал к рукам, и против него оказались три-четыре крупных рода: Жигитек, Котибак, Топаи и несколько других, не очень значительных и помельче.

Противники Кунанбая тоже с зимы готовились к предстоящим торжествам годовой тризны Божея, все свои силы и средства берегли для покрытия будущих расходов.

Учитывая все это, Кунанбай перед самой откочевкой на джайлау объявил, что он требует возвращения всех пятнадцати зимовок, отданных во время его отсутствия в прошлом году. Пусть будущей осенью никто не думает возвращаться туда, пусть не оставляет там своего имущества и своих работников. Зимовки будут отобраны назад.

Предупреждение получили в каждом ауле. Кунанбай ничего не объяснял, не доказывал – волостной старшина просто разослал свои приказы. И ему удалось вернуть таким образом четырнадцать зимовок. Но на пятнадцатой вышла осечка. Это была зимовка на Чингизе, взятая Байсалом.

Распоряжение Кунанбая доставлено было Байсалю через посланников – Каратая и Жорга-Жумабая. Байсал спокойно выслушал их и просил передать Кунанбаю: «Мой салем волостному старшине. Мы знаем друг друга с детства, и никому другому, как ему, столь не известно, что у меня нет своей земли и зимовок. Кунекен не испытывает нужды в земле, он уже вернул себе четырнадцать зимовок. Пусть мою оставит при мне. Я потратил свои средства, устраивая там все по-новому, как мне хотелось».

Услышав ответ Байсала, Кунанбай пришел в ярость. В ту же ночь он вновь отправил назад Каратая и Жумабая с приказанием отставить всякие пререкания и немедленно покинуть зимовье.

В ответ на это, выведенный из себя Байсал ответил: «Я хотел призвать его к благоразумию, он не хочет прислушаться. Дело даже не в земле – он топчет меня, плюет мне в душу. Я его не



задевал, хотел жить спокойно, а он решил снова меня свалить с ног и лежачего бить под ребро стальной пикой. Из-за этой земли он постоянно грыз покойного Божея, довел его до могилы. И моя жизнь для него не дороже! Но я буду стоять до конца! Ни на шаг не отступлюсь от этого зимовья!»

Опасаясь, что снова вспыхнет жестокая междоусобная свара, премудрый Каратай постарался как можно смягчить слова Байсала, но Кунанбая нелегко было провести. «Байсал не разговаривает так. Ну-ка, выкладывай все, что он сказал», – потребовал он, и Каратаю пришлось в точности повторить слова Байсала.

С того дня Кунанбай копил новую злобу на Байсала и Байдалы.

Однако из-за приближающейся годовой тризны Божея ему пришлось сдерживать себя. Все же для Улжан не остались скрытыми истинные чувства и намерения супруга. С самого начала исхода на джайлау кочевье Байсала и кочевье Кунанбая с молчаливой угрозой теснились рядом на караванных путях, иногда притираясь плечом к плечу, стремя о стремя. Когда аул Кунанбая разбил свою промежуточную стоянку в долине Барлыбай, то рядом, в урочище Тонашак, расположился многолюдный аул рода Котибак. Кунанбай приказал гнать прочь от своих пастбищ их скотину. Тогда большой аул Байсала уже постоянно, с явным вызовом, начал останавливаться между аулами Кунанбая и остальными становьями Котибак. И джигиты Байсала отвечали тем же: палками гнали от себя скот иргизбаев.

Так, в постоянном соперничестве, во взаимном оттеснении с пастбищ, прошли путь через Кызылкайнар, Жыланды, Балашакпак. Днем и ночью многочисленные скопления джигитов Котибак кружились вокруг аула Байсала, охраняя его. Аулы Кунанбая отстояли совсем близко. Малейшая искра могла вызвать большой пожар. Наверное, этого больше всего и желал Кунанбай. Старая мать Зере, понимая это, начала ставить свой Большой дом рядом с котибакками. Она сама решила призвать к порядку распоясавшихся джигитов обеих сторон и не позволять аулу Кунке творить бесчинства.



Улжан особенно огорчало нежелание Кунанбая считаться с тем, что не прошли еще годовые поминки по Божею, а он готов начать новую вражду. Ни разу не побывал на могиле Божея. Неужели целый год времени после его смерти не смягчил Кунанбая? Улжан заговорила, наконец, об этом со своим старшим сыном. Говорила с печалью в глазах, доверяясь сыну уже как вполне взрослому человеку.

Абай промолчал, сдерживая свои горестные чувства и мысли, пробужденные словами матери. Он сидел, нахмурившись. В этот день он сторонился всех, ни с кем не разговаривал. Ночью долго ворочался в постели без сна.

На следующий день вернулся Ербол. Друзья расположились в Большой юрте, пили кумыс.

Вдруг снаружи раздался голос Кунанбая, разгневанного чем-то. Дверь открылась, на пороге появился он, вошел, задержался на миг, обернулся назад и крикнул:

– Эй, Жумагул! Мырзахан! Подите сюда!

Когда два джигита вошли, Кунанбай быстро прошел на тор, уселся и прорычал своим низким голосом:

– Не с добром он пришел и поселился рядом с нами! Нет, не с добром! Пустил свои табуны в нашу сторону преднамеренно! Ну, теперь посмотрим, насколько грозен и опасен Байсал! Идите, быстро возьмите в руки шокпары и соилы! Гоните их лошадей прочь, не жалейте палок, хорошенько отдубасьте их и гоните в сторону Байсала! Идите и выполняйте!

Двое джигитов тотчас выскочили из юрты. Вскоре послышался деревянное постукивание соилов, голоса мужчин, садившихся на коней. Абай молча вскочил с места и выбежал из юрты. Крикнул двум джигитам:

– Пойдите!

Подошел ближе. Те уже плотно завязывали веревочки наушников на тымаках и готовились отъехать.

– Что собираетесь делать?

Обернувшись, Жумагул в ответ раздраженно бросил с седла:



– Как что? Налетим грозной силой, как при набеге, и погоним!

– Е-ей, я вам говорю! Не смейте делать этого!

– Уа! Разве такое бывало, чтобы я мырзу не послушался, если он прикажет? – насмешливо и дерзко сверкнул глазами на Абая атшабар.

Выведенный из себя Абай подбежал к джигитам и в бешенстве вскричал:

– Остановитесь! Кому я говорю! – Лицо его потемнело от гнева, глаза налились кровью. Вскинул сжатые кулаки. Таким его никогда никто не видел, джигиты придержали лошадей.

– Табун не отгонять! Коней не смейте колотить соилами! Скачите, найдите табунщиков, скажите им, чтобы увели табун отсюда, сами сразу же возвращайтесь!

– Оу! Нам приказано! Кто будет выполнять приказ вместо нас?

– И я приказываю! Выполняйте! И ты, Жумагул, попробуй только устроить какую-нибудь новую заварушку! Узнаешь тогда, как не выполнять мой приказ! Я сам тебя накажу! – голос байского сына был настолько грозным, что Жумагул невольно съежился и молча отъехал в сторону.

Возвратившись в юрту быстрыми шагами, Абай прошел к отцу и, опустившись перед ним на ковер, глядя ему в глаза, спокойным голосом произнес:

– Отец, к чему при кочевке запрещать пасти скот, нанося обиду родственникам, когда июньской травы вдоволь на всем просторном джайлау?

На это Кунанбай одноглазо ожег его взглядом, преисполненным самого откровенного презрения.

– Что это ты решил заступаться за Байсала? Думаешь, не найдется, кому заступиться? Может быть, тебе по душе, что он не желает возвращать зимовье, принадлежавшее мне? И нагло стоит на этом?

Абай не дрогнул. Голос его прозвучал не менее жестко:



– Так то зимовье, а здесь джайлау.

– А что? Разве зло с зимовки не сможет перекочевать на джайлау?

– Давайте говорить начистоту, отец. Разве мстить за нами же содеянное зло – это справедливо?

– Что ты называешь справедливым? То, что у человека, попавшего в беду, забрали его землю?

– Если честно, отец, то в этом виноват не Байсал, а мы сами. Ведь до этого случая он был не захватчиком, но просителем. Сколько лет он оставался без зимников? Всю жизнь просил, вымаливал у вас хоть какой-нибудь зимник. Ради него он и пошел против Бога – разве это не так? Мстить Байсалу из-за одного зимника, доставшегося ему после перемирия, – для чего, отец? Ведь это снова может привести его к неповиновению.

– Довольно! Придержи язык! – оборвал сына Кунанбай. – Ты что, решил со мной поспорить?

Но по голосу было заметно, что злости у Кунанбая на сына заметно убавилось. Абай немного помолчал, выждал паузу и затем смиренно молвил:

– Устраивать войну из-за того, что не поделили ковыль на широком джайлау, – это недостойно нас!

Раньше Абаю, если приходилось спорить с отцом, становилось неимоверно страшно, голос его дрожал и пресекался, да и в словах он путался. В этот раз отец заметил в голосе сына что-то новое, отличное от всего прежнего. Кунанбай окинул цепким взглядом всех, сидевших в юрте. Зере и Улжан молчали, внимательно глядя на него. Может быть, все сказанное сыном, является общим мнением? – подумал Кунанбай. Не смея высказать ему в лицо, в душе таят то же самое, что и у него? И все родственники думают также? Вдруг придя к таким мыслям, Кунанбай ощутил тайную растерянность и беспокойство. Его охватила внезапная слабость, и он вынужден был даже прилечь. Но лежать было ему неудобно, он стал ворочаться, облокотился, кладя голову на руку. Абай взял с высокой стопки с постелями



большую подушку, принес отцу. Тот взял ее, но, зажав ее под мышкой, лег лицом к стене, отвернувшись от всех, по-прежнему опираясь головой на руку, и глубоко задумался.

Не встретив резкого отпора со стороны отца, Абай продолжил разговор в том же спокойном, уважительном тоне.

– В семье и дети, и братья, и все самые близкие обязаны открыто делиться с вами всем, о чем думают и чем живут. Это их долг. Разве будет правильным, если они станут скрывать истину от вас, не смея высказаться перед вами? Ведь вы должны знать их мнение, выслушав каждого, – сказал он.

С почтенным, набожным отцом лучше разговаривать, наверное, книжным языком, упоминая такие понятия, как долг, истина. Расчет Абая оказался верным. Кунанбай зашевелился, перевернулся на другой бок и внимательно посмотрел на сына, явно приготовившись выслушать его. И Абай заговорил уже совсем свободно.

– Позвольте мне, отец, сказать еще об одном важном деле. Это о тризне по Божею. На нас, его родственников, лежит много обязанностей. Предстоящий ас касается не только рода Жигитек. Траурное извещение разослано по многим округам. Родственникам предстоят огромные расходы. А по смерти его и похоронам мы остались в стороне! Теперь давайте хоть примем участие на его годовой тризне! – высказался Абай.

Все обиды проистекшего года вспомнились тут Кунанбаю, и он возмущенно, с плохо скрытой горечью воскликнул:

– А как мне надо было поступить? Если меня не пригласили на похороны – что, самому надо было заявляться? Вот, приеду нынче, а мне, как в прошлом году на жаназа, дадут пинка в грудь, могу я позволить такое? – И он всем своим видом дал понять, что этого больше не потерпит.

– Вам не обязательно ездить самому, если не хотите. Пошлите нас, мы примем участие в тризне, и этого будет достаточно! Если бы вы разрешили, я начал бы и довел все до конца. Дайте только в помощь Изгутты-ага и разрешите мне и моим матерям



израсходовать нашего скота и средств столько, сколько понадобится, – попросил Абай.

Такое решение вопроса Абаем было, похоже, заранее продумано. Но никто из семейных ничего об этом не слышал до этого. Улжан заметно обрадовалась его предложению. Кунанбай поднял голову, посмотрел на всех, дотянулся до шапки, надел на голову, собираясь встать и выйти из дома. Все домашние молча смотрели на него, ожидая ответа. И вымолвив так, словно его к этому принудили, недовольно морщась, Кунанбай ответил:

– Делайте, что хотите. Хоть в ногах валяйтесь у Байдалы и Байсала. – Не сказав больше ни слова, он вышел из юрты.

Это означало его согласие! Принужденное или от всей души, презрительное ли, искреннее или мучительное для него – это уже было не столь значительно! Достаточно того, что со стороны отца не последовало решительных, гневных возражений.

Уединившись с матерями, Абай начал совещаться с ними, рассказал о своих намерениях в отношении аса. Он давно все заранее обдумал и теперь только делился своими планами. Зере и Улжан тоже посчитали, что лучшим помощником и советником для него будет Изгутты. Из братьев своих Абай решил привлечь одного только Кудайберды. Он имел с ним долгий, подробный разговор и заручился обещанием самой серьезной помощи.

Ербол к вечеру намеревался уехать обратно в сторону Бокенши. Перед тем как ему садиться на коня он, оставшись с Абаем наедине, сказал проникновенно:

– Абайжан, мне особенно нечего сказать. Я слышал твой последний разговор с отцом. Ты молодец, я горжусь, что дружу с тобой. Вот и все у меня. Теперь, пожалуй, отправлюсь домой, там тоже нужна моя помощь в подготовке к асу.

Они договорились, что если будет необходимо, Ербол по первому зову друга примчится назад.

На следующий день Абай сел на коня. В спутники ему придали Жумабая и Мырзахана. Они втроем, поднимаясь все выше по склону Казбала, миновав многочисленные аулы рода Жигитек,



добрались, наконец, до аула Божея, расположившегося в этот раз на высокогорье. Весь народ края был занят напряженной подготовкой к годовой тризне Божея. На просторном взгорье выше аула ставились бесчисленные юрты. День проведения аса совсем уже приблизился. Работы было невпроворот, всюду ощущалась напряженная суэта. Мужчины были в седлах. Караваны верблюдов, груженные юртами и провиантом для тоя, прибывали беспрерывно, и все уходило наверх, к плоской возвышенности. Абай и его спутники вначале спешили у траурного дома, помолились там.

Большая белая траурная юрта за весь год осталась неизменной: тот же черно-белый стяг справа от входа, то же богатое убранство внутри.

На краю горного аула собрался сход устроителей аса. Попив кумысу с дороги в траурной юрте, Абай со спутниками направились к месту сбора. Как всегда, народ сходил к холму, на вершине которого и происходило собрание. Туда то и дело выскакивали верховые атшабары, с вопросами к распорядителям, оттуда летели вниз – с распоряжениями. Люди сидели на земле широким кругом, возглавляли сход аткаминеры Байсал, Байдалы, Суюндик.

Байдалы заметно постарел за прошедший год. Седин заметно прибавилось, голова стала как серебряная. Когда Абай приблизился к ним и отдал салею, аткаминеры встретили его приветливо, без прежней суровости. Байдалы и Суюндик, коротко спросив о здоровье Зере и Улжан, предложили Абаю присесть возле них. Здесь, среди молодых джигитов, готовых по первому же слову скакать с поручением, находились и Ербол, и давний друг Абая молодой котибак Жиренше. Для них это была первая встреча после того, как Байсал поссорился с Кунанбаем.

Жиренше обрадовался встрече, тепло поздоровался с Абаем. С приходом новых людей текущий порядок собрания был нарушен, и сход нескоро вошел в прежнюю колею разговоров.

Тут и выступил Абай, обратившись к Байдалы:



– Байдаш-ага, – начал он.

И коротко изложил свое дело, с достоинством, не торопясь.

Его матери, Зере и Улжан, передают свой салем. Он прислан ими. Зере по возрасту приходится для всех присутствующих матерью. Она и другие хотят внести свою посильную лепту в годовое поминание Божея. Прошлый раз не успели на похороны, теперь решили не отставать, и прислали его как посланца аула его матерей.

Байдалы, выслушав Абая, молвил:

– Голубчик мой, мы все, родственники, очень довольны твоим приездом. Пусть будут благословенны твои чистые намерения. А теперь поделись с нами, что намерен делать.

Абай повторил все то, о чем говорилось вчера с матерями, с Изгутты и Кудайберды.

За аулом на участке для устройства гостевых юрт Абай просил выделить место и для своих юрт. Караван прибудет в течение одного дня. Обязался поставить одну большую белую юрту и десять гостевых, вместимостью тридцать человек каждая. Внутреннее убранство, постели, одеяла, кошмы, корпе и подушки, кухонная утварь и посуда – все это доставляется караваном вместе с юртами. Затем пригонят скот на забой, для кормления тридцати человек в каждом доме. Казаны для варки мяса тоже будут свои. Обслугу и джигитов-разносчиков блюд привезут своих. И пусть аксакалы окажут ему доверие и скажут, что надлежит делать дальше. Как он понял, каждый из окрестных аулов берется расположить в своих гостевых юртах людей из какого-нибудь определенного рода, и он тоже просит старейшин указать, кого он должен будет принять. И еще он просит, чтобы ему была предоставлена честь обихаживать кого-нибудь из самых почетных, знаменитых гостей.

На тризну по Божею ожидалось прибытие крупных родов из самых отдаленных мест: из Каркаралы, из Семиречья, с верховий Иртыша и с берегов озера Балхаш. Будет род Аргын, роды Жалайыр, Садыр-Матай, Семиз-Найман, Уак, Бура, Керей. Это



все дальние гости. Среди них будут родичи со стороны матери Божея, его нагаши из племени Найман. В давние времена в роду Найман был славный муж и воин, носивший имя Божей. Властитель Кенгирбай подружился с ним и высватал его дочь за своего сына Ералы. У них и родился ныне покойный Божей, которого назвали в память его знаменитого деда. Байдалы еще зимой известил род Найман о предстоящем асе, и недавно оттуда пришло известие: родичи Божея готовы приехать на его тризну.

Сход отнесся с доверием к появившемуся среди них юному Абая, и послышались голоса: «Может быть, ему поручить прием этих гостей?» Встреча родственников-нагаши и обхождение с ними потребуют особенного внимания и заботы. Высказался Абай: «Хорошо, Байдаш-ага! Пусть будет так. Для нас большая честь – встречать нагаши Божекена. Поручите это нам!»

Сидящие в кругу собрания не задержались с ответом: «Пусть прибывшие нагаши Божея убедятся сами, что его вражда с Кунанбаем, коей они были свидетелями, сегодня завершилась окончательным примирением». Сход нашел такие рассуждения вполне уместными.

Никто не стал подвергать сомнению это предложение, ибо все поняли истинное его значение, как понимал его и сам Абай.

Он попросил дать ему в помощь трех джигитов, которые хорошо знают, как проходит подготовка к асу в соседних аулах – с тем, чтобы в чем-нибудь да не отстать от них. Байдалы назвал ему троих: Ербола, Жиренше, Базаралы.

Все было оговорено, прояснено и решено, оставалось только действовать. Абай бодро встал с места, чтобы идти, но его остановил Суюндик. С довольным видом, отечески глядя на него, Суюндик молвил:

– Все дурное легко сваливается на человека, так и норovit прилипнуть к нему. Не от большого ума люди склоняются к дурному, и никому никакой радости от этого! Гораздо труднее найти что-нибудь хорошее, но зато добрая находка многого



стоит! Сын мой, твои помыслы чисты, и устремлен ты к свету. Дай бог тебе удачи!

С великой радостью в душе, счастливый тем, что стал своим человеком среди этих людей, недавних противников, Абай направился с холма к своему коню. Он вместе с товарищами поехал и осмотрел пустырь, где должны быть установлены его гостевые юрты, определил место, куда надо ставить кухонные юрты с очагами и казанами. Тут пришлось к месту советы многоопытного Жумабая.

Мырзахан и Ербол остались, чтобы встретить караван, когда он прибудет, и вместе с прибывшими людьми ставить юрты. Абай же поехал назад, в Ботакан, чтобы в тот же день послать в траурный аул юрты и прочее имущество, отобрать и отправить необходимый для тризны скот. Принять и пристроить в Казбала скот он попросил Жиренше и Базаралы. Распоряжения Абая были уверенными, быстрыми, вполне разумными, решительные действия его словно исходили от умудренного жизненным опытом взрослого человека.

Когда Абай и Жумагул отъехали, красавец Базаралы сказал, глядя им вслед, обращаясь к стоявшим рядом джигитам:

– Апырмай! Как он вырос, совсем взрослым стал наш Абай. Дай бог ему удачи, пусть все у него получится, как он пообещал.

– Получится! Он справится, все сделает как надо, вот увидишь, – уверенно ответил Ербол.

– Не ради чужих старается, а ради упокоения души нашего Божеке. Так что поможем ему сообща! – завершил разговор Базаралы.

Уезжая из дома, Абай просил Улжан, Изгутты и Кудайберды начинать подготовку без него, и они отобрали десять юрт из окрестных аулов Иргизбая. По возвращении Абай немедленно объездил все эти аулы на своем рыжем иноходце, осмотрел еще не разобранные юрты, и две из них, покрытые старым серым войлоком, забраковал и велел заменить светлыми юртами других родственников.



Вскоре все отобранные юрты были разобраны, сложены и приготовлены к отправке. И в час вечернего водопоя большой караван длинной вереницей двинулся в сторону Казбала. Везли на верблюдах и лошадах тюки с разобранными юртами, с коврами, с узорчатыми кошмами, с внутренним убранством юрт, с одеялами, подушками, с занавесями. Полотенца, вышитые скатерти для дастархана Улжан отбирала сама. Вместе с отправленным караваном поехали и джигиты, которые по прибытии на место должны были устанавливать юрты. Они же будут обслуживать гостей в этих юртах.

Все это были молодые и расторопные джигиты, охотно принявшие участие в таком важном для всех деле, как годовой ас по Божею.

Отправка каравана всего лишь была началом многотрудного дела, руководимого Абаем, впереди предстояло еще много тяжелой работы. Вечером все старшие собрались возле Большой юрты, пригласили в круг и старую Зере. Абай обстоятельно изложил им, какие сложные дела еще ожидают впереди.

Обсудили сообща обустройство кухонных очагов. Абай полагал, что для этого хватит пары юрт, но Улжан и Изгутты решили, что этого не хватит и понадобится не менее пяти-шести.

При каждом из кухонных очагов должны быть и повара, и подносчики воды, дров. Улжан представила, какое это нелегкое и ответственное дело, и объявила, что должна поехать сама и еще взять с собой в помощь Айгыз, подругу Сары-апа, всенепременно – тетушку Калику и еще несколько женщин. Также объявила, что надо по аулам собрать достаточно муки, чая и всяких сластей.

По поводу отбора скота на мясо у Абая возникли некоторые сомнения – что отбирать и как к тому отнесется Кунанбай, и стоит ли обращаться непосредственно к нему по этому делу. Но все сомнения отпали после высказывания Кудайберды, старшего из сыновей Кунанбая:

– Теперь мы ни за что не должны потерять свое лицо. Нечего и раздумывать – раз едем, то надо, чтобы во всем мы были



уверены. Погнать надо десять жирных кобыл на десять юрт и по два барана на каждую юрту.

На том и порешили. С доставкой кумыса тоже было непросто. Гнать в Казбалы и держать там на привязи дойных кобылиц было невозможно, – при огромной скученности народа и тесноте аулов в небольшой горной долине. Из других мест обязались доставлять кумыс ежедневно, кунанбаевский очаг из Ботакана не мог отставать от остальных, и доставкой кумыса обязали все близлежащие аулы иргизбаев.

Поздно вечером Абай и Улжан собрали еще на один сход людей из двадцати иргизбаевских аулов. Распорядитель тоев – лицо ответственное, но должен быть в аулах еще и сильный человек, который командовал бы всеми людьми, причастными к траурной кампании, беспрерывно шевелил бы и подталкивал людей на исполнение дела. Эту обязанность возложили на Кудайберды. Его помощниками – глашатаями и вдохновителями – назначили взрослых родичей, таких как Жакип, Жумагул, Ирсай.

На этом большом собрании родственников взяла слово старая Зере.

– Решение-то вы приняли. Теперь, мои дети, не ударьте лицом в грязь перед людьми, которые приедут издалека. Все сообща помогите тем из моих детей, которые стараются, хотят совершить это доброе дело как можно лучше. Будьте людьми, не теряйте своего достоинства, забудьте о ваших распрях, ссорах-раздорах, оказывая почести дорогому всем нам покойнику. Если при жизни не удалось вам сделать что-нибудь доброе для него, сделайте это теперь, по смерти его. Не навлекайте на себя проклятья души покойного. Дети мои, будьте внимательны и обходительны с гостями. Истинный арыс проявляет свою доблесть не только в сражениях с врагами, но и в благородном обращении с друзьями. Умирайте от усталости, но не хмурьтесь! Ухаживайте за гостями с веселым лицом, с улыбкой, бодро и расторопно. Но и не теряйте своего достоинства при этом.



Будьте доброжелательными, скромными, немногословными. Пусть не увидят вас грубыми и невоспитанными, и безмерно кичливыми, и неудержимо хвастливыми, не будьте болтунами и пустомелями. Проявляйте скромность и благородство! А в противном случае – говорю перед всеми родственниками – лучше бы мне помереть.

Некоторые из сидевших в юрте явно почувствовали себя неудобно. Прежде всего Майбасар, хотя его никто и не называл, вдруг беспокойно заворочался на своем месте. Рядом с ним рыжебородый Жуман, слывший в народе пустомелей, быстро и воровато оглядел окружающих. Но когда старая Зере, мать всего рода Иргизбай, обмолвилась о неудержимом хвастовстве – тут уж все иргизбаи были грешны.

Майбасар, недовольно насупившись, сидел, отвернувшись от Зере.

Когда она закончила говорить, Майбасар дернул за рукав сидевшую рядом женге Улжан и забормотал вполголоса, чтобы не услышала глуховатая Зере:

– Уй, что ты поделаешь с этой вредной старухой! Собрала всех аксакалов и карасакалов Иргизбая и при них костерит нас! Какой стыд – всех осрамила старая, вдоволь потешилась над нами. Кичливый безмерно, – неужели это про меня?!

Сидящие рядом услышали его и дружно рассмеялись. Майбасар пригнулся и, прячась за спиной Улжан, все также негромко произнес:

– А пустомеля и болтун – это кого она имела в виду? Разве есть среди нас такие? – И он исподлобья хитрыми глазами уставился в лицо Жуману.

Рыжебородый, кареглазый Жуман, не почувствовав подвоха, отвечал ему:

– Ты что? Думаешь, наверное, что болтуном и пустомелей она называла меня...

И снова все окружающие громко расхохотались.

Общий разговор на этом закончился, все засобирались уходить, начали подниматься. В оставшемся около Абая кружке



продолжали говорить про ушедшего Жумана. Вспомнили, как прошлой осенью при одном разговоре возник вопрос, какое будет расстояние между становьями Жидебай и Мусакул. И тут немедленно встрял Жуман, взял да и брякнул: «Я могу сказать точно. Сам считал в прошлом году, когда возвращался домой с айта. Между Жидебаем и Мусакулом можно проехать на коне и произнести «Ля иллаха иллалла» ровно тысячу двести тридцать семь раз».

Большой аул провел беспокойную ночь в сборах и приготовлениях. А на рассвете, с первыми лучами солнца, отправился еще один большой караван – с серыми рабочими юртами и кухонными балаганами, которые должны быть установлены рядом с варочными печами. С этим караваном и отправились все джигиты и женщины, приданные к выездной кухне на ас: мясовары-котловщики, дровосеки, водовозы.

В огромную повозку запрягли трех лошадей, и на ней ранним утром выехали в сторону Казбала женщины, сопровождающие Улжан: ее неизменная товарка Сары-апа, Айгыз, расторопная тетушка Калика и другие.

Особая, нелегкая забота – отбор скота для забоя в Казбале, была возложена на Изгутты, Абай остался ему помогать, вместе с ним еще несколько джигитов. Повелев к утру раннему пригнать к аулу табун отгульных кобылиц, Абай, Изгутты и Кудайберды, не слезая с коней, осмотрели табун и отобрали самых упитанных десять кобыл.

Это все были животные из разных косяков, водимых почти дикими жеребцами, не знавшие ни узды, ни аркана. Их надо было еще суметь и отловить, чем немедленно занялись табунщики, взяв в руки длинные палки-куруки с петлей на конце и собранные в кольца арканы.

За теми, что кинулись в бега прямо через аульный поселок, с бешеным лаем и ревом бросились сторожевые псы, и вся окрестность Ботакана вскоре наполнилась неимоверным собачьим гвалтом. Когда ловцы-джигиты выбились из сил, запарили под



собой жеребцов, то оказалось, что поймано всего семь кобыл из десяти намеченных. Три из них носились вдаль, с обрывками арканов на шее, и не подпускали близко к себе: одна рыжая, две саврасой масти полудикие кобылицы.

За ними помчался объездчик Масакбай, с угрожающим криком, размахивая над головой соилом – и смог напугать животных, которые в стремительном бегстве скрылись от него в огромном пронсящемся мимо аула косяке. Тут и набежали со всех сторон на лошадей люди, пешие и конные, закружили табун на месте, добрались до беглянок и поймали за концы арканов, волочившиеся за ними по земле. Бешеные рывки обезумевших от страха кобыл были напрасными, их душили арканами, валили на землю, на них были надеты уздечки. Связав попарно, молодых дикарок погнали на убой в сторону Казбалы.

А уже на полдороге туда находилось стадо жирных баранов в двадцать голов. После того как были завершены все дела по перегону жертвенных животных, Абай с Изгутты на своих иноходцах полетели к месту проведения аса.

В долине Казбала, недалеко от траурного аула, уже установлены накануне присланные юрты. Были приведены в порядок и расставлены все внутреннее убранство и утварь в гостевых юртах. Принимающие джигиты стояли около входа, в юрте по обе стороны от двери были установлены большие кожаные саба с кумысом. Время от времени их раскачивали, взбивали, разбалтывая кумыс.

По прибытии на место Улжан немедленно принялась за свою непомерную работу. Велела вырыть ямы для земляных варочных печей, поближе к речке Казбала. Отдала повеление на убой скота, и двадцать умелых джигитов немедленно приступили к делу, без всякой проволоочки зарезали десять пригнанных кобылиц и приступили к разделыванию туш. Улжан другую группу джигитов послала на убой баранов, причем велела десять туш из двадцати хорошенько закоптить, разведя огонь в очагах на берегу реки, подальше от аула. Всем этим Улжан хотела воздать



наибольшие почести памяти Божея. Однако и это оказалось не все, на что способна была Улжан, – она распорядилась потом подкопченную, треснувшую по жиру, кожу опаленных баранов смешать для бесбармака с жирным мясом молодых кобылиц и нежным мясом молодых барашков. Такое кушанье било наповал всех гостей в юртах Абая, и они воздавали хвалу и славу очагу почтенной Улжан. Были доставлены на ас и два больших деревянных ларя с вяленным конским мясом, которое предназначалось для особых гостей – семиреченских нагаши Божея. Здесь был почти весь зимний запас ее дома, но она отдала его на стол тризны, чтобы он отличался от всех остальных столов своим разнообразием.

В конце всех усилий Абая и его родни поминальные юрты, поставленные ими, отличались как нарядным праздничным видом снаружи, так и радующим глаз богатым убранством внутри. Это были мигом выросшие на глазах у людей великолепные бело-войлочные дома, достойные принять самых высоких, именитых гостей.

Подъехавшие Суюндик и Байдалы долго любовались белым юрточным городком Абая, затем осмотрели очаги-мясоважни и хозяйственные юрты. Сойдя с лошадей, подошли к Улжан и отдали ей самый почтительный салем. Особенно не проявляясь в излишних чувствах, оба в душе были очень довольны всем, что они увидели. Когда почтенные баи хотели уезжать, Улжан отозвала в сторону Байдалы и сказала ему наедине:

– Хорошо, конечно, приветливо встретить и вкусно накормить гостей, но это ведь еще не все. Назавтра назначены скачки с призами – большая байга и состязание борцов-палванов. Так вот, я узнала, что призы будут хорошие. Оказывается, вы назначили девять призов, из которых самым главным будет верблюд. Это изрядно! И никто из родственников не может оставаться в стороне, никому скупиться не должно. Мой сын тоже хочет принять участие в этом деле. По его совету, вот что я привезла, – с этими словами она вынула из кармана увесистый сверток,



завернутый в шелковый платок, и протянула Байдалы. – Пусть одним из главных призов будет это, – добавила она.

В свертке находился большой серебряный слиток – тайтуяк, величиной с копыто жеребенка.

Когда весь жертвенный скот был забит, мясо доставлено в кухонные юрты и разделано, во второй половине дня начали прибывать первые гости. Уже давно Байдалы, Суюндик, Изгутты и другие аксакалы стояли на вершине холма, вокруг которого у подножия располагались многочисленные юрты гостевого поселка. И вот со всех сторон одновременно повалили конные группы, по двадцать-тридцать всадников. Ехали неторопливым шагом, приближались медленно, без шума. За одной волной верховых следовала другая. Навстречу каждой группе скакал встречающий, приветствовал людей и спрашивал учтиво, по уставу, откуда и зачем прибыли гости. После этого он уводил их на холм, где стояли аксакалы, и там самые знатные из гостей отдавали верительный сале́м хозяевам. Пожелав благополучного проведения торжеств, приезжие следовали к предназначенным для них гостевым юртам.

Каждый принимающий знал точно, из какого рода будут гости в подготовленных им домах. Тридцать-сорок джигитов сосредоточились вокруг Абая, у его гостевых юрт. Он ждал гостей со стороны Жетысу, Семиречья.

Количество гостей, прибывающих сразу сотнями, к закату солнца достигло тысячи и больше. Уже многие дома, поставленные родами Жигитек, Котибак, Бокенши, встретили своих гостей и разместили их и продолжали встречать.

Гости Абая появились только с наступлением вечерних сумерек.

Брат матери Божея, его нагаши, был красивый, представительный белобородый старик. Поднявшись со своим сопровождением на холм, этот аксакал повел себя не так, как остальные. Он слез с коня и обошел всех принимающих, здороваясь с ними в обнимку. Прибывшее с ним окружение выглядело



внушительно. Его сопровождали представители родов Найман, Жалайыр, Матай, Сыбан, приехавшие из Семиречья. Человек пятьдесят-шестьдесят окружало белобородого нагаши Божея, все в лохматых шапках найманов.

Показать место их размещения взялись сами аксакалы Суюндик и Изгутты, и уже в глубоких сумерках повели за собой весь семиреченский аул гостей. Когда они приблизились, Абай и его джигиты радушно поприветствовали их, помогли спешиться и переняли у них поводья. Суюндик представил седебородому нагаши Божея молодого Абая, назвав его сыном Кунанбая.

Абай почтительно протянул обе руки старику со словами: «Добро пожаловать, аксакал!» Изгутты и Суюндик пошли впереди, указывая гостям отведенные им юрты.

Еще приближаясь к ним, родные Божея заметили, что юрты выделяются из всех других приготовленных гостевых домов своей белизной и большими размерами. Не слезая с лошадей, гости друг перед другом вслух выражали свое одобрение. Расположившиеся в соседних группах юрт гости из других родов спрашивали, для кого предназначены эти особенно внушительные гостевые дома, кто их поставил? Им отвечали, что юрты поставил сын Кунанбая, а принимать он будет там родственников матери покойного Божея.

Старого нагаши Божея и других почтенных гостей Абай провел в самую богатую по убранству среднюю юрту в своем гостевом поселке. Остальных, постепенно подъезжающих гостей, радушно встречали его джигиты и размещали по другим юртам.

На предстоящие скачки нагаши Божея, из племени Найман, привели вороного скакуна и двух светло-серых жеребцов. Гривы и хвосты у них были тщательно заплетены, в седлах красовались нарядные мальчишки-наездники с перьями филина на шапках. Эти кони шли отдельно от других.

Все многочисленные гости годовой тризны Божея, прибывающие из дальних краев и от соседних аулов, приезжали на своих лучших конях, приведя их в наилучший вид, в начищенной



до блеска праздничной сбруе. Было на что посмотреть, когда, молодежато гарцуя, джигиты подъезжали к траурному аулу на Казбала.

Конные группы гостей прибывали беспрерывно. Ко времени отхода ко сну в огромном лагере гостей было несколько тысяч. В шести юртах Абая из десяти было полно народу. Пока были налицо посланцы всех крупных родов Семиречья. Теперь, с наступлением глубоких сумерек, трудно было различить по одежде и шапкам разноплеменных представителей родов, въезжающих в Казбала. Можно было лишь разглядеть, что одни были на вороных конях, другие на более светлых – серых, саврасых. И при отсвете еще не совсем угасшего закатного неба во всей этой шевелящейся массе конников сверкали яркими блестками серебряные украшения на конских сбруях. И по всей округе ранее расседланные и стреноженные лошади издавали призывное ржание, почуяв явление новых незнакомцев.

Наконец прибывающих в юрты Абая гостей значительно уменьшилось. Он решил, что остальные придут завтра утром, и приказал своим помощникам обносить гостей вечерним кумысом. Но в это время подошел к нему Ербол и сообщил: «Приехала целая куча народу!»

Абай торопливо вышел на улицу, созвал своих джигитов и они приветливо встретили новых гостей.

Это оказались люди из племени Сыбан, род Найман, живущих в пределах окраины Тобыкты. Самые дальние из них располагались в Аягузе, Коныршаули, Акшаули, а самые ближние – по склонам хребта Чингиз. Эти племена были в дружественных отношениях с Тобыкты, однако и не без того, чтобы порой соперничать между собою, угнать скот друг у друга и иметь нештучные стычки. Так как сыбаны жили гораздо ближе, их приехало намного больше, чем найманов. Они были самыми последними из гостей, которых должен был принимать Абай. Разместив их в оставшихся юртах, он тотчас же со своими джигитами принялся кормить гостей.



Вначале подали кумыс. Потом чай. Потом на конях ловкие подавальщики стали развозить мясо в огромных чашах от кухонных юрт к гостевым. От души сделано было все, чтобы в эту ночь, накануне аса, приехавшие издали, усталые, голодные люди хорошо отдохнули с дороги и восстановили свои силы.

После обильного горячего мяса гостей дальних, из Семиречья, потянуло на сон, они начали укладываться спать. Бодрее выглядели гости из Сыбан, они поели мяса и еще долго пили кумыс, взбалтываемый в глубоких чашах роговыми черпаками, и вели свои увлеченные разговоры, радуясь встрече. Весь вечер занятый нагаши Божея, Абай смог только теперь навеститься к гостям из Сыбан. Среди них оказался сам Кадырбай, знаменитый акын Кадырбай, который еще совсем юным состязался в импровизации со знаменитым певцом и поэтом Садыком и победил его, заставил путаться в словах и потом совсем умолкнуть. За это юный Кадырбай удостоился от народа имени «Бала-акын», мальчик-поэт. Абай прекрасно знал его творчество, читал и пел его стихи. Можно представить, какова была его радость, когда он узнал, что будет принимать у себя самого Кадырбая.

В свою очередь и Кадырбай, как только спешился, узнал о том, что ему предоставлена честь остановиться в доме Кунанбая. Старику также сообщили, что принимает гостей один из сыновей мырзы, юноша благородный и щедрый. Да и сам старый поэт, по убранству гостевого дома и по изысканности угощения, догадался об этом. Редко в каком доме подавали такой густой, желтый кумыс, сооружали дастархан на таких дорогих красивых скатертях, выставляли столько красивой разнообразной посуды. Нигде к чаю не подавалось такое обилие пряных сладостей. И самый изыск проявился в том, что подали мясную еду, состоящую из уложенных на одно блюдо нарезанных кусков опаленной бараньей кожи и круглых кусочков вареной конской колбасы – *казы*. Не оценить этого старый акын не мог, хорошо знавший круг блюд обычных приемов в степи.



И теперь, когда пришел Абай, старый акын ласково приветствовал его, выказывая свое почтение этому юноше.

– Подойди сюда, присаживайся рядом, сын мой! – подозвал он Абая и сам налил ему чашку кумысу.

С бурой бородой, тронутой местами белой сединою, с приветливым светлым лицом, величавый старец очень понравился Абаяу. Кадырбай справился о здоровье его родителей, выразил благодарность за оказываемые почести.

Абай при этом старался быть немногословным, и лишь отвечал на его вопросы, почтительно склонившись перед ним. Видимо, старому акыну понравились и ответы, и манеры молодого джигита. Продолжая разговор, он сказал:

– Как-то акын Барлас рассказывал мне, что у Кунеке есть сын, который вернулся после учебы в медресе. Мол, большой любитель стихов. Рожденный от Улжан, воспитывавшийся в доме почтенной Зере. Не ты ли это будешь, сынок?

Абай смущенно, сдержанно улыбнулся и ответил:

– Е-е, однажды акын Барлас недолгое время гостил у нас, – и, подняв глаза, юноша открыто, радостно посмотрел на знаменитого поэта.

Тонкая улыбка тронула лицо акына, он сказал:

– Все знают, что твой отец не очень любит стихи и стихотворство. Тогда почему же ты стал любителем стихов? Можешь мне ответить на это? Сынок, ты не должен обижаться на меня, ведь я прихожусь ровесником твоему отцу, а между сверстниками дозволены всякие вольности.

Присутствующие в доме заулыбались и с любопытством уставились на Абая. Он хотел бы проявить самую глубокую почтительность и вежливость к гостям, ни в коем случае не вступать с ними в споры или пререкания. Однако эти сыбаны не чувствуют себя, кажется, гостями из чужого рода и ведут себя непринужденно, будто они причастны ко всем делам аулов Тобыкты. И оттого хочется им отвечать столь же непринужденным образом, по-свойски. Да и ответные слова уже так и вертятся на языке...



И все же Абай не отдался первому порыву, успел еще подумать: «А что, не будет ли невежливо – вступить в пререкания со старшим, да еще и с гостем?» И подумав так, он и сам не заметил, как покачал головою. Но это заметил Кадырбай.

– Уа, говори, сынок! Ты же хочешь что-то сказать? Не смущайся, говори!

– Будь по-вашему, Кадеке! Ведь сказано же: «Ровесник отца – и сыну ровесник». Но я заранее прошу прощения, если невольно задену вас. Так бывает ли на свете кто-нибудь, совсем не любящий стихов? Разве что человек с безнадежно глухой душой. А у моего отца есть любимые стихи. Вы же, Кадеке, хотели сказать, наверное, что ему не понравилось одно стихотворение, а не все стихи на свете. И я знаю, что это за стихотворение, которым он остался недоволен:

*Ты – аргамак, каких свет не знал,
И честь и славу себе стяжал... –*

закончил с улыбкою Абай.

Сидящие в доме вновь засмеялись – и с любопытством стали ждать ответа старого акына. Кадырбай сам рассмеялся и ответил:

– Апырмай! Ты посмотри, как этот ребенок сумел поддеть меня! – Он оглядел окружающих, прищелкнул языком и с весельем в глазах молвил дальше: – Он ведь намекает на одно мое стихотворение, в котором я перехвалил Солтыбая, и напоминает о том, как меня за это осудил Кунанбай. Если вы не слышали о том, что слышал, должно быть, этот мальчик, то я вам сам расскажу. Кунанбай пристыдил меня: «Зачем ты так стелешься перед Солтыбаем? Хочешь упросить его о чем-нибудь?» Что ж, так и было, сынок, но ты меня строго не суди, пожалуйста! Это было так давно, – и он опять добродушно рассмеялся.

Абай ничего не ответил. Ему в последнее время почему-то хотелось спорить со старшими, словно некая подспудная



строптивость затаилась в его сердце. Нет, он не сожалел и не чувствовал вины в том, что задел старого акына, хотя по натуре своей юноша не был ни мелочным, ни вздорным. И все же, вынудив к признанию Кадырбая, Абай почувствовал некую удовлетворенность в душе.

Люди в этой гостевой юрте засиделись допоздна. Когда уложили гостей в приготовленные для них постели, вышли из юрты и затащили пологом тундуки на ее овершии, Абай и его люди увидели, что на восточном небосклоне уже занимается золотистый рассвет. Проступили во мгле сероватые холмы с юга от горы Казбала, затащенные туманной пеленой. На синеем небе просматривался высокий силуэт вершинной скалы Карашоки, словно дозорный наступающего нового дня оповещал о скором приходе зари всем окрестным холмам, глубоким оврагам и горным ущельям, еще погруженным в холодный туманный сон...

Абай, Изгутты и Ербол шли в направлении кухонных юрт и на ходу устало переговаривались.

– Уже скоро настанет утро. Поспать, наверное, не удастся.

– Какое там поспать! Ты лучше забудь про сон.

– Оу, еще не заготовили дрова, воду!

– А кумыс? С кумысом бы не запоздать! Сабы во всех домах опустели.

– Конечно, сейчас не до сна. Побегать нам придется, подсутиться еще!

И они приступили к неотложным делам.

А наступающий день обещал быть для них трудным! Это был день большого угощения. Гости Абая до самого обеда не показывались из юрт. Утром туда заносили только чай и кумыс. В обед начали подавать мясо. Абай установил свой особенный порядок подачи еды, который понравился и гостям, и посторонним, и всем, работавшим на кухнях.

Для джигитов-мясодаров были подобраны иноходцы с ровным бегом, все в сверкающей серебряной сбруе. Головы джигитов были обвязаны белыми платками. Когда с двумя блю-



дами дымящегося мяса в руках они понесли от кухонных юрт к гостевым, вся долина, казалось, наполнилась праздничным ликованием. Приезжие родичи, нагаши Божея, получили высокие почести, а уход за ними и блюда были признаны самыми безупречными.

Когда в гостевых домах завершился торжественный поминальный обед, Байсал на светло-сером скакуне, с траурным стягом в руке, выехал на холм в сопровождении большой группы джигитов, издававших призывные кличи. Так был подан знак к началу большой скачки и разных состязаний: борьбы силачей-палванов, конной джигитовки. Наступал главный час торжеств годового аса Божея. Из огромной толпы верховых, двинувшихся к месту сбора, вырывались вперед и неслись к долине наездники на легконогих, как сайгаки, резвых скакунах, что должны были принять участие в большой байге. Громкие мужские голоса, шумные приветствия, возгласы восхищения и молодецкатые выкрики наполнили горную долину. За какое-то мгновение все участники аса оказались в седлах.

Абай не мог представить себе, сколько же народу собралась годовая тризна, он никуда не выезжал из своего юрточного гостевого лагеря. Его гости были издалека, они должны были сегодня заночевать здесь, и надо было позаботиться об их вечерней трапезе. Поэтому Абай, Изгутты и их люди не могли отвлекаться на развлечения и зрелища. Джигиты смирились и тоже остались на местах, беспрекословно подчинившись Абаю, который не отпустил их. Один лишь Ербол, не устояв перед всеобщим порывом, со словами: «Буду вашим вестником» умчался на место проведения скачек. Он и правда несколько раз возвращался галопом назад и, торопливо сообщив новости, вновь уносился прочь. Это с его слов Абай узнал, что на празднике присутствует несколько тысяч человек.

Когда Байсал с призывным кличем, со стягом в руке поскакал с места сбора в сторону Карашоки, где находится просторная равнина для скачек, за ним с потрясшим горную долину многоты-



сячным грохотом копыт понеслась вся огромная лава конников. Казалось, потоку конницы нет конца и края. Только теперь Абай и его люди смогли убедиться воочию, какая громада людская собралась на асе Божея. Улжан, Айгыз и все другие женщины обслуги выбежали из хозяйственных юрт и, замерев на месте, как зачарованные смотрели на проносящийся мимо поток верховых.

В очередной раз подскакавший Ербол сообщил, сколько лошадей примет участие в розыгрыше большой скачки: сто пятьдесят лучших скакунов от всех присутствующих на асе родов. Призы получают десять самых быстрых коней. Каждый приз будет состоять из «девяток», на главный приз предназначена «девятка» во главе с верблюдом, вторая наградная «девятка» увенчивается серебряным слитком, который привезла Улжан. Призы борцам-палванам также состояли из «девяток».

В полдень Улжан вызвала Абая и сообщила ему, что если гости останутся еще на день, то мяса может не хватить. Надо было позаботиться заранее, поэтому Абай и не пошел на торжества. Он срочно направил Изгутты и Мырзахана домой в Ботакан, чтобы они пригнали пять отгульных стригунов и доставили еще кумысу. Большая часть гостей аса сегодня ночью отправится по домам, но гости Абая могут задержаться еще на сутки.

Так что Абаю надо было предупредить своих, чтобы не расхолаживались и без задержки слали все, что он просит прислать. К тому же большая и постоянная забота была о воде и дровах. Абаю и краем глаза не пришлось полюбоваться на великие торжества и конные игрища в честь аса Божея. В заботах, суете и постоянном беспокойстве прошли для него предыдущая ночь и весь день поминок, а впереди предстояла еще одна не менее хлопотливая бессонная ночь. Вечером гости вернулись усталые, запыленные, изнемогающие от жажды. Их встретили приветливые, улыбающиеся, нарядные молодые джигиты. Они для начала напоили гостей прохладным золотистым кумысом, затем подали чай. В юрты внесли огромные самовары, пыхтев-



шие клубами пара, их тащили за ручки по два джигита. В юртах сразу стало шумно, весело и уютно.

Второй вечер по вниманию к гостям и обилию угощения вышел не хуже вчерашнего, а в чем-то даже и превосходил прошлый. Так как люди из ближних мест уже разъехались по своим аулам, в юрты Абая зашли провести самых дальних, оставшихся на ночевку гостей из Семиречья старшины родов Байсал, Байдалы и Суюндик. Еще со вчерашнего дня Улжан приглашала их, чтобы они могли побыть с гостями – нагаши Божея, а также чтобы почувствовали и на себе гостеприимство очага Кунанбая.

Итак, Абай не спал и эту ночь. Это была уже третья бессонная ночь.

На другой день Абай с утра позаботился о последнем обеде для отъезжающих семиреченцев. Когда обед завершился и наступило время «возвращения дастархана», почтенный седобородый аксакал рода Найман позвал Абая, произнес слова благословения-бата над юношей и потом с глубоким, искренним чувством благодарил его за доброе гостеприимство.

После обеда вдруг разом все – Улжан, Изгутты, Улжан и Ербол – обратили внимание на то, как выглядит их любимый Абай. На нем лица не было, посерел он и осунулся так, что выглядел человеком, долго пролежавшим в объятиях болезни. Воспаленные глаза были налиты кровью, щеки ввалились, утратили румянец, и весь он выглядел каким-то потерянным, взъерошенным, вызывая у тех, кто на него смотрел, чувство безмерной жалости.

Впрочем, не намного лучше выглядели и сам деловитый Изгутты, и неугомонный Ербол. Все трое, поглядев друг на друга, от всей души расхохотались, потешаясь над самими собой.

– Что тут скажешь! Выглядим, как у того бедняги Караши кляча, которая вчера вымоталась на скачках, села на хвост, растопырила передние ноги, да так и просидела враскоряк всю ночь до рассвета, – заметил Ербол.

– Да, сейчас хочется только одного – упасть бы на этом месте и спать, спать! – признался Абай.



Но тут подошел Байдалы и пригласил их всех к дому Божея. Надлежало провести обряд завершения годовой тризны. Что означало – будут забивать год назад предназначенных к тому жертвенных коней Божея, а также снимут траурный стяг с дома покойного.

При этих обрядах присутствие родственников покойного обязательно. И во главе с аксакалом из нагаши Божея все тобык-тинцы дружно направились к траурному дому покойного. Когда они подошли, из юрты вышли женщины, уже год находившиеся в трауре. Из-за опоясывающего юрту аркана Байдалы вынул за древко черно-белый стяг, что был поставлен справа от входа, и подал его Байсалу. Тот, как требовал обычай, бросил стяг на землю и ногою переломил древко. Это был первый знак к окончанию траура. Ас завершился, прошел год по смерти Божея.

Теперь предстояло развязать узлы скорби, разобрать юрту, предварительно сняв в ней все убранство. По знаку Байдалы внутрь юрты вошел Суюндик с большой толпой народу. Начали развязывать траурные тюки, содержимое которых уходило на раздачу в память усопшего. Две дочери Божея и его безутешная байбише сидели с безучастным видом, спиной к правой стороне юрты, и монотонно голосили. К ним присоединились с плачем, рыданиями и причитаниями все остальные. Голоса скорбящих слились в последнем вопле по Божею. Это был второй знак к окончанию траура.

После прочтения молитвы из Корана все вышли из юрты наружу. И следовало подать третий знак к окончанию траура. К юрте подвели двух жертвенных коней Божея. Он на них ездил в последний год, незадолго до смерти. За год вольной жизни в табуне кони разжирели и довольно-таки одичали. Плача, скорбя и рыдая, родичи завалили обоих животных, и Байдалы собственноручно перерезал им горло.

Все трое – Байсал, бросивший на землю траурный стяг, и Суюндик, развязавший тюки скорби, и Байдалы, зарезавший жертвенных коней, были самыми близкими родственниками и



друзьями Божея, поэтому они получили почетное право совершить обряды по окончанию его годового аса.

Не отведать мяса жертвенных животных на тризне никак нельзя. Абаю пришлось, вдруг задремывая и роняя голову на грудь, досидеть до конца трапезы.

После чего, во второй половине дня, он испросил разрешения у старших отбыть домой. К нему подошел Байсал и, породительски обняв его и понюхав лоб, сказал ему с необычной для него лаской и приязнью:

– Сынок, до сих пор мне ни разу не приходилось разговаривать с тобой и беседовать по душам. Но я запомнил и буду помнить все хорошее, что исходило от тебя на этом асе. Когда-то Божеке в Каркаралинске был тронут твоим искренним салемом и дал тебе благословение. Ты помнишь, сынок? Он сказал, что ожидает от тебя много доброго в этой жизни. Я тогда отнесся к тебе не очень ласково, вспомни и это... И вот до меня стали доходить от разных людей твои слова – о справедливости, несправедливости. Я часто думал о тебе. А в эти дни аса я воистину убедился, что ты настоящий брат покойному Божекену. Я желаю, чтобы ты и в других добрых делах оправдывал его большие надежды. Также старайся оправдать надежды всех нас, старших родичей. Я верю, что ты оправдаешь их, карагым, свет мой! Только бы эта проклятая жизнь не заставила тебя споткнуться и отступить. А пока ты на правильном пути. Дай бог тебе! Дай бог! – И Байсал благословил Абая.

Сердечно, искренне присоединили к сему свои благословения Суюндик, Байдалы и Кулынташ. Абай с глубоким почтением поблагодарил аскалов за их добрые пожелания.

Он простился со всеми и тронулся в путь вместе с одним только Ерболом. Улжан отправилась уже к Ботакану на повозке. А Ербол с Абаем, едва держась в седлах, поплелись медленным шагом, изредка ненадолго ускоряя ход, из последних сил добирались до дома. Здесь их ждала Улжан, она успела уже приготовить для них уединенную юрту, уютно застелила пол толстыми коврами, бросила на них стеганные корпе.



Войдя в Большой дом, Абай нашел силы поздороваться с бабушкой, а потом жалобно посмотрел на Улжан со словами:

– Спать, спать!.. Апа, я так хочу спать...

Улжан подала обоим кумысу в чашках, затем отвела в приготовленную для них юрту. Там уложила обоих, каждого заботливо укрыв одеялом.

Они уснули мгновенно, лишь только их головы коснулись подушек. Проснулись к обеду следующего дня. Опять попили одного только кумысу и рухнули назад в постель. В сумерках друзья проснулись, посидели, полусонные, молча, бессмысленно глаза друг на друга, потом вновь повалились спать. Они пришли в себя и окончательно проснулись, вволю выспавшись, только к обеду третьего дня.

Абай не знал о том, что, безмятежно проспав эти дни, проснулся он знаменитым на всю степь, уважаемым многими степняками молодым джигитом.

3

Во всех джайлау только и говорили о прошедшем асе по Божею. Его устроители и гости, и все те, что не были на поминках и слышали о них только из уст участников аса, обсуждали его. Молва о небывалых торжествах облетела все пределы Тобыкты с быстротой лавины и вышла далеко за пределы края. В степях, на горных отрогах, в просторных альпийских лугах джайлау казахи воздавали хвалу и славу прошедшей годовой тризне Божея. Вовлеченный в круг напряженных забот по его проведению, Абай как-то совершенно не заметил, что участвует в стихийно нарастающем народном действии, и он даже не смог увидеть и представить всей грандиозности и пышности торжеств.

Действительно, ас по случаю годовщины смерти Божея получил заслуженную всенародную славу. По количеству участников, по необычайной заботе, радушию и выражению почета гостям и, наконец, по щедрости угощения этот ас был признан непре-



взойденным. Его пример стал поучительным для последующих поколений.

В эти дни и разговорившиеся в своем кругу старики, и общительная молодежь, и сошедшиеся на досуге женщины, и озорная детвора – все не переставая обсуждали прошедший ас. Событие такого значения будут обсуждать теперь все лето, предстоящие осень и зиму. Родятся были и небылицы, не забудут упомянуть по кличкам скакунов-победителей, взявших байгу, поименно будут называть силачей-палванов, победивших в борьбе. Не забудут и про остроумных краснобаев, шутников, пустивших на тое какую-нибудь особенно удачную и всем запомнившуюся шутку. Имя «Божей» станет излюбленным во всем Тобыкты, и при наречении новорожденного многим будут давать это имя. По прошествии времени люди будут сверять время событий своей жизни по этим дням: «Это случилось через два года после аса» или – «Сын родился за пять лет до аса Божея». Сватовство, поездки женихов к невесте, свадьбы, а также торжество по случаю обрезания или смерть какого-нибудь человека – будут связываться с днем и годом аса Божея. Даже о выдающемся скакуне, впоследствии выигравшем байгу на каких-то торжествах, будут говорить, что в год аса он еще был стригунком. Были в прошлом и другие знаменитые асы, становившиеся вехами в продолжении неспешно текущей истории кочевой степи: ас Торе и ас Бопы также сохранились в памяти потомков на много поколений.

Нынешний многотысячный, шумный ас своей громогласной славой прокатился по всему Чингизу, по его горным джайлау, ущельям, долинам и урочищам. Имена почетных людей, содействовавших его устройению, не пожалевших для него своих огромных усилий, стали известны всем и вошли в устную историю кочевников. И уже сказано было, что этот ас породил вокруг себя много былей и небылиц.

Имена главных строителей аса назывались с большим почтением – это Байсал, Байдалы и Суюндик, однако имя юного Абая обрело славу, намного превосходящую их известность.



По всей степи передавались рассказы об этом мудром, достойнейшем юноше.

Рассказчики начинали с того, что поведывали о напряженном споре отца с сыном, в котором молодой Абай смог одержать верх, приведя такие слова, что они смогли растопить лед в сердце сурового Кунанбая. Затем рассказывалось о проявлениях необыкновенной учтивости, широты души, мудрой прозорливости и обаянии этого молодого джигита. Его замечательное поведение и щедрость могли быть примером для всех остальных в степном народе. Это был пример того, как истинно послужить во благо своего народа.

Аульные старцы высоко оценили усилия матерей Абая, престарелой Зере и досточтимой Улжан. О бабушке Зере составил почтительный народный приговор: «На Зере равняются люди. Она действительно является великой матерью для всех наших племен. Живет заботами о благе, здравии, покое других людей. Сама воспитала необыкновенного внука – чтобы в нем проявилась сила и благость ее материнского молока». Аксакалы в своих дальних аулах отзывались лестно и о матери Улжан, которая сама выезжала на поминки, чтобы помочь своему сыну.

Все эти рассказы, были и былички, степные приговоры и народные мнения складывались за те два дня и две ночи, которые Абай и Ербол проспали глубоким, как провал, сном крайнего утомления. Наконец, добрая молва долетела и до Большого дома Зере. Ее приносили даже люди из ныне враждебных родов – Жигитек, Бокенши, Котибак. Вернулся Каратай из поездки по реке Баканас и поведал: и там уже все говорят о добрых делах Абая. В племени Керей, кочующем в самых низовьях рек Баканаса и Байкошкара, на земле уже другого округа, тоже знают и воздают должное его делам.

Проснувшись на третий день, Абай и Ербол сходили на реку, искупались и вернулись к чаю в юрту свежими и бодрыми.

Зере подозвала и усадила рядом с собой внука, поставила перед ним пиалу с чаем.



– Айналайын, ягненок мой! – ласково глядя на него, сказала она и похлопала его по спине.

Улжан подала блюдо с мясом – бараний бок и вареную голову.

– Ешьте. Мы, твои матери, велели заколоть барашка в твою честь, – сказала она.

– С чего это вдруг, апа? – удивленно посмотрел на нее Абай.

– А в честь того, что ты, сынок, стал уже совсем взрослым. Вы оба проспали все на свете и ничего не знаете. Вас повсюду хвалят. Люди благодарны за твои труды, жаным, считают тебя истинно добрым джигитом.

– Боже мой, что за труды! Подумаешь – гору своротили. Старались принять гостей не хуже других, вот и все. Лучше скажите, что не нашли другой причины для смерти бедного ягненка! Теперь, Ербол, нам придется съесть его, – отшутился Абай и, как старший, начал разделывать баранью голову.

Прошло еще дней пять. Ербол уехал и находился в своем ауле. И вдруг сегодня он прискакал на взмыленном коне, подлетел к одиноко гулявшему за юртами Абаю.

– Суюнши! – крикнул Ербол, сверкая в улыбке зубами. – За хорошую новость готовь суюнши! – И он с ходу, на скаку сорвал шапку с головы друга.

Еще ни о чем не расспрашивая друга, Абай уже догадался, что это за новость.

– Удача большая! Тебе везет! – сияя от радости, сообщил запыхавшийся Ербол. – Адильбек, младший сын Суюндика, вчера вечером поехал к родителям своей невесты – тайная поездка. С ним вместе уехали все: бай Суюндик, старший сын Асылбек и другие. Я давно хотел, но не мог поговорить не то чтобы с Тогжан, но даже и с женге Карашаш. Этот Адильбек стал что-то коситься на меня. Ну а сегодня утром я заскочил к ней на зимовку, напился кумысу, вдоволь наговорился с нею. Ты знаешь, Тогжан сильно тоскует по тебе! Постоянно вспоминает тебя. А тут еще



народ со всех сторон нахваливает, и меня с тобой, кажись, тоже нахваливают – говорят, что нет других таких джигитов, как Абай и Ербол! И женге Карашаш тоже так говорит, и Тогжан. Одним словом, Абайжан, надо ехать туда: хотя бы еще раз повстречайся с ней! Я с этим и приехал. Скорей седлай коня и поедем. По дороге поговорим!

Решение тотчас было принято. Новость невероятно взволновала Абая. С наступлением сумерек друзья выехали по направлению к джайлау Жанибек, куда откочевал род Бокенши.

Абай ехал на белогривом рыжем иноходце, Ербол – на светло-сером скакуне, оба выбрали коней, масть которых сливалась с тусклой мглой степной ночи. Всадники и одежду подобрали такую же неброскую в ночи – серые чапаны и шапки, теряющиеся в туманном колыхании волн седого ковыля. Они хорошо продумали, как остаться незамеченными на своем пути. Чтобы не привлекать излишнего внимания, выбрали обходные пути мимо аулов, где могли и призадуматься, увидев едущих куда-то в ночи двух джигитов.

Взошла луна. Стояла ночь тихая, спокойная, просторная. Вершины предгорий затянулись сиреневым туманом, словно набросили на себя шелковые покрывала ночи. Замерший, пространственный, тихий мир ночи был наполнен беспредельной грустью. И глядя на половинную долю новой луны, Абай непроизвольно вздыхал – печально, глубоко.

Ибо воспоминание о Тогжан и о другой луне, уже запредельной, погружали его в безысходную печаль.

Мир этой степной жизни, породив его джигитом, в самую светлую пору его расцвета бросил с неба волшебный луч, имя которому Тогжан.

Мечта его чиста и прекрасна, но между ним и его мечтой непреодолимой преградой встало жизненное зло. Казалось бы, что для них, любящих, все так ясно и прозрачно – протяни руку, и в ней окажется ее рука. Но не получается так. У него на ногах путы, у нее на шее – аркан. И вот теперь они – оба безнадеж-



ные невольники всемогущей судьбы, жестоко разлучающей их. И зачем всем отчаянным порывом сердца они устремляются друг к другу? Зачем, зачем? Разве есть силы, которые смогут разорвать злые цепи на них? Зачем задыхаться от печали, тоски и горечи – и лететь на эту встречу?

С того дня, как он возвратился из края Бошан, Абай только и желал как-нибудь связаться с Тогжан, однажды послал ей весточку, спрашивал, как бы им повидаться. Оказалось, что Тогжан тоже думала об этом, но, потеряв всякую надежду, сумела передать ему лишь слова отчаяния и боли: «К чему встречи? Только ради того, чтобы повидаться? Неужели он не понимает, что все это ни к чему?»

На эти слова ее Абай не нашелся, что ответить... И вдруг она зовет его!

Да, он ездил к Дильде, не любя ее, покоровшись неодолимой судьбе и косным степным законам. Но и у Тогжан есть нареченный жених в Мамбете. Она также не испытывала любви к нему, а с тех пор как полюбила Абая, она и думать не хотела о своем женихе. В душе ее поселился страх перед ним. Абай же покорно поехал к нелюбимой невесте! Он словно ушел за перевал, навсегда разделивший их. Сколько слез тогда пролила Тогжан, извелась вся, осунулась и исхудала.

Джигиты нещадно погоняли лошадей, и ко времени отхода ко сну успели подъехать к берегу реки Жанибек.

Широкие, просторные луга здесь тянулись по обоим берегам реки, высокие продолговатые холмы окаймляли речную долину. Когда они взобрались на один из этих холмов, слуха их достигла отдаленная песня. Первым уловил ее Ербол. Джигиты остановили коней. Прислушались. Пел хор женских голосов, многоголосый, слаженный. Так поют ночью в степи женщины, стерегущие стада. Джигиты тронули коней и спустились с отлогого холма. Внизу перед ними раскинулся аул. В просторных загонах спали овечьи стада. Огни нигде не горели. В безмолвии лунной ночи причудливо смотрелись белые юрты – словно ле-



жавшие в темных гнездах, на каком-то зачарованном островке, огромные гусиные яйца. Там кучка яиц в пять-шесть штук, тут гнездо с целым десятком яиц, а в стороне – кружок гнезд с четырьмя-пятью яйцами в каждом.

По мере приближения к аулу пение женщин в ночи звучало все призывнее, громче и разборчивее. Джигиты стали объезжать аул пониже, вдоль по кромке берега неширокой реки, среди темневших зарослей кустарника. Ербол определил, что они приблизились к аулу Суюндика. Следующим за ним оказывался аул самого Ербола. Надо было по самой береговой кромке, скрываясь в кустах, пробираться дальше вниз по течению реки и выходить к броду. Скоро они достигли брода, переехали через реку.

Перед ними распахнулась широкая поляна, ровно освещенная луной. Аул Суюндика виднелся уже не так далеко. Голоса поющих женщин звучали совсем близко. Пели песню «Топайкок», которую привезли в эти края Абай с Ерболом из аула Дильды и которую здесь успели повсюду разучить. Но в напеве звучавшей в ночи песни что-то разлаживалось, нежные женские голоса размывались и как будто уплывали в тишину ночи.

Ербол догадался в чем дело.

– Е-е, посмотри-ка, что делается! У них же бастангы¹, провозают кого-то. Поют, на качелях качаются! – воскликнул он. – Давай подъедем к ним!

– А удобно это?

– Никто и не подумает, что мы сюда с целью какой-то приехали. Как-нибудь оправдаюсь! Давай за мной! – сказал Ербол и двинул коня вперед.

Абай сильно сомневался, но все же ехал за другом, полагаясь на его находчивость.

На самой окраине широкой поляны, за аулом, были установлены большие качели. Вокруг них собралось много девушек и джигитов.

¹ *Бастангы* – молодежное гуляние.



Качели были поставлены посреди широкой поляны, недалеко от белых юрт, освещенных яркой луною. Здесь собралось много молодежи, в основном совсем юных девушек в собольих шапочках, бархатных и шелковых чапанах, иные в приталенных камзолах, подчеркивающих стройность их тоненьких фигур. Непрестанно разливался в воздухе многозвучный звон шолпы. Пришли на бастангы и молодые замужние женщины в затейливых головных уборах, оставлявших открытыми их веселые, свежие, смеющиеся лица. Между ними бегало немало детворы. Джигитов было не так уж много. Две стройные девушки, раскачиваясь на больших качелях друг к дружке лицом, запели песню «Топайкок», остальные хором ее подхватили. Абай с Ерболом подъехали вплотную, не замеченные никем.

– Хорошо повеселиться! Славных вам игр! – приветствовали джигиты, остановив своих коней.

Девушки живо обернулись на голоса. Подошли ближе. Среди них оказалась жена Асылбека, невестка Тогжан – женге Карашаш.

– Абай! – воскликнула она, узнав его, и радостно произнесла приветственный салам.

Ербола все узнали сразу, и раздался целый хор певучих девичьих голосов:

– Ербол! Это же Ербол! Наш Ербол!

– Откуда едете?

Молодежь оставила качели, перешла на край поляны. Пение прекратилось, девушки, распевавшие песню, сошли с качелей и присоединились к остальным. Одна из певших была Тогжан, другая – ее подруга Керимбала, дочь Сугира.

Абай узнал Тогжан, как только подъехал. Встретившись на людях, они оба смутились и едва смогли поздороваться. Но никто не заметил их смущения. Подружка Керимбала, веселая, звонкоголосая, бойко подошла к Абаю, сверкая большими качающимися серьгами в ушах, поздоровалась с ним и сразу затараторила:



– Ну, раз вы попали на наше веселье, давайте веселиться вместе с нами! Сойдите с коней, будем на качелях качаться!

Карашаш, жена Асылбека, тут же подхватила:

– Конечно, сойдите! – и ободряюще улыбнулась Абаю.

Но Абай и Ербол все еще медлили. Не сговариваясь, они решили повести себя так, чтобы ни у кого не зародилось подозрения. Ербол громко заговорил:

– Вот, ехали в аулы Кокше, что кочуют по Баканасу, да запозднились и решили заночевать у меня, – больше стараясь для ушей джигитов, которые в подобных делах намного догадливее и хитрее. К тому же – мужская зависть, подозрительность... – Поедем завтра.

– Ну, так какой разговор! Раз решили ехать завтра, слезайте с коней, повеселитесь с нами!

– Мы устроили бастангы, примите участие в нашем веселье! – несколько девушек и нарядных молодых подошли к джигитам.

– Отведите, поставьте коней да скорее к нам возвращайтесь! – шутивно-повелительно приказала Карашаш.

Ербол, как бы готовый повиноваться ей, все же выразил неуверенность в голосе, произнеся:

– Хорошо... хорошо... Так нам что, вернуться?

Керимбала, прислонившись плечом к одной из своих старших женге, бойким голосом ответила за всех:

– Конечно! И поскорее, не теряйте времени! Нам хочется услышать от вас новые песни – ведь вы недавно ездили к родителям невесты. Вот и научите нас их песням. Отведите быстрее коней и возвращайтесь, да хорошенько настройте свои голоса!

Всем понравилась шутка Керимбалы, раздался всеобщий звонкий молодой смех.

Не смеялась одна Тогжан.

Она молча смотрела на него, в сияющих глазах ее плескалось счастье. Перед нею был он – тонкий серый чапан нараспашку, под ним черный шелковый жилет, надетый на белую рубашку. На голове – шапка из серой мерлушки, покрытая серебристым шел-



ком. В свете яркой луны ей было видно, что он похудел, лицо его осунулось, выглядело усталым. Внезапно появившийся из ночи джигит, красивый, нарядный, на прекрасном коне с посеребренной сбруей – Абай заполнил собой всю ее душу. И по-прежнему был он для Тогжан ближе всех, дороже всех на свете.

Джигиты тронули коней. Белогривый иноходец Абая, стоявший на месте и нетерпеливо рывший копытом землю, рванулся с места и пошел плавным, ровным ходом. Начищенная серебряная сбруя на нем сверкнула в лунном сиянии и померкла в темноте. Высокий всадник на светлом коне удалялся, постепенно сливаясь с мглой ночи, и только белый, пышный хвост коня еще светился, отражая лунный свет.

Подойдя к качелям, Тогжан прислонилась к столбику и замерла, склонив голову.

Женге Карашаш сразу заметила, как резко изменилась в лице ее золовка. Желая скрыть ее состояние от внимания других, Карашаш обняла Тогжан и, когда подошли другие женщины, сказала им, что она с Тогжан обсуждает, какое надо угощение предложить гостям. А сама стала шепотом увещевать золовку, чтобы та не выдавала себя:

– Начинай петь, вот что... Иначе заметят. Будь осторожнее.

Тут к Тогжан подбежала Керимбала и, схватив ее за руку, повлекла к веревочным качелям.

– Так это и есть Абай? – щебетала она. – Я его в первый раз вижу. Хорошо, что он приехал, правда, Тогжан? Мы заставим его спеть все песни новой родни, которые он разучил у них! И сами разучим их! Ладно, Тогжан? – И, влажно сверкнув зубами, Керимбала беспричинно, просто от своего молодого веселья, звонко расхохоталась.

Тогжан не отвечала. Керимбала подскочила к ней, схватила за руки.

– Ты что? Стесняешься его? Да разве он старик какой-нибудь, чтобы смущаться перед ним? О, разве ты не слышала, как говорят: «Тот, кто смел, тот и съел»? И нечего нам смущаться!



Ну, подавайте мне этого Абая! Сейчас увидишь, как я заставлю его песенки петь!

Неуемная Керимбала снова затянула чужедальнюю песенку «Топайкок». Тогжан подругу не поддержала. Но сияющие глаза, сверкающие белизной зубы, хорошенькое лицо и звонкий смех Керимбалы ни с чем считаться не хотели, – и под звонкий ливень серебряных шолпы, то и дело прерывая саму себя залиvistым хохотом, она пела одна.

Вернулись Абай и Ербол.

С их приходом ночные девичьи игрища пошли под веселый завод Ербола. Он вместе с Карашаш посадил на качели Абая и хохотушку Керимбалу. А если джигит и девушка качаются вдвоем, они вместе должны исполнить песню. Керимбала потребовала, чтобы Абай спел с ней вместе «Топайкок».

Но когда Абай запел, а она начала подпевать – все заметили, что Керимбала затягивает по-другому, сбивает мотив – сфальшивила не только в начале, но и в середине припева!

Слушавшие девушки и молодые женге дружно закричали:

– Нет! Абай поет совсем по-другому!

– Керимбала! Керимбала, ты поешь неправильно!

– Ей! Озорница! Ты зачем поешь неверно?

– Сначала научись петь в два голоса, а потом уж берись! – захотел кто-то из женщин уколоть Керимбалу.

Но ту смутить было невозможно. Она снова звонко расхохоталась, остановила качели, спрыгнула с них и крикнула:

– Ах, так? Пусть тогда поет кто-нибудь другой! Вот ты, Тогжан! Спой ты! – И не дав ей опомниться, подтолкнула подружку к качелям, на свое место, лицом к лицу с Абаем. А сама стала раскачивать, взявшись за веревки, ей дружно помогали и другие девушки.

Махи качелей становились все сильнее, подъемы в ночное небо – все выше, возвращения – все стремительней. Даже у стоявших на земле захватывало дух. И в это мгновение Абай и Тогжан запели. Первый уверенным, радостным голосом повел



песню Абай, голос Тогжан чуть был зажат вначале, принаравливаясь к пению юноши, перенимая верный напев, но затем распахнулся во всей своей широте, чудесно слился в дуэте с голосом Абая. Заново начали чуждедальнюю «Топайкок», и на этот раз звучало что-то совсем иное, чем при исполнении Керимбалы. Тогжан быстро исправила все искажения, допущенные в их ауле, и песня всех захватила и очаровала своей нездешней красотой звучания. Ербол и окружавшие его девушки радостно завосклицали:

– Уа! Вот теперь правильно!

– Хорошо! Тогжан-то, молодчина, сразу все поняла!

– Пойте! Пойте еще! – крикнули девушки и джигиты в ночи.

Когда качели взлетали в подлунную сторону, Абай ясно видел прекрасное любимое лицо и глаза Тогжан, озаренные светом месяца. На этом лице, казалось, трепетал какой-то особенный бегущий луч от лунного светоча, который весь сосредоточился на освещении дивной красоты этой девушки. Мерцающий розовый луч придавал ее лицу цвет нежности, юности, – душа ее раскрывалась в этой ночи и представала вся в своей внутренней чистоте и свежести. Эта душа не скрывала о своем устремлении к любимому, она говорила о своей верности ему навсегда. Их ладное красивое пение сблизило их и слило воедино гораздо сильнее, чем самое крепкое объятие. Отдавшись без остатка мелодии песни и ее словам, оба они доверили ей все свои тайные чувства. Они не песню пели, а поведывали всему миру, этой волшебной лунной ночи о бесконечной радости своей встречи, этого свидания, когда души их, наконец, слились друг с другом. И этому окружающему миру, и равнодушной бесконечности звездного неба, и одинокой луне, и всем, собравшимся на этом маленьком ночном девичьем празднике, – души молодых влюбленных смиренно говорили: «Вот мы перед вами. Скажите, в чем мы виноваты?»

Потом запели по очереди. Захваченная мечтой и грезой, Тогжан вся ушла в свою песню – она полилась неудержимым



нежным потоком. Абай увидел на лице юной красавицы ответ чистой детской радости. Излучая эту радость, словно наслаждаясь этой радостью и словно благодаря за эту радость, любимая улыбалась ему. Ее длинные, тонкие, загнутые на концах, словно крылья ласточки, черные брови вскидывались и опускались, порой быстро трепетали, будто пытались сказать Абаю что-то особенное, самое сокровенное.

Абай, вначале запевший песнь радости, песню-приветствие своей возлюбленной, вдруг быстро изменил мелодию и звучание ее. Слова пришли другие, печальные: «Перестанет ли любимая винить любимого, полного грусти и тоски? Ведь он хотел бросить к ее ногам все сокровища своей души, все мечты свои, устремленные к ней, всю вселенную, полную горящих звезд. Что теперь она скажет ему? Если снова безжалостно отвергнет его, – где же в этом мире искать ему утешения и милосердия? Сгореть, без надежды спастись, быть наказанным без праведного суда – за что же такая участь тому, который любит?»

Тогжан ответила следующим песенным куплетом, вполне приличествующим в подобном песнопении, но далее, уже после того как слова Абая предстали совсем необычными для известных ей песенных ходов, а содержание стало слишком глубокомысленным, Тогжан не стала продолжать ответное пение. Она предпочла молча слушать, потупив голову, опустив свои чудесные черные глаза, раскачиваемая на качелях, вместе с Абаем, своими веселыми подругами.

Абай спел четыре куплета под задушевную мелодию песни «Белая березка» и смолк, завершив пение на постепенно замирающем звуке. Слова этой песни написал сам Абай, и он выразил в них всю свою неизбывную тоску по любимой. Джигит, тоскующий по ней, не совсем был тем Абаем, которого так хорошо знал его друг Ербол и другие люди. В глазах друга, внимательно прослушавшего всю песню, появилось чувство неподдельного восхищения – Абаем-поэтом. И подошедшая от качелей к нему Карашаш, жена Асылбека, тоже выразила свой восторг словам



песни, зная, что ее сочинил сам Абай. Настолько высоко оценила она его стихи, что во всеуслышание признала их стихами подлинного акына. Но Абай, с блуждающей улыбкой на устах, почти не слушал ее, иное волнение захватило всю его душу.

Песни и ночные игрища возле качелей под яркой луной, на просторной поляне продолжались еще долгое время. Неугомонный Ербол затеял новые игры: «ак-сук», метание в лунную ночь белой кости, которую ищут джигиты и девушки, разделенные на две играющие группы; «серек-кулак» – волк и ягнята. Волком, который должен схватить ягненка и утащить его на себе, взялся быть сам Ербол. Абай, стоявший рядом с девушками, согласился быть в ягнячем стаде.

У Ербола все было неплохо продумано. Для начала он стянул и утащил на себе в темноту нескольких девушек. Затем взвалил на плечо Абая и унес его в кусты. Сбросив друга на землю, сказал ему тихо: «Вон, за тем кустом подождешь. Сейчас утащу Тогжан и туда притащу».

Абай стоял в кустах и, сильно волнуясь, ждал. Ждать особенно долго не пришлось. Ербол удачно стащил овечку-Тогжан, хотя на этот раз обошлось не без трудностей. За ним с криками понеслась большая погоня, которую возглавляла неугомонная Керимбала. Отнеся Тогжан за другой куст, нежели указанный Абая, он что-то тихо сказал девушке и убежал назад. Все это происходило недалеко от Абая, и он слышал шум в лозняке и голос Ербола.

От волнения Абай не помнил, как он нашел Тогжан, как встретился с ней. Они стояли на небольшой полянке, ярко залитой лунным светом, среди черных кустов лозняка. Не помня себя, они кинулись друг к другу в объятия, Тогжан заплакала. Она плакала сильно, горько, прижавшись лицом к груди джигита. Он нежно приподнял ее голову, стал целовать залитые слезами глаза. Плечи ее вздрагивали, словно от сильного озноба, вся она дрожала, как от страха.

– Не плачь, Тогжан! – говорил он дрожащим голосом, целуя ее волосы, крепко сжимая ее тонкие плечи. – Не плачь!



– Обними меня сильнее! Я так соскучилась по тебе!

Тут недалеко послышался шум в кустах, смех и затем крик неумной Керимбалы:

– Е-ей, Тогжан! Где ты? Не отдам волку свою Тогжан! Беги сюда! – Абай еще раз быстро прижал девушку к себе, поцеловал ее. Лицо ее пылало, щеки разгорелось. Когда уже совсем близко затрещали под ногами ветки и зазвучали крики Керимбалы, Абай быстро поправил на голове Тогжан сбившуюся шапочку и тихо сказал:

– Жди завтра... Я что-нибудь придумаю.

Пятно лунного света, размером с монетку, упало на зрачок Тогжан, и сверкающие блики вспыхнули в ее огненных слезах, повисших на длинных ресницах. Но когда к ним подбежала Керимбала, оба уже стояли рядом, с виду спокойные. Керимбала подбежала, сверкая на лунном свету влажными белыми зубами, в сбитой набекрень шапочке-борике. Тоненькая, гибкая, она всем телом извивалась на бегу.

– О! Вот вы где! Я боялась, как бы не съел мою овечку волк, а тут, оказывается, другая овечка не прочь съесть ее, а? – звонко хохоча, выбежав из-за куста, Керимбала обняла Тогжан и шаловливо припала к ее плечу.

Развеселившаяся Керимбала, по легкомыслию своему, могла невольно выдать их, желая невинно пошутить над подругой. Абай с опасением подумал об этом и решил говорить с девушкой серьезно.

– Не надо плохо думать о нас, Керимбала. Нет на нас вины, что все получается так. Как нам поступить иначе? Мы встретились с Тогжан, потому что у нас одна и та же печаль, ты же знаешь это, Керимбала!

Но девушка не сразу унялась, по-прежнему прерывая свои слова заливистым смехом, она говорила:

– Ой, ничего не знаю, и слышать не хочу! Что бы ты ни говорил, Абай, не могу я поверить, что намерения твои чисты!

Это было уже совсем нехорошо, Абай смутился. Вмешалась Тогжан, сурово выговорила подруге:



– Прекрати, Керимбала! Не очень-то к месту твой смех. Опомнись, что ты такое несешь, болтушка!

Керимбала мгновенно обиделась, вспыхнула, резко обернулась к подруге и уставилась на нее сердитыми глазами.

Абай поспешил успокоить девушек. Ровным, мягким тоном, дружелюбно обратился к Керимбале:

– Надо опасаться злых языков, милая Керимбала. Мало ли как воспримут твою шутку люди. Даже подругу твою, видишь, как задели твои слова! Не надо при посторонних так говорить, ведь это невольно может навлечь беду. Разве ты не согласна со мной?

Сообразительная Керимбала сразу все поняла, но вместо ответа снова заливисто рассмеялась. Такова она была: словно устыдившийся ребенок с добрым чистым сердцем, хотела загладить свою вину – все тем же веселым смехом. Словно желая сказать: «Неужели я тебя обидела, Тогжан?» – она порывисто обняла подругу и прижала к себе.

– Все, все! Не дуйся на меня, пожалуйста! Больше не буду так говорить!

Все трое, не привлекая к себе внимания, вместе вернулись к остальным. Девичьи игрища продолжались, но Абай и Ербол, сказавшись, что им спозаранку надо трогаться в путь, поблагодарили хозяек, тепло попрощались и уехали, не дожидаясь ночных трапез.

Наутро, подтверждая свои слова, оба джигита отправились в Баканас. Спешились у дома Каратая, пообедали, провели в гостях время до наступления сумерек, и когда повсюду утихла суета, к часу, когда люди отходят ко сну, незаметно возвратились в Жанибек.

Подъехали к аулу без лишнего шума. Джигитов, одетых во все серое, никто не заметил. Даже аульные собаки не учуяли их, не подняли шума. В полной тишине они спешили у юрты Ербола, стоявшей на окраине аула.

Глухой ночью, когда люди в домах уже давно спали, Абай и Ербол, словно два вора, собиравшиеся обчистить чужой дом,



осторожно прокрались к юрте Асылбека. Забравшись под наружный войлочный полог, стали в темноте шарить руками по деревянной двери, ища щеколду. Тут за дверью раздался слабый звон шолпы. В доме был человек, их ждали. Звон шолпы означал, что за дверью – женщина, и это могла быть Тогжан или ее женге Карашаш.

– Тише! – раздался шепот, дверь открылась.

В доме стояла полная тьма. Когда джигиты вошли, тот же шепот воззвал:

– Абай!..

Абай протянул перед собой руку. Женге Карашаш, а это была она, взяла его за руку и в темноте повела куда-то. Приостановилась на миг и сказала в сторону невидимого Ербола:

– А ты уходи. Он вернется сам.

Ербол, бесшумно ступая, неслышно покинул юрту.

Правая рука Абая, протянутая вперед, в темноте коснулась шелкового полога, в это мгновение горячие, трепетные пальцы Тогжан коснулись его лица. Оба они, порывисто устремившись вперед, обрели, наконец, друг друга в исступленных объятиях. Смешалось и замерло их дрожащее дыхание, губы слились в молодом, бесконечно длящемся поцелуе...

В час, когда небо на востоке дня озарилось первыми лучами рассвета и безмятежный летний день сменял благую лунную ночь, Абай с Ерболом были на пути к Жанибеку.

Вот они перевалили через пустынную вершину холма. Бледная луна была совсем на исходе, редкие бессонные звезды гасли одна за другой. Вспугнутые конским топотом, взвились высоко в небо заночевавшие в придорожном ковыле жаворонки, и сделав первый глоток позлащенного света нового дня, птички сразу же захлебнулись в своих звонких трелях.

Сердце Абая было переполнено счастьем и трепетом жизни. Сбив набекрень свой легкий тымак, путив своего иноходца на свободный бег, молодецки подбоченившись и раскачиваясь в седле, Абай запел.



Он пел полной грудью, красивым открытым голосом, пел долго, без остановок, на всем долгом пути к Ботакану. Великую радость жизни, плескавшуюся в его сердце, и пронзительную нежную печаль, мгновениями обжигавшую его, – все это с необыкновенной легкостью истины и высшего вдохновения вложил он в свое пение. Слова песни приходили сами... Откуда они приходили? Легко и непринужденно, красивым строем – слова пришли вместе с нежной любовью, вместе с болью разлуки. Песня пришла сама. Все слова ее, истинные и чудесные, пришли сами, быстро и непринужденно. Откуда они пришли?

Не заметил Абай, как проехал всю дорогу до Ботакана, и только при виде аула поэт словно бы очнулся, перестал петь и чуть ли не растерянно посмотрел на Ербола.

А тот, прекрасно чувствуя душу друга, ехал рядом, любясь его счастливым видом, тихо радуясь за него. Абай, натянув поводья, придержал коня, наклонился с седла и крепко обнял Ербола.

– Ах, не суди меня, дружище Ербол! Много раз я слышал, что есть счастье на свете, есть великая радость. Но что это такое? Я не знал. До этой ночи не знал. А теперь знаю. Ты сам все видишь, Ербол, ты все понимаешь! Я живу, я дышу им, я пою этим счастьем, мой родной, я вкусил радость!

Но встретиться с Тогжан ему больше не пришлось.

Ее брат Адилбек по возвращении из поездки узнал о том, что Абай появлялся на ночных девичьих игрищах и, должно быть, заподозрил что-то неладное. Он злобно накинулся на своих женге, жен брата и дядьев, на соседей-пастухов. Велел выставить охрану вокруг аула и нешуточно пригрозил:

– Пусть только еще раз появится возле Жанибека! Живым ему отсюда не уйти!

Путь Абая в сторону любимой был закрыт. Яркую луну над дорогой заволокло тучами.

Испытывать терпение людей, и без того враждовавших с отцом, было опасно. Приходилось мириться с тем, что пришла беда после мгновения радости.



К тому времени кочевья перешли на другие джайлау, аулы разошлись далеко друг от друга.

Абай выглядел совсем потерянным. Безразличного ко всему, вялого, исхудавшего, ничто не радовало его, словно он оказался в мире, где высохли все цветы, угасли все огни. Казалось, что его подтачивает тайный недуг.

Встревоженные родные, предполагая свое, решили вновь отправить его к невесте. Не возражая и не проявив никаких чувств, он покорно отправился в поездку на Каркаралы, словно узник, гонимый в ссылку.

На этот раз он пробыл у тестя около полутора месяцев и приехал назад вместе с Дильдой.

Настало время кочевьям возвращаться на свои зимовья. Оставаясь со своими думами наедине, Абай совсем перестал интересоваться тем, что происходит вокруг, в родных и чужих аулах.

В эту осень Кунанбай возобновил свои хищные нападения на соседей. Очередной жертвой его стал Кулыншак со своими «бескаска», пятерыми богатырями. Кунанбай не простил ему избиения своего брата Майбасара и решил наказать за его переход к враждебным котибакам.

Просчитав время, когда кочевье Кулыншака окажется вдали и от Котибак, и от Жигитек, Кунанбай внезапно налетел на него и разгромил его стан. Забрал весь скот, разграбил имущество, к тому же сумел добиться того, что двоих из «пяти удальцов», Садырбая и Наданбая, отправили в ссылку в Сибирь, а третьего сына, Мунсызбая, насильно поселил на окраине аула Жакипа в качестве заложника. «Кулыншак избил моего брата, опозорил моего сына, за это и наказан» – гласил приговор Кунанбая. Кулыншак с Манасом оказались выброшенными на одинокое существование отдельным очагом. Не дав опомниться другим родственникам, Кунанбай, сотворивший все это за один день, – как ни в чем не бывало, по примеру прошлых лет, собирал



всех вождей родов на обильные пиршества, угощал на славу, не жалея жирных баранов, и тем замял свое новое злодеяние.

Ко времени возвращения Абая все стычки и раздоры уже закончились. Аулы вроде бы жили мирно и спокойно. Но копилась, росла глухая злоба против Кунанбая в обиженных им аулах.

В ВЫШИНЕ

1

Прошло несколько лет, как женился Абай. Уже на следующий год по приезде Дильды к мужу у них родился сын Акылбай. Через два года родилась дочь, которой дали имя Гульбадан, теперь ей было чуть больше года. И вновь Абай готовился в скором времени стать отцом, Дильда носила третьего ребенка.

Во время беременности Дильда первые месяцы выглядела больным человеком. Она не могла есть обычную пищу, ее шатало от головокружения. Исхудавшая, бледная и вся потухшая, она стремилась только поскорее прилечь где-нибудь в укромном месте.

За недолгое время став отцом нескольких детей, Абай никак не мог привыкнуть к своему семейному положению. Отчасти тому причиной были его матери. Улжан с первых же дней взяла на свое попечение малютку Акылбая, растила его в своем доме и, в сущности, усыновила его.

Уже что-то лопотавший по-своему, Акылбай не воспринимал Абая как отца, он был для малыша одним из взрослых, посторонних, что появлялись в доме за многолюдными дастарханами. Да и у самого Абая сын, родившийся столь рано, никаких горячих отцовских чувств не вызывал. Абай стал отцом в семнадцать лет. Ребенок был чужд ему и, возможно, даже пробуждал в душе глухую досаду тем, что явился невольным напоминанием о совершенном над его юностью насилии.

Такова воля Всевышнего, покорно убеждал он самого себя, пытаясь как-то примириться со своей немилрой, считай, под-



невольной женьбой. Так же хотелось ему свыкнуться с непонятным для него ранним отцовством. Получилось, что судьба, не дав ему опомниться, вместо семейного счастья дала ему семейное рабство и подвергла его жестокому осмеянию.

Когда родился первенец Акылбай, многочисленные тетушки, среди них всенепременная Калика, приступили к нему с горячими поздравлениями:

- Вот и у тебя появился ребенок!
- Сын у тебя! Теперь и ты стал отцом!
- Желаем счастья и благополучия!

У Абая голова пошла кругом, не знал он, что сказать в ответ, ибо в душе была пустота. Он сел на коня и сбежал от всех. Вернулся домой через три дня...

То же самое было и с рождением дочери – он ее почти и не видел, ее сразу унесли в дом к матерям. Там она и находилась целыми днями. Очень похожая на Дильду, рыжеволосая, подвижная, беспокойная малютка появлялась в отчем доме только вечером, перед сном. И, словно желая испытать его отцовские чувства, Гульбадан почти всю ночь капризничала и плакала, никому не давала спать. Этим она окончательно испортила отношения со своим молодым отцом. Абай однажды сказал: «Сладко спящего человека она разбудит своим криком, как скорпион своим жалом» – и прозвал ее «Рыжий скорпиончик».

Вот и сейчас этот рыжий скорпиончик опять не хочет спать, а хочет кричать и плакать. Давно уже наступили сумерки, в доме темно, а Дильда не зажгла лампу. Она опустила полог, постелила себе на полу, возле кровати, стеганое одеяло, улеглась на боку. А маленькая Гульбадан, только что принесенная из дома старших матерей, сидела в темноте на кровати и устроила неистовый ор.

В это время в дом зашел Абай, с ним еще несколько человек. Люди были с мороза, снаружи бушевал буран, одежда на них и шапки были закиданы снегом. Входя в дом друг за другом, они долго продержали дверь открытой и напустили морозного воздуха.



Очнувшись от шума и холода, Дильда приподняла голову с подушки.

Абай стряхивал у двери снег с шапки, стянув ее с головы.

– Дильда, ты бы свет зажгла, – сказал он. – И уйми эту неугомонную... или отнеси ее в тот дом.

Дильда зажгла лампу, подняла полог, постелила на торе одеяла-корпе для гостей, потом взяла на руки плачущую девочку.

Вошла в дом молоденькая розовощекая девушка, из прислуги, пошептала с Дильдой и начала приготовления к чаю для гостей.

Гости были все нынешние друзья Абая, молодые джигиты – Ербол, Жиренше, Асылбек и Базаралы. Самый старший среди них – Базаралы. Он прошел на почетное место; усевшись, отдышался и затем невесело заговорил:

– Оу, Кудаи... Кудаи... Что за погода! Опять буран. Конца ему не видать. Что будет с людьми? Дошли до края, дальше некуда!

Базаралы велик телом и могуч, лицом он лучезарен, красавец собой. Сейчас в самом расцвете сил, нынче достиг своего тридцатилетия. Сидя в накинутой на плечи белой мерлушковой шубе, он тихо покачивал головой и озабоченно поцокивал языком.

Дильда поставила лампу на круглый стол, посреди комнаты, и мужчины сели возле огня.

Абай смотрится уже взрослым мужчиной, он раздался в плечах, выше среднего роста, крупной кости, плотного телосложения. От него исходит ощущение свежей силы и молодой энергии. Большая голова с высоким бледным лбом, слегка сжатым с висков, крупный нос с горбинкой, искрящиеся глаза с большими черными зрачками, яркими белками, сохранили чистоту юности. Широкие дуги бровей, умный, пронзительный взгляд красивых глаз – лицом он заметно отличался от остальных, в нем чувствовалась высокая духовная порода.



Над сочными губами темнел пушок молодых усов. Абай не выглядел писанным красавцем, но это был видный, умный, привлекательный джигит.

Он и его друзья, обретя в этот ненастный вечер убежище вокруг теплого очага, собирались провести время с приятностью. Однако печальные слова и вид Базаралы заставили друзей смолкнуть и призадуматься. Три дня уже молодые джигиты вместе разъезжали по степи, Базаралы присоединился к ним только этим вечером, спустившись со стороны гор. Оттуда, где находилось большинство родовых зимников, с множеством народу. Абай хотел знать о состоянии их дел и расспрашивал у Базаралы:

– Что, джут¹ охватил всю округу? Или проходит местами? Насколько широко он распространился?

В ожидании ответа джигиты моложе устали на Базаралы.

– Большой джут не делает выбора, бьет сразу по всем. Никого не жалеет. Когда мы говорим «народ», мы говорим про всех. Всем сейчас тяжело, мои родные. Проклятый буран свирепствует трети сутки, ни на миг не прекращается. А ведь уже поговаривали, мол, «скоро зиме конец», завершается апрель, май на носу. А что вышло? Лютая стужа как в январе-феврале, и этот ужасный буран. Что делать? – Так говорил Базаралы, не скрывая своего огорчения и тревоги.

– При джуте, понятно, гибнут овцы. А как обстоит с крупным скотом? Есть надежда сберечь хотя бы коров и лошадей? – спрашивал Жиренше, думавший о возможности спасения хотя бы части скота.

– Оу, ты разве не знаешь, что лошади и овцы – основной скот в Тобыкты? А насчет коров, я тебе скажу, что они даже слабее истощенной овцы. Да и верблюды, оказывается, не устоит против джута. Так что есть угроза народу потерять весь свой скот.

¹ Джут – стихийное бедствие из-за сильных снегопадов и буранов.



Весь долгий вечер разговор джигитов за чайным кругом велся об этом: о тяжком положении людей Тобыктинского края. И не только о массовом падении овец и гибели крупного скота. Слышно стало о зловещих признаках голода в дальних аулах, особенно среди бедного населения. Базаралы видел множество людей, ослабевших от голода, бредущих в поисках воды-пищи к зажиточным аулам, у которых было заготовлено достаточно мяса на согым. Да и в Жидебай уже приходили люди, просили в доме у матерей Абая и по всему аулу что-нибудь из еды: немного мяса, пшена, проса. Помощь, конечно, они получили. Среди них были и старики, и старухи, еле волочившие ноги.

Прозвучал вопрос Абая, безжалостный и суровый: «Выживут ли люди при таком джуте? И кто может чувствовать себя более или менее уверенным?» На что Базаралы ответил:

– Наверное, из всех наших аулов выживут очень немногие. Живых будет так же мало, как мала звездочка на лбу коня. Но аулы родов Иргизбай, Котибак, Жигитек, Бокенши, которые захватили добротные зимовья, большие уголья под пастбища, пока еще могут быть уверенными.

– Особенно аулы Иргизбая. У них самые приличные зимовья. И достаточно запасов сена, заготовленных с осени, – сказал Ербол, в поездках своих получивший возможность убедиться в этом.

– Япырай, мой Абайжан! Ты только один осмелился высказать то, что давно волнует людей! – потеплевшим голосом произнес Базаралы.

Эти джигиты были верными, истинными друзьями Абая, с ними он мог поделиться самыми сокровенными мыслями. И первый из них – преданный друг Ербол, с кем он был неразлучен в течение последних пяти-шести лет. Через него Абай сблизился с Жиренше и Асылбеком, с ними он часто встречался в последние лето и зиму. Кунанбай же, со своей стороны, отнюдь не приветствовал дружбу сына именно с этими джигитами. Несколькими раз он за глаза резко осуждал сына: «Вот он, окружает



себя волчатами из враждебных родов! Зачем? Не мог найти себе других друзей!»

Абай же с некоторых пор, осуждая в душе поведение отца, все чаще стал встречаться с людьми, которых тот обидел. И в откровенных разговорах с ними постепенно глубже понимал не только нрав и характер сурового отца, но и суть обид и тех страданий, на которые обрекал их Кунанбай.

Несмотря на то, что Жиренше, Ербол и Асылбек были на два-три года старше него, они во всем доверялись Абаю. Джигиты сейчас откровенно делились с ним всем тем горестным и печальным, что слышали из уст аксакалов в родных аулах.

Один Базаралы не обсуждал эти темы, даже не участвовал в подобных разговорах. Он жаловаться не хотел – Базаралы прямо и жестко обвинял одного Кунанбая. Он видел, что Кунанбай принимает у себя, ради спасения от джута, только те аулы, которые смогли пригнать в Иргизбай достаточно скота. А прочих – малоимущих, безымянных, растерянных, которых он и за людей не считал, властительный бай без всякой помощи прогонял – вместе с их жалким отощавшим скотом – дальше в степь, неизвестно куда.

Но до последней минуты Базаралы не хотел высказывать своих гневных мыслей, исподволь накопившихся в его душе. Услышав же от Абая его недавние слова, он решился на откровенность.

– Вот, они говорят – народ, народ. А где он, этот бедный народ? Для них он только подразумевается, а на самом деле нет его. Он появляется только тогда, когда при раздорах кому-то надо помахать соилами. И не учитывается, когда надо делить добычу. Тут народ остается ни с чем. О нем тут же забывают, так было всегда... А сегодня, когда народ оказался на краю гибели, кому из тех славных вождей, которым он когда-то понадобился, придет на ум проявить к народу жалость и сочувствие? Ладно, увидим завтра. Посмотрим, проснется ли хоть у кого-нибудь совесть, поспешит ли кто на помощь?



Абай был поражен словами Базаралы, наполненными глубоким сочувствием к простым людям и столь отличными от всего, что он слышал раньше. Для Абая, знавшего про Базаралы, что это человек одинокого образа жизни, было неожиданным услышать от него такие слова. Мощный, богатырского облика джигит, красавец, певец-сэре, известный балагур и краснобай, Базаралы, по мнению степенных аксакалов, был просто неумный озорник, повеса и задира. Мало кто воспринимал всерьез этого одинокого, дерзкого на язык степного певца. И только сейчас Абай воочию убедился, что перед ним вовсе не такой человек, каким его рисует молва.

Молодым джигитам, вникающим в заботы людские и душевно переживающим народную беду, Базаралы решился сказать:

– Если ты настоящий джигит, и у тебя есть мужество и воля, то пойдешь и заступишься за этих обездоленных, растерянно бредущих дорогами беды. Пока есть скот, достаток, живи себе во благо. И в обычное время, если ты никому не протягивал руку помощи, бог с тобой. Но в нынешнее тяжкое время всем надо поделиться излишками, если они имеются. И пусть те, которые имеют, выделят пастбища для тех, кто нуждается. Дадут прибежище в своих зимниках тем многочисленным бедолагам, которые замерзают в степи. Поделятся с ними своим нажитым добром. Для кого должны быть опорой владельцы Кунеке, Байсал, Байдалы, Суюндик и остальные баи, и весь богатый род Иргизбай? А если, не дай бог, эти остальные вдруг окажутся с одними пустыми поводьями в руках и побредут по дорогам, гонимые страшным голодом, то никому не сдобровать, никого они не оставят в покое. У имущих растащат все их добро. А если и оставят их в покое, а сами, словно голодные перепуганные зайцы, разбегутся по всей степи, разве это будет народ? Но я думаю, что он не разбредется столь жалким образом. Если все равно пропадать – то народ не уйдет просто так. Он все разметет на своем пути.

Эти слова тяжело легли на сердце слушателей. Все призадумались, в душе соглашаясь с Базаралы. Один только Асылбек счел неуместными его рассуждения.



– Е, разве джут испокон веков не являлся великой бедой для казаха, живущего в войлочной юрте? Что, разве джут пришел к нам по вине каких-то нынешних людей? Не прав ты, перегибающий палку в одну сторону. Не очень-то справедливо так говорить...

У Базаралы не было желания вступать с ним в спор. Душевный протест и гнев все еще переполняли его душу. Он посмотрел на Асылбека тяжелым взглядом, словно говорившим: «С тобою все ясно. Ты же сын скользкого Суюндика, во всем видящего невыгоду для себя». Выслушав Асылбека, он лишь небрежно кивнул головой.

К завершению этого трудного разговора дверь вдруг открылась, и с буранной мглы ступили в юрту три заснеженные фигуры путников. Снег был на лицах, на бровях, усы и бороды заиндевели, обросли сосульками. У джигита, вошедшего самым первым, даже ресницы мохнатились инеем; мерлушковый малахай и старая шуба этого рослого человека были забросаны снегом.

Пришли Даркембай из рода Бокенши и два его соседа из бедного аула. Абай узнал Даркембая и предложил гостям раздеться, пройти и присесть. Но они спешили, даже раздеваться не стали.

Даркембай был тот самый человек, который направил заряженное ружье на Кунанбая и хотел стрелять в него. Это было во время захвата Токпамбета, когда высекли плетьюми Божея. После того события о попытке Даркембая стало широко известно по всему Тобыкты и, разумеется, в окружении Кунанбая. Соответственно, все иргизбаи с тех пор видели в нем лютого недруга и досаждали ему, как только могли.

После взаимных приветствий и вежливых вопросов о делах, о здоровье, Абай спросил, что его привело сюда. Даркембай не стал медлить.

– Айналайын, голубчик Абай, наслышан я, что ты человек добрый и в отношении родичей внимательный. Потому и пришел



я... Но будь ты таким, как твой брат Такежан, я бы не пришел. Так вот, я попал в тяжелое положение. Вместе с этими моими соседями мы держали всего двадцать – тридцать овец. Но сейчас и эту скотину не можем содержать, вот и пришли сюда, промерзшие до костей... На наших землях не осталось ни травинки, а весна задержалась. Овцы стали гибнуть. Сегодня, пока дошли до Мусакула, замерзли пять овечек! – остывшим голосом рассказывал Даркембай.

– Даркембай-ага, почему вы не пошли на Чингиз, а пошли сюда? Там ведь можно укрыться в горах, – удивленно спрашивал Асылбек.

– Ойбай-ау! Какое там на Чингиз! Буран же идет как раз оттуда, с Чингиза! Да разве наши ослабевшие овцы могут идти против ветра? К тому же какая страшная даль туда! А Мусакул и Жидебай поближе, к тому же с подветренной стороны. Если хозяева позволят, пастбища на Мусакуле, Жидебае и Бараке могут дать прокорм и не для такого количества овец. Разве не так? Чтобы не дать околоть скоту, я готов снег выгребать руками! И заросли чия смогут кое-как укрыть овечек от бурана. Вот я и пришел просить, полагаясь на вас, – закончил Даркембай.

Абай сразу все понял, ни о чем не стал переспрашивать.

– Правильно решили! – сказал он. – Пасите себе на здоровье. Ни о чем не беспокойтесь.

– Рад это слышать, голубчик, спасибо! Но сегодня вечером, когда мы еле добрались до Мусакула, навстречу нам выехал Такежан и стал гнать обратно! Рядом с ним был этот злодей Жумагул. Камчу занес над нашими головами! Конем стал теснить. Неужели мне суждено потерять все нажитое, стать нищим? Пришел к тебе с тем, чтобы ты – хотя бы ты! – не остался в стороне, глядя на то, как родственники твои летят в бездну!

Абай жестом прервал Даркембая. Быстро приняв решение, повернулся к Ерболу.

– Оденься потеплее, садись на коня. А вы, Даркембай-ага, идите с ним. Возьмите у нас еды. Дильда, вставай! – крикнул он жене.



Абай дал ей распоряжение:

– Приготовь побольше мяса и другой еды, эти люди проголодались.

Дильда тотчас встала, быстро пошла из дома к кладовой.

Через Ербола Абай отправил послание брату Такежану: «Пусть не прогоняет. Они не зарятся на его добро. Пусть выделит пастбище для такого незначительного стада. И пусть уgomонит Жумагула!» Ербол, быстро одевшись, вместе с Даркембаем и его спутниками отправился в путь.

В этом году Такежан зимовал на Мусакуле. Женившись раньше Абая, он в том же году взял свою долю наследства и отделился. Став хозяином, он начал проявлять большую жадность к собственности, ревностно оберегал свои земли. Соседние пастухи удивленно поговаривали, наблюдая за ним: «Надо же, он сгоняет со своих пастбищ даже скотину из стада матерей, ненароком попавшую к нему!» Абай, услышав об этом, почувствовал жгучий стыд за поведение брата.

Ушедший в ночь, в буран, Ербол вскоре вернулся, весь облепленный снегом, переполненный гневом. Его коротенькая жесткая борода была пробита инеем и казалась седой, отчего Ербол выглядел постаревшим. Крутые скулы его покраснели, желваки на них так и ходили. Его серые, быстрые глаза метали искры, загораясь яростью и возмущением.

Не успев развязать наушники тымака, Ербол опустил на одно колено и, стряхивая снег с бороды, начал говорить возмущенно:

– Нет, лучше надеяться на милость самого создателя, чем на помощь этого Такежана! Опять погнал Жумагула, приказав ему не пускать никого пасти скот на Мусакуле, Жидебае и Бараке. При мне велел Жумагулу: «Избей как следует и прогони прочь этого Даркембая!» И этот Жумагул, богом проклятый, помчался со мной наперегонки, стал рьяно исполнять приказание хозяина, размахивать соилом, разгоняя овец Даркембая!

– А Даркембай? Что же теперь ему делать?



– Куда он пойдет среди ночи, в такой буран?

– Лучше погибнуть ему от руки Жумагула, чем выходить в степь!

Так зашумели молодые джигиты, бывшие в доме Абая, страшно разгневанные сообщением Ербола. Он присовокупил к своему рассказу еще одно свое возмущение:

– Нет хуже кровопийцы, чем этот пес Жумагул! Наверное, безбожник так и был создан для собачьей службы атшабаром! Когда я сказал ему: «Ей, ты бы угомонился до утра, дал бы бедным людям хотя бы немного передохнуть», – так он с такой руганью набросился на меня! Чего только не наговорил мне, ойбай! – с растерянным видом закончил Ербол.

Ербол не стал передавать все, что он услышал у Такежана. Тот высказал много нелестных слов про младшего брата. А Жумагул даже пытался наброситься с кулаками на Ербола. Однако могучий Даркембай не дал, яростно кинулся на атшабара с криком: «А ну-ка, убери руки! Иначе кто-то из нас сейчас умоется кровью!» – и оттеснил его от Ербола. А он и об этом не рассказал Абаю. Ербол не хотел, чтобы о нем говорили: «Вот, человек, разжигающий вражду между родными братьями». Никогда не любивший брань, ругань, скандалы, Ербол в подобных случаях проявлял сдержанность. Не желая Абая ввязываться в неблагоприятный скандал, Ербол предпочитал молчание, с нанесенными ему обидами справлялся сам. И если впоследствии, узнав обо всем, Абай обращался к нему с упреками – «почему не сказал мне» – Ербол опять молчал.

Но на этот раз Абай заметил на лице друга следы сильнейшего гнева, столь несвойственного для Ербола. Но, хорошо зная его, Абай не стал допытываться, что случилось. Догадался сам: за всем этим лежит что-то тяжелое, нехорошее. Абай вдруг начал бледнеть, лицо его стало серым. Упорно глядя на Ербола немигающими глазами, но ничего не спрашивая, он вдруг резко вскочил на ноги. Базаралы и Асылбек, не постигая намерений Абая, растерянно смотрели на него.



– Вставай, Ербол! Поедешь со мной,– сказал он и стал поспешно одеваться. Надел короткий полушубок, туго подпоясался, взял в руку камчу и, быстро открыв дверь, выбежал в буранную мглу. Ербол последовал за ним.

Укрываясь от ветра за высокой глиняной стенкой, под седлами стояли две лошади, жались друг к дружке. Абай отвязал свою серую лошадь, отрывисто бросил другу:

– Не отставай! – и сам ловко запрыгнул в седло.

Абай стегнул коня, с места взял в карьер и вылетел за раскрытые ворота в бушующие волны бурана. Ербол поскакал за ним.

Жумагул сбил в одну кучу всю небольшую отару овец Даркембая и его соседей и теперь яростно настегивал их плетью, прогоняя с пастбища. Но продрогшие до костей, голодные, обесилевшие животные не хотели идти, стадо кружилось на месте и сбивалось еще теснее. Разъяренный Жумагул костерил их, грязно матерился, ругал Даркембая. Двух его спутников, которые безмолвно жались в стороне среди сугробов, атшабар словно и не замечал, они для него не существовали.

Несколько вконец измученных овец, выбившись из сил, бегая под плетями преследователя, упали на землю, уткнулись мордами в снег. Даркембай с яростным рычанием кинулся вперед, чтобы отбросить от них Жумагула. Но изворотливый атшабар не давался, ловко кружась на коне около пешего Даркембая. Отскочил на другую сторону отары, носился взад-вперед и, наезжая на испуганных овец, стал ударами коленей своей лошади опрокидывать на снег непроторных беременных овец. Если несчастные животные могли бы молить о спасении, то они бы просили бы только о скорой смерти.

Злобный Жумагул не унимался. С того времени как Майбасар потерял должность старшины, лишился бляхи атшабара и Жумагул. Сразу он потерял весь свой дурной пыл и задор, словно выхолощенный жеребец. «Жумагулу тяжело без нападений, драк, откупных. Он не перестает просить у Аллаха, чтобы все это



вернулось к нему», – посмеиваясь, говорил известный шутник Жорга-Жумабай.

Но в последний год жизнь его выправилась. Опять он оказался на своем месте: его приблизил к себе Такежан, сделал своим нукером. И хотя у Такежана никакой власти в степи нет и владетель он еще молодой, он со своим подручным-нукером позволяет себе многое. Особенно великое рвение и свирепость проявляет при охране своих пастбищ и угодий. Не хуже самого старшины, Такежан смело обижает, притесняет, самоуправно наказывает бедные, мелкие, безответные аулы. Они избивают чабанов, угоняют скот, ловят и уводят отбившихся лошадей, на их счету уже немало темных, неприглядных дел.

Как будто сам бог послал им в руки Даркембая! Жумагулу, давно желавшему хоть кого-нибудь схватить и придавить – отвести душу, случай такой представился. Ведь попался тот самый Даркембай, который больше всех был им ненавистен! Отправляя Жумагула на разборку, Такежан зычным голосом наставлял его:

– Помни! Всевышний отдал мне в руки Даркембая! Моего злейшего врага!

Жумагул пьянел от радостного чувства безнаказанности и вседозволенности. И он загонял коня в самую середину отары, раскидывая по сторонам полумертвых овец Даркембая.

В самую горячку его злого безумства, расходившегося пуще многодневной пурги, из крутящейся снежной метели вдруг выдвинулись и подскакали два всадника. Белые, сплошь забросанные снежной крупой, они казались посланцами ночного бурана. Жумагул не сразу их увидел, он носился по кругу, топча конем овец, и, потратив все матерные слова, начал по-черному перебирать предков Даркембая, начиная с самого дальнего пращура Бокенши. Когда подъехали белые всадники, Жумагул опрокинул на снег еще одну полумертвую ярку.

Подъехавшие всадники молча осадили коней перед Жумагулом, отгородив собою бившуюся в снегу овечку. Один из них



одним скачком приблизился к нему и схватил под уздцы его лошадь. Жумагул взъярился и, отклоняясь всем телом назад, занес камчу.

Тут раздался грозный крик Абая:

– Раскрой глаза шире, злодей!

Жумагул узнал Абая. Но свой оказался хуже заклятого врага: не дав ему опомниться и слова сказать, Абай сам, с высокого замаха, перетянул тяжелой плетью Жумагула по голове. Ударил два раза. Отшатнувшись, Жумагул хотел спастись бегством, но не мог завернуть коня – тот был крепко ухвачен за узду Абаем. Оба пребывали в яростном молчании. Абай снова начал безжалостно работать плетью. Рука его была тяжела, Жумагул почувствовал это: словно удары дубиной обрушились на него. И вознамерившись лучше погибнуть, чем терпеть такое унижение, Жумагул сам решил наброситься на Абая. Но следивший за ним Ербол рывком бросил коня вперед и, нагнувшись с седла, взял Жумагула сзади в железные объятия.

В этот миг прозвучал возглас:

– Уа! Да поможет вам Аллах! Нашелся и для нас заступник! Не все люди – волки! Но ради Создателя – отдайте его в мои руки! – Это подоспел Даркембай.

Наконец-то он достал Жумагула, ухватил его за шиворот и одним могучим рывком сорвал с седла, бросил в рыхлый сугроб.

Абай зычным, еще звенящим от недавнего гнева голосом приказал:

– Гоните овец назад!

И замученных животных хозяева стада погнали к зимнику, к защищенному от ветра укрытию. Недалеко оказался стог сена со снежной шапкой на овершии. Абай велел подогнать овец к стогу. Медленно приблизившись, овцы затем бегом кинулись к сену.

Но Даркембай сильно испугался. Он был напуган не только тем, что со своим стадом самовольно вторгся в чужие владения, но и тем, что его овцы потравят сено в кунанбаевском зимнике.



– Е-е! Нельзя! Заворачивайте! Назад! Гоните овец от чужого сена!

Абай сердито прикрикнул на него:

– Чего ты кричишь? Пусть едят! Подгоняйте к стогу, я вам говорю! Бояться нечего!

Овцы, беспорядочно толкаясь, набросились на сено. Окружив стог, уткнувшись мордочками в живительный корм, замерли на месте.

– До утра не уходите от стога! Не тревожьте скот, пока не утихнет буран. Это сено принадлежит не только Такежану, я здесь такой же хозяин, как и он! – сказав это, Абай подозвал Даркембая.

– Пусть двое останутся с овцами, а ты садись на такежанова коня и скачи по ближайшим аулам. Скажи, что послал тебя я. Все аулы, что не смогли уйти на Чингиз, у кого гибнет скот, пусть пригонят его сюда. Все, что еще может стоять на ногах и передвигаться своим ходом, направят сюда, на три пастбища в урочищах Кунанбая. Пусть захватят с собой лопаты и кетмени. Очистят снег, помогут скотине добраться до корма. Так они смогут спасти от гибели своих овец. Передай эту весть во все аулы родов Торгай, Жигитек, Карабатыр, Бокенши. Будем вместе спастись от джута. Скачи, Даркембай! Приводи сюда всех! – Так приказал Абай.

Когда с его поручением Даркембай вскочил на коня и ускакал, Абай наехал на Жумагула и, оперев морду своей лошади ему в грудь, угрожающе прикрикнул:

– Ты, негодяй и прихвостень! Чтобы это было последней твоей подлой выходкой! Понял? А Такежану передай, что если не переживет всего этого и сдохнет от злости, туда ему и дорога! Если он так силен, пусть на мне покажет свою силу, а не на тех, кто умирает с голоду! Ступай! Добирайся пешком.

Жумагул ни словом не ответил и, повернувшись, понуро зашагал в сторону аула Такежана.

Абай и Ербол направились обратно домой. Буран все еще не стихал. Казалось, он усилился, с еще большей силой хлестал по



лицам ледяным бичом. Мелкая снежная крупа, сыпля в самые глаза, не давала открыть их. Друзья взяли нужное направление и двинулись к Жидебаю.

К утру ветер стих, снегопад и буранные вихри отошли, как будто их и не было. Из-за далеких белых холмов поднялось светящееся багровое солнце. Лик его, казалось, был смущенным и удрученным. Красноватый отсвет на краях темных туч, раздвинувшихся перед ним, был тяжел и угрюм. Утро заснеженной степи вставало безжизненным. Ни единой живой души не видно было на всем белом просторе. Ослабевший ветер иногда брался за старое своими внезапными порывами, гнавшими по сугробам низкую поземку. Но заметно усилился трескучий морозец.

Даркембай верно оценил порученное Абаем дело. Ночь напролет он не сходил с коня. «Передай таким же, как ты...» – слова эти запали ему глубоко в сердце. И он промчался с поручением Абая по всем бедным аулам Карабатыра, Торгай, Борсак, Жуантаяк. Среди таких же, как он, были в этих аулах хозяева очагов, имущие скота всего лишь в двадцать-тридцать голов овец, и таких Даркембай не пропустил ни в одном из аулов, расположенных веером возле урочищ Жидебай и Масакул.

Когда в тревожную буранную ночь раздается стук в окно, жди от ночного нежданного гостя весть такую же холодную и тревожную. Однако в этот раз ночная весть, разносимая Даркембаем, оказалась радостной и обнадеживающей.

Обрушившийся на степь буран длился трое суток, весна сильно запоздала, пастбища завалило снегом, бедный люд готовился к самому худшему – потере всего, что нажито постоянным, неусыпным трудом кочевника. В убогих лачугах люди не смыкали глаз, вслушиваясь в жуткий буранный вой и грохот, в зловещее улюлюканье и свист ветра. Старики и старухи беспрестанно молили Создателя о спасении. Те, у которых что-то еще осталось в живых, то и дело, среди дня или ночи, выходили к голодной скотине, растерянно топтались по загону. Женщины, мужчины, дети – никто не раздевался, не мог спокойно спать в холодных постелях. Всем было страшно.



Стоило где-нибудь из-под снега выглянуть веткам караганника, их срубали и уносили в аул. Срезали верхушки тростника-чия и охапками тащили домой. А если ничего не находили окрест, принимались выдирать камыш с ветхой крыши сарая, бросали на корм скотине. Но этот корм был все равно, что капля воды, принесенная в клюве ласточки. Из этой скудости надо было еще и выбирать: дать ли убогий корм слишком рано объегнившимся овцам – или паре коров, от которых вскоре можно ожидать молока? А может быть, подкинуть сухой камыш единственному в хозяйстве верблюду? Но кому ни дай, все равно мало. Спаси скот – для кочевника это последняя надежда в жизни.

Но эту надежду бедный степняк никогда не связывал с теми, у кого было много хороших пастбищ и достаточно запасов корма. Бедняку и в голову не могло прийти, что ему поможет богатый, пусть даже это и близкий сородич.

И вдруг в окаянную буранную ночь по аулам пронесся Даркембай, словно держа в руке горящий факел угасшей было надежды. И к утру буран вдруг стих.

С первыми лучами восходящего солнца безлюдье степи нарушилось. Со всех сторон к урочищам Кунанбая потянулись стада, гонимые их воспрявшими пастырями. Абай и Ербол были уже на конях. Они вышли встречать людей, пригнавших свои стада – по кучке овец, по три-четыре коровы, за которыми брели тихие, понурые мужчины, женщины, старики и дети.

На уцелевших овец, высохших от голода, страшно было смотреть. Шерсть их свалялась, на пожелтевших боках висели катышки примерзшего навоза. Некоторые из них падали на землю и больше не поднимались. То и дело невыносливые козы, истощенные до последнего предела, сваливались прямо посреди дороги, издавая жалкое предсмертное верещание перед тем, как издохнуть. И эти зловещие знаки – окоченевшие темные трупы животных на белых степных дорогах, отметили путь от голодающих аулов к урочищам Кунанбая.



Овцы выдерживают шестидневный голод. Судя по нынешнему их виду, голод довел их до крайних пределов. Еще два-три дня – и падение скота было бы всеобщим.

Овцы не могли пробираться по глубокому снегу. Потому и пу-скали перед ними какую-нибудь клячонку или тощего верблюда, за неимением их – одиночных коров, которые утапывали снег и пробивали тропинку. Обезумевшие от голода овцы на ходу жевали хвосты у еле плетущихся перед ними лошадей и коров.

И люди, бредущие за скотиной, выглядели не намного лучше: худые, согбенные, с потухшими глазами. На лицах стариков и молодых одинаковая нездоровая бледность голодающих.

Одежда на них поизносившаяся, в лохмотьях. Многие женщины и даже бородатые мужчины укутали головы всяким рваньем. Ноги у большинства были обернуты кусками войлока – вместо обуви...

Но дойдя до спасительных мест, эти люди хватали лопаты и сразу кидались расчищать снег, добираясь до жухлой прошлогодней травы. Все три урочища Кунанбая были богаты подножными кормами: густым тростником-чием, колючим кустарником-шенгелем, зарослями дикого шиповника. И везде, где был неглубокий слой рассыпчатого снега, под ним находили пышную прошлогоднюю траву. К полудню Абай и Ербол закончили размещение аулов по урочищам, разведя их подалее друг от друга, чтобы всем было просторно.

Широко разбредаясь по отведенным для них местам, скот голодающих аулов начал отъедаться, набираться сил. Число прибывших в урочища аулов перешло за пятьдесят. На пастбищах, которые Такежан как зеницу ока берег и охранял от набегов чужого скота, сейчас выпасалось более тысячи голов овец. Крупного скота было не очень много. Небольшие табунки лошадей, едва не сдохших на прежних изъеденных выпасах, рассыпались по всему урочищу и вкладывали последние свои усилия в то, чтобы поедать густую нетронутую прошлогоднюю сухую траву, сохранившуюся под снегом.



Абай встречал прибывающих, размещал их по пастбищам и, приветливо разговаривая с ними, полностью расположил их к себе. Глядя на этих истощенных людей, на их дрожащий жалкий скот, Абай пришел к тяжелым, невеселым мыслям. Народ кочевнический живет умиротворенно и безмятежно лишь в пору летнего джайлау, когда вокруг одна благодать цветущего щедрого мира. А зловещие дни джута явили воочию, насколько этот народ беспомощен и беззащитен, когда мир природы не щедр к нему, а равнодушно жесток. В особенности уязвим простой народ, имеющий скот лишь на пропитание: что-то около двадцати-тридцати овец, три-четыре головы крупного скота. А ведь такой народ составляет решительное большинство. Из этого малого круга имущества простой кочевник никак не может выскочить, из года в год живет одним и тем же, ибо надо ему из своего стада что-то резать на котел, а что-то и продавать, чтобы приобрести необходимый инвентарь для жизни и одежду. При обычной чередке жизненных дней этого скота хватает на то, чтобы существовать без особой нужды. Но в лихостные дни, как эти – в пору стихийного бедствия и сокрушительных потерь скота – выявляется вся жалкая непрочность существования кочевника. Утратить хоть часть из этого малого-необходимого, – как потом выправиться? Пожалуй, здесь для казаха заканчиваются и остаются в прошлом такие понятия, как «богатый аул», «богатые родичи». Никто не придет, чтобы спасти от голодной смерти.

И только теперь, когда стихийное бедствие обрушилось на людей, обнаружив всю свою беспощадность к ним, перед Абаем обнажились корни всех несчастий, брэнности и трагического существования человека на земле.

Ему стало нестерпимо больно за своих родичей, которые, выгнав голодный скот на обильные кормом пастбища, вручную расчищенные ими от снега, сами потом залезали спасаться от холода, словно замерзшие голодные зайцы, в глубокие овраги и ложбины.

Абай вновь объехал людей спасаемых дальних аулов, повелевая их аксакалам:



– Вы ослабели и замерзли, идите в ближайшие аулы, погрейтесь. Хотя бы раз в день вам надо поесть горячую пищу. Все аулы, расположенные возле этих пастбищ, приходится вам родичами. Почему вы не пойдете к ним? Идите, и вас накормят, не станут прогонять. Ничего не бойтесь.

И без того благодарные Абаю за спасенный скот, голодающие не знали, как выразить ему свою великую признательность.

А он, не слезая с коня, тут же скоро объехал все зимовья, располагавшиеся на трех обширных пастбищах вокруг Жидебая и Мусакула. Вызывая на улицу старейшин, также и Изгутты, и уважаемых байбише, хозяек очагов, Абай давал распоряжения:

– Приютите голодных, окажите добрый прием родичам, пострадавшим от бедствия! Готовьте пищу во всех казанах, обязательно кормите их горячей пищей один раз в день.

И каждому аулу определены были голодающие, чей скот пасся на ближнем пастбище. Наконец, Абай с Ерболом поехали в аул Такежана в Мусакуле. Самого хозяина не застали. Еще ночью он, узнав от Жумагула о расправе над ним и услышав гневный саям Абая, поехал не к нему, а сразу поскакал в Большой аул в Карашоки. Отправился к Кунанбаю с жалобой на младшего брата.

Абай подъехал к дому Такежана и, не сходя с лошади, послал туда Ербола, чтобы он вызвал хозяйку. Вышла жена Такежана, Каражан, вся натянутая, бледная, стиснув зубы от злости. Это была высокая смуглая женщина, с большим носом, нравом сварливая и язвительная. Своего мужа крепко держала в руках, не давала ему воли. Еще молодая жена, но уже скаредная хозяйка, она проявила большую жадность в еде, приобрела страсть к загребанию имущества. Была весьма удачной парой для Такежана, для которого имущество, богатство стало самой главной радостью в жизни. Именно по наущению Каражан, которой не нравилась щедрость Улжан, старший сын захотел отделиться от Большого дома.

Известность и слава, которую Абай, несмотря на свою молодость, обрел в степи, вызывали в Каражан черную зависть. Обо



всем этом ее деверь знал, и свою женге отнюдь не жаловал. Когда Каражан подошла, Абай даже не произнес обычных слов приветствия.

Опять он наехал конем, упирая его мордой в грудь невестки, как это делал с Жумагулом, и высказал то, ради чего приехал:

– Твой муж, оказывается, повез на меня жалобу. Ладно! За свою вину я всегда готов ответить. А сейчас я приехал, чтобы поручить тебе одно важное дело. Ты беспрекословно выполнишь все, что я скажу.

– Какое дело?

– Аулы, расположенные в нашей округе, погибают от голода. Там наши родичи, которые всегда косили для вас сено, рыли колодцы, пасли ваш скот, скакали куда угодно, выполняя ваши поручения. Теперь они пришли сюда, потому что попали в беду и им некуда больше деваться. Мы предоставили выгоны для их скота. До собственных зимовий им не добраться. И мы взяли этих людей на кормление. Распределили по всем аулам, мы в Жидебае приняли человек пятьдесят, а на вашу долю приходится человек двадцать из четырех аулов. Готовь для них раз в день горячую пищу!

– Ой, карагым, что ты! Да нам самим нечего есть!

– Не лги! Еще совсем недавно тебе привезли с караваном три мешка муки, да еще у тебя пять мешков пшеницы! Мясо у вас почти не тронута, и половины не съели. Я все знаю. Так что не шучу – ты сделаешь все, как я велю, или плохо тебе будет!

– Ойбай! Ты хочешь заставить нас самих голодать?

Абай не смог дольше сдерживать гнев:

– Да хоть сдохните вы с голоду! Лгунья! Нет, ты будешь кормить людей! Попробуй только не выполни! Я стану каждый вечер приезжать и проверять! Пока я нахожусь в этих краях, у меня хватит сил справиться с тобой! Я тебя выставлю на позор перед всеми, но заставлю сделать это! Ты поняла?

Абай смолк и горящими глазами уставился на нее. Рука его ухватилась за рукоять камчи. Заметив это, Каражан испугалась и не стала дальше возражать.



Еще ночью возле аула Такежана расположились люди Даркембая, и сегодня, подъезжая к зимнику брата, он встретил его и велел немедленно последовать за ним. И Даркембай как раз теперь и успел к зимнику. На подходе, еще издали, он услышал сердитый голос Абая. Теперь он, указывая на подошедшего громадного карасакала, вновь пронзительно посмотрел на женге Каражан и решительно объявил:

– Вот он, Даркембай, ему я поручил приводить сюда людей, которые будут кормиться в твоём ауле. И не только в твоём доме – устрой так, чтобы весь аул принял участие в кормлении голодающих. Кормите их хорошо!

Каражан на все слова Абая отвечала упорным молчанием.

Развернув на месте коня, Абай обратился к Даркембаю:

– Ты что, зятем в этом ауле приходишься? Нечего смущаться тебе! Вечером приходи с работы сюда и требуй еды! Не дадут – иди напрямик ко мне. А станешь скрывать, умалчивать – ты будешь не Даркембай, а баба настоящая! Понял?

Целый день промотавшись в седле, Абай с другом Ерболом вернулись в Жидебай только в поздние пополудни. У матерей их ждали Такежан и старый Жумабай. Такежан, ночью слетавший в Карашоки, привез от отца его салем.

Улжан пригласила Абая к себе в Большой дом. Направляясь туда, он по пути заметил большие хлопоты возле кладовых, в кухонных юртах, в подсобных домиках зимовья. Везде дымились котлы, в которых готовилась горячая пища. В трех домах были установлены большие деревянные ступы, в них женщины толкли пшеницу. Видимо, Улжан сама, без просьбы Абая, решила принять участие в кормлении голодающих. В установленных на треноги казанах варилась пшеничная похлебка с мясом, из одного из них, поскольку еда уже поспела, эту похлебку накладывали в большие миски и разносили по домам, в которых устраивалось кормление голодающих. К весне, когда продукты питания уже на исходе, в любом доме трудно рассчитывать на обильное мясное угощение, поэтому-то Улжан и решила готовить



пшеничную похлебку с небольшим количеством вяленого мяса. К тому же она учитывала, что обихаживать донельзя исхудавших людей придется не день и не два, а довольно долго.

Первая партия едоков, человек двадцать, уже приступила к трапезе в доме, что напротив Большого дома. Абай не стал заходить туда, чтобы не смущать людей, а прямо направился к матерям.

Зайдя к ним, Абай отдал салем Жорга-Жумабаю, а на Такежана даже и не взглянул. Кровные братья встретились холодно и отчужденно. В молчании посидели некоторое время, и старый Жумабай пересказал, наконец, послание Кунанбая. Но тот, оказалось, многого еще не знал, когда отправлял свой салем. Раздираемый злобой Такежан, ночью поспешивший с жалобой к отцу, сам не знал о том, что Абай привел в его урочище огромную толпу голодающих и всю их уцелевшую полудохлую скотину. Такежан полетел к отцу только лишь с жалобой насчет избиения Абаем Жумагула – и из-за лютого врага иргизбаев Даркембая! И только недавно узнав о новом положении вещей, Такежан едва не задохнулся от злобы.

Жумабай передал, что предоставление убежища Даркембаю сам Кунанбай считает неуместным. «Не будет пользы от добра, оказанного человеку, не заслуживающему его. Даркембай когда-то замышлял зло против меня. Пусть он радуется тому, что еще существует на свете. Если Абай хочет творить добро, пусть делает это в отношении людей, благосклонных к нам. Но не смеет вступаться за этого человека! Пусть отправит его туда, откуда он пришел».

Абай не воспринял отцовых слов. Но и пространного ответа давать не стал.

– Отец говорит, что он правоверный мусульманин и всем хочет делать добро. Истинная вера учит: окажи помощь людям, испытывающим нужду и горе. Пусть отец не во всем верит Такежану. А я дал уже слово бедствующим людям и отступить не могу. Пусть отец не сердится, но даст мне благословение на доброе дело, – сказал он Жумабаю.



Такежан, едва сдерживавший себя, взорвался при последних словах брата и вскричал:

– Ты! Раз считаешь себя святее суфия, то надень чалму на голову и собирай по аулам милостыню для Даркембая!

– Понадобится – и милостыню буду собирать! Чтобы спасти людей от смерти, можно и жизнью своей пожертвовать! Но ты этого не поймешь!

– Ну, так иди! Иди попрошайничать в народ!

– Но прежде чем идти просить милостыню, я сначала раздам все, что сам имею! И вынесу из твоего очага все, что ты имеешь!

– А ты уже и успел вынести немало! Кроме этого Даркембая, зазвал толпы нищих чабанов! Ты хочешь разорить не только себя, но и всех нас, остальных! Наверное, желаешь и матерей своих обречь на голодную смерть!

Абай грозно сверкнул глазами на брата.

– Ты... Ты даже не достоин заботиться о наших матерях, понял? Мои матери не такие, как твоя баба Каражан, словно сурок забившаяся в свою нору. Ее жадность душит, а мои матери умеют делиться с людьми. Никогда не хмурят брови, деля испытания наравне с другими. Я спасаю голодающих потому, что передо мной пример моих матерей, матери мне внушили так сделать. Они несут к тем, кто нуждается, все, чем могут поделиться, они всегда дают приют бездомным... А ты со своей Каражан – вы даже не должны считаться людьми, воспитанными моими матерями, стоящими к ним близко. – Так сказал Абай и уничтожающим взглядом уставился брату в глаза. Слова Абая были жесткими, тяжелыми, вескими, – словно разгневанный отец отчитывал сына.

Ответить Такежану не позволила рассерженная Улжан.

– С тебя хватит, слышали уже! И вы оба – перестаньте бесконечно перечить друг другу, – остановила она спор сыновей. – Затем повернулась к Жумабаю и сказала: – А ты, пожалуй, возвращайся скорее назад. Абай уже зазвал здешних родичей,



пропадающих от голода и холода. Ну, что же, и мы, матери, готовы поделиться, чем можем. В этом никакой беды не вижу. Пусть там, у себя, не волнуются за нас. Мы отдаем свое, и пусть ничто не принижает чести и достоинства моего сына. Он позвал людей, дал им слово помочь, значит, так тому и быть.

Такежан, хотя и смолчал, словно бы добровольно закрывая спор, однако словам матери Улжан не внял. Отвернулся с угрюмым видом, показал всем затылок, натянул на голову тымак и собрался молча уйти. Улжан бросила на него суровый взгляд и сказала не свойственным ей жестким тоном:

– Е! Не забудь передать салем жене Каражан! Пусть не обижает голодных, несчастных людей, привечает их и хорошенько выхаживает. И не смеет беситься от злости! Перед нею не скот, а люди! Пусть шире откроет свои глаза! – Так сказала на прощанье Улжан.

Такежан и Жорга-Жумабай ушли. Но они не сразу уехали. Быстренько объехали все три пастбища, осмотрели пасущийся скот, прикинули примерно его количество, с тем и отбыли в Карашоки. Теперь новые жалобы Такежана отцу будут намного серьезнее и значительнее.

Прием столь многочисленного поголовья скота на свои урочища, спасение и кормление такого числа голодающих – это было делом чести не для Абая и его матерей. Такое дело должен был совершать сам Кунанбай, волостной старшина, владетель огромного кочевнического достояния и обширных степных земель.

Действия Абая были доложены Такежаном как недопустимая вольность и как дерзкий вызов отцу. Кунанбай, являвшийся в этих краях полноправным хозяином, непререкаемым властителем, почувствовал себя после доклада Такежана и Жумабая сильно задетым самовольством Абая.

Заметив признаки надвигающейся грозы на лице Кунанбая, Такежан тихо радовался. Он ждал, что теперь на голову Абая обрушится жестокая гроза. Но Кунанбай, даже не взглянув на него, ничего не стал говорить при нем, лишь коротко бросил: «Надо запретить».



Потом он, отправив этих двоих, позвал к себе Жакипа.

И уже на следующее утро Жакип, сидя в доме Зере, передавал Абаю салем его отца.

От отца приходил уже второй гонец, и на этот раз это был не кто-нибудь, а самый близкий Кунанбаю человек, его старший брат Жакип. Ему поручались важные и сложные дела. Обычно в дальних и ближних от Кунанбая аулах узнавали о степени важности его поручений по тем гонцам, которых он назначал развезти послание. Например, если дело касалось простейшего «найти, привести, пригнать» – посылались исполнительные атшабары вроде Карабаса или Камысбая. Если дело касалось «оповестить, разгласить указ» – в ход пускались Изгутты, Майбасар. Если же – «втолковать как следует и заставить подчиниться», то посылался Жорга-Жумабай. Иногда с подобными поручениями ездили Кудайберды, сам Абай. Но при необходимости «напугать, нагнать страху, подавить» – на эти важные дела посылался упорный и неотступный Жакип. Его также отправляли и на разные весьма значительные сходы, где решались межродовые споры. Ну а если дело шло о чем-нибудь самом горячем, но требующем хладнокровного решения, да еще в присутствии большого собрания представительных аксакалов – ехал сам премудрый Каратай.

В этот раз приехал Жакип. Судя по тому, в каком порядке менялись посланники, Абай понял, что приказы из Карашоки будут все серьезнее, и был готов ко всему. Холодно встретив Жакипа, Абай с сумрачным видом сел перед ним, чуть боком к нему, и приготовился слушать.

Прежде чем передать послание Кунанбая, Жакип привел несколько доводов. Он говорил слова, исходящие вроде бы от себя, но Абай знал истинные их истоки. Он давно научился различать суть и смысл отцовских посланий, от кого бы они ни исходили. По словам Жакипа выходило, что есть дела, которыми ведает только отец, и есть дела, по силам и в разумение сыну. Надо их различать. Но дела отцовские всегда на благо сыну. Невнимание к отцу, непослушание и самовольство не красят сына.



Его избитые слова не затронули Абая. Есть же отцы, которые думают не только о сыновнем послушании, но о будущем сына и берегут его доброе имя. Хотя, чтобы дети их сами завоевали себе почет и уважение. Так он подумал, а вслух сказал:

– Есть такие отцы, которые не навязывают свою волю сыну, не взваливают на его плечи одни только свои дела и заботы...

Ничего не ответив на это, лишь покосившись в сторону Абая, старый Жакип продолжал:

– Если уж оказывать помощь и пускать под свой кров кого-то, то следует быть разборчивым. Привечать надо те аулы, которые попали во временные затруднения, у которых достаточно скота, и людей у них много. Им поможешь – и они когда-нибудь смогут пригодиться. А прочих, всякую эту голытьбу, – для чего кормить? Да они, навалясь всем скопом, не смогут отплатить даже одной ляжкой тощей клячи, одним горбом верблюда! – Таким было мнение отца, и Жакип наконец его высказал. Но ведь почти то же самое высказал в первом салеме и приехавший Жумабай.

На Абая подобные доводы не возымели действия. То, о чем с такой убежденностью говорил Жакип, было столь же отвратительно для Абая, как соображения выгоды между сватами, жениящими своих детей.

Абай не стал даже возражать или оспаривать. И тогда Жакип заговорил строже, стал давить жестче.

– Разве ты хозяин скота, владелец земли? Разве твоим трудом нажито все это достояние? Ты что, дорогой, хочешь таким образом разбазарить все и разорить своего отца? А если завтра сдохнет весь скот, по всем нашим аулам пройдет мор – чем ты думаешь кормить своих матерей?

Это было уже не ново. Но отвечать Жакипу так же, как Абай отвечал Такежану, было нельзя.

– Ладно, вы правы. Я разбазариваю достояние матерей, тем самым совершаю зло, – усмехнулся Абай. Оглянулся на Зере и продолжил. – Но ведь она приходится матерью не одному мне! Она мать и для моего отца! Выходит, что настоящий-то хозяин



всего достояния и владений не кто-нибудь, а она! Так давайте теперь узнаем ее мнение! Послушаем, что она скажет.

Абай подполз к бабушке поближе. Она что-то выглядела сегодня неважно, маленькое бледное лицо заострилось, морщин на нем как будто бы прибавилось. Сидела, отрешенная от всего. Когда ее любимый Абай приблизился к ней, она привычным движением высвободила из-под платка свое большое белое ухо и подставила внуку, приготовившись слушать. И внук накричал все в ее тугое ухо, рассказал коротко, но внятно, что случилось. И после рассказа молча уставился на нее, взглядом своим вопрошая, как она все это расценивает. Внук глазами давал ей знать, что только ее единственное мнение важно для него.

Зере протяжно вздохнула, пожевала губами. Затем, нахмурившись, обернулась к Жакипу и молвила:

– Передай мои слова сыну! Мне недолго осталось жить на свете. Неужели я должна под конец жизни увидеть, как вокруг меня умирает множество людей, мрет от голода и холода? Неужели мне суждено увидеть еще слезы беспомощных и обездоленных сирот? Нет, лучше я сама попрошу у Бога: «Скорей забери меня!» А ведь тех людей, которые придут на мои похороны, на жаназа, придется кормить на поминках! Или вы их прогоните? Нет, скажите вы ему, не прогоните! Пусть считает, что сегодня он кормит тех, которые придут ко мне на жаназа. Пусть не трогает. Не гонит никого. – Так сказала Зере.

При этих словах старой матери Жакип совершенно растерялся, сидел, потупившись, не произнося ни слова.

Абай же расстроился, что его бабушку так сильно огорчили и опечалили. И он решительно высказался перед Жакипом:

– Если вы и на самом деле душой болеете о нашей матери, то не подталкивайте ее к мыслям о смерти! Я не позволю прогнать никого из тех, кого уже приютил!

Жакип, хотя и был пристыжен словами Зере, но на прощание все же злобно куснул Абая:



– Что ты такое несешь, голубчик мой? Как смеешь так упрямо перечить старшим? Мне не нравится, карагым, ход твоих мыслей. Ты бы попридержал свой язык!

Абай тоже не мог уже успокоиться.

– Ладно, вам объяснять я больше не буду. Вы и так, разумеется, все отлично поняли. Здесь сидят не голопузые младенцы. Пусть там, у вас, наслаждаются новым счастьем, но и нам не мешают жить так, как мы хотим!

Никогда еще Жакип не встречал в Иргизбае человека, который осмеливался так резко осудить Кунанбая. И это был его сын!

– Довольно, карагым! Не желаю слушать! Это как же ты осмелился?.. Да таких слов я даже не смогу передать твоему отцу! Ужасные слова! Уай, любого иргизбая дрожь проберет, как только он услышит подобные слова! – И с этим Жакип вскочил с места.

И на самом деле последние слова Абая имели особенный смысл. В них он дерзновенно напомнил об одном – из ряда вон выходящем – поступке Кунанбая, совершенном этой зимой...

После Жакипа никто больше не приезжал от отца в Жидебай. В другое время, при иных обстоятельствах переговоры так просто не закончились бы и имели самые тяжелые последствия. Причиной же такого легкого исхода послужил самый неожиданный для семьи поступок ее главы.

Уже месяца два Абай, Улжан и остальные в доме Зере находились в большой размолвке с Кунанбаем. В свой уже почтенный возраст – ему было больше шестидесяти лет – он в эту зиму обзавелся молодой женой. В Жидебае он поселил Улжан и Айгыз, в Карашоке при нем была байбише Кунке, а он взял еще одну токал – девушку семнадцати лет по имени Нурганым. О своем намерении жениться на такой молоденькой – а Нурганым была моложе Абая – Кунанбай не открылся никому из своих, и в брачные переговоры был посвящен один только премудрый Каратай.

Получилось так, что прошлым летом у Каратая умерла жена. Однажды при встрече Кунанбай спросил у него:



– Дорогой, ты не думаешь жениться? Или так и будешь ходить бобылем?

Разумеется, Каратай уже думал об этом, но пришел к неутешительным выводам.

– Е, Кунанжан, зачем мне баба, когда с годами я уже сам стал как баба? – отшутился он.

Но Кунанбай не отставал от него.

– Каражан, айналайын, это не так! Когда ты молод, силен, каждая встречная красавица твоя, хотя она и не при тебе. А к старости лучше ее иметь при себе, рядом. Именно теперь тебе как никогда нужна молодая жена!

И он женил-таки любомудрого Каратая. Но, женившись, тот начал теревить самого Кунанбая: «Если слова твои верны, то почему бы и тебе не взять молодую красавицу? Тебе такая жена тоже нужна! Все нажитое ты раздал детям, жены твои заняты своим потомством и самими собой, а ты остался одинок! Тебе нужно, чтобы рядом веяло свежестью молодого тела, чтобы молодое существо заботилось только о тебе!»

Немного времени спустя после этого разговора они, перебрав многих, нашли девушку в невесты Кунанбаю. Ею стала Нурганым. Это была дочь Бердыхожи, что из рода Хожа.

Бердыхожа был не из рода Тобыкты, он происходил из Сыбан и раньше проживал в горах Аркат. В степные края Сыбан перебрался не так давно из Туркестана. Во время долгих кочевий, на путях из гор в степи, Нурганым и росла, сидя в кебеже – в коробе для перевозки грузов на верблюдах. С Кунанбаем и Каратаем был Бердыхожа в добрых отношениях, Кунанбай с уважением относился к этому просвещенному человеку.

Со временем многие из Сыбан ушли обратно к Туркестану. Они не смогли привыкнуть к кочевой жизни в степи, к тому же заявили: «Не хотим жить в краю, попавшем под власть белого царя». Постаревший же Бердыхожа, имевший множество детей, не захотел возвращаться и остался жить здесь. Он стал уважаемый хожа во всем Тобыкты и среди тех из Сыбан, кото-



рые остались жить в степи. Был нравом суров, резок, славился как человек открытых, прямых суждений во всем, испытавший многое на своем веку. Мулла он был отменный, знал религиозное учение и устав как никто другой – и по этим качествам был высоко оценен Кунанбаем, обласкан им. Он нередко приглашал погостить к себе и самого Бердыхожу, и его сына Бурахана. Во время одной из поездок в Каркаралинск Кунанбай включал его в свою свиту. Кунанбаю всегда нравились джигиты видные, крупные и статные, такие как Бурахан. Как-то, залюбовавшись им, Кунанбай заметил: «Собрать бы в одном месте человек сто наших самых видных джигитов, да посадить бы среди них Бурахана – может быть, в сравнении с ним, нашелся бы хоть один не хуже него из наших молодцов?» А из среды своих батыров, тобыктинцев, Кунанбаю очень нравился рослый красавец и силач Базаралы. Во времена примирений и добрых отношений с Жигитек, Кунанбай частенько и непременно лестно отзывался о Базаралы.

Младшая сестра Бурахана, красавица Нурганым, еще не была засватана. Несмотря на юный возраст, Нурганым была рослой, прекрасно сложенной, вполне зрелой девушкой, излучающей молодую радость и здоровье. Взгляд притягивали ее волнистые, густые, обильные черные волосы и красивый овал лица. В ее больших, широко и радостно открытых глазах так и пылал огонь скрытой страсти и могучего жизнелюбия.

По совету Каратая, Кунанбай, приняв решение, немедленно отправил сватов к Бердыхожа. Тот от неожиданности растерялся: никогда не имевший в своей семье токал, он пришел в ужас. К тому же Нурганым была его любимым чадом, которое он баловал и холил, прощая дочке все ее шалости и озорство, на что она была весьма горазда. Выслушав послание Кунанбая, отец девушки сгоряча так сразу и выпалил:

– Да как это я отдам свое дитя этому старику Кунанбаю!

Но его сыновья, во главе со старшим Бураханом, как следует насели на него, и в течение трех дней сломили волю старого



отца, он дал согласие. Бурахану очень уж хотелось породниться с великим Кунанбаем, отдав ему в младшие жены свою сестренку. Неоднократно бывавший в гостях у Кунанбая в его ауле и каждый раз уезжавший с богатыми подарками – однажды получивший даже скакуна из кунанбаевского завода, – собственно, это он, Бурахан, помог Кунанбаю заполучить Нурганым. Услышав о согласии Бердыхожи, Кунанбай немедля отправил весь немалый калым и в ту же зиму привел в дом новую токал. Первую весточку об этом Улжан и Айгыз получили через быстрого гонца от Кунке.

Уже давно Улжан и в мыслях своих не ревновала мужа. Слава Богу, родила и вырастила четырех сыновей ему, успела стать бабушкой их детям, давно уже остепенилась и успокоилась. Теперь почтенная Улжан не воспринимала Кунанбая как супруга. Все чувства к нему остыли. Он – отец ее детей. Он стал для нее чем-то вроде одного из близких родичей, с кем связывала ее долгая совместная жизнь, такая мучительная и печальная порой.

И все же она была против новой женитьбы Кунанбая. Вызвав Жоргу-Жумабая, велела свезти Кунанбаю салема: «Если хоть раз пожелал бы прислушаться к нашему мнению, то лучше не женился бы. Не породил бы многие обиды. Устыдился бы своих детей, которых он тоже обидел».

О новости Улжан рассказала Абаю. Абай воспринял весть с отвращением. Сурово и жестко обличил отца в глазах матери: «Пусть не ожидает впредь уважения от нас. Своим поступком он хочет, наверное, показать всем нам, как чужды мы ему и как далеки от него. Выходит, он всех своих родственников ни во что не ставит! Почему не посоветовался со своей матерью? Почему не поговорил с вами, со своими спутницами по жизни? Почему, наконец, не подумал о нас, женившись на девушке моложе своих сыновей? Кто она для нас теперь? Я стыжусь и не признаю ее! А его обвиняю! И ты не поддавайся ему! Он же нас и за людей не считает! Если хочется ему броситься в огонь, пусть броса-



ется один! Пусть знает, что он нанес нам глубокую обиду! Так и передай ему от меня!»

Услышав послание Улжан, Кунанбай стал обращаться к Кунке; ласковым голосом старался ее улестить: «Пусть другие по глупости своей свары затевают, а ты, моя самая верная жена, не станешь им потакать, а будешь на моей стороне!»

Кунке всегда была склонна к мелочным расчетам, не была чужда корысти. У второй жены Улжан много детей. Их особенно любит и защищает старая мать Зере. В завистливой душе своей Кунке радовалась, что Кунанбай постоянно недоволен делами аула Жидебай. И ей тоже многое не нравилось из его порядков. Особенно не выносила она широкое хлебосольство и гостеприимство дома Улжан, приносившие той заслуженную славу доброй хозяйки среди многочисленных родичей и соседних дружественных родов. Про очаг Улжан она думала в постоянной тревоге: «Они со временем возьмут численностью. От наследства отхватят самый большой кусок!» – и заранее ненавидела ее, завидовала ей. Намерение Кунанбая жениться новым браком взбудоражило всю семью, другим женам это не нравилось, и поэтому Кунке сообразила, что этим надо воспользоваться. Первой ее мыслью было протестовать, однако она решила посмотреть, как к этому отнесется Улжан. Если та даст согласие, а Кунке запротестует, положение ее ухудшится, и она потеряет благорасположение супруга... Поэтому Кунке решила выждать и послала к Улжан скорого гонца. Оттуда быстро пришел ответ: Большой дом не только не соглашался, но резко осудил Кунанбая. Вот тогда и стала Кунке чернить Улжан в глазах мужа, делая вид, что полностью приняла его сторону.

Показывая ему, что она и на самом деле была для него самой разумной и верной женой, одобрила Кунанбая.

– Привози Нурганым прямо ко мне, – радушно пригласила она. – Пусть живет у меня. А Улжан ей не даст житья! Изведет ее! – И все получилось, как она предполагала. Кунанбай привез Нурганым в Карашоки. Зато в продолжение двух месяцев он



совсем не появлялся в Жидебае. И в те дни, когда Жумабай и Жакип ездили туда на переговоры с Абаем, Кунанбай все еще был в состоянии размолвки с Большим аулом.

В конце разговора с Жакипом Абай затронул именно эту семейную рану. Абай не захотел сдержаться и нанес неожиданно меткий, сильный удар. К этому добавилось бедственное положение голодающих родичей. Два тяжелых переживания сошлись в его сознании и привели к открытому бунту против отца.

Прошло всего пятнадцать дней, но они протянулись словно несколько месяцев. Самый конец зимы обрушился на людей жутким бедствием джута. Невероятно тяжело прошло начало апреля. И если обычно апрель считается месяцем первых зеленых побегов, то на этот раз он принес с собой мор и голод. Время это запечатлелось в памяти народной как «джут последнего апрельского снега» или «весенний джут».

Через пятнадцать дней после того как пострадавшие от джута получили приют в урочищах Кунанбая, вдруг резко потеплело. Подул теплый южный ветер. Месяцем раньше этот ветер был бы встречен людьми радостным возгласом: «Вот и весна пришла!» Но в этом году радость оставшихся в живых была одна – что они уцелели после такого страшного бедствия.

Избавившись от запретных приказов Кунанбая, Абай и Улжан полностью отдались заботам о спасении голодающих и их уцелевших стад. Целыми днями не сходявший с седла Абай совершенно исхудал, лицо его обветрилось и потемнело.

Однако его добрые старания и благие труды не оказались напрасными: были спасены около полутора тысяч овец и все поголовье крупного скота пятидесяти аулов.

2

Теплые весенние ветры быстро растопили снег в степи. Вскоре не только очистились от снегов равнинные пастбища, но и на склонах высоких холмов предгорья появились темные



проплешины. Задержавшийся снег торопился теперь как можно скорее уйти. Наступила пора, о которой в народе говорят: «Земля пробудилась после зимней спячки».

И солнце разгорелось сиятельно, по-весеннему, а по небу быстрыми вереницами побежали караваны белых кудрявых облаков. Народ, тесно набившийся в зимники Жидебая, зашпешил обратно к своим оставленным зимовьям. Начинался весенний окот, уже были случаи появления первых ягнят. Люди, нашедшие приют и спасение у родственников, должны были теперь позаботиться о том, чтобы провести массовый окот и сохранить весенний приплод уже на своих зимовьях. Быстро собравшись, пришлый народ всего за пару дней вернулся на свои прежние места.

Бесконечные слова самой искренней благодарности звучали из уст старых и молодых, покидающих спасительный приют в ауле Зере и Улжан.

После того как гости покинули их аулы, Улжан открыла своим домашним, что выбраны и съедены все зимние запасы мяса. В тот же день пришел старый чабан Сатай, который обрисовал хозяйкам удручающую картину всех потерь аула.

Не очень удачной оказалась отчаянная работа по очистке снега на пастбищах для ослабевших в дни джута спасаемых овец. Таким способом удалось спасти далеко не всех овец – около двухсот голов за эти две недели все-таки пали на плохо расчищенных ослабевшими людьми снежных полях. Абай видел трупы животных, с каждым днем скапливающиеся все больше на пастбищах вокруг зимовья, однако ничего не говорил об этом матерям в Большом доме, чтобы не огорчать их.

Из пяти-шести аулов, являвшихся хозяевами этих пастбищ, падеж в собственных стадах наблюдался только в Жидебае, а в Мусакуле у Такежана не было никаких потерь.

Размер поражения по джуту определяется не только количеством погибшего скота в зимовьях. Когда сошел снег, земля стала подсыхать, вернулись с дальних выпасов лошади. По виду



табунных коней сразу можно было понять, что на их долю также выпали тяжелейшие испытания. Медленным ходом, за несколько дней доплетясь до Жидебая, табуны Кунанбая оказались значительно поредевшими. А те лошади, что уцелели, выглядели неузнаваемо жалкими. Знаменитые крутогрудые жеребцы из кунанбаевских косяков и плодовитые кобылы, наедавшие жир на отгульных пастбищах, до жути истощали и превратились в живые скелеты. Шерсть на них потускнела, по-дикому отросла, взлохматилась и сбилась в колтуны. Ноги как будто вдвое вытянулись, обвилились вздутыми жилами и обросли громадными костистыми мослаками.

И странно, зловеще, непривычно выглядел табун, в котором среди обессиленно бредущих лошадей не видно было ни одного жеребенка. По всей округе Причингизья уцелела лишь часть косяков Кунанбая, а также выжили немногие лошади остального Иргизбая. Кое-что сохранилось из конского поголовья табунов Суюндика, Байсала и Байдалы.

Плетясь друг за другом, кони бесконечно длинными рядами шли по степи, медленно тащились к своим зимовьям, напоминая шествие душ грешников в Судный день, как это представляется в священных книгах.

Кунанбай, Байсал и другие сильные владельцы сохранили свои табуны, всю зиму неустанно посылая гонцов к табунщикам, заставляя их перегонять лошадей с места на место, занимая пастбища малочисленных слабых родов по всей большой округе. Теперь пережившие весенний джут лошади отъедятся на открывшихся из-под снега пастбищах, наберутся сил, полностью оправятся. Можно сказать, что они спасены.

Совсем иное положение было у других, слабых родов. Если бы табуны у них сохранились так же, как у сильных баев Тобыкты, то можно было бы посчитать, что джут ничего лишнего не унес. Если у всех тобыктинцев уцелело до тысячи голов лошадей, то у родов Торгай, Жуантаяк, Топай, Бокенши и Жигитек сохранилось всего по сорок-пятьдесят, семьдесят-восемьдесят лошадей из тысячи.



Именно эти числа яснее всего рисуют картину последствий стихийного бедствия, ужаснувших народ и навсегда оставшихся в его печальной памяти. В дни апрельского джута каждый род, каждое племя, каждый человек были озабочены собственным выживанием. Почти прекратились сообщения и встречи между людьми. По степи словно пролетел губительный, страшный ураган. У кочевников был один вопрос, равный вопросу о собственной жизни и смерти, – как спасти от холода и повальной гибели до предела истощенный скот?

Вскоре после джута аул Жидебай был полностью избавлен от ухода за лошадьми: Кунанбай велел отгонять косяки на Чингиз и полностью взял на себя все заботы о них.

Но вот уже вовсе потеплело. Проклюнулась первая зелень в степи. О прошедшем джуте и страшном море теперь напоминала только густая трупная вонь, отравившая воздух вблизи Жидебая. Сотни гниющих палых животных валялось на пастбищах вокруг аула, создавая угрозу заражения какой-нибудь страшной болезнью. Опасаясь этого, Улжан повелела аулу быстро уложиться и откочевать подальше от зимников, перебраться в другие места на свежий воздух и жить в юртах. Но именно в эти дни занемогла старая Зере.

Болезнь старенькой матери, только начавшись, сразу же резко пошла на обострение. Она слегла, силы быстро покидали ее, она лежала с закрытыми глазами, тяжело дышала.

Сильно встревоженные Абай и Улжан не отходили от Зере, ухаживая за нею. Они старались не допускать посторонних до больной, чтобы не утомлять ее. На вторую ночь Улжан стала терять надежду на выздоровление свекрови. Даже не посоветовавшись с Абаем, она послала человека в Карашоки. Под утро Зере пришла в себя, открыла глаза и в последний раз взглянула на сноху и любимого внука, которые сидели перед ней после ночи бдения. Абай с надеждой, пристально всмотрелся в ее глаза. Угасающая старенькая мать показала взглядом, что хочет что-то сказать. Абай этого не понял, но поняла Улжан. Тогда оба они пригнулись к ней и стали слушать. Зере начала шептать...



Хотя силы ее покинули, но разум был ясен, только голос ее был слишком слаб.

– Сумела ли я... показать вам что-то хорошее в жизни... Научила ли... заветным словам, когда могла говорить и слышать... Не знаю... Теперь что поделаешь... Ничего... Сил больше нет... Чего смотрите на меня? Чего ждете? – Так сказала мать многих перед своей кончиной, мучительно напрягаясь, затем смолкла. Глаза ее закрылись.

Никто уже ничего больше не ожидал услышать от нее. Абай приложил обе руки к груди и почтительно склонился у головы бабушки. Потом выпрямился, взял ее руки в свои и, плача, нежно прижал их ладонями к своим щекам. Потом поцеловал эти маленькие дряхлые руки, и несколько капель его слез упали на ее прозрачные ладони. И тут старушка снова открыла глаза и шепотом сказала:

– Жаным... карагым... солнышко мое... единственный... – Посмотрела в сторону Улжан, прошелестела едва слышно: – Береги... мать!

Потом замолчала, отдыхая, и вновь заговорила слабым шепотом:

– Один у меня сын... Слава Аллаху, он сможет... пусть бросит горсть земли на мою могилу.

Эти слова она произнесла очень внятно и отчетливо. Закрыла глаза и больше не сказала ни единого слова. Абай сразу понял, что это она говорила о Кунанбае. И Улжан, когда она говорила, кивнула головой, обещая: «Все поняли. Исполним».

Любимая, почитаемая всеми мать рода Зере скончалась, не дожив до рассвета нового дня.

Безмолвные, опустошенные великой скорбью, не отводя печального взора от лица усопшей Зере, сидели возле нее Абай и Улжан. Погруженные каждый в свое горе и в свои думы о только что ушедшей в иной мир старой матери, до утра не перемолвились они ни словом, отрешенные от всего окружающего мира и друг от друга.



В жизни Абая это была первая смерть близкого человека. Лицо умершей Зере, покрытое смертной бледностью, застыло в благостном покое. Казалось, что, наконец, она достигла того, к чему стремилась всю жизнь. Смерть для нее была не мучительным уходом из жизни, а блаженным объятием вечного покоя.

С восходом солнца были направлены гонцы-вестники во все окружающие Жидебай аулы. Очень скоро пришли стар и млад, привели детей. Снохи, молодки – вся женская часть дома горевала тихо, не шумно, проливая молча слезы. Пришли опечаленные соседи, чабаны – все скорбели молча, лишь тяжело вздыхали.

Еще до обеда успели прибыть родственники из Карашоки, с Чингиза. Первыми с утра подъехали Кунанбай, Кунке и все их домочадцы. К полудню прибыли посланцы всего Иргизбая. Хотя и восприняли смерть Зере как великое горе всего рода, но люди не оплакивали ее шумно, не голосили. Совершали все обряды в благопристойной тишине.

На следующий день, к часу отправления жаназа, заупокойной молитвы, прибыли полностью и те пятьдесят соседей-бедняков, что спасались во время джута в доме Зере. Ее похоронили со всеми полагающимися почестями при стечении огромного количества людей из самых разных аулов округи.

Кунанбай и Кунке и остальные родственники оставались до семидневных поминок в Жидебае.

Абаю было тяжело от такого столпотворения в связи со смертью, похоронами бабушки и последующими обрядами. В дни скорби Абаю ни с кем не хотелось общаться, и он стал вслух читать Коран, исполняя обязанности муллы. В продолжение траурной недели он прочитал весь Коран два раза. И однажды в обеденную трапезу Кунанбай ему сказал:

– Ты что-то медленно читаешь Коран.

Абай ничего не ответил. Делая свое замечание, Кунанбай имел в виду, что другие муллы на похоронах читают быстро, скороговоркой, и успевают за неделю повторить Коран и по три-четыре раза. Но Абай не стал объяснять, почему он читает



не спеша, хотя мог бы читать и скоро. Чтобы на душу бабушки снизошла Божья милость, Абай решил читать Коран с самым искренним чувством, не торопясь, проникаясь глубоким благоговением к священным словам. А порой он смолкал, подолгу задерживался над некоторыми сурами, проникаясь новым их смыслом, вдруг открывавшимся ему. Такое чтение было выражением его благоговеющего отношения к душе почившей бабушке. Проявлением сыновней скорби по ее священному усению. Его молитвой и выражением бесконечной благодарности и признательности бабушке за ее жизнь, за ее материнскую любовь, доброту и великую человечность.

За семь траурных дней, в минуты, когда Абай оставался в доме наедине с матерью Улжан, она многое рассказала ему о своей жизни рядом с Зере. И Абай слушал ее с радостным, благодарным чувством.

– Твоя бабушка, светлой памяти, была истинно добродетельной матерью! Если бы не ее мудрые наставления и добрая забота, я стала бы, наверное, забитой, мелочной, жестокосердой хозяйкой этого дома. Мы с тобою, сынок, оба в неоплатном долгу перед нею. Нам теперь уже остается возносить благодарность святому ее аруаху. Воздадим, как должно, все почести нашей доброй матери!

И только теперь Абай впервые заметил, как сдала и постарела его родная матушка. На ее добром, милом, бесконечно дорогом для него лице читались следы тяжелых раздумий, тайных печалей и горестей. Все сказанное Улжан сын воспринял с глубоким волнением. Ничего не ответил, только согласно и благодарно кивнул головой.

По отправлении семидневных поминок и после совершения поминальной молитвы Кунанбай и его окружение покинули Жидебай.

Вскоре началось обычное для кочевников весеннее переселение на джайлау. До самых сорокадневных поминок Абай никак не мог выйти из состояния безысходной скорби по бабушке,



единственно, на чем он забывался, были порожденные печалью и горем стихи, посвященные любимому другу и человеку на этом свете – покойной бабушке Зере. Стихи приходили к нему, когда он, гонимый тоской и болью душевной, верхом на коне погружался в степные просторы, взбирался на холмы.

И еще одна жестокая, ранее ему неведомая сердечная боль мучила его в эти дни. Взбираясь на горные урочища Чингиза, он увидел всюду опустошительные следы недавно прошедшего народного бедствия. Большие, многолюдные аулы, еще недавно кипевшие жизнью, нынче стояли почти пустыми. Если раньше пастбища кишели пасущимся скотом, теперь лишь кое-где виднелись редкие кучки животных, численностью в пять-десять голов.

Из-за малочисленности уцелевшего скота многие аулы объединились, чтобы кормиться и выбираться из нужды сообща. Прекрасные, просторные урочища с большими пастбищами остались безлюдными, пустыми, без пасущегося на них скота. Да и людские души остались пустыми, безрадостными. Потеряв всякую надежду, многие пошли по знойным степным дорогам – попрошайничать. И Абаю зловеще представлялось, что это со смертью матери народа, Зере, сам народ свалился в тяжелой болезни, от которой никак не может выправиться...

Видя это, Абай все больше погружался в темные глубины непроглядной, безысходной печали. Полное безразличие ко всему охватило его. Избегая общения с кем бы то ни было, он становился все более угрюмым и замкнутым. Беспредельная скорбь по бабушке Зере слилась в его сердце с болью за народ, который оказался столь же уязвимым перед смертью, как и его старенькая, сухонькая мать.

Подошли сороковины по смерти бабушки Зере. На джайлау со всех аулов собрались люди, чтобы в последний раз помянуть великую мать рода и воздать ей подобающие почести. Улжан заметила в эти дни, насколько осунулся и потускнел Абай. Казалось, он был не в силах вырваться из круга черных дум,



изводящих его. После отправления тризны, когда весь народ разъехался, Улжан решила поговорить с сыном.

– Вижу, ты весь в своих тяжелых думах. Мучаешь себя, не замечаешь, как они губительны. Негоже молодому джигиту так изводить себя горем, это ни к чему хорошему не приведет. Возьми себя в руки. Пригласи Ербола, садитесь на коней – и поезжайте по аулам, развейтесь немного! – Так говорила Улжан.

Вскоре приехал Ербол, привез весточку от Асылбека, сына бая Суюндика. «Слышал, Абай не выходит из дома с тех пор, как скончалась его бабушка. Передайте ему: пусть приедет к нам, погостит». Так гласило его послание. И вскоре два джигита приехали в аул Суюндика.

Когда Абай и Ербол подъехали к знакомому аулу на реке Жанибек, расположенному в красивой зеленой долине, навстречу им вышли братья Асылбек и Адильбек. Вместе с ними был Даркембай. Молодые гости вначале зашли в юрту бая Суюндика, отдали салем в знак уважения к старшим.

Дней десять назад бай Суюндик со своей байбише посетил очаг Зере, почтил ее память, поминальной молитвой. Сейчас он расспрашивал о здоровье Улжан и остальных домашних, был приветлив, тих и немногословен. Тотчас распорядился: «Пусть молодежь не чувствует себя стесненно. Пусть веселится вольготно». И для игрищ молодежных посоветовал отвести просторную юрту Асылбека.

Но дом для молодежи и без того уже был приготовлен – в той же юрте Асылбека. Приходившие туда приветствовать Абая и те, что подходили к нему на улице – стар и млад, выражали ему великую признательность и говорили слова, полные глубокого уважения и любви к молодому джигиту. И жена Асылбека, Карашаш, была одна из первых, что высказала ему такие слова. И спасавшийся у Абая бедняк, могучий Даркембай, благоговейно поминал священный аруах Зере, возносил добродетели Улжан, с умиленной улыбкой расспрашивал о здоровье детей Абая, каждого ребенка называя по имени. Он светлым взором обращался



к молодому гостю, так и вился вокруг него в радости встречи и не знал, каким еще вниманием окружить своего благодетеля и спасителя. В ауле Жанибек находились люди из родов Борсак, Бокенши, в своем бедственном положении объединившиеся с аулом Суюндика. Все они хорошо знали о том, что сделал Абай для спасения пострадавших от джута, а многие и сами спасались вместе с остатками своего скота в Жидебае и Мусакуле. Увидев Абая, все они с благодарственными словами подходили к нему. Один из аксакалов племени Борсак сказал:

– Свет мой ясный, Абайжан, я пострадал от джута не так страшно, как многие другие. За это я должен благодарить Аллаха и, конечно, тебя.

– Слава Создателю! Скота мы сохранили не меньше, чем другие. И молоко есть, и масло. Те пятьдесят аулов, которые спасались у вас на зимовье, больше остальных сберегли скот.

– Так говорил, с довольным видом, Даркембай.

Очаг Суюндика оказывал Абаю большой почет. Карашаш, жена Асылбека, выражала почтительность как близкой родне. Раньше косившийся на него, и довольно враждебно, Адильбек в этот раз встретил его на дороге, подвел к дому, сам открыл перед ним дверь, забрал из рук его камчу и шапку, повесил на решетку кереге.

Любезность, учтивость, почести, воздаваемые всем аулом, были столь искренними и сердечными, что Абай почувствовал себя прибывшим к очагам самых близких родственников.

Впрочем, Абай всегда был более расположен к Бокенши, чем к родам Жигитек и Котибак. Бокенши отличались от своих воинственных соседей особой мягкостью нрава, открытостью и дружелюбной искренностью, были верны данному слову, ничего не жалели для человека, к которому проникались любовью и уважением.

Три дня проведя в веселье – с песнями, играми, разными затеями, Абай сполна испытал на себе радушие и сердечное гостеприимство хозяев, особенно со стороны Асылбека и его жены Карашаш.



Давно уже Абай называл Асылбека – Асыл-ага, уважая его старшинство. В эти дни Асылбек истинно стал для Абая любимым старшим братом.

И все же, несмотря ни на что, все эти дни веселья, шуток и добрых разговоров прошли для Абая с глубоко затаенной, неизбывной, пронзительной сердечной болью. Однако он сделал все, чтобы никто этого не заметил.

Аул Суюндика, куда он прибыл на этот раз открыто, по дружественному приглашению хозяев, – красивый горный аул Жанибек навеял на него эту боль. То, что называлось «мечтой», теперь стало незаживающей раной. Раной, нанесенной в самое сердце. Страданиям нет и не предвидится конца. Густая, жгучая, невероятная печаль, возникающая при одном только упоминании имени «Тогжан»...

С первого дня по прибытии в дом Суюндика у Абая словно смутилась душа: он все время искал вокруг себя ее, любимую Тогжан!.. Ему чудилось, что она невидимо таится здесь, в родительском доме – Тогжан! Стоило стукнуть двери, как он вздрагивал и быстро оборачивался, с безумной надеждой вглядываясь в вошедшего человека. Тогжан! Сидя в юрте, вслушивался в мелодичный звон шолпы, раздававшийся вдруг, – и словно заклинал вернуться тот далекий серебристый звон, что звучал при каждом шаге ушедшей от него навсегда Тогжан.

Когда Абай, переступив порог, вошел под сень войлочного шатра Асылбека, ему вдруг показалось, что справа от двери сейчас шевельнется знакомый шелковый занавес, обещающая и на этот раз раскрыться и явить ему истинное счастье и райское блаженство жизни. Тот же белый шелковый занавес. Та же высокая, отделанная костяными узорчатыми пластинками кровать. Даже постельное убранство на ней – все было то же самое, прежнее. И дверь, быстро и бесшумно отворенная тогда руками его друзей, Ербола и Карашаш, даже дружественная дверь была перед ним все та же.

Здесь они все, его друзья-сообщники, и наперсница любви Карашаш, оказавшая великое и нежное доверие, вручив ему



Тогжан. Но теперь ни это теплое гнездо самой верной дружбы, ни сами верные друзья – ничто и никто не в силах прийти к нему на помощь, принести облегчение. Они так же бессильны, как и Абай. Тогжан здесь нет.

Прекрасная Тогжан, дорожке которой никого нет для него в мире, в эти дни вновь незримо вернулась к нему, разрушив все преграды, и нежно, властно позвала его... Но все напрасно! Лишь боль и тоска откликнулись в нем на этот зов.

Что за испытание? Его недавнее непосильное горе, непомерная печаль – сошлись, сомкнулись сейчас с пронзительной болью неискупленной любовной тоски. И печаль утраты, и тоска любви – они слились в его душе, во всей безгрешной чистоте, безбрежной боли, роковой неразрешимости.

Абай внешне выглядел веселым, беспечным, пел свои шуточные песни, но внимательному, сочувствующему взору представилась бы совсем другая картина его души. Оттуда и исходили внезапные нотки уныния в его голосе. Вырывались грустные вздохи, казалось, без всякой на то причины. Истинную причину этих вздохов знала лишь одна миловидная женге Карашаш. Ей эти вдохи и выдохи дрожащего дыхания Абая казались беспомощными всхлипами ребенка – после долгого горького рыдания. И Карашаш, изредка поднимая глаза на Абая, едва сдерживала слезы жалости.

На третий день, когда они вдруг остались в юрте одни, она сказала Абаю:

– Абай, милый, ты не забыл, я вижу, мою ненаглядную любимицу Тогжан! Неужели ты до сих пор чувствуешь себя как путник, заехавший на свое давно брошенное кочевье? Ах, ничего ведь там не осталось... Абай, бедный ты мой, я ведь давно вижу...

– Она слегка покраснела и, подняв глаза, посмотрела на него ласково, понимающе, сочувственно.

– Ты права, женеше! – воскликнул Абай. – Перед тобой мне нечего скрывать. И тогда ты понимала, и теперь твое сердце все чувствует. Ты угадала, женеше... Я не могу больше... Я вижу



все, как сейчас... Это стоит перед глазами! Что делать, женеше? Все кажется мне, что откроется дверь, войдет Тогжан и начнет меня горько упрекать...

– Как мне жаль, о Создатель!.. Вы оба совсем другие... не похожи на остальных. Моя баловница делилась со мною всем... Она меня любила, хорошая. Уезжая к мужу, она проклинала судьбу, желала себе только одного – смерти. Я это знаю. Она мне сама сказала. – Так говорила женге Карашаш Абаю.

Оба они, погрузившись в безысходную печаль, надолго замолкли.

В глазах Абая отчетливо, как при ясной луне, предстал вечер его последней встречи с Тогжан. словно это происходит сейчас, и Тогжан находится рядом.

В тот безветренный теплый вечер Тогжан сама пришла к нему, в укромную ложбину, далеко от аула. От нее пришло послание: «Пусть скорее приезжает!» Это было после второго посещения жениха, перед тем как он должен был забрать ее к себе. И в скором времени ожидалось прибытие свадебного каравана.

Застенчивая, немного даже робкая, нежная, Тогжан в тот вечер была неузнаваема. Она пришла, напряженная, как струна, решительная и смелая. Слова нежной страсти слетали с ее уст без робости, она словно сама упивалась ими, произносимыми ею в первый и последний раз. Говорила, плача и смеясь, все тело ее сотрясалось частой дрожью, словно в ознобе. Она долго стояла, спрятав лицо на его груди, как это было и в прошлые свидания. Пламенея, трепеща в его объятиях, она сама с силою обнимала его, прижимая к себе, и говорила все, что повелевала сказать ее чистая страсть.

Они полюбили друг друга уже довольно давно, но оказалось, что свидания у них были редки, а истинной радости любви испытали они совсем мало. Тогжан плакала, выказывая свою обиду на судьбу, на жизнь, на самого Создателя, пославшего им такую злую участь. Плача, рыдая, вознося жалобу к небесам, она вдруг отчаялась – до потери всякой надежды – и принялась



слать проклятия своей судьбе. От своей беспомощности хоть в чем-то утешить Тогжан, Абай уехал тогда от нее совершенно растерянным и опустошенным. Перед глазами его была она, уходившая в слезах. Черный чапан накинут на ее голову, в сумерках ночи призрачно мелькает подол ее длинного белого платья... Он слышит, до сих пор слышит, как приглушенно звучат под накинутым чапаном ее серебряные шолпы.

– Бедная, любимая моя Тогжан! Пока буду жить на этом свете, не забуду тебя! Ты навсегда в моем сердце, родная, – тихо промолвил он.

Карашаш он стал близок, словно любимый зять. Она желала хоть чем-нибудь утешить его, отвлечь от тайных страданий. И она обратилась к мужу за советом: «Не предложить ли Абаю поехать с нами в гости?»

Карашаш происходила из аула Сыбан, где жил акын Кадырбай. Ее родичи недавно пригласили в гости ее с мужем Асылбеком, и они обещали приехать, как только Абай и его друг погостят у них и отбудут домой. Но Асылбеку понравилось предложение жены, он проникался все большей приязнью к Абаю, и ему тоже не хотелось так быстро расставаться с гостями. К тому же он понял глубинное желание Карашаш еще немного поразвлечь не очень-то выправившегося – и по его наблюдению – после горестных испытаний Абая. И Асылбек сказал ему: «Поедем с нами. Погостим. Пожалуй, развлечемся там изрядно. Ты же хорошо знаешь, каков человек Кадырбай. Думаю, наша поездка не будет скучной. Так что едем вместе!»

Абай за эти дни почувствовал глубокую, особенную близость к дому Суюндика. Ему не хотелось расставаться с Асылбеком и Карашаш. На их предложение он тотчас ответил согласием.

Но не одобрил Ербол, оставшись наедине с Абаем, он сказал:

– Е, удобно ли это будет? Получится так, что мы будем сопровождать бабу, которая едет с мужем к своим родственникам. Он-то едет к своим нагаши, а мы с тобой здесь при чем? Смотри, как бы люди над нами не посмеялись!



Ербол беспокоился не о себе, ему дорога была незапятнанная честь друга. Верный Ербол не мог и мысли допустить, что про Абая могут сказать: «Что за нелепость! Неужели он не понимает?» – особенно сейчас, когда столько людей всюду поминают его самыми добрыми словами. И еще он подумал, что если людям стало хоть что-то известно о чувствах Абая, поездку Абая могут понять совершенно превратно...

Но Абай как-то не придал значения предостережениям друга. Положив руку на его плечо, он сказал с улыбкой:

– Ты представь себе – мы будем общаться с самим мудрым Кадырбаем! Послушаем его песни, слова назидания – чего стоит одно лишь это? Если нас будут упрекать, что мы последовали не за теми, за кем надо, то ведь нам с тобой хорошо известно, дружище, за кем мы следуем? Это достойнейшая, всеми уважаемая женге Карашаш! У кого язык повернется что-нибудь плохое сказать против нее? А против Асыл-ага?..

Радость Абая по тому случаю, что он сейчас не расстанется с Карашаш и Асылбеком и поедет вместе с ними, больше всего убедила Ербола, и он дальше не выказывал своих опасений.

Итак, через четыре дня свита из нарядных, молодцеватых джигитов, окружавших Карашаш, доставила ее в аул Кадырбая.

Молодых знатных гостей из Тобыкты аул встретил радушно. Юрту Кадырбая, куда их пригласили, переполнили нахлынувшие в дом старики, молодежь, женщины и даже дети. Немало тетушек, молодых келин и юных девушек собралось вокруг Карашаш.

Гостей привечал сам Кадырбай. Абай видел его второй раз – через несколько лет после годового аса Божея. Акын заметно постарел, куда-то исчезла его привлекательная статность, и весь он как-то усох, осунулся. Волосы на голове, борода и усы стали совсем белыми. Заметней, резче и глубже бороздились морщины на лице Кадырбая. О некогда величавом, красивом лице акына напоминали лишь высокий, мощный лоб, орлиный



нос и ясный, пронизательный взор прищуренных глаз. Он не узнал Абая. Но когда ему сказали, что это сын Кунанбая, старик стал вспоминать события прошедших лет, вспомнил и годовой ас Божея. И настолько свежи и ярки были его воспоминания, словно они касались дел вчерашнего дня.

– Событие незабываемое, самое большое в этих краях за последние годы. Поминки по Божею надолго останутся в памяти людей. Гости разъезжались по домам очень довольные, были благодарны тем, кто устроил эти поминки, – говорил он.

Молодые гости почтительно слушали старого акына, он неторопливо расспрашивал о происшедшем в Тобыкты джуте, о здоровье известных ему аксакалов. Абай поначалу отвечал немногословно, учтиво, старался вести себя сдержанно и без особого повода не вступать в разговор. Однако именно Абаю пришлось поддерживать разговор с хозяином дома, искусно оживлять его интересными рассказами и новостями. Ибо Асылбек, зять в этом ауле, должен был придерживаться определенных правил поведения и больше молчать, нежели говорить. Да и сам Кадырбай, задавая свои вопросы, обращался именно к Абаю.

В этом году люди из дальних мест при встречах первым делом заговаривали о прошедшем весеннем джуте. И нынче весь вечер старый Кадырбай только об этом и расспрашивал. Вопросов было много. Насколько тобыктинцы пострадали от апрельского джута? Какие из родов Тобыкты понесли наибольшие потери? Какие отделались легко? Не продолжается ли где голод? Как обстоит дело с молоком? Есть ли аулы, в которых весь скот уцелел? Старый акын подробно расспрашивал обо всем этом. Поскольку он в прошлом был хорошо осведомлен о делах Тобыкты, теперь ему было нетрудно ставить вопросы и делать уверенные выводы – словно он был одним из тобыктинцев, по случаю оказавшимся вдали от родных мест. Вопросы старика были похожи на расспросы знахаря-табиба, который, беря пульс у больного, расспрашивает о его самочувствии, про то, как он спит, как ест.



Абай давал подробнейшие сведения о делах близлежащих к Жидебаю и самых отдаленных аулов Тобыкты. Говорил уверенно, без тени сомнения. Асылбек и Ербол, его самые близкие друзья, только теперь впервые, с удивлением, слушали эти сведения от Абая. Он словно по бумажке читал, называя число уцелевшего скота в разных родах Тобыкты, сообщая, чем еще кроме этого они располагают, какой из родов понес наиболее ощутимый урон, и что он имел раньше, до апрельского джута. Давая сведения в сравнительных числах, Абай обрисовал перед Кадырбаем полную картину бедствий по всем племенам тобыктинцев. Старик сидел перед ним с удрученным видом, покачивал головой, поцокивал языком, близко к сердцу принимая беду далеких сородичей.

Родные аулы его были не в лучшем положении. Обильные майские снега, выпавшие в горном краю, привели Сыбан к упадку, и у этого племени в большом количестве погиб скот – жизнь кочевников и здесь оказалась в шатком положении.

У Кадырбая хозяйство его собственного очага было и раньше довольно скромным. Однако именно в этом году, трудном и голодноватом для всех, дела Кадырбая обстояли неплохо: кумыса и мяса на еду пока хватало. Он взял у родичей, благополучно переживших весеннее бедствие, несколько кобыл на содержание и доил молоко для себя. Старый акын не стал скрывать, что пережить нужду и страдания, вместе с другими, ему все же пришлось.

Молодого джигита, столь хорошо осведомленного о бедственном положении народа, старый акын воспринял и выслушал уважительно, словно своего курдаса¹. Из того, что было сообщено Абаем, Кадырбай скорбно уверился, что бедствие постигло немало народу в Тобыкты. Доходили и другие слухи, что вся казахская степь голодает, доведена до крайней черты. И мысленным взором окинув все пределы родной земли, на которой

¹ Курдас – ровесник.



страдали и гибли люди, старый акын с глубокой душевной болью молвил:

– Степняк, словно сыто вскормленный горделивый аргамак, резвится на просторе, радуясь жизни. Но стоит пройти всего одному снежному бурану – и наш брат съезживается в комочек и превращается в тощую клячу. Жалкий, беспомощный, он качается на холодном ветру, словно веточка, торчащая из сугроба.

Уже была глубокая ночь, чаепитие завершилось. Где-то снаружи, возле юрты, резали барана, получив молитвенное благословение муллы. Соседи, пришедшие в юрту ко встрече гостей, теперь незаметно расходились по домам. Девушки и молодки-женге, окружавшие Карашаш, тоже ушли, возле нее осталась лишь одна девушка, светловолосая, но с темными бровями и ясными улыбочивыми серыми глазами. Стройная, высокая, исходящая радостным сиянием юности, то была чудесная девушка. Абай первым делом обратил внимание на эти черные, как смоль, густые брови на лице светловолосой девушки. Они рисунком своим, напоминающим изогнутые крылья ласточки, похожи были на брови Тогжан. И слегка раскосые вдумчивые глаза, с серебряным блеском зрачков, были, как у Тогжан. Когда прекрасная девушка смотрела на Абая, ему казалось, что эти глаза излучают сияющие лучи. Тонкий румянец разливался на ее узких щеках, делая еще более привлекательным это благородное лицо. Высокий светлый лоб и тонкий нос с горбинкой подсказали Абая, что это дочь благородного Кадырбая.

Да, это была Куандык, та самая «девушка-акын, дочь Кадырбая», знаменитая, как и ее отец.

Пока не разошлись соседи и гости из своего аула, Куандык была очень занята, обслуживая всех, разнося чай, то и дело выбегая из юрты на улицу, где резали барана. И лишь по уходу многих людей девушка смогла присесть к Карашаш и поговорить с ней.

Ей не свойственно было проявлять показную робость юной девицы, покорной перед отцом. Куандык отца не боялась и не



стеснялась, не бормотала перед ним, потупив голову, заведомо тихим голосом. Нет, ее голос уверенно и звонко разносился по всему дому:

– Пейте чай! Ешьте! Что так мало едите! Еще чаю! Мяса! Ешьте, пожалуйста!

Куандык угощала гостей и вела себя как настоящая добрая хозяйка. После того как свернули дастархан, соседи разошлись и суета улеглась, вся семья собралась вокруг гостей. Началось самое приятное ночное общение. Куандык, подсев к Карашаш, начала тихонько расспрашивать ее про молодого Абая, о котором она слышала много хорошего.

Когда разговор вновь пошел о джуте, Абай сравнивал нынешнее бедствие народа с его прошлым опытом. Из поколения в поколение повторялись подобные бедствия. Всем известно, что джут – это извечный, злой враг казаха, живущего в войлочной юрте. Каждый знает об этом. Джут несет с собой не только голод и мор – людей, скота. Джут угрозой и муками голодной смерти заставляет кочевника терять свое человеческое лицо.словно заморенный подышающий скот, кочевники разбредаются по степи, перестав быть единым народом казахов. По дорогам, не видя друг друга, бредут их тени. И какой же достойный урок извлекают последующие поколения народа, его потомки? Находят ли они путь избавления от этой беды, что способна однажды единым махом смести их с лица земли? Ищут ли этот путь? Думают ли об этом? Нет, довольные сегодняшней сытостью и достигнутым благополучием, они не видят всей призрачности и непостоянства своего кочевого существования! Задумываются ли отцы народа о том, чтобы преобразить свою жизнь и не носиться больше по ней, как перекасти-поле? Были в прошлом – есть ли в настоящем времени люди, «истинные отцы народа», которые душой болели бы за жителей войлочных юрт? Знает ли аксакал Кадырбай о таких людях – в прошлом или в настоящем? Об этом спрашивал Абай.



Для Кадырбая эти вопросы оказались неожиданностью. Он задумался, взглядом уйдя в себя, посидел с отрешенным видом, потом встрепенулся, оглядел всех вокруг и ответил стихами:

*Счастья изменчив круг,
Жизнь – что в бурю тростник,
Смертен подлунный мир.
Сад, что расцвел вокруг,
Осенью сваял, поник...
Так же бессилен ты –
Блекнет твой лик, как цветы...*

Абай по достоинству оценил и сам поэтический ход, и стихи старого акына, – вместо ответа на вопрос. Но молодого поэта они ни в чем не убедили. Он стал вежливо возражать Кадырбаю: прекрасное, но быстротечное существование цветка не может идти в сравнение с жизнью человека. Казахи представляют собой народ, очень сильный своим единством и многочисленностью. И этот народ, способный бороться за свое счастливое, уверенное будущее, не должен уподобляться полю весенних цветов, которые потеряют всю свою красоту и аромат, засохнут и опадут, чуть только жарче пригреет солнце.

На это Кадырбай ответил, печально улыбнувшись, что существование всех людей и каждого народа, какими бы сильными они ни казались, подчиняется закону непостоянства и бренности. Но в духе своем народ казахский в этом мире живет действительно далеко не хуже других, заметил старик.

Однако и эти мудрые слова не удовлетворили Абая. Он заговорил, что есть у казахов великое искусство, и оно составляет их несметное богатство и неиссякаемую духовную пищу.

– Но если не закрывать глаза на правду, – говорил он дальше, – наш брат казах, тысячелетиями живущий в своей кочевой юрте, мало что знает о других народах в мире. А ведь любой народ, лишь ознакомившись со всем хорошим, что есть у других



народов, может перенять это хорошее и стать лучше. Еще со времен Адама знания от одного народа переходили к другому – и также наоборот, чем и обеспечивалось общее благо. А мы, кочуя по одной и той же степи, оставались в стороне от искусства других стран и народов, не имели никакого представления о многих его видах и обличиях. И с нами в нашей кочевой жизни оставались все тот же страх перед голодным джутом, вся та же войлочная юрта с тундуком, неизменная испокон веков, все тот же домашний скот, хвостатый и рогатый – знак нашей отсталости и убогости. Но при этом всякий казах, сидящий на коне, считает людей остального мира ниже себя, недостойными оказаться рядом с ним на почетном торе. А на самом деле он, бедняга, лишь вечно трясущийся за благополучие своей скотины кочевник, и он совершенно беззащитен перед таким стихийным бедствием, как джут. Разве не является казах одним из самых беспомощных людей человеческого мира?

При этих последних словах молодого гостя Кадырбай и его дочь Куандык растерянно переглянулись, словно поэты, проигравшие на состязании акынов. Кадырбай не был похож на других отцов. Он мог обсуждать с дочерью самые серьезные вопросы, давал ей советы, выслушивал ее мнения и мог в делах опереться на нее, как на сына-джигита.

Серьезный долгий разговор, в котором из уст Абая звучали такие слова, как «народ», «благо народа», был необычен для старого акына. Он был удивлен, взволнован и даже почувствовал приподнятое воодушевление от такой беседы. Ласково и растроганно смотрел акын на молодого джигита. Кадырбай свободно мог беседовать с людьми самого высокого уровня, представителями своего поколения, но с этим джигитом все то, что считалось «ничего нет яснее», – вдруг обретало новый, необычный смысл. Джигит смело спорит! У него есть характер. Очень уместно приводит самые веские доказательства.

На другой день за кумысом опять заговорили о делах, касающихся народа. Поначалу Куандык не вмешивалась в спор.



Однако вскоре начала высказываться, явно склоняясь на сторону молодого гостя.

Когда ей показалось, что доказательства Абая настолько верны, что им не может воспоследовать какое-нибудь разумное возражение, девушка-акын воскликнула: «Кажется, тут и спорить не о чем, отец!»

Это было сказано на том крутом повороте разговора, когда старый Кадырбай попенял Абая:

– Если считаешь, что дело идет не так, ты сам-то знаешь, как надо правильно идти? Чего пожелаешь народу, чтобы он в дальнейшем мог жить более достойно? Ойбай-ау! Ты осудил, Абай, но знаешь ли ты, как можно поправить дело? Если знаешь, то растолкуй мне подробнее.

И Абай ответил:

– Народу нужны знания. Народ должен потянуться к просвещению, к образованию. В будущем нет места беспечному пастушескому существованию, похожему на безмятежный сон. Нет места вере кочевника в то, что раз и навсегда установлен неизблемый порядок его существования – с джайлау на джайлау. Аксакал, нам пора поучиться у других народов, которые ушли далеко вперед, мы должны многое перенять у них, ибо мы отстали, увязнув в кругу одних и тех же кочевков.

То, о чем с такой убежденностью говорил Абай, не родилось днями в спорах с Кадырбаем, в его гостеприимном доме. Нет, это были мысли молодого поэта, рожденные в лихорадке его долгих и мучительных раздумий. И определяющая мысль прояснилась: «Просвещение, знания, образование – вот столбовая дорога в будущее для нашего народа – извечных конников».

Кадырбай не стал оспаривать, но привел свои доводы:

– Образование и воспитание необходимы, твои слова справедливы, джигит. Но дать образование детям – это дело родительское. И самое наилучшее воспитание – это указание детям того пути, которым следовали предки.



И тут, открыто не поддерживая отца, высказалась Куандык:

– Отец, слова нашего гостя более весомы!

После чего Кадырбай смолк и снова долго сидел, погружившись взором в какое-то одному ему видимое пространство. И опять, встрепенувшись, посмотрел на Абая просветленными глазами и воскликнул:

– Сын мой, если по правде – ты высказал то, до чего я не мог додуматься. Но мне по душе твои мысли, и твои устремления мне нравятся. Видимо, жаным, тебе открыто грядущее время! Все, о чем ты говоришь, будет нужно твоим современникам и будущим поколениям! Новые знания – это хорошо, но к кому ты обратишься за ними? Ведь наш народ никогда ни в чем не брал пример с других, и сам не подавал его другим. В чем причина этого? Да в том, что мы, кочевники, всегда жили вдали от всех, в оторванности от многолюдия других народов. Что мы могли перенять от них, живя на отшибе в своих бескрайних степях? И ты прав: нам только бы не заблудиться на путях будущих веков! – Так завершил свои слова Кадырбай.

Старый мудрец не сразу согласился с молодым мыслителем. Но, погружившись в глубокое размышление, узрел там истину и не мог не согласиться с нею.

После этих разговоров, длившихся два дня и две ночи, Абай с Кадырбаем уже ни о чем больше не спорили. Молодой поэт с душевным трепетом слушал рассказы старого акына о многих знаменитых певцах и поэтах степи, чьи стихи и песни навсегда легли в народную память, став его духовной собственностью. Со многими из этих великих людей Кадырбай встречался и теперь рассказывал о них, весь преображаясь, вдохновенно, свободно, легко переходя от одного рассказа к другому, словно ступил на знакомую дорогу. Порой он принимался выразительно читать стихи, и в тех местах, где память изменяла ему, он оглядывался на дочь Куандык, и та, красивая, сияющая молодостью, излучающая радость и свет, приходила на помощь отцу. Она тут же подхватывала забытую им строку и читала дальше.



Кадырбай часто называл имя знаменитого акына Садака. В юности Кадырбая Садак был его самым любимым поэтом. Говорил о нем с великим уважением и преклонением: «Его познания и все, что он увидел и пережил, – огромны как море. Мы не знаем и тысячной доли того, что знал этот человек. Таких мудрецов больше нет. Он был не от мира сего, душа его была наполнена нездешним светом. Он был акыном от Бога».

И в связи с этим именем Абай стал спрашивать у Кадырбая об айтысе – поэтическом состязании между именитым Садаком и маленьким еще Кадырбаем. Это был известный на всю Сарыарку айтыс – «Айтыс Садака и мальчика-акына». Абай знал, что тем мальчиком-акыном был Кадырбай. Однако Кадырбай не стал особенно распространяться по этому поводу. Лишь сказал:

– Куда нам всем было состязаться с Садеке! Пришлось, конечно, что-то там говорить, вставляя свои незрелые мысли в поэтическую строку. Но чтобы сказать – «сошлись в айтысе» и «кто-то из них победил» – это уж слишком. Все получилось случайно и не к делу – просто после того, как мальчик-акын Кадырбай одержал верх над шестнадцатью акынами Сыбан, аксакалы ради чести рода вытащили меня на айтыс с Садеке... – Так сказал Кадырбай и сразу перевел разговор на другое.

В Кадырбае чувствовался человек благородной крови и широчайшей степной души. Признаки мелких натур – себялюбие и надменность совершенно отсутствовали в нем. Речь его была проста, несуетлива. Ему чужда была выспренность. Но такими высокими качествами человеческими был наделен не только один акын Кадырбай. Словно породные свойства души у степных поэтов – простота и невыспренность, благородство и широта души были свойственны всем большим акынам. Такими были и Садак, о котором столь уважительно и тепло недавно отзывался Кадырбай, и старый Шумек, и любимец степи Барлас, и другие. Обо всех этих поэтах вспоминал Кадырбай, связывая их поэтический дар с божественным предопределением. В их песнях, говорил он, отразилась вся великая печаль и извечная скорбь кочевого народа.



– Прислушайся внимательно к напеву их знаменитых кюев, и ты всегда уловишь голос страдания и печали, который переходит от одного акына к другому. Сын мой Абай, вчера ты высказал одну великую истину: ни один человек во всех предыдущих поколениях не покинул наш мир без горечи несбывшихся надежд в душе. Никто не ушел отсюда, исполненный счастья и радости, насыщенный жизнью. И есть один мотив у всех наших певцов, он самый мощный во всех их кюях. Нет, это не радость, не веселье, не ликование. Это горестное размышление о тщетности жизни и печаль по неудержимости быстротекущего времени. И ты сам – вспомни о былых временах, растаявших бесследно, представь людей, мечтавших о чем-то, вспомни, наконец, о недавнем джуге – что при этом чувствуешь ты в своем сердце? Все акыны поют песнь сострадания человеческой жизни. Все они редко видят человека в часы его радости и ликования. Все они рассказывают о горестных превратностях его судьбы, о его обездоленности в этой жизни, о крушении надежд и чаяний возле каждого человеческого очага! И это не случайно. Их песни – порождение человеческой беспомощности, безысходности, того самого, о чем говорил и ты. И петь об этом заставляет их собственная участь и участь народа, к которому они принадлежат. – Так заключил Кадырбай свои слова, раскрывающие его душу перед Абаем.

И дальнейшее их общение было разговором двух людей, глубоко понимающих друг друга, равновеликих душой и не разделенных возрастом, поколениями.

В этих разговорах о далеком и близком Кадырбай предстал перед Абаем одним из тех мудрых, ясных и сильных духом, человеколюбивых удивительных акынов, которых он встречал среди людей своего народа. Такими были акын Барлас, пришедший к нему на заре туманной юности, акыны Шоже, Балта. Кадырбай был в чем-то неуловимо похож на всех них и самобытно отличался от них. Но все то, что роднило его с остальными певцами и поэтами степи, проходило корневым стержнем через духовное



естество всех стариков, уважаемых аксакалов, которых любили и почитали в народе.

В какой-то миг Абай словно прозрел: да ведь вот он, перед ним, его истинный духовный отец, тот, кто не говорит ему постоянно: «Старайся приумножить достояние! Усердно паси свой скот! Поднимай детей – расти потомков! Властвуй над другими!», а учит совсем другому! Дарует сыну разум свой! Наставляет на путь благородства и честности, на путь духовного света! Абай вознес благодарный салема старому акыну. По-сыновнему склонился перед ним. Признался ему, что получил от него сокровища мудрых наставлений, каких еще ни от кого слышать не приходилось.

Прошли дни в подобных, волнующих сердце, умных беседах. Абай старался ни на шаг не отходить от старого акына. Молодежь, Ербол, Асылбек и особенно дочь поэта Куандык, хотели увлечь Абая к более веселому времяпровождению, чтобы он поучаствовал в играх с аульной молодежью, но не знали, как к тому подступиться.. На четвертый день Кадырбай сам, почувствовав это, решил прекратить умные разговоры с молодыми гостями и дать им возможность повеселиться. Взяв в руку домбру, старик сказал:

– Вы, мои хорошие, дорогие мои! Поговорил я с вами, и словно потряхнул с плеч годы, сам помолодел! А вот я перед вами, милые мои, предстал словно одряхлевший верблюд, который не в силах подняться с земли. Какой с меня толк! Сколь ни старайся, как ни тужься – а все приходится топтаться на месте и ходить по одному и тому же кругу. И все мои песни постепенно стали смахивать на тоскливые песни старой байбише, которая согнулась над изголовьем детской колыбели. Сколько еще вы можете слушать эти бабкины песенки? Оставьте все это и устремляйтесь навстречу своим мечтам и желаниям! Наше знамя уже поникло и вот-вот готово свалиться на землю. Теперь ему не суждено гордо реять над вершинами. А ваши вершины и перевалы еще впереди! Смело преодолевайте их и никуда



не сворачивайте! Вам незачем находиться в плену печальных раздумий. Умейте радоваться, смеяться и жить! Постарайтесь видеть в жизни как можно больше хорошего! Только не падать духом и не унывать!

Помолчав немного, старик улыбнулся и закончил:

– Теперь идите и веселитесь, а я провожу вас своей песней.

И Кадырбай заиграл вступление на домбре.

Играл он столь искусно и выразительно, что молодежь невольно замерла, покоренная завораживающей мелодией кюя. Затем старый акын запел. В его глуховатом, слегка надтреснутом, но сильном и красивом голосе звучала та природная мощь, которую наделила его одухотворенная степь. По всему чувствовалось, что в молодости у акына был сильный голос. Слова его песни представляли напутствие отца своим детям: «Любезные мои дети, добрые мои потомки! Будьте в этом мире хорошими, добрыми людьми! Пусть следы от вашей жизни останутся в грядущих веках! Постарайтесь быть как могучее дерево-байтерек, под сенью ветвей которого смогут укрыться от невзгод ваши несчастные сородичи, в час лихой беды и великой нужды».

Песня-напутствие, рождающаяся у слушателей на глазах, сопровождалась повторяющимся припевом, сочиненным акыном еще в давние годы: «О, народ мой! Народ мой родной! Много-страдальный народ мой!»

Абай слушал, бледный от волнения. Слова, мотив и, главное, звучание надтреснутого голоса стареющего певца сильно задело сердце молодого поэта. В этом голосе Абаю слышался голос неведомого праотца народа, который слал свою песнь с вершины горы, утонувшей в тумане прошлых запредельных веков. Не в силах справиться с этим странным, могучим наваждением, Абай глядел на старого Кадырбая потрясенными, остановившимися глазами. В горле у молодого поэта перехватило, слезы горького сострадания подступали к нему.



Заметив, как сильно подействовало на Абая пение Кадырбая, его дочь Куандык осторожно коснулась рукою отца, затем перебрала из его рук домбру.

– Отец, – сказала она ласково, с веселым упреком заглядывая ему в глаза, – вы обещали своей песней напутствовать нас на веселие, а вышло, что благословили на слезы. Нет, отец, мы не хотим тосковать! Хотим смеяться, хватит плакать! Мы уходим веселиться, дорогой отец мой, вот как!

Взрыв молодого смеха был ответом на ее слова. Абай тоже был покорен шаловливым задором дочери акына. Все в ней дышало радостной надеждой, непокорством унынию, чудесной, победительной силой молодости!

Когда гости вместе с Куандык шли по направлению к молодой юрте, к ним присоединилось много девушек, аульных молодок и джигитов. Начались игры, веселые и шумные, не стихавшие до самого утра. Звучало много красивых задушевных песен. Играли и в «Бросай платочек», и в «Хорош ли хан», и в «Мыршым» – поиск колечка, когда спрятавший его во рту должен был произнести это словечко. Играли в «Стегай, кушак», когда водивший джигит должен был угадать, которая из девушек хлестнула его по спине жгутом скрученного кушака. Играли в скороговорки.

После игр устроили айтыс, состязания в пении и складывании стихов перед слушателями. Народ Сыбан славился своим веселым нравом, любовью ко всякого рода играм и развлечениям, и аул Кадырбая еще со времен его отца, акына Актайлака, стал известен как место проведения многолюдных айтысов с участием самых известных степных поэтов и певцов. Куандык с малых лет росла в среде, где звучали песни и кюи лучших мастеров-акынов, потому и стала со временем душой веселия и песенных празднеств у молодежи Сыбан. И среди ее подружек было немало искусниц в пении и в игре на домбре.

По установившемуся издавна обычаю, в племенах Сыбан и Найман девушек не выдавали замуж в раннем возрасте. В со-



седних родах даже существовала поговорка: «Состарилась в невестах, сидя дома, как девушка из Сыбан». И в ауле Кадырбая, – в этой юрте для молодых, – было несколько засидевшихся в девушках невест, возрастом уже около тридцати лет. Но все они ничуть не унывали от этого, вели себя вольно и были самого веселого, открытого нрава, большими любительницами веселых игр и шуток. Могли с кем угодно посостязаться в пении, сочинении стихов. И всеми верховодила красавица Куандык. В этих вечерних игрищах она была заводилой, ее несмолкавший звонкий, залиvistый смех заражал всех весельем. От ее беспощадных шуточек джигитам приходилось несладко, особенно тем, кто был неповоротлив и ненаходчив в искусстве красноречия и остроумии. Наказания, которые назначала она, были довольно жестоки. Но все воспринималось с веселым молодым хохотом. И когда попадалась сама, Куандык принимала наказание без всяких обид и оговорок.

Весь вечер Абай и Куандык провели рядом, перебрасываясь шутками, состязаясь в остроумии, затем девушка вызвала его на айтыс. Вызов свой она произнесла в стихотворной форме, напевая под домбру. Абай не привык к песенным состязаниям, когда надо было импровизировать перед слушателями – сочинять стихи и подбирать к ним мелодию на домбре. Поначалу он, хорошо владеющий инструментом, больше полагался на игру и красивое звучание домбры, а в песнопении допускал длинные паузы, слишком тщательно подбирая слова. Среди людей Сыбан были неизвестны многие напевы степи – песенные мелодии Арки¹. Наигрывая их, Абай увлекал слушателей красотой музыки, чем и взял верх над Куандык.

Так завершился первый айтыс между ними. Дальше Куандык перевела свой вызов с песнопений на *терме*, импровизированный речитатив, предлагая посоревноваться в словесном искусстве. Здесь уже главным было не мелодическое начало, а ритмический ход, когда слова должны были произноситься

¹ Арка – степной регион.



быстро, непрерывно и в определенном порядке. Из существующих ритмов Абай хорошо усвоил один простой, но красивый и стремительный терме и теперь, ухватив его и укладывая в него легкие, непринужденные слова, он довольно успешно отвечал на импровизации Куандык. И по ходу состязания Абай все больше вдохновлялся, у него открылся поток веселых, красноречивых слов – и вскоре он вошел во вкус бурного, искрометного терме, сердце его воспламенилось в жарком накале древнего айтыса. Потоки остроумных, веселых, благозвучных слов изливались с двух сторон, вызывая у соперничающих восхищение друг другом. В засветившихся глазах Куандык читалось наслаждение от этого состязания с молодым джигитом, радость вспыхнула в загоревшемся румянцем белом, чудесном лице! Постепенно шуточный словесный спор между поэтами перешел в такое же шутивное восхваление друг друга, остроумные колкости сменились взаимными здравицами.

У джигита в потоке его терме стали проскакивать такие слова, как «любовь», «горячо от любви», девушка отвечала более сдержанным манером: «Досточтимый сватушка, разлюбезный гость наш, сердце радуется твоему приезду! Ты и знатный, ты и родовитый, тебе ли водиться с кем попало! Поэтому мы к тебе – со всем уважением, а ты к нам – со всем почтением!»

И подобным шуточным взаимным двусторонним «уважением» и «почтением» они и обошлись на глазах у всех. Однако красивая, вольнолюбивая девушка и знатный молодой джигит в этот вечер, сходясь в айтысе и просто весело беседуя, в глубине своих сердец почувствовали друг к другу не только почтение и уважение.

В самый разгар всеобщего шумного веселья, когда по разным углам юрты кто затевал какую-нибудь игру, кто пел или горячо выступал в кругу сверстников, Куандык склонилась к Абаю и негромко, чтобы никто не услышал, сказала:

– Песня, бедняжка, не все может передать, что у меня на сердце. Абай, разве я смогу сказать при людях то, что мне хотелось



бы сказать! Много самого сокровенного, что таится в душе, я не смогла высказать в своей песне.

Эти слова она произносила с непринужденной улыбкой, с обычным своим веселым выражением лица, дабы не привлекать к себе любопытных взоров окружающих. Она смело, открыто говорила джигиту о своих чувствах. С его стороны девушка также видела знаки внимания к себе. Их взаимное чувство родилось не в эту минуту, – еще с первого дня знакомства их потянуло друг к другу.

Абай бережно сжал в своих ладонях белые, хрупкие пальцы девушки, почувствовал их страстный трепет, и сердце его вздрогнуло в предчувствии близкого счастья.

– О, Куандык, наши сердца бьются рядом, ты чувствуешь? Как я рад твоим словам! Я мог бы сказать тебе все то же самое!

После этого быстрого, порывистого объяснения среди шума, гомона и смеха молодежной вечеринки Абай с девушкой, при каждом обмене шуткой, в каждом взгляде и улыбке, не могли скрыть нарастающего в них взаимного влечения. Они уже наслаждались, просто встречаясь глазами, нечаянно прикоснувшись руками, поцеловавшись или коснувшись пылающими щеками друг друга по ходу игры.

И когда, с первыми проблесками новой зари, молодежь стала расходиться с игрища, Куандык отправила Абая на отдых в дальнюю юрту к одной одинокой пожилой женщине, проживавшей на краю горного аула. Затем, проводив остальных гостей по местам их постоя, где они могли поспать после бессонных ночных развлечений, девушка и сама пришла в юрту на отшибе. Должно быть, ее хозяйка спозаранку ушла к стаду, – но в юрте никого кроме Абая не было, и была в этой бедной юрте всего одна постель. Может быть, старая хозяйка давно встала с нее и покинула юрту, – там находился Абай, ожидающий красавицу Куандык. Как только она вошла в дверь, он молча метнулся к ней, и в полумгле два молодых сильных тела сплелись в неистовом объятии, словно в борении. И рухнули вместе в бесшумный горячий омут страсти.



После этой первой ночи молодежные игры продолжались еще несколько дней. Но страсть двух молодых людей, вспыхнувшая столь быстро, не разгорелась в пламенную любовь. Между Абаем и Куандык установились ровные, нежные отношения дружбы и взаимного обожания. Им обоим на людях было лучше, чем наедине. Откровенная смелость девушки в страсти, говорившая о ее ранней опытности, несколько смущала Абая, отчасти коробила его.

Куандык давно была засватана в род Кереев. Ее жених, оказывается, приезжал к ней уже несколько раз. Он был женат, Куандык должна была стать его младшей женой. Приезжая к невесте еще до свадьбы, как бы тайно, как того требовал обычай, жених так и не смог пробудить в невесте любовных чувств. Куандык так и осталась холодна к нему. Открывая Абаю душу, девушка рассказала ему о своих печалях и поведала о сокровенных надеждах, которые появились у нее с их встречей. Абай на это ничего не ответил и ушел со свидания в некоторой душевной смуте. У него есть Дильда, мать его детей. Но и Куандык для него вполне достойная пара. Воспитанная в доме высочайшего поэта и отличающаяся тонким, пронизательным умом, она была одной из самых красивых и талантливых молодых женщин, которых только он встречал в жизни. Бесспорно, это так и было...

Однако мыслимо ли хоть в чем-то затронуть честь очага благородного Кадырбая? Или забыть Дильду, детей? К тому же Абай больше испытывал восхищение умом Куандык, нежели сердечное влечение к ней. Сердцем его всецело владела одна Тогжан. Во все эти дни внезапно вспыхнувшей страсти он все равно не мог забыть о ней. И более того – нежный облик возлюбленной восставал перед его внутренним взором, бросая ему ревнивый укор и словно соперничая с красноречивой, яркой Куандык. Ее щедрая любовь, дар открытого пылкого сердца, ее чувственная нежность и все то наслаждение, которое она даровала ему, никогда больше не повторятся в его жизни. И впредь он не встретит равной ей. Но все равно, вдруг вспомнив Тогжан, – даже на



узкой постели, в объятиях Куандык, – он невольно вздрагивал и отодвигался от нее. Да и чувства самой дочери акына к Абаю скорее были дружественными, чем нежными и страстными. В них больше проявлялось восхищение знатным джигитом, нежели женской чувственности и любви. Но, несмотря на это, девушка вновь открыто спрашивала у него, желает ли он соединить их жизни? Затрудняясь с ответом, Абай решил посоветоваться с ней... Если Куандык не возражает, он откроется Карашаш и Асылбеку: ведь это они пригласили его сюда.

– Послушаем, что они скажут, и потом решим.

Куандык согласилась с ним.

Абай говорил по отдельности с Карашаш и Асылбеком. Давно уже относившаяся к Абаю с сестринской нежностью, Карашаш только порадовалась за него. Зная о глубокой сердечной ране молодого джигита, добрая женщина хотела, чтобы он утешился в этой жизни.

Однако ее муж Асылбек решительно выступил против всего этого – настолько же, насколько она была за. Он был просто возмущен.

– Е! Не дело это! – сказал он, нахмурившись. – Да и не по силам нашим что-либо здесь решать. Неужели Кунекен, думаешь, даст в обиду невестку из рода Алшинбая? Это невозможно, если только не решится он на полный разрыв со сватом. И подумай о Дильде – чем она перед тобой виновата? Да и Куандык опозорится перед родичами жениха, и старый Кадеке будет опозорен. Кому это надо? Ты вот что – никому больше не говори об этом. Пусть все останется между нами. – Так закончил Асылбек, тоном, не терпящим возражения.

В этом же духе Асылбек поговорил и с Куандык. Она поняла, что на этот раз ее мечте не дано сбыться. И молодые влюбленные, вполне достойные счастья, молча отступили от своих намерений. Но в последний час прощания нашли силы заверить друг друга, что оставляют за собой надежду на будущее, что еще будут искать новых встреч.



От аула Кадырбая до джайлау рода Тобыкты было два дня пути. Абаю нелегко было покинуть гостеприимный очаг старого акына Кадырбая. И чем больше он удалялся от радушно принявшего их аула рода Сыбан, тем милее и дороже представлялся ему образ благородной Куандык, тепло вспоминались все их свидания. И в голове Абая витал легкий, благостный, хмельной туман.

3

В этом году на всех джайлау было не так, как в былые годы. Лето выдалось пасмурным, серым и унылым, скорее напоминало осень. Таким же оказалось и душевное состояние людей, хотя причиной тому была не одна только погода. Владетели и старейшины родов, даже такие, как Кунанбай, не устраивали у себя в ауле многолюдных сборов с обильными угощениями, как то происходило прежде. И бесконечные сплетни, слухи и толки, наполнявшие раньше, как гудение пчел, аулы Иргизбая, теперь заметно пошли на убыль. Да и причин для споров, коварных наветов и козней по поводу захвата пастбищ уже не было. Считай, что только у представителей Иргизбая да у нескольких владетелей, таких как Байдалы, Байсал, Суюндик и Каратай, после джута сохранился кое-какой скот, а у большинства бедных хозяйств, серых юрт, почти никакой живности не осталось. Для чего теперь стараться захватить как можно больше пастбищ с сочным кормом? Все равно не испить вдоволь кумысу, молока, айрана, чтобы душа утешилась – кормилец степи, скот, был выбит джутом.

Теперь не перед кем было задирать нос степному богатею, некому было наносить обиды завязтому разбойнику – все были бедны, все несчастны. Царь-голод, пройдя по степи вслед за джутом, научил людей вести себя смиренно, тише воды, ниже травы. И прежние владетели тучных стад теперь прикидывались печальниками народа, давали дельные советы, как выжить ко-



чевнику без мяса и молока. Делая вид, что делится последним, богачей отсылал оголодавшим соседям остатки кислого молока, смешанного с водой. И при этом не уставал повторять: «Кормлю голодных! Даю кров обездоленным!»

В суровые, жестокие годы бедствий, когда вся степь терпит нужду и страдания, и джут приводит за собой смерть скота и кочевников, и много людей доведено до голодного безумия, богатею нужно вести себя гибко и осторожно. Бедноте, кому мало что перепадало и в лучшие времена, сейчас надо обещать манну небесную, скорую милость Божию. Только так баям-владельцам удастся сдержать этот угрюмый народ, с голодным блеском в глазах. И это была старая, как сама степь, уловка богатых, записанная в их тайной книге хитрости.

Последний год бедствий выдался особенно зловещим. Огромная часть народу оказалась без пищи, без скота, без надежды на самое ближайшее будущее. Толпы отчаявшихся, с потухшими глазами людей бродили по степи. Они были молчаливы. Они были опасны. На их лицах читалось яростное безумие голодных.

Итак, в это лето на многочисленных джайлау рода Тобыкты не было ни одного праздничного тоя. В обычные времена в эту пору повсюду устраивались праздники с конными играми и скачками – байгой. Сейчас об этом и думать не приходилось. Не то, чтобы скачки знаменитых скакунов, не была проведена даже кунан-байга, состязание жеребят-третьяков. И будь то сватовство, или свадьба, или обрезание – после мероприятия люди быстро расходились, без лишнего шума, довольствуясь лишь одной чашей мяса.

Именно в эти дни томительной тишины и безвременья поползли слухи: появились барымтачи, стали угонять лошадей. Это было равносильно тому, что в пределах Тобыкты появился пришлый враг.

Была пора перекочевки с джайлау на осенние пастбища. Два аула, запоздав, вышли на кочевку позже и отстали от других



караванов. Именно в это время, в пять дней, занятых на перекочевку, из табунов Майбасара, Жакипа и Ирсяя, а также из аула, в котором находился сам Кунанбай, угнали около двадцати нагуленных за лето лошадей. Передавая из аула в аул, весть эту донесли до самых дальних окраин Чингизских джайлау.

Но поймать воров никак не удавалось. Они действовали умно. Подобные кражи обычно трудно скрыть от людей – сначала появляются слухи, затем обнаруживаются кровавые следы преступления: там видели потроха забитой лошади, в другом дворе – шкуру свежезабитого животного. А нынче всего этого нет. Все было тихо, скрыто – и концы в воду.

Кунанбай, Жакип и остальные держали совет и пришли к выводу: «Зло исходит от соседних родов Керей, Найман или же Сыбан». Они пошли на такую дерзость, воспользовавшись многодневной перекочевкой аулов. Растянутые в длину, оторванные от других, кочевые караваны были уязвимы. А те, что угнали лошадей, могли уйти очень далеко, в самую глубину Арки, так и не обнаруживая следов своей кражи.

Кунанбай задержал кочевку и разослал гонцов-разведчиков во все тобыктинские пределы. Конные группы, возглавляемые Изгутты, Майбасаром и Ирсаем, прошлись – кто на рысях, кто скорой иноходью, а кто и бешеной скачкой, взмыливая лошадей, – по самым разным углам Причингизья. Но ни в одном из аулов никаких сведений о барымтачах не обнаружилось. Не могли добыть ничего нового даже такие известные ловкачи, лихие джигиты, как Толепберды, Бурахан, Камысбай, Жумагул. Они объездили все дальние безлюдные сторожевые высотки, глухие впадины и овраги, разбойничьи саи – и не нашли никаких следов.

И в самую суматоху, когда многие джигиты Кунанбая носились по всей округе в поисках конокрадов, у людей рода Иргизбай пропало еще пять лошадей. Но на этот раз не только у них – четыре отгульных кобылы угнали у Байсала, что-то пропало у бая Суюндика. И вскоре к поиску уведенного скота присоединились



джигиты Котибак и Бокенши. Но все равно никому не удалось напасть на след опытных конокрадов. Лишь только и было слышно по аулам: «Увели!», «Опять угнали!»

Кунанбай потерял терпение. Он сам сел на коня, но и ему не удалось ничего обнаружить. Вернулись все атшабары, посланные им. Вернулись дозорные, которых отправляли на дальние сторожевые сопки. Все вернулись ни с чем. Теперь надежду стали возлагать на ночную охрану. Скот аулов сгрудили в один гурт, со всех сторон окруженный вооруженными джигитами, и в таком порядке ночная кочевка обеспечилась некоторой безопасностью.

Пустились в путь с такой поспешностью, словно бежали от степного пожара. Понадеялись: «Может быть, лихие люди отстают от нас, обратят внимание на других! А мы быстро оторвемся от них и, наконец, избавимся от напасти!»

Столь поспешная, суетливая ночная кочевка оказалась в какой-то степени верным шагом. Ибо кражи в Иргизбае почти прекратились, а слышно было об угонах из Котибак, Жигитек. Но не все аулы Иргизбая остались без покраж. Угнали двух стригунков и одну жирную кобылицу из табуна самого Кунанбая. И после этой кражи он вдруг неожиданно заметил: «Теперь я знаю, кажется, чьих рук это дело!» Однако имя вора не мог назвать. Догадка, осенившая его, была такова: «Вор пришел не со стороны. Он не издалека. Он из наших и находится среди нас». Такая мысль не приходила в голову Байсалу или Суюндику. Оба старшины родов впали в крайнюю растерянность и только хлопали ладонями по бедрам. Кунанбай передал для них послание: «Пусть ищут, не прекращают своих поисков!» Однако своими догадками ни с кем не стал делиться. Он послал несколько человек, тайных соглядатаев, в соседние роды и племена. Только он, самолично, давал им задание, что делать. Людей выбрал не из своего окружения, а со стороны, самых невидных и заурядных. Они ни у кого не должны были вызывать подозрения. Например, соглядатай, посланный в род Жигитек, в аул Караша, – дряхлая



старуха преклонных лет, нищенствующая по дорогам. Она имела какие-то родственные отношения с одним захудалым очагом проверяемого аула. И в аулы рода Котибак он послал такого же незаметного на посторонний взгляд убогого старика-жатака. И тайный посланец в род Торгай тоже был старичок, разорившийся погонщик верблюдов. Эти старики были далеки от всяких мирских интересов и человеческих обязанностей. Джут разрушил их очаги и лишил средств даже к самому скудному существованию. Они ни у кого, ни о чем не расспрашивали, им никто ничего не рассказывал. Вряд ли они знали и о разбойных делах в округе. Божьи одуванчики – старички были озабочены только тем, как бы им просуществовать день – всего лишь с утра и до вечера. Никакого особенного задания Кунанбай им не давал – велел только приняховаться да присматриваться к тому, что едят люди в соседних аулах. И сырые, голодные старики исполняли поручение с удовольствием, а потом, вернувшись, об этом непременно докладывали Кунанбаю.

Благодаря столь хитроумной уловке, Кунанбай вскоре нашел злодеев, обнаружил разбойничье гнездо. Это – род Жигитек. Итак, он опять должен будет обрушить свой гнев на этот дерзкий, вороватый род! На сей раз в преступлении были замешаны люди окружения Караша и Каумена.

Теперь Кунанбай не стал колебаться и долго взвешивать в уме, как ему поступить. В отличие от прошлых дел, вина преступников была очевидна. Это оказались джигиты-сероюрточники из Жигитек – Балагаз и Абылгазы.

Балагаз – старший брат Базаралы. Один из самых честолюбивых, гордых, горячих джигитов рода. Абылгазы – сын Караша. Как и сам Караша – все его сыновья отличались дерзостью и задиристостью. Было в прошлом одно событие, явившееся причиной начавшейся вражды между Кунанбаем и Божеем, и к этому событию имел самое непосредственное отношение Караша. Также и Каумен приложил к тому свою руку. Ведь широко известная драка на Токпамбете началась с избиения Кауменом, Карашой



и их людьми двух атшабаров. Они тогда славно помахали плетками. После той отчаянной выходки была Мусакульская битва, и годовая тризна Божея, и много чего другого, – где взрослые сыновья Каумена и Караши заставили громко говорить о себе своими дерзкими подвигами. Базаралы был из этого гнезда. Он и на язык остер, и умен изрядно, и собою хорош – настоящий степной красавец-джигит. Он был огромен, силен, богатырского телосложения, им по праву гордился весь род Жигитек. В нем присутствовал геройский дух, он мог считаться джигитом, который не знает страха, и отважен, как лев. Джут разорил дотла большую часть очагов рода Жигитек, у которого были совсем небольшие пастбища. Аулы Каумена и Караши, считай, погибали. У видных джигитов Арки, таких как Базаралы, Балагаз, Абылгазы, Адильхан, осталось по единственному коню!

Целое лето они никуда не выезжали, терпели дома голод и лишения. Пойти к соседям просить чего-нибудь на пропитание не позволяла им гордость. Несмотря на крайнюю нужду, не пошли на поклон даже к близкому родичу – аткаминеру Байдалы. Джигиты хотели бы пойти в наемные работники, но после джута никто не нуждался в таковых. Да и этим они могли бы прокормить только себя, а куда девать жен и детей? Целое лето Балагаз и Абылгазы видели перед собой голодающих детей, исхудавших до изнеможения матерей, своих жен, а также жен своих старших сородичей, сидевших в кругу голодных детишек. Горестные стоны да причитания, слезы и тяжкие вздохи день-деньской сопровождали джигитов. Они не видели никакого выхода из тяжелой беды, им оставалось только изрыгать проклятия. Часами молча лежали ничком, обхватив голову руками, и каждый переживал про себя свое бессилие перед судьбой. Если и заговаривал мужчина с кем-нибудь, то непременно срывался на злобный крик, не в силах сдержать себя.

О таком душевном состоянии джигитов давно догадался Базаралы. И однажды, сидя с ними на вершине холма, он недобро усмехнулся и заговорил:



– Если не будет согласия и взаимности в народе, то обязательно его когда-нибудь одолеют нужда и нищета. Попробуй откочевать во время военных распрей – наши отцы-матери, жены-дети окажутся на кочевой дороге без нас, брошенные в плен самых тяжких невзгод. Так было во времена великого исхода народа. Все поплетутся пешком, и кочевник будет мечтать даже о детском седле на горбу тощей коровы, как о великом счастье! О, какие только испытания ни посылает нам Аллах!

Летом Базаралы много размышлял и говорил этим же джигитам о горестной доле простого народа. В чем причина этого? Как спастись от окончательного обнищания? Что такое несправедливость, в какую шубу она одета? Беседы эти горячили Балагаза и Абылгазы, приводили их в бешенство. «Дай совет! Подскажи, что нам делать! Укажи выход! Ты можешь помочь?» Однако Базаралы ничего не мог им подсказать.

Тогда они решили действовать сами. Базаралы долго не знал, что Балагаз и Абылгазы по ночам садятся в седла, обвязывают лица черными платками. Сначала пропала лошадь Майбасара. Затем увели лошадь Жакипа. И хотя эти зловещие слухи доходили до Базаралы, он еще не связывал угоны лошадей со своими друзьями и братом. В третий раз – случилась кража лошади Ирсяя. Встревоженный этими событиями, смутно начиная что-то подозревать, Базаралы однажды ночью не мог уснуть, провоцировался почти до утра и на рассвете покинул постель.

Он долго пробыл на свежем воздухе. Пошел на зеленую лужайку за юртой, подставив грудь прохладному ветерку, сел на травку и погрузился в одинокое раздумье. Недалеко находились юрты соседнего аула – четыре-пять очагов сородичей Караша. Была в этом ауле одна чуткая собака по кличке Актос, Белогрудая. При самых первых проблесках утренней зари Актос вдруг залилась тревожным лаем. Сучка лаяла как-то особенно, настолько злобно и неистово, что Базаралы вздрогнул и насто-рожился. Так Актос могла лаять только на появление чужого человека.



Что это за чужой человек в столь неурочное время? Надо узнать, решил Базаралы, Он затаился и стал ждать. Прошло немного времени, к крайней юрте аула Караша подъехали два всадника. Это была юрта Абылгазы. Один из верховых спешился и вошел в юрту. Второй развернулся и поехал в сторону аула Базаралы. Он еще издали узнал коня – это был Аккуйрык, единственный конь его старшего брата Балагаза. Затаившийся в ямке Базаралы приметил, что у прошагавшего мимо коня измученный вид – известному своей рысистой ходкостью Аккуйрыку пришлось, кажется, покрыть немалое расстояние. Все еще возбужденно храпя, не приходя в успокоение, лошадь не могла сразу перестроить норов после быстрой езды на спокойный ход. Она засекалась, частила копытами на месте, закусывала удила и вскидывала голову. Сначала Базаралы подумал, что джигиты вернулись после свидания с какими-нибудь девушками. Но тут же понял, что это не так: в руках Балагаз тащил свой увесистый боевой соил. У Базаралы похолодело на сердце. Теперь он понял, что не ошибался в своих подозрениях. Но решил убедиться до конца. Лег в высокую траву и стал наблюдать за братом дальше.

Подъехав ближе к аулу, Балагаз натянул поводья и перевел лошадь на медленный шаг. А вскоре спешился и повел Аккуйрыка в поводу. Приблизившись к своей юрте, он первым делом воткнул соил за поперечину в низкой ограде, на то самое место, где обычно он и держал свою боевую дубину. Затем, не выпуская повода, потянул за собой коня, направляясь дальше к ущелью, что за высоким утесом, видневшимся недалеко от аула. Когда Балагаз проходил мимо, Базаралы заметил, что лошадь мелко вздрагивает и вся взмылена. По всему было видно, что джигит хочет скрыть свои ночные похождения, даже от людей своего аула.

Очень скоро он, спрятав коня за скалой, вернулся назад и вошел в свою юрту. В то утро Базаралы так и не смог больше уснуть.



За аулом Караши под утесом валялись огромные каменные обломки, между которыми по узким расщелинам было трудно пройти и проехать. Базаралы сходил туда и увидел спрятанного коня брата. Злоба и ярость душили его. Он вернулся домой мрачнее тучи, ничего не сказал домочадцам. Но время от времени его начинало трясти от гнева. Подавленный и угнетенный, он не находил себе места.

Базаралы ждал наступления второй половины дня. Как он и предполагал, к этому времени, после обеда, вновь пришла недобрая весть. Каумен, вернувшийся из соседнего аула, рассказал, что прошлой ночью увели еще одну лошадь Ирсаю.

Когда Базаралы услышал эту весть, Балагаз уже успел отойти от своего тяжелого сна и вышел из юрты наружу. Базаралы подошел к отцовскому дому, туго подпоясанный кушаком, словно собравшись в дорогу.

– Надо поговорить, – коротко сказал он старику. – Выйдемте на улицу.

Он повел отца к ближайшему холмику. По дороге мимоходом крикнул рослому, крепко сбитому Балагазу, чтобы он тоже пришел.

Вскоре старик с сыновьями, Базаралы и Балагазом, сидели на вершине холмика.

Посидев некоторое время в молчании, Базаралы, наконец, поднял на отца хмурые глаза. Обычно приветливое, румяное, излучающее доброжелательство и постоянное душевное веселие лицо Базаралы сейчас выглядело страшным: оно было белым, как высохшая под солнцем кость. Его большие бархатистые глаза налились кровью. Дыхание пресекалось и как-то неровно, с дрожью, вырывалось из груди Базаралы, голос звучал неестественно громко.

– Отец, благодать Божья и в дырявом шатре бывает, так вы нас учили. Никогда я не хотел жить несправедно, со злым умыслом в душе, какая бы нужда меня ни постигла. Вам, отец, всегда было чуждо зло. Вы отличались особенным благородством, люди



вас уважали. Так неужели на склоне лет из-за нас, безумных детей, вы пройдете через черный позор? – Так сказал Базаралы и смолк с растерянным, несчастным видом.

– О чем это он? Что болтает этот негодный?! – испуганно воскликнул Каумен и оглянулся на Балагаза. Тот сидел молча, словно окаменев. Базаралы продолжил:

– Отец, вы не на него смотрите, смотрите на меня! Слушайте меня! Спрашивайте у меня! Нашелся вор, который украл недавно лошадь Майбасара и лошадь Ирская в прошлую ночь. Этот вор – ваш сын, сидящий перед вами Балагаз! – крикнул он.

– Что он несет! Ты о чем это? – в ужасе переспросил Каумен.

– О том, что слышали! Я знаю, теперь все знаю... А ты – попробуй отопрись! – крикнул Базаралы брату.

Балагаз сидел, вспыхнув, едва сдерживая себя. Он не был трусом, и хотя слова младшего брата сильно задело его, он не растерялся.

– Что ты видел? Что знаешь? – вскричал он. – С чего это взъелся на меня? Выкладывай!

– Я видел, когда ты с Абылгазы тайком вернулся под утро! Ваши лошади до сих пор остывают, спрятанные среди лежачих скал. Да ты, брат, – вор, и не смей отпираться. Имей мужество: даже если умереть придется, умри с честью!.. Ведь крал же! Так зачем же еще и врать! Не смей! Выкладывай начистоту, если ты мужчина! – крикнул Базаралы, задыхаясь от непомерной злобы.

Балагаз больше не стал увиливать.

– Да! Твоя правда! – крикнул он, тоже задыхаясь от злости.

– Уа, Балагаз! Пусть кара Создателя настигнет тебя! Да обрушится на твою голову гнев Господень, Балагаз! – горестно закричал Каумен, впервые в жизни столкнувшийся с таким злом и на месте мгновенно сломленный им.

Базаралы, сверкнув глазами, уставился на старшего брата, сидевшего напротив, – и вдруг молча бросился на него.



Оба джигита были крепкие, могучие, как барсы. Их сильные руки и ноги сталкивались в бою, словно дубовые шокпары.

От неожиданности Балагаз не сразу смог подняться с земли, но он изловчился и с силой ударил обеими ногами по ногам Базаралы, тот сразу осел. Балагаз вскочил на ноги и, навалившись сзади на младшего брата, попытался свалить его. Однако более ловкий и гибкий Базаралы сумел устоять и, немислимым образом извернувшись, рванулся навстречу брату. С быстротой молнии Базаралы обхватил его, приподнял в воздух и тяжело обрушил на землю.левой рукой схватив Балагаза за горло, правой нашарил ножны на поясе и выхватил нож с кривым лезвием. Придавив коленом грудь брата, хриплым, клокочущим голосом взревел:

– Зарежу! Будь ты даже мне отцом, а не старшим братом! – И он поднес массивное лезвие ножа к горлу Балагаза. Но тот отчаянно сопротивлялся, отбрасывал его руку с ножом, бился ногами о землю. Сил у Базаралы было больше, он сломил, наконец, сопротивление Балагаза и выжидал мгновение, чтобы полоснуть его ножом по горлу. В это время и схватил его за руку отец.

– Несчастные! Подите вы оба вон от меня, собаки! Что же это вы делаете? Расцепитесь, собаки!

С этими криками Каумен стащил Базаралы с груди Балагаза и отволоч его по земле в сторону.

Высвободившись из крепких, как стальные капканы, рук младшего брата, Балагаз не сразу пришел в себя. Поднявшись на ноги, он уже не хотел ни нападать, ни защищаться, в нем пробудилось и забушевало негодование.

– Оу, да ты сволочь! Пес настоящий, хотя мы из чрева одной матери рождены! Ты же младший брат, а влез мне на грудь с ножом в руке! Хоть и тошно, не могу отказаться от родства с тобой! Как ты мог! – гневно и обиженно выговаривал он брату.

Базаралы молчал, вид у него был угрюмый и отчужденный. И теперь Балагаз, окончательно придя в себя, заговорил более спокойно и уверенно.



– Ты спросил у меня, я ответил тебе. Открыл свою тайну. А если бы я стал отпираться, что бы ты смог узнать? Воры везде хватает скотины. Что бы ты сказал, если бы я ответил, что ездил к соседям-кереям кое-что уяснить для себя? Не только Кунанбай – сам бог пусть попробует напасть на мой след! А для себя ли я делал все это? Ты считаешь меня вором, но попробуй сначала вникнуть в дело. Разве я крал ради своего живота? Опять нет – я крал скот ради многих родичей, сидевших дома голодными. Я пошел на это не оттого, что позарился на чужое добро. И хоть мне было противно барымтачить, но я делал это, и признаюсь, что буду продолжать красть скот у богатых. Почему я нищий, а они богатые? Да потому, что они разбогатели на моей бедности. Куда делась моя земля? Они отняли. Где моя честь, моя гордость – не они ли надругались над этим, сделав меня нищим? Все отняв у меня, они бросают мне крошки со своего дастархана. И пусть я вор, но я спасаю от голодной смерти своих родных и близких. Я не гребу под себя добытое таким способом, нет, – я все раздаю голодающим, чтобы они не умерли. И пусть хоть голова слетит с моих плеч! Но ты не остановишь и не свернешь меня с этого пути! Беру у тех, кто живет в достатке и сытости и ничем не хочет делиться, и отдаю тем, у кого ничего нет. Ты думаешь, что схватил жалкого паршивого вора? Нет, я не вор, я мститель. Ты вправе был упрекнуть меня, если бы я тронул слабого, обездоленного, беззащитного! – Так сказал Балагаз своему брату.

Несчастный, подавленный горем Каумен не стал даже вникать в слова Балагаза. За всю долгую жизнь у Каумена не было такого случая, чтобы он положил чужое в свой казан. Старик-отец пришел к единственному решению: изгнать Балагаза.

– Уходи! Уходи! Кочуй от меня подальше! Видеть тебя больше не хочу! Сейчас же откочуй! – решительно приказал он.

Базаралы, сурово насупившись, застыл в молчании. Близкие, родные души: отец и два его сына, а перед тем, как расстаться, каждый из них думал только о своем. И мысли их были далеки,



далеки друг от друга. Балагаз, исполняя волю отца, в тот же вечер откочевал на земли аула Караша.

А через четыре дня после переезда туда Балагаз дерзко угнал из аула самого Кунанбая сразу пять лошадей. У Балагаза было немного сообщников из джигитов. Пока что ими стали Абылгазы и Адильхан. Все трое свои ночные вылазки и захваты проводили ловко, быстро и расчетливо.

В самом начале барымты Абылгазы съездил за Аягуз, в далекий Найман, и там нашел сообщников, четырех джигитов под стать себе. Их тоже заставил сесть на коней и завязать лица черным платком прошумевший апрельский джут. Все четверо были вполне достойными, разумными, общительными джигитами, всем четверым были присущи степная удаль и отчаянная бесшабашность молодости.

Обе стороны согласились на том, чтобы каждая на местах выслеживала добычу у своих богатеев. У бедных сероюрточников решили ничего не трогать. Таких сильных владетелей из Семиз-Найман, как баи Садыр, Матай, брали на себя найманские джигиты. Тобыктинских же баев, таких как Суюндик, Каратай, Ирсай и Кунанбай, Балагаз и его подельщики брали на себя.

Они никогда не должны были появляться вместе. Разъезжать должны как путники-одиночки. Важной стороной уговора было: не брать добычи на чужой стороне. Когда тобыктинцы приезжали в Найман, местные джигиты сами решали, у кого что взять и сами выводили ими же украденный скот. В краю тобыктинцев этим занимались Балагаз и его люди.

Конокрады с обеих сторон отлично знали степь, все дороги. Наизусть выучили, какие водоемы безлюдны и в какое время, по каким урочищам проходит мало людей в некое время, какие имеются незаметные схоронки и затаенные овраги и ущелья, чтобы прятать угнанный скот.

Обе группировки проявляли невероятную находчивость, неизменно уходя от преследования атшабаров, всегда вводя их в заблуждение и оставляя в дураках. Все хитрости и уловки, кото-



рые придумывал Балагаз, затем осуществлялись объединенной шайкой конокрадов. Он постоянно учил их, как не попадаться на уготовленные им засады, как быстро уходить от преследования и заметать за собой следы.

Таким образом, маленькая шайка из пяти-семи барымтачей держала в страхе два округа, внезапно налетая на стада богатеев, как стая матерых волков.

И каждый раз по утрам, если опять обнаруживался разбой и угон, люди Кунанбая и Байсала, свирепо подгоняемые вождями, вскакивали на коней и мчались по неведомым следам, слепо надеясь на удачу. Разделившись на группы по два-три человека, они рассыпались во все стороны, обшаривая все возможные утайки и схороны для угнанного скота. Если им навстречу попадались люди из далеких Керей или Найман, они подвергались подробному дознанию – куда и зачем едут. Боясь возвращаться назад ни с чем, атшабары забирались на сторожевые сопки и с их вершин днями напролет всматривались в пустынные окрестности родного края.

Однако каждый раз по возвращении они докладывали: «Ни мухи пролетевшей, ни жука проползшего мы не упустили из виду!» Или напускали тень на плетень, говоря: «Возможно, это свои! Тогда их надо искать на Чингизской стороне!» И сами же, поверив себе, во всю прыть скакали к горным перевалам. Но всюду их ждало разочарование.

А Балагаз действовал смело, крайне дерзко, постоянно рискуя головой. Захватив лошадей из какого-нибудь аула, он не уносился во все лопатки по открытой степи. И к найманам переправлять краденый скот не спешил. Он выжидал, обычно пять-шесть дней, пока возбуждение у людей не уляжется, и прятал коней здесь же, в Тобыкты, особенно далеко не уводя их. Держал животных почти у того же аула, в котором была совершена кража, – на расстоянии этак в один овечий перегон. Старался никогда даже не приближаться к сторожевым высоткам и дозорным холмам, откуда его могли раскрыть и обнаружить.



В этом году здесь много угодий было оставлено под осенний сенокос, и там было безлюдно.

Каждый раз угоняя не больше пяти-шести голов лошадей, Балагаз гнал их к тому месту, где ждали джигиты-подельники. Они прятались где-нибудь в укромном овраге, туда приходили пешими, имея при себе только уздечки и конские потники. Балагаз, Адильхан и Абылгазы пригоняли и передавали им краденых лошадей.

После того как найманы получали коней, Балагаз забирался на какую-нибудь высотку и сам вел дозор. Барымтачи, прячась в овраге, ждали его сигналов. И если вдруг появлялись преследователи или просто случайные путники, Балагаз взмахом руки давал знать, в какую сторону они направляются. И тогда шайка уходила в другую сторону. Они никогда не спешили, совершая эти конные рейды. Уходили бесшумными, скрытыми переходами, перебираясь из одной лощины в другую. И все это происходило под неусыпным наблюдением Балагаза. Порой бывало и так, что преследующих и конокрадов разделяла всего одна сопочка. Балагаз был неуловим потому, что крутился возле того самого аула, где была кража. Для отдыха они занимали овраги и ущелья в тех местах, где только что побывали преследователи. Таким образом, хоронясь и кружась на месте, они выжидали несколько суток, а потом за одну ночь переправляли лошадей в сторону Найман.

Старуха, посланная Кунанбаем в аул Караша, ничего не знала об этих разбойных делах. И она вернулась бы назад, ничего не разведав, ибо Балагаз и его подельники не резали скот у себя дома и свежее мясо туда не приносили. Но однажды Абылгазы поддался искушению и после того, как проводили людей из Найман, прихватил для домашнего казана небольшой кусок от упитанного стригунка, зарезанного накануне у безлюдного водоема.

Мясо было сварено поздней ночью, когда люди уже давно спят. Однако нос старухи, пришедшей в аул вынюхивать, кто что



готовит на очагах, сразу учуял запах конского мяса. Она выждала на улице, пока сварится мясо, и внезапно вошла в юрту в то самое время, когда его ставили на дастархан перед хозяином. Узрела старуха свежее конское мясо и сразу определила, что это мясо жеребенка.

Кунанбай сразу же отправил гонца к Байдалы с таким посланием: «Похоже, это дело рук твоего родича, самого Караши, о чем ходит немало толков. У меня есть верное подтверждение. Теперь, приехав ко мне, пусть попробует оправдаться. Если Караша не захочет приехать сам, пусть присылает поручителем за себя Каумена. Каумен обо всем знает. Он человек, который не поступает своей совестью. Что он скажет, тому и поверю, полагаясь на его совесть и честь».

Байдалы не стал дознаваться у Караши, а сразу же приступил к Каумену. Тот решительно начал отнекиваться, заявив, что не собирается быть поручителем ни за Карашу, ни за собственного сына Балагаза, от которого уже давно отказался. Но Байдалы, почувяв что-то неладное, не отставал:

– Или обвини, если знаешь правду, или оправдай! Кунанбай поверит твоему слову, и не отстанет от тебя, пока ты не скажешь. Если ты наверняка знаешь, что они неповинны, – чего тебе стоит поклясться в этом? Зато родичей своих, самых близких, защитишь от напрасных обвинений!

И тут простодушный Каумен выдал себя.

– У меня нет второй души, которую я готов был бы потерять перед Аллахом за ложную клятву. У меня всего одна душа, и клясться в том, что они не виновны, я не стану...

И тут словно гул прошел по Иргизбаю: «Каумен отказался ручаться за родичей! Значит, воры – из аула Караши!», «Считаются родичами, а поступают как враги!», «Не простим этого, пусть не ждут пощады! Аулы силой возьмем, все дома сожжем вместе с людьми!» Так бушевали и распинались Майбасар, Жакип и другие.

Они натравливали и Кунанбая:



– Ты не только зубы им показывай! Ты рви на куски, не жалей их!

Но Кунанбай, как и всегда, видел глубже. Этот последжудтовый год для всех проходил очень тяжело. Надо было крепко подумать, прежде чем решиться на что-то жесткое. К тому же, у него наконец наладились хорошие отношения с Байдалы. Помимо всего этого, воры угоняли коней не только у иргизбаев, но и у самих бокенши и котобаков. Они не обошли и самого Байдалы. Значит, тут надо действовать с ним заодно, и если дело сладится, то нанести удар его руками. В любом случае вся вина за покражи должна лечь на Жигитек.

Придя к такому решению, Кунанбай умерил пыл Майбасара и других:

– Надо подождать. Набраться терпения. Караша от нас никуда не уйдет. А вам надо сначала успокоиться!

И он снова послал атшабара к роду Жигитек. На этот раз поехал старый Жорга-Жумабай. Первым делом он явился к Байдалы. Кунанбай благодарил его за то, что он очень умно повел себя с Кауменом и заставил его, в сущности, ясно высказаться о ворах. А теперь, сообщил Жумабай, вызываются Караша и Абылгазы для личной встречи с Кунанбаем.

Байдалы нечего было возразить, и он сказал:

– Пусть повидается с ними и поговорит как родич с родичами! Это дело. Я так все и передам Караше.

Приглашение Кунанбая было передано, но Караша и Абылгазы никак на это не откликнулись. Байдалы начал было угрожать, но те были не из робкого десятка. И тогда Караша и Абылгазы оказались перед двойным обвинением: крадут скот и не хотят ответ держать перед властью.

Все это было в пользу Кунанбая.

Иргизбаи стали днем и ночью следить за аулом Караша. Абылгазы, Адильхан и Балагаз вдруг исчезли куда-то. Пошли всякие толки: «Скрываются. Ушли от суда».

А толки и кривотолки все росли, барымтачами стали называть всех тех джигитов из аулов Караша и Каумена, которых почему-



то долго не бывало дома. Распространились слухи: Абылгазы действовал не один, у него большая шайка, надо всем миром выходить против них.

Слухи эти исходили из Иргизбая и быстро облетели все аулы. Балагаза и Адильхана уже открыто называли сообщниками Абылгазы. Когда тот не явился на вызов, были вызваны к волостному Балагаз и Адильхан. Караша и Каумен передали через людей, что они советуют им съездить к Кунанбаю.

Но Балагаз решительно отказался от поездки. Друзьям-сообщникам он сказал:

– От Кунанбая мне пощады не ждать. Он давно ищет моей головы, крови моей жаждет. Так зачем же я сам буду прыгать ему в пасть? Мне уже терять нечего. Но пусть попробуют сначала поймать меня! Пусть заарканят, свалят на землю и накинут узду. Я же все равно назван злодеем. Пусть! Но я не хочу, чтобы меня называли «послушным злодеем», или «расчетливым злодеем», или «сговорчивым злодеем». Лучше умру, но не потерплю такого унижения.

Дерзкий вызов Балагаза и Абылгазы заставил Кунанбая задуматься. По привычке прежних лет, ему бы сейчас устроить хороший набег на аул обидчиков, отнять имущество и разорить их дотла. Но теперь, после бедствий страшного джута, Кунанбай чувствовал, что народом правит не его власть, а власть царя-голода, – любая неосторожность может вызвать большую беду.

В голову пришла мысль: жаловаться начальству, русским властям. Пусть пришлют урядников, те сами поймают воров и в кандалах увезут отсюда в тюрьму.

Но к этому времени в законах царской власти многое переменялось. Ага-султанство было отменено, громадный край Тобыкты был поделен на три дуана, и Кунанбай еще не ездил во власть и не представился новому начальству. А уже скоро начнутся выборы-перевыборы, и в такое время соваться к незнакомым начальникам с жалобой на свой же подведомственный народ



было делом весьма нежелательным. Был расчет – подождать, хотя бы до конца выборов.

Да, переждать бы нужно, однако шайка Балагаза – Абылгазы разгулялась не на шутку. Власти волостного старшины не признают: два раза посылал за ними, они и в ус не дуют. Этак они просто возгордятся собой, решат, что наступило безвластие, и им можно делать все, что они хотят. В состоянии какой-то внутренней раздвоенности, Кунанбай собрал отряд своих джигитов и отдал им приказ: «Изловите всех до одного, когда они появятся в горах, и приведите ко мне!»

Но Балагаз был не из тех, кто легко дается в руки. Все его джигиты разлетелись по разным направлениям. Погоня за ними была безуспешной. А когда утомленные преследователи вернулись назад, вслед за ними возвратились и Балагаз, и вся его ватага. И тут же случился угон из табуна Кунанбая: барымтачи увели несколько откормленных стригунов.

Угон лошадей произошел в дни, когда аулы въезжали в свои зимовья. Дни стояли уже по-осеннему холодные, коровы и кобылы плохо доились, и народ мучился от нехватки молока. Барымтачи теперь крали мелкий скот, а из лошадей уводили только молодых жеребчиков и недойных кобылиц.

Кунанбай вызвал к себе Базаралы, тот повел себя не так, как другие жигитеки, и на приглашение волостного старшины явился сразу.

Кунанбай жил отдельным очагом с новой токал Нурганым. Они недавно перебрались в зимник. В комнате было тепло, убранство красивое, нарядное, как в доме молодоженов. Хозяйкой была высокая, статная, большеглазая красавица Нурганым. В ней молодость сочеталась с отменным здоровьем и самым веселым открытым нравом, розоватый румянец лежал во все ее полное белое лицо. С правой стороны носа, у самой раковинки ноздри, темнела маленькая родинка – словно редкостное украшение. Сильный стан у Нурганым гибок и строен, все тело у нее крупно, но соразмерно, как у истинной красавицы.



Ожидая, что скажет Кунанбай, Базаралы с невольным вниманием вглядывался в Нурганым и удивлялся про себя: «Надо же, где старик нашел себе такую красавицу-токал!»

Нурганым держалась скромно, но была ненавязчиво свободной в поведении и уверенной в себе. Непринужденно и весело отдавала приказания по дому, велела принести чай, развернуть дастархан. За чаем она открыто, не пряча глаза, смотрела на гостя, на мужа, разговаривала с ними о разных хозяйственных делах по зимнику. Кунанбай ласково называл ее Калмак – «Калмычкой». После чая он сказал ей:

– Калмак, дорогая, вели убраться все. Я хочу поговорить с Базаралы.

Нурганым без суеты выполнила просьбу мужа и, когда прислужница вышла с посудой на подносе, сама осталась в комнате, но села в стороне, по-мужски поджав ноги.

Кунанбай повел разговор спокойно, без всякого напряжения в голосе. Он говорил с Базаралы как с человеком, равным себе. Начал с того, что взывало к самолюбию джигита. «Они ведь позорят и тебя. Ты истинный джигит, ты гордый, дорожишь честью. А они что? Черное пятно на твоём честном имени. Ты ведь не станешь их защищать, и я знаю, что у тебя нет для них оправдания. Что ответишь мне?»

Базаралы с ответом не задержался.

Пристально глядя в лицо Кунанбаю, он отвечал немногословно, но с большим достоинством, ясно и красноречиво: «Да, я приехал, но не для того, чтобы защищать грабителей. Я сам давно осудил и порвал с ними. Балагаз мой родной брат, отец у нас один, но наши пастбища разные. Мы решили не встречаться друг с другом в этой жизни».

От горячего чая лицо у Базаралы разругалось, глаза весело заискрились, как в его самые добрые, беззаботные дни. И он предстал сейчас во всей притягательности своей мужественной красоты. В его осанке, в богатырском размахе плеч, в могучей ширине его груди и мощном кряжистом стане – во всем его



мужественном облики нет и не может быть хоть чего-нибудь, напоминающего о робости, подобострастии. Но при всем этом удивительно смотрелись его небольшие руки – с тонкими, белыми, гибкими пальцами музыканта.

Кунанбаю, дожившему до своих лет, еще никогда не приходилось встречаться и разговаривать с джигитом из рода Тобыкты, который был бы столь непринужденным и свободным в обращении с ним. Кунанбай искренне расположился к гостю и про себя восхищался им.

И все же, в текущем разговоре Кунанбай не мог не бросить в его сторону легкого упрека:

– Уа, коли осуждаешь воров, помоги их поймать!

На что у Базаралы был ответ:

– Я обвиняю их, это так. Но что за причина, заставишая людей пойти на грабеж и разбой? Джут всему причина, вот где корень зла. К этому еще добавляется одна великая несправедливость, которая кочует среди наших родичей. Кому-то из них, пускай даже из самых уважаемых и старших, достается все, а другим, сидящим поодаль от тора, ничего. К чему это может привести в конце концов? Вот, взять джут и все муки и беды от него. Уважаемым и старшим, имевшим много скота, удалось спастись, они выжили, хотя и похудели немного. А тем, которым и прежде приходилось затягивать пояса на тощих поясах, худеть дальше уже стало некуда, осталось только умереть! И, надеясь на одну милость Аллаха, они, словно малые дети, стали проливать горючие слезы! Так есть ли хоть одна душа, которая задумалась бы над всем этим? Есть ли в нашем народе арыс великий, который пожалел бы их, готов был бы разделить с народом его мучения? Я приехал к вам с единственной целью – из своих уст задать вам этот вопрос и уяснить для себя, с вашей помощью, конечно, – есть ли на это ответ?

Хозяину не понравилось, что, не ответив на заданный им вопрос, гость выставил встречный. Кунанбай смотрел единственным своим глазом – уже не очень приветливо – на Базаралы.



Глухо загудевшим, осевшим голосом он стал отвечать джигиту избитыми, далеко не новыми в этом мире словами: «Воля Всевышнего... предначертание судьбы... джут приходит не по воле человека... винить некого... Разве состоятельные не оказывают помощи бедным по мере своих возможностей? А ведь всех голодных не накормишь... Достойного человека красит терпение, сдержанность. Не следует роптать на волю Всевышнего... смиренно надо принимать все... Куда все видит...»

Но Базаралы не смутили все эти слова, тем более не оставили – «воля Всевышнего», «Куда все видит» – притом что народ, оказывается, бедствует по его «воле». А если бы люди, считающие себя отцами народа, помогли ему, накормили бы людей? Вместо того чтобы все отсылать к Всевышнему и говорить о покорности перед ним? Может, бедным лучше живыми лечь в могилу, бормоча, что такова воля Божия?

Теперь, после таких слов гостя, Кунанбай счел для себя недостойным продолжать разговор с джигитом. Он только мрачно нахмурил брови, сверкнул глазом и решительно закончил:

– Теперь моя совесть чиста перед тобой. Выходит, что впредь между нами встанет вражда. На свою беду, Балагаз и Абылгазы собирают над своей головой грозные тучи. Кончат они плохо... И ты остерегайся. Когда это произойдет, не говори мне, что я не предупреждал.

Разговор был закончен. Базаралы, прежде чем встать, сказал:

– У меня нет никаких дел с Балагазом. Что будет с ним, то пусть и будет. Не о нем речь. А вот вы – всю жизнь словом и делом загоняете людей в страх, все силы свои тратите на это! А народ тратит все свои силы, чтобы угодить вам и смягчить ваше отношение к себе. И все тщетно! Видно, вам с народом никогда не сойтись добром. И нам с вами не сойтись. Судьба бросила между нами одно лишь поле раздоров. – Так сказал Базаралы и надел тымак на голову.

Его последние слова остались без ответа. Он встал, учтиво простился и неторопливо направился к выходу. Нурганым и Ку-



нанбай провожали его взглядом. Сдержанный, сосредоточенный и спокойный, Базаралы вышел, не проявив никакого смущения или смущения.

Кунанбай продолжал смотреть на закрывшуюся дверь, за которой исчез Базаралы. Затем сказал, обратившись к Нурганым:

– Славный Базаралы! Какой красивый джигит, как могуч духом! Нет другого такого в наших краях! Думается, что душа у него полна сокровенного света. Иншалла! Только почему судьба судила ему родиться от этого короткорукого Каумена!

Так сказал Кунанбай, одновременно выражая в своих словах и восхищение, и зависть, и какое-то невольное сожаление...

Нурганым весь разговор прослушала с огромным интересом и вниманием. Доводы Базаралы для нее были убедительны. А только что произнесенные слова ее мужа пробудили таившийся в ней большой, искренний интерес к этому красивому батыру. Из зависти и восхищения, выраженных Кунанбаем к Базаралы, сердце молодой женщины выбрало восхищение. И встрепенулось, и сладко заволновалось.

4

Народ известили о предстоящих выборах. Кунанбай вызвал к себе Абая.

Всю осень Абай провел на Жидебае, в добровольном уединении, ни с кем не встречался и много времени отдавал домбре, играя известные кюи, также и сочиняя свои мелодии. Его любимая, бархатно звучащая выразительная домбра научилась рассказывать о многом, самом сокровенном. Стоило ему заиграть «Желтую реку Саймак» или «Плач двух девушек», а то и замысловатое «Пение жаворонка», как знакомые, уже много раз игранные мелодии вдруг открывались новой стороной, вводили в новую увлекательную историю. Асан Кайгы одиноко ехал по степи, погоняя верблюда. Алшагир, уединившись под



скалой, играл горестный кюй. Все они метались по белу свету, гонимые мятежной душой, не соглашаясь примириться с тем, что видели вокруг себя – с печалью в сердце, не имея возможности осуществить свою мечту.

Все чаще мысли Абая возвращались к летней встрече с Кадырбаем, к его словам: «Прошлое оставило нам много своих неискупленных печалей, безысходных горьких размышлений». И советовал: «Постарайся услышать все это в творениях акынов, в мелодиях песен, в искусном рассказе кюйши, когда домбра и вздыхает, и плачет за него». И Абай, играя на своей старенькой домбре, старался уловить в ее звуках голос глашатая прошлых лет.

В своем уединении Абай забыл, казалось, обо всех развлечениях, играх и похождениях, присущих молодости.

Недавно приезжал Ербол, звал Абая с собой в поездку по аулам, пытаясь соблазнить его обещанием самого веселого времяпровождения. Напомнил ему о некоторых прошлых похождениях, с игривым видом назвал имена нескольких красавиц... Но Абай и тут не загорелся. Ербол пробыл у него несколько дней, именно в эти дни и была сочинена изысканная по звучанию песня «Сап-сап, конилим» – «Угомонись, душа». Так он ответил на предложение Ербола, и когда Абай исполнил ее, под готовый аккомпанемент на домбре, друг его начал пенять ему:

– Оу, Абай, ты решил, никак, совсем проститься с молодым баловством? Не рано ли, Абайжан! Тебе же нет и двадцати пяти! Карагым, тебя никто не поймет, над тобой будут смеяться!

На это Абай лишь коротко рассмеялся, забавляясь озабоченным видом друга, и снова склонился над домброй. Теперь он так и жил: в часы одинокие доверял словам и музыке все тайны своей души. Он полюбил песенную форму терме, много работал в ней. Именно напевный речитатив в сопровождении мелодии домбры позволял ему высказать многие сокровенные мысли. «Угомонись, душа!» он тщательно отработывал несколько дней.



Ерболу суть самой песни не очень нравилась, но слова ее запоминались легко, и он невольно подпевал Абаю, сидя рядом с отсутствующим видом. И если кто-нибудь, с чутким и умным сердцем, посмотрел бы на них в эти дни, то мог бы подумать, что двое друзей с грустью прощаются с навсегда уходящей от них первой молодостью: «Кош! Кош!»

Пришла пора Ерболу возвращаться домой. Абай перед прощанием сказал ему взволнованным, проникновенным голосом:

– О, я не призываю старость, мой Ербол! И с молодостью расставаться не спешу! Разве есть в нашей жизни что-нибудь лучше молодости? Ничто не заменит ее. Я это знаю, Ербол. И не желаю ее терять так рано. Просто вместо пылкой жеребьячьей юности я хочу иметь молодость умную, содержательную. Я открыл для себя этот путь – о, какие радости ожидают на этом пути! Душа замирает! Я не могу тебе все объяснить, но ты когда-нибудь узнаешь, дружище! Когда-нибудь я смогу тебе все сказать...

Вызов Кунанбая пришелся именно на тот день, когда уехал Ербол. Абай тут же сел на коня и отправился в Карашоки.

Он подъехал туда к часу, когда люди отходят ко сну. Приближаясь к отцовскому зимнику, Абай увидел едущего навстречу по тугаю огромного всадника, с непомерно широкими плечами. Приблизившись, Абай узнал в нем младшего брата Оспана и, натянув повод, остановил лошадь. С ним Абай давно не встречался, тот жил в ауле отца, но никак не думал старший брат, что Оспан за это время может вымахать в такого детину – настоящий великан! Он был намного выше Абая и шире в кости. Ему было восемнадцать лет.

Оспан быстро приблизился к Абаю и затем резко остановил коня. Широко улыбаясь, сразу же начал рассказывать:

– Сегодня зашел к отцу, а он давай меня допрашивать, словно ангелы Мункир и Нанкир у грешной души: «Постишься ли в уразу? Читаешь пятикратный намаз? Отправляешь ли все, что положено по мусульманскому уставу?» Хотел я по-честному



признаться, что чист от всего этого, как дикий степной кулан, но не решился. Скандал бы поднял батюшка. Отвечаю: да, отец, все отправляю, как положено. А он обрадовался, давай меня нахваливать, и поучать, и мудрые вещи высказывать. Одним словом, проторчал я возле него весь вечер. Куда денешься? Пришлось и впрямь намаз читать, и притвориться, что держу пост. Так и получилось, что дождался я до *ауыз ашар*¹, чтобы потрапезничать, словно правоверный. Быстро съел всю горячую еду, приготовленную на вечерю, и поехал домой. А тут вот, – тебя встречаю! Ассалаумагалеikum! – Так завершил свой рассказ Оспан и захохотал от всей души.

Невольно заразившись весельем брата, Абай тоже рассмеялся, однако не преминул поддеть Оспана.

– Е-е, разве был бы такой веселый, если не обманул родного отца! Вот ты какой, Оспанжан! – сказал, улыбаясь, Абай и, отпустив поводья, стронул коня с места. Оспан по своей неповоротливости не нашелся, что ответить старшему брату, и, хлестнув темно-серую лошадь камчой, сразу пустил ее рысью.

По прибытии в Карашоки Абай не пошел сразу к отцу, а сначала отправился в дом старшей матери, Кунке. У нее жил Кудайберды, ее сын, – самый любимый старший брат Абая. Он в последнее время сильно прихварывал, и Абаю вперед всего остального хотелось справиться о его здоровье.

Кудайберды лежал на высокой постели, влажно покашливал. Он был очень рад приезду Абая. На бескровном лице появился слабый румянец. Его черная, как смоль, борода была запущена, спутанными косицами лежала на груди. Ключицы и крупные мослы на руках устрашающе выпирали. Под сухой прозрачной кожей читались вздутые синие вены.

Увидев, в каком плачевном состоянии находится брат, Абай внутренне содрогнулся. Быстро, стоя поодаль, разделся и затем подсел к постели больного.

¹ *Ауыз ашар* – время разговения.



Грозная болезнь сделала свое дело. Абай приезжал две недели назад. Тогда еще не проявлялись эти страшные признаки... Кудайберды ласково взял в свои ладони руку Абая и, поглаживая ее, молвил:

– Хорошо, что приехал...

Младший брат молча, обеими руками охватил костлявую руку больного, поднял и прижал к своей груди. Оба ничего больше не сказали. Печаль двух искренне любящих душ, их скорбное предчувствие скорой вечной разлуки никакими словами нельзя было выразить. Спустя долгое время Кудайберды заговорил первым. Голос у него был совсем слабым.

– Заходил к отцу?

– Нет еще. Вначале к тебе.

Вошли в дом трое мальчишек, увидев из соседнего двора, что приехал Абай. Все трое были сыновья Кудайберды. Старший – лет двенадцати, Шаке, второй – восьмилетний Шубар. И самый младший – от другой матери, токал, звали его Нуртаза...

Подозвав ребят, Абай всех расцеловал в щеки. Шаке и Шубар уже начали учиться, в каждый свой приезд дядя интересовался их учебной. Дети были сильно привязаны к нему. И сейчас он сгреб разом всех троих в объятия. Глядя на то, какую радость им принес Абай, Кудайберды разволновался до слез и отвернулся лицом к стене.

Заметив это, Абай немного повозился с детьми, затем сам проводил их до выхода. Вернувшись, снова сел возле больного брата.

Кудайберды движением головы показал в сторону двери и тихо заговорил:

– Вырастут ли? Станут людьми?.. Они как младшие братья тебе. Я уже не буду знать, кем станет каждый из них... Что выпадет в жизни на их долю? – Так говорил Кудайберды, он будто прощался со своими детьми.

Из глаз Абая выкатились две крупные слезы, упали на грудь. Голос его задрожал:



– Мой долг, Баке, насколько хватит сил, воспитывать их и помогать в учебе.

Теперь Кудайберды стал успокаивать Абая:

– Не плачь, Телькара! Прошу тебя, не плачь.

Снова они смолкли и замерли, не глядя друг на друга. Вскоре Кудайберды, успокоившись, лег на бок, лицом повернувшись к брату. И при этом, самом незначительном, движении зловещий кашель вырвался из его груди. Абай подтянул выше стеганое корпе и укутал им плечи брата.

Кашель утих, теперь Кудайберды спокойно заговорил о разном, братья повели тот непринужденный, доверительный разговор, какой всегда бывал у них при встречах.

– Абай, ты имеешь представление, зачем тебя вызвал отец?

– Нет, Баке.

– В таком случае, слушай меня. Сегодня из дуана прибыл торе, выборщик. Отец велел принять его в ауле Жакипа. Люди, окружающие торе, проговорились, что есть одно свободное место на новую должность – старшины нашей, недавно созданной, новой волости. Отец собирается на эту должность выдвинуть тебя. Что ты скажешь на это?

– А ты что скажешь, брат, что посоветуешь?

– Если хочешь послушать меня, то скажу: не соглашайся! – Кудайберды глубоко задумался. Потом продолжил: – Быть во власти – это не самое лучшее занятие для человека. Мы же видели своими глазами, Абай... Власть бека, власть бия – любая власть портит человека, никогда не приводит его к счастью, а только вызывает на его голову людское проклятие. Не растрачивай попусту свою молодость, Абай!

Абай ответил, даже не задумавшись:

– Все, что ты сказал, Баке, это истинная правда!

– Такежан чуть ли не на коленях вымаливает у отца эту должность. Ох, как ему хочется власти! Ну и пусть себе получает. – Сказав это, Кудайберды словно споткнулся и умолк...



До самой ночи, когда люди уже отошли ко сну, Абай не покидал больного. По его просьбе взял домбру в руки и играл много любимых кюев брата. Когда снова пришли домой дети, Абай пересказал одну главу из «Тысячи и одной ночи». Дети, окружив его, не отрывая горящих глазенок от дяди, с огромным вниманием слушали сказку. Потом все трое, счастливые и радостные, легли спать рядом со своим обожаемым дядей, который так хорошо играл на домбре и был самым лучшим сказочником на свете.

Нуртаза и Шубар заспорили:

– Я лягу с этой стороны возле Абая-ага!

– Нет, я! Почему ты?

– А потому! Не толкайся давай!

Дети возились около Абая, обнимали его, тянули на себя с двух сторон, пока не утомонились и не уснули.

Кудайберды сказал правду. Кунанбай намеревался выдвинуть Абая на должность волостного управителя. Об этом уже было немало разговоров Кунанбая с торе, выборщиком.

С тех пор как вышел новый закон и большую округу разделили на три дуана, Кунанбай не захотел быть начальником маленькой волости и решил себя не выставлять на выборах. Когда-то была должность ага-султана, правителя больших округов Найман и Тобыкты, и это было по нему. Затем, после упразднения большого дуана и ага-султанства, он получил должность старшины рода Тобыкты. А теперь, когда край Тобыкты разделили на три части, власти стало еще меньше, и она стала ему не нужна. Но как бы там ни было, он по-прежнему хотел, «чтобы все у него было на руке, а когда сожмет ее, оказалось в кулаке». И для того, чтобы так и было, лучше оставаться в стороне, независимым владельцем, и влиять на других старшин Тобыкты. Это во-первых.

Во-вторых, надо учесть незаметные, но глубокие изменения в народе. Народ уже не тот, не боится власти. Появились бунтари и возмутители спокойствия, такие как Балагаз и другие. С ними бороться труднее, чем с противниками, равными себе. С таким,



например, как покойный Божей. Ушел Божеке, – и как будто стало пусто вокруг Кунанбая. А воевать с зеленой молодежью, наказывать бабье и детвору жигитеков за воровство, это не по нему. На них надо напустить начальство из молодых, с крепкой рукой, пусть гоняются друг за другом. Да молодежь такая уже подросла. Сидя на покое, он своими советами, через детей своих, будет по-прежнему управлять людьми. И, в-третьих, возраст Кунанбая уж близится к семидесяти. Пора готовить из выросших сыновей достойную смену себе.

Он продумал все и решил, что власти достоин Абай. Здесь у Кунанбая тоже был особый расчет.

Абай воспитывался не под влиянием и властью отца. Наоборот – в его характере, в его взглядах, в поступках явно виден строгий судья Кунанбаю. В последние годы это особенно стало ясным. С последней женитьбой отца на Нурганым, взятой третьей токал, Абай стал резко чуждаться его, открыто судил Кунанбая. А тот винил Улжан, что это она настраивает сына против него и «ребенка воспитала холодным к родному отцу».

Однако, несмотря на все эти тяжелые, серьезные расхождения, отец прекрасно знал, что за кладезь ума, знаний и высокой нравственности представляет собою Абай. Тем более и надлежало приложить все силы, чтобы удержать сына возле себя и ввести его во власть. Когда тяжесть власти ляжет на его плечи, ему и понадобятся помощь, опыт и советы отца, и сын сможет оценить его в том, чего еще он не понимает. Если Абай настроится и возьмется за дело, он способен справиться с трудностями, которые не по зубам никому другому из современной молодежи. Кунанбай никогда не сомневался в уме и способностях Абая. И решение Кунанбая явилось результатом его многих раздумий о незаурядном сыне.

Когда на другое утро Абай пришел к нему, отец заканчивал утреннее чаепитие. В комнате было прибрано и чисто подметено. Дастархан перед отцом еще не был свернут. Оказалось, что раньше Абая в дом пришел Такежан. Он сидел в сторонке,



поджав ноги, словно школяр медресе перед учителем. Кунанбай удалил из комнаты всех, кроме сыновей, и приступил к разговору.

Он обращался к обоим сыновьям, но слова его были предназначены только для Абая. Начал с того, что напомнил о своей старости. Жизнь свою, какая бы она ни была, хорошая или плохая, прожил он в постоянной, тяжелой борьбе. Боролся он ради благополучия и хорошей жизни своих потомков. Теперь они выросли, и настала пора им взяться за достойные дела, которые окажутся им по плечу. И верных друзей, и врагов своих они обретут только из среды сверстников. Голос нового времени они услышат лучше, чем старики, найдут новые способы добиваться победы. И на этот путь они должны выйти вместе. Если сегодня один будет впереди, то второй – завтра. Спорить за первенство не нужно. Сейчас выбор отца падает на Абая. Он должен стать волостным старшиной.

Кунанбай давно уже не говорил так серьезно и долго с Абаем.

Сын посидел некоторое время молча, как бы в раздумье, наконец откашлялся и ответил:

– Благодарю, отец, за ваше доверие. Вы правы, желая переложить бремя жизни на нас, сыновей. Вам надо уйти от всех забот и жить на покое... Но вы сказали, что я должен стать волостным. И мне приходится отвечать прямо: я отказываюсь, отец, должность начальника волости не для меня. Это не лицемерные слова. Тем более, что на эту должность вполне подходит Такежан, и он старше меня, и способностей в нем не меньше моего. Пусть он и будет волостным!

Заканчивая говорить, Абай бросил взгляд на Такежана – и чуть не рассмеялся. Тот, хотя и сидел по-прежнему в смиренной позе, но стал меняться прямо на глазах. Лицо его залилось краской, сразу поглупело от радости. И через минуту смиренный школяр стал превращаться в хитрого и жадного хазрета, который, словно кот, облизывается при виде весьма аппетитного пидия, приуготовленного для него при чтении зауспокойной молитвы.



Но Кунанбай не мог так сразу отступить, тем более что отказ сына явился для него полной неожиданностью. Он дважды переспросил у Абая о причине отказа.

Первый раз Абай коротко ответил: «Не смогу быть волостным». Но когда отец, не удовлетворенный этим, попросил толком объясниться, Абай дал пространный ответ. Для того чтобы руководить народом, вождь должен быть вполне зрелым человеком. Абай же не чувствует себя таковым. А власть в руках незрелого человека, что острая бритва в руке ребенка. Он или себе навредит, или же навредит другим. Абай не о себе беспокоится, а ему жаль народ, который возложит на него надежды и ничего доброго не сможет получить от неумелого правителя. Если когда-нибудь Абай почувствует, что он готов, то сразу же даст согласие – даже и без настояний отца.

– А пока, отец, не принуждайте меня, – закончил он.

Кунанбай резко отвернулся от него и посмотрел на Такежана. Предложил ему должность. Того долго упрашивать не пришлось: «Куп!» – поспешно произнес он слово согласия.

Спустя недели две Такежан уже сидел в начальниках волости и осваивался в новом положении. Советников у него хватало. С одной стороны, это был его отец Кунанбай, с другой стороны – дядья Майбасар, Жакип и их окружение.

Новоиспеченный волостной старшина успел побывать в Семипалатинске. По просьбе Кунанбая, заранее переданной нарочным, советчиком по городским делам согласился быть сват Тыныбек. Благодаря ему, сам аким Семипалатинского уезда стал принимать Такежана, и в уездном дуане он стал известен. Воспользовавшись столь большими связями, Такежан в первую уже поездку в город сумел спроворить много своих и не совсем своих дел. Самым значительным было – решение насчет преследования барымтачей Балагаза, Абылгазы и иже с ними.

Приступив к должности, Такежан прежде всего начал с того, что взялся за преследование шайки скотокрадов. Он привел с собой из города отряд стражников в пять солдат, придал им



с десятков своих джигитов и отправил в горы Чингиз на ликвидацию бандитов. Жумагул, которого Такежан поставил своим атшабаром, повел отряд в качестве проводника. Вторым атшабаром у волостного был молодой джигит Карпык. С отрядом отправился Толепберды.

Только в самых исключительных случаях в Тобыкты приходили царские солдаты. Чтобы зря не будоражить людей, их завезли в контору волостного приказа ночью. А когда наутро они, неуклюже держась в седлах, поехали верхом на лошадях через аулы, все казахи, стар и млад, с опаской смотрели на их серые шинели и на синевой отливающие стволы огнестрельного оружия.

В горах Чингиза отряд легко обнаружил шайку Балагаза, который ничего подобного не ждал. Произошла первая внезапная стычка. Барымтачи отбились и ушли в горы дальше. Началось преследование, которое затянулось. Солдаты, не очень часто выезжавшие из города, в степи и в горах чувствовали себя неуверенно, в седлах держались мешковато. Скакать стремительно, отпустив поводья, и джигитовать с ружьями в руках они не умели, а при необходимости быстро ехать по горному бездорожью цеплялись двумя руками за луку седла. И два разбойника, которых они преследовали, представлялись им неуловимыми дьяволами.

То и дело вытаскивая из футляров длинные подзорные трубы, они много раз на протяжении дня останавливались и подолгу осматривали дальние ущелья. Хорошо видевший беглецов невооруженными глазами и узнавший их по лошадям, Толепберды выходил из себя и кипел от злости, досадуя на эти задержки. «Дать бы ему по кадыку! – злился он, глядя на стражника, который смотрел в трубу, задрав подбородок. – Или взять соил да огреть бы его по башке!» Но делать было нечего. Приходилось только скрипеть зубами от злости. Группа захвата не могла двигаться быстрее. Она растянулась длинной цепочкой, – и нетерпеливые казахи оказались впереди серых шинелей.



Абылгазы и Балагаз отправили своих товарищей по узкому ущелью, а сами, оставив при себе только Адильхана, схоронились в одном из боковых ответвлений, за отвесным выступом. На крутом повороте, сверху, они увидели, насколько вытянулась цепочка преследователей, и решили устроить засаду. Толепберды и другие казахи, далеко оторвавшись от стражников, скакали разрозненно, сильно растянувшись, совершенно уверенные, что барымтачи на много опередили их. Впереди всех ехали проводник Жумагул и джигит Елеусиз, на них и вылетели, пропустив их дальше, вперед, трое из засады. Березовые соилы и черные шокпары успели скреститься в воздухе всего лишь по несколько раз, – и все было кончено. Более ловкие и сильные, лихие джигиты быстро управились с Жумагулом и Елеусизом. Даже крикнуть им не дали, позвать на помощь, сшибли каждого с седла на землю. Подхватили за поводья их коней – и были таковы.

Стражники не осмелились дальше преследовать шайку. Главному проводнику, атшабару волостного старшины – Жумагулу проломили голову. Отряд повернул назад. На обратной дороге незадачливые преследователи – стражники и казахи – принялись грабить мирный народ. Они набрасывались на аулы Караша и Каумена, чьи родственники были в банде, и отбирали у них весь скот. И не только у них – грабежу подверглись еще несколько соседних аулов. Забирали все – и последнюю лошадь, и единственную кормилицу-корову. Подобного бесчинства властей еще не знала эта земля. Искони виновный сам отвечал за свои поступки – «сделавший руками, расплачивался головой». Такежан ввел, похоже, новую карательную меру: запускать смертоносные когти власти в беспомощных стариков и старух, в голопузых детей.

Весь Жигитек загудел, услышав эти страшные вести. «Что за времена настали! Неужели мир перевернулся? И теперь вину собаки вымещают на журавле!» Так возмущались люди. Возмутились родственные жигитекам Котибак и Бокенши. Особенно возмутило народ известие, что каре подвергся благородный



Каумен. Все давно знали, что Каумен проклял беспутного сына Балагаза и прогнал от себя. Также и Уркимбай, и Каракан, разоренные карателями дотла, пострадали без всякой вины. И уже не зная, на что надеяться, люди в своих темных, душных зимниках испуганно шептались: «Беда! Снова пришла беда!»

Контору волостного приказа Такежан перевел в Мусакул, к себе на зимовье. Вокруг него собирались, помимо толмача, старшин и атшабаров, немало советников: Майбасар, Жакип и другие родственники. На сборах и собраниях всегда было шумно: крик и ругань. На том сходе, где обсуждалось последнее дерзкое нападение Балагаза на Жумагула, действия карателей в аулах Жигитек были признаны вполне уместными.

Через три дня отряд стражников ушел восвояси. Перед этим он помотался еще по округе, наобум пытаясь столкнуться с шайкой Балагаза. На самом деле отряду вменялась задача нагнать страху на недовольный властью народ и припугнуть шибко разгулявшихся разбойников.

Так, диким издевательством над людьми было отмечено начало правления нового главы волости. Отправив стражников назад, он начал собирать так называемые «пигауыры», приговоры то бишь, в которых заключались жалобы населения волости на те аулы, что были подвергнуты нападению и разорению. Такежан собирал и готовил бумаги для отправки донесения в город.

Абай был страшно возмущен тем, что Такежан вызвал военных, и тем, какие бесчинства были устроены с их помощью. Узнав обо всем этом, он тотчас вскочил в седло и выехал из Жидебая.

Прибыв в Мусакул, он застал там Базаралы. В присутствии Абая тот яростно набросился на Такежана:

– Ты что, хочешь сражаться? Так давай, нападай на тех, кто тебе может противостоять! Зачем же набрасываться на бедняков, которые и так уже дошли до края? Зачем кидаться на самых мирных и беззащитных? Если не хочешь, чтобы наши бабы и дети подошли с голоду, сейчас же возвращай все ото-



бранное! Семьи кормятся всего от одной коровы, единственной кобылы – ты и этих отнял! Не будь для них хуже лютого врага, родственничек! – так говорил Базаралы.

Такежан ответно загорелся гневом: «Ты ничего не хочешь видеть, ничего не хочешь знать! Пока не изловлю твоего брата, не успокоюсь! Это Балагаз и Абылгазы заводят смуту в народе, а не я!» – кричал он.

Базаралы рассердился пуще прежнего:

– Выходит, ты будешь весь народ держать на аркане, пока не поймашь Балагаза?

В ответ Такежан рявкнул:

– Откуда ты взялся, заступник народный? Кто тебя назначал бием? Почему не видишь моих родственных чувств, когда я не беру вас в заложники вместо Балагаза? И я тебе скажу как на духу: пока не смирится Балагаз, ты не жди от меня покоя ни днем ни ночью! Земля будет гореть под твоими ногами! Никуда от меня не денешься!

– Оу, создатель! Я думал, что разговариваю с разумным человеком. Ошибка вышла! Да ты, оказывается, совсем бестолковый! Мне лучше было бы поговорить с твоим посыльным, Жумагулом – и шабаш! – Сказав это, Базаралы встал и вышел.

Абай попытал сказать Такежану, что он неправ, но старший брат, ослепнув от ярости, совсем «по-кунанбаевски» рявкнул на него: «А ты не вмешивайся! Не встревай в мои дела!» Абай сдержался. Находясь в комнате приказа, он видел, как готовятся «приговоры»: пишутся челобитные, ставятся подписи и родовые знаки, на все нашлепываются печати. И это – на беду джигитов рода Жигитек и в оправдание своих действий. Абай узнал, что этим же вечером будет отправлена в Семипалатинск большая нарочная «почта с пером».

Об этом он сообщил Базаралы, найдя его во дворе.

– Эти бестолковые ослы опять замыслили какую-то подлость, – сказал Абай. – Видимо, не успокоятся, пока не пожнут еще одну бурю, похлеще Токпамбета и Мусакула! Ох, лишь бы



народ не отчаялся и не потерял последнее терпение! Но, слава Богу, дело пока не дошло до этого, Базеке!

Базаралы приходил к волостному по великой просьбе тех, кого он оставил без скота – считай, обрек кочевой люд на голодную смерть. Они просили Базаралы хотя бы поговорить с волостным и получить разъяснения, почему он обошелся с ними так жестоко.

Попросив Базаралы подождать его, Абай вернулся к Такежану. Возле него сидели, как два истукана, Майбасар и Жакип. Абай с гневом обрушился разом на всех троих:

– В честной схватке ты слабак, а перед малыми детьми и бабами настоящий батыр! – начал он с Такежана. – А вы забрали последнее, что было у бедных, голодных людей, и сидите тут довольные, как победители, – и не стыдно вам? Тоже мне, советники! Да за это вы все головой ответите перед судом! Посмотрите, как вы взбудоражили народ. Если не отступишься, тебе не поздоровится, волостной! – припугнул он Такежана.

Такежан в душе был свирепо раздосадован резким тоном Абая, однако не посмел возражать. Он хорошо помнил, как настоятельно Кунанбай просил именно Абая занять место волостного. И теперь, если окажется, что действия Такежана-старшины неудачны, может статься, Кунанбай отберет у него печать волостного и передаст ее Абаю? Хотя бы узнать мнение отца насчет последних событий! Одобрит или не одобрит набег на Жигитек? Пока неизвестно. Поэтому Такежан и не ответил Абаю, но сделал вид, что призадумался над его словами.

Но все равно слова Абая не прошли для них даром. Правда, Майбасар и Такежан решили и виду не подать, что они их заделли, однако старый Жакип был мудрее их. Он подумал и сказал следующее:

– Давайте все же Балагаза и Абылгазы отправим в изгнание через дуан и начальство! Подготовим все бумаги, отправим в Семипалатинск – и через суд изгоним разбойников! Совсем изгоним! А скот заложникам все же надо вернуть.



Таким образом, Базаралы успешно справился с порученным ему делом и увел с собой гурт скота, отнятый у неповинных жигитеков. Однако по возвращении он рассказал своим, каких только слов ни наслышался от Такежана.

Рассказал и о том, что на Балагаза в дуан ушла обвинительная бумага, подписанная многими аткаминерами и старейшинами аулов.

А через три дня все округи Причингизья облетела неожиданная весть: «Нарочная «почта с пером», отправленная в Семипалатинск, ограблена. Это произошло в местах обитания рода Уак, возле крутояра Мукур».

Теперь надо было ожидать еще большей беды.

Многочисленные челобитные, жалобы, иски и прочая бумажная ябеда были отправлены с тремя конными нарочными, в кожаных переметных сумках. Прикрепив спереди к шапкам перья филинов, в знак того, что они срочные гонцы, люди казенные, везут «почту с пером», Жумагул и Карпык, а с ними вместе коновод Мусакул выехали на широкий степной тракт и помчались в сторону Семипалатинска. На пути, спешиваясь в аулах, чтобы подкрепиться или сменить лошадей, а затем снова садясь в седла, они все время зычно выкрикивали: «Почта с пером! Нарочная почта!» С этими криками, которые взбудораживали встречных людей и возбуждали самих почтарей, они пролетали один аул за другим.

Скакали день, скакали ночь, оставалось ехать еще сутки – и они будут в Семипалатинске. Но во вторую ночь на подъезде к крутояру известного оврага Мукур они увидели перед собой трех грозных верховых. Лица у них снизу до глаз были обвязаны черными платками. Налетели на всех троих, похватили за шиворот и сбросили на землю с коней. Трое одолели троих. Забрали казенные сумки и ускакали.

Об отправке «почты с пером» с жалобами узнал Адильхан, отдохавший в своем ауле. Это был небольшой, плотный джигит, весьма решительный и проворный. Он ничего даже не стал



спрашивать у Балагаза – Абылгазы, а сам тотчас же вскочил на коня и двинулся наперерез большому тракту – перехватывать почту. Когда Жумагул со спутниками задержался за чаем в доме Кушикпая, Адильхан с дружками – их тоже было двое – опередил почту и, добравшись до оврага Муқыр, схоронился в засаде. Его спутниками были два джигита из рода Найман. Вся троица, быстро и легко справившись со своим делом, помчалась обратно на Чингиз.

Лихой и дерзкий, Адильхан не знал, что грабеж казенной почты намного увеличивает тяжесть их преступлений и ничего не дает им. Но что бы там ни было, дело было сделано

За одним из перевалов Чингиза, на границе джайлау родов Сыбан и Тобыкты, были расположены три нищих аула жатаков, обитавших в землянках за неимением даже юрт. Одним из убежищ Балагаза и его людей были эти аулы. Голодавшие по-черному с этой осени, ставившие ловушки на сусликов, они дали приют беглецам барымты и впервые досыта наелись свежего мяса. К жатакам барымтачи пригнали дойных коров, верховых лошадей.

Когда Адильхан с товарищами добрался в один из этих аулов, там находились Балагаз и Абылгазы. Они лежали в самой дальней землянке. Выслушав Адильхана, джигиты похвалили его, назвали храбрецом. Но рассудили: «Теперь волостной опять призовет войско. Пусть! До этого времени никакая собака не станет ждать! Дадим отдохнуть коням дня два-три, соберем харчей, подготовимся – и направимся в край Найман! На днях должен окрепнуть снег. И до лета не будем показываться здесь. К лету же дело наше забудется».

Но хитрее их оказался старый Кунанбай. Он пригласил к себе Такежана и всех аксакалов рода Иргизбай. Пригласил также Байсала, Суюндика с их людьми.

– Смотрите, как вознесся этот вор! Я Балагаза скину на землю, и кто осмелится мне помешать сделать это? Никто не посмеет вырвать его из моих рук! Я не буду знать покоя, пока не загоною



этих выроdkов на каторгу! Пусть они сгниют там! И я не буду Кунанбай, если не сделаю этого! – рявкнул он и весь затрясся в бешенстве гнева.

Кунанбай не стал дальше мудрствовать перед гостями. Он созвал их только для того, чтобы призвать их к объединению усилий для общего дела. Тут же приказал Такежану: «Вели скакать в город. Пусть пришлют стражников. Да увидят свою погибель эти подлые воры!»

Аткаминеры и старейшины разъехались. Все ждали приближения вооруженного отряда. Однако коварный Кунанбай говорил о них только для отвода глаз. В ту же ночь, сохраняя полную тайну, он собрал и отправил в поиск отряд из тридцати самых надежных джигитов. Это была та самая ночь, когда лихой Адильхан явился в убежище к Балагазу, принеся разграбленную почту.

Кунанбай придумал своему отряду пять-шесть собак тазы. Приказал хорошенько укрыть оружие и скрытно двигаться на Чингиз.

Ни Такежан, ни другие, носившиеся по всей округе, знать не знали о том, где мог скрываться Балагаз. Знал Кунанбай, полуживавший у себя дома.

Посланные Кунанбаем ночью джигиты группы захвата с первыми лучами утренней зари бросились к окруженным со всех сторон трем зимовкам жатаков. Дозорный, поставленный на ночь Балагазом, увидев людей с собаками, принял их за охотников. Так и бывало: на склонах Чингиза в пору, когда снег еще не затвердевал, появлялись охотники, гонявшие отменных лисиц этих отдаленных мест. Дозорный и подумал: охотники на лис.

Так, дерзкий, отважный, ничем не уступающий другим в хитрости и коварстве, неуловимый Балагаз легко и просто попался в ловушку.

Когда глава группы захвата Изгутты, обнажив громадный кинжал, ворвался со своими джигитами в низкую темную землянку, Балагаз спал беспробудным сном. Его джигиты тоже спали. Всех



было – десять человек. Изгутты ударом кинжала плашмя по ягодице разбудил Балагаза, тот мгновенно вскинул голову, все понял и вскрикнул, томясь:

– Уа, Создатель! Как же я так попался! За что мне такое наказание!

И это были последние его слова. Больше он ничего не говорил. Другие тоже молчали. Взяли всех десятерых, вывели наружу.

Рассадили попарно на коней. Вокруг каждой лошади с пленниками образовался конвой по три-четыре джигита.

Над шеей Балагаза постоянно висел кинжал самого Изгутты – он лично охранял главаря шайки.

Отряд захвата, снаряженный Кунанбаем, завершил дело и быстрым ходом возвращался с Чингиза.

Из десяти плененных в тот же день одному удалось бежать, это оказался Абылгазы. Он пошептался с напарником, сидевшим сзади, и незаметно стал придерживать коня. Охранявший их джигит Кунанбая, еще со вчерашнего дня мотавшийся в седле, дремал, уронив голову на грудь. Его лошадь догнала пленных, пошла рядом. Уснувший джигит свой шокпар держал не в руке, а зажатый под коленом. Дорога вела вниз по дну извилистого каменистого оврага. Абылгазы молниеносно нагнулся к спящему охраннику, вырвал у него шокпар и разом, сильным толчком в поясницу, сбросил его с коня, а сам перескочил в освободившееся седло. Упавший на землю джигит пришел в себя, ухватил повод хилой игреневои лошадки, на которой везли пленных, и заголосил, призывая на помощь. Абылгазы тем же мгновением круто развернул захваченного коня, с места пустил его вскачь и был таков.

Пока были оповещены передние в цепочке всадников, шумели, галдели, принимали решение, беглец уже был недосыгаем. Ночная темень угрожающе сгущалась. Изгутты побоялся, что могут сбежать и остальные, и приказал отряду не останавливаться, двигаться дальше. Теперь Изгутты сам ехал в конце всей колонны.



Сбив ее плотнее, зычным голосом подгоняя людей, ему удалось благополучно провести отряд через перевал Бокенши. Далее надо было пройти мимо кунанбаевского зимовья Карашо-кы. Приблизившись к нему, Изгутты послал туда Толепберды с посланием Кунанбаю: желает он смотреть пойманных, допросить их? Кунанбай через того же Толепберды дал ответ:

– Отвести их в Мусакул. Передать Такежану: пусть, не мешкая, сегодня же ночью отправляет всех, в сопровождении толмача, прямо в Семипалатинск. Пленных посадить в арбу, придать им большую охрану, отвезти сразу в городскую тюрьму. По дороге зря нигде не задерживаться. Пусть скорее получают то, что заслуживают!

Такежан на этот раз в Семипалатинск не ездил. Выполняя волю отца, скрытно от всех отправил пойманных в город, и люди еще не скоро узнали, что Балагаз схвачен. А когда узнали, он и его лихие товарищи были уже в тюрьме.

Кунанбай и новый волостной, его сын, напоминали того кота, который, поймав мышь и крепко зажав ее в когтях, никак не успокоится и продолжает урчать, ошетилив усы, поджав уши и огненно сверкая глазами. Нагоняли волну возмущения против разбойников, которые были уже не страшны им, и обвиняли их в самых злостных кознях, направленных против нового волостного старшины.

– Так поступают самые злейшие и коварные враги! Они разграбили казенную почту, хотели подвести под суд волостного старшину Такежана!

– Они хотели погубить Такежана! Видно же по их делам!

Вся эта шумиха разгонялась ими с одной целью: отвлечь степной народ от сострадания и жалости к тем, кто попадал теперь в железные капканы царской власти. Ибо для кочевника тюрьма, лишение степной свободы и угон на каторгу означали – исчезновение из жизни и прямую дорогу в ад. В степи извечно, сколько стоит она, случались вражда и распря, и взаимные обиды и кражи – но никогда кочевник поверженного врага не



отправлял в тюрьму или ссылку в неведомые края. Это было немислимо, запредельно! И Кунанбай с его людьми понимали, что, когда казахи опомнятся и поймут суть происшедшего, для них тюрьма и ссылка, куда попадут их родичи-разбойники, будут во сто крат ужаснее всего того, что они натворили перед своими богатыми родичами. Как бы ни шумели иргизбаи про обиды, нанесенные новому начальнику волости, Такежану, им трудно будет оправдать столь жестокое, неслыханное в степи наказание.

При своей, почти ханской, власти Кунанбай никогда не прибежал к такого рода наказаниям, но в отношении Балагаза и его шайки он вынужден был пойти на это. Ибо разбойники разгулялись настолько, что своими дерзкими грабежами и безнаказанностью могли подорвать давно сложившееся в степи незыблемое представление о безграничной силе и власти Кунанбая. Вот и вынужден был он направить Такежана на такой опасный путь.

В делах Балагаза и Абылгазы сам Кунанбай видел прежде всего не разбой и воровство. Недавние слова Базаралы, сказанные ему, а также вызывающе открытые действия Балагаза – речи и поступки братьев, несмотря на их взаимную вражду, имели общие корни. Базаралы говорил о несправедности богатых, из-за чего страдают бедные, Балагаз грабил одних лишь богачей, преимущественно из Иргизбая. Поэтому сочувствие к разбойникам в народе только возрастало.

Что может получиться, если весь тот кочевой люд, что голодает сейчас и нуждается, полностью отложится на их сторону? В степи настанет беспредел голодных и власть нищих. Кунанбая всего трясло при одной этой мысли. Надо было действовать против такой опасности немедленно и беспощадно. И Кунанбай знал только один самый верный способ борьбы с народом – запугать его, жестоко наказывая бунтарей.

Но как ни глубоки были его тайные замыслы – о них уже некоторые стали догадываться. Степь не принимала тюрьму и ссылку для своих детей, какие бы проступки они ни совершили. Такою неслыханною жестокостью по отношению к ним народ не



допускал. Кунанбая люди еще раз осудили, назвав его действия бесчеловечными. Даже Байсал и Суюндик, много пострадавшие от барымтачей, в душе ненавидевшие их, не могли гласно одобрить решение Кунанбая. И они затаились в своих аулах.

Кунанбай настороженно ждал вестей из Жигитек, особенно из аула Байдалы.

А жигитеки впали в сильнейшее негодование! Услышав о том, что пойманные тайно, поспешно отправлены в тюрьму, Байдалы решительно и со всей прямоотой своей природы высказался в осуждение властей и открыто стал жалеть пойманных джигитов.

– Никогда не было и не будет того, чтобы Кунанбай посчитался с народом или постыдился народа! Да излови он и накажи разбойников сам, своими руками – кто бы осудил его? И за них бы – кто осмелился заступиться? А теперь что он скажет народу? Он ведь как волк, который сам убивает и пожирает своих волчат. Молодежь Жигитек будет считать его убийцей.

Байдалы говорил так совершенно открыто, ничего не боясь, много раз и перед многими людьми. Пусть услышит его слова Кунанбай!

И Кунанбай услышал.

– Род Жигитек склонен к воровству и скрывает разбойников. Значит, жигитеки все должны понести наказание! – Такие слова он велел передать Такежану.

На это волостной с Майбасаром ответили тем, что немедленно увеличили разбойный список, довели его до тридцати человек. Теперь в этом списке оказались Караша, Каумен, Уркимбаи и все те, у кого в прошлую карательную меру, с участием стражников, забирали скот, – который потом, после вмешательства Базаралы, был возвращен им. И мало этого: в список добавили имя самого Базаралы!

При составлении бумаг произошел следующий разговор.

– Ты теперь понимаешь, как была ограблена почта? – обратился Майбасар к Такежану. – И кто навел на это? А вот, вспомни-ка... Когда готовили список, Базаралы был здесь и все видел.



Полетел в аул к себе и рассказал Адильхану. Я не забыл, что говорил тогда Базаралы при всех... Он зачинщик всего! Хорош на людях – а на самом деле враг, коварнее всех наших врагов!

Такежан тоже многое вспомнил из прежних обид и шуточек Базаралы. Базаралы всегда недоволен, он всем перечит, над всеми смеется. Никого не признает, кроме себя. Если Балагаза сошлют, а Базаралы останется, он назавтра же начнет мутить воду, мстить и склонять народ на защиту своего брата... Такежан понимающе переглянулся со своим дядей.

– Маке, вы правы, – сказал он. – Надо прижать его.

Так Базаралы попал в разбойный список.

Услышав, что готовят обвинения жигитекам, Байдалы пригласил к себе Базаралы. При разговоре с глазу на глаз Байдалы сделал признание:

– Оу, как меня подводит моя беспечность! Ну сколько раз приходилось мне гореть синим огнем из-за коварства Кунанбая! А ведь в следующий раз он все равно застигал меня врасплох! И сейчас повторяется то же самое. Просто беда! Разве это не я подпевал ему, называя Балагаза и его джигитов ворами, и помогал гоняться за ними? Это я сейчас понимаю: не воровали они, а совершали смелый поступок ради других, рискуя собой. Они мстили за ограбленных и униженных... Встречал ли ты хоть одного из голодающих бедняков, который проклинал бы Балагаза? Нет, я теперь не хочу называть ворами близких мне смелых джигитов! Змеиный поступок Кунанбая раскрыл мне глаза. Он брызнул ядом на Каумена и Уркимбая! И что же? Думаешь, он хоть кого-нибудь оставит без своей ядовитой клеветы? Апырай! Видно, снова придется выходить на тропу вражды! Он хочет повторить зверства Такежана и Майбасара над жигитеками! Скачи сейчас же к Кунанбаю и скажи об этом. Скажи ему, что ты привез салема от Жигитек. Ты хорошо можешь говорить, передай, чтобы все ему было ясно. Если он не отступится от своего, то ему несдобровать. Выскажи ему все, не щади его!

Базаралы отправился к Кунанбаю. Но сначала направился в Мусакул, чтобы наверняка узнать в волостной конторе о тех



именах, которые попали в разбойный список. Каумен и Уркимбай были названы в нем только по слухам.

Не доезжая до Мусакула, Базаралы решил заскочить к Абаю в Жидебай. Абай оказался дома. Он тоже узнал о новых бесчинствах Такежана с Майбасаром и был сильно возмущен.

– Они, бестолковые, словно одержимы бесами! – воскликнул он. – Снова весь народ всколыхнули!

Абай уже послал в Мусакул расторопного Ербола, чтобы он уточнил имена тех, что попали в список. Базаралы как раз беседовал с Абаем, как вернулся из Мусакула Ербол. Вернулся хмурым, расстроенным. Абай просил рассказать. Ербол смущенно глянул на Базаралы и отвел глаза. Абай настаивал:

– Рассказывай все, как знаешь. Ничего не скрывай.

Тогда Ербол обо всем подробно доложил. Он перечислил тех, что были в списке: там оказались и старики, и самые мирные джигиты, – все, которым по своей немогучности попросту не осилить воровские дела! Но больше всего поразило Абая, что в разбойном списке оказался сам Базаралы!

Абай весь побелел от едва сдерживаемой холодной ярости.

– Как?! О, эти тупые, безмозглые подлецы! – бросил он сквозь стиснутые зубы.

А Базаралы лишь рассмеялся. Он только впервые в жизни узнал, что его, оказывается, можно было и в разбойники занести. Но скоро осознал всю тяжесть клеветы и нанесенного оскорбления – и румяное, обрамленное короткой бородой, светлое лицо его на глазах стало меняться, темнеть от гнева. Абай и Ербол молча, с удивлением смотрели на него, не представляя, что воспоследует дальше от их старшего друга.

– Сегодня я слышал, как Байдалы каялся, что позволял Кунанбаю провести себя. Сейчас пришел мой черед каяться. Я ведь разговаривал с ним, соглашался и отрекся от своего родного брата, назвав его вором. А ведь он не вор! И джигиты его не воры! Воры – другие! А я, выходит, одинокий конь, отбившийся



от своего табуна! Скажите, родные мои, – так воры они или не воры? – с мучительным сомнением спрашивал Базаралы у своих молодых друзей.

– Нет, не воры, – сказал Абай.

– Не воры. Так! И не разбойники, – подтвердил Ербол.

– И я о том же!.. Но если это так, то почему я сейчас не с ними? Почему не дрался рядом с ними против настоящих воров? Почему не разделил с ними их горькую участь? – И Базаралы замолчал, опустив голову.

У Ербола тоже оказалось свое тайное недовольство и сожаление. Сегодня, побывав в волостном приказе, посмотрев на недобрые физиономии Такежана, Майбасара и иже с ними, Ербол укрепился в своих чувствах. И теперь он негромко, с упреком сказал Абаю:

– Эх, Абайжан! А зря ты отказался, когда отец предлагал тебе стать волостным! Мог бы, на худой конец, хоть за народ постоять. Не дал бы совершиться подобному ужасу... А что теперь? На кого мы похожи? Сидим дома, сгораем от стыда, ничего не можем поделать. Как же терпеть все это, Абай? Ведь ты бы мог, наверное, как-нибудь вмешаться и воздействовать?

– И то правда! Слова Ербола вполне уместны, Абай! – одобрил Базаралы. – Мог бы, наверное, ты выступить на стороне невинно пострадавших?

Абай долго молчал, не отвечая. Он тоже жалел – но не о том, что отказался стать волостным начальником. Нет, – он не мог простить себя за то, что сам советовал отцу назначить Такежана на должность.

Такежан ему единоутробный брат, от одного отца они и от одной матери, – но нет на свете человека, который был бы для него более чужд и враждебен. Они с детства сталкивались, в юности стали безразличны друг к другу, а сейчас между ними легла нетерпимость, и стало ясно, что они когда-нибудь должны вступить в открытый бой. Может быть, бой уже начался. Абай должен быть на стороне Базаралы и других людей, обиженных



его братом, Абай не может не вмешаться – это и есть его борьба, его бой.

Обдумав все это, Абай, наконец, сказал:

– Базеке, я не мог бы называть себя человеком, если бы ушел в сторону и не стал защищать вас. Такежану силу дает не степь, а город, где чиновники и начальство. Что же, попробуем бороться с ним в городе. Завтра поеду в Семипалатинск. И пока дело не кончится, останусь вашим ходатаем.

Базаралы радостно вскинулся, с благодарностью посмотрел на Абая и сразу же засобирился уходить. Он ждал, конечно, что Абай не останется безучастным, но его ясно высказанное решение придало Базаралы уверенности и силы. Он заторопился ехать на переговоры к Кунанбаю, не оставшись даже на полдневную трапезу. Сел на коня и отправился в Карашоки.

В аул он прибыл поздно вечером. В доме Нурганым гостей не было, Кунанбай не разрешил войти туда Базаралы, велел отвести его в гостевой дом и там подать угощение.

Базаралы долго просидел один. Старая прислужница подала ему чай. Он выпил чай, затем решительно поднялся и пошел к Кунанбаю, не дождавшись его приглашения. Джигит даже не стал одеваться, вышел из гостевого дома в одном бешмете, без шапки.

Кунанбай полулежал, облокотившись на подушки. Нурганым растирала ему ноги, при этом рассказывала какую-то сказку. Известно было, что Нурганым славится как сказительница.

Кунанбай холодно ответил на приветствие Базаралы, однако джигиту это было все равно, ибо слишком много горячей боли и возмущения принес он в своем сердце. Он сел и сразу заговорил о деле. Говорил уверенно, твердо, с полным сознанием своей правоты. И каждое слово его речи словно оттачивало с обеих сторон обоюдоострый меч его правды. Нурганым не сводила с джигита глаз, слушала его, то вспыхивая, то бледнея, впервые в жизни столь потрясенная силой и красотой правдивого слова.

Начал Базаралы с решений и поступков Такежана.



– Связал одной веревкой дряхлых стариков и зеленых юнцов и грозитя учинить над ними кровавую расправу. Видимо, Кунанбая, своего отца, считает слишком старым, чтобы мог он услышать о его преступных делах и остановить их. Или считает, что, уйдя с должности, отец лишился своего человеческого достоинства и величия? Как осмелились Такежан и Майбасар пойти на свои подлые дела, пока на нашей земле еще жив такой человек, как вы? – Так говорил Базаралы.

Но ответ Кунанбая был сдержан и скуп:

– Ты был у Такежана, говорил с ним?

Базаралы ответил, что не был, не разговаривал. Но узнал обо всем достоверно и сразу направился сюда. Он перечислил людей, попавших в список. Донес салем, отправленный с ним старшиной рода Жигитек Байдалы: «Такежан на глазах у всех превращается в волка, способного съесть своих волчат». Все плененные и отправленные в тюрьму и на каторгу явно обречены на смерть. Такежан может быть уверен, что навсегда избавится от этих родичей. Только пусть позаботится о том, чтобы с ними отправили их смертные саваны, а для детей их, которые умрут голодной смертью, заранее вырыли могилы. Неужели он не понимает, что народ никогда не простит ему этих злодеяний? И что такое зло не останется без возмездия? Так закончил Базаралы и умолк.

Кунанбай все выслушал, спокойно вник в суть сказанного, но ему не понравилась угроза, которую он почувствовал в конце речи Базаралы.

– Ты пришел, выходит, чтобы показать свою силу. Но мне ее не надо показывать! Этим меня не убедишь. Ты хочешь обвинить Такежана? Так и скажи к нему, на нем покажи силу свою! – сказал Кунанбай.

Разговор сам собою быстро подошел к концу. Говорить больше было не о чем. И Базаралы закончил холодно, со сдержанным вызовом:

– Такежан выбрал путь зла – не щадить никого. Пусть будет так. Но этот путь известен, на этом пути встречаются ненависть,



вражда и месть – и это будет переходить из поколения в поколение. Жигитеков вынудят пойти по этому пути, но не они будут виноваты. Имя того, на которого ляжет проклятье потомков, уже и сейчас известно...

Кунанбай, выслушав Базаралы, непонятно уставился на него единственным своим глазом.

– Жа! Ты свое уже высказал! Пора остановиться.

Базаралы вышел. Кунанбай нахмурился, прикрыл свой глаз, надолго задумался. Сказку свою Нурганым не стала продолжать. Весь вид его напомнил молодой жене суровую снежную зиму. Облик мрачной старости проступал в каждой черточке окаменевшего лица Кунанбая.

Не сказав ни слова, он подобрал ногу, которую разглаживала и проминала Нурганым в присутствии гостя. Этот джигит позволил себе в разговоре с Кунанбаем то, чего не осмеливался ни один человек в Тобыкты. Высказав все, что хотел, он ушел с полной уверенностью, что победил в словесном поединке... Но если подумать – то ведь прав Базаралы. Этот Такежан переходит всякие границы. Не знает меры. Замахивается даже на такого человека, как Базаралы. Никогда не любивший жигитеков, сам Кунанбай, однако, ни за что не стал бы враждовать с Базаралы. И сейчас ему хотелось стать на его сторону, вступить, защитить его – но он быстро победил свою минутную слабость. Напомнил себе, что Базаралы приходил к нему от рода Жигитек, вновь объявившего ему вражду, противостояние и месть.

Вернувшись в гостевой дом, Базаралы поужинал в одиночестве и сразу лег спать. Предыдущие дни и ночи были полны беспокойства и душевного разлада. Но сейчас, открыто высказав Кунанбаю все наболевшее, Базаралы улегся в постель с чувством великого удовлетворения на сердце и мгновенно уснул, как только голова коснулась подушки.

Он внезапно проснулся в темноте, почувствовав неясную тревогу. Не сразу понял, где он и какое время ночи сейчас. В комнате кто-то находился, стоял рядом с его постелью.



– Кто тут? – спросил он.

– Не бойся, это я, – тихо ответили ему. Он узнал голос Нурганым.

– О, алла... ты что надумала, сумасшедшая, – шепотом произнес Базаралы, приподнимая голову с подушки.

Тихо засмеявшись, Нурганым тепло навалилась на него, склонилась лицом к лицу к нему и тоже зашептала:

– Жаным, дорогой мой, ты уже давно владеешь моим сердцем... Его сам мырза отдал тебе.

И она со стоном прижалась к нему и слилась с ним в жарком, бесконечно долгом поцелуе.

Голоса умолкли, слова больше не звучали. Два молодых, сильных тела сплелись в любовном объятии.

После Нурганым хотела встать и уйти. Но джигит не в силах был расстаться с ней.


– Жаным, душа моя! Ты пробудила во мне бурю! Побудь со мною еще немного! – и джигит, приподнявшись, вновь крепко обнял Нурганым.

Однако она мягкими, сильными руками отстранила его. И сказала дрогнувшим голосом:

– Где бы ты ни был на этом свете, Базеке, моя душа и мои помыслы всегда будут рядом с тобой, любимый!

Еще раз она поцеловала его и быстро, бесшумно вышла из комнаты. Джигит остался один. Она пробыла с ним, казалось ему, всего одно мгновение, но оно перевернуло весь мир, всю его жизнь. Нурганым ушла и унесла в себе радость великой женской любви, выплеснувшейся через край ее сердца. И в этой радости было торжество истинного женского счастья, испытанного ею впервые.

Расхвалив недавно мужественную красоту и статность Базаралы и воздавая должное его уму и лучшим свойствам души джигита, старый и многоопытный Кунанбай не предполагал, что, говоря все это при Нурганым, поступает весьма неосмотрительно и неразумно.



Уже давно Абай и Ербол находились в городе. Обычно Кунанбай и его сыновья, приезжая в город, останавливались в доме свата Тыныбека, и Такежан, прибывший намного раньше, уже находился там. Вместе с ним были Майбасар, атшабары. Абаю пришлось снять квартиру у знакомого бездетного купца по имени Карим.

В городе не принято было разъезжать верхом, и Абай, с детских лет привычный к городской жизни, быстро приспособился и сейчас: достали сани, впрягли в них серенького коня, на котором приехал Ербол, и всю раскатывали в санном возке по Семипалатинску. Дни стояли ясные, при ярком солнце мороз стоял изрядный. Снег на улицах был плотно укатан и звучно скрипел под санными полозьями.

Они поехали к известному в городе адвокату Андрееву, которого казахи называли «Акбас Андреевич», Седоголовый Андреевич то бишь.

Абай взялся за дело защиты Балагаза грамотно, решив привлечь к нему адвоката. В городе было уже много приезжих тобыктинцев, в основном степняков Иргизбая и Жигитек. Такежан прибыл со своей свитой и очень старался показать всем, какой он теперь большой и важный начальник, какую большую власть заимел – беспощадно наказывать виновных. Он завалил уездное начальство и суд грудями бумаг, в которых доказывал вину тридцати жигитеков, внесенных в разбойный список.

До приезда Абая делами жигитеков пытался заниматься сын Божея, но ни он сам, ни его люди представления не имели о канцелярской волоките, о подаче бумаг и ходе документов. Степняки ничего не соображали в том, как же на самом деле выглядит положение обвиняемых в суде. Уже довольно долго пробыв в городе, они никак не добились успехов. Но с приездом Абая дело повернуло на правильный путь.

Были поданы жалобы от семей Балагаза, Адильхана и других, без суда и следствия посаженных в тюрьму. Во все инстанции,



куда были засланы обвинительные бумаги волостного старшины, направлены и заявления жигитеков.

Сам Такежан так же плохо, как и все степняки, знал законы и не разбирался в бумажных делах, но у него был хороший советчик, сват Тыныбек, перед которым были открыты двери всех канцелярий. И обвинение Такежана преодолеvalo ведомственные пороги намного быстрее, чем запоздалая защита жигитеков. Тогда Абай сам обратился к Тыныбеку, послав к нему человека с посланием: «Пусть Такежан – сын Кунанбая, а ведь я из того же корня. Наш новый управляющий впутался в дела, которые позорят не только его, но и его отца. Бай Тыныбек был всегда добрым другом нашего очага. Пусть он не поддерживает на этот раз Такежана, который сводит дело на ложный путь. Если Тыныбек на самом деле желает добра Такежану, пусть не помогает ему совершать неблагоприятные поступки от имени нашего дома».

Абаю удалось привлечь внимание Тыныбека: тот сам пришел к Абаю, имел с ним многочасовую беседу и убедился, что младший брат прав. После этого он резко охладел к Такежану.

Теперь Абай сделал второй крупный шаг: решил привлечь к защите жигитеков крупного адвоката Андреева. Пусть возьмет на себя всю последовательность дела и собразует бумажные ходы.

Сани подъехали к одноэтажному красивому дому на высоком берегу Иртыша и остановились у ворот. Абай с Ерболом вошли во двор.

С Акбасом, Седоголовым, они встречались сегодня первый раз. Красивое лицо «Акбаса Андреевича» было еще моложавым, но вся голова и полбороды были побиты белейшей сединой. Он был высок, осанист, с крупной головою, с доброжелательным взглядом больших, ясных глаз.

В приемной адвоката сидел толмач, черноусый курносый джигит, весьма болтливый и суетливый городской казах. Он мог довольно бойко говорить по-русски, за что и держали его переводчиком при городском суде.



Первое, что бросилось в глаза Абаю, когда он вошел в комнату адвоката и поздоровался с толмачом, – это были многочисленные полки с книгами, стоявшие вдоль стен. О, никогда еще Абай не видел в одной комнате столько книг! Он даже предположить не мог, что такое количество самых разных и, наверное, очень ценных книг могло принадлежать одному человеку! В продолжение всего разговора с адвокатом Абай то и дело обращался взглядом к высоким и плотно заставленным, на все четыре стены, книжным полкам.

Абай положил на стол бумажный лист с жалобой. Переводчик устно довел до адвоката ее содержание, изложенное арабским письмом. Услышав, что жалоба исходит от Кунанбаева, Андреев вскинул удивленные глаза на Абая и спросил, отчего у него такая же фамилия, как у тобыктинского волостного старшины. Узнав, что они родные братья, адвокат еще больше удивился:

– Твой брат представляет обвинительные материалы, а ты приходишь за оправданием. Что все это значит?

Толмач перевел Абаю слова адвоката. Абай ответил:

– Да, мы с волостным родные братья. Но именно поэтому, находясь близко к делу, я знаю его другие стороны, тщательно скрываемые обвинителем. Я не могу молчать, когда вижу несправедливость и насилие над людьми. Я не начальник, и я не ходатай за вознаграждение. Ни я, ни мой друг Ербол, мы не состоим в родстве ни с Кауменом, ни с другими ответчиками. Мы приехали как беспристрастные свидетели со стороны. От своего имени жалобу подаем. Если начальство и царский суд хотят узнать истину, пусть спрашивают таких, как мы, сторонних. Мы просим, чтобы вы в точности изложили эти слова в нашей бумаге.

Адвокат внимательно, с большим интересом смотрел на Абая. Перед ним был молодой выходец из дикого племени тысячелетнего кочевого народа, который вдруг внятыми словами заговорил об истине, справедливости, несправедливости!

Андреев был человеком образованным, с широкими взглядами и имел большой опыт жизни, но в степь к казахам он приехал



недавно и народа этого еще не знал. В молодости он жил и получал образование в Петербурге, но за участие в некоторых вольнодумных кружках и обществах был выселен из столицы и в дальнейшем вынужден был скрываться от слежки. В далекой провинции он смог вернуться к своей адвокатской практике и зажил спокойно. До Казахстана он пожил на верхней Волге, и на Урале, побывал и в Сибири. Сторонник просвещения, человек любознательный, он в последнее время начал собирать материалы о жизни и обычаях киргизов. Его влияние среди городского общества было велико, с его мнением считались, хотя официально он никакой высокой должности не занимал.

Отвечая на вопросы Андреева, Абай то и дело оглядывал полки с книгами, не скрывая своего уважительного отношения к тому, что он видит. Наконец не удержался от восхищенного замечания:

– Вот они, самые великие сокровища мира! И в какой же красивый наряд одеты здесь мудрые мысли!

Толмач перевел его слова Андрееву. Тот улыбнулся.

Абай увидел на ближайшей полке несколько роскошно переплетенных книг.

– Это что? Книги государственных законов? Что в них написано? – с почтительным любопытством спросил он.

Седовласый хозяин ответил:

– Нет, это не законы. Это книги, написанные поэтом. Книги Пушкина. – И он с безнадежным видом махнул рукой. – Но тебе не понять. И объяснить я не смогу. Это надо читать.

Ему представлялось, что у киргизов, не имеющих своей письменности, нет своих писателей и поэтов, и, стало быть, такое понятие, как поэзия, им неизвестно.

Но Абай стал допытываться у переводчика, о чем столь серьезно говорит седоголовый Андреев, и когда толмач, дойдя до слова «поэт», не стал особенно утруждать себя и перевел его как «акын», – книги акына, – Абай с настойчивостью продолжал спрашивать:



– Ты спроси у него: книги какого акына? Как его имя?

Толмач попытался остановить поток праздного, как ему показалось, любопытства, и он сказал Абау:

– Ты знаешь, Седоголовый считает, что ты все равно ничего не поймешь.

– Вот странно!.. Ведь он человек, потому что он мыслит. И я тоже человек, и я тоже мыслю. Так почему же мы, два мыслящих человека, друг друга понять не сможем? Или наши мысли блуждают в наших незнакомых друг для друга словах, как в густых дебрях чужого леса блуждают звери? Если это так, то мы, значит, стоим рядом действительно как два зверя, а не как два мыслящих человека. И он пугается меня, как домашний конь пугается дикого верблюда-нара...

Ербол, выслушав это, от всей души расхохотался. Адвокат, глядя на его заразительный смех, невольно заулыбался сам и спросил у толмача, чем вызван этот смех. Абай с угрозой посмотрел на толмача с усиками и приказал:

– Ты передай ему слово в слово!

Адвокат выслушал и рассмеялся.

– А ведь так оно и есть! Он верно заметил! Лошадь шарахается от верблюда, верблюд сторонится лошади. Мы и на самом деле похожи на них! Однако не только мы с тобой одни такие... Вот эти книги – это и есть свод российских законов. А вон там, за окном, киргиз-кайсацкая степь со своими натуральными законами и естественным правом. И эти два закона смотрят друг на друга с полным взаимным непониманием. Ты хорошо подметил!

С этого дня пошли их дальнейшие частые встречи.

Между тем из аулов приходили тревожные вести. Несколько человек, внесенных Такежаном в новый разбойный список, были арестованы и без суда отправлены в тюрьму. Дошли слухи, что охотятся за Карашой и Базаралы, и они вынуждены скрываться.



Дело зашло так далеко, что старшина рода Жигитек Байдалы вынужден был приехать в город, чтобы как-то хлопотать за своих. Он обошел все канцелярии и, наконец, встретился с Абаем.

– Абайжан, айналайын! На городских улицах даже кони наши робеют. Тесно нам здесь. Зайдешь в дом, полы гладкие, ноги наши скользят. С начальством заговоришь, так мычишь только, как глухонемой, да руками размахиваешь... Никакого толку нету! Видно, кочевнику город – что крутое бездорожье для коня, ни пройти, ни проехать. Вот он и стоит, раскорячившись, словно старый верблюд на льду! – Так жаловался Байдалы Абаю, и все, кто были рядом, невольно рассмеялись, хотя в его словах слышалась невольная горечь.

С этого дня Абай всюду сопровождал ходатаев от Жигитек.

Он сблизился с Андреевым, а тот разобрался в делах жигитеков и стал умело продвигать их.

Такежан тем не менее продолжал хватать людей, но с того времени, как Андреев вмешался и сделал заявление о самоуправстве волостного, дело жигитеков повернулось в лучшую сторону. Абай сумел собрать и представить новые материалы, которые совсем по-новому осветили дело.

А в своих беседах с Андреевым он доказывал, что угоны скота Балагазом и его людьми нельзя однозначно считать грабежом и разбоем, потому что они воровали не для того, чтобы нажиться, нет, они делали это для того, чтобы спасти голодающих людей от смерти. Весенний джут и массовое падение скота выбили все у бедных, а у богатых, у тех, кто отнял у других их земли и сумел на них выстоять в дни бедствия, потери отнюдь не привели на край гибели. Абай рассказал Андрееву, что джигиты угоняли скот только у кучки самых крупных богачей и не трогали бедных. Узнав об этих подробностях, Андреев с удивлением услышал в них отголоски других разбойных историй, памятных в жизни совсем других народов и на другом краю света: легенды о Робине Гуде, Карле Мооре, о Жакерии, о Дубровском. Пораженный таким великим сходством, адвокат Андреев до глубокой ночи не



отпускал Абая, продолжая расспрашивать его о подробностях и деталях уже сугубо степных вариантов этих историй.

Вскоре тяжкая судьба многих жигитеков, посаженных в тюрьму, значительно облегчилась. Адвокат умело направил поток просьб и жалоб от бедствующих и по-прежнему голодающих жен и детей обвиняемых. И по прошествии совсем недолгого времени с Каумена, Уркимбая, Базаралы и многих других были сняты все обвинения, и они были вычеркнуты из разбойного списка. В степь к аулам жигитеков помчались гонцы с радостными вестями.

Такежан в бешенстве послал Абаю салем: «Пусть уймется! Почему он старается мне навредить?»

Абай отвечать ему не стал. Он только сказал перед своими тобыктинцами:

– Да, мы остаемся родными братьями перед отцом и матерью. Но перед смертью и погибелью, на что он обрекает своих родичей, он мне не брат, он чужой.

Такежан отправил к отцу срочного гонца с жалобным посланием, в котором передал слова Абая и рассказал обо всех его действиях против решений волостного. На что вскоре пришел ответ от Кунанбая: «Передать Абаю: пусть немедленно возвращается. Не сам ли он решил отказаться быть волостным управителем? А теперь зачем мешает и старается подставить ногу?»

Но его послание пришло тогда, когда Абаем уже были приняты все возможные меры для благоприятного исхода дела. Судопроизводство дошло до той черты, когда уже ничего нельзя было ни остановить, ни убрать.

Областное начальство и городской суд далеко не во всем пошли навстречу ходатайствам известного адвоката. Были совсем освобождены только те, которые ни в чем не были замешаны, а судьба Балагаза и Адильхана по-прежнему оставалась в цепких руках карающего правосудия. Приводимые защитой доводы, что причиной грабежей были разорение, голод и произвол богачей, возымели обратное действие. Наступило время,



когда по России прошли голодные бунты и восстания, перед генерал-губернатором стоял их грозный и зловещий пример, и он готовился принять у себя самые строгие меры по отношению к бунтовщикам.

Однако на эти крайние меры власти все же пойти не решились, потому что события происходили в степи, огромная часть которой была для властей еще малодоступна и неизвестна. Кроме того, они не могли не учесть такое огромное число ходатайств за обвиняемых. Приходилось быть чрезвычайно осторожным и политичным, чтобы не вызвать новых стихийных волнений в кочевнической глубинке. И тем не менее десять человек, из числа тридцати в списке, были отданы под суд.

Прошел страшный слух: Балагаза, Адильхана и джигитов их ватаги осудят на пожизненную каторгу.

Адвокат Андреев и Абай приложили все усилия, какие только могли, чтобы облегчить участь обвиняемых, и добились более мягкого приговора: джигитов приговорили не к каторге, а к высылке под Иркутск.

Их родичи, оказавшиеся в городе, прощались с ними со слезами на глазах, но это уже не были слезы прощания навеки. Оставалась надежда на будущую встречу в этой жизни.

– Кош! Кош! Возвращайтесь в родные аулы! Мы будем ждать! – при прощании утешали и старались укрепить дух у ссыльных опечаленные родичи.

Абаю уже надо было возвращаться домой. Он пришел к Андрееву проститься.

– Ты молод годами, но уже думаешь о своем народе, переживаешь и болеешь за него, – сказал ему Андреев. – Ты добрый человек, у тебя великая душа. Но чтобы по-настоящему служить народу, тебе надо получить много всяких знаний. Учиться тебе надо!

– Учиться! Да я только об этом и мечтаю! Но только – где? В школу не пойдешь, уже перерос... А можно ли как-нибудь без школы учиться?



Адвокат уверил его, что возраст не помеха и что образовываться можно и самоучкой. Он привел примеры, назвал имена людей, которые за образование начинали браться к сорока годам и потом становились крупными учеными. «Акбас Андреевич» убедительно объяснил, как можно учиться и без школы, твердо пообещал, что сам найдет для него самых надежных учителей. Абая нужно только решиться на это, засесть за книги и работать. И необходимые знания придут к нему.

Радость Абая была безгранична. Он почувствовал, что распался узел косной судьбы, завязанный на нем, – и перед ним раскрывались просторы совершенно новой жизни. Он с затаенным волнением на сердце возвращался в родные края, чтобы там, от самых близких и родных людей, получить благословение на эту новую жизнь.

В Жидебае, по возвращении, молодой Абай задержался ненадолго. Дильда и мать Улжан сразу согласились с его решением, а остальных он и спрашивать не стал. Отправил в Семипалатинск Мырзахана, который отогнал лошадь, чтобы там заколоть ее на согым. Необходимо еще было – достать денег, и Абай отослал в город невыделанные шкуры и несколько голов крупного скота на продажу. Отдав эти распоряжения, вскоре и сам собрался в дорогу.

Этим летом Дильда родила ему третьего ребенка. Крошечный Абдрахман уже мог громко смеяться, и Абай почувствовал, что наконец-то у него проснулись отцовские чувства.

Все дети родились похожими на мать, волосами были рыжеватыми, кожа была не смуглая, как у отца, а светлая, как у Дильды, дочери степных аристократов. И этот последний ребенок, Абдрахманчик, тоже был светленький, с продолговатым тонким личиком, вполне аристократическим уже, – но лишь только с этим ребенком пришла в сердце Абая подлинная отцовская нежность.

Абай простился с Дильдой наедине. Прощание было немногословным. Меж ними давно установилось взаимное согласие,



их связывало ровное, искреннее чувство доброго супружества. Всегда сдержанная, скупая на слово, Дильда и сейчас была не очень щедра в выражении чувств. Лишь сказала мужу:

– Дома у тебя остаются старая мать и маленькие дети. Не забывай о них, а обо мне не надо тревожиться. Буду ждать, но постарайся долго не задерживаться, и навещай, если получится, чаще! – И она сдержанно улыбнулась.

Ни вздохов, ни слез не было, о глубоком волнении говорили только ее дрожащее дыхание и тихий голос. Натура открытая, смелая, она не таила в себе ничего невысказанного, подавленного и говорила всегда прямо, во всеуслышание. Но сейчас она была тиха и немногословна. Абай с участием взглянул на нее, ласково тронул за плечо.

– Я еду не развлекаться, Дильда. Я хочу добыть самое ценное, что только есть в этой жизни. Хочу уважать себя, запомни это...

Он сам одел теплее маленького Абдрахманчика, взял его на руки и вместе с женой пошел в дом матери.

Улжан заметно постарела за последние годы. Когда сын вошел, она, обернувшись к двери, смотрела на него большими, все еще прекрасными глазами. Взяла из рук Абая ребенка, прижала его личико к своему лицу, затем передала мальчика Дильде. С грустным видом притянула к себе сына, опустившегося рядом, и поцеловала его в голову. На бледном ее лице выразалось глубокое материнское волнение.

– Свет мой ясный, покойная бабушка тебя называла – «единственный мой»... Все остальные дети для нее были одно, а ты – другое. Помнится, как во время твоей болезни она молила Бога: «Огради, Кудай, душу светоча моего от зла, жестокости и беспощадности, присущих другим...» Она ушла от нас с этим благословением тебе...

Улжан замолчала.

Абай хорошо помнил те слова молитвы Зере: мать немного изменила их...



– Вот и пришло твое время, – заговорила она далее. – Перед тобою лежит поле сражения. Иди и сражайся, будь батыром, сынок! Как тебе добыть победу – ты сам знаешь лучше нас. И не быть нам никогда путами на твоих ногах, сын мой! Да благословит тебя Аллах!

Абай, как и в детстве, простился с нею молча, обняв и поцеловав ее.

Весь аул вышел, чтобы проводить. Абай уже сидел в седле, когда мать снова окликнула его.

– Абайжан, ты бы заехал по пути в аул Тойгулы! Отец поехал туда главным сватом, взял всех своих, просил и наш очаг присоединиться к нему. Но мне это трудно, а если и тебя не будет там, отец может обидеться. Поезжай, сынок, погостишь немного – и дальше поедешь! – попросила Улжан.

Абай обещал заехать. Попрощался и тронулся в путь.

Аул Тойгулы, о котором говорила Улжан, был не совсем по пути Абаю. Он лежал в стороне, на склоне горы Орда, чуть ближе к Семипалатинску, чем Жидебай.

Бай Тойгулы был из племени Мамай. Этой зимою Кунанбай решил с ним породниться. Зима прошла спокойная, на тебе-невках скот отменно поднялся, поэтому Тойгулы условился, не откладывая, назначить срок сватовства. Вот и поехал Кунанбай сговариваться насчет невесты в Мамай, с большой толпой родичей. Его сопровождали Каратай, Жумабай, Жакип и другие почтенные старики. Абай и Ербол прибыли туда вместе с ними. Все три дома Тойгулы были полны гостей, повсюду стоял веселый шум, раздавался смех, шли разговоры. И как всегда – больше всего было слышно премудрого Каратая, его уверенный бойкий голос не умолкал.

Потолковав о самых разных вещах, старики, как и положено им, стали сравнивать прежние времена с днями нынешними, и нашли их никуда не годными. Каратай говорил о годах своей молодости, вспомнил, как славно жили отцы и деды, и заметил, что в настоящем все стало хуже: люди мельчают и, словно скот во время джута, теряют все главное в своих достоинствах...



Абай усмехнулся и, не выдержав, стал возражать:

– Прежние времена были, наверное, хороши тем, что соседние роды могли сколько угодно устраивать набеги на мирные аулы и вволю грабить друг друга! Старики, женщины и дети не могли ни спать спокойно, ни есть без страха. На дорогах между Сыбаном и Тобыкты, между Тобыкты и Семипалатинском одинокому путнику небезопасно было ездить. Могли отнять коня, ограбить, убить! Ничего себе, хороши были прежние времена, что и говорить! – Так говорил Абай в ответ на слова велеречивого Каратая.

Но старики возмущенно загудели, слушать не захотели молодого Абая. Прошрое представлялось им в немеркнувшей славе и красоте, в неиссякаемом степном изобилии и богатстве.

– И народ наш был крупнее и завиднее! – покачивая седыми бородами, говорили аксакалы.

Кунанбай решительно поддержал их и привел неоспоримые доводы:

– Каждое новое поколение все ближе подходит к концу света. Люди вырождаются, человечество чахнет, восходя к своей старости и приближаясь к смерти. Наше время было ближе к временам Пророка, а потому и люди были лучше, чем сейчас.

Абай и на это немедленно отозвался. Он воспрянул, чувствуя подъем души, словно акын перед словесным поединком. И он жаждал открытой борьбы.

– Добро и благодеяния человеческие не привязаны ко времени или определенному месту, – возразил Абай. – Вершина Алатау близка к солнцу, но на ней лежит вечный снег, а у подножия горы цветут цветы, зеленеет трава, висят на деревьях ароматные плоды. И все живое благословляет тепло долин. Абуталиб, дядя пророка, был еще ближе к нему, чем вы, а ведь в вере был не сильнее вас! – Так сказал Абай.

И все гости, бывшие вокруг них, невольно рассмеялись, а старики, сидевшие рядом с Кунанбаем, выжидающе посмотрели на него. Тот потемнел лицом и сердито прикрикнул на сына:



– Замолчи! Довольно!

Абай развел руками и смолк, потупившись. Смех вокруг мгновенно оборвался, в комнате наступила неловкая тишина.

Премудрый Каратай в душе восхищался Абаем. Он ткнул кулаком в колено рядом сидящего Жакипа и шепнул ему:

– Гляди-ка, и шагу ступить не дает! Берет мертвой хваткой...

Вскоре подали мясо. После трапезы Абай с Ерболом стали одеваться, готовясь отправиться в путь. Когда они пошли к лошадям, вслед за джигитами вышел из дома Кунанбай. Он окликнул сына, повел его за собой к каменистому холмику. Отец с сыном остались наедине после долгого-долгого перерыва.

Кунанбай холодно посмотрел на сына.

– Ты учился, приобрел знания, с тобой занимался наставник. Мы росли невеждами. Но почему знания твои и воспитание твое отнюдь не внушают тебе проявить уважение к отцу в присутствии посторонних? Какие достоинства в себе ты выказываешь, заставляя отца спотыкаться и падать через твои подножки? – дрогнувшим голосом спросил Кунанбай.

Это означало, что отец с горечью признавал свое поражение.

Абай с какой-то внезапной робостью и невольной жалостью посмотрел на старого отца. Властное, каменное лицо властителя и владетеля теперь словно сморщилось и уменьшилось. Массивный, как каменная глыба, Кунанбай сгорбился и словно высох. В упреках сыну звучало что-то беспомощное, почти детское. И Абаю в душе предстало: почтение к старшим – долг молодых; почтение к отцу – долг сына.

– Отец, ваши слова справедливы. Я виноват. Простите меня!

Абаю было тягостно. Он надеялся, что на этом их разговор закончится. Но Кунанбай хотел говорить дальше. После недолгой паузы он начал:

– Я давно при случае собирался поговорить с тобой. Выслушай меня. Я замечаю в тебе три недостатка.



– Говорите, отец, – сказал Абай и поднял глаза на Кунанбая.

– Первое – ты не умеешь различать, что по-настоящему дорого, а что есть ничего не стоящая пустяковина. Все, что сам имеешь, не ценишь. Расточаешь свои сокровища на легкомысленные пустые развлечения. Ты слишком прост и доступен, как озеро с отлогими берегами. Воду в таком озере и собаки лакают, и скотина ногами мутит. Второе – ты не умеешь разбираться в друзьях и врагах, ты не относишься к друзьям как друг, а к врагам как враг. Ты ничего не можешь утаить в себе, ты слишком открыт. Человек, который должен вести людей за собой, не может быть таким. Он не сумеет держать в руках народ... И третье – ты начинаешь липнуть к русским. Твоя душа постепенно склоняется к ним, а это значит, что вскоре каждый мусульманин станет чуждаться тебя. – Так говорил Кунанбай сыну.

Абай насторожился. Вдруг со всей ясностью осознал, на что обрушивал свои удары Кунанбай: на то, что определилось для Абая как самая заветная мечта всей жизни. Теперь, осознанно избрав свой новый путь, Абай видел опору для себя именно во всем том, что так яростно осуждал отец.

Но Кунанбай верно определил душевные свойства своего сына. Не сказал только об одном – Абай никому, никакой чужой воле не хотел подчинять свою волю. Никому в мире. И отцу тоже. Абая охватило волнение, как недавно в доме, и он решил говорить, не молчать – даже из жалости к старому отцу.

– Я не могу принять ни одного из ваших упреков, отец. Я убежден, что я прав. Вы говорите, что я как озеро с отлогими берегами. Но разве лучше быть водой из глубокого колодца, которую может достать только тот, у кого есть веревка, и есть сильные руки, способные вытянуть полное ведро? А я предпочитаю быть доступной водой для всех детей, стариков и для всех, у кого слабые руки. Во-вторых, вы сказали, каким должен быть человек, который сможет удержать народ, если он поведет его за собой. А по-моему, народ некогда был, как стадо овец,



которому пастух крикнет: «Айт!» – и он побежит, потом крикнет: «Шайт!» – и он начнет пастись. Впоследствии народ стал похож на стадо верблюдов. Кинут камень перед ними, крикнут: «Шок!» – они остановятся, оглянутся, и только тогда повернут в ту сторону, в какую захотят их направить. А теперь у народа не осталось прежнего послушания и покорности. Теперь народ стал как табун степных лошадей – они послушны только тому, кто готов разделить с ними все невзгоды: и мороз, и снежный буран, кто ради них забывает про свой теплый дом, для которого постелью станет снег, а подушкой – кусок льда. В-третьих, вы сказали о русских. И для народа, и для меня самого, я думаю, самым дорогим, бесценным является знание. Свет разума, свет искусства – самый яркий свет, и он горит там, у русских. И если я могу получить этот свет от них, то почему я должен чуждаться их, отец? Если я откажусь стремиться к свету, то чести мне это не прибавит, я так и останусь невеждой. Кому от этого станет легче? – Так сказал Абай.

Выслушав его, Кунанбай сделался, необычно для него, тих и печален. Он грустно вздохнул. Впервые сын почувствовал в нем обычную человеческую слабость. Однако ни тот и ни другой не вымолвили ни слова.

Абай попрощался и ушел. Кунанбай остался в одиночестве, сидел на верху каменного холмика, погрузившись в тяжелую думу. Он снова проиграл. И поражение потерпел на этот раз от родного сына. Жизнь со всех сторон наступает на него, говорит ему без всяких обиняков: «Эй! Ты ослабел! Пришла пора твоей старости». И выталкивает на обочину дороги.

Слова сына, которые только что пришлось услышать, несли в себе и другой, невысказанный, зловецкий и суровый салема: «Твое время навсегда прошло»...

Абаю по необходимости надо было сначала заехать в Кара-шоки. Выехав из Орды, он с Ерболом отправился туда напрямик по бездорожью. Снег на земле лежал тонким слоем. Выбравшись к подножию Есембая, они вышли на торную дорогу возле становища Такырбулак.



Это была та холмистая степная долина, по которой он когда-то возвращался домой после учебы в городе – истосковавшийся по родному аулу бледный школяр медресе. Тогда степь зеленела свежей весенней травой, сейчас ровная снежная пелена укрывала ту же землю, эту же степь. Гладкие безлесые холмы однообразно белели в окружающем просторе, словно безучастные ко всему, заблудившиеся во времени призраки минувших дней. Или это были призраки всей миновавшей безрадостной, однообразной, тоскливой кочевой жизни его тысячелетнего народа? Когда-то школяр медресе безостановочно скакал по этой степи, в нетерпении сердца стремясь поскорее добраться до прекрасного, как рай, милого родного аула, в котором он найдет блаженную радость. Теперь он едет назад в город, и все с той же надеждой в сердце.

Ему уже двадцать пятый год. Многих лет вереница проходит перед его внутренним взором. Его жизненная дорога то уходила в глухие темные лесные дебри, то взбегала на высокий перевал. Теперь он держит путь к новой невиданной вершине.

Дорога жизни привела его на эти выси.

Здесь некогда слабый росток пробился сквозь каменистую почву на верхушке каменного утеса. Появился в мире маленький саженец чинары. И вот с годами она выросла, окрепла – стоит на скале молодая чинара, полная жизненных сил. И теперь уже ей не страшны ни зима, ни морозы, ни даже свирепые горные ураганы.

СОДЕРЖАНИЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ	3
В СМУТЕ.....	96
В ПУТИ	143
В ДЕБРЯХ.....	209
ПО ПРЕДГОРЬЯМ.....	285
НА ПОДЪЕМЕ	364
В ВЫШИНЕ.....	434

Мухтар Омарханович Ауэзов

ПУТЬ АБАЯ

Роман-эпопея

КНИГА ПЕРВАЯ

Под общей редакцией *Б.М. Канапьянова*

Подстрочный перевод –
К. Жорабеков, М. Тнимов

Редактор – *А. Шаихова*
Консультанты – *Г. Бельгер, Б. Хабдина*
Художественное оформление – *Ж. Алимбаев*
Верстка – *И. Селиванова*

ISBN 978-601-294-108-1



Подписано в печать 06.08.2012.
Формат 60x84 ¹/₁₆. Усл.-печ. л. 33,0.
Гарнитура «Arial».
Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 2000 экз.

Издательский дом «Жибек жолы».
050000, г. Алматы, ул. Казыбек би, 50, ком. 55,
тел. 8 (327) 261-11-09, факс 8 (327) 272-65-01.